

Русская литература

№ 4

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1988

Журнал выходит с 1958 года

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. И. Павловский. Булгаков и Ахматова	3
А. И. Михайлов. Творческий путь Сергея Клычкова и революция	17
В. Е. Ветловская. Повесть Гоголя «Шинель» (трансформация пушкинских мотивов)	41

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Борис Зайцев. Жуковский (примечания Ю. М. Прозорова)	70
---	----

ЗА Б Ы Т Ы Е И М Е Н А

Г. В. Ситникова. Д. Н. Бегичев (из истории русской прозы 30-х годов XIX века)	101
М. В. Теплинский. Л. А. Ожигина (автор романа в «Отечественных записках» и корреспондентка Достоевского)	115
А. Б. Муратов. М. Н. Альбов (творчество писателя в литературном процессе второй половины XIX века)	120

П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я

М. А. Робинсон, Л. И. Сазонова. Заметки к биографии и творчеству Симеона Полоцкого	134
С. И. Николаев. А. Нарушевич и Ф. Карпинский в «Чужой музе» В. Г. Анастасевича	142
С. М. Шаврыгин. А. А. Шаховской в Петербурге (1793—1805)	146
Р. М. Лазарчук. Новые архивные материалы к биографии К. Н. Батюшкова (о принципах построения научной биографии поэта)	148

(См. на обороте)

В. Г. Березина. К журнальной борьбе начала 1830-х годов (цензурная история второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год)	164
Т. В. Ковалева. Неизвестное письмо А. П. Ермолова Ф. Н. Глинке (к истории публикации «Очерков Бородинского сражения»)	176
Письмо А. А. Фета к А. Н. Майкову (публикация П. А. Гапоненко)	180
Л. К. Долгополов, Е. Замятин и В. Маяковский (к истории создания романа «МЫ»)	182
Л. К. Чурсина. К проблеме «жизнетворчества» в литературно-эстетических исканиях начала XX века (Белый и Пришвин)	186
Стихотворения Е. И. Васильевой, посвященные Ю. К. Щуцкому (вступительная статья и публикация Н. Ю. Грякаловой)	200
М. В. Безродный. Об одном источнике романа «Мастер и Маргарита»	205
В. В. Перхин. Неизвестное письмо Р. Роллана о М. Горьком	209

ПОЛЕМИКА

В. Г. Прокшин. Еще раз о композиции поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»	211
--	-----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. В. Стенник. Русское Просвещение XVIII века в трудах зарубежных славистов последних лет	215
А. М. Панченко. Педагогика и наука (об учебнике М. А. Гаспарова по стиховедению)	225
Э. Я. Гребнева. Новое издание «Слова о полку Игореве» в Болгарии	228
Р. Ю. Данилевский. К истории восприятия Ф. Ницше в России	232
П. В. Бекедин. Опыт путеводителя по «Тихому Дону»	239

ХРОНИКА

С. А. Полозкова. Третьи научные чтения «Достоевский и современность» в Старой Руссе	244
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1988 году	250

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА,
Л. А. ДМИТРИЕВ, В. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО,
В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1988 г.

БУЛГАКОВ И АХМАТОВА

Сплетней изувечены,
Биты кистенем...

А. Ахматова.
Застольная

В их судьбах, даже в миропонимании и интересах было так много родственного — и это при огромной разнице в собственно ремесле, — что кажется случайностью, как это до сих пор, за очень беглыми исключениями, никто их не сблизил, не поставил рядом: ведь если говорить о духе времени и о его жестоко изуродованной плоти, то они оба, конечно, сходно принадлежат своей эпохе и потому, при упомянутой разнице (у одного — проза и драма, у другой — поэзия), они чувствовали, думали, а подчас и писали сходное, грозившее им всечасной гибелью от любой строки.

Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.¹

Когда они, ставшие близкими друзьями, познакомились? Об этом нет точных сведений. В. Я. Виленкин, автор книги «В сто первом зеркале», хорошо знающий ахматовскую биографию, постоянно общавшийся с Булгаковым по театральным делам, знавший его семью, пишет по этому поводу: «Труднее всего мне ответить на Ваш вопрос о том, когда и где впервые встретились Анна Андреевна с Булгаковым. Знаю точно, что осенью 1935 года она пришла к нему уже как знакомая. Обратилась за советом, а м<ожет> б<ыть>, и за помощью в связи с арестом Левы и Пунина (сына и мужа Ахматовой, — А. П.). Эта помощь была оказана, кажется, в составлении текста письма Сталину и — наверное, т. е. я это знаю, — он ей посоветовал написать письмо от руки, не на машинке. Кажется, помог и передать письмо (через Н. П. Русланова — Поскребышеву?).»

До этого, в апреле 35 г., они общались, судя по дневнику Е. С. Булгаковой, по крайней мере дважды: 6-го А. А. обедала у Булгаковых. 13-го „Миша днем заходил к Ахматовой“.

В воспоминаниях А. А. о Мандельштаме (ГПБ) есть такие строчки: „Зимой 1933—34 гг., когда я гостила у Мандельштамов в Нащокинском в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгакова. Осип взволновался: «Нас хотят сводить с московской литературой?!» Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТ'а». Осип совсем расстроился. Он бегал по комнатам и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТ'а?»“ (Уверен, что гнев был наигранным, несерьезным. Просто О. Э-чу показалась забавной произвольная аллитерация — „ахмат“ — „мхатаа“ и он ее смаковал).

Вот все, что я знаю. Думаю, что познакомились они (м<ожет> б<ыть>, у Пильняка?) не раньше начала 30-х годов. Если бы это произошло

¹ Ахматова Анна. Стихи из сожженной тетради: (Из неопубликованного) / Публикация Р. Тименчика. — Даугава, 1987, № 9, с. 125.

раньше, это непременно отразилось бы в чрезвычайно точных и подробных записях П. Лукницкого 20-х годов, а с ними (правда, далеко не полностью) меня недавно ознакомила его вдова. Но подчеркиваю: не полностью. Так что и эта ссылка шаткая...»²

Все же первая встреча Ахматовой с Булгаковым произошла раньше — в мае 1926 года. Он приехал тогда в Ленинград, так как был приглашен выступить на вечере писателей в филармонии.

Жизнь иногда тоже бывает неплохим драматургом. Дело в том, что Булгаков приехал сразу же после первого в своей жизни обыска: у него отобрали рукописи и дневники. Понимал ли он, что этот эпизод вовсе и не эпизод, а зловещая мизансцена, поставленная органами ОГПУ как бы с целью возвестить о начале той «полной гибели всерьез», о которой применительно к судьбе художника скажет впоследствии Пастернак? Скорее всего, еще не понимал: шла всего лишь середина 20-х годов — то было время, по его позднейшей оглядке назад, относительно благополучное. Он писал и печатал фельетоны, рассказы, сатирические повести, задумывал «Белую гвардию», к нему проявили интерес театры — МХАТ и вахтанговцы. Он еще не был тем зафлаженным волком, гонимым «по всем правилам литературной садки в огороженном дворе», по его горькому выражению в черновике письма к Сталину.³ Он был, как ему думалось, свободен.

На вечере в Ленинградской филармонии Булгаков, по-видимому, читал «Похождения Чичикова», но, возможно, и кое-что из «Записок на манжетах». Чтец он, по всем о нем воспоминаниям, был превосходный. У него была чисто актерская способность к перевоплощению и к мгновенной импровизации. Да ведь и сама булгаковская проза содержит богатейшие потенциальные возможности для многовариантного актерского чтения. Как бывает проза поэта, со всеми отличительными своими особенностями, так безусловно существует и проза драматурга, и если искать примеры подобного феномена, то именно Булгаков может служить образцом писателя, остающегося верным своему жанру во всех других сочинениях — от заметок и фельетонов до романа.

Тогда на вечере выступали вместе с Булгаковым Л. Борисов, Евг. Замятин, М. Зощенко, В. Каверин, Б. Лавренев, Н. Никитин, Ф. Сологуб, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Федин и Анна Ахматова. Надо думать, что Булгаков, будучи представленным всем петербургским знаменитостям, познакомился, конечно, и с Ахматовой. Правда, у нас нет никаких документов, чтобы можно было это знакомство 1926 года, так сказать, «запротоколировать», но документы в этом случае не очень и нужны. Скорее всего, знакомство носило формальный характер и вряд ли в ближайшее за маем 1926 года время имело какое-либо продолжение. Булгаков, кроме того, торопился в Москву, где его ждала переворошенная перед самым отъездом квартира и очень беспокоили отобранные дневники. Он был встревожен не на шутку. Не забудем, что он приехал в 1921 году из Киева и хорошо помнил, как за любую крамольную бумажку запросто ставили к стенке и белые, и красные, и зеленые, и петлюровцы, и махновцы.

Кстати, самый год приезда Булгакова в Москву (1921) оказался в полном смысле слова литературно-траурным: 7 августа умер Блок, 24-го расстреляли Гумилева, а в сентябре ходил упорный слух, что в Петрограде умерла Анна Ахматова.

Вероятно, слушая на вечере в филармонии Ахматову, он мог вспомнить, как был ошеломлен вестью о гибели трех поэтов.

² Письмо В. Я. Виленкина автору статьи от 15.12.1987 года.

³ Булгаков М. Из литературного наследия: Письма / Публикация и послесловие В. Лосева. — Октябрь, 1987, № 6, с. 181.

Выступление Ахматовой на вечере в филармонии 12 мая 1926 года было уже большой редкостью в ее тогдашней жизни. Она была в опале, стихов почти не писала, уйдя вместо них в изучение архитектуры пушкинского Петербурга и — для заработка — в переводы. Высказывания в ее адрес напостовской и иной критики были оскорбительными. Не только, впрочем, советская, но и зарубежная (эмигрантская) критика считала ее поэзию реликтом, прекратившим какое-либо живое движение. По ее позднему выражению, ее «замуровали» в десятые годы. Эмиграция не могла простить ни стихотворения-инвективы «Мне голос был. Он звал утешно...», ни горького и пророческого стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю...». В глазах же отечественной вульгарной критики она была «обломком империи», декаденткой и внутренним эмигрантом.

Всему этому было суждено длиться десятилетия.

Однако вернемся на минуту к первой встрече — в филармонии, в 1926 году.

Как сказано, Булгаков читал тогда, скорее всего, «Похождения Чичикова» — своеобразную гоголевиану. Известно, что Гоголь (после Пушкина) был заветнейшим художником Ахматовой, он значил для ее духовного мира на редкость много. Вполне возможно, если учесть этот исключительный интерес, что первое внимание к Булгакову возникло именно на этой почве. Булгаковскую «чертовщину» она и впоследствии, когда знакомство переросло в дружбу, очень ценила. Ахматова всегда любила всякую ворожбу, гадания, верила в жизнь изображений в старых зеркалах и многое другое, что трезвые и скучные люди называют мистикой, а ученые — пререальностью, но что для поэтов является притягательной в своей непознанности оборотной и загадочной стороной видимого мира. Наверно, все же не случайно Гумилев называл свою юную жену колдуньей, когда писал:

Из логова змея,
Из города Киева
Привез не жепу, а колдунью...⁴

Кстати, Киев, как вскоре оказалось, тоже по-своему объединял Ахматову и Булгакова: она заканчивала там Фундуклеевскую гимназию, находившуюся поблизости от Первой мужской, где учился, будучи на два года ее младше, Булгаков. Они, следовательно, в своей юности бывали в тех же местах, где любила проводить время, флиртовать, влюбляться, назначать свидания тогдашняя гимназическая и студенческая молодежь. В отличие от Булгакова, считавшего Киев лучшим городом на свете, Ахматова его не любила, но главным образом из-за своего тогдашнего семейно-бытового окружения. Но в ее стихи Киев вошел несколькими прекрасными строфами.

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К богу внесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я.

⁴ Новый мир, 1986, № 9, с. 213.

И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.⁵

Можно вспомнить, кроме того, что Ахматова знала украинский язык, любила Шевченко, а Гоголя с молодости — как автора Рудого Паньки и веселой чертовщины — помнила наизусть.

Когда впоследствии Ахматова познакомилась в доме Булгакова с его женой Еленой Сергеевной, то к искреннему веселью хозяина, любившего шутку, озорство, розыгрыши и всякого рода ворожбу со словом и пошлостями, это была встреча... двух «колдуний», тотчас вступивших в состязание и чародейство. По-видимому, и та и другая обладали теми, на теперешний взгляд, уже почти расхожими свойствами, что сейчас называются вполне опошлившимся словом «экстрасенс» и омещанившимся, но когда-то точным термином, введенным, кажется, В. И. Вернадским, «биополе».

Когда однажды, уже в Ташкенте, в годы войны, Ахматовой пришлось жить в комнате уехавшей из эвакуации в Москву Елены Сергеевны, она написала стихотворение, в котором и себя и Булгакову назвала то ли в шутку, то ли всерьез именно «колдуньями»:

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне полнолуны,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

(I, 209)

В их чародействах при участии Булгакова было много задора, веселья и игры — в отличие от сегодняшней унылой полунаучной «магии», пытающейся скрыть свое невежество и прагматичность под технизированной фразеологией и вполне наивным «окультизмом». В их игре было много от литературы, от Гоголя, от Гофмана, они любили Каллиостро и обе ценили прелестный этому авантюристу роман М. Кузмина, знали множество фольклорных заклятий, наговоров и присушек; для Ахматовой, «почти» киевлянки, и для Булгакова, коренного киевлянина, вся эта «чертовщинка», веселая и забавная, была совершенно живой жизнью, даже бытом, отделенным от Гоголя не столетием, а всего лишь полутора сутками езды по железной дороге. Не забудем, что Булгаков был не только превосходным чтецом и рассказчиком, но и талантливым актером, лицедеем и пересмешником. Может быть, бывая у Булгаковых, в их гостеприимном доме, где в любой момент мог случиться какой-нибудь розыгрыш, Ахматова невольно вспоминала «Бродячую собаку» с ее веселыми нелепостями и «Привал комедиантов», где было полно актерства, где все были так молоды и все были влюблены, а сама атмосфера дышала лукавством и грехом, где стены были расписаны Судейкиным и где блистала юная и грешная, изящная и обольстительная Путаница-Психея — Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, подруга ахматовской юности, будущая героиня «Поэмы без героя»:

⁵ Ахматова Анна. Сочинения: В 2-х т. М., 1986, т. 1, с. 87—88. Далее ссылки на сочинения А. Ахматовой, кроме специально оговоренных, даются в тексте по этому изданию.

Ты ли, Путаница-Психея,
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной...

(I, 275)

А сколько «чертовщины» в «Поэме без героя»! Какая там игра зеркал и «зазеркалий», таинственных и зловещих отсветов и быстрых скольжений к пропастям и обрывам; там появляются, словно в знаменитых «Снах» из «Бега», странные фигуры, подсвеченные нездешним светом, и целые вереницы призраков; там в канун 1941 года встречаются 1913-й, а скелеты танцуют канкан возле разрытых могил; там есть строфы, написанные «симпатическими чернилами» и «зеркальным письмом»; там появляются вместе Калиостро, Маяковский, Шалапин и Блок, а Путаница-Психея не перестает танцевать, хотя ее возлюбленный уже застрелился...

При чтении «Поэмы без героя», с ее трагическим маскарадом, с ее лицами, отмеченными печатью гибели, с ее шутками, отдающими стоном, с улыбками, похожими на гримасы, с ее шутейным действием, переходящим в трагедию, нельзя не вспомнить Булгакова — не только «Мастера и Маргариту», но и «Театральный роман», и «Дьяволиаду», и «Бег», и даже «Кабалу святош»...

Однако вернемся снова ненадолго к 20-м годам. Тот год, когда Ахматова и Булгаков впервые познакомились, был для него, в сущности, последним годом, еще отмеченным надеждами на реальное свершение многих близких планов — в особенности на постановку «Зойкиной квартиры» и «Дней Турбиных».

И действительно, «Дни Турбиных» в одном лишь октябре 1926 года давали (в МХАТе) тринадцать раз, в ноябре — четырнадцать, а через год эта пьеса будет иметь уже 150 спектаклей.

И все же то был успех всего лишь одного произведения. Булгаков вскоре начал понимать, что он загнан в собственную пьесу, как в клетку, потому что едва ли не всем другим его произведениям были перекрыты все пути.

Да и спектакли «Дней Турбиных» имели успех у публики, что, конечно, важно, но не у критики, что внушало серьезные опасения. Со стороны критики слышалось почти сплошное улюлюканье. Было похоже, как если бы охотники гнали зверя. На пьесу словно легло некое заклятие. Считалось, что автор показывает революцию не с «нашей», а с «той» стороны, что он, уютно устроившись в интерьере барской квартиры, смотрит на все через «кремовые занавески», что к белогвардейцам относится, конечно же, с любовью, поскольку и сам — скрытый белогвардеец. Поэт Александр Безыменский обратился к Художественному театру с «Открытым письмом», где писал, что Булгаков «чем был, тем и останется: новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессилой слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы»; он считал, что МХАТ, поставив «Дни Турбиных», дал «пощечину» памяти «тысяч наших растерзанных братьев и мне, поэту и рядовому большевику».⁶

В книге «Творческий путь Михаила Булгакова» Лидия Яновская подобрала целый букет высказываний, ничем не уступавших политическому доносу А. Безыменского. Она пишет, что рецензии на спектакль были «почти в стопроцентном большинстве» отрицательные. В них, как правило, содержались политические обвинения и резкие выпады против как автора, так и Художественного театра. Писали так: «Художественный театр получил от Булгакова не драматургический материал, а ог-

⁶ Комсомольская правда, 1926, 14 окт.

рызки и объедки со стола романиста» (М. Загорский); «Пьеса политически вредна, а драматургически слаба» (О. Литовский); «Это объективно „белая агитка“» (он же); «Белый цвет выпирает настолько, что отдельные пятнышки редисочного цвета его не затушевывают» (А. Орлинский); «Автор одержим собачьей старостью» (В. Блюм); «Пьеса как вещь — мелочь» (С. Асилов) и т. д.⁷

Чем дальше к концу 20-х годов, тем травля становилась сильнее и организованнее. Оказались запрещенными все его пьесы — и «Дни Турбиных», и «Бег», и «Зойкина квартира». Было запрещено также издание «Записок на манжетах», переиздание сборника сатирических рассказов «Дьяволиада», изъята рукопись повести «Собачье сердце», запрещено публичное исполнение «Похождений Чичикова», прервана публикация романа «Белая гвардия»...

В проекте письма к Сталину Булгаков писал: «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили как с волком...

Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать...»⁸

В этом письме, являющемся трагическим документом эпохи, есть только одна неточность: Булгаков, к несчастью для советской литературы, не был единственным изгоем. В сходном положении оказался его близкий друг Евг. Замятин, также вынужденный обратиться с письмом к правительству, а затем эмигрировать в результате жесточайшей травли, продолжавшейся для него с самого начала 20-х годов, когда он написал роман «Мы». Сходная беда подкрадывалась и ко многим другим, в том числе и к Вл. Маяковскому, покончившему самоубийством именно в то роковое время, когда Булгаков и Замятин писали Сталину свои письма.

Ахматова к концу 20-х годов также почувствовала себя в полнейшей и исключительно враждебной изоляции. Не случайно, оглядываясь на свой путь, отмеченный, как и булгаковский, вынужденным молчанием, клеветой и карами, она тоже сравнила себя со зверем, но даже не с уставшим зверем, а с растерзанным и вздернутым на окровавленный крюк.

Вы меня, как убитого зверя,
На кровавый поднимете крюк...

(I, 330)

Наверно, не случайно, что именно к концу 20-х годов относятся первые наброски романа Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором литературно-общественный быт парадоксально и закономерно соединен с образом Голгофы и Христа.

Этот образ вскоре стал тревожить и поэтическое сознание Ахматовой: на протяжении 30-х годов она работает над циклом стихов, составивших поэму «Реквием», где образы Матери и казнимого Сына соотнесены с евангельской символикой.

Для обоих художников обращение к библейским образам и мотивам было закономерным, так как давало возможность предельно широко раздвинуть временные и пространственные рамки своих произведений, чтобы показать, что силы Зла, взявшие в стране верх, вполне соотносимы с крупнейшими общечеловеческими трагедиями. Торжество Воланда и всесильный мрак каторжных лагерей олицетворяют у Булгакова

⁷ См.: Яновская Лидия. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 170—171.

⁸ Октябрь, 1987, № 6, с. 181.

и Ахматовой прежде всего кошмарный мир сталинских репрессий и чудовищной по своей дьявольской бесчеловечности государственной системы. Ни тот, ни другая не считают происшедшие в стране беды ни временными нарушениями законности, которые могли бы быть легко исправлены, ни заблуждениями отдельных лиц. Библейский масштаб заставляет мерить события самой крупной меркой. Ведь речь шла об исковерканной судьбе народа, о геноциде, направленном против нации и наций, о миллионах безвинных жертв, об отступничестве от основных общечеловеческих моральных норм.

Вот почему оба они были — в глазах чиновников, запрещавших пьесы и стихи, в глазах обывателей и составителей доносов — людьми безусловно опасными, чуть ли не прокаженными, которых, пока их не упрятали в тюрьму, лучше остерегаться. Оба прекрасно понимали свою отверженность.

Не лирою влюбленного
Иду пленять народ —
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Успеете наохаться
И вод, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня...⁹

Время, о котором пишет в своем письме В. Я. Виленкин, говоря, что к 1935 году они были уже хорошо знакомы, было исключительно тяжелым. Если в 1929 году М. Булгаков говорил, что он «устал», то в 30-е годы его «усталость» обернулась смертельной болезнью. Его уже не били, а добивали — беспощадно, настойчиво и методично. В письме к Б. В. Асафьеву он писал: «За семь последних лет я сделал шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно... В доме у нас полная бесперспективность и мрак...»¹⁰ С ним, правда, заключали договоры. Именно по договорам с театрами он написал пьесы «Адам и Ева» (1931), «Блаженство» (1934), «Иван Васильевич» (1935) — все эти вещи не были, однако, поставлены. Такая же судьба постигла «Кабалу святош», «Полоумного Журдена» (1932), «Последние дни» (1935), «Дон Кихота» (1938)... Будучи либреттистом Большого театра, Булгаков написал четыре оперных либретто («Черное море», «Минин и Пожарский», «Петр Великий» и «Рашель»), но и они не дошли до оперных постановок. Сопротивление Булгакова судьбе было, однако, поразительным. Еще в проекте письма к Сталину (1930) он мужественно заявлял: «Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит был не настоящий. А если настоящий замолчал — погибнет...»¹¹

Тридцатые годы были для него непрестанной, ежедневной и ежечасной борьбой с гибелью посредством творчества. Этот период в его жизни был наиболее продуктивным — никогда он не писал так много, так самоотреченно и так блистательно, как в 30-е. И никогда с такой жестокой последовательностью не отвергались почти все его вещи. Не случайно, конечно, именно в эти годы тема «Художник и Власть» станет для него магистральной, особенно резко воплотившись в пьесах о Мольере («Кабала святош») и о Пушкине («Последние дни»), а также, разумеется, в романе «Мастер и Маргарита», который он писал уже на излете своей смертельной болезни, исчерпав буквально все силы и отчетливо понимая, что все написанное уйдет, по его словам, «во тьму

⁹ Ахматова Анна. Стихи из сожженной тетради, с. 125.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 369, № 348.

¹¹ Октябрь, 1987, № 6, с. 181.

ящика»,¹² как в гроб. «Впрочем, — характерно комментировал он свои предсказания, — мы не знаем нашего будущего».¹³

Удивительно, но необыкновенный взлет творчества (и по тем же трагическим причинам, что и Булгаков) пережила в 30-е годы Ахматова. В 20-е она, как уже говорилось, почти не писала — то были годы, когда она думала, что песенный дар навсегда покинул ее. Трагедии 30-х годов словно высекли искру из кремня, и пламя ее творчества взметнулось высоко и торжествующе. Как и Булгакова, ее не печатали. Да и как можно было напечатать «Реквием», или «Черепки», или многие другие стихи, где говорилось о трагедии художника, сопряженной с трагедией народа. Бесследно исчезали друзья — Б. Пильняк, О. Мандельштам, исчез Н. Клюев — автор лучшего, по мнению Ахматовой, стихотворения о ее творчестве. Был разрушен семейный очаг: арестован сын, а затем сослан и муж — Н. Пунин. Она могла бы повторить слова Булгакова: «В доме у нас полная бесперспективность и мрак...» Тема разоренного очага — одна из главнейших в ее творчестве этих лет.

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что бог не спас.

(«Последний гост» — I, 187)

В 1935 году она пишет стихотворение-инвективу, в котором тема судьбы поэта, трагической и высокой, соединена со страстной филиппикой, обращенной к властям.

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.¹⁴

(«Зачем вы отравили воду...»)

В «Реквиеме» Ахматова скорбела и плакала не только о своей личной трагедии, но имела в виду прежде всего трагедию народа, миллионов и миллионов безвинных жертв.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня...¹⁵

¹² Письмо к Е. С. Булгаковой от 15.06.1938 года. Цит. по: *Есипов О. Е.* О пьесе М. Булгакова «Дон Кихот»: (Из творческой истории). — В кн.: Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова: Сб. науч. тр. Л., 1987, с. 92.

¹³ Там же.

¹⁴ *Ахматова Анна.* Стихи из сожженной тетради, с. 124.

¹⁵ *Ахматова Анна.* Реквием. — Октябрь, 1987, № 3, с. 134.

Да, как и у Булгакова, в ее творчестве 30-х годов происходит удивительный по своей интенсивности и силе взлет. Материнское ли горе («...сына страшные глаза — Окаменелое страданье»), трагедия ли народа, или же ощущение новой небывалой и уже приближавшейся военной беды — что было тому причиной? Скорее всего, все: вся совокупность причин и следствий, из которых главной для поэта была трагедия его народа.

Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.¹⁶

(«Так не зря мы вместе бедовали...»)

Ахматова в произведениях 30-х годов подчеркивала свою полную приобщенность к народной жизни. Ее дарование, будучи по природе своей внутренне-трагедийным, со всей силой своих возможностей откликнулось на трагические и бедственные стороны народной жизни. Более того, она почувствовала и осознала свою гражданскую и художественную ответственность перед людьми, которых заставили не только страдать, но и молчать. В предисловии к «Реквиему» она прямо написала об этом. «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шопотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».¹⁷

Ахматова приняла этот необыкновенный заказ на «Реквием» с полным пониманием своей силы и ответственности.

Оба художника несли свою трагедию, замкнувшую их рот, как писала Ахматова, «черной краской», в равной мере достойно, идя навстречу гибели мужественно и самоотреченно. В основных мотивах своего творчества они постоянно перекликались друг с другом. Их встречи становились реже и грустнее, не было былых розыгрышей и веселья, все труднее и труднее было писать. В отличие от Булгакова, упорно продолжавшего заключать договоры, принимавшегося то за либретто, то за учебник по истории СССР, то в последнем отчаянии за пьесу о молодом Сталине («Батум»), т. е. все пробывавшегося и пробывавшегося к читателю и зрителю и, следовательно, не терявшего несбыточной надежды, Ахматова шла другим путем. Этот путь не она выбрала, а он ее выбрал: ведь Ахматова не могла заключать договоры, упорствовать с издателями, бороться за свое писательское право в открытую, потому что в глазах власти, так и не откликнувшейся на ее письмо о помпловании сына, она была безнадежно и абсолютно неприемлемой, будучи, во-первых, женой (хотя бы и разведенной) расстрелянного «контрреволюционера» Гумилева, во-вторых, матерью сосланного за «антисоветскую деятельность» сына и, наконец, женой (правда, тоже разведенной) заключенного Н. Пунина. При желании всегда могли найтись и четвертые, и пятые причины. Если Булгаков еще в 30-м году мог сравнить себя с затравленным волком, гонимым по всем правилам смертельной охоты, то и Ахматова была в такой же степени затравленной и гонимой, она

¹⁶ Ахматова Анна. Стихи из сожженной тетради, с. 126. Эту строфу А. Ахматова поставила эпиграфом к поэме «Реквием».

¹⁷ Ахматова Анна. Реквием. с. 133.

могла ежечасно ожидать ареста и гибели, а пока что ей дозволялось существовать, но уж ни в коем случае не рассчитывать на читательское внимание. Правда, одна из книг, составленная в большинстве своем из прежних стихов, все же увидела свет, но так как в ней по преимуществу была представлена лирика из прежних сборников, то она сыграла роль в общем неблагоприятную для Ахматовой, невольно подтверждая ходячее мнение и официальную версию о реликтовом характере ее поэзии. Недаром М. Цветаева, не знавшая новых ахматовских стихов и уж, конечно, не имевшая представления ни о «Реквиеме», ни о «Черепках», ни о других произведениях, раскрывавших трагедию репрессивного периода, говорила, что Ахматова, увы, осталась в прошлом и что ее знаменитые слова о «непоправимо белой странице» в полной мере можно отнести ко всему двадцатилетию после Октября. Но Ахматова, как мы знаем, оставалась, подобно Булгакову, живым писателем — аналитиком и летописцем своей трагической эпохи. Однако, в отличие от своего друга, она сознательно и с полной мерой ответственности писала для будущего, совершенно отказавшись от какой-либо надежды на прижизненное издание многих и многих своих стихов. Были годы, когда она не только не надеялась на печатание, но даже и не записывала своих стихов, держа их в памяти, так как боялась арестов и обысков. Ее друзья запоминали их с голоса или же с того клочка бумаги, на котором она быстро набрасывала стихотворные строки, чтобы тут же предать их огню. Известно, что Е. С. Булгакова, не имевшая памяти на стихи, со слезами на глазах, терпеливо заучивала стихотворную эпитафию, написанную Ахматовой Булгакову. Кто-то, горестно шутя, называл этот период изустного бытования ахматовских стихов фольклорным. Если учесть, какое количество вариантов, нередко возвращавшихся к Ахматовой, словно из дальних странствий, с измененными строчками, существовало все эти годы, то слова о фольклорности не покажутся парадоксальными. Характерно, что фольклорность (в смысле бытования) соединилась у нее в 30-е годы с умением и стремлением быть подлинно народной в глубоком значении этого понятия. Ведь «Реквием», как мы знаем, написан словами, подслушанными в тюремных очередях.

Отказавшись, как говорила Ахматова, от «изобретения Гутенберга», она получила печальную возможность писать и говорить то, что при расчете на печать было бы невозможно. Трагический парадокс заключался, если иметь в виду Булгакова, однако, в том, что и расчет на печать никак себя не оправдывал: ведь большинство булгаковских произведений, написанных в 30-е годы, так и не увидели света. В отличие от Ахматовой, Булгаков, надевшийся на опубликование, в известной мере как бы уходил в прошлое — в «Кабале святош», в Мольериане, в «Дон Кихоте», в «Иване Васильевиче», в «Последних днях». Это его не спасло, так как все эти вещи, с их внутренним смыслом и слишком ясными аллюзиями, целили, конечно же, в современность. Ахматова же, трезво понимавшая свое особое и вполне обреченное положение, ни о каком спасении своих стихов не могла и думать: она их создавала, читала друзьям, и они какими-то неведомыми путями, поверх запретов и препон уходили к тому читателю, которого она впоследствии в цикле «Тайны ремесла» назвала своим неведомым другом. Поэтому — еще один парадокс, — будучи в глазах большинства и тем более в глазах власти «поэтом любви», художником вполне асоциальным, очень камерным и хрупким, изломанно-декадентским и т. д. и т. д., она на самом деле сформировалась, благодаря трагическим условиям тогдашней жизни, в писателя острого социального мышления. Она писала в 30-е годы только и исключительно о современности: величайшая общественная трагедия, затронувшая ее собственную жизнь, придала ее произведениям широкий размах и политическую глубину. Беда заключалась в том, что, как и

многие другие честные и чуткие художники, она была вынуждена молчать. На молчание был обречен и Булгаков — при всей его отчаянной и судорожной борьбе за право на печать и на сцену. Лишь последние год-полтора своей жизни, торопившийся в виду приблизившейся смерти закончить роман «Мастер и Маргарита», он, по-видимому, солидаризировался с Ахматовой, поняв, что, кроме как во «тьму ящика», писать некуда.

Жизнь была их с такой жестокостью и последовательностью, так настойчиво и свирепо пресекала все попытки противостояния и даже той молчаливой борьбы, какую избрала для себя сначала Ахматова, а потом и Булгаков, что образ Судьбы и даже Рока (в античном смысле) не мог не появиться у обоих. Их действительно зримо сближала прежде всего абсолютная — в античном или в ветхозаветном смысле — трагичность судьбы. Оба любили Софокла, оба пришли в своем творчестве к образу Христа и Голгофы. Их объединял также непререкаемый, обреченный и такой же абсолютный дух мужества.

Как бы в насмешку, Судьба и Рок не были для них подсвечены ни традиционно-романтическим зыбким звездным блеском, что дало бы некую поэтическую иллюзию, столь ценимую любым художником, ни инфернальным отблеском подземных адских огней, излюбленных трагическими и романтическими поэтами, — нет, Судьба (или Рок) представляли взору обоих в неприглядном и жутковато обыденном облике: то были «маруси» и «черные вороны», подбъезжавшие по ночам к тревожно спящим квартирам, то были одиночество, развороченный очаг и нищета. По пронию той же судьбы Ахматова жила то в Мраморном дворце, то в Фонтанном, где занимала не апартаменты, подобающие, казалось бы, королеве поэзии, а полупустую комнату в коммунальной квартире. Булгаков, живший несколько благополучнее, все же писал (в уже цитированном письме) о «полной бесперспективности и мраке». Как романист он поселился в своей квартире и Аззелло и Воладда. А Ахматова превратила Фонтанный дом (в «Поэме без героя») в место встречи мертвецов и в театр призраков.

По знаменитому выражению Б. Пастернака (в стихотворении «Ночь»), художнику — пленник времени.

И Ахматова (друг Пастернака) и Булгаков были и пленниками и смертниками своего времени. Но в соответствии с поэтической формулой Пастернака:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену, —¹⁸

они оба, и Ахматова и Булгаков, не могли — как художники — не ощущать у своих щек дыхания вечности. Всей своей художнической сутью, всей конкретностью своего существования связанные с «днем» и даже с «моментом», они не упускали из виду того великого масштаба, на котором нанесены самые крупные рубрики бытия. Что останется от «дня»? Останется то, что непреходяще и вечно. В 30-е годы Булгаков доказывал эту мысль в Мольериане, в «Пушкине» («Последние дни»), в «Дон Кихоте» и едва ли не во всех других вещах, все больше делая упор на всевластие искусства и на торжество вечных нравственных законов, выработанных человечеством на протяжении предшествующих веков. Милость Людовика, разрешившего Мольеру поставить спектакль, чтобы «актеры не умерли с голоду», является ничтожной, призрачной и издевательской по сравнению с искусством Мольера и тех же

¹⁸ Пастернак Борис. Избранное: В 2-х т. М., 1985, т. 1, с. 439.

актеров. Эту же мысль проводит в своих пушкинских работах Ахматова. «Он победил и время и пространство», — пишет она о Пушкине, добавляя, что «это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое»,¹⁹ т. е., надо думать, несравненно большее, охватывающее не только всю эпоху, названную пушкинской, но и иные времена. Весь «океан грязи, измен, лжи, равнодушия», окружавший Пушкина, поясняет Ахматова, исчез, остался Пушкин и его поэзия.

Начиная с 30-х годов для творчества Ахматовой становится характерным сочетание (в высшей степени свойственное и Булгакову) сиюминутной отзывчивости на сегодняшнее людское страдание, т. е., иначе говоря, актуальности, с высоким и мудрым взглядом, идущим как бы издалека и сверху. Она судит свою эпоху, зная и учитывая весь путь человечества, его поражения, преступления и победы, судит с позиций общечеловеческой непреходящей нравственности, выработанной в длинной веренице сумрачных столетий. В этом пункте и Ахматова и Булгаков были исключительно близки и обращались подчас, как бы переключаясь друг с другом, к одним и тем же образам — в особенности библейским. У Ахматовой есть стихотворение, которое кажется навеянным чтением романа Булгакова «Мастер и Маргарита», хорошо знакомого ей.

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, богом в самом деле,
Кто был убит — и чье орудье пытки
Согрего теплотой моей груди...

Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.²⁰

(I, 329)

Но важнее этих даже неизбежных совпадений, сходящихся к общему евангельскому сюжету, оказывается совпадение идей и мотивов, которые и Ахматова и Булгаков акцентируют, возможно, не без цели отсылок к собственной жизни и к тем духовным решениям, которые они были вынуждены (она раньше, он позже) принять к концу 30-х годов.

В романе Булгакова мы видим, с одной стороны, всесильного Прокуратора, а с другой — стоящего перед ним в рубище внешне совершенно бесправного бродячего пророка, который — обратим на это особое внимание — отказался от всех деяний, от всей активной деятельности, когда-то присущей его натуре. Первосвященники, требовавшие от Понтия казни преступного агитатора, наводнившего Галилею своими пропагандистами-апостолами, основавшего церковь, знали Иисуса именно как деятельного и потому, в их глазах, крайне опасного врага. Но Булгаков, рисуя сцену встречи Иисуса с Понтием, изображает другого человека. Га-Ноцри отказался от деяния в его обычном, суетном, земном и, как, по-видимому, он убедился, малопродуктивном смысле.

Здесь надо постоянно иметь в виду, что не только вся булгаковская проза автобиографична словно лирика, но что именно роман «Мастер и

¹⁹ Ахматова Анна. О Пушкине: Статьи и заметки. Л., 1977, с. 6.

²⁰ Стихотворение написано приблизительно в 1945 году.

Маргарита» — самый личный изо всех, написанных им; он не менее автобиографичен, чем, скажем, «Театральный роман», в документально-автобиографической основе которого никто не сомневается, и даже «биографичнее» «Белой гвардии». Конечно, нельзя упрощать ни романа, ни намерений автора, всегда слишком художника и поэта, чтобы сбиваться на простую биографию, но все же надо учитывать, что в «Мастере и Маргарите» болезненно и точно запечатлен тот момент духовной жизни Булгакова (и Ахматовой), когда они, подобно другим замечательным Мастерам, загнанным в темницу немоты террором и невозможностью действия, уходили в молчание как в некую единственную цитадель, где можно было хотя бы на некоторое время уцелеть, чтобы дописать до конца и отдать времени свой «пергамент». Иешуа действует в романе не столько словом, сколько молчанием, направленным непосредственно в тирана: ни толпа, ни народ, ни апостолы его уже не слышат. Сейчас — перед Понтием — он одиночка, но его редкие слова и тем более его молчание грозны.

В мире булгаковского Христа, с всемогущим Понтием Пилатом, с начальником тайной стражи, с Крысобоим, палачами и первосвященниками и с тою толпой, что кричит: «Распни его! Распни!», — в этом мире деяние, даже просто человеческое, вроде исцеления слепого и хромого, стало казаться в глазах власти поступком незаконным и преступным, т. е. в буквальном смысле престапующим границы официальной власти — прокураторской, императорской или первосвященнической — все равно. Оно, это человеческое деяние, сделалось таким на 33-м году по Рождестве Христовом, когда разворачиваются евангельские страницы романа, и оно же сделалось таким снова в году 1933-м, когда к власти пришел «наследник» Священной Римской империи Гитлер, а в России — Сталин и его «кентурионы» и «крысобои», палачи и истязатели: Ежов, Берия, Вышинский и другие зловецкие фигуры.

По своей сути это все те же лица, что когда-то присутствовали при казни Христа, только одеты они в современные костюмы — ведь и Воланд в романе вынужден менять костюмы и прическу. Одни в латах, другие в сталинских френчах и гимнастерках, но они могли бы легко ходить и разговаривать друг с другом, не придавая никакого значения чисто внешним атрибутам: ведь именно так сосуществуют в фильме «Покаяние» режиссера Абуладзе средневековые судьи в париках, латники и вполне современная грузинская публика, слушающая дело о позорной эксгумации трупа одного из советских прокураторов.

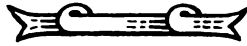
И Ахматова и Булгаков (как позже Пастернак в стихах романа «Доктор Живаго»), надо думать, рассчитывали на эту аллюзию, тем более что она хорошо и верно отражала общественную ситуацию тех лет. Одновременно для них было исключительно важным протянуть в современность столь зловецки перекликнувшуюся с историей двухтысячелетней давности живую нить человечности. Идея добра через страдание и самопожертвование была им обоим, по-видимому, в равной мере важна, она придала евангельским мотивам их произведений не только высоко трагедийный, но и актуальный — до сих пор — характер.

Когда умер Булгаков, Ахматова написала своему другу стихотворную эпитафию. Это стихотворение интересно не только тем, что оно завершило круг их земных взаимоотношений, исполненных дружбы, любви и высокого взаимопонимания, но и тем, что в нем высказано о Булгакове самое главное, что в нем видела и ценила Ахматова. В эпитафии «М. А. Булгакову» видны черты как Булгакова, так в неменьшей мере и образ Ахматовой.

Вот это я тебе взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес

Великолепное презрение.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех потерявшей, все забывшей, —
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

(I, 244)



ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ СЕРГЕЯ КЛЫЧКОВА И РЕВОЛЮЦИЯ

Взаимоотношения художника со своим временем носят нередко чрезвычайно противоречивый характер и продолжают выясняться много позже, уже по завершении его жизненного пути, по прошествии самой поглотившей его эпохи.

Творческая и личная судьба С. А. Клычкова, этого, по словам В. Полонского, «самого крупного и замечательного художника, выдвинутого русской деревней»,¹ сложилась крайне драматично. Многие десятилетия его стихи, проза и публицистика, печатавшиеся в 1910—1920-х годах, не переиздавались и не рассматривались в едином процессе развития отечественной литературы XX века. Причиной было то, что его творчеству, всецело будто бы проникнутому патриархальным крестьянским мирозерцанием, приписывалась заведомая враждебность идеям революционной эпохи. Парадоксальность этой точки зрения заключалась в том, что он, представитель трудящихся слоев России, не смог будто бы подняться до осознания социально-исторических запросов своего народа и времени и, оставшись выразителем лишь идеологии прошлого народной жизни, был-де отвергнут советской действительностью без видимой перспективы на будущее.

Однако время шло, и к концу до глубин потрясенного мировыми катаклизмами XX века выяснилось, что наследие поэта находит самый живой отклик у новых поколений. И опять парадокс: «далекие потомки», ради духовного «прогресса» которых творчество «реакционного»² художника обрекалось в свое время на забвение, в нем-то как раз и находят нечто для себя близкое. «Сегодня к творчеству Клычкова возвращаются. Очевидно, назрела социальная потребность осмыслить его творчество в контексте культуры».³ Какова причина этого? В решительной ли переоценке внуками идеалов отцов и дедов или, может быть, вершившими над художником суд (за его «несозвучность» времени) его современниками было упущено какое-то, как раз именно прогрессивное, зерно его творчества, которое и принесло впоследствии свои неожиданные всходы? Ответ на это может дать лишь обращение к самому творческому пути художника, сопряженному с драматическими коллизиями его эпохи.

Родился Сергей Клычков в деревне Дубровка Тверской губернии. Его ученические годы проходят в Москве. Там же застает его и революция 1905 года. Шестнадцатилетним подростком он участвует в баррикадных боях на Арбате, руководимых Сергеем Конешковым, которым полвека спустя была сделана такая запись: «Сергея Антоновича Клычкова я знал как самого прогрессивного гражданина нашей Великой Родины... Будучи в Москве, С. Клычков был активным проповедником освобождения рабочего класса из-под гнета эксплуататоров и даже с ору-

¹ Полонский Вяч. Октябрь и художественная литература. — Известия, 1928, 7 ноября.

² См.: Харчев В. В. Реакционная романтическая утопия в прозе 20-х годов: (Сергей Клычков). — Материалы 7-й зональной научн. конф. литературоведческих кафедр... в Поволжье. Волгоград, 1966.

³ Солнцева Н. М. Гость чудесный: Наследие Сергея Клычкова. — Лит. обозрение, 1987, № 5, с. 106.

жем в руках выступал против царизма, будучи на баррикадах в 1905 году под моим руководством на площади Восстания. Эти несколько строк да будут воспоминанием о Клычкове как о прекрасном поэте и стойком борце за права человека».⁴ Более конкретно об этом рассказывает художник в своей автобиографической книге «Мой век»: «В моей студии постоянно собиралась революционно настроенная молодежь... Володя и Митя Волнухины... паровозный машинист Дмитрий Добролюбов, телеграфист Ваня Овсянников и его брат Александр — студент Инженерного училища, Георгий Ермолаев, поэт Сергей Клычков, бронзолитейщик Савинский (большевик) составили костяк будущей боевой дружины... Наша дружина решила забаррикадировать Арбат... Дружина охраняла выстроенные за один день баррикады от ресторана „Прага“ до Смоленского рынка. Ночевали у меня на чердаке... Десять дней держали мы в своих руках Арбат...»⁵ Что же касается социальных убеждений поэта, то друг его юности литератор П. А. Журов (1885—1987) охарактеризовал их следующим образом: «По социальному самоопределению можно считать его крестьянским социалистом-народником... Народ, труд, творчество, равенство, свобода — были для него понятиями одного ряда. К социалистической революции он относился сочувственно, как к историческому праву, как к великому пролому в народное будущее...»⁶

В 1906 году состоялся и литературный дебют недавнего участника боевой дружины: в альманахе «На распутье» публикуются четыре его стихотворения, по содержанию которых «можно судить о революционных настроениях семнадцатилетнего Клычкова».⁷ В 1911 году (фактически в 1910-м) выходит и первый сборник стихотворений поэта «Песни», предваряемый пожеланием от издательства («Альциона») «молодому и полному жизни» поэту, «чтобы юный весенний побег не засох и стал густолиственной ветвью древа русской поэзии».⁸

Участие в боевой дружине и выход этого сборника уже знаменуют собой тот кажущийся разлад между поэзией и действительностью, который приводит на память слова А. Фета о том, что как человек он — «одно дело, а как поэт — другое».⁹ Проявился же этот кажущийся и приведший в дальнейшем к роковым последствиям разлад в следующем. Талант поэта — выходца из трудящихся слоев народа, участника революции, «крестьянского социалиста-народника» — непременно, казалось бы, должен был развиваться в направлении осмысления и отображения тех социально-исторических невзгод деревенской жизни, которые В. И. Лениным были определены как разрушение под гнетом капитализма «всех „устоев“ деревенского быта», «невиданное разорение, нищета, голодная смерть, одичание».¹⁰ Именно по этому пути пошли многие поэты — выходцы из социальных низов, в частности Д. Бедный, П. Орешин, Г. Деев-Хомяковский, М. Артамонов и др. С Клычковым этого не произошло. Его поэтический дар, как и талант одновременно выступившего с ним Николая Клюева, а чуть позже Сергея Есенина, получил развитие в несколько ином направлении, а именно: поэтизация гармонической основы крестьянского бытия и мироощущения, уходящего в глубины национальной духовной культуры и памяти.

⁴ ИМЛИ, ф. 67, оп. 1, ед. хр. 18.

⁵ Коненков С. Т. Мой век. М., 1972, с. 136, 137.

⁶ Журов П. А. Две встречи с молодым Клычковым. — Русская литература, 1971, № 2, с. 151.

⁷ Солнцева Н. М. Указ. соч., с. 111.

⁸ См.: Клычков Сергей. Песни. М., 1911, с. 5.

⁹ Страгов Н. Заметки о Фете. — В кн.: Фет А. А. Полн. собр. стихотв. СПб., 1912, с. 18.

¹⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

Земледельческая поэзия, восходящая в европейской литературе к Буколикам Вергилия и далее к Гесиоду, в России развивалась уже с конца XVIII века, но определялась в основном бытовыми и социальными мотивами. Лишь к середине XIX века достигает она высокого лирического звучания в «песнях» А. Кольцова, а в 10-е годы XX века, с появлением вышеупомянутых поэтов, обретает подлинно философскую глубину и достигает уровня общенациональной и мировой литературы.

В 1913 году выходит второй сборник Клычкова «Потаенный сад», в центре которого два непростых образа — Дед и Лада. Природа обоих двойственна: это и реальные крестьяне, и одновременно пантеистические существа — воплощение природных сил, образы, уходящие в языческую мифологию.¹¹ Поэзия эта вовсе не давала, однако, повод расценивать ее лишь как далекую от исторической действительности. Напротив, в большинстве отзывов на первые книги поэта утверждалась мысль о бесспорной связи поэзии Клычкова с активным началом эпохи. Прежде всего отмечалась деревенская свежесть входящей в отечественную поэзию музыки. «Клычков — прелестный и нежный поэт, — писал в своей рецензии Вяч. Полонский. — У него безупречная рифма, певучая легкость стиха, непринужденная песенность размеров... Все это молодо, свежо, радостно и так странно на фоне наших серых дней».¹² «Здоровым ароматом деревенской шири и черноземных полей веет от простых и ясных строк Сергея Клычкова»,¹³ — отмечал другой критик.

Однако единодушия в оценках не было. Не принял поэзию Клычкова М. Горький, с которым поэт познакомился лично в 1910 году, когда приехал на Капри вместе с покровительствовавшим ему М. И. Чайковским, братом композитора.¹⁴ Она показалась Горькому и далекой от заветов реализма, ревностным поборником которого он выступал в этот период значительного влияния в русской поэзии символизма, и, что более всего представлялось ему предосудительным, проникнутой идеалистической образностью, и просто стилизованной. Об этом он писал в 1913 году с Капри Д. Семеновскому, предостерегая его от увлечения стихами «Клычкова, Ключева и подобных им — людей весьма даровитых, но мало-серьезных и еще *не поэтов*» и удерживая от стремления «быть поэтом прекрасной дали, грядущего эдема, града невидимого»: «Все это — дрянь, модная ветوشь, утрированный лубок и даже языкоблудие... Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть вон из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти „дали“, „эдемы“, „фиалы“, дохлых „Прекрасных Дам“ и прочую дребедень... Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая — ни меня, ни Клычковых, никого!»¹⁵

Не были приняты стихи молодого поэта и А. Блок, хотя и совершенно по другим мотивам. О его «песнях» Блок самому автору писал: «Не скажу, чтобы они были мне близки, нет надобности их вспоминать.

¹¹ «Лада — великая богиня весенне-летнего плодородия и покровительница свадеб, брачной жизни... Первые песни в году с обращением к Ладe поются во время „заклинания весны“... Все остальные обряды с исполнением песен в честь Лады неразрывно связаны с весенне-летним аграрно-магическим циклом молений о дожде, праздников зеленя, первых всходов, первых колосьев и т. п. Замыкается этот цикл периодом колошения яровых хлебов в июне месяце. Последним сроком являются купальские празднества летнего солнцестояния; после этого молитвенные обращения к Ладe прекращаются» (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 407, 401, 402).

¹² Полонский Вяч. С. Клычков: Потаенный сад [рец.]. — Новая жизнь. 1913, № 12, с. 198.

¹³ Смелский В. С. Клычков: Потаенный сад [рец.]. — День, 1913, № 277, с. 7.

¹⁴ См.: Журов П. А. Указ. соч., с. 149; Клычков Сергей. Серый барин. Харьков, 1927, с. 17.

¹⁵ Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 29, с. 315, 316.

Поется Вам легко, но я не вижу в песнях насущного». ¹⁶ Отзыв этот требует разъяснения, поскольку другие поэты — выходцы из крестьянства — нашли у автора глубоких лирических откровений о Родине и России признание и литературную поддержку, например писатель-самоучка из курских крестьян Пимен Карпов, который, по словам С. Городецкого, «взволновал» Блока. ¹⁷ Блок отозвался рецензией и на его роман «Пламень» (1913). Среди таких поэтов был и «олонецкий крестьянин» Николай Клюев, отрывки из писем которого в силу их важности Блок цитировал в своих статьях «Литературные итоги 1907 года» (1907) и «Стихия и культура» (1908), личную встречу с которым в 1911 году определил как «большое событие в моей осенней жизни» ¹⁸ и которого к концу своей жизни назвал «единственным истинно народным поэтом». ¹⁹ Но эти оценки и признания были глубоко мотивированы идейно-творческой эволюцией самого Блока, для которого в «грозе и буре» первой русской революции померкло, заслоненное «неверными дневными тенями», лазурное царство «Прекрасной Дамы», а юношеское упоение соловьевским «нетленным космосом красоты» сменилось пристальным вниманием к реальному миру русской действительности между двумя революциями (1905—1917) с его роковыми противоречиями: «стихия и культура», «народ и интеллигенция». Их разрешение виделось Блоку на пути религиозно-нравственного очищения, в котором покаяние перед народом интеллигента-барина и даже полный уход и растворение в народной толще (как в случае с близкими Блоку поэтами-символистами Л. Семеновым и А. Добролюбовым) стояли на первом месте. Поэтому Блок чрезвычайно чутко реагировал на то, что, будучи связано со «стихийной» народной культурой, самым решительным образом, со всею актуальностью выражало идеологию последней и воздействовало на совесть ответственного за народные страдания привилегированного сословия, к которому принадлежал он сам. П. Карпов и Н. Клюев, при всей разноталантистности их талантов и неодинаковости отношения к ним самого Блока, и были как раз представителями и выразителями этой остросоциальной стороны крестьянской идеологии.

Здесь было и резкое обличение интеллигенции в ее забвении коренных основ национального бытия, и осуждение ее преступного равнодушия к тяготам народной жизни, замалчивания «великой трагедии русского землероба» (из письма П. Карпова В. Розанову), ²⁰ и слово «братского» всепрощения, например в письме Клюева Блоку: «Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас». ²¹ Сам Блок видел в Клюеве духовного борца и пророка народной России, живущей, как представлялось петербургскому поэту, не по догмам официальной церкви, а по заветам раскольничьего «сжигающего» Христа. «Клюев служил для него эталоном честности и гражданственности, его мнением Блок поверял свои собственные поступки... Не случайно именно Клюеву, в известной мере воплощавшему для него русский народ, рассказывал он о „греховности“ своей жизни и каялся в своем „беспутстве“». ²²

Клычков же, будучи выходцем из той же крестьянской России и даже, как П. Карпов и Н. Клюев, из староверской семьи, в своей поэзии отнюдь не был выразителем «взвихренной» и «огненной» России, раз-

¹⁶ Блок Александр. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1963, т. 8, с. 434.

¹⁷ См.: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980, т. 1, с. 338.

¹⁸ Блок Александр. Собр. соч.: В 8-ми т., т. 7, с. 70.

¹⁹ См.: Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 191.

²⁰ См.: Куняев Станислав, Куняев Сергей. Товарищи по чувствам, по перу... — Прометей, 1987, № 14, с. 319.

²¹ Лит. наследство, 1987, т. 92, кн. 4, с. 495.

²² Азадовский К. М. Письма Н. А. Клюева к Блоку. — Там же, с. 440.

думья о которой рождали у Блока прилив гражданской скорби и побуждали его искать пути нравственного очищения и духовного самоусовершенствования, дабы быть достойным России и ее многострадального народа, народа-подвижника. Скорее наоборот, безмятежный мир ранней поэзии Клычкова мог напомнить Блоку лишь его собственную, оставленную позади гармонию царства «Прекрасной Дамы», которое уже не могло казаться ему «насушным».

Но поэзия Клычкова была созвучна другой стороне народной жизни и даже тому подъему народного самосознания, который наметился в России после 1905 года, — в ней воскресала забытая со времен Кольцова поэтизация положительных, светлых сторон крестьянского труда, представавшего в послекольцовском стихотворчестве поэтов-самоучек лишь в негативных определениях (подневольность, тягостность, безнадежность и пр.).

У Клычкова — другое: как бы ни было тяжело социальное положение земледельца (зависимость от помещика, пристава, попа), все-таки не всецело этими отношениями определяется основной смысл его жизни, забот и дел — для него оставались еще взаимоотношения с природой, землей-кормилицей. Кольцов сопровождает выезд своего пахаря смягчающим социальную дисгармонию его жизни восходом солнца: «Красавица зорька в небе загорелась, Из большого леса Солнышко выходит».²³ Не обделяет солнечной лаской своего Деда-землепашца и Клычков: «В седины его впились Солнца раннего лучи!» У него «славны думы за сохою! Светлы очи пред зарей».²⁴ Проводя своих героев по кругу сельскохозяйственного календаря, поэт запечатлевает самые разнообразные моменты их бытия и быта в трудовой гармонии с природой, чему соответствуют и сами заглавия стихотворений: «Половодье», «Дедова пахота», «Дед отборонил», «Дед с покоса», «Хлеб зорится», «Дед овин сушит». К концу цикла стихотворений «Кольцо Лады» земледельческие труды Деда постепенно исчерпываются, и герой уходит со страниц книги, в то время как природа еще остается, поскольку ее жизнь не прекращается. Ее и воплощает всецело становящаяся теперь героиней цикла Лада, но уже не как крестьянская девушка, а как существо, выявляющее потаенную связь человека с природой. Закончив свое календарно-земледельческое бытие, она, подобно Снегурочке, погружается в благодетельный сон отдыхающей флоры, сливаясь своим обликом и с цветом обкошенного луга, и с белесоватостью осеннего тумана.

Концепцией глубинного, языческого родства между человеком и природой предопределялась и сама цельность поэтического мира ранних книг Клычкова, который предстает в них «не просто идеальным, гармоничным... а вечным и бесконечным миром, уходящим своими корнями глубоко в прошлое».²⁵ За свою способность воссоздавать мироощущение далекой старины Клычков прослыл среди современников поэтом, «богатым давними отложениями памяти в крови» (Журов — «Лесная тропа», 1920-е годы).²⁶ А. Воронский советовал К. Зелинскому послушать в стихах Клычкова, «как говорит Русь шестнадцатого века».²⁷

Таков мир ранней поэзии Сергея Клычкова, выросший на почве песенных и мифологических элементов фольклора, глубоко созвучный художественным исканиям в области национального самовыражения в искусстве начала XX века. От патриархально-пантеистической грезы этого

²³ Кольцов А. Стихотворения. Л., 1948, с. 128.

²⁴ Клычков Сергей. Потаенный сад. М., 1913, с. 61, 62.

²⁵ Селицкая З. Я. К вопросу о соотношении книги стихов и лирического цикла (С. Клычков. «Песни»). — В кн.: Сюжет и художественная система. Даугавпилс, 1983, с. 151.

²⁶ ИРЛИ, Р I, оп. 8, № 32.

²⁷ Зелинский К. На рубеже двух эпох. М., 1962, с. 182.

мира поэта пробуждают драматичнейшие события реальной истории, одновременно с которыми открываются и новые страницы его творческой биографии. Первое из этих событий — начало империалистической войны. «Первый выстрел будто разбудил, ошеломил, накинулся на меня, как вор на дороге жизни, и сделал меня из богача нищим. Чувство какой-то роковой странной душевной опустошенности не покидает меня по сие время»,²⁸ — пишет он в эти дни своему другу. Призванный уже в сентябре в действующую армию, Клычков проводит затем в окопах войны целых три года. Вопреки ожиданию С. Городецкого увидеть «поэта-воина» «с огнем войны в черных глазах», с «победой и песнями»,²⁹ Клычков не написал не только ни одного ура-патриотического, но и вообще никакого стихотворения о войне.

За империалистической войной последовала революция 1917 года, которую Клычков вместе с другими поэтами крестьянской «купницы» встретил восторженно. Вскоре революционная настроенность приводит Клычкова (уже в Москве) в Пролеткульт, в канцелярии которого он некоторое время служит. Время сотрудничества с Пролеткультом отмечено участием поэта в создании текста известной «Кантаты» (совместно со своим собратом по крестьянской «купнице» С. Есениным и пролеткультовцем М. Герасимовым), исполнявшейся 7 ноября 1918 года при открытии мемориальной доски работы С. Коненкова в память павших героев Октября. Ее символическое изображение увековечено было впоследствии в поэме Маяковского «Хорошо!»: «Стена — и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной».³⁰ На торжестве присутствовал В. И. Ленин. Три части — три автора. Каждый развивал свою самостоятельную тему. Зачин был герасимовским. В нем видный поэт-пролеткультовец обращался к угнетенным с призывом подняться на «последний бой» с миром зла и насилия. Есениным была написана средняя часть. В ней утверждалась мысль об «оптимистической трагедии» победившего народа. Третья, клычковская часть, по словам современного исследователя, «раскрывает гуманистическую основу „нового дня“, утвержденного вековым народным страданием». Далее следует, на наш взгляд, довольно верное определение сути революционного пафоса Клычкова: будущее в его части «Кантаты» «предстает как мир всеобщего братства, основанный не на социальном равенстве, а на всеобщей любви друг к другу. Ради этого братства и гибнут люди...».³¹

В том же 1918 году в соавторстве с теми же Есениным, Герасимовым и с Н. Павлович Клычковым был написан и киносценарий «Зовущие зори», носящий явную печать «социального заказа». В довольно паивной и схематичной, но с воодушевлением разработанной форме авторами была сделана попытка показать пути в революцию своих классов. По воспоминанию Н. Павлович, представлявшей в этом творческом коллективе бывшую «буржуазную среду» в качестве «романтической интеллигентки» (в сценарии она явилась прототипом Веры Павловны Рыбнищевой, вместе со своим мужем белым офицером переходящей на сторону пролетариата), Клычков «делился» своими социальными приметам с крестьянским парнем Саховым, становящимся в киносценарии «одним из безымянных героев революции». Содержалась в этом герое, по заверению писательницы, и малая черточка от Есенина, а именно «палет мягкого юмора».³² Образ же главного героя — волевого и идейно зака-

²⁸ Цит. по: *Журов П. А.* Указ. соч., с. 154.

²⁹ *Городецкий С.* Поэт-воин. — Биржевые ведомости, 1914, 14 сент.

³⁰ *Маяковский Владимир.* Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М., 1958, т. 8, с. 317.

³¹ *Мекш Э. Б.* «Кантата» М. Герасимова, С. Есенина, С. Клычкова: (Сюжет и композиция). — В кн.: Вопросы сюжетосложения. Рига, 1976, сб. 4, с. 160, 163.

³² *Павлович Н. А.* Как создавался киносценарий «Зовущие зори». — В кн.: Воспоминания о Сергее Есенине. М., 1975, с. 212, 213.

ленного рабочего Назарова — всецело создавался на основе биографических данных М. Герасимова.

Вообще же 1918 год был для Клычкова едва ли не самым плодотворным в его общественной деятельности. Совместно с С. Есениным, А. Белым и П. Орешиним он участвует в организации книгоиздательства «Московская трудовая артель художников слова» (МТАХС), в оформлении продукции которого выразительно подчеркивалась ориентация на революционную новизну: 1918 год издания, например, сборников Клычкова «Потаенный сад» и «Дубравна» обозначался как «2-й год 1-го века»; маркой издательства служил рисунок, изображающий петуха, как бы пробуждающего своим криком крестьянскую Россию к новой жизни.³³ В его планы входит и создание (вместе с Есениным) монографии о С. Коненкове. Намерение осталось нереализованным, и лишь тогда же напечатанную статью Клычкова «К скульптурам Коненкова» (в журнале московского Пролеткульта «Горн») можно считать осуществленной частью этого замысла.

Сотрудничество с Пролеткультом свидетельствовало о несомненной масштабности восприятия Клычковым революции. Ему вполне была понятна и ее пролетарская сущность, и поэзия ее пролетарских певцов, о чем, например, свидетельствует его рецензия на пролеткультовский сборник «Завод огнекрылый», в которой он, в частности, называет М. Герасимова «первым пролетарским и истинным поэтом, вестником новой эры в искусстве — эры пролетарского коллектива».³⁴ Но и интересы земледельца, разумеется, учитывались. В том же 1918 году вместе с Есениным, Орешиним и Коненковым он подписывает «Заявление инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при московском Пролеткульте». Цель образования секции определялась как «создание таких условий» для выявления «творческих сил крестьянства», при которых будет «обеспечен минимум нравственных и моральных страданий и препятствий».³⁵ И хотя это предложение было отвергнуто, оно остается весьма показательным документом в истории общественно-литературного движения 20-х годов.

Приняв революцию как историческую неизбежность и возмездие, каждый из новокрестьянских поэтов по-своему истолковал ее суть и запечатлел ее облик. Главную особенность преломления темы революции Клычковым следует определить как *выдержанную одноплановость* по сравнению с достаточной многогранностью ее отображения и осмысления у других близких Клычкову поэтов, и прежде всего Клюева. Свою изданную после революции книгу «Медный кит» (1919) Клюев в «Присловье» к ней называет «пурговым звоном народного песенного слова», в чем несомненна перекличка с блоковскими образами метели и ветра как символами народного мятежа. При достаточной мифологичности образов этого сборника противоборствующие силы революции названы в нем вполне конкретно: с одной стороны, это «черные белогвардейцы», «кутейные змии» — духовенство, преуспевавшие в прежней жизни «хлыщи в котелках и мамыши в батистах, С битюжьей осанкой купеческий род»,³⁶ с другой — узнающиеся «по солнечным взорам» бойцы революции, «сермяжные советские власти». Не останавливается он даже перед хвалой пулемету, «не сытому кровью... батистовых туш».

³³ Подробнее об издательстве МТАХС см.: *Базанов В. В.* Сергей Есенин и книгоиздательство «Московская трудовая артель художников слова»: (1918—1920). — В кн.: Есенин и современность. М., 1975.

³⁴ *Лешенков С.* [Клычков С.] Завод огнекрылый [рец.]. — Горн, 1918, № 1, с. 84.

³⁵ См.: *Есенин С. А.* Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1980, т. 6, с. 212.

³⁶ *Клюев Николай.* Медный кит. Пг., 1919, с. 26.

Глубоко социальна и поэзия П. Орешина первых лет революции. В ней слышится голос представителя крестьянских бедняцких масс, ожидающих реальных благ от исторической нови: «Вывози наши избы и пашни Из болота, торжественный май!»³⁷ Немало стихотворений посвящено поэтом и революции в городе, жизни, борьбе и гибели рабочего. Даже у Есенина, при всей романтичности его первоначального восприятия февральских и октябрьских событий, мифологичности его революционной символики в поэмах «Преображение», «Пришествие» (1917), «Иорданская голубица» (1918), «Пантократор» (1919) и др., имеется поэма «Товарищ» (1917), герой которой вполне исторически конкретен. Он сын рабочего, погибшего в февральские дни 1917 года, когда «с вешнею полымью Вод Взметнулся российский народ...». Назван здесь герой нерусским именем Мартин, вероятно, с целью подчеркнуть пролетарский, интернациональный смысл русской революции. С наименьшей определенностью выявлен и ее социальный смысл: умирающий отец завещает сыну стоять «за волю, За равенство и труд!...»³⁸

Ничего подобного нет в клычковской «Дубравне» — первом после-революционном сборнике поэта. Знаменательно уже то, что составлен он из стихотворений, написанных частично еще в предреволюционные годы. Этим явно утверждалась мысль о том, что именно их содержание и проблематика наиболее существенны в истолковании истинного смысла свершившейся в России революции. В чем же этот смысл, если исходить из концепции «Дубравны»?

По первому впечатлению, это книжка лирики, вполне соответствующая тогда же высказанному суждению поэта о неизбежном отграничении мира искусства от реальной действительности: «...ведь одно дело носить красные флаги по улице и совсем другое дело писать о них стихи. На улице их колышет ветер, делает похожими на невиданных птиц, в сборнике же стихов без этого вольного ветра эти знамена, как в темном чулане, беспомощно обвисают и, как мертвые, прижимаются к мертвому дереву».³⁹ И действительно, это была книжка стихов, со страниц которой к читателю сквозь «пурговый звон» тех лет доносился голос поэта — одинокого странника, друга мирной сельской тишины. Это был голос, не столько, казалось, направлявшийся к современнику, сколько уходивший в глубины мировой лирики и там перекликавшийся с буколиками Вергилия и одами Горация, где он, собственно, и зародился, переносясь впоследствии в поэзию все новых и новых поколений и оформившись затем уже в целую философическую концепцию бытия на лоне природы. Развиваемый с самых первых сборников мотив интимной уединенности поэта с природой звучит и в «Дубравне»:

Милей, милей мне славы
Простор родных полей,
И вешний гул дубравы,
И крики журавлей.⁴⁰

Новизну же звучания этого старого мотива образует то, что сопрождаются теперь образы этих родных полей и дубрав горьким предчувствием разлуки с ними как разлуки с крестьянской Русью. Вот этот-то мотив и становится доминирующим в восприятии Клычковым революционной эпохи как в лирике, так затем и в прозе. Исключение составляет в некотором роде лишь публицистика.

«Прощальное сияние», «Предчувствие» — таковы заглавия разделов «Дубравны». Тема прощания с уходящей Русью получает здесь исклю-

³⁷ Орешин Петр. Дулейка. Саратов, 1919, с. 60.

³⁸ Есенин С. А. Собр. соч.: В 6-ти т., 1977, т. 2, с. 26, 27.

³⁹ Лешенков С. [Клычков С.]. Завод огнекрылый, с. 83.

⁴⁰ Клычков Сергей. Дубравна. М., 1918, с. 6.

чительное развитие. Все окружающее представляется поэту притихшим перед чем-то роковым и неизбежным, затаившим грусть, причина которой в общем-то ясна:

И думаю: кончится сказка,
Погаснет пастуший грудок,
Замолкнет волынка подпaska,
Зальется фабричный грудок!..⁴¹

Как бы понимает это и сама природа: «задумались ивы», «И сгустила туман над полями Небывалая в мире печаль...». Прощающийся со своей крестьянской родиной поэт проходит по ней в привычном облике странника: «Я иду за плечами с кошелкою, С одинокою думой своей...».⁴² Встречается на этом пути теперь он уже не столько с мифологическими спутниками своей ранней лирики, сколько с реальными людьми уходящей с революционным обновлением в прошлое Руси: «странниками», «странницами», «плотогонами», «усталым пахарем», у избы которого ему отрадно постоять в ночи и послушать мирное воркование снов.

Но и в этом сборнике поэт продолжает оставаться только романтиком, только «очарованным странником». Вплоть до сборника «Домашние песни» (1923) в его стихах почти отсутствует биографический элемент. Характерный пример этого — стихотворение «В далеком захолустье...», где мотив скитаний и возвращения на родину сопровождается строкой: «Вернулся я из битвы...». Понимать ее следует, вероятно, в биографическом смысле: поэт действительно воевал. Упоминаются и «погибшие». Но как показателен при этом контекст: «Гляжу я, как туманы Плывут с сырой земли Ко всем погибшим рано, почиющим вдали».⁴³ Поразительная сдержанность в отображении факта биографии, факта истории. Из всей богато прожитой к тридцати годам жизни (два юношеских года в Италии, три года войны, революция, приговор к расстрелу у белых)⁴⁴ поэт дает просочиться в тоненькую книжку своей лирики лишь тому непреходящему, что прочно связывает его с вечным, внеисторическим, поглощающим всякие биографии и саму историю миром природы. И не случайно все эти «погибшие рано» и «забытые юные» упоминаются здесь лишь наравне с «туманами» и «брезжущим» «в высях лунных» светом. И они сами, и картины их жизни и смерти — все это, уже перегоревшее, погружается теперь в вечный покой «полесной» глуши. Осознавший, вероятно, и сам неполноту такого сугубо «пантеистического» сохранения памяти о своих погибших однопольчанах, обратится Клычков вскоре к прозе, где они предстанут во всей своей конкретности и на реальном историческом фоне («Сахарный немец», 1925).

Возвращаясь к основной теме «Дубравны», теме «прощания», необходимо отметить, что в отдельных стихотворениях о своей «лесной сторонке» поэт вспоминает уже как о далеко оставленном крае, «где бубенчики желтые плавают И в осоке русалки живут...».⁴⁵ В другом случае ему как бы въявь открывается некая мистерия перехода нынешней «призрачной Руси» в свое какое-то другое существование. Именно к стихам Клычкова обращается Есенин в своем эстетически-философском трактате «Ключи Марии» (1918), иллюстрируя мысль об исключительном не только историческом, но и космическом динамизме современной эпохи: «Жизнь наша бежит вихревым ураганом... вихрь, затаен-

⁴¹ Там же, с. 16.

⁴² Там же, с. 17.

⁴³ Там же, с. 41.

⁴⁴ См.: *Старцев Иван. Мои встречи с Есениным.* — В кн.: Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. М.; Л., 1926, с. 64—65; *Тарсис В. Современные русские писатели.* Л., 1930, с. 107.

⁴⁵ *Клычков Сергей. Дубравна,* с. 51.

ный в самой природе, тоже задвигался нашим глазам, и прав поэт, истинно прекрасный народный поэт Сергей Клычков, говорящий нам, что

Уж несется предзорная конница,
Утонувши в тумане по грудь,
И березки прощаются, клонятся,
Словно в дальний собралися путь.

Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорная конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами». ⁴⁶

Сборник «Дубравна» представляет собою как бы переходное звено между ранней и поздней лирикой поэта. В нем, с одной стороны, малоллюдный прежде клычковский мир обретает уже более четкий след человеческого присутствия, а с другой — все еще сохраняется отзвук мифологии ранних книг поэта, еще продолжается его роман если уже не с Ладой, то с ее «сестрой», «дочерью зари» Дубравной. Именно она — последнее мифическое существо, встречаемое поэтом в его «прощальном бродяжничестве» по уходящей Руси.

Итак, поэзия Клыčkкова первых лет революции обогатилась лишь единственным мотивом — мотивом прощания с «уходящей» Русью. А это уже немало, особенно если учесть, что мотив этот возобладает вскоре и у остальных поэтов крестьянской «купницы». Охладевает вскоре к своей мечте о единении патриархальной деревни с революционной новью, мечте о мужицком социализме Клюев, который уже в 1918 году в письме к Горькому пишет: «Революция сломала деревню и в частности мой быт; дома у меня всего житья-бытья, что два свежих родительских креста на погосте». ⁴⁷ Клычковские строки из «Дубравны» «Слушай, сердце, повечеру слушай Похоронную песню берез!..» ⁴⁸ подхватывает через два года своей знаменитой строфой Есенин: «Я последний поэт деревни, Скромн в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней Кадыщих листвою берез». ⁴⁹

Следует, однако, сказать, что как гражданин Клычков не был чужд и общему революционному пафосу своего времени, откликнувшись на него в отмеченных выше «Кантате» и киносценарии «Зовущие зори», а также в публицистике. Позитивная роль революции, как и в представлениях о ней других художников-интеллигентов, в частности Блока и Белого, соотносилась им с мыслью о небывалом раскрепощении творческих сил как художника, так и всего народа. В статье, посвященной Коненкову, он пишет: «Великая Российская революция, перетряхнувшая старый буржуазный уклад, раздвигает и перед искусством неизмеримую ширь и даль. В каком государстве, на каком земном полушарии мы найдем что-либо хоть отдаленно похожее на то, что сейчас зреет, копится и нарастает в творческих недрах новорожденной России. То, что вчера лучших людей мысли, искусства увлекало только как золотой миф далекого грядущего, ныне, может, уже облекается живописною плотью, и пусть на этом пути суждены ошибки, падения — все же одна мысль, что мы стоим уже почти у завесы многовековой грезы всего человечества, наполняет сердце новой, неизведанной радостью». ⁵⁰

⁴⁶ Есенин С. А. Собр. соч.: В 6-ти т., 1979, т. 5, с. 189. Есенин цитирует не совсем точно. У Клыčkкова: «Да несется предзорная конница, Утонувши в туманы по грудь — Да березки прощаются-клонятся, Словно в дальний собралися путь!..» (Дубравна, с. 52).

⁴⁷ Азадовский К. Клюев и Горький. — Лит. обозрение, М., 1987, № 8, с. 111.

⁴⁸ Клычков Сергей. Дубравна, с. 44.

⁴⁹ Есенин С. А. Собр. соч.: В 6-ти т., 1977, т. 1, с. 161.

⁵⁰ Лешенков С. [Клычков С.]. Завод огнекрылый, с. 68.

Столь решительное разграничение лирики как отображения глубинных, вне «злобы дня» переживаний души и неизменно откликающейся на исторический момент публицистики еще не говорит о том, что революция действительно никак не воплотилась в клычковской поэзии. Ведь она могла не только клокотать и бурлить в литературе самыми что ни на есть актуальнейшими темами и образами, но и протекать весьма, на поверхностный взгляд, незаметным подводным течением. В «Дубравне», как уже говорилось, это проявилось в драматизации идиллической прежде лирики природы. В следующем сборнике «Домашние песни» (1923) осуществляется уже более радикальный переход от нее к поэзии глубоких житейских раздумий с ее реалистической образностью. Опрощению и материализации подвергается здесь не только природа, но и сам образ лирического субъекта. Утонченный и отрешенный от всего житейского в своих ранних сборниках поэт грезит, он предстает здесь крепким деревенским парнем: «Стал голос хриплый, волос грубый И грузны руки, как кряжи».⁵¹ Если прежде ему знакомы были лишь романы с русалками и Ладами, счастливо уберегавшими его от ошибок и разочарований жизни, то теперь в его лирику входит уже настоящая земная любовь и с нею, как водится, все перипетии «натурального» романа.

Но вместе с тем и в «Домашних песнях» Клычков все еще пытается остаться «чистым» лириком, явно избегающим наделять своего героя сугубо конкретными чертами реальной исторической действительности. Он словно бы хочет доказать, что его герою с избытком хватает того драматизма, который и помимо всяких исторических катаклизмов глубоко присущ человеческой жизни вообще. И тщетно. Историческая актуальность все решительнее заявляет о себе в последних книгах стихов поэта. В «Талисмане» (1927) полумифическая «призрачная Русь» исчезает уже окончательно. В то же время с возрастанием реалистического взгляда на вещи усиливается и мотив конфликтного состояния мира. Однако и здесь радости и огорчения человеческой жизни измеряются как бы вне истории, что совершенно невозможно представить, например, в поэзии Маяковского, Асеева, комсомольских поэтов. Свое осмысление невзгод жизни Клычков соотносит не с проблемами построения социалистического общества и борьбы старого с новым, как у них, а с совершенно иного рода явлениями. Все, что извечно препятствует радости и счастью, — сила внеисторическая. Если для Маяковского причина даже любовной драмы ясна, заключается в том, «что в нас ушедшим рабым вбито»,⁵² то для Клычкова она темна и непреходяща, как неожиданно возникающие между близкими людьми «поутру нелады и ссоры». И в лучшем случае ее можно объяснить возникновением неподконтрольных разуму и воле неких фатальных обстоятельств, что близко пушкинской сентенции «Нас всех подстерегает случай». Следуя традициям фольклора, Клычков эти обстоятельства и «случай» персонафицирует в образе Лиха человеческого. Как и в «Повести о Горе-Злочастии», оно «постылый друг», непрошенный гость, разносящий по свету зло странник. С его приходом в дом прокисает в печи ужин, зашедший поболтать сосед угнетающе молчит «и ты глядишь медведем», не вовремя ночью запоем петух, завоюет пес. Само Лихо то в образе захожего монаха приметя спавать хозяина, то начнет обольщать его невесть откуда взявшейся молодухой, чей «серый глаз светлей воды с колодца И смех свежей, чем первый белый снег...».⁵³ Изначальные, непреходящие и потому необъяснимые силы зла — вот единственное, на что можно указать как на причину жизненных конфликтов и житейских неурядиц.

⁵¹ Клычков Сергей. Домашние песни. М.; Пб., 1923, с. 37.

⁵² Маяковский Владимир. Собр. соч.: В 13-ти т., 1957, т. 4, с. 179.

⁵³ Клычков Сергей. Талисман. Л., 1927, с. 82.

Тема «уходящей» Руси, звучавшая доселе в лирике Клычкова как мифологический мотив («Дубравна»), переходит теперь в тему оскудевания природы родного края. Засвидетельствованная новокрестьянскими поэтами уже тогда, в 20-е годы, экологическая проблема предстает у Клычкова в приметах, не могущих не вызвать тревогу современников. Поэт пытается обратить их внимание и на боязливо льнущего к человеческому жилью «слабого зверя», и на тоскливый, устремленный на дверь взгляд пролетающей мимо птицы («А вдруг да где-нибудь обьедок...»), и на печальный факт обмеления протекающей в родном краю поэта реки Дубны («Как плешь за тростниками мель...»), и на то, что «ни медведей уже, ни рысей, Вот только кошек много зря... И все старей и белобрывей К селу склоняется заря...».⁵⁴

Живя в эпоху захлестнувшей мир яростной борьбы, Клычков в своей лирике являет, однако, пример принципиального отстранения от нее. Это не может не показаться странным, если учесть, что сам поэт, будучи объектом жестоких нападок и прямой травли со стороны идеологов вульгарного социологизма, обладал немалым умением владеть полемическим оружием в своей публицистике. Но только в ней. В лирике же все страсти тогдашней злобы дня глухо проявлялись лишь в тягостном противостоянии некоему постылому внеисторическому злу. И не борьба с ним, а, наоборот, способность выдержать его искушение — характерная черта клычковского лирического героя. На эту тему размышляет он в стихотворении «Дорога кошелка нищему...». Прятать за голенище нож — печальная необходимость даже для нищего. Герою этого стихотворения тоже не мешало бы его иметь, поскольку сам он слаб, «а враг свиреп». И все-таки лучше расстаться с собственной жизнью, «чем в холодный гроб с покойником Живой душою лечь...».

Позиция зрелого Клычкова-художника проявляется теперь и в его размышлениях теоретического характера. В 1922 году им публикуется статья «Утверждение простоты», которая через год в измененном виде будет перепечатана под названием «Лысая гора». «Лысая гора» как место, облюбованное для своего шабаша бесами и ведьмами, явно противопоставляется здесь другой возвышенности из другой мифологии — Парнасу и обозначает суетливую и крикливую разноголосицу современных поэту литературных школ и направлений, манифестирующих свои групповые «истины» на основе формалистических принципов. Нельзя, разумеется, согласиться с крайними выводами автора относительно поэзии Б. Пастернака и В. Хлебникова, но в статье довольно верно определен известный недуг русской поэзии 20-х годов, заключающийся в разделении ее на некие «уделы» и в подмене внутри каждого из них идейно-эстетических задач установками на «технические тонкости, приемы и приемы, алгебру и геометрию».⁵⁵ Таким установкам автор противопоставляет классическую простоту и ясность Парнаса русской поэзии — поэзии пушкинской школы. Он берет такие исходные моменты поэтического творчества, вокруг которых особенно остро разгорались в 20-е годы «методологические» страсти, — слово, образ, стиль, ритмика, «попятность» и «непонятность». Крайняя боязнь «шаблонных», «трафаретных» слов, свойственная, например, футуристам, объясняется здесь попыткой преодолеть внутреннюю опустошенность, «ибо внутренняя опустошенность все же сильнее таланта; вместо того, чтобы помолчать, ожидая часа возмущения воды, поэт выдумывает новую „методологию“, рядится святошником в диковинные слова, за внешней скорлупой которых еще никакого живого зерна не созрело». Кроме того, продолжает автор, «в языке трафаретов нет» (для истинного поэта, разумеется, духовный мир которого

⁵⁴ Там же, с. 140.

⁵⁵ Клычков Сергей. Лысая гора. — Красная новь, 1923, № 5, с. 387.

исключает «внутреннюю пустоту»): «В поэтическом языке старости нет. Все слова молоды — здесь вечно бьет ключ вечной юности, каждое слово у каждого поэта живет по-разному... и все зависит от того, как слово брагуется с другим словом, как оно берется с другим словом за руку, чтобы войти в плавный и величавый словесный хоровод».⁵⁶

Делалось верное замечание и по поводу чрезмерной насыщенности современной поэзии, особенно у имажинистов, образностью, доводящей принцип метафоризации поэтической речи до абсурда: «Образ перестал быть праздником в строке, печальным, чудесным и желанным».⁵⁷ Что же касается вопроса о «понятности» и «непонятности» современной поэзии, то здесь автор «Лысой горы» останавливал внимание на таком парадоксе: «Заумники, имажинисты, центрофужисты, футуристы и все остальные спецы по словесной бессмыслице непонятым языком пишут одни только стихи, но когда им надо декларировать и объяснять, защищаться и доказывать правильность своих творческих методов, их поймет ребенок. Таким образом, теоретические размышления наших эрудитов — как крепкие заборы вокруг пустого места». Наблюдения этого рода завершаются в конце статьи выводом о «гениальной простоте»: «Гораздо легче сказать непонятно, чем ясно и просто, легче выдумать... чем воплотить в простой, живой, осязательный художественный образ человеческую мысль и чувство... в искусстве все-таки ценно и останется жить только то, что прекрасно и просто».⁵⁸

Сам Клычков в своей поздней поэзии выступает тонким интимным лириком, поэтом житейски-философских обобщений, ведущих свое начало от поэзии XIX века, поэзии Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Его поздняя любовная лирика драматична. Поэта тревожит недостаток тепла и любви в человеческих сердцах. Эту ущербность чувств и отношений передают и поэтические детали, воссоздающие мир героя. Когда-то в ранних книгах поэта его герой был всецело погружен в природу, теперь же это преимущественно мир, созданный руками самого человека, жилье и все, что в нем находится, масштабами чего нередко измеряется и его жизнь: ушедшая любовь — оставленным у порога следом, небо — окоемом окна. Поэтизируется теперь не романтическая, а реальная любовь, любовь, подвешивающая в углу зыбку: «И милы желтые пеленки, Баюканье и звонкий крик: В них, как и в рукописи тонкой, Заложен новой жизни лик». Этим итогом любви оправдываются все мелкие и крупные жизненные невзгоды:

И уж не больно и не жутко,
Что за плечами столько лет,
Что на висках ложится след,
Как бодрый снег по первопутку.⁵⁹

⁵⁶ Там же, с. 390—391.

⁵⁷ Там же, с. 391.

⁵⁸ Там же, с. 393—394. Не исключено, что решение Б. Пастернаком проблемы «простоты» и «сложности» в цикле стихотворений «Волны» (1931), где о простоте говорится: «Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им» (*Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 280*), было как бы и ответом на выступление Клычкова в «Лысой горе» против сложности пастернаковской поэзии. О личных взаимоотношениях обоих поэтов почти ничего не известно. Но они оба в 1908—1910 годах учились на одном курсе, хотя и на разных факультетах (Клычков — на филологическом, Пастернак — на юридическом, а затем историческом) Московского университета (*Журов П. А. Указ. соч., с. 149*), оба могли встречаться в 30-е годы в Москве (их мог познакомить Н. Клюев, с которым тот и другой были в дружеских отношениях). Оба в отечественной поэзии остались проникновенными мастерами пейзажной реалистической лирики, к которой Клычков пришел в 20-е годы, расставшись с мифологизацией природы в своих ранних сборниках, а Пастернак — в 30-е, преодолев отмеченное Клычковым в «Лысой горе» обременительное призвание «писать стихи для знатоков» и поистине «впав» в своей поздней лирике, по его собственному признанию, «в неслыханную простоту».

⁵⁹ Клычков Сергей. Домашние песни, с. 49.

В этом новом романе клычковской лирики как бы отражается весь спектр — от идиллии до драмы — любовных отношений. Если стихотворение «Пылает за окном звезда...» все светится тихой радостью семейного счастья, то следующее за ним «Я закрываю на ночь ставни...» звучит уже трагедией одиночества. Помимо закона взаимопритяжения между «одним» и «одной» существует и закон житейских, бытовых поправок и условий к нему. Нередко этот последний оказывается сильнее природного, разводя в разные стороны нашедших было друг друга «одну» и «одного». А истинный, первозданный закон любви теперь лишь в снах и грезах соединяет их, тоскующих в тяжком для обоих одиночестве. Весь образный строй стихотворения «Поутру нелады и ссоры...» представляет собою обыгрывание именно житейски-бытового антуража, заслонившего собой любовь: «И вот слеза едка, как щелок, В озноб кидает мутный смех; И выпвел над кроватью полог, И вылинял на шубке мех...» И то, что притивостоит этой пагубе выцветания, возвращает лирике поэта частицу ее прежней природной стихии, хотя бы эта последняя и проступала всего лишь проросшим «за пологом» «подснежником» — глазами ребенка: «И оба мы глядим пугливо, Как на поток бежит гроза. На берегу цветок счастливый, И у него твои глаза».⁶⁰

Перипетиям любовного романа и раздумьям о смысле человеческой жизни посвящены и многие страницы последней книги клычковской лирики «В гостях у журавлей». В ней ощутимо намерение автора сосредоточить большее внимание на всем зыбком и противоречивом, что существует в жизни. «Лукавая луна» — так озаглавлены ее первый раздел и первое стихотворение. Словно бы игнорируя актуальную для своей эпохи научно-технического прогресса научную информацию об этой планете, поэт вновь в духе древней магии и романтизма готов принять все легенды и разделить все суеверия о ней. Не менее зыбкой, чем лунный свет, представляется поэту любовь. Разгадывая загадку любовных противоречий, поэт пристально вглядывается в черты любимого лица, словно пытаясь уловить непостижимый переход от любовной идиллии к любовной драме. Не так уж часто открываются ему черты любимой в их «дневной», гармонической сущности: это «сиянье влажное ресниц и глаз», «тростинкой согнутая бровь», это глаза, что «круглы и сини Под нежной тенью поволока».⁶¹ Чаще же это черты, искаженные «лживым» лунным светом, в котором губы видятся «как подсохнувшая ранка», глаза стыннут «поддельной эмалью», манят «обманной поволокой», щека «желтей вошины», да и сама «черта овала Чуть заметно покосилась».⁶² Таково это лунное «наваждение В чертах любимого лица».⁶³ Изведена здесь и горечь наблюдения, «как в злой измене Редет и косится бровь».⁶⁴ Допускается даже мысль о том, что не чем иным, как существованием в двух разных мирах, и нельзя объяснить такое непонимание любимыми друг друга:

Я тебя и не зову...
Ты и не поедешь...
Я — во сне, ты — наяву
И ничем не бредишь!⁶⁵

Однако при окончательном выводе касательно превратностей любви и ее печального финала поэт более полагается на голос житейской мудрости, тем более что это позволяет сделать и собственный возраст зре-

⁶⁰ Там же, с. 42.

⁶¹ *Клычков Сергей*. В гостях у журавлей. М., 1930, с. 39, 92.

⁶² Там же, с. 36, 12, 31, 36.

⁶³ Там же, с. 31.

⁶⁴ Там же, с. 54.

⁶⁵ Там же, с. 41.

лости, способность трезво подвести итог пережитого чувства. Ясно, что «ушла любовь с лицом пригожим, С потупленной улыбкой глаз...».⁶⁶ Но ведь душе все-таки остается вся полнота ее былого присутствия, точно так же как осень концентрирует в себе все блага ушедшего лета.

Примирение на этом уровне с ушедшей любовью перерастает и в примирение с уходящей жизнью. В ее утекании согласно размеренному ходу природы, в труженических заботах и семейных хлопотах нет ровно ничего предрасполагающего к пессимизму, не исключая и саму смерть, которую, вернувшись однажды с поля, чтобы под надежной крышей слушать «басок Сбирающейся на ночь бури», вдруг встретишь «как жницу в молодом овсе С серпом, закинутым на плечи», успев при этом с удовлетворением отметить, что с выросшими сыном-женихом и дочерью-невестой не хватает уже за твоим столом «под старую божницей места».⁶⁷

Глубокого философского звучания достигает в последней книге стихов Клычкова тема природы. Уже из приведенных примеров с «любовью», «жизнью» и «смертью» отчетливо проясняется ее этический план. Безграничное доверие к природе, согласованность человеческих действий с ее ритмом поэт считает спасительными для человека. Не нуждающийся ни в каких доказательствах факт этот поэтизировался им в ранней лирике. Но есть ведь иные стороны человеческой жизни: взаимоотношения между людьми, сложность душевных коллизий, осуществление намерений, поступки. Может быть, здесь человек абсолютно независим от природы? На эту тему поэт размышляет в стихотворении «Всегда найдется место...», в машинописи озаглавленном «На смерть Есенина».⁶⁸ Самоубийство перед судом природы не имеет оправдания: «У червяка и слизня И то все по укладу, И погонять ни жизни, Ни смерти нам не надо». Что же касается серьезного учета собственно человеческих обстоятельств такого поступка, то и здесь поэт тонко подмечает его предосудительность:

Пусть к близким и далеким
Написанные кровью
Коротенькие строки
Исполнены любовью —
Все ж в роковой записке
Меж кротких слов прощенья
Для дальних и для близких
Таится злое мщенье.

И потому-то последнее слово и здесь все-таки остается за природой:

Для всех одна награда,
И лучше знают кости,
Когда самим им надо
Улечься на погосте!⁶⁹

Природа становится основной точкой опоры при попытке поэта урегулировать свои конфликтные отношения с современностью и современниками в мире, где возобладали губительные для природы силы технического прогресса. Даже в названии его последней книги стихов подчеркивается мысль о большем содружестве с природой, нежели с людьми, — «В гостях у журавлей». Разрыв с современниками переживается поэтом мучительно, и возникает мысль о поисках чудодейственного слова, которое помогло бы наладить ему контакт с ними («Я устал от хулы и коварства...», «Когда взглядишься в эти зданья...», «Знал мой дед такое слово...»). В одном случае ему хочется найти такое слово,

⁶⁶ Там же, с. 16.

⁶⁷ Там же, с. 18.

⁶⁸ См.: Клычков Сергей. Стихотворения. Париж, 1985, с. 172.

⁶⁹ Клычков Сергей. В гостях у журавлей, с. 74, 75.

чтобы сама природа, открыв свои тайные запоры, впустила его к себе как в убежище: «Скоро я в заплотинное царство, Никому не сказавшись, уйду...»; ⁷⁰ в другом же — он хотел бы пробудить в людях свое собственное понимание природы, долга и ответственности перед нею:

О, если бы вы знали слово
От вышины и глубины,
Вы не коснулись бы покрова
Лесной волшебницы — Дубны...

Не смяли б плечи перекатов
И груди влажных берегов,
Где плыл закат, багрян и матов,
Под звон охотничьих рогов! ⁷¹

Выход из этого исторического одиночества намечается у Клычкова к середине 20-х годов, но уже в прозе, где он ставит перед собой задачу отображения духовно-нравственных исканий русского крестьянства на пути к финальному для его судьбы революционному XX веку. Один за другим выходят романы «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926) и «Князь мира» (1928) — как части задуманного автором пятикнижия о «животе и смерти» русского народа. Десятки характеров, судеб, вовлеченных в водоворот психологических и общественно-исторических конфликтов, проходят по страницам романов. В лирике поэта крестьянская Русь дремлет в колыбели лугов и пашен, здесь же она то доходит до последнего оскудения под гнетом крепостницы Рысачихи («Князь мира»), то изнывает в окопах империалистической войны («Сахарный немец»). Там, в поэзии, деревенский мир почти не знаком с жизненным неблагополучием, здесь же в него вторгаются людские несчастья, драмы, трагедии: вешается, не дождавшись мужа с войны, солдатка Пелагея, гибнет в Волге со своей тройкой последний ямщик края Петр Еремич. «Идет на урон сторона», — с грустью констатирует герой «Сахарного немца» поручик Зайцев. В «Чертухинском балакире», правда, воссоздается мир патриархального прошлого, но и он чужд идиллии, его герои, неукротимые духом правдоискатели братья Андрей и Спиридон, трагически гибнут, входя в конфликт и с официальной религиозной догмой, и с обывательским безразличием к проблеме добра и зла, и с собственными страстями.

В своих романах Клычков задается целью постичь душу крестьянства, постичь философию крестьянского бытия. В том же, что такая философия существует, он не только не сомневается, но считает ее самой глубокой и устойчивой философией в мире. Вот почему, подобно М. Булгакову («Мастер и Маргарита»), он вписывает своих героев в некий универсальный сюжет их земного и одновременно внеисторического, природного бытия, чем и определяется значительный элемент фаптастики клычковской прозы — этого «в своем роде единственного», по словам современника, «в русской литературе явления». ⁷²

Общей для всех романов была ориентация на мир народно-поэтических представлений, мотивов и образов, что нашло отражение уже в символике их названий. Общее название всех задуманных романов было «Сорочье царство». Понятно, что наравне с вороной и галкой сорока — самая деревенская птица, она часто упоминается в фольклоре (пословицы, загадки, частушки). Ей приписывается свойство приносить вести из далекого, неведомого края. Во всех трех романах Клычкова сокровенная мечта большинства героев неизменно обращается к некоему

⁷⁰ Там же, с. 26.

⁷¹ Там же, с. 34.

⁷² Любимов Николай. Несгораемые слова. М., 1983, с. 32.

заповедному «беспошлинному и бесплательному» царству счастливой мужицкой жизни, дорога куда ведома одной лишь сороке. Непроста символика и названия «Князь мира». Именно в нем наиболее резко мечте о «сорочьем царстве» противопоставлен недобрый мир реальности, которым, согласно апокалиптическим представлениям раскольничьих сект, правит не истинный вечный бог, но временный «бог века сего», «князь мира», сатана. Запечатлено народно-поэтическое мировоззрение и в названии романа «Последний Лель» (неполный вариант «Сахарного немца»). Лель — красавец пастух, с избытком наделенный языческой силой природы, погубитель женских сердец. С этим образом в романе Клычкова сопоставим главный герой младший офицер Зайцев. Близость к природе и сила юношеского, притягательного обаяния роднит его со сказочным пастухом. Но есть и другое: в античной мифологии, а также библей образ пастуха неизменно ассоциируется с музыкой, поэзией. Поэтом является и Зайцев: солдаты поют сочиненную им песню, упоминается о рецензии в столичной прессе на его стихи. Не случайно и то, что Лель — «последний», поскольку русской деревне, а следовательно, и ее поэту, по мысли автора, наступает конец. По-иному проступает народно-поэтическая основа в названии романа «Сахарный немец». Где и какого немца мог до «войны с германцем» увидеть безвыездно обитавший среди своих деревенских угодий крестьянин? Разве что съездив под праздник в уездный город, откуда привозил ребятишкам рождественский гостинец — леденцовую барыню или немца — продукт художества провинциального кондитера. Именно таким игрушечным представляется воспаленному воображению Зайцева убитый им без пужды, в момент затишья, немец.

Помимо четырех опубликованных романов давались объявления и о других: «Китежский павлин», «Спас на крови», «Лось с золотыми рогами». В их названиях — напоминание о легендарном, таинственно спасенном от ханского разорения Китеже, намек на апокрифические сюжеты о чудодейственной силе храмов, заложенных на месте певично пролитой крови, и обыгрывание свадебно-песенного образа «Оленя — золотые рога».⁷³

Романы вызвали острый интерес критики, резко разделившейся в их оценке. Часть ее предсказывала их прочное вхождение в литературу. «Когда зайдет речь о крестьянской литературе, — писал в уже цитированной статье Вяч. Полонский, — историк назовет не имя Деева-Хомяковского и даже не П. Замойского, а Сергея Клычкова — самого крупного и замечательного художника, выдвинутого русской деревней».⁷⁴ В качестве «замечательного художника» Клычков очаровал критику (и тут не было разногласий) прежде всего исключительными достоинствами языка. А. Воронский, например, писал о том, что «прекрасна и чиста у писателя наша родная речь... Образы лишены надуманности и наигранности, от них пахнет и вправду лесной стороной».⁷⁵

Однако оценкой языка проищательность критики не исчерпывалась. Отражение мировоззрения трудящихся масс отмечал в прозе Клычкова Д. Горбов, находя его и в «упорном искании правды-справедливости», и в «отвращении к мировой войне», и в «признании производительного труда основной жизненной ценностью», и в «трезвом, язычески-радостном подходе к глубочайшим жизненным проблемам». Признавая в целом историческую несостоятельность утверждаемого Клычковым «мужицкого

⁷³ «Олень, по представлению крестьян, приносил счастье и веселье... В свадебной вологодской песне олень говорит молодцу: „Станешь жениться, на свадьбу приду, Золотым рогом весь двор освещу“» (Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978, с. 163).

⁷⁴ Известия ВЦИК, 1928, 7 ноября.

⁷⁵ Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 1982, с. 227.

социализма всеобщего равенства перед лицом общей кормилицы-земли», этот же критик оправдывал интерес к нему как к «миросозерцанию от сохи»,⁷⁶ т. е. основной части трудящихся масс России.

Наиболее глубокая и пронизательная характеристика дана была Воронским в статье «Сергей Клычков. (Лунные туманы)». Именно он, опережая свое время, обратил внимание, говоря современным языком, на «экологическую» проблематику романов Клычкова, в которых бытие человека неразрывно связано с бытием природы. В атмосфере поэтизации машин, прославления «стальных соловьев» (Н. Асеев) писатель опасался, как бы у современного человека не оказалась «на месте души — гайка» (и самое страшное, что сам он этого может не заметить). Отнесясь с серьезностью к тревоге Клычкова по поводу будущей судьбы природы и сохранения стихийно-естественных связей человека с нею, Воронский писал: «Сетования Сергея Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои основания; его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже своевременны, и от них нельзя легко отмахнуться». Понятна ему и тревога автора «Чертухинского балакиря» по поводу наметившегося торжества «материальной культуры над духом», поскольку, окружая себя «довольством, сытостью, удобствами», человек «угашает духовную жизнь». Но в противоположность ретроспективным стремлениям Клычкова Воронскому разрешение этой проблемы виделось на путях исторического прогресса общества: «Механизация — явление грозное, но выхода следует искать не в „столоверческом“ прошлом, а в социалистическом будущем».⁷⁷

Упреки Клычкову в том, что в своем изображении борьбы между добром и злом он опирался не на столь уж прогрессивные силы и воззрения самого крестьянства, раздавались со стороны и других критиков. В. Правдухин, например, писал, что в романе «Сахарный немец» дана не «субстанция» народного, а одна из ее красочных периферий.⁷⁸ Обращая внимание на изображение в этом же романе солдат, другой критик восклицал: «...где же здесь хотя бы тень боевого, революционного настроения, назревавшего на фронте среди тех же солдат-крестьян и задолго до революции? Нет и следа».⁷⁹ И сами идеалы чудаковатых клычковских героев-правдоискателей, и поэтика их изображения определялись А. Лежневым как «фантастика с ножом в сердце».⁸⁰ Двойственность впечатлений озадачила тогдашнюю критику, вынужденную воспринимать их художественными достоинствами романов и одновременно отмечать их идеологическую сложность, недопустимую в атмосфере категорических суждений и прямолинейных выводов тех лет.

Сложным было отношение к романам Клычкова и со стороны М. Горького. Ко времени их появления в середине 20-х годов, когда проблема деревни и города осмыслялась в обществе и в литературе с особой остротой и напряженностью, Горький принципиально стоял на стороне города. Его отпугивала деревня и своей «рабской» приверженностью к земле, и своими «зоологическими корнями», и своей якобы угрозой городу. В крестьянстве он не видел прогрессивной силы, более того, в письме А. Воронскому от 17 апреля 1926 года высказывался так: «Если бы крестьянин исчез вместе со своим хлебом, то горожанам научился бы производить его в лабораториях».⁸¹ Художник остросоциального

⁷⁶ Горбов Д. Итоги литературного года. — Новый мир, 1925, № 12, с. 146, 147.

⁷⁷ Воронский А. Указ. соч., с. 224.

⁷⁸ Правдухин В. Сергей Клычков: Сахарный немец [рец.]. — Красная повесть, 1925, № 2, с. 286.

⁷⁹ Дивильковский А. На трудном подъеме: (О крестьянских писателях). — Новый мир, 1926, № 7, с. 135.

⁸⁰ Лежнев А. Три книги. — Печать и революция, 1926, № 8, с. 81.

⁸¹ Архив Горького. М., 1965, т. 10, кн. 2, с. 31.

видения мира, всегда в своих произведениях направлявший основное внимание на противостояние и столкновение социально-исторических сил, он и от писателей, берущихся за тему крестьянской жизни, ждал отображения ее как столкновения лишенной исторической перспективы деревни с все более набиравшим силу городом. Именно исходя из этого собирался он одно время писать повесть о Есенине, разбившем «об город некрепкое сердце свое» (рецензия на книгу М. Исаковского «Провода в соломе», 1928)⁸² и отразившем своей судьбой, как утверждалось им несколько позже, «в век расцвета новой жизни, в век железной культуры» «драму глиняного горшка и чугунка».⁸³

Романами Клычкова Горький несомненно заинтересовался с точки зрения того, как разрабатывалась эта тема, тема отступления патриархальной деревни перед утверждающим свои исторические завоевания городом, в молодой отечественной литературе. 31 марта 1925 года Горький писал Клычкову: «Прочитал „Сахарного немца“ с великим интересом. Большая затея, и начали Вы ее удачно... Всюду-всюду встречаешь отлично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, везде звонкий, веселый и целомудренно чистый великорусский язык». Отметив некоторую сырость книги и ее родство с идейно для него неприемлемыми произведениями Н. Златовратского и П. Радимова (идеализация крестьянского быта), Горький заканчивал: «В общем, повторяю, книга показалась мне тяжелой и сырой. Но размер, широта Вашего плана — подкупают... Мне кажется, что я знаю, чего это стоит Вам, и скажу прямо: меня радует, что вопреки всему русский писатель остается тем же смелым и независимым духовно, каким он был. Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о вас, работающих в России. Здесь никто не понимает, как трудна ваша жизнь и в какой героической позиции стоите вы. Говоря „вы“, я, разумеется, исключаю ряд людей, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано. Не сердитесь, дорогой С. А., на этот отзыв о Вашей книге! Иначе я не могу. Я очень жду продолжения!»⁸⁴

На самом же деле отношение Горького к Клычкову-романисту было сложнее, чем это сказалось в письме. Он видел в нем и талантливую русскую художника, что с радостью приветствовал; видел и писателя, подвергающегося нападкам вульгарно-социологической критики. Но Горький видел в Клычкове и чуждого его собственным позициям выразителя интересов крестьянства, о чем и высказывался в письме Ф. Гладкову от 30 октября 1926 года, заключая свои размышления о «Чертухинском балакире» далеко идущими выводами: «Клычков написал книгу хорошую, но художественная ее значимость несколько преувеличена Воронским, а „философская“ — недостаточно освещена. Клычков от „миллионных масс крестьянства“, а мои симпатии навсегда с „ничтожной кучкой“ городского пролетариата и с интеллигенцией... Не скоро — во времени — и не быстро — в движении, а все-таки деревня должна будет идти по путям, пролагаемым „ничтожной кучкой“».⁸⁵ И тем не менее, повторяем, как художника Горький ценит Клычкова очень высоко. Наряду с прозой К. Федина, Л. Леонова, Б. Лавренина и И. Бабеля он советовал начинающим авторам читать и его романы, особенно выделяя «Чертухинского балакиря».⁸⁶ В 1930-е годы, когда печатать оригинальные произведения Клычкову уже не было возможности, Горький содействовал публикациям его переводов.

⁸² См.: Известия, 1928, 27 янв.

⁸³ Правда, 1928, 9 июня.

⁸⁴ Цит. по: Revue des études slaves, 1981, LIII/2, p. 258.

⁸⁵ Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 29, с. 482.

⁸⁶ См.: Архив Горького. М., 1976, т. 14, с. 395, 418.

Что же касается корреспондентов Горького, с которыми он переписывался по поводу прозы Клычкова, то их отношение к автору «Сахарного немца» и «Чертухинского балакиря» тоже было «свое». Пришвин признавался, что клычковская тема гармонии человека и природы — это и его собственная тема, что «она не использована в русской литературе, и появление такой книги («Чертухинского балакиря», — А. М.) есть новое доказательство, что гений наш человеческий не может быть уничтожен, а если он бывает подавлен, то выпрет свое, не считаясь с эпохой». Но вместе с тем клычковское неприятие технического прогресса, отторгающего человека от природы, определялось здесь Пришвиным как «злоба на цивилизацию», хотя и о самом себе при этом автор высказывался как о человеке, не желающем «вступать в мещанский брак с электричеством».⁸⁷ Гладков же в своем письме Горькому от 25 января 1927 года всецело отвергал Клычкова как представителя некой рафинированной литературы, чуждого интересам строительства «новой жизни»: «Теперь один из основных лозунгов нашей страны такой: „Без культуры нельзя построить социализма — двигайся неустанно к высшим ее ступеням“. И когда я слышу таких писателей, которые чванятся своей „культурностью“, как Булгаков, Клычков или бывший большевик Эренбург, мне горько, мне невыносимо от их, извините за выражение, блевотины, которую они изрыгают на наше „бытие“, на людей, которые, жертвуя собой, строят новую жизнь на основах высокой культуры и справедливости».⁸⁸

В целом, однако же, при серьезном подходе к творчеству Клычкова принималась в расчет сложность поставленной писателем перед собой задачи — раскрыть духовный мир крестьянина, каким он сложился в веках, со всеми его светом и тьмой, взлетом мечты и мировоззренческими заблуждениями. Без фантазий и утопий, разумеется, здесь было не обойтись. Они были присущи сознанию крестьянства исторически. И потому-то в письме от 5 апреля 1926 года тогдашнему редактору «Нового мира» Вяч. Полонскому И. Скворцов-Степанов высказывал свое несогласие с купюрами, допущенными при напечатании в этом журнале «Чертухинского балакиря»: «Если Вы руководствуетесь при этом соображениями о том, что нас обвиняют в „содействии суевериям“ и т. п., я опять повторю Вам: охотно возьму на себя *полную ответственность* перед партией за такую „религиозную пропаганду“, прямо заявлю всем и каждому, что я настаивал, что я давил на Вас в таком направлении. На всякий случай я делаю „подготовку“: заставил прочитать „Балакиря“ Калинина, надеюсь заставить прочитать Енукидзе и т. д.».⁸⁹ Также «ничего политически недопустимого» не находил и Луначарский в представленном Клычковым в ГИЗ резюме своего продолжения «Князя мира».⁹⁰

В противоположность этим положительным и «сложным» оценкам полностью в штыки было принято творчество Клычкова со стороны рапповской и близкой к ней критики. Игнорируя заключенный в романах писателя глубинный смысл и превратно истолковывая интерес автора — при разгадывании мужицкой психологии — к «тайнам бытия» и «темным силам мироздания», рапповцы подходили к проблемам осмысления крестьянской жизни с позиции вульгарного социологизма. С особым упорством преследовал писателя сотрудник Комакадемии и ИКП (Института красной профессуры) О. Бескин, составивший даже «спецификум классового лица С. Клычкова». В его статьях «Россияне» (1928),

⁸⁷ Лит. наследство, 1963, т. 70, с. 337.

⁸⁸ Там же, с. 88.

⁸⁹ Новый мир, 1964, № 5, с. 212.

⁹⁰ См.: ЦГАЛИ, ф. 2208, оп. 2, ед. хр. 653.

«Певцы кулацкой деревни» (1930), в книге «Кулацкая художественная литература» (1930) Клычков (вкуче с Ключевым и Есениным) — главная одиночная фигура; специальной проработке клычковской прозы с рапповской позиции посвящает он статью «Бард кулацкой деревни» (1930). Немудренный, но чрезвычайно боевитый «анализ» лирики и всех трех романов Клычкова сводится здесь к разоблачению якобы злоумышленного пропагандирования писателем реакционных, близких самодержавию идей патриархального прошлого, церковной и языческой мистики, «реакционной» идеализации природы, национализма и более всего пахотно-кулацкой идеологии. На обличение последней особенно не жалелось формулировок и выражений: Клычков принадлежит к «кулацким писателям», которые «с пеной у рта, с оскаленными клыками» поносят все новое,⁹¹ он несомненно «из них самый выразительный и последовательный».⁹² Его имя навязчиво сопровождается эпитетом «мракобесный» («клычковское мракобесие», «мракобесные рассуждения» Клычкова), а самому ему через непрямую авторскую речь (якобы результат исследовательских проникновений критика) приписываются такие определения, как «бесовский социализм», «бесовское большевистское царство» и т. п. Что же касается самого «кулацкого» мировоззрения, то упоминается будто бы утверждаемое писателем «кубышечное накопительство», а сам он называется «обиженным деревенским Тит Титычем» (перед фактом коллективизации). Добирается рьяный критик, наконец, и до самих героев: ямщик Петр Еремеич из «Чертухинского балакиря» — «не просто ямщик, а ямщик — владелец хорошей многолошадной конюшни», мельник Спиридон из этого же романа — «владелец мельницы», а Зайцев из «Сахарного немца» — «сын деревенского лавочника». И даже богатство фольклора, сказки и прибаутки в романах Клычкова призваны, оказывается, «выражать кондовое российское накопительство, стяжательство, сытое семейное довольство». В заключение статьи Бескин многозначительно резюмирует: «Сознание Клычкова и его соратников смертельно ранено. Но борьба продолжается. Борются кулаки на деревне, и поет им хоть печальные, но боевые песни их бард — Сергей Клычков».⁹³

В «оргвыводах» этой «установочной» критики Бескин инкриминировал положительно отзывавшемуся о творчестве Ключева, Есенина и Клычкова Вяч. Полонскому намерение «сохранить» этих «кулацких писателей, россиян... хоть как-нибудь в пределах закона, конституции»⁹⁴ и требовал, чтобы они были «изолированы от крестьянской литературы и переселены из нее в новобуржуазную...».⁹⁵

Клеймо пристало. На рубеже 20—30-х годов и много позже вошло в обычай упоминание о творчестве Ключева, Есенина, Орешина и особенно Клычкова сопровождать эпитетами «кулацкое», «новобуржуазное»: «Нет никаких оснований поэтов типа Клычкова зачислять в разряд крестьянских писателей — они деревенский отряд новобуржуазной литературы»;⁹⁶ «Есенин, Ключев, Клычков — разве не являются они прямыми и откровенными апостолами кулацкого „спаса“, нуждающимся в самой внимательной критической проработке?»⁹⁷

В отличие от безмолвствовавших Ключева и Орешина (Есенина уже не было в живых) Клычков пробует защищаться. В «Литературной га-

⁹¹ Бескин О. Певцы кулацкой деревни. — Земля советская, 1930, № 3, с. 209.

⁹² Бескин Ос. Бард кулацкой деревни: Буржуазные тенденции в современной литературе. М., 1930, с. 87.

⁹³ Там же, с. 94, 98, 91, 99, 100.

⁹⁴ Бескин О. Кулацкая художественная литература. М., 1930, с. 62.

⁹⁵ Бескин О. Певцы кулацкой деревни, с. 214.

⁹⁶ Ольховый Б. Деревенский отряд новобуржуазной литературы. — Книга и революция, 1929, № 12, с. 25.

⁹⁷ Мединский Г. А. Религиозные влияния в русской литературе. М., 1933, с. 5.

зеге», два раза предоставившей ему возможность ответить на нападки вульгаризаторов, он печатает статьи «О зайце, зажигающем спички» (1929) и «Свирепый недуг» (1930), в которых пытается объяснить свое художническое и гражданское право на изображение прошлого крестьянской жизни, на защиту самобытности национального искусства, на утверждение гармонической связи человека с природой, но прежде всего па то, чтобы считаться художником революционной эпохи. Он пишет: «Я, как писатель, целиком обязан всем революции, перекроившей тихого лирика в романиста с планами». Не чем иным, как потребностью отобразить последовательность развития крестьянского мирозерцания от мифологического к революционному, объясняет он свою «глубокую диверсию в прошлое»: «Неужели корни революции всего-навсего начинаются с забастовок пятого года...»⁹⁸ Не казалась противоречащей целям революционного постижения мира устремленность Клычкова в крестьянское прошлое и Воронскому, писавшему по поводу достижений его прозы, что именно «революция как это ни странно с первого взгляда, помогла нашей литературе заглянуть в такую канопную Русь, так ее почувствовать, как этого не было никогда».⁹⁹ Именно так разъяснял свою позицию и сам Клычков: «Когда в человеческую душу небывалым грузом свалилась целая лавина событий, не знающих в истории мира примера, когда до исподней пробил ее поток чувств и переживаний, окрашенных в живой цвет человеческой крови... Как же не соблазниться при этом порыться мыслью, всезрячей и сокровенной памятью крови своей и рожденья поблуждать в прошлом, отыскивая и угадывая в нем исходы и истоки буйно бушующей у тебя под ногами реки».¹⁰⁰

Отстаивая право художника опираться на богатейшие традиции национальной культуры, Клычков возражал Бескину, который в своем «спецификуме» следующим образом предупреждал современников относительно «чар» крестьянского искусства: «Ведь не надо забывать того, что наше послеоктябрьское искусство утвердилось не на голой земле, что „русский стиль“, „богатыйский“ эпос, „чарующая и увлекательная фантастика“, „богатство народной поэзии“ (определения из положительных отзывов о творчестве Клычкова, — А. М.) — это не просто „сокровищница“ народного духа, что к нам они просочились через российское самодержавие, православие и народность». Для нашего времени, когда в формуле «не на пустом месте», «не на голой земле» содержится мысль о благотворной связи современности с великой духовной культурой прошлого, подобное «предупреждение» звучит странно. Вульгарному же социологу оно казалось необходимым: «Старая кондовая Русь, воспитанная столетиями дворянско-помещичьей культуры и оставившая в СССР своих агентов в лице кулаков и подкулачников, скалит клыки на пролетарское государство, реально устремляющееся к социализму».¹⁰¹ Опровергая этот схематизм, Клычков в своем защитительном слове «литературного смертника» (как сам он себя здесь определил) спрашивал: «А село Палех, Бескин, неужели вы вычеркнули с советской территории? Зря! Удивительные кудесники из этого селишка...»¹⁰² К мысли о непреходящей ценности искусства прошлого художник возвращается и в статье следующего года («Свирепый недуг»), твердо выражая свою веру в то, что и тогда, когда «произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут... русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем мы по справедливости перед миром гордились и будем... еще... гордиться!». С тою же убеж-

⁹⁸ Лит. газ., 1929, 30 сент.

⁹⁹ Воронский А. Указ. соч., с. 227.

¹⁰⁰ Лит. газ., 1929, 30 сент.

¹⁰¹ Бескин Ос. Бард кулацкой деревни, с. 89, 86.

¹⁰² Лит. газ., 1929, 30 сент.

денностью высказывался он здесь же и в защиту природы, утверждая ее взаимосвязь с человеком по линии гармонии, а не конфронтации: «Самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник Любви и Труда. Любовь к зверю, птице и... человеку! Если мы разучились, так природа сама научит нас и беречь ее, и любить, ибо лгать в ней трудно, а разбойничать преступно!..»¹⁰³

Статья «Свирепый недуг» была последним развернутым печатным словом Клычкова в защиту дорогих ему как художнику и гражданину ценностей и своего творческого метода. Дальнейшие выступления подобного рода в печати носили уже только случайный характер. Таковы его ответы на рапповскую (и по-рапповски же жестко сформулированную) анкету «Какой нам нужен писатель?» (1931), в которых он отстаивал право писателя иметь, не поддаваясь общему шаблону, глубоко личное, субъективное отношение к действительности. Здесь же в ответе на вопрос «Над чем работаете?» признавался: «Пишу стихи и роман, делаю это больше с отчаяния и от мысли, что, пожалуй, не удастся напечатать», а на вопрос «Ваше место в практике рабочего класса?» ответил: «Правлю рукописи начинающих пролетарских писателей...» Но и тут, как в случае со статьями в «Литературной газете», высказывания писателя не были оставлены без последствий. В примечании от редакции говорилось, что анкета «использована С. Клычковым для защиты своего кулацкого творчества», что «ответ С. Клычкова содержит клеветнические выпады против пролетарской общечеловечности, являющиеся типичным выражением идеологии остатков кулачества, разгромленного социалистическим наступлением», что «редакция даст подробный разбор ответа Клычкова в итоговой статье по материалам анкет».¹⁰⁴

С немалой надеждой на перемену обстоятельств встречает писатель постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» и последовавший затем роспуск РАИПа. Он приветствует его в своих выступлениях — как человек, который «слишком долго продыхал спертый воздух пустыни», как художник, который надеется, что с освобождением «ласточки» искусства от рапповской «дрессировки» она сможет теперь лететь, «куда ей хочется! Иначе она петь, щебетать не будет!» (из выступления на заседании правления ВСП 26 апреля 1932 года).¹⁰⁵ Не признавший, однако, своего поражения и по-прежнему считавший себя полномочным вершить судьбы литературы, РАИП и здесь не упустил случая расценить это выступление как выражение «реакционных элементов в литературе». Состоявший в его руководстве и впоследствии пересмотревший свое отношение к Клычкову А. Фадеев обращался к литературной общественности: «Возьмите высказывания Клычкова. Он о себе открыто заявил как о классовом враге. Но он забывает, что Союз советских писателей будет стоять на платформе Советской власти. Если Клычков состоял в старом союзе (имеется в виду Союз писателей, — А. М.), то в новом союзе он не будет состоять».¹⁰⁶

В 30-е годы Клычков известен лишь только как переводчик. Дважды издается его вольная обработка вогульского эпоса «Янгал Маа» под названием «Мадур-Ваза — победитель» (1933, 1936); в 1936 году выходит отдельной книгой обработка одной из глав киргизского эпоса «Манас» — «Алмамбет и Алтынай» — и книга переводов восточной поэзии «Сараспан». Работы эти были оценены как «скромные» и «высокохудожест-

¹⁰³ Там же, 1930, 21 апр.

¹⁰⁴ На литературном посту, 1931, № 20—21, с. 59.

¹⁰⁵ ИМЛИ, ф. 67, оп. 1, ед. хр. 3, л. 2.

¹⁰⁶ Цит. по: *Шешуков С. Неистовые ревнители: Из литературной борьбы 20-х годов.* М., 1984, с. 321.

венные».¹⁰⁷ В них ощутима не реализованная в оригинальном творчестве страсть художника. Для него и перевод с иноязычного не что иное, как труд поэта, вознамерившегося влить в стихию родного языка все эти чужестранные «бесчисленные реки, речки, речушки... бегущие из глубины времени по золотому песку народной памяти». Напрасен был бы здесь расчет на механическую точность слов при переводе — лишь путем использования тончайших смыслов и оттенков осуществим перевод чужого образного содержания на родной язык. Но это же и путь вообще всякого истинного поэтического творчества как «перевода с языка безмолвия души» на язык образов; и плохо, когда художник, поэт оставляет после себя «точный подстрочник своей души! Обычно в конце жизненной стези его кладут ему в изголовье».¹⁰⁸ Так излагает поэт свое по сути дела творческое кредо в предисловии («От автора») к книге переводов «Сараспан». Последней прижизненной.

Последовавшая через год репрессия (Клычков был расстрелян 8 октября 1937 года) сразу и надолго избавила отечественную критику и литературоведение от хлопот и затруднений в деле выяснения «специфика» классового лица» Сергея Клычкова. Только в 1960-е годы подвергнуто было, наконец, сомнению просуществовавшее десятилетия суждение о «реакционности» повокрестьянской поэзии: «...почему же идеализация деревенской жизни всегда означает противопоставление городу, „деревенское“ отождествляется с реакционным, а „городское“ с социалистическим и неправильное решение „темы единства города и деревни“ считается признаком кулацкой идеологии?»¹⁰⁹ В последние же годы, в связи с властно заявившей о себе экологической проблемой, появилась необходимость и в еще более решительной переоценке творчества повокрестьянских поэтов, а в нем поэзии, прозы и личности Сергея Клычкова — этого, по словам А. Ахматовой, «своеобразного поэта. И ослепительной красоты человека».¹¹⁰ Современная исследовательница относит его к писателям, заслуга которых состоит в том, что они «в своем художественном заступничестве за народную культуру, за мудрость веков шли первыми в нелегкой борьбе за патриотическое отношение к родной природе — части той великой и неделимой сущности, которая именуется родиной».¹¹¹

Итак, творческая судьба Сергея Клычкова сопричастна революции в не меньшей мере, чем судьбы большинства других живших в это же время русских художников. В юности он готов был не пожалеть за нее своей жизни, а в период творческой зрелости, не торопясь с отображением ее внешнего, исторически преходящего облика, искал в окружающей действительности и прежде всего в самом себе (он был лирик и романтик) ее глубинную суть. И не сразу находил, что было вовсе не мудро, поскольку истинная цель революции виделась ему, подобно Блоку, Ключеву, Есенину, Белому, лишь в духовно-правственном преображении человека и мира. А на это, как мы теперь склонны думать, уйдут даже не десятилетия, а века. И этой духовной революции творчество Клычкова несомненно близко — и мечтой о царстве добра и социальной справедливости, и представлениями о гармонии природы и человека, и мыслью о нерушимой цепи времен национального бытия.

¹⁰⁷ Горбов Д. Послесловие. — В кн.: Клычков Сергей. Мадур-Ваза — победитель. М., 1936, с. 310.

¹⁰⁸ Клычков Сергей. Сараспан. М., 1936, с. 8, 9, 11, 12.

¹⁰⁹ Выходцев П. С. Русская советская поэзия и народное творчество. М.; Л., 1963, с. 174.

¹¹⁰ См.: Глазкин Г. В. «Что мне дано было...»: Неизданные воспоминания об А. Ахматовой. (Рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

¹¹¹ Чеботарева В. Г. Исторические грани вечных истин: История и художественный мир писателя. Элиста, 1983, с. 38.

ПОВЕСТЬ ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» (ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУШКИНСКИХ МОТИВОВ)

Впервые на трансформацию пушкинских тем и мотивов в творчестве Гоголя обратил внимание Достоевский. Он сделал это в романе «Бедные люди» (1846), сблизив «Станционного смотрителя» (1831) и «Шинель» (1842).¹ В дальнейшем переключки Гоголя с Пушкиным в «Шинели» стали задачей ученых разысканий. Так, М. А. Цявловский увидел связь между «Повестью о чиновнике, крадущем шинели» (название повести в рашей редакции) и устными рассказами Пушкина: «На... тему дерзких ограблений в центре города высокопоставленных лиц (такие ограбления Пушкин упоминает в дневнике 1833 года, — В. В.) написаны последние страницы „Шинели“ Гоголя...»² Приведя большой фрагмент «фантастического окончания» повести, начиная со слов: «Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь?..»³ и т. д., М. А. Цявловский заключает: «Этот гротескно-фантастический конец Акакия Акакиевича в основе... построен на рассказанных Пушкиным случаях».⁴ Не в целях полемики, но ради уточнения заметим, что такие рассказы все-таки гипотетичны. Но возможно, что дело обстояло так, как предполагает ученый. Согласившись с этим предположением, Н. В. Фридман посвятил свою статью сопоставлению «Шинели» с «петербургской повестью» Пушкина «Медный всадник». В трактовке «маленького человека», в фантастических мотивах возмездия, влеченных в ткань реалистического повествования, исследователь усмотрел прямое влияние «Медного всадника» на гоголевскую «Шинель».⁵ В. Н. Турбин расширил это сопоставление за счет новых мотивов и, выйдя за пределы «Медного всадника», упомянул в качестве источников повести Гоголя еще и «Руслана и Людмилу», и «Братьев разбойников».⁶

Не касаясь степени обоснованности указанных переключек, из которых наименее убедительно выглядят «Братья разбойники» и «Руслан и Людмила», подчеркнем, что само стремление увидеть такие переключки нам кажется закономерным, а разнообразие возможных отсылок, не сводящихся к устным рассказам, — оправданным. Ведь Пушкин безусловно был первым среди писателей, будивших творческую мысль Гоголя. Мы бы удержались, однако, говорить о «влиянии» — понятии, мало способном что-либо объяснить в отношениях крупных художников, по-

¹ С. Г. Бочаров воспользовался этим сближением в статье, касающейся вопросов типологии русского реализма. См.: Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь: («Станционный смотритель» и «Шинель»). — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969, с. 210—240.

² Цявловский М. А. Отголоски рассказов Пушкина в творчестве Гоголя. — В кн.: Звенья. М., 1950, т. 8, с. 23.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1938, т. 3, с. 169. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (том, страница).

⁴ Цявловский М. А. Отголоски рассказов..., с. 23.

⁵ Фридман Н. В. Влияние «Медного всадника» Пушкина в «Шинели» Гоголя. — В кн.: Искусство слова. М., 1973, с. 170—176.

⁶ Турбин В. Н. Герои Гоголя. М., 1983, с. 73—78.

сколькx оно ставит точку там, где самое место для вопроса: зачем понадобились те или иные звучавшие ранее темы и мотивы и что они в новом тексте значат?

Продолжим цитату, приведенную М. А. Цявловским: «... так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калининского моста и далеко подальше стал показываться по почам мертвец в виде чиновника, шущего какой-то утащенной шинели и под видом сташенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной... Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого... и в том едва было даже не успели» (3, 169—170).

Заметим, что в финале повести ее герой является в виде призрака, в виде тени; что эта тень выступает в роли мстителя и пугает живых; что, оставаясь призрачно-нереальной, она, однако, вполне реальным образом срывает с них всевозможные покровы — «на кошках, на бобрах...» и т. д. И делает это, хотя и «не разбирая чина и звания», но по восходящей линии — от титулярных советников до «самых тайных», т. е. от девятого до первых, наиболее высоких классов таблицы о рангах.⁷ Не разбирая чинов и званий, страшная тень перебирает всю чиновную иерархию. Но в принципе не ограничивается ею, так как сказано, что призрак сдирает с плеч «всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной», т. е. любые облачения без исключения. В этом смысле посмертные и буйные деяния Акакия Акакиевича действительно бесчинны: они угрожают благополучию любых чинов и даже тех, кто вне чинов и вознесен над ними всеми. Несчастье героя, потерявшего шинель, поставлено в тот ряд, о котором шла речь с самого начала: «Так протекала мирная жизнь человека... и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, павдорным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами» (3, 146—147).⁸ Последние слова намекают на монарха, наделенного абсолютной полнотоу власти и не зависящего ни от каких бы то ни было чинов, ни от всей чиновной иерархии; именно поэтому он не нуждается ни в чьих советах и никому ничего не советует (но только повелевает). Ср. далее: «Акакия Акакиевича свезли и похоронили... Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое... но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира...» (3, 169).

Гоголь имеет в виду одно и то же несчастье, точно так же сразившее бедного Акакия Акакиевича, как оно сражало или может сразить

⁷ Начиная с чина тайного советника (III класс таблицы о рангах), высшие чины (II и I классов) включают это именование: действительный тайный советник, действительный тайный советник I класса (см.: Шенелев Л. Е. Отмененные истории: Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977, с. 53).

⁸ Кроме чина коллежского асессора, ближайшего по отношению к титулярному советнику, все остальные чины высшей иерархии, от VII до I классов включают именование «советник» (см.: там же).

«сильных мира сего».⁹ С той существенной разницей, что Акакий Акакиевич лишился шинели с воротником из «кошки», лишь издали напоминаящей куницу (3, 155), а те лишались и могут лишиться облачений, которые к кунице гораздо ближе. Ибо достоинству «царей и повелителей мира» соответствуют покровы на горностаях (порода куньих), им подобает порфира. Ср.: «*Порфира... греч. багряница, верхняя торжественная одежда государей, широкий и долгий плащ багряного шелка, подбитый хвостатым горностаем*». Отсюда: «*Порфироносец... государь, повелитель земли и народа*».¹⁰

Но в конце концов лишь при дневном свете и вблизи порфира и шинель («плащ с рукавами и круглым, вислым воротом») ¹¹ точно так же, как шинель и капот, могут обнаружить в сравнении друг с другом слишком заметную разницу: Акакий Акакиевич «возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене... потом нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой, совершенно расплывшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница!.. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал... пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу» (3, 158).¹² На взгляд Акакия Акакиевича (и не только на его взгляд) новая шинель с подкладкой из коленкора, который «был еще лучше шелку», с воротником из кошки, которая в известном отношении была ничуть не хуже куницы, безусловно дальше от ветхого «капота», чем от каких-то других, более благородных одеяний: Петрович «вынул шинель из носового платка... Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку (т. е. в виде мантии, плаща без рукавов, — в виде порфиры, — В. В.). Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава... вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору» (3, 156). Но точно так же и, может быть, еще более впору Акакию Акакиевичу оказалась шинель, которую он сдернул со своего обидчика-генерала: «Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник... и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича... Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: „А! так вот ты наконец!.. твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще распек — отдавай же теперь свою!“ Бедное значительное лицо чуть не умер... Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: „Пошел во весь дух домой!“ ...замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели» (3, 172—173). Роскошная генеральская шинель (ср.: «...значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани... закутавшись весьма роскошно в теплую шинель...» — 3, 172), не будучи способной согреть несчастного Акакия Ака-

⁹ В подцензурном варианте текста (первое издание 1842 года) заключительная фраза приведенной цитаты выглядела так: «...как обрушивается оно на главы сильных мира сего!» (3, 549).

¹⁰ *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1882, т. 3, с. 325.

¹¹ Там же, т. 4, с. 633.

¹² Последней фразе окончательного текста предшествовали варианты: «а. И как только уже слишком потемнело, он вышел (на улицу) б. И как только совершенно потемнело... в. И как только совершенно потемнело, он приделся, надел на плечи шинель и вышел на улицу» (3, 537).

киевича, теперь могла служить одним лишь целям эффектной драпировки; издали и в темноте ее немудрено было бы принять за какие угодно, в том числе и самые роскошные, покровы.

Появление призрака в финале повести, «ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающего со всех плеч любые облачения, — своеобразная вариация на темы «Бориса Годунова». Ср. монолог царя Бориса, с ужасом узнавшего о самозванце, воскресившем имя и оживившем тень невинно убиенного младенца:

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...

Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?

И дальше:

Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуй — и нет его.
Так решено: не окажу я страха —
Но презирать не должно ничего... —
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!¹³

Однако призрак погубленной Борисом жертвы, несмотря на всю свою призрачность, освобождает царя, как известно, и от тяжести шапки, и от тяжести царской порфиры. Точно так же как от всех неудобств его роскошной шинели освобождает генерала призрак Акакия Акакиевича: «Изредка мешал ему («значительному лицу», — В. В.) однако же порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо... хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник» (3, 172).¹⁴

«Фантастическое окончание» «Шинели», поставленное в связь с «Борисом Годуновым», освещает особым светом весь рассказ. В свое время Достоевский писал: «...оп (Гоголь, — В. В.) из пропавшей у чиповника шинели сделал нам ужасную трагедию».¹⁵ Это так и есть, и отсылка к «Борису Годунову» в тексте повести указывает (помимо реальных) литературный источник ее трагического начала. Думается, что отражение и трансформация пушкинских мотивов в «Шинели» — поздняя даль

¹³ Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.,] 1937, т. 7, с. 48—49. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (том, страница). Пушкинский глагол «сорвать» («сорвет с меня порфиру») у Гоголя повторяется в одном из вариантов, описывающих ограбление Акакия Акакиевича. Вместо «Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель...» сначала было: «Акакий Акакиевич слышал только как сорвали с него шинель...» (3, 541).

¹⁴ В первоначальном варианте приведенного фрагмента не было намека на то, что шинельный воротник под порывами ветра нахлобучивался на голову генерала, как шапка. Эта деталь появилась лишь в окончательном тексте. Ср.: «Повороты в улицу он стал закрываться покрепче в шинель пото(му) что ветер [сделался] страшный, подымая с тротуаров снег, который всею кучей кидал ему в лицо. Вдруг он почувствовал, что кто-то сильно схватил его за воротник шинели» (3, 460). Заметим, кстати, что глагола «хлобучить», от которого Гоголь производит деепричастие «хлобуча», в русском языке нет. Есть глагол «нахлобучить». Но в любом случае, и в правильной, и в неправильной форме, он происходит от слова «клубук» (шапка). Ср.: «Нахлобучивать, нахлобучить (менее правильно нахлобучить...) шапку, надевать шапку глубоко, низко на лоб...» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, с. 424). Таким образом, ветер выгибает воротник генеральской шинели и как парус, и как шапку.

¹⁵ «Ряд статей о русской литературе» (1861) (см. в кн.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1978, т. 18, с. 59).

того глубокого восхищения, которое ярко сказалось в ранней статье Гоголя о «Борисе Годунове», только что вышедшем из печати (1830). И тогда, и много лет спустя («Выбранные места из переписки с друзьями», гл. XXXI, «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846) эта трагедия, по мнению Гоголя, была «совершеннейшим произведением» Пушкина (8, 383).

Трудно сказать, менялось ли у Гоголя с течением времени понимание пушкинского текста (при всей неизменности общей восторженной оценки). Даже в ранней статье, специально трагедии посвященной, ее анализ отсутствует. По убеждению Гоголя, заявленному здесь же, анализ прекрасного художественного творения вообще немислим, он был бы равносильен кощунству (8, 150). Единственное конкретное замечание, мелькнувшее среди молитвенно-патетической декламации на тему высокого искусства, касалось царя Бориса: «О, как велик сей царственный страдалец! Сколько блага, сколько пользы, сколько счастья миру — и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!..» (8, 152). Борис, «сей царственный страдалец», — центр произведения, а его судьба, зависящая в своей развязке от вины и предопределения, не что иное, как трагедия сначала «утраченной», а потом потерянной порфиры. Как бы ни уточнялось, как бы ни изменялось со временем восприятие пушкинской драмы, она для Гоголя, судя по всему, всегда оставалась в прямом и переносном смысле «трагедией порфиры» — и по значительности главного действующего лица и связанных с ним событий, и по совершенству художественной работы, вполне отвечающей возвышенному предмету.

Но не такие предметы занимали Гоголя — писателя, «дерзнувшего вызвать наружу» и заключить в слова тайны примелькавшейся обыденности, «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров». Ему нельзя ожидать похвал и избежать «суда... который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья... Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых... что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья» (6, 134). Как раз такую картину и рисует Гоголь в маленькой повести. Главный ее герой, Акакий Акакиевич, — лицо удручающе незначительное, настолько незначительное, что в среде различных по размерам живых существ он вроде мухи (ср.: «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха» — 3, 143) и меньше мухи (ср.: «Исчезло и скрылось существо... даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо... без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу...» — 3, 169). Но рассказ о микроскопически маленьком герое и многих его «движениях», роковым образом направленных «в могилу», Гоголь безусловно стремился возвести «в перл созданья».

Он делает это в данном случае, опираясь на Пушкина. «Бедная история» Акакия Акакиевича, с тех пор как она получила «фантастическое окончание», прямо отсылающее к «Борису Годунову», неожиданно приобретает богатый смысл. Прежде всего, благодаря такой отсылке, это «окончание» до некоторой степени утрачивает свою фантастичность, естественно продолжая, как кажется, отнюдь не фантастический рассказ, ибо явление покойного и вместе буйного Акакия Акакиевича одному из сослуживцев, а затем «значительному лицу» находит в этой ситуации

реалистическую мотивировку — как видение встревоженной совести, как упрек подспудно сознаваемой вины:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.

Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда!..

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

(7, 26—27)

Ср. в «Шинели»: «Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича... он бросился бежать со всех ног...» (3, 169—170). Затем: «...долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления... И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья... и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе» (3, 170—171). Поздним вечером этого дня, несмотря ни на какие развлечения и желание «позабывать неприятное впечатление» (3, 171), генерал тоже увидел «своими глазами мертвеца» и тоже «не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича» (3, 171), хотя в том и в другом случае, как и во всех остальных, явление призрака и узнавание могли произойти лишь в более или менее глубоких потемках.

Но гораздо важнее, чем возможная реалистическая мотивировка фантастического финала, другое. В результате отсылки к «Борису Годунову» (и, следовательно, нового освещения рассказа) трагедия бедной чиновничьей шинели сначала уравнивается, а потом, при внимательном взгляде, даже выходит на первый план в сравнении с «трагедией порфиры». Этой мысли, в частности, служит явная переключка сцен пропаян шинели у Акакия Акакиевича и у генерала; ср., например, вводящие эти сцены мотивы: «приятельский» ужин там и тут; выпитые там и тут два бокала шампанского — «средство», одинаково «неудурно действующее» и на Акакия Акакиевича, и на генерала «в рассуждении веселости»; «расположение к разным экстренностям», вследствие чего Акакий Акакиевич «даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения», а генерал «решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме» ввиду внезапного прилива самых «дружеских» к ней «отношений» (3, 159—160, 171—172). Затем героев постигает беда, ничего не оставляющая в их настроении от недавней «веселости». Однако «значительное лицо», потеряв свою роскошную шинель, хотя и очень перепугался, но не умер («Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: „Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами“; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело» — 3, 173), тогда как для Акакия Акакиевича потеря не бог весть в конце концов каких покровов обернулась истинной трагедией, она оказалась смертельной. Таким образом, хотя бедствия Акакия Акакиевича и поставлены в один ряд с бедствиями людей

всех, и самых высших, рангов и даже тех, чья высота с подножья лестницы почти неразличима, роковое «определение» (со всей неотвратимостью радикальных и немедленных следствий) здесь «гремит» только «над головой» Акакия Акакиевича. Фатальный конец в реальной действительности пока и в первую очередь уготован именно ему. Не случайно мотивы судьбы, рока (трагические мотивы) у Гоголя тесно увязаны с повествованием о ничем не замечательном лице и лишь вскользь задевают более замечательные фигуры.

Тем не менее со «значительным лицом» здесь тоже не все благополучно, ср.: «Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке» (3, 162) и затем: «Бледный, перепуганный и без шинели... он (генерал, — В. В.) приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке» (3, 173). Разница в этом: один оказался «в совершенном», а другой — «весьма в большом беспорядке»; один умер и, следовательно, не мог больше прийти в департамент, несмотря ни на какое «приказание немедленно явиться» (3, 169), а другой, испытав смертельный ужас, очнулся и, следовательно, вновь обрел «способности и дарования к должностным отправлениям» (3, 147). Но какой бы далекой ни была эта разница, она не настолько велика, чтобы между незначительным и значительным лицом исчезла очевидная связь. Бедствия одного — начало бедствий другого, и гибель одного угрожает гибелью другому. Ведь «значительное лицо» оказался «весьма в большом», а не «в совершенном беспорядке» лишь потому, что Акакий Акакиевич при всем своем фантастическом «буйстве» добивался генеральской шинели, и только. Если бы его действия были менее сдержанны, а требования более серьезные, то генерала не унес бы от смертной беды никакой кучер и никакой «дух» (ср.: «Пошел во весь дух домой!», а также: «И рад бежать, да некуда... ужасно!»). Ведь даже посягательства на шинель, на самые внешние и отнюдь не единственные покровы, было вполне достаточным, чтобы «значительное лицо» «чуть не умер». Еще немного — и он бы умер совсем.

Героев объединяет общее несчастье. Они сближены и разведены так, как бывают сближены и разведены крайние звенья одной цепи или (если учесть вертикальное направление связи, это будет точнее) как крайние ступени одной и той же лестницы: «Что вы, милостивый государь... не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...» (3, 166). Порядок, о котором «значительное лицо» напоминает Акакию Акакиевичу, хорошо известен, он одинаков на всем пространстве Российской империи. Поэтому, куда бы Акакий Акакиевич ни двинулся со своим «делом», он все бы «зашел» в департамент и, в какой бы департамент он ни «зашел», там все был бы тот же порядок. Да и без всякого «дела»: едва Акакий Акакиевич родился и ему подыскали подходящее имя, он, повинувшись плачевной необходимости, тотчас явился в департамент и занял отведенное судьбой место в структуре служебных отношений, столь же мало подвижной, как и он сам: «Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили; причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник... Когда и в какое время он поступил в департамент... этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменилось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» — т. е. на том же месте и в том же положении, в каком все его и видели (3, 142—

143). Естественно, что, когда волею той же судьбы на Акакия Акакиевича обрушилось «чрезвычайное дело», оно пошло, как водится, обычным порядком: «Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать» было к будочнику; тот отослал его к квартальному надзирателю; Акакий Акакиевич, пропустив квартального, отправился «прямо к частному»; не добившись от него толка и «сам не зная, возьмее ли надлежащий ход дело о шинели или нет», он решился, наконец, минуя все и всех, обратиться к «значительному лицу» (3, 161—163, 165). К счастью для Акакия Акакиевича, а как впоследствии выяснилось — и для того, к кому он обратился, «значительное лицо» был убежденным поклонником «строжайшего» порядка. Стараясь усилить собственную «значительность многими... средствами», он «завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице... чтобы к нему являться прямо никак не смел, а чтоб... коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него» (3, 164). Этот-то порядок ступенчатой субординации, которую Акакий Акакиевич при всем желании никак не может, а «значительное лицо» никак не хочет обойти, и стоит между ними, удерживая одного где-то в самом низу, другого где-то на верхушке общей лестницы. Ср.:

А мой покой бесовское мечташе
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ...

(7, 18—19)

Гоголь поместил в центр повести и обыграл эти пушкинские мотивы и указанную в них иерархию вещей.¹⁶ Вот почему трагедия бедной шинели если и выходит у него на первый план, то отнюдь не для того, чтобы покинуть ряд, вершина которого, будучи вознесенной над всей чиновной иерархией, облечена в сияющую порфиру. Ср.:

НАРОД

Один

Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.

(7, 10)

И еще:

Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
Противу их? Никто...

(7, 20)

Именно потому, что трагедия шинели не покидает иерархического ряда, она и разыгрывается на фоне и по отношению к высокому образцу — пушкинской «трагедии порфиры» (прямым указанием на такую связь и служит в тексте повести повторение одной и той же ситуации: сначала внизу социальной лестницы, когда шинели лишается Акакий Акакиевич; затем вверху — когда шинели лишается «значительное лицо»). Гоголь лишь намеренно подчеркивает зависимость одной со-

¹⁶ Позднее, опираясь на гоголевское посредство, то же самое сделал Достоевский в «Бедных людях» и особенно блестяще — в «Двойнике» и «Господине Прохарчине».

циально важной драмы от другой. Но там и тут речь идет, разумеется, о единой трагедии; только Пушкин, как считает нужным отметить Гоголь, сосредоточен на ее заключительных сценах, а он сам — на ее завязке. Пушкин преимущественно рассматривает результат богопротивного и злого «дела», пятном лежащего на совести «высшей власти», — ср.:

Воротынский

Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?

Шуйский

А кто же?

... Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали... —

(7, 6)

а Гоголь еще раз и по-своему старается вникнуть в причины преступления и в само это преступление. Взгляд Пушкина здесь как бы устремлен сверху вниз — с порфирной высоты социальной лестницы к ее основанию, ее подножью; взгляд Гоголя направлен снизу вверх — от земли и «муравейника» к сияющему престолу. И эта точка зрения, с нижайшего конца крутых ступеней, особым образом освещает всю трагедию, заставляя пушкинские мотивы в новой системе отношений звучать неожиданным смыслом.

И в данном случае. Воспользовавшись подсказанной Пушкиным возможностью, Гоголь оборачивает соотношенность планов, возникающую в общей перспективе. Ближайшее выглядит резко очерченным, ярким, отчетливым в деталях и подробностях; отдаленное теряется в туманной неопределенности лиц, предметов, очертаний. Так, у Пушкина крупным планом дан Борис и те, кто стоит или готов стать вблизи престола (Шуйский, Воротынский, Басманов, Самозванец, Вишневецкий, Мнишек и т. д.). Народ, согласно пушкинскому замыслу, где этому собирательному персонажу отведена решающая роль, изображен как целое, общей массой — именно «народ», или «город», или «граждане». Детализация, как правило, здесь даже безымянна — «один», «другой», «третий», «баба» и т. д. Гоголь, напротив, ясно видит Акакия Акакисвича — как тот одет, обут, как ест, и спит, и переписывает. И так же ясно он видит портного Петровича, с его «кривым глазом и рябизной по всему лицу», со всеми мелочами весьма неприхотливого туалета, и Петровичеву хозяйку, и если бы эта хозяйка, готовя рыбу, не «напустила» слишком «дыму в кухне», то он разглядел бы «даже и самых тараканов» (3, 148—149). Гоголь замечает «большой палец» на ноге Петровича «с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп» (3, 149), но он не замечает ровно никаких особенностей «значительного лица», которые отличали бы его от всех прочих, столь же «значительных». Те, кто располагаются сверху социальной лестницы, начиная с этого «значительного лица», теряют индивидуальную определенность и, начиная с того же «лица», могли бы именоваться в пушкинских формах — «один», «другой», «третий».

Но, несмотря на оборот крупных планов в общей перспективе, крайние точки, верх и низ социальной лестницы, сопоставлены и противопоставлены друг другу там и тут:

Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня?..

Не будучи привязанным, в отличие от Пушкина, к историческим реалиям и известному историческому моменту, Гоголь, естественно, опустил некоторые посредствующие звенья между «высшей властью» и ее «муравьиным» подножьем — царевича Дмитрия и Самозванца, но сделал это не слишком отступив от пушкинской мысли, так как для социальной подоплеку трагедии (а она-то и является главной) ни Дмитрий, ни Самозванец сами по себе не имеют особого значения: первый из них — «пустое имя, тень», второй страшен лишь в той степени, в какой он эту тень собою заполняет. И тот, и этот, мертвый и живой, — только символ, только знамя, которое объединяет народ, ополчившийся против «высшей власти». Вот почему Гоголь может оставить своего героя один на один и лицом к лицу с этой властью — примерно так, как в «Медном всаднике»:

Кругом подножья кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его...

(5, 147—148)

И все-таки. Важнейшие мотивы, относящиеся к Дмитрию и Самозванцу, Гоголь сохраняет. Его Акакий Акакиевич — сущий ребенок: «Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего, что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...» (3, 150). И в самом деле: если Акакий Акакиевич никогда не был молод и так и родился «с лысиной на голове», то, стало быть, он никогда не был и стар.¹⁷ Он такой же младенец, как Дмитрий, у которого Борис отнимает и жизнь, и порфиру и которому эта порфира, сумея он подрасти, пришлась бы гораздо более «по плечам» (ведь она принадлежала ему по праву). Несмотря на свой возраст, Акакий Акакиевич тоже так и не сумел подрасти (ср.: «Итак, в одном департаменте служил один чиновник... низенького роста...» — 3, 141, а также 144, 172). Но, в отличие от Дмитрия, Акакий Акакиевич не мог бы подрасти ни при каких обстоятельствах. Ведь его размеры определены не столько его возрастом и ростом (каковы бы они ни были в сравнении с другими людьми), сколько местом, отведенным ему судьбой в социальном иерархическом порядке: «„Что, что, что?“ сказал значительное лицо: „откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!“ Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет» (3, 167).

Зато в другом отношении (том самом, которое и побуждает «значительное лицо» именовать Акакия Акакиевича «молодым человеком»), в отношении социальной градации и иерархического порядка, это именованье можно считать даже преувеличением. Таким же преувеличением, какое допускает повествователь, рассуждая о фамилии бедного героя: «Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени

¹⁷ Из этих соображений Гоголь, по-видимому, и отбросил тот вариант первоначального текста, где о младенчестве его героя говорилось в прошедшем времени: «Покойница матушка... тотчас же приказала позвать священника, чтобы окрестить ребенка. Ибо Акакий Акакиевич был тогда без галстука, без фрака и без морщин. Словом был ребенок» (3, 452).

видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурип, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки» (3, 142). Однако фамилия Акакия Акакиевича, как ясно, произошла не от башмака, а от «башмачка», и дело не в том, «когда, в какое время и каким образом она от него произошла, а в том, что вся эта «фамилия», включая «отца, деда, и даже шурина...», до сапога в действительности так и не поднялась и выше «башмачка» не двинулась.¹⁸ Таким образом, если Акакия Акакиевича с большой натяжкой и можно назвать «молодым человеком» в каком-то отношении, то без всякой натяжки и во всех отношениях его следует назвать человеком самым маленьким — настолько маленьким, что со всей своей «фамилией» он едва на «башмачок» отделен от земли и подножья (причем — на детский «башмачок», так как женские башмаки в тексте дважды и, конечно, не случайно называются просто башмаками — 3, 159, 162).

Будучи удержанным этой близостью к подножью, Акакий Акакиевич (с какой бы подробностью его ни видел Гоголь и как бы крупно ни изображал), разумеется, остается тем «первым» или тем «одним», за которым в бесчисленном множестве его «фамилии» следует точно такой же «другой» и «третий». Все они одинаково малы и слабы в сравнении с великими и сильными «мира сего» и, какого бы роста и возраста ни были, все они «дети». Ср.:

Народ (на коленях. Вой и плач).

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!

(7, 13)

И затем:

Гаврила Пушкин

Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы.

Самозванец

Рад вам, дети.

(7, 51)

Но Акакий Акакиевич не только мал и слаб, как дитя, он еще и, как дитя, невинен.¹⁹ Невинен раз и навсегда, поскольку эта черта ему прирождена, назначена судьбой вместе с мелкими масштабами, принадлежащими каждому в его «фамилии». Отсюда имя героя — Акакий (что значит: *невинный, незлобивый*), удвоенное отчеством, отмечающим высшую степень указанного качества (*невиннейший, вполне беззлобный, лишенный всякого зла*): «„Ну, уж я вижу“, сказала старуха: „что, видно, его такая судьба... Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий“. Таким образом и произошел Акакий Акакиевич» (3, 142).

Тот факт, что Акакий Акакиевич невинен, как младенец, усиливает вину всех тех, кто, возвышаясь над ним, его обижает («Оставьте меня,

¹⁸ Фамилия героя у Гоголя появилась не сразу, в первой редакции повести читаем: «Право, не помню его фамилии» (3, 447).

¹⁹ Это подчеркнул Чернышевский: «Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей... Акакий Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном» (*Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950, т. 7, с. 857*). Чернышевский не совсем точен. О «недостатках» своего героя Гоголь упоминает. Другое дело, что при всех «недостатках» Акакий Акакиевич все-таки «безусловно прав и хорош».

зачем вы меня обижаете?» — 3, 143), и чем более обижает, тем более и усиливает. Ср.:

Воротынский

Ужасное злодейство! Слушай, верно
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно, кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол.

(7, 7)

Гоголь упрощает, однако, мысль Пушкина, у которого погубленный царевич и народ (все остальные «дети») соединены более косвенной и более сложной в своих значениях связью. В «Шинели» эта связь дана прямой и однозначной: несчастная судьба безгрешной жертвы чужого властолюбия, чужой гордыни здесь изображена как возможная судьба любого и каждого из общего множества не занесенной на страницы истории, ничем не замечательной, но Гоголю точно известной «фамилии» — той «меньшей братии», которая ютится у самой земли и подножья: «„Оставьте меня, зачем вы меня обижаете“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат твой“» (3, 144).

Согласно такому повороту, становится особенно важным тот евангельски-моралистический аспект в трактовке вины и преступления, который у Пушкина не играет основной роли и слишком очевидно несет нагрузку необходимой (ввиду места и времени действия) исторической «краски»: ²⁰

Юродивый

Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича...

Царь

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.

(Уходит.)

Юродивый (ему вслед)

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит.

(7, 78)

Гоголю, однако, ближе в данном случае иной евангельский контекст и те мотивы, которые, увязывая детей и прочую людскую «мелочь», предпочтительно выделяют их из числа остальных и награждают особым покровительством самого высокого отцовства — покровительством того, кто, будучи сам ребенком, является в то же время общим для всех отцом: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих»; «...так как пет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Ев. от Матфея, гл. 18, ст. 10, 14). И еще: «...идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня... был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня... истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» и т. д. (там же, гл. 25, ст. 41—46).

²⁰ Ср., например, сказанное Пушкиным о Карамзине: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец... Нравственные его размышления, свою иноческую простотой, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял как краски, но не полагал в них никакой существенной важности» (11, 120).

Итак, «грехи» таких, как Акакий Акакиевич, обозначены на их незранных покровах, но только этими покровами и ограничиваются: «Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо... Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько... он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась» (3, 147). Это-то обстоятельство, т. е. крайняя нужда и бедность, и заставляют Акакия Акакиевича покинуть собственное место, положение, всю привычную колею департаментско-домашней жизни и двинуться в путь по личному, но «чрезвычайному делу». Из всех побуждений, приводящих у Пушкина в движение людской «муравейник», — ср.:

Мир ведает, сколь много вы терпели
 Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
 И труд, и глад...

и т. д. —

(7, 96)

Гоголь выбирает одно из главных — материальную нужду, бедность. В результате его рассказ, хотя и утрачивает пушкинскую широту кругозора и многосторонность суждения, но в избранных здесь пределах получает конкретную осязательность и сосредоточенную, тоже как бы осязательную, социальную остроту.

Петрович, к которому Акакий Акакиевич явился полным утешительных надежд («А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...»), не оставляет бедному герою никакого повода для утешений. Тщательная ревизия шинели («Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою... Понюхав табуку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал...») обнаружила, что «грехи» шинели таковы, что их уже нельзя «поправить» («Нет, нельзя поправить: худой гардероб!»), что с любой стороны и со всех сторон эта шинель — сплошной «грех»: «„Да кусочки-то можно найти...“ сказал Петрович: „да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет“.

„Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку“.

„Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуи ветер, так разлетится“...

„Нет“, сказал Петрович решительно: „ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, сделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет“» (3, 150—151). И затем, при повторном визите Акакия Акакиевича, еще раз: «...уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится» (3, 153). И это заключение, выведенное Петровичем и «в трезвом состоянии», и «несколько под куражем» (3, 149), конечно, отвечает действительности. Уж если Петрович, которого Акакий Акакиевич застаёт за починкой «какой-то ветоши» («На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь» — 3, 149), отказывается поправить грехи прохудившейся шинели, то ясно, что эта шинель хуже всякой «ветоши» и одно отрешье, поскольку хуже «ветоши» может быть только отрешье. Этот мотив, не будучи выраженным прямо, отсылает к тому же источнику:

Патрарх

Пострел, окаяпный! Да какого он роду?

Игумен

Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей...

(7, 24)

Гоголь обыгрывает родовое имя, возвращая ему точный смысл (ведь Акакий Акакиевич уж точно Отрепьев, еще более Отрепьев, чем Гришка), обыгрывает так, что известная в истории фамилия, неожиданно распространяясь, может с успехом если не заменить, то безусловно стать рядом с безвестной фамилией Башмачкиных, поскольку там, где «башмачки», там где-то рядом, разумеется, и «онучки», на которые только и годится такое, как у Акакия Акакиевича, отрепье.

Смертный приговор, вынесенный Петровичем «грешной» шинели, и необходимость покупки новой звучат для Акакия Акакиевича приговором злосчастной судьбы самому себе. Он слышит его как в страшном сне: «При слове „новую“ у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки... Вышел на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне» (3, 151—152).

На самом деле он лишь теперь, лишь при этом ударе судьбы как бы проснулся: ведь прежде благополучие бедного героя, умудрявшегося и «с четырьмястами жалованья... быть довольным своим жребием» (3, 146), — благополучие глухой отгороженности от жизни, мирских забот, суеты и докучи. «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности». Акакий Акакиевич мало и скудно ел, он, собственно, только спал и (в департаменте или дома) «переписывал»: «Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало». Он «не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать...» (3, 144, 145, 146). Это благополучие сонного затишья, постоянного воздержания, благополучие монастырской аскезы, которая лишь потому не воспринимается как стеснение и ущерб, что герою при его бесконечном смирении чужды какие бы то ни было порывы. Ср.:

Григорий

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По кельям скитаюсь, бедный инок!

Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

(7, 19)

Но Акакий Акакиевич затворен в такой обители всю жизнь и без всякого обета, а поскольку в этом затворе нет душевной борьбы (следовательно — и заслуги) и герой сам не сознает всей меры собственного отречения, то его монастырское существование — только сон, исполненный (в отличие от греховных сновидений Григория, побуждающих его бе-

жасть в мир) младенчески невинной радости и, если забыть о возрасте героя, детских невзгод: «Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним... рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории... сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом... толкали его под руку...» и т. д. (3, 143).

Несчастье с «грешной» шинелью и нужда в новой заставляют Акакия Акакиевича выйти из состояния странного сна, напоминающего жизнь, или странной жизни, напоминающей сон, и сначала совершенно повыкнуть духом («Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без полой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом» — 3, 153), потом постепенно одушевиться: «...он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился... как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее...» и т. д. (3, 154—155). Дошло до того, что «сердце его, вообще весьма покойное, начало биться» (3, 155). Акакий Акакиевич будто заново родился на свет, и день, когда Петрович принес ему новую шинель («Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент»), для него «самый торжественнейший в жизни» (3, 156). Это день чужих именин («Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник») и одновременно его собственного рождения: он «был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник» (3, 157, 158).

Но этим днем все и кончилось: «Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой» (3, 160). Все счастье, вся радость жизни с тех пор, как Акакий Акакиевич вышел и увидел свет, и до тех пор, как он ушел со света («Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света» — 3, 161) в мрак несчастья, затем могилы, для Акакия Акакиевича ограничивается одним днем. Это жизнь малейших из самых малых живых существ — жизнь однодневки, эфемериды, в сравнении с которой какой-нибудь муравей или простая муха уже должны были бы считаться «лицом значительным» (поскольку «всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное» — 3, 164). И вся значительность, все торжество жизни, которые у других умещаются в каких-то более или менее широких пределах между ее началом и концом, у таких, как Акакий Акакиевич, сводится, как кажется, к значительности начала и конца — рождения и смерти. Но и это (в силу обстоятельств) не их, а чья-то значительность.

Иначе и не могло быть. Жизнь, этот «самый большой торжественный праздник», совсем не для таких, как бедный Акакий Акакиевич. Ведь это не его, а чей-то чужой праздник. На долю Акакия Акакиевича остается лишь то, что обычно остается от праздника, — тяжелое похмелье. Да и что значит один день в однообразной череде других, на него непохожих? Он мелькнул как странная и насмешливая греза, как некое «бесовское мечтанье», овладевшее героем не тогда, когда он мирно покоился в своем монастырском затворе, — ср.:

А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мучил, —

а едва лишь он переступил его порог и оживился. Отсюда вся дьяволиада, связанная с начатым Акакием Акакиевичем «делом» починки и покупки шинели («Акакий Акакиевич... хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз...» — 3, 149) и двусмысленной ролью, которую играет в этом «деле» Петрович со «своим кривым глазом»: «Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело (желание Акакия Акакиевича все-таки починить шинель, — В. В.), точно как будто его черт толкнул. „Нельзя“, сказал: „позвольте заказать новую“» (3, 152—153). По проищу судьбы и из пущей насмешки смертный приговор звучит над Акакием Акакиевичем в воскресенье, которое в календаре Петровича помечено «крестиком» в честь законного повода, когда он может «осадиться», а в данном случае уже и «осадился сивухой, одноглазый черт» (3, 149). Воскресенье Акакия Акакиевича, его пробуждение в жизнь начинается с траурных мотивов, и «крестик», означающий для кого-то праздник (Петрович «стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик» — 3, 148), оборачивается для бедного героя тем же траурным смыслом. Вот почему все радости Акакия Акакиевича, вызванные новой шинелью, — минутный мираж, дьявольски обманчивое виденье. Проснувшись, несчастный герой снова погружается в сон.

Покупка новой шинели лишь на время отодвинула, усилив до последней степени, то отчаяние, в которое поверг когда-то Акакия Акакиевича Петрович и которого уже и тогда было достаточно, чтобы тот «вышел» от него «совершенно уничтоженный» (3, 151). Среди любых сновидений Акакию Акакиевичу отпущена судьбой одна реальность — реальность его «грешной» шинели. Ведь новая шинель, хотя и принадлежала Акакию Акакиевичу, хотя и была «совершенно и как раз впору», но, как выяснилось, все-таки ему не «по плечам»: «У него затуманило в глазах... „А ведь шинель-то моя!“ сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник... Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал» (3, 161). В том положении, в котором оказался Акакий Акакиевич (раздетый, неподвижно лежащий на земле лицом вверх), он мог бы оставаться и дальше, поскольку все, что происходит с ним позднее, не помогает ему подняться, — напротив, опускает вниз, в глубь земли и преисподней.

Выходит, Акакий Акакиевич раз и навсегда несчастен и виноват: и тогда, когда у него нет новой шинели, и тогда, когда она есть. В «капот» его донимал мороз, пропекая спину и плечи, но едва он прикрыл их новой шинелью, его сразу раздели. Грехи «капота» еще кое-как позволяли герою держаться, но беда потери новой шинели так сильна, что ее, как выяснилось, ничем уже было нельзя поправить. И естественно: в новую шинель Акакий Акакиевич вложил не только все сбережения, но почти и всю душу. Выходит, все благополучие Акакия Акакиевича (если можно назвать благополучием его «капотное» существование) зависло только от того, что героя не за что было ухватить (ср.: «В самом деле» старая шинель «имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее» — 3, 147); едва лишь появился у него воротник, хотя бы и из кошки, героя тотчас, как злодея, за него и «схватили» (ср. затем: «...будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния...» — 3, 170). «Схватили» для того, чтобы снова бросить в нищету — нищету смерти. По отношению к такой нищете любой «капот», пока он

кое-как прикрывает тело, каким бы мешковатым и некрасивым он ни был (3, 147), — уже отрада.

Именно в этих границах — отчаяния и нищеты смерти, с одной стороны, и благополучия и отрады «капота», с другой — уместается в действительности вся радость, все счастье Акакия Акакиевича. Получается, что точно так же, как Акакий Акакиевич родился «с лысиной на голове», он точно так же родился и в своей дырявой шинели. Новая шинель лишь ускорила ход дела, которое и без нее шло вполне «хорошо» (ср.: «Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу... целых шестьдесят рублей... Это обстоятельство ускорило ход дела» — 3, 155). Оно неуклонно подвигает героя к роковому концу, так как, что бы Акакий Акакиевич ни предпринимал, он все равно обречен на «капот», т. е. на беспросветную бедность: «На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее» (3, 163); ср.: «И никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленой ткани; ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже» (Ев. от Матфея, гл. 9, ст. 16). Здесь дыра обнажила не только тело, но задела и живую душу. В этой ситуации, для того чтобы «дело» еще как-нибудь шло, а не тотчас кончилось, Акакию Акакиевичу совершенно необходимы чужая помощь, участие и поддержка.

Однако, к кому бы ни обращался Акакий Акакиевич, начиная с ближайших ступеней социальной лестницы и затем где-то там, вверху, никто из должностных лиц, имеющих возможность и обязанных предупредить несчастье или избавить от него, не хочет герою помочь: «чрезвычайное дело», в котором заключается для Акакия Акакиевича вопрос жизни и смерти, для них и впрямь чужое дело. Оно всем безразлично. Отчаянный крик о помощи не встречает сочувственного ответа, поскольку каждый, к кому он обращен, находясь на том или ином должностном месте, своего долга не выполняет: он или отсутствует, или (и это одно и то же) спит. Подбежав к будочнику, Акакий Акакиевич «начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека...»; и далее: «Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома...» и т. д. (3, 162—163). Акакий Акакиевич стучится во все двери, и, вопреки заповеди («Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» — Ев. от Матфея, гл. 7, ст. 7), ему никто не отворяет. Все должностные и недолжностные лица, на каком бы они ни были месте, даже если они не спят, то и не бодрствуют. Бодрствует одно «значительное лицо». Но лучше бы он спал.

Это «значительное лицо» не спит и бодрствует как раз для того, чтобы «заставить успешнее идти дело» (ср.: «...значительное лицо, спишась и спесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело» — 3, 163), т. е. окончательно погубить Акакия Акакиевича, поскольку все, что случилось между разговором Петровича и тем, что бедный герой услышал от самого генерала, как бы быстро оно ни шло, в действительности было ненужной задержкой. Смертный приговор, объявленный Петровичем «грешной» шинели (а вместе с ней и Акакию Акакиевичу), требовалось, как оказывается, только подтвердить в достаточно высокой инстанции, с присущей ей и событию значительностью, чтобы «дело», наконец, увенчалось полным «успехом» — плачевной смертью Акакия Акакиевича. Отсюда переключки этих двух сцен — ре-визии «грехов» шинели и соответствующего им «надлежащего распеканья», полученного Акакием Акакиевичем (ср.: 3, 150—151, 166—167). Страшный сон, в котором бедный герой «увидел ясно одного только генерала... находившегося на крышке Петровичевой табакерки», обер-

нулся еще более страшной явью, поскольку этот генерал вдруг вырос, ужасающе вознеся над поверженным и потому особенно маленьким Акакием Акакиевичем и явился ему во всем своем величии и значительности: «Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. „Строгость, строгость и — строгость“, говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе...» (3, 164). Генералу не было никакой причины смотреть в лицо тому, кому он говорил, еще и потому, что этого лица он все равно не видел. Он замечает лишь внешний вид менее чиновной и пизшей братии и лишь для того, чтобы по размерам чужой приниженности и страха оценить, соответствуют ли они его понятию о собственной высоте и значительности, и если нет, то предпринять свои меры в форме «надлежащего распеканья». С этого и начинается его разговор с бедным Акакием Акакиевичем: «Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: „Что вам угодно?“ — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина» (3, 166).

Но ответ на вопрос в действительности генерала не интересует. Ему важнее собственный чин, его высота и значение: «...он был в душе добрый человек... но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с равными себе, он был еще человек как следует... но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон... В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения?» (3, 165). А поскольку, по понятию генерала, любое равенство с людьми чином и чинами ниже, разумеется, несло урон его значению и было фамильярным, то при всем «желании присоединиться» он мог только обособиться («...он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки» — 3, 165) и в этом обособлении, исполненном чиновного величия, над каждым, кто ему неравен, вознестись. Вознестись в гораздо большей степени, чем это допускают нормальные пропорции самого «строжайшего» порядка: ведь как бы ни были круты его ступени, они все-таки рассчитаны на возможности человеческого шага, не больше. Между тем всякий человек, стоящий лишь одной ступенью ниже, настолько путал и сбивал его с пути, что бедный генерал в сознании своего значения и своей высоты решительно не находил себе подходящего места.

Но в данном случае. Смиренный вид Акакия Акакиевича, его невзрачные покровы, его страх («Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость...» — 3, 166) не только не могли генерала утешить, но, напротив, самым болезненным образом его задели. Акакий Акакиевич явился перед ним, пропустив необходимые ступени чиновной иерархии, и заговорил, «сколько могла позволить ему свобода языка... с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц „того“» (3, 166), о своем, не «казенном» (ср.: 3, 169) и, следовательно, чужом для генерала «деле». Этого было достаточно, чтобы генерал усмотрел в явлении Акакия Акакиевича чудовищное пренебрежение

к порядку — местам, чинам, званиям и всей их возрастающей от ступени к ступени значительности: «Генералу, неизвестно почему, показало такое обхождение фамильярным» (3, 166). Но почему так ему показало — известно. В этом «обхождении» он разглядел лишь ту фамильярность, которая либо ничтожного Акакия Акакиевича поднимала до чина и значения генерала, либо генерала низводила до ничтожества Акакия Акакиевича. И то и другое, выходя за границы чиновного порядка, для генерала выходило за границы всякого возможного и допустимого порядка. Вот почему он видит Акакия Акакиевича и не видит; слышит его и не слышит; и сути его «дела» не разумеет (ср.: «...они, видя, не видят, и, слыша, не слышат, и не разумеют... ибо огрубело сердце людей сих» — Ев. от Матфея, гл. 13, ст. 13, 15). Крайняя нищета, отчаяние, последняя надежда на человеческое сострадание и помощь («...я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ» — 3, 166), робкое напоминание о пекой общей для всех людей «фамилии» (ср.: «Я брат твой») — все это в тот единственно важный для бедняка момент не трогает генерала. С ледяной высоты своей значительности он не может рассмотреть ни человеческого лица, ни человеческого образа Акакия Акакиевича и потому не может признать в нем «брата», как бы тот ни был мал и невзрачен, но видит на его месте что-то вроде мухи и не больше мухи. В логике этих отношений (а только их и учитывает генерал) претензии такой «мелочи», как Акакий Акакиевич, на какое-то, пусть самое далекое, родство и какое-то, хоть с чем-то сопоставимое, значение оказываются самозванством и бесчинством («буйством»).

И это бесчинство и самозванство возрастают в глазах генерала в прямой зависимости от той бесконечно далекой разницы, которая, как ему в величии мнится, разделяет его и бедного Акакия Акакиевича. И в той же зависимости возрастают в его глазах вина и грех несчастного героя. «Грешное» обличье Акакия Акакиевича (поскольку только оно и показало генералу всю между ними разницу) здесь воспринимается как точное отражение его «грешной» сути, так что чем более очевидной и крайней была нищета Акакия Акакиевича, тем более очевидной и крайней становилась его вина.

Вот почему это жалкое отрепье — его вконец прохудившийся и свозящий на плечах и спине «капот», от которого бедному герою решительно никуда не деться, — самым тяжелым бременем, как это ни парадоксально (ведь бремени новой шинели «на толстой вате, на крепкой подкладке без износу» Акакий Акакиевич не ощущал вовсе), ложится ему на спину и плечи (ср.: «...связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» — Ев. от Матфея, гл. 23, ст. 4). Так это здесь и происходит. Но генерал не только не облегчает участи Акакия Акакиевича, а со всею тяжестью монументального величия (ср. сказанное о его «мужественном виде» и «фигуре», о его «богатырской наружности» — 3, 172—173; ср. также упоминание о «фальконетовом монументе» — 3, 146) обрушивается на бедного героя. Получается, что Акакию Акакиевичу на самом деле отпущена в жизни лишь эта значительность — значительность бремени, которая на нем лежит, бремени чужого величия, собственных отрепьев и соответственно — греха и вины.

Из такой тесной связи внешнего вида с человеческой сущностью и зависимости этой сущности от видимой внешности с неизбежностью следует только одно — то, что уже не одежды, как можно было бы подумать, становятся тенью людей (ср.: «Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц...» — 3, 147), но люди — тенью своих одежд.

Как раз такой тенью и предстает перед генералом Акакий Акакиевич еще живой. А поскольку эта тень темна (исполнена греха и преступления), то имя бедного героя, свидетельствующее о его абсолютной безгрешности («невиннейший», «лишенный всякого зла») и, стало быть, о его самой светлой, ничем не запятнанной природе, — это имя для «значительного лица» — пустое. И если слов Акакия Акакиевича он почти не слышит, а слыша, не понимает (вплоть до того момента, когда «рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес...»), то имя этой невзрачной тени для него — совсем неразличимый звук. Ср.:

Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень...
Иль звук...

Так, будучи невинным, Акакий Акакиевич кругом виноват; будучи безгрешным, — греховен. Но в таком случае, разумеется, не могло быть и речи об участии и поддержке. Напротив, требовалось немедленное внушение, которое бы недвусмысленно объяснило забывшемуся (ср.: «...не знаете порядка? куда вы зашли?») всю несоизмеримость занимаемых им и генералом мест со всеми вытекающими из этого факта значениями. Требовалось «надлежащее» (в размер проступка, в размер вины) «распеканье»: «„Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю“. Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять... его вынесли почти без движения» (3, 167).

Акакий Акакиевич, конечно, не понимает (до последней минуты, а может быть, и в эту минуту), кому он говорит и кто стоит перед ним, а если бы он понимал, вернее, если бы он об этом мог догадаться, то при всей своей крайности он бы из дома не двинулся.

Вся вина, весь грех Акакия Акакиевича, все его бесчинство и самозванство заключаются в робкой претензии, что, будучи человеком, а не мышкой, он имеет право на этот чин, и звание, и место, дарованные ему судьбой, несмотря ни на какую невзрачность его покровов, и еще в робкой надежде, что генерал при всем своем чиновном величии помнит о собственном, точно таком же и месте, и звании, и чине, — следовательно, о своем родстве с Акакием Акакиевичем в этом особом, но бесспорно существующем порядке. Именно этот порядок родства и связывает Акакия Акакиевича и генерала, равно отделяя того и другого от любой самой мелкой и самой крупной, но лишенной души и сознания твари. Однако вознегодовав на то, что Акакий Акакиевич пропустил несколько ступеней департаментски-чиновной иерархии, генерал тем временем начисто и целиком забыл об этом другом и более важном порядке. Поставив «брата» своего ниже самой низкой человеческой ступени, «значительное лицо» тем самым вознесся над ним на такую фантастическую высоту, для которой там, вверху, тоже не было человеческой опоры и которая значительно превышала реальные соотношения любых ступеней чиновной иерархии и все их вместе. Ибо страха и трепета в таких размерах, каких «значительное лицо» потребовал от и без того напуганного Акакия Акакиевича, подобало требовать лишь на вершине, приличной господу богу. И то — лишь в Судный день. И то — лишь для ответного злодея.

Глядя снизу туда, вверх, «и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно», поскольку там, вверху, и на такой высоте уже нельзя разглядеть никакого «лица», а можно только почувствовать одну «значительность». Вот почему голос генерала гремит «над головой» Акакия

Акакиевича окончательным «определением» и приговор Петровича оказывается необратимым.

Но для фантастического вознесения над «братом» в принципе не нужно и тех ступеней, которые в порядке чиновной иерархии разделяют генерала и Акакия Акакиевича. Довольно одной. Довольно одной для генерала и точно так же для всех остальных: ведь «всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное». Не нужно поэтому быть и генералом, довольно быть капитан-исправником, ср. начало «Шинели»: «Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника... в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе...» и т. д. (3, 141). Таким образом, любой чин на любой ступени иерархического порядка («Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника» — 3, 164) может в принципе отождествить себя и эту ступень со всем государственным порядком, а затем, оставив всю его иерархию, — вознестись до господ бога (ср.: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» — Исход, гл. 20, ст. 7). Но, разумеется, чем больше иерархическая дистанция между одним и другим «братом», тем искусительнее повод для таких фантастических вознесений, не соответствующих никакой реальности. Вот почему «распеканье», которому генерал подверг Акакия Акакиевича, отнюдь не было «надлежащим» и превосходило всякую (и иерархическую, и человеческую) меру. В результате Акакий Акакиевич, озабоченный своим «чрезвычайным делом» и бывший несолько департаментски-иерархических ступеней, был исключен «значительным лицом» и из штата департамента, и из штата живых. Но для такого итога в действительности вовсе не требовалось чрезвычайных мер, да и никаких мер. Поскольку с самого начала «дело» шло вполне «успешно».

Ведь в тот момент, когда Акакий Акакиевич явился «значительному лицу», тяжелое бремя его легкой шинели так придавило бедного героя, что странно, как он вообще с ним до генерала добрался. Ибо «капот» Акакия Акакиевича, как известно, «сделался еще плачевнее» и в избытке «грехов» не только не мог именоваться «благородным именем шинели» (3, 147), но даже, по-видимому, и именем «капота», не напоминая ровню никаких облачений. Между тем уже и раньше он был более или менее нематериален: «Только слава, что сукно, а подуи ветер, так и разлетится». Ср.:

На призрак сей подуи — и нет его.

Но теперь, когда «капот» в последней степени греховности пришел в полную негодность и даже на «онучки» бы вряд ли годился, — не на что, собственно, было и дуть. Он до того прохудился, так сквозил и расползся, что по причине его худобы и сплошной прорехи у него не было. да и не могло быть никакой, точнее, почти никакой, ни светлой, ни темной тени. Эта тень — такой же призрак, как оставившийся от бывшего «капота» отресья. И в этом призраке, в этой пищеи тени заключалась вся душа еле живого Акакия Акакиевича.

Вот почему генералу не нужно было «распекать» и двигать перстом, чтобы утяжелить его участь: достаточно было оставить бедняка с его несуществующим «капотом» (ср.: «... в департаменте все вдруг узнали... что уже капота более не существует» — 3, 157), и он бы умер сам, без особой помощи и поддержки. Именно поэтому генеральское «распеканье» было не только чрезмерным, но и излишним: «значительному лицу» не нужно было раскрывать рта, чтобы призрак исчез, а он изо всех сил кричит, «возведя голос» до последней возможной «ноты». Но если бы

даже он не кричал, а только дунул, то все равно он мог бы сдуть Акакия Акакиевича лишь в пушную глубину, чем та, в которую тот двигался своим ходом. И все.

Однако странная ситуация. Если для генерала Акакий Акакиевич не больше мухи и своими покровами и еле теплящейся в них душой почти сплошь пустота и прореха, то, спрашивается, на кого же он кричит и что это значит? Не видя, не слыша, не понимая Акакия Акакиевича, он кричит, «возведя голос» до сильнейшей «ноты», на самого себя. Стоя перед человеком, которого он за человека не считает, генерал по-прежнему стоит «у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом» и «распекает» только самого себя, и никого больше. Именно поэтому Гоголь предвывает сцену «распеканья» столь важными в этом случае (и не только в этом) «зеркальными» мотивами.

Но кого же должен был увидеть Акакий Акакиевич, очутившись перед генералом лицом к лицу? Он должен был увидеть на месте человека и «брата» злейшего грабителя и супостата. Ведь генерал обошелся с Акакием Акакиевичем хуже разбойников. Те сняли с него новую шинель, а генерал набросился на раздетого Акакия Акакиевича. Те спяли шинель, как сняли бы ее с любого, кто в это время им бы подвернулся, не зная и не думая о степени чужой нищеты, а генерал взимает подать именно с Акакия Акакиевича и именно с его нищеты (между тем даже такой «сильный враг... как наш северный мороз» дает «сильные и колючие щелчки без разборю по всем носам» — 3, 147). Те Акакия Акакиевича раздели, а этот огрел, доведя своим «распеканьем» до смертельной горячки. Те толкнули его в снег, этот — дальше, в холод могилы. Генерал и быстро и «успешно» кончил «чрезвычайное дело», взыскав с бедняка решительно все, что у него еще было, — остатки духа («„Но, ваше превосходительство“, сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа... чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом...» и затем: «...его вынесли почти без движения» — 3, 166, 167; после этого Акакий Акакиевич уже не приходил в себя), остатки духа и те нищие покровы, которые их вмещали, так что после этой мзды и взыскания требовалось лишь заказать сосновый гроб для того, что прежде было Акакием Акакиевичем: «„А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог“. Слышал ли Акакий Акакиевич эти... роковые для него слова, а если слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он находился все время в бреду и жару» (3, 168). Но еще до бреда и горячки эти «роковые слова» Акакий Акакиевич должен был слышать, а если и не слышал, то только потому, что звук этих слов и голос, каким они были произнесены, его оглушили, произведя самое «потрашающее действие» (ср.: «...пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять») и бросив в бред и горячку. Разбойники оставили Акакию Акакиевичу жизнь, а генерал, довершив разоренье, отнял и ее. И сообразно той высоте, в действительности же — той глубине, в которую он упал, не узнав лица своего «брата», он в своих грабительских наклонностях покусился не только на его тело, но и душу (ср. мотивы бреда — 3, 168). лишив Акакия Акакиевича всякой надежды и утешения и заставив его умирать с грешной мыслью о безгрешной шинели: Акакий Акакиевич «даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слышав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство“. Далее он говорил совершенную бессмыслицу... можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели» (3, 168).

Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? ..

Кто тот, который обошелся с Акакием Акакиевичем без всякой фамильярности и которого Акакий Акакиевич, будучи в трепете и страхе, видит и не видит, слышит и не слышит и, понятно, до конца не понимает? Кем (или чем) «оборотился» генерал, когда он «вдруг» к Акакию Акакиевичу «оборотился», чтобы «распечь» его за нужду; за то, что у него украли шинель; за то, что он мал и слаб; за то, что он робко попросил о помощи и поддержке? Генерал «оборотился» собственной (значительной и многозначной) тенью. Но эта тень реальна, ощутима в своей материальности и воплощена в благополучие и безгрешность генеральских покровов. Именно их (и только их) и видит все время Акакий Акакиевич (ср. переключку двух сцен — ревизии грехов шинели Акакия Акакиевича и генеральского «распеканья»).

Однако эти покровы при всей их материальности внутренне пусты. Они лишены живой души, заледеневшей в той высоте или той глубине, куда генерал в своем поистине «бесовском мечтанье» занесся. Ибо не помочь бедняку ни делом, ни словом в той крайности, в какой он был, находясь между жизнью и смертью и ни там, ни тут, мог только тот, в ком нет никакой души, и место ее, где бы она в тот момент ни обитала, пустоует.

У этой тени нет лица. Ни собственного, ни вообще человеческого. Нет даже отдаленного его подобия. А вместо этого лица и подобия — «четвероугольный лоскуточек бумажки» или, если соблюдать необходимые пропорции («портрета» на крышке табакерки и оригинала), четверугольный лоскут бумаги (ср.: «Петрович... полез... за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четверугольным лоскуточком бумажки» — 3, 150). По-видимому, этот лоскут пуст, если он даже чем-то и заполнен. В любом случае здесь важнее «бумажка», чем ее заполнение, о котором умалчивается. Именно поэтому бумажный лоскут, оставаясь пустым, может быть заполнен чем угодно. Он в ясной эмблеме представляет любые официальные деловые бумаги, на которых пишутся все «государственные постановления» и которые циркулируют сверху вниз и снизу вверх по всем ступеням иерархической государственной лестницы. Вот почему эта тень, облаченная в генеральский мундир, с лицом официально-деловой бумаги и должна была «распечь», и действительно «распекает» бедного Акакия Акакиевича как раз за то, что он дерзнул к ней явиться сам, хоть и в чуть живом, но живом виде, а не так, как следует в бюрократическом чиновном порядке — в виде «дела» и «лоскутка бумажки».

У этой бездушной и безличной тени нет, естественно, ни собственного имени (поскольку каждое из тех, которое Гоголь называет, может принадлежать ей «приятелю» — 3, 165; и поскольку на самом деле имя ей — легион), ни «фамилии» (эта графа тоже пустоует). Но есть другие обозначения, менее или более тождественные чину, — «генерал», «значительное лицо». При этом последнее обозначение (Гоголь не случайно отдает ему предпочтение) не только заменяет, но и отменяет уточнение к чину («генерал», «генеральский») в соответствии с той логикой, которая уже известна: «всегда найдется такой круг людей...» и т. д. И такая отмена понятна, так как «значительное лицо», не имея «лица» (а также, как видим, и души, и имени, и фамилии), сохраняет одну «значительность» — «значительность» каждого, стоящего выше, над тем, кто ниже и кто титулует эту «значительность» в тех или иных формах ее «превосходительства».

Итак, тень, оказавшаяся перед Акакием Акакиевичем на месте генерала, была, во-первых, тенью человека; во-вторых, тенью человека, наделенного известным чином в иерархии государственного порядка; в-третьих, тенью самого этого порядка, одну из ступеней которого этот чин занимает. Но что бы эта тень собою ни представляла в отдельности и в совокупности указанных значений, она не заключает в себе ничего от духа жизни.

Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень...
Иль звук...

Лишенная жизни, эта тень имеет исключительно отрицательный смысл. Ведь вся ее «значительность» — значительность все-таки тени, и в известном отношении, это — тень значительности. Как всякая тень, она пуста (ср.: «...место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено...»). Жалкий лоскут, не менее жалкий, чем любое отрепье (так как он только другой вид того же отрепья), здесь не случайно прикрывает дыру и сплошную прореху на месте лица человеческого, а ведь в нем (Гоголю это важно) запечатлен образ божий. Эта тень пуста, и ее размеры целиком совпадают с размерами «бесовского мечтанья», которое уводит каждый вышестоящий чин со своей иерархической ступени за границы этой иерархии в сторону мнимой высоты, т. е. глубины совсем нечеловеческого порядка. Но эта глубина лишь та или иная степень зла (вины, греха и преступления), лишь та или иная степень «буйства». Поэтому каждый, стремящийся возвестись над «братом» своим, пусть самым меньшим (здесь даже так: особенно над меньшим), на место господ бога, блуждает буйными путями дьявола. Следовательно, тень порядка в действительности является только беспорядком; тень чина — бесчинством; тень человека — чем-то вроде более мелкого или более крупного беса, поскольку, как бы человек в своем «бесовском мечтанье» и бесовской «значительности» к дьяволу ни приближался, ему все равно, разумеется, не удастся занять и этого места. Он в любом случае и при любом приближении повисает в дурной пустоте, теряя всякую опору и в человечески-реальном, и в фантастически-мыслимом порядке. Поэтому, если бы Акакий Акакиевич и мог увидеть или уразуметь (как призывает его генерал), кто перед ним стоит, он увидел бы и уразумел (насколько это вообще возможно) саму Пустоту во всей ее страшной значительности. В этой фантастической пустоте (и как раз по ее причине) и гремит «над головой» Акакия Акакиевича роковое «определение». Но это «определение» — тот смертный приговор, который грех, вина и преступление выносят и подписывают самим себе.

Ведь все зло такой пустоты состоит в том, что она материальна и весома, облечена во внешне благополучные покровы разных чинов и званий на всех ступенях государственного порядка, облечена в солидные и величественные (истинно монументальные) покровы самого этого порядка — его высот, величин, их частных и общих проявлений. В своей неоправданно раздутой значительности они страшной тяжестью (реальной и фантастической) ложатся на плечи и спины маленьких людей вроде Акакия Акакиевича, так что им под грузом чужих приятностей и удовольствий (ср.: 3, 158—159, 171—172) решительно не пошевельнуться и не вздохнуть. Вот почему, куда бы ни двигался Акакий Акакиевич со своей тяжелейшей ношей, он может двигаться только в этом направлении — ниже и ниже, ближе к земле и в глубь земли. И никуда больше. Благополучие одних («начальников и высших») здесь прямо связано с отсутствием благополучия у других («низших» и «малых сих») и может увеличиваться лишь в ущерб их материальному и духовному достатку, лишь за счет их нищеты и душевной невзгоды. Ведь если

у кого-то сдирают шинель, значит, ее кому-то не хватает, и любой избыток здесь свидетельствует о чьей-то нужде. А поскольку весь этот тяжкий, избыточный груз полон внутренней пустоты (и в той степени, в какой он ею полон), поскольку он мертв и бездушен (и в той степени, в какой он мертв и бездушен), то разрастание его «значительности» равносильно разрастанию смерти в ущерб жизни и за счет жизни — и в тех, кто обездоливает, и в тех, кто обездолен. В этом смысле (и в конечном итоге) нет ни далекой, ни близкой, вообще никакой разницы между роскошной генеральской шинелью и отрезьем Акакия Акакиевича. То и другое — саван смерти.

А между тем и то и другое должно бы быть великолепной порфирой, так как только она и соответствует на самом деле достоинству каждого человека, который, в отличие от прочих — и мелких, и крупных — созданий, — царь земли и повелитель мира. С этой мыслью и связаны «порфирные» намеки в сцене одевания Акакия Акакиевича в новую шинель и преобразование Петровича, с его особой и более обоснованной на этот раз «значительностью» («В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он... вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново» — 3, 156). Ведь это одевание было для Акакия Акакиевича как бы началом жизни. Но даже тогда, когда он раздет, Акакий Акакиевич в своей невинности испытывает что угодно, но не чувство стыда. Его нищета не лишает его невидимого покрова истинно царской, принадлежащей ему по праву порфиры. Однако «значительное лицо», чьи роскошные облачения на самом деле и есть избыточно-греховны, лишившись шинели, чувствует срам, как вор, как пойманный на злодеянии преступник. Ср. у Пушкина:

Он именем царевича, как ризою
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать — и сам
Он паготой своею посрамится.

(7, 69—70)

И в «Шинели»: «Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе... и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день... дочь ему сказала прямо: „ты сегодня совсем бледен, папа“. Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать» (3, 173).

Итак, как сопоставлены и как противопоставлены главные герои «Шинели»? Друг против друга и лицом к лицу здесь стоят, не видя, не слыша и один другого не разумея, люди, разделенные ступенями социальной лестницы, и одновременно — два призрака, отраженные один в другом, как в зеркале, со свойственным зеркальному отражению единством изображения предмета, а вместе с тем и оборотом его сторон.

Там и тут — пустое имя, попранное в царственном достоинстве имя человека. В одном случае оно в действительности означает невинность, а в другом — грех и преступление «одного», «другого», «третьего»... из «начальников и высших» (ср.: «...легион имя мне, потому что нас много» — Ев. от Марка, гл. 5, ст. 9).

Там и тут — тень. Но в одном случае это тень материальной нищеты и невзгоды, в другом — материальной величины, высоты и «значительности».

Там — звук, который не доходит даже до генеральской ступени (ведь с тех пор как «отчаянный» Акакий Акакиевич «пустился... бежать» и «задыхающимся голосом кричать», он, кое-как наконец до гене-

рала добравшись, успел, разумеется, почти совсем утихнуть, и, если бы не упомянул о «деле», тот вряд ли бы бедняка вообще услышал). Там — робкая мольба.

Здесь — звук, отвечающий на нее так, что его одного довольно, чтобы погубить до смерти. За собственный грех и преступление, жестокосердие и бесчеловечье («Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат твой“). И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...» — 3, 144) здесь обижают и обрушиваются на того, перед кем виноваты.

Трагедия маленького человека, обитающего у подножья социальной лестницы, в этой ситуации неизбежна. Она предопределена отношением тех, кто должен был бедняку помочь подняться, но кто помогает ему лишь сойти в могилу. Это трагедия бедности и нищеты, нищеты материальной, а в зависимости от нее — и духовной (ср.: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое... но для которого все же так перед самым концом жизни мелькнул светлый гость в виде шивели, ожививший на миг бедную жизнь...» — 3, 169); это трагедия множества несчастных, придавленных до фантастически ничтожных размеров чужой «значительностью», не оставляющей даже маленькому Акакию Акакиевичу на земле никакого места; трагедия всех, лишенных человеческого тепла и света, всех, чья жизнь уже и теперь не лучше смерти. Ведь в насмешку всякой реальности и в подобие страшной фантастики их уже и теперь «пропекает» и «распекает» то лютый холод, то адский жар и горячка. Вот почему здесь мертвые и живые вместе и то мертвые появляются «под видом» живых, то живые — «под видом» мертвых (ср. финал повести). Но те и другие, как какой-нибудь хлам и отрепье, выброшены за пределы чиновной иерархии и порядка, за пределы дневного и всякого света в мрак и беспорядок ночи, мрак и беспорядок смерти. И вот почему здесь будто все спешит как можно «успешнее» кончить «дело» Акакия Акакиевича и как можно скорее свести его в могилу. Это мотив «Бориса Годунова»:

Они любить умеют только мертвых... —

(7, 26)

обращенный на этот раз против «высшей власти» (напомним, что даже еле живому Акакию Акакиевичу «значительное лицо» предпочитает «лоскуток бумажки»).

Эта последняя степень нищеты (нищеты смерти), и не только эта, но и любая другая, здесь истолкованы как результат греха и преступления всех тех, кто, занимая различные ступени социальной лестницы, слишком сыт, слишком хорошо одет, слишком защищен в сравнении с обездоленными и беззащитными (Акакий Акакиевич, например, настолько беззащитен, что без всякого стороннего вмешательства его может «пропечь» до смерти уже мороз). Эта степень нищеты, как и любая другая, истолкованы как кража (ограбление) и более очевидное или менее очевидное (или: более скорое или менее скорое, более «успешное» или менее «успешное») убийство.

Именно это ограбление и убийство, позволенные себе «высшей властью» (в данном случае Гоголь следует за мыслью Пушкина), служат соблазном для одних, насущной необходимостью для других вернуть себе украденную жизнь и все ее достояние. И чем сильнее стеснение, тем неизбежнее возникает протест. Ведь даже самые смиренные, как видим, способны на «продерзости» и даже самые невинные впадают в «буйство». И хотя «шумная» жизнь Акакия Акакиевича в основном начинается после смерти («...суждено ему на несколько дней прожить

шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь»), эта граница между тишиной и шумом (смерть) довольно неопределенна и тоже призрачна. В известном смысле она лишь знак последней крайности и нищеты, и ничего больше. Ведь Акакий Акакиевич был призраком еще живой. И еще живой он пустился шуметь (ср. мотивы бреда и горячки).

Развязка трагедии соответствует завязке. Одна отражается в другой как в зеркале. И с какого конца на «дело» ни взглянуть — «трагедия порфиры» и трагедия бедной шинели лишь издали и в темноте могут показаться далекой разницей, но вблизи и при свете они говорят об общей беде. Поэтому «дело» Акакия Акакиевича только до поры до времени для «значительного лица» — чужое «дело»; наступает момент, когда оно становится для него своим. Не случайно мотив «дела» введен в повесть сначала в широком («...департамент, о котором идет дело...» — 3, 141), а потом суженном смысле («Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель...» — 3, 147). Дырявая шинель Акакия Акакиевича обнажает неблагополучие всего департамента, в котором водятся такие «дела».

Финал «Шинели» логично завершает повествование и внутренне глубоко обоснован. Он обоснован в двух планах — и в плане реальности, и в плане фантастики. Что касается первого плана, то о нем уже сказано: этот финал — прямое следствие всего, что случилось. И потому его реалистическая мотивировка, о которой говорилось вначале, играет важную роль: она подчеркивает реальность всего рассказа. Далее. Если страшный сон с генералом на крышке Петровичевой табакерки стал для Акакия Акакиевича более страшной явью, то испугавшее генерала виденье тоже может, разумеется, более ужасно и грозно воплотиться. Ведь если на месте Акакия Акакиевича окажется какой-нибудь «другой» и «третий» из его «приятелей» (ср.: 3, 162), то что меняется? Все они, в конце концов, для «значительного лица» на одно лицо и все они неразличимы. И еще. Если действительность здесь оборачивается тенью (например, «значительное лицо» перед Акакием Акакиевичем), то что мешает тени обернуться действительностью (Акакий Акакиевич перед «значительным лицом»? Ведь этой действительности уже и теперь «значительное лицо» не видит только потому, что от нее отворачивается (ср.: «он оборотился к нему вдруг...» — оборотился, чтобы не увидеть; и затем, в финале: «Обернувшись, он заметил человека...» — заметил то, что прежде не хотел замечать). В любом случае смертный приговор этой жизни, столько же материальной, сколько и призрачной и скорее мертвой, чем живой, уже произнесен. Исполнение его — вопрос более или менее далекого, но реально возможного будущего.

Однако, как бы своеобразно ни обосновывал Гоголь реальный план «фантастического» финала, он, идя по этому пути, не отклонялся от мысли Пушкина, он мог к ней только приблизиться. Поскольку у Пушкина, в отличие от Гоголя, «трагедия порфиры» дана не в категориях возможности (как то, что может произойти и не произойти), а в категориях необходимости (она уже случилась). Случилась в самой жизни, и этот факт зафиксирован, как известно, в летописях русской истории. Вот почему у Гоголя не было особой нужды доказывать реальность «фантастического» финала: достаточно было сослаться на Пушкина. И если Гоголь тем не менее это делает, то только потому, что финал при всем своем реализме должен был одновременно удерживать и всю фантастику.

В результате, так же как реалистический план фантастических страниц был естественным продолжением реалистического повествования, фантастический план тех же страниц естественно заключал фантастический рассказ, потому что реальность в том истолковании, какое дает

ей Гоголь, фантастична. Призраки здесь на месте людей, люди на месте призраков, и ужасающая пустота смерти торжествует на месте праздника жизни. Вот почему Акакий Акакиевич и уходит с него в двенадцать часов: еще живой, он исчезает, как призрак («...уже двенадцать часов и... пора домой»). Само соединение двух планов в одном финале выражает ту же постоянную у Гоголя мысль — мысль о реальной фантастике и фантастической реальности (то, что позднее было подхвачено и Достоевским, и Салтыковым-Щедриным, и другими и использовано в тех же целях социального гротеска и обличения).

Эта логика — логика фантастического плана, таящегося в самой реальности (вообще говоря, не чуждая Пушкину), — не имеет, однако, никакого отношения к «Борису Годунову». И те действительно важные мотивы, оригинальная трактовка которых помогает Гоголю соединить внешне заурядную, прозаическую обыденность с фантастической сущью, у Пушкина несут смысл, свободный от всякой фантастики:

Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?

Имя грозного врага Бориса (которого Борис, заблуждаясь, видит в погубленной им жертве, вернее, в жалком самозванце, занявшем ее место) у Пушкина теряется в великом множестве имен «одного», «другого», «третьего»... и, не принадлежа никому из них в отдельности, выражает всю их живую совокупность. Борису противостоит не *тень*, а дух и плоть целого народа — всех тех, кто, располагаясь у подножья социальной лестницы, служит в то же время ее основанием. Вот почему этот людской «муравейник», отказавшись мириться с несправедливой властью, может в любой момент и поколебать, и низвергнуть ее вершину. И так же *звук*. Передавая мнение народа, он гремит «определением» «над головой» каждого властителя; он гремит «определением» даже тогда, когда «народ безмолвствует». На любом этапе исторической жизни народ решает судьбы правителей, государств и наций. Правда, он часто (особенно в дни общественного покоя) кажется пустой, послушной и неслышной тенью, призраком, которым можно пренебречь. Но это только кажется. В дни мятежа, общественной смуты он выступает в своем реальном величии и страшной стихийной мощи. Народ всегда остается и главной, и грозной для власти силой исторического процесса. В этом направлении Пушкин поясняет и детализирует свою мысль.

Та трансформация, которую претерпевают в повести Гоголя пушкинские мотивы, ведет к заключениям, лишь отчасти соприкасающимся с этой мыслью. По убеждению автора «Шинели», прежде чем стать для власти грозной силой, народ должен быть доведен до состояния материальной и духовной нищеты, до состояния призрачной тени, чья обитель скорее на том, чем на этом свете. Если оставить в стороне духовную нищету и слишком серьезное отношение к метафоре (люди — тень, тот свет и этот), то убеждение Гоголя в общем виде не противоречит концепции Пушкина. Но на этом близость кончается. Центральную для «Бориса Годунова» проблему — проблему взаимоотношения «высшей власти» и народа, которую Пушкин рассматривает в историческом, социально-политическом, нравственном аспектах и их взаимодействии, — Гоголь ограничивает в конце концов только нравственным моментом, подчиняя ему все остальное, а объективное исследование этой проблемы переводит в чуждое Пушкину русло моралистической дидактики.

Вот почему Гоголю важен был «фантастический» финал «Шинели» именно в его «фантастичности». Он оставлял возможность иного, более отрадного исхода, так как заключал «трагедию порфиры» в определенные условия, вне которых она утрачивала характер роковой необходи-

мости. Эта трагедия реальна и неизбежна лишь до тех пор (и постольку), пока (и поскольку) реальна трагедия бедной шинели, неопровержимо свидетельствующая о том, что отношения между людьми разных ступеней социальной иерархии, отношения «высших» к «низшим», лишены живой и человечески сострадательной, человечески милосердной основы. Ведь если бы Акакию Акакиевичу помогли в его несчастье или если бы этого несчастья не допустили, не было бы никакой трагедии — ни в ее завязке, ни в окончании. Нравственное возрождение, возобновление живых связей, живых скреп между людьми на всех ступенях государственного порядка отменяет социальную трагедию от начала и до конца, отменяет всю, целиком. Отсутствие такого возрождения и дальнейшее омертвление государственного организма в принципе означают (поворот мысли, совершенно невозможный для Пушкина), что сама история народа превращается в тень и страшное виденье, что на месте этой истории на самом деле зияет пустота и прореха.

Согласно парадоксальной логике Гоголя, получалось: чем более фантастична жизнь (так, как это Гоголь разъясняет), тем более реален финал его рассказа; и, напротив, чем более жизнь, одушевляясь, теряет свою мертвую призрачность, тем более фантастичным и нереальным становится роковой исход. Он звучит здесь предупреждением и угрозой. Угрозой сурового возмездия если не в этом веке, то в будущем, если не на этом, то безусловно на том свете. Отсюда мотивы Страшного суда, которые, переключаясь со сценой «распеканья», повторяются в финале «Шинели». Они тоже соотносятся с трагедией Пушкина — ср.:

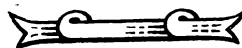
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда —

(7, 23)

с той разницей, что у Пушкина божий суд неотделим от суда народа и прежде всего в нем и находит свое выражение.

Но, разумеется, не дидактика, не утопические рекомендации, а беспощадный анализ действительности и обличительный пафос главным образом и определили значение маленькой повести Гоголя в русской литературе. Гоголь оказался близок своим ученикам и последователям как раз в том, в чем он менее всего расходился со своим великим образцом.

Пушкин дал Гоголю сюжет «Мертвых душ», тему «Ревизора» (8, 440), он подсказал ему также, как видим, сюжет и тему гениальной «Шинели». Изложенная в ней «бедная история» уже в истоках была ориентирована на достоинства высокой трагедии.



ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Борис Зайцев

ЖУКОВСКИЙ *

(ПРИМЕЧАНИЯ Ю. М. ПРОЗОРОВА)

Горе

Не томи ж по Креузе утраченной сердца.

Вергилий. Энеида

Жуковский возвратился из Германии в феврале 1822 года. Светлана встретила его радостно, почти восторженно, как и он ее. Поселились все вместе, не в Апичковом дворце, а на Невском, напротив. Воейков получил через Жуковского выгодное место — издавал «Русский инвалид». Материально Светлана была теперь устроена хорошо. Душевно — сложно и нелегко. Но все трудности с мужем ее и Тургеневым возводил на своих плечах Жуковский, «украшение мира» (слова Машни).¹ Когда он со Светланой рядом, ее дело прочно — он давал ей и легкость, и свет, и прикрытые от Воейкова. При мечтательности родственной предавались они воспоминаниям. Прошлое, молодость, Муратово, Белев... — все оживало и оживляло.

Созвездие удивительное: от Жуковского слава, художнический авторитет, Светлана — очарование женственности, изящества и привета. Завели как бы салон. Гости и друзья первостатейные: Батюшков, Гнедич, Крылов, Карамзин, Вяземский. Пушкина не хватало. В альбомах Светланы все знаменитости с автографами и стихами, но без главной: Пушкин был холодноват к ней. (Стиль Светланы слишком для него заоблачен. Его занимали женщины попроще — вроде Керн).

Бывали и Баратынский, и Козлов. Позже Языков. Разумеется, вечный Тургенев. Светлана всех оделяла магической своею сляпидностью, лаской и светом. Это особенно ощущал Козлов, давний Жуковского приятель, несчастный поэт, сначала лишившийся ног, а потом ослепший. В салон Светланы вкатывали его на низком кресле, он смиренно въезжал в блестяще-изысканный этот круг. Смирненно-восторженно принимал ласку Светланы. («День светлый, как душа Светланы»² — строчка стихотворения его, Светлане и посвященного.

Писание Козлова, возникшее из горя и шедшее на значительной духовной высоте, ею и поддерживалось, вдохновлялось. Он ее боготворил. Ангелом прошла она чрез его жизнь).

Воейков, мрачный «карла», гнездилися вблизи, полный острый, мучительных чувств, то язвящий, то раскаивающийся, ревнующий, унижающийся, а то близкий к шантажу. Тайная месть сладка для таких душ. Когда на Жуковского появилась, наконец, очень злая эпиграмма, Воейков с восторгом прочел ее Жуковскому³ (другие считали — и это возможно, — что сам он ее и написал: подпольем своим Жуковского ненавидел, конечно, как и Тургенева).

В этом 22 году, если не считать трудностей и осложнений с Тургеневым, Жуковский жил мирно, скорей даже счастливо: так и сам полагал. Приехала из Дерпта Екатерина Афанасьевна. На лето все выехали в Царское Село, там Светлана родила сына (Андрея). Все с поверхности благополучно.

И в литературе удачно. Из Германии он привез «Орлеанскую деву», охотно ее читал, с успехом заслуженным. (Пятистопный ямб, впервые без рифмы, был новшеством. Батюшкову, правда, не совсем это нравилось — размер находил он «диким и вялым».⁴ Но все чувствовали, что и тон, и дух, и полнота написанного, и подходящесть сюжета — все это «чрезвычайно Жуковский»).

«Орлеанская дева» сразу стала в первом ряду писаний его.

Но она создалась до 22 года и за границей. В год же приезда своего в Петербурге, Царском Селе, — с осенним наездом в Дерпт — пишет он нечто иное. Из «Энеиды» берет эпизод гибнущей Трои. Копь, хитрость греков, почное пожарище и избивание, безнадёжная борьба. Вот Эней видит, что нельзя более сопротивляться, на себе выносит престарелого отца, Анхиза. С ним жена Креуза, сын. В грохоте пожара пробираются они к выходу — там, невдалеке, на священном холме собираются уцелевшие троянцы. Но вблизи ворот, в стычке с греками, Эней терлет Креузу — она гибнет. Он возвращается в город, пишет,

* Окончание. Начало см. в № 2, 3.

томится... — лишь дух убитой смутно
является ему среди ужаса происходя-
щего и напустует нежно к уходу на-
всегда, с сыном и отцом, в дальний
край:

О, Эней, о сладостный друг...

Долго изгнанником будешь бродить
беспредельное море,
Там в Гесперию, где волны Лидийского
Тибра по тучным
Людным равнинам обильно медлительным
током лиются,
Светлое счастье, и царский венец,
и невесту царевну
Ты обретешь. Не томь ж по Креузе
утраченной сердца.

Быть при себе мне судила великая
мать бессмертных;
Ты же прости; поминай о супруге
любовию к сыну.

И таинственно влечется Эней далее,
к приключениям, новой жизни, под зна-
ком вечных святых покинутой Трои.
Креуза навек у него взята.

Так написал две тысячи лет назад
Вергилий. А мечтательно-тихий Жуков-
ский склонился почему-то, на границе
23 года, вниманием и любовью к по-
вести этой. Не разгром Трои и не убий-
ства, пожары его занимали. Всего луч-
ше звучит у него запредельный голос
погибшей: «Не томь ж по Креузе утра-
ченной сердца».

Наступил новый год. Рождение свое,
29 января, Жуковский праздновал ве-
село, шумно, точно бы ничего и не было.
Через месяц отправился в Дерпт (со
Светлавою, к родам Машы, но и увозя
Светлаву от Тургенева).

В Дерпте чувствовал себя покойно.
Прежнее замирало, что-то он принял.
Мойеры жили достойно, тихо. Нет вол-
нений любви, труд, музыка, чтение
вслух, ребенок. А вот-вот будет и но-
вый. Воейковы поселились отдельно,
Воейков держался довольно смиренно.

Родной уют для Жуковского: все его
любят, в Дерпте много знакомых — про-
фессора и художники, музыканты, сту-
денты. Предвечерними зорями, уже ве-
сенними, с шоколадным снегом на ули-
це, протыкающимся под копытами ло-
шадей, при веселых лужах и воробьях,
тучкой взлетающих с дороги, прогули-
вался он по мирным улицам города.
Мартовский романтический закат, тихие
зори. Возвратясь, мог застать Машу и
Мойера за роялем, при свечах разыгры-
вающими сочинения мойеровского зна-
кового: Ван Бетховена. Жуковский слу-
шал и сам, а потом сам читал вслух.

Пригреваясь теплом милых сердцу,
так вводящих в белевский мир и му-
ратовский, мишенский, он засиделся,
просрочил отпуск. Надо было уже
выезжать — не хотелось. Наконец день
настал, ничего не поделаешь.

Лошадей заказали давно, выезжать
надо вечером, от Мойеров. Все собра-
лись. Вещи уложены, Жуковский в до-
рожной шинели, теплой шапке. Сидят,
ждут. Уезжающий и накурмлен, и все
русские предотъездные чап отпыгы, раз-
говоры переговорены. А лошадей нет.
Начинают уставать. Рано встают, рано
привыкли ложиться. Мойер зевает. Свет-
лапа, худенькая и некрепкая, бледнеет.
Маша неестественно полна, в капоте —
тоже погружается в туман.

Жуковский предложил Воейковым
идти домой и проводить их. Вернулся,
постоял, чтобы Мойеры шли спать к се-
бе наверх, а он внизу подремлет. Когда
подадут лошадей, зайдет проститься.
Они взяли с него слово, что вот именно
и зайдет.

Он уехал в шинели внизу и подре-
мал — недолго, около получаса. Лоша-
дей, наконец, подали. Поднялся, подо-
шел к лестнице, скрипнул ступеньками
ее и хотел было уж назад спуститься —
жаль будить Машу. Но она не спала.
Мойер похрапывал в своем колпаке,
Маша не спала. Он вошел в комнату.
Маша хотела встать, он не позволил.
Подошел, поцеловал. Маша попросила,
чтобы перекрестил.

Он и исполнил. А она откинулась,
спрятала голову в подушку.

Вот и все. Так попрощались, так
расстались. А потом темная ночь, ки-
битка, ухабы, запаха влажного меха,
в который кутался, может быть, и сле-
за украдкой — впереди дальний, скуч-
ный путь под вековечный русский ко-
локольчик. Ямщики, станции, вспухаю-
щие речки, сырые сугробы — начинается
распутица.

Был ли он покоен? Чувствовал ли
что-нибудь?

Возвратился в Петербург 10 марта.
А 19-го посторонний человек сообщил
ему, что в Дерпте накануне от родов
скончалась Мария Андреевна Мойер.
Ребенок родился мертвым.⁵

* * *

Маша Протасова. «маткина-душка»
его молодости, не была венчана ему
церковью. Была будто бы для него
«шпкем». Но в каком-то смысле соеди-
нена навечно. Когда Лаура умерла,
Петрарка продолжал свое, только вместо
«In vita di Madonna Laura» * сонеты
стали называться «In morte di Madonna
Laura»; ** Жуковский просто замолчал.
Зейдлиц считает, что с уходом Машы
кончилась лирическая часть его пи-
сания.⁶

Если это и стужено, все-таки почти
верно. За год до ее кончины написал
он о Креузе. Как теперь «томил» по
«утраченной» сердце, мы не знаем. Оди-

* «На жизнь мадонны Лауры» (итал.).

** «На смерть мадонны Лауры» (итал.).

ноких стонов его не слышно. То, что до нас дошло, уже настоящий «Жуковский», непоколебленный, все принимающий и всегда светлый. «Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение божье, что жизнь святыня».⁷ «Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом — религия!»⁸

Он, разумеется, снова в Дерпте, тотчас туда кинулся. Неясно, попал ли на похороны: скорее — нет.

«Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе. В поле играл рог. Была тишина удивительная. И вид этого гроба не возбуждал никаких мрачных мыслей».⁹ «В пятницу на святой неделе... были на ее могиле».¹⁰ Стояли на коленях — мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...». «Теперь знаю, что такое смерть, но бесмертие стало понятней. Жизнь — не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение».¹¹

Три дня перед отъездом его провели на могиле — сажали деревья, цветы.

Новые судьбы

«Милый друг, Саша жива и даже не больна... мы вместе — это не утешение, но облегчение. Насчет ее здоровья будь спокоен, слезы лучше всякого рецепта. Но последнее сокровище ее жизни пропало. Этому ничто не пособит. Мы ни о чем не говорим, ни о чем не думаем, мы вместе плачем и все тут».¹²

Так писал он Козлову вскоре после смерти Маши. Вскоре же написал стихотворение — как бы надгробный ей памятник:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств.¹³
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна.
Там все земные
Воспоминанья;
Там все святые
О небе мысли.
Звезды небес!
Тихая ночь!..¹⁴

Стихи будто оборваны. Не о чем больше говорить. Сидеть со Светланой, плакать.

Он и затаился. Продолжал быть Жуковским: все делал, исполнял, как полагается, в обществе даже бывал оживлен и шутив. Внутренно же менялся. Как

бы отходил от себя. Жуковского-поэта. Не знал еще, что предстоит, но чувствовал, что нечто уже и ушло.

Бывалых нет в душе видений
И голос арфы замолчал.¹⁵

Вернется ли, и когда? Неизвестно. Но пока что — молчание, тишина.

1823 год для него полусон и неяркость, как бы летеиское бытие. Наезды в Дерпт, уроки русского языка («великой» княгини) Елене Павловне. Это и некая промежуточность. Одно кончилось, другое не начиналось. Надо владеть дни, выжидая дальнейшего, в настоящем же продолжая обычное.

Чем он далее двигался в жизни, тем обычнее становилось для него за кого-нибудь хлопотать, кого-нибудь опекать: чуть не вторая профессия. Пушкин в 20 году чрез него уже прошел (и не раз предстояло еще проходить). Теперь очередь была за Батюшковым.

С Батюшковым он дружил давно. Еще в 1812 году, в мае, описывал ему в стихах собственную усадьбу, цветы перед домом, пруд, «швабского гуся» и купальню.¹⁶ Изящный, тонкий поэт был Батюшков. И, как Жуковский, предтеча: от него тоже взял каплю меда Пушкин.

В молодые свои годы Батюшков считался певцом счастья, вина, языческого благодушия, а кончил...

В 1818 году при содействии Жуковского получил назначение в Неаполь, в русское посольство, — и уехал. В это время написал «Торквато Тассо»,¹⁷ и уж мало радости звучало в пении его. (А истинный был певец, сдержанный, благородно-строгий). Любил Италию, переводил Петrarку, и, казалось бы, в посольстве, с Неаполем, Везувием перед глазами, жить да благословлять господа. Но его ел недуг — тяжелая душевная наследственность. Есть указания, что осложнилось это позже тем, что он узнал о заговоре декабристов.¹⁸ Муравьев, родственник его, будто бы и самого его завлекал в Союз. Батюшков не пошел, но нервно столь расстроился, что Жуковскому пришлось взяться за него всерьез.

В мае 1824 года он повез Батюшкова в Дерпт, к тамошним друзьям-врачам. Те посоветовали отправить его в Дрезден, в известную лечебницу Зоннештейна. Так и сделали. Все сделали наилучше, со вниманием и любовью, Батюшкова устроили, а судьба его оказалась — долгие годы неизлечимого безумия.

В Дерпте Жуковский жил могилкой Маши (его «Алтарь»). Чугунный крест был им поставлен, с бронзовым по кресту барельефным распятием. Что особенно Маша любила в Евангелии, то теперь осеяло ее — на плите вылитое: «Да не смущается сердце ваше...» (Иоанн, 14, 1) и «Приидите ко Мне вси труждающиеся...» (Матф., 11, 28).

Тихо, покойно. Цветы, скромная огорада, скамейка. Кругом деревца. Рядом проезжая дорога, а за нею поле, простенькое русское (как и «русским» кладбище называлось), с жаворонками в майском небе, со светом и благоуханием весны. Это идет Жуковскому. Уезжая из Дерпта, когда экипаж проезжал мимо кладбища, он приказывал остановиться, выходил, кланялся могиле земно, ехал дальше.

На этот раз, отослав в Дрезден Батюшкова, так же поступил. В Петербург ехал навстречу новой своей судьбе.

* * *

Император Александр слабел. Странно и загадочно складывалась судьба этого человека. Победа над Наполеоном, безграничная мощь, слава, восторг России и Европы, небывалые лавры — и медленняя, отравляющая горечь, разочарование во всем, мрак, отказ от сияющего прекрасподушия молодости. Слишком ли он много видел? Слишком ли познал изнанку человеческой души — собственной в том числе?

И все в нем противоречие: религия, тоска по запредельному, путешествие на Валаам и сырая репка смиренного схимонаха Николая, а рядом в «жизни, как она есть» Аракчеев с военными поселениями, шпицрутены, Магницкие, Фотии, отставка Голицына...

Сама религия не утешала, или утешала недостаточно. Дело шло к концу, он задыхался — не так легко быть одновременно и «обожаемым», и соучастником отцеубийства.

Осенью 1824 года он уехал на юг. 27 ноября в Петербург пришла весть о его кончине. Семья бурно переживала случившееся. Мария Федоровна лежала в обмороке, ученица Жуковского Александра Федоровна на коленях перед ней, в слезах («Maman, calmez-vous...»¹⁹), гигант-красавец, кому некогда представлял Уваров Жуковского у этой же императрицы, дрожащими губами присягал на кресте и Евангелии, а скончавшийся император из своего Таганрога порождал таинственную легенду: вовсе он и не умер — старцем Федором Кузьмичем ушел в леса и скиты, разуверившись в земном.²⁰

Это земное перешло на могучие плечи Николая Павловича. Из всех трех братьев наименьше походил он на отца — ничто от искаженного лица Павла I ему не передано. Здоровье, сила, крепость, красота... Темперамент огромный, но и великая выдержка. Велика и сила глаз — прекрасных по рисунку, но иногда страшных. (Глаз этих все боялись впоследствии, от савошников до скромного Жуковского).

Все сложилось как надо. Не наследник Константин оказался царем (ему-то

в первую минуту и присягал в дворцовой церкви Николаю), а именно Николай: Константин в отказе упорствовал.

Ни тот ни другой к царствованию подготовлены не были. Но Николай подходил к духу времени и обстоятельствам тогдашним: мощной фигурой своей что-то выражал. К скипетру относился мистически. Приятие царства считал крестом, великим, но и тягостным. Долго убеждал Константина, но когда выхода не оказалось, непоколебимо принял власть.

С первого же дня путь его оказался грозным. Много спокойнее и проще было бы командовать, с титулом великого князя, каким-нибудь гвардейским корпусом, чем 14 декабря отстаивать на Спасской площади свой трон, жизнь и свою, да и семью. Все-таки, раз уж взялся, выполнил изо всех сил.

Николая I любить трудно. Не весьма его любили и при жизни, и по смерти. Но и нелюбившие не могли отрицать, что 14 декабря показал он себя властелином. Личным мужеством и таинственным ореолом Власти действовал на толпу. Он — Власть. «Это царь!» Вожди мятежников могли быть и образованней его, и многое было правильно в том, чего они требовали, по у них не было ни одного «рокового» человека, Вождя. А Николая Вождем оказался. И победил.

День 14 декабря нелегко ему дался. Еще менее легко ученица Жуковского, Александре Федоровне. До вечера не знала она, будет ли муж жив. Если же нет, то и собственная гибель, и гибель детей были более чем возможны.

Муж на коне свое дело делал. Она во дворце молилась — и на всю жизнь остался у ней на лице, памятью этих часов, первый тик.

Не меньше того, надо думать, переживал события и Жуковский, в двух планах сразу: в монархию верил священно, тут никаких колебаний быть не могло. Заговор для него безумие, а заговорщики — злодеи.²¹ (Драматическая черта: среди сообщников — Николай Тургенев, к счастью, за границей находившийся, брат покойного друга Андрея и живого — Александра. Этого уж никак он не мог счесть «злодеем» — позже за него хлопотал).

Другой план семейно-патриархальный. С 1817 года знает он Александру Федоровну, учит ее, с ней встречается в Москве рождение Александра, с ней едет позже в Берлин — Николай. Александра Федоровна для него уже часть жизни, не как Протасовы, разумеется, но зато в сияющем тумане царственности. Мальчику Александру написал он в Кремле приветствие, писал и Александру Первому, и на случай жизни семье царской. В царей врос, блестящим, величием жизни их и ослеплялся, и воодушевлялся. Он как бы член семьи. Будто и на скромном положении, но при мягкости и очаровательности характера

* «Мама, успокойтесь...» (франц.).

ему это в общем было не трудно (тем более что ничего не добивался, ни под кого не подкапывался). Он с царями сроднился, их беда неминуемо обернулась бы и его бедою.

Николай победил, стал императором. Тик на лице Александры Федоровны остался, но она тоже стала императрицей, а ее сын — наследником.

Все это тотчас же отозвалось на судьбе Жуковского — смерть Маши и уход императора Александра надолго определили бытие его. При Маше он был поэт, пел, любил. Хоть и говорил, что жизнь и «без счастья» прекрасна, но именно счастья и хотел. И поэзия, творчество являлись для него тоже счастьем. Он был поэт и влюбленный. Поэзия стихийно из него излучалась, как и любовь.

Но «это» кончилось. Начиналось другое. Не для себя, а для России теперь. Мальчику, тогда в Кремле полившемуся, предстояло сделаться царем. Кто будет его к этому готовить? Задача немалая. И родители, и Жуковский ее сознавали. На Жуковском и остановились. Он колебался — смущала ответственность и недостаток подготовки. Вместо себя рекомендовал он графа Каподистрию. Но Каподистрию не захотел император. Решили по-прежнему: быть Жуковскому главным руководителем наследника.

Значит, не для себя и литературы и поэзии, а для России. Тогда не знал еще, что обучать предстоит будущего Освободителя — будущую и жертву.

Жуковский шел на это в настроении, подобном тому, как Николай принимал троп. Размеры иные, а суть та же: обязанность. Отказываться нельзя.

* * *

Печали, волнения этого времени действовали: весной 26 года Жуковский стал чувствовать себя плохо.

Он жил теперь в Зимнем дворце, но высоко — сто ступеней лестницы. Подымался с большим трудом, задыхаясь. Лицо его отекло, пожелтело; отекали и ноги. От геморроя, потери крови он ослабел. Неважно и с печенью — врачи предписали Эмс. В мае выехал он во второе свое западное странствие. Должен был укрепиться, принимаясь за новое.

В Эмсе поселился с ним верный Зейдниц. Жуковский пил по четыре стакана воды в день, брал ванны, занимался этим шесть недель с большой для себя пользой. Удержаться от туризма было трудно, и, окончив лечение, проехался он на лошадях вдоль Рейна, чтобы «любоваться утесами с козел»²² (все-таки был довольно слаб и пешком ходить уставал).

А в России трагическая история с декабристами завершилась. Всю весну Николай сам вел следствие, потом был

суд, их осудили. Летом пятерых повесили (царская семья тяжело это переживала), остальных сослали. Осенью Николай короновался. Александра Федоровна стала императрицей. Незадолго пред коронацией Жуковский был прямо назначен воспитателем наследника (мальчику исполнилось восемь лет).

Но жил Жуковский в это время в Дрездене, переписывался с государыней — она и описала ему торжества коронации. Она же разрешила провести зиму за границей для восстановления здоровья.

Отношения Жуковского с императрицей своеобразны: конечно, он от нее зависит. Он бездомный поэт, она сила неизмеримая. Но она его бывшая ученица, и он много старше ее. Тот его писем почтительный, все же местами почти наставнический. Опасается, например, что для наследника зрелище коронации, торжество, поклонения окажется не совсем полезным. «Он мог бы легко усвоить себе незрелые понятия о величии». Ему надо внушать, что «величие, чтобы не быть призрачным, должно казаться ему не правом его, а долгом, священною религией...»²³

В одном из дальнейших писем есть слова, особенно горестно *сейчас* звучащие: «Для Вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется религия сердца»²⁴. Религия сердца! Вот о чем тогда говорили, думая о властителях. «Ему необходимо иметь высокое понятие о Промысле, чтобы оно могло руководить всею его жизнью»²⁵.

Николай только что победил. В педагогом прошлом тревожения борьбы. Да, он царь, но ценою нелегкой. А Жуковский пишет в это время его жене: «Власть царей исходит от бога» — да, разумея «ответственность перед верховным судьителем». Но не «мне все позволено, потому что я зависим только от бога»²⁶ — Жуковский, конечно, и благоговел, и трепетал пред Николаем: но вот не может и себя переделять: что считает истинным, то и говорит. (Позже приходилось и еще трудней, когда просил и ходатайствовал за недругов государя).

В одном письме к императрице он с большой простотою дает ей поручение, как равной или даже младшей. Ему отводили новую квартиру в Зимнем дворце. Раньше там жил Нарышкин. Так вот пусть бы императрица понаблюдала, чтобы Нарышкин уехал вовремя. А еще интересуют его собственные вещи: Воейкова (Светлана), с которой он жил вместе, тоже переезжает, вещи останутся без призора, хорошо бы вернуть их во дворец «надзору какого-нибудь честного истопника»²⁷. В конце концов это недалеко от того, что он мог написать в Долбино Авдотье Елагинной и Светлане в Петербург!

В путешествии нынешнем ему везло на художников. Еще в Эмсе встретился

он с Рейтерном, близким знакомым по Дерпту. (Рейтерн этот был офицер. Под Лейпцигом ему оторвало ядром правую руку. Он стал рисовать левой, писал и красками, добился известных успехов, женился на немке, жил теперь за границей, преимущественно в Дюссельдорфе). Работы его Жуковскому нравились. Сам Рейтерн тоже. Но, конечно, и в голову ему не могло прийти, какую роль через много лет сыграет в его жизни дом этого «безрукого красавца».

В Дрездене посещал живописца Фридриха, знакомого еще с первого путешествия. С ним едины настроения. После смерти Маши мотивы мистическимеланхолические владели Жуковским. Это выразилось и в собственных его рисунках: могила Маши, над нею крест — не раз он изображал это. Фридриху такое было родственно, он сам писал в том же духе. В бытие Жуковского вносил ноту романтики горестнотрогательной, нечто созвучное. (Картина изображает, например, кладбище вечером. У могилы ребенка, среди шумящих сосен, фигуры отца и матери и т. п.). Жуковскому это нравилось. Он оказался даже отчасти покровителем Фридриха и заказчиком. Заказал и купил у него «Смерть на гробе» и «Жизнь на гробе».

Все-таки главное его дело теперь, когда здоровье подправилось, была не эстетика, а подготовка к обучению наследника. Начинаясь всякие планы, расписания, таблицы — Жуковский верит себе. Еще в юности это любил, теперь же обучать надо не Светлану и не Машу, а будущего самодержца все-русского. Вот пишет он Авдотье Елагинной из Дрездена в начале 27 года: «Работы у меня много, на руках моих важное дело! Мне не только надобно учить, но и самому учиться, так что не имею средства и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. Если бы вы видели, чем я занят и как много объемлет круг моих занятий, и как он должен будет беспрестанно распространяться...»²⁸ — вот она, аскеза новой жизни, повое «послушанье». Не до стихов, не до искусства, когда надо выработать точный план, где все сходилось бы на его лекциях. Он центр, куда все остальное устремляется. Но на нем и сторона хозяйственная. Как всегда, в этом он точен, благоразумен и внимателен. Для наследника надо закупать книги — составлять библиотеку. Нужны и учебные пособия, гравюры, карты, планы, глобусы. Все это за границей дешевле, и вот он накупает в Лейпциге и Берлине немецких книг, а для французских и английских собирается в Париж.

Зиму же проводит в Дрездене. Тут Александр Тургенев с душевнобольным братом Сергеем, тут же Е. Г. Пушкина, наблюдающая за несчастным Батюшковым в Зонненштейне. То, что живет

Жуковский среди бед людских, в них входит, сколько можно облегчает, — характерно для него. Дрезденская зима тиха. Малый круг друзей, знакомых, художники, работа, поечение о Сергее и Батюшкове — весной 27 года выезжает он с обоими Тургеневыми, больным и здоровым, в Париж, накупив в Германии книг для наследника уже на 4000 талеров. Кроме того, составляет каталоги по истории, философии, литературе, педагогике, военному искусству, законодательству, правоведению... — вспоминаются времена Благородного пансиона с тридцатью шестью предметами обучения.

Все это будет приводиться еще в сплестему, разные концентрические круги поведут маленького Александра к средоточию истины.

А пока что в мае оказывается Жуковский в Париже.

К Франции и Парижу русские писатели всегда были неблагосклонны. Отзывы их часто высокомерны, говорят и о незнании дела (Гоголь, Толстой, Достоевский. Тургенев знал, но все-таки не любил). Сказать, что благосклонен Жуковский, было бы слишком. Но к своему полуторамесячному пребыванию в Париже отнесся он очень внимательно и добросовестно. Многим интересовался, многое видел, встречался с людьми первосортными и оставил отзыв серьезный. Народ ему даже понравился — он его находил живым, впечатлительным, хотя более мелочным, чем русские. Побывал и в Палате депутатов. К удивлению, что-то здесь даже одобрил. После николаевского режима поражен был свободой, с которой говорил о власти, да и о самой свободе, — в сущности здесь было то, за желание чего сидели декабристы в тюрьмах по Спбири. Был во французском суде, в театрах, об Опере же сказал, что после итальянцев пение французов «кажется криком». Побывал в разных благотворительных учреждениях, но странным образом Париж художников мало оставил в нем следа.

Встречался с Шатобрианом. Кювье, филантропом Дежерардо. И довольно близко сошелся с Гизо и супругой его, также с графиней Разумовской.²⁹

Париж довольно неожиданно принял Жуковского — он нашел здесь некоторый отклик настроениям собственным: Гизо и Разумовская, Александр Тургенев — все это родственный ему воздух, тот же мечтательный и возвышенный идеализм, религиозность, не совсем близкая церкви, душевная установка на тишину и примирение, на приятные и оправдание жизни и смерти.

Смерть же ходила вокруг. На руках Александра Тургенева скончался Сергей, младший брат его, именно тою весной в Париже. Смерть подбиралась и к г-же Гизо, недалеко была и от графини Разумовской, в те дни державшей

еще салон на 27, rue du Vas,* в местах, позже прославленных Шатобрианом и Рекамье.

След грусти оставил в Жуковском этот Париж. Ему было хорошо и легко, светло и с Гизо, и с Тургеневым, Разумовской, но печать брешности, скорого навсегда расставания лежала на всем.

В июле он снова в Эмсе. Тут ждут грозные вести, все в том же роде: тяжело заболела Светлана, доктор Арендт предписал ей тотчас выехать за границу. (Светлана давно была туберкулезная — теперь болезнь ее проявилась решительно).

В Эмсе Жуковский проделал второй курс лечения. Тут же узнал из письма Разумовской, что в Париже на ее руках и руках мужа скончалась г-жа Гизо, — смерть эта была высокохристианская, в духе и тоне самого Жуковского. («Ваш благородный гений нашел бы тут вдохновение, его достойное»³⁰).

А в сентябре свиделся он в Берлине, куда парочко для того выехал, со Светланой, проезжавшей на юг Франции. Это свидание было недолгим. Ему путь на восток, к новому своему делу. Ей на запад. Между ними ложится вечность.

Светлана

Волго время, послалась в Муратове девочка Сашок, позже стройная девушка, облик легкости, света, милый домашний друг и летящий гений Жуковского — поклонница и усерднейшая переписчица стихов. В августе 1827 года из Петербурга тронулась за границу очаровательная молодая женщина, мать троих детей и незадачливая жена — Alexandrine Voyeikoff, «Светлана», — тяжело больная и несчастная.

Ехали в нескольких экипажах: сама Светлана с тремя детьми, гувернантка miss Parish, слуги Лиза, Лизетта, Лукьян: целый маленький двор. Путешествие медленное, для большой утомительное. До Риги десять дней, а там Кенигсберг и немецкие дороги, гладкие, обсаженные итальянскими тополями. Есть в этих странствиях и минуты поэзии: где-нибудь на мосту через Одер, уже ночью, при звездах, из воды слабо отблескивающих, — запах реки, теплый ветерок с полей сжатых, благоуханных. В темноте фонарики встречных и опять сумрачная дорога, слава звезд сквозь узор листвы на тополях. Дети спят. Англичанка похрапывает. Впереди Берлин, дальше Страсбург, Лион и юг Франции: последняя ставка на жизнь.

Берлин пришел в половине сентября. В нем Жуковский! Этим все сказано. Не ошиблась Светлана — в Жуковском никто и не ошибался. Он равен себе, ласков, заботлив, показывает Берлин,

возит в Потсдам и Шарлоттенбург. С ним отдых и свет. Вместо пяти дней проходит десять, но и они прошли. Путь же далек. Светлана должна уезжать.

Нельзя сказать, чтоб легко проходило страдание. В Страсбурге, в самом начале октября, заболел сын Андриана. Скарлатина! Месячные сиденье. Гостиница, неуютность, отовсюду дует, холод... — ясно видно, как полезно это для Светланы с кашлем ее и температурой, болями в боку. В том же роде продолжается и впредь, темный ноябрь Франции, горы в снегу, сумрак и холод. Лион (этот город Светлане почему-то понравился) — надо думать, само путешествие сократило ей дни.

Все же в начале декабря добрались до Иера, близ Тулона. Тут можно вздохнуть. По рекомендательному письму графа Строганова маркиза Борегар стала Светлана два этажа «небольшого» своего дома (древняя римская башня) в оливковом саду, с дальним видом на горы и море, с апельсиновыми деревьями, беседкой в розах и «ясминях». Хозяйка приветливая, все готовое, покой и благоденствие Прованса, тихо, тепло. Светлана выложила свои книги — Монтень, Байрон, Фенелон, Гете, Шиллер, Шекспир... — и русские журналы, альманахи. Появился и Зейдлиц, добрый дух местности: он заканчивал за границей учение медицинское, но не мог же оставить сестру Маши в болезни и на чужбине.

Из Иера Светлана много писала на родину, матери и Жуковскому, друзьям. Тонким пером зарисовывала в альбом виды Иера. И письма ее, и рисунки сохранились.³¹ Они дают ощущение прозрачной, изящной и одинокой жизни, как бы в дали опаловой, с нотой грусти, иногда и надежды иногда тоски и предчувствий. Прованс двадцатых годов, маркиза времен Реставрации, маленький старичок — эмигрант революции, благоухание апельсиновых рощ, доктор Лялегри, лечивший Светлану тем, что спаленно ей паливал пахучими травами, давал пить ослиное молоко и заставлял иногда спать в коровьем стойле — это помогает от туберкулеза... Море говорило о широте, свете, счастье. И вначале Светлане действительно стало лучше.

Но весной ни ослицы, ни коровы не помогли. Она чувствовала себя плохо. Приближались жары, угрожающие для чахоточных. Пришлось трогаться дальше: предстояла Швейцария. Пришла и она. Тот же Зейдлиц привел весь караван в Женеву, устроил и водворил. Мелькнула опять надежда: горный ли воздух, прохлада, но снова Светлане стало легче. Ее женевская жизнь — проблеск. Изыскство и спокойствие, книги, общение с выдающимися людьми — у нее бывали Сисмонди, старый Бонштеттен (влюбившийся в нее под ко-

* улица Бак (франц.).

пец).³² Вдали на горизонте Жуковский.

Но и Швейцария ненадолго. Осенью приходится отступить на Италию, опять экипажи, дети, слуги и гувернантка — под командою Зейдлица (видно, он и совсем забросил на это время ученые свое).

Италия поначалу дала привет светло-очаровательный. «Дети ходили смотреть Борромейские острова, а как я еще не мастерица ходить, то я качалась в лодке, однако в Isola Madre* взойшла до первых апельсиновых деревьев. — Вообразите вечер как на заказ, самый бесподобный, озеро гладко, как зеркало; я лежала в лодке, Зейдлиц играл на клавишете всю старинную, знакомую музыку! Солнце село, и миллионы звезд загорелись, дети утихли, и музыка тоже, и мы приехали в Арона в каком-то волшебном расположении».³³

Были хорошие минуты и в Милане, но и смертельная усталость. В октябре 28 года она уже в Пизе.

Почему выбрала Светлана древний, гордый тибелланский город, в сумрачном величии которого столько трагического? Но там жили знакомые. Хлюстина, граф Ксавье де Местр. Будто не так оливоко. Да и рок сюда устремлял, без ее ведома. Дожди зимней Пизы, сырость, холод в огромных, изящных комнатах снятого дома... И пацкосок Банья голода, где погибал в тюрьме дантовский Уголино.

Тут она угасала неудержимо. В Петербурге думал Жуковский, что она вот так, светло и незаметно, подготовившись к тому миру, перейдет в него. Но в действительности было страшнее. О, конечно, как христианская душа, много и долго жила Светлана с мыслями об этом мире — с юных лет тем же Жуковским поставленная. Все его примирение и приятие крепко сидело в ней. Но она была молодая женщина, любившая жизнь, и красоту, и любовь (счастья в которой так и не было ей дано). В тридцать три года медленно, непонравимо близиться к могиле — это ли не Крест! Она не роптала. Но страдать всякому позволено. «Все плачу и рыдаю, и силы пропали; особенно по почам, ce n'est pas volontaire et cela dure des heures quelquefois».**³⁴

Рисунок пером, ее собственный — комната в Пизе: огромная, светлая, с хрустальной люстрой, старинная роспись стен — колонны, гирлянды, на этажерке вазы античные, статуэтки. На постели в чепце больная. За одним столом гувернантка и девочка побольше, за другим — няня с маленькой.³⁵ При этой-то люстре, в ночной пустыне и ждать часа последнего.

Накануне нового года она устроила

* Материнский остров (итал.).

** «это от меня не зависит и продолжается иногда часами» (франц.).

детям елку, радовалась их радостью из-за подарков, все напоминало собственное детство и Россию — это и была Россия в Пизе. Даже и гадание новогоднее устроили. Но тогда гадание Светланы было только страшным сном, окончившимся блистательно.³⁶ Тут жених не приехал, да и о каком женихе речь? Вылитое олово указало дальний путь. Светлана пошла и поникла.

Дело же шло все хуже. В феврале Жуковский получил весть от Зейдлица, что конец близок. Он отправил Светлане необыкновенное, но для такого человека, как он, неудивительное письмо. «... Нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?.. Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благословляю тебя!»³⁷

Благословляет на смерть. В лицо говорит о неизбежности ее. О детях пусть не заботится. И он, и Перовский, и Полина Толстая, и государины их не забудут. Все в порядке. В конце спова: «Благословляю тебя, покоряясь необходимостью потерять тебя».³⁸

Другое письмо, через несколько дней: «Саша, мой ангел, может быть, ты уж стала ангелом во всех отношениях... Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем».³⁹

Этих писем Светлана уже не прочла — до них не дожила. Зейдлицу он писал, в то же время: «Последний год твоей жизни есть прекрасная святая эпоха: обещание, данное Маше, верно исполнено, у гроба сестры ее ты снова с нею встретился. Вы оба были подле нее представителями всего лучшего; она невидимо, с того света — на свидание, а ты при исходе из здешнего — на прощание».⁴⁰

Из своего Петербурга он воспринимал удаление Светланы музыкально-поэтически. «Какая-то чистая музыка слышится, когда переносишься воображением в эту минуту. Для меня теперь все прекрасное будет синонимом смерти».⁴¹

Нечто и жуткое есть в последней фразе, но для повседневности и всей строй чувств Жуковского в этом случае жутко. Жуковский святым не был, но приближался к той грани, которая дает право прямо сказать о смерти и даже благословить на нее: для этого должно существовать незабываемое и глубокое чувство того мира, мира духа и света, исход в который из здешнего не только не горе, но радость. (Св. Серафим «поставил» умереть совершенно здоровую молодую девушку, ибо считал, что для ее судьбы это лучше, — она и умерла, очень скоро). Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоящая родина Светланы.

Предсмертные радости ее были — письма из России, друзья здесь да портрет Жуковского, всегда рядом на століке стоявший.

Смерть входила с великой торжественностью в молчаливый дом Пизы. (Жуковский знал, кому писал). 27 февраля утром Светлана почувствовала, что это последний ее день. В девять часов отрезала себе косу, завещая ее детям. В Ливорно послали за священником: хотела причаститься. За полчаса до его приезда велела поставить пред собой образ божией матери. Хлюстина читала псалмы. Дети и домочадцы стояли на коленях.

После причастия и соборования она просталась и благословляла детей, благословила сына отсутствующего, всех родных и знакомых в России. . . — просто ждала уже конца. Дети приняли к ней. Она была в полном сознании, только слабела. Слышала, как пробило два часа. В руке у нее зажженная свеча, губами приняла она к образу богоматери. В комнате сдержанные рыдания.

С этого времени стала слабеть. Дети от слез и усталости задремали. Слышала, как пять пробило. «Умру ли я через два часа?» Ошиблась всего на полчаса. В половине восьмого сказала, что ей холодно. «Укройте меня» — но от этого холода никто уж не мог ее укрыть. Через несколько минут она отошла.⁴²

Ее похоронили в Ливорно. Жуковский так написал о Машинной и ее смерти: «Гробы их на их жизнь похожи: около одной скромная, глубокая, цветущая тишина, ровное небо, дорога, вечернее солнце; около другой живое, веселое небо Италии, благовоиные цветы Италии».⁴³

Наставник

С осени 27 года, вернувшись из-за границы, Жуковский живет в Петербурге совсем один, в Зимнем дворце. Устроен отлично. Квартира изящна, светла, тепла. Есть в ней некоторая даже изысканность. В кабинете большой письменный стол — у него он писал стоя, — на стене бюсты царской фамилии, в углах комнаты слепки античных голов. Много картин, портретов близких и дорогих людей. В других комнатах библиотека (книг много), гостиная с большими креслами, есть где принимать друзей, устраивать литературные собрания (позже Гоголь читал у него здесь на вечерах «Ревизора»). Бывал и Пушкин, Вяземский — весь блеск литературы тогдашней).

Порядок в комнатах замечательный — это всегдашний Жуковский, с ранних лет.

Сам он теперь покоен, с наклоном к тучности, с не весьма большими, но живыми глазами на лице желтоватого оттенка. Часами работает

в этой просторной и приятной раме. Пишет, однако, не стихи. «Былых уж нет в душе видений» — сейчас важны не четырехстопные ямбы (в этом изощряется Пушкин), а совсем другое: планы, пособия, наблюдение за лекциями наследнику.

Послушание принято, надо его исполнить. Жуковский намерен обучать Александра по сложному плану из трех частей. Первая от 8 лет до 13-ти — «приготовление к путешествию» (все-таки поэт сочинял программу!) — краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, иностранные языки. Вторая часть от 13-ти до 18 лет — собственно науки, излагаемые более подробно, — само «путешествие», развивающее зерно первой части. Науки разделены по собственной воле Жуковского на «антропологические» (история, политическая география, политика и философия) и «онтологические» науки о вещи вне человека (математика, естественная история, физическая география, физика). Наконец, третья часть — «окопание путешествия» — чтение «немногих истинно классических книг» с целью моральной — образование «совершенного человека».⁴⁴

Вся эта сложность и добросовестность, высокие замыслы и некоторая педагогичность — опять-таки Жуковский. Нечто и от его собственной молодости, обучения в Университетском пансионе с тридцатью шестью науками и заданием создавать «добродетельных» юношей.

Император и императрица план одобрили. Государь внес только свою черту: велел выбросить древние языки, терпеть их не мог, в детстве сильно и бессмысленно был ими намучен.

Как некогда у самого Жуковского, день у наследника расписан по часам. Занятия, уроки, отдых, гимнастика, вечером «обозрение прошедшего дня и ведение журнала».⁴⁵ По воскресеньям гости — сверстники из выбранных родителей. Игры, танцы, музыка (к ней наследник имел большое расположение).

Воспитателем заведует генерал Мердер, «воин»⁴⁶ в духе императора Николая, им самим и назначенный (он должен приучать будущего императора к жизни суровой, чуть ли не походной — постель мальчика жестка, питание простое, игры чаще военные и т. п.).

За Мердером государь, за Жуковским виднеется императрица — от Жуковского должна идти линия развития души, облагорожения ее высшими мирами. (Иерархически при этом Мердер был подчинен Жуковскому).

Разумеется, вывезена из-за границы целая библиотека, карты, планы, глобусы, пособия. Набран штат учителей из выдающихся педагогов и профессоров. Среди них и академики, как Коллинс (математик), и впоследствии очень известный П. А. Плетнев (грамматика и

русская словесность). Закон божий преподавал выдающийся ученостию священник, протоиерей Андреевского собора «отец» Герасим Павский, назначенный самим императором.

Всем этим распоряжается Жуковский, за все ответствен. Сидит на уроках сам, входит во все мелочи. Наблюдают и родители. Императрица присутствует на ежемесячных испытаниях. На полугодовых, более торжественных, появляются и государь. Разумеется, они отлично осведомлены о ходе обучения, воспитания сына.

Летом все в Царском Селе. Тут для детей привольнее, конечно. Александру, Константину и Марии отведен был на пруду остров. Они сами насадили там деревья и цветов, выстроили кирпичный домик, сделали для него мебель. И уже позже, взрослым, Александр поставил туда бюст Жуковского — в воспоминание о счастливых днях детства.

Сколько можно судить, последний был мальчик живой, резвый, способный, иногда слишком горячий. С самостоятельностью его приходилось бороться.

Но уж если Жуковский вошел в семью, то в ней прочно и остается, покори спокойствием своим, светом и благодушием. Теперь он взрослый и в младших. Судя по более поздней его переписке со всеми тремя детьми, строившими в Царском Селе домик, он являлся для них чем-то вроде дядюшки, не по крови, не совсем настоящим, но может, и лучше настоящего. С одной стороны, верноподданный («верный до гроба Жуковский»,⁴⁷ «целую Вашу милую руку» — наследнику, 1844 год),⁴⁸ с другой — и наставник, непреложный авторитет. Того же наследника учит, что Гоголю надо дать не 2000 в виде подарка, а 4000 в виде займа самому Жуковскому. («Видно, вы не разобрали моего письма»⁴⁹ — Жуковский с Гоголем сам устроится, а наследник своих денег не потеряет. Тон письма очень вежливый, но такой, что отказать бывший ученик не может. Об этом и мысли нельзя иметь).

Как бы то ни было, даже пока они просто дети, заботы о них — главным образом об Александре — занимают его всего. Первые годы он ничего не может писать по своей части — тут не одна занятость, а и внутреннее изменение. Ни Маше, ни теперь и Светлане уже нет. Сам он тоже не прежний. Потяжелел, пополнил, в свободное время сидит на диване, как турецкий паша, в изящной и светлой своей квартире, курит подолгу трубку, быть может, мечтает. Но поэтической остроты, напряженности, беспокойства, стремящегося вылиться в стихи, ритм и рифму, — нет. Некогда перевел он «Орлеанскую деву» белыми стихами, но тогда писал и острое с рифмой. Теперь это ушло. «Прощай навсегда, поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знако-

мая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь».⁵⁰ Если не вся, то, конечно, целая полоса жизни. В этой полосе не только не писал он, но убавил даже переписку с друзьями, просил у них дать «отпуск насчет письменного молчания».⁵¹

И вот приближается 1831 год. Жуковский встретил его в одиночестве, перечитывая письма Маши. («Это писала Маша, встречая свой последний, 1823 год».)⁵² «Теперь пять часов, на улице все так тихо, вокруг меня все спит, мое сердце бьется, но спокойно и исполнено благодарности к богу. Я вступаю в этот новый год с совсем особыми чувствами. Во мне столько бодрости, как будто я должен пачать сам для себя новую жизнь».⁵³

Точно бы то, что в свое время и очаровывало, и томилло, мучило, но и наполняло жизнь, пытая творчество, — ныне отошло, как бы заключено в хрустальном саркофаге. А его путь жизненный, да и творческий, идет самозаконно, прежним не управляемый.

Новогодняя бодрость не оказалась бесплодной. 1831 год по внезапному подъему творчества можно сравнить только с долбинской осенью 1814 года. Но совсем все другое. Там острое, трогательное, музыкально-звнящее, в сложностях, блеске ритмов и рифм, здесь спокойствие. Зрелость художника уверенного, нет за сценой и кровоточащего сердца. Творчество просто как творчество: баллады и куски эпоса, и знакомые имена «из Шиллера», «из Гейбеля», «из Уланда». Затем русские сказки — вот это для него новость. («Царь Берендей», «Спящая царевна»). *Много гекзаметра*: прощание с молодостью и рифмой. Предвстие обширных писаний типа «Ундины», «Налия и Дамаянти», впоследствии «Одиссея».

«Война мышей и лягушек» именно гекзаметр. Вдохновлено это немецкой переделькой древнегреческого животного эпоса. «Войну мышей и лягушек» — вернее, отрывок из нее — написал он с полнотою и благодушием, улыбкой и яркостью Жуковского, перевалившего за полдень. Очень хорошо и удачно, но без нас можно жить. Это не необходимо Жуковский. Как не необходимо для него русские сказки: мог написать, мог и не написать. Кажется, из всего в 31 году возникшего шиллеровский «Кубок» наибольшее прикреплен к его сердцу. Любви не удержишь. За кубком бросается она на гибель — звук сильный и полный, беспорная удача. В общем же в писании его теперь показан человек большого дара, ясный и покойный, но как бы наставник юношества. Сегодня это «Суд божий над епископом» (с детства знакомое... «Так был наказан епископ Гаттон»), там будет «Царь Берендей», «Сид», «Война мышей и лягушек» — точно бы и наследнику, когда

подрастет, читать эти отлично написанные и с оттенком «для юношеской хрестоматии» произведения. Так и случилось впоследствии.

Школа — и не только наследника — во многом завладела этими его писаниями.

* * *

С давних довольно времен Пушкин явился на горизонте Жуковского и до конца не сходил с него. С ранних лет соотношение это: ученик и учитель. Пушкин младший, Жуковский старший — разница шестнадцать лет. Пушкин-лицеист — расцвет славы Жуковского. Но довольно скоро учитель признает себя побежденным — великая скромность, ум, беспристрастие Жуковского. Однако и ученик побаивается «случайных» совпадений — в ритмах, оборотах (он очень был на Жуковском воспитан). До конца сохранит к нему высокое отношение, хоть временами могли и срываться слова дерзкие. Как бы то ни было, замечательный образец дружбы старшего с младшим. Полная иерархичность в искусстве и никакой зависти. Иногда недовольны друг другом, но всегда чувствуют, что недовольство второстепенно. Есть нечто важнейшее.

«Ты имеешь не дарование, а гений»⁵⁴ — писано двадцатипятилетнему «повесе». «Что за прелесть чертовская его небесная душа»⁵⁵ — так повеса оценивает учителя.

К 1831 году в искусстве положение ясно: Пушкин зрелый великий художник, невероятный музыкант и волшебник слова, угнаться за ним нельзя — да и все растет он. Жуковский давно определился и входит в ровнополоуденную полосу пути. Теперь уже в искусстве нечему учить Пушкина. У него самого можно учиться, да главному не научишься. Но вот как в юные годы приходилось обращаться к Жуковскому за заступничеством, так все и осталось. В жизни Жуковский не вышел из положения учителя, наставника до самого конца. «Талант ничто, главное: величие нравственное».⁵⁶ Это он тоже давно Пушкину написал и на этом остался. Тут они несоизмеримы. «Предлагаю тебе первое место на русском Парнассе, есть ли с *высокостью гения* соединишь и *высокость цели*».⁵⁷ (Он долго боялся, что Пушкин разменяется, что человек в нем не на высоте поэта. Как бы поэта не испортил).

Для Пушкина последняя ценность — искусство. Для Жуковского и над искусством нечто.

В 1831 году оба они жили в Царском, укрываясь от холеры, встречались дружки и беседовали, даже одновременно взяли за сказки и соперничали в них. Но в жизни Пушкин остался для Жуковского вечным учеником, за которого вечно приходится трепетать, иногда

сердиться на него, чуть ли не в угол ставить. Не в 31 году, а позже — но это не мепяет дела — напишет ему Жуковский: «...Ведь ты человек глупый, теперь я в этом уверен».⁵⁸ «Я, право, не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение».⁵⁹ (Дело касается бестактного, по мнению Жуковского, поведения Пушкина с государем — за что Жуковскому, как всегда, приходилось расплачиваться).⁶⁰

Лето же 31 года тут оказалось еще замечательно, что тут рядом с Пушкиным появляется при Жуковском новый «персонаж», довольно-таки замечательный: к нему тоже впоследствии приключилось имя «гений» и его памятник в Москве оказался недалеко от пушкинского.

Гоголь выпрыгнул для Жуковского из глубин своей Малороссии несколько раньше. «Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе, уже совершившему подорожи на этом поприще». Произошло это, видимо, в 1830 году. «Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!» (из позднего письма-воспоминания Гоголя).⁶¹ Жуковский сразу почувствовал в нем необычное — уже в начале 31 года Плетцев пишет Пушкину, обращая его внимание на Гоголя: «Жуковский от него в восторге».⁶²

Гоголь тогда почти еще не печатался, по кое-что было уже написано. Читал он вслух замечательно, занимался этим охотно. В литературном кругу кое-кто его знал. Вероятно, он и Жуковскому читал ранние свои вещи (или давал рукописи — что менее вероятно). Во всяком случае, с начала 31 года он печатается, а к маю у него готовы уже некоторые повести будущих «Вечеров на хуторе...». В этом же мае был он представлен Пушкину на вечере у Плетцева.

За всеми жизненными делами Гоголя видел в это время Жуковский. Он направил его и к Плетцеву, и через него получил Гоголь место учителя истории в Патриотическом институте («для благородных девиц»). Жуковский же рекомендовал его Лонгиновым как домашнего учителя — Жуковский создавал ему вообще хорошую прессу, поддерживал и помогал жизненно. (В литературе наставником его, на первых порах, оказался Пушкин).

Летом 1831 года Гоголь жил в Павловске, в скромных условиях — домашним учителем и воспитателем у Васильчиковых. Был беден, неважно одет, иногда читал свои новости приживалкам. Но не одним приживалкам! Жуковский и Пушкин недалеко — тоже, конечно, слушали. «Почти каждый вечер собиравлись мы: Жуковский, Пушкин и

я»⁶³ — если и не каждый вечер, то все же собиравшись в это странное лето, когда траера косила, когда укрывались от нее три русских поэта в тишине Царского Села и Павловска, все много работали, все были разного общественного положения и возраста, все соединены одним — искусством. Тут неважен потертый костюм Гоголя и общество приживалок. Важно, что двоим обеспечены памятники, а про третьего сказано:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...⁶⁴

Для Жуковского оба были «молодыми писателями», один с гениальным даром, но без всякого духовного управления, другой просто талантливый малоросс (таким казался ему), который может до слез смешить, но все-таки он «Гоголек», пока только всего.⁶⁵ К обоим старшим Гоголек этот почителен. Пушкин с ним очень мил и внимателен (что не часто случалось у него с молодыми писателями), по всю сложность, и путаницу, и трагедию будущую этого длинноносого учителя в потертом костюмчике с ярким жилетом ни Жуковский, ни Пушкин не чувствовали. В сентябре вышли «Вечера на хуторе...». Пушкин прочел, восхитился, но ничего, кроме «веселости», не заметил. «Чертовский» привкус Гоголя прошел совсем мимо. Жуковский пленялся, конечно, стороной поэтической повестей этих, Малороссией и напевом их, внутреннее же надлом и расщепления, терзания трагические были вообще ему чужды, как и стихия греха, зла. Правда, в Гоголе звуки такие были тогда еще слабо слышны.

Пушкин во всем этом ближе стоял к язычеству. Светлый аполлонизм закрывал от него дьявола. Жуковский, как христианин, видел дальнее Пушкина — для него назначение человека, *делание* его, совершенствование и посмертная судьба — самое главное. Для Пушкина человек — поэзия. Для Жуковского — бог и поэзия.

В Жуковском совсем не было мутной и жуткой стихии дьявольской, природа его была не такая, по все отношение к жизни, искусству, религии было ближе — а впоследствии это еще усилилось — к неказистому Пушкину, чем к блестящему Пушкину. В то лето перед Жуковским предстали, в недопроявленном еще виде, два главных пути литературы российской: пушкинский, гоголевский. Художнически он ни по тому, ни по другому не пошел. Но путь Гоголя для души его был ближе, и не случайно, что начавшиеся с «рекомендаций» и «Гоголька» отношения перешли в прочную и глубокую дружбу, в связь внутреннюю.

Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видна прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго.

* * *

1832 год — некоторая заминка в жизни Жуковского. Переутомился ли он, засиделся ли в однообразных трудах, но здоровье его сдало. Появились непорядки в печени, отозвалось и на зрении: стал жаловаться на глаза. Как и шесть лет назад, пришлось ехать за границу лечиться.

Опять Германия, воды. Теперь он настолько слаб, что выехал не как обычно на Дерпт, а морем на Любек, оттуда в Эмс. Там лечился и поправлялся, и был так еще несилен, что для прогулок завел себе осла *Blondchen*.^{*} А ему уж назначили новые воды, серные, — в скучном Вейльбахе, близ Франкфурта.

Туда приехал к нему из замка Виллингсгаузена русский живописец Рейтерн с семьей — тот самый однорукий полковник Рейтерн, с которым вместе жил он в Эмсе еще в 1826 году и которому покровительствовал при дворе (заказы, вспомоществования). Этого Рейтерна Жуковский любил, а тот относился к нему восторженно. В Вейльбахе они поселились в одном «трактире», это скрашивало Жуковскому «грустное затворничество».⁶⁶

После Вейльбаха ему предписали Швейцарию — лечиться виноградом. Рейтерн отправил семью назад в Виллингсгаузен, а сам вместе с ним поселился в Верне, на Женевском озере, близ Вевз. Предполагалось, что оттуда Жуковский уедет в Италию. Но когда время подошло, он раздумал.

Остаться же одному в Швейцарии тоже казалось жутким. И вот Рейтерн решил вызвать сюда всю семью, поселиться с ним вместе. Это Жуковского чрезвычайно устраивало. Г-жа Рейтерн приехала с тремя дочерьми (старшей тогда было тринадцать лет) и сыном. Поселились все вместе «в уединении» Верне.

Эта жизнь очень подходила Жуковскому. Друзья, благообразие и тишина Швейцарии, голубой Леман, горы, прогулки... Из воспитательного «послушания» Петербурга с заботами о преподавателях наследника, о книгах и программах он возвращался к истинному своему призванию: поэта.

Рейтерны его обожают. Милая девочка Лиза смотрит на него с благоговением. По-русски она не понимает, он для нее *ein berühmte russische Dichter*,** но он-то сам уж теперь силен немецки — впрочем, о чем особенно говорить с ребенком — достаточно одного легкого и поэтического его присутствия.

Жуковский живет уединенно: за два месяца раз только был в обществе. Его общество постоянное Рейтерны, книги, горы да озеро. Ежедневно уходит он в одинокие прогулки. От Верне по шес-

* Беляк (нем.).

** знаменитый русский поэт (нем.).

се к Кларану и в другую сторону к Шильону каждый из трех километров отмечен его именем — нацарапано на камне. Тут оживает в нем всегдашний Жуковский. И как в прежнем странствии живописал он словами Констанцское озеро, так теперь изображает Леман.

«День ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; вет ни одной волны... — озеро дышит. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы с снежными, спящими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры».⁶⁷

Тишина. Иной раз звук колокола, по мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход, горы безмолвствуют, воздух благословенный свекает к бредущему Жуковскому — пусть будет дальний лай собак, одинокий человеческий голос в горах — все равно не нарушить им великой безглагольности Природы. Она настраивает на раздумья. Жуковский всегда к размышлениям был склонен, с годами философ в нем растет — позже в направлении религиозно-мистическом, сейчас преобладает натурфилософия.

В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал, думал. История народов и история земли... И там и тут двойственно. То медленное и упорное созидательное творчество, то буря и катастрофа. Незаметно и непрестанно произрастает нечто, а потом взрыв, «революция» и гибель. Вот видит он развалины горы — рухнув, она раздавила несколько деревень. Так случилось в плане космическом, и потом по развалинам опять порастет травка, жизнь снова начнется. Но в человеческом общении да не будет обвалов — пусть идет ровное, спокойное усовершенствование. «Работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, ты безопасно, без всякого губительного потрясения произведешь или новое необходимое, или уличтожишь старое, уже бесполезное или вредное. Одним словом, живи и давай жить; а паче всего блюди божно правду».⁶⁸

Эти свои построения он назвал «горною философией»⁶⁹ — и для внутреннего развития его, человека хоть и зрелого, но не окостеневшего, зима в Швейцарии с Рейтернами оказалась благоприятна. Он жил под благословением и в благодати. Писал же не только письма. Запимал его Уланд, из которого он и раньше переводил. Но главное, взялся за «Ундину».

«Ундина» — повесть Ламонт Фуке, французца по происхождению, выросшего

в Германии, третьестепенного романтика, писавшего фантастические романы. Одна только вещь резко у него выделась: «Ундина». Жуковского давно привлекало произведение это. Еще в 1817 году подбирается он к нему, но тогда ничего не вышло. В 1821—22 годах познакомился с автором ее, но «Ундина» не двинулась: сам он еще не был готов, предстояло писать другое, по-другому жилось и переживалось.

Никогда не знает поэт, когда, как произойдет встреча. Это дело таинственного подземного развития. Повод же подается извне.

Все так слагалось у Жуковского, что острота и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебор, сложность ритмов, как и сложность жизни, — все прошлое. В сущности и сама жизнь — любовь к Маше и смерть ее — прошлое, осталось одно воспоминание. В горных, медлительных днях Швейцарии как все прозрачно, покойно-грустно! «Ундина», старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайний, ровный волнообразный гекзаметр несет, как во сне. А за «Ундиной» Маша — слабющая о ней память.

В Швейцарии написана лишь часть произведения, но, конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем вся «Ундина» — со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. (Оканчивал он ее позже, в России, в Элистафере, недалеко от Дертта (35—36 годы). Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы).

Память о том, что любил, уйти не может, но вот и она меняется, меняется и окружающее:

Как нам, читатель, сказать: к сожалению или к счастью, что наше

Горе земное ненадолго? Здесь разумею

Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе...

... Есть, правда, много избранных

Душ на свете, в которых святая печаль,

как свеча пред иконой

Ярко горит, пока догорит; но она и для

Все не та под конец, какую была при

Полная, чистая; много, много много,

Между утратою нашей и нами уже

протеснилось.

Вот, наконец, и всю изменимость

здешнего в самой

Нашей печали мы видим...

Да, уже новому поколению будет он диктовать свои гекзаметры. Не напрасно явилась «Ундина» в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайна — внутренне связана с замораживающей памятью о Маше. Сознал ли тогда, в Вер-

не, Жуковский всю важность задуманного и начатого? Как бы то ни было, за три года, что внутренне жил с «Ундиною» этой, вложил в нее столько предельности и поэзии, нежности, трогательности, столько ввел раздумий, воспоминаний, сожалений, что от бедного Ламонт Фуке осталось, собственно, название да сюжет. А от Жуковского вся полнота и обаяние произведения.

* * *

В Италию с Рейтерном он все-таки поехал, уже весной 33 года — это была первая его встреча с Италией. Пробыл два месяца очень хорошо, возвратился в Швейцарию и тут еще два месяца в полном мире и благоденствии прожил в Верне со всей семьей Рейтернов, которые становились ему как бы своими. «Наконец, пришлось расставаться. Они улетели от меня, как светлые, райские тени».⁷⁰

Он обещал, перед окончательным отъездом в Россию, захватить к ним в Виллинггаузен, где Рейтерн жил с семьей у тестя своего Шверцеля. И захватил, провел три дня в старинном замке — они прошли очаровательно. На прощание Лиза, к некоторому его удивлению, кинулась к нему на шею и «ирильнула с необычайной нежностью».⁷¹ Ей было тринадцать лет, он расставался с Рейтернами будто и навсегда. Рейтерн «со своей кистью должен был оставаться на Рейне и был прикован к семье многочисленной; мне указал был двор, и вся моя жизнь была предана безусловно одному, главному; казалось, что между нами не могло быть ничего общего, так же как Рейну не можно было никогда слиться с Невой».⁷² «Казалось, всему конец».⁷³ Внезапная нежность девочки его удивила, но в душе следа не оставила.

Всей судьбы своей он тогда еще не знал. В сентябре 33 года он был уже в Петербурге, в удобной спокойной дворцовой квартире. Опять литературе отставка. Достаточно хлопот и с наследником.

Приближалось совершеннолетие его, и характер занятий с ним менялся. С 34 года к нему назначали «попечителем» князя» Ливена, юридические лекции читал Сперанский, по иностранной политике — барон Бруннов. Теперь уже взрослые — министры, генерал-адъютанты, представители науки и литературы — составляли его общество — Жуковский на первом месте, конечно.

Заботы и занятия с наследником настолько для него возросли, что на «вселякого» князя» Константина Николаевича уже не хватало. К нему приглашали А. Ф. Гримма. (Павского же от законоучительства отстранили, по настоянию митрополита Филарета). Жуковский отца» Герасима Павского очень ценил, как и сам император. Но с Фи-

ларетом бороться было трудно. Жуковскому пришлось уступить: святитель обвинял Павского в «историзме» преподавания, в разных «уклюжих», неточных определениях и т. п.

В 1835 году все это вообще кончилось. Наследник уже взрослый, обычные полугодовые экзамены миновали. В присутствии всей императорской семьи, при профессорах, генералах, разных приглашенных придворных высочайший и красивый молодой человек с крупным чертами лица, горячий и увлекающийся, с оттенком романтизма и рыцарства, с бурным темпераментом, благополучно сдал последнее, как бы выпускное испытание. Учить его больше нечему. Жуковский остался при нем, однако, еще не один год, как бы «надзирателем за душой» — воспитателем в высшем смысле.

Прощание с Россией

В 1831 году Жуковский написал несколько русских сказок. Писал их и позже. Одно время Гоголь вообразил, что Жуковский становится поэтом народа русского, отходя от Запада. При всем, однако, белевском своим происхождении певцом России Жуковский не стал. Русский он, но не Аксаков.

И все-таки весь 1837 год прошел у него под знаком именно России — не в творчестве, а в жизни. В эти месяцы ему была показана Россия в разных видах, и обширно, и глубоко, и величественно. Жизнь же его резко перегибалась к Западу.

29 января 1837 года он был приглашен на обед к Вельгорским, праздновали день его рождения. Многих пригласили. Пушкин должен был возглавлять писателей. Но приехать не смог — в этот день как раз умер. Жуковский еще накануне поделовал холодевшую его руку. Около трех часов, в день обеда, Пушкин скончался, и Жуковский долго сидел с ним мертвым, созерцая ставшее столь прекрасным его лицо.

Эта сцена прощания имеет, возможно, очень глубокий смысл. В тайне смерти в последний раз предстал Жуковскому облик России, гений ее, лучшее ее. Прощай! Смотри, учись и возвышайся. «Какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, удолетворяющее знание».⁷⁴ Прощай!

Невеселый вышел обед. Невеселое рождение Жуковского.

А потом все как надо: и панихиды, и отпевание, и странные похороны. Уходящей любви своей и уходящей России остался Жуковский верен: был посредником между семьей и государем, всячески защищал и поддерживал «пушкинское», разбирал и бумаги его. 3 февраля в полночь тронулись от подъезда сани, в сопровождении Александра Тургенева увозящие гроб Пушкина

в Святые Горы. Светил месяц. Жуковский провожал их глазами до угла дома. За ним они скрылись. «И все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих».⁷⁵

Пушкина похоронили, а жизнь продолжалась. Ее веления беспрекословны. Жуковский при дворе, в распоряжении наследника, теперь назначен ехать с ним по России, «сопровождать» — путешествие огромное и по пространству, и по времени.

Император Николай в расцвете. Долго ему еще царствовать. Россия в силе необыкновенной. Все стоит прочно и на месте, декабристы в ссылке, границы необъятны, поля плодородны, леса непроходимы, крестьяне покорны. Эту-то громаду и показать будущему царю — пусть ощутит и величие задачи, и ответственность пред богом (так всегда учил его Жуковский).

2 мая целый поезд двинулся из Петербурга — в свите наследника, кроме Жуковского, Кавелин, Арсеньев, Юрьевич, некоторые из сверстников и товарищей наследника (гр(аф) Виельгорский, например). Ехали в огромных дормезах, сколь возможно быстро. Россия разворачивала пред ними все разнообразия и сложности свои. Торжок, Тверь, Ярославль, всюду «восторги», иллюминации, непрерывное «ура» — так намучившее под конец путников, что оно слышалось им как кошмарный звук даже тогда, когда и совсем тихо было. Сторона парадная: губернаторы, архiereи, проводители дворянства, обеды, приветствия — все это было невыносимо, конечно, — Жуковский, по смиренному своему характеру, терпеливо «присутствовал». Те же торжественные пошлости говорились, что и теперь, при других политических устройствах. Но тогда было простодушнее и патриархальней. А иногда и трогательней. Нет сомнения: обаяние *царя* имело еще силу мистическую. В Костроме среди тысяч теснящихся на берегу Волги, чтобы видеть наследника, многие часами стояли по пояс в воде: так лучше разглядят его в лодке.

Ехали очень уж быстро. Картины, впечатления сменялись, утомление было огромное — у всех, но не у наследника. Он крепко держался. А Жуковский нередко дремал в коляске с полубольшим Виельгорским. На кратких остановках едва успевал отписывать императрице все о ходе дела. Впрочем, ухитрялся делать и зарисовки.

А Россия много предлагала замечательного. В Угличе видели собор времен Михаила Федоровича, палату царевича Дмитрия, церковь, построенную на его крови. В Костроме осматривали Ипатьевский монастырь — колыбель дома Романовых. А там пошли леса, дебри, дичь Руси северо-восточной: путь к Уралу. Вятка, Ижевские, Воткинские заводы — везде осматривали производства.

В Перми первые и «оборотные стороны»: не одни «ура», но вот ссыльные поляки подают прошения о возвращении на родину. Раскольники жалуются на преследования.

26 мая недалеко от станции Решоты, в тридцати верстах от Екатеринбургa, достигли высшей точки Уральского хребта. Начало Азии, Сибирь! Ни один еще из царей русских не видал этих краев. Будущий Александр Второй увидел. Вот и Екатеринбург. Тут показывает Россия мощь и красоту недр своих — наследнику подносят изумруд небывалой величины, удивительные изделия из яшмы, малахита, мрамора. Но в мирных снах своих не видали путники того, что через восемьдесят лет произойдет здесь со звуком ученика Жуковского.

От Екатеринбургa до Тобольска по Сибири все было — широта, мощь, изобилие. Ни в Костромской, ни в Ярославской губерниях не видал наследник такого склада жизни и крестьянства (да и у мещан, купечества): все несравненно полнее, привольнее, богаче. Правда, людей меньше, а пространств больше и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, обезжизнившему свои владения, что вот этот край так обогнал Россию европейскую и потому, что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа! Для будущего Освободителя впечатления поучительные. В биографию его они входят.

Он недаром провел годы с Жуковским. В век казарм и шпицрутенов взор его оказался устремлен далее, к свободе и милосердию. «Вышел сеятель сеять...»⁷⁶ — поселенное Жуковским начинало всходить. В Сибири видел он много ссыльных, среди них и декабристов.⁷⁷ Как всегда, здесь Жуковский был заступником и посредником в бесчисленных просьбах. Из Тобольска цесаревич обратился к отцу в Петербург с ходатайством о смягчении участи их.

Из Златоуста спустились в Оренбург — Россия явилась экзотической: киргизская орда. Скачка полунагих киргизят на лошадях, верблюдах. Заклинание змей. Хожденые босыми ногами по саблям. Видели дикую пляску под музыку на дудках и гортанную.

В Казани заинтересовал университет. Но везде останавливались ненадолго. И вот катят уже в своих дормезах к Симбирску, на остановках подзакусывают и дальше. Спутники разделились на «чайстов» и «простоквашистов» — партии враждебные. Одна заказывала на станциях чай, другая простоквашу. Жуковский больше действовал по пирошкам, главное же, избегал от усталости.

Около Симбирска ждала радость. В нескольких верстах от города нагнал их фельдъегерь, бурей несшийся из Петербурга. Поезд остановился. Наследник распечатал письмо от отца — просьба

о ссыльных была уважена. Он вызвал к себе Жуковского и Кавелина и тут же на дороге сообщил им новость. «Все трое обнялись — во имя царя, возвестившего им милость к несчастным». ⁷⁸ «Одна из счастливейших минут жизни», ⁷⁹ — говорит Жуковский.

В начале июля добрался уже до хлебного, просторного Воронежа. Там пашел, наконец, Жуковский подходящего себе сотоварища.

В самый день приезда наследника жандарм явился в семью Кольцовых: губернатор требует к себе поэта. Сначала все всполошились. Но вызов был мирный и Кольцовым даже полезный: Алексея Васильевича пригласил к себе Жуковский. Два воронежских дня он провел с Кольцовым — Кольцов и Воронеж тоже были Россия, густой, крепкий ее пастой. Пили чай в купеческом доме, вместе разгуливали по городу, с Острожной горы любовались широкими видами, дугами, лесами дальними — той огромностью и мощью русской, что так чувствуется в Воронеже и его крае. Старина, собор, св. Митрофаний Воронежский, св. Тихон Задонский. . . — а внизу под горой старые домики петровской слободы: шпий мир, но История, Петр, судостроительство. . .

Всех удивлял и радостно здесь поражал Жуковский: придворный, близкий к государю, а разгуливает запросто с сыном мещанина по городу, пьет у него чай. (Самого Кольцова Жуковский совсем поразил и пленил: позже в письмах он так к нему обращался: «Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт»). ⁸⁰ А добрый вельможа тоже рад был встретить, наконец, не губернатора, а своего брата-поэта, с которым можно поговорить о стихах, дать совет дружеский литературный, например собирать народные песни. (Многим тогда это казалось странным).

За Воронежем стали приближаться к краям тульско-орловским, родине Жуковского. В Туле смотрели оружейный завод. Может быть, видели (но, конечно, не заметили) какого-нибудь лесковского Левшу, подковавшего стальную блоху. А потом повернули на Белев.

И ученик, и учитель измени к нему отношение. Для Жуковского это детство и юность, Александр в глаза не видел Белева, но там скончалась императрица Елизавета Алексеевна, его тетка. Но ей отслужили в Белеве панхида, а места, где возрастал «любимый его наставник», Александр посетил в духе паломничества. Был в доме его белевском, где в 1806 году Маша Протасова посадила во дворе пивы, а в 22-м, на рассвете, плакала в одиночестве на траве дворика.

Здесь временно расстался Жуковский с наследником — взял краткий отпуск, чтобы повидать родных. И побывал в Мишенском. Волновался, может быть, тоже и плакал, вспоминая ушедшее — лучшее свое время. Разрушений и пел-

ремец немало. Но осталось и старое, появилось и новое. Неподалеку, в Бунине, жила Екатерина Афанасьевна Протасова — из Дерпта вновь сюда переехавшая. С ней три внучки, дочери Светланы, Маши, теперь в том же возрасте, как тогда матери их. Жуковский среди этой молодежи как бы предвозвестие Лаврецкого, возвратившегося к пепатам.

Из Калуги наследник съездил в Авчуринно, верстах в десятке по Оке вниз. Там пмеще Полторацких, на берегу Оки, славившееся образцовым хозяйством, — Александру показали «молотьбу и великие машинами», сам он «попробовал английский плуг». ⁸¹ И во всяком случае должен порадоваться был и чудесной типичной местности пад зеркальной дугой Оки, и огромному парку, и дому-замку. (Таким казался он, по крайней мере, мальчику, возраставшему в скромном имении папсосонок чрез Оку и никак уж не думавшему, что более чем чрез полвека придется ему писать об этих местах в летописи жизни Жуковского). ⁸²

Были в странствии наследника и Малый Ярославец, Тарутино, Бородино — паломничества Отечественной войны. Все это была вновь Россия и вновь шпая. А в конце июля Москва — самая долгая остановка пути и едва ли не самая трудная.

Москва была тогда царством знаменитого митрополита Филарета. По-видимому, все пребывание в ней наследника прошло под знаком церковности и связи с прошлым. Остановились в Кремле. Александр почевал в той самой комнате Николаевского дворца, где родился. При нем неотступно находился Юрьевич, спал на том же диване, где некогда и кормилица. А Жуковский из того же окна, откуда девятнадцать лет назад поздравлял народ с рождением наследника, подымая бокал шампанского, теперь этим же народом любителю.

В самый день приезда торжественный выход в Успенский собор. У входа митрополит Филарет с духовенством в полном облачении встречает цесаревича. Можно себе представить, как гудел Кремль колоколами, сколько было блеска митр, риз, мундиров штатских и военных, сколькими хоругвями. Какими многолетними встречали ученика Жуковского! Сам учитель был очень взволнован. Улучив минуту, он так отписал императрице Александре: «А когда мы вошли в собор, где на моем веку совершилось уже три коронования, где был коронован Петр Великий, где в течение почти четырехсот лет все русские князья, цари и императоры принимали освящение своей власти и торжествовали все великие события народных, когда запели это многолетие, столько раз оглашавшее эти стены, когда его повели прикладываться к образам и мощам, когда опять сквозь густую толпу он по-

шел в соборы Благовещенский и Архангельский и, наконец, на Красное Крыльцо, на вершине которого остановился, чтобы поклониться московскому народу, которого гремящее „ура“ слылось со звуками колоколов, то я, в сильном движении души... — пожалел, что ни Вы, ни государь не могли этим насладиться».⁸³

Плохо было, однако, то, что в Москве стояла невыносимая жара: в тени до 28° (Реомюра). А надо было непрерывно посещать святыни. Побывали в Чудовом, Донском, Симоновом и других монастырях. Были в Звенигороде у св. Саввы. Съездили, разумеется, и в Троице-Сергиеву лавру. (Там Жуковский так увлекся рисованием, приютившись под деревом, что пропустил даже появление наследника).

«Нигде за все путешествие не уставали так, как в Москве».⁸⁴

Но это еще не конец. Из Москвы двинулись на юг — Одесса, Крым, земля Войска Донского, опять Москва и только в начале декабря Царское Село. Проехали 4500 верст, посетили тридцать губерний, получили в дороге 16 000 просьб (больше всего о деньгах — отсылалось губернаторам и каждому на раздачу по 8 тысяч).

Жуковский находил, что путешествие было слишком быстрым, наследник «успел прочесть только оглавление великой книги», но все-таки определил все это как «обручение его с Россией».⁸⁵

Разумеется, и его самого утомляла пестрота впечатлений, их отрывочность, казешный характер всего. Оценок личных в письмах мало. Но народ («простодушный и умный») ⁸⁶ понравился ему. Все-таки человек просвещенный и западник чувствуется здесь в Жуковском — невежество русских в искусстве огорчило его (с удовольствием вспоминает только о суздальском купце Киселеве, у которого оказалась большая библиотека и картинная галерея — да и то на клотах аляповатая позолота, по картинам бегали тараканы).

Как бы то ни было, ни раньше, ни позже не была показана ему такая панорама родины. Если для наследника обручение с Россией, то для него самого прощание с ней.

Возвращение вышло странным. Издали, еще от Тосно, в сумраке вечернем завиднелось зарево над Петербургом. Горел Зимний дворец. Там как раз жил сам Жуковский, возвращался теперь на пожарные. Разрушений было много, но его квартира уцелела. Он был смущен и в разговорах как бы извинялся, что не пострадал.⁸⁷

Елизавета Рейтерн

... Отдых в Петербурге получился недолгий. Весной новое странствие, с тем же наследником, теперь по Европе Западной. И вот второй год он в движе-

нии — экипажи, гостиницы, дворцы, иностранцы, приемы, разговоры... Побывали в Берлине, жили в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции — скалы, озера, граниты, замок Грипсхольм со старшой и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут последний заболевает. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.

От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33 года. Он к нему отправляется, застает «в кругу семьи». А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери, Елизавета и Мпя, «расцвели, как чистые розы».⁸⁸ В Веве знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка «лорелейского» типа, мечтательная и первая, — поэзия, чистота, скромность...

Он провел у них несколько дней, а потом опять передвижения: все теперь связано со здоровьем великого князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость, меланхолия владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.

Был начат уже тогда перевод «Ная и Дамаянти», по вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало ответствовала тогдашнему его настроению. «Камозис» Гальма пришелся как раз по душе. Из он и занялся, выражая свое в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.

Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камозис — великий в песчastiн своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета. Торгант Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына — тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камозисом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одиозного поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит! Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегает молодого. Так ли предзнаначен он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно ли брать крест? Но тот энтузиаст:

О, Камозис! Поэзия — небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим создателем зажженный...

И далее:

Прекрасней лавра, мученик, твой терп.

Тогда Камозис меняет: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда все хорошо, даже страдание. Ибо:

Страданием душа поэта зреет,
Страдание — святая благодать.

Квеведо не достиг цели. Камозис не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает — тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камозиса — сияющая дева, все лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли».

Все это явилось теперь пред самым Жуковским, написано во ставу и Поэзии, и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопроваждает. Поэзия, Религия — это слылось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?

«Камозис» Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.

С этим «Камозисом» вероятно, еще не конченным, попадает он в Рим. Веснянварь 39 года проводит в нем с Гоголем.

Гоголь теперь не тот «малоросс» 30 года, «Гоголек», что читал приживалкам безвестные писания свои. За ним и «Миргород», и «Тарас Бульба», и «Ревизор». В Риме, на Strada Felice,* пишет он «Мертвые души» и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, по грозное веяние славы и дорогая цена ее, как и Камозису, — ему предлежат.

А для Жуковского он свой, почти домашний. три года назад читавший на его субботах в Петербурге «Ревизора», Гоголь, которого год назад он вызволил из денежных затруднений, Гоголь-друг, такой же поэт, как и он сам. Гоголь считал Италию родиной своей (остальное только «приснилось»),⁸⁹ Жуковский ее обожал («Я болен грустью по Италии»)⁹⁰

Их месяц январь 39 года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже наследника — гораздо, конечно, ему интереснее и плодотворнее бродить с Гоголем по святым и великим местам Рима, чем быть в условной и докучливой атмосфере двора.

С Гоголем забирались они и в купол святого Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанию. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее «сестрой поэзии», а сам к этому времени вошел в зрелую, более покойную полосу рисования своего: после смерти Машин весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелесть видимости — пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волкопской...). Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивля-

ло его умение, быстрота, с которой он действовал. «Он в одну минуту рисует их (лучшие виды Рима) по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо»⁹¹ — Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский, Рим — есть чем зажечься. Вот слово Гоголя: «Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и боже! Сколько нового для меня... Это чтение теперь имеет двойное наслаждение, оттого что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне...»⁹²

Небесный посланник! Не впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. («Что за прелесть чертовская его небесная душа» — пушкинские слова. Оба они теперь Пушкина оплакивали).

Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто вином Castelli roman. Неожиданно глас судьбы — Николая Павловича из Петербурга: наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.⁹³

Тут ничего уж не поделаешь — уехали. А Гоголь вновь оспротел, один остался на своей Strada Felice, где над раскладным столом с «Мертвыми душами» реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал он из Парижа с двумястами франков, освящался им тоже к славе. (С 1902 года он и украшен памятной доскою: «Il grande scrittore russo Nicolò Gogol in questo casa, dove abito 1838—1842, penso e scrisse il suo capolavoro»,* улица же называется теперь Via Sistina).

А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии все вращалось среди поэтов. В замодане его лежал Камозис, в Риме остался Гоголь. «Приехал сонный в Клавари, где увидел Паулуччи и Тютчева»⁹⁴ — запись Жуковского 4/16 февраля 1839. Значит, ехали через Сестри. Кави, дальше на Клавари, Нерви и Геную — путем, столь очаровательным (многим страпникам русским так с юности близким).

В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.

Кто знал тогда Тютчева как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный.

* «Великий русский писатель Николай Гоголь в этом доме, где он жил в 1838—1842, задумал и написал свой шедевр» (итал.).

* улица Счастливей (итал.).

Юного Пушкина пазвал же он когда то — и без оговорок — «гешем». Тютчева знал еще юношей. В пушкинский «Современник» Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь в Кнаварн был перед ним тридцатипятилетний человек, недавно потерявший жену. «Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова»,⁹⁵ — говорит Жуковский. А о нем самом: «Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу».⁹⁶

* * *

Все дальнейшее, с ним и последним случившееся, отослал Жуковский вполне к делу промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима в Вену не так, как теперь бы поехали, а кружным путем, через Лигурию, — вероятно, боялись Аппенин под Боловней.

После Вены Мюнхен, Штутгарт, дальше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия — вот в Дармштадте наследник знакомится с дочерью великого герцога, а Жуковский вновь попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему «светлым сном», — на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь эта Лиза взрослая. Она образованна и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец благодаря Жуковскому стал живописцем при русском дворе — этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.

Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало в нем, может быть, и туманно, как сквозь сон, напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Все прошло. Жизнь позади — в эти два дня опять играл Жуковский роль из будничных повестей Тургенева.

Вечерами сидели по-семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделцем. Жуковский столько видал на своем веку и страд, и людей, столько знал в искусстве, в литературе, сам являя Олимп литературный, — рассказы его пленительны, да особенно еще когда озарены нежностью зрелого человека к юности.

Можно представить себе, как слушала его Елизавета. «И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд певырази-

мый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды».⁹⁷

Расстался он с замком Виллингсгаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом — все это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите наследника, он селся на пароход в Штеттине — возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн: Жуковский называл его «мой Безрукий»).

Сам-то он говорит, что эта встреча с Елизаветой в Виллингсгаузене осталась только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, по-видимому, преуменьшает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе «воспоминание» дало о себе знать. Он напомнил «Безрукому» о вечере в Виллингсгаузене:

— Там я видел то, что мне влпие было бы счастьем, но увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но все будет зависеть от Елизаветы.

— Ищц, — прибавил. — Если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.⁹⁸

На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить. Жуковский находился в России и должен наблюдать за учеьем младших великих князей, кроме того, занят устройством своего «Мейерсгофского приюта» (имение, куда собирался переселиться). Где же тут «искать» любви рейнской Елизаветы?

Но все устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнамбулически — не знает сам, что играет.

Осенью, возвращаясь с годичного поминаения Бородина, где когда-то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. «Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом» — будто между прежнего его жизнью и новой проводилась «живая грань».⁹⁹

Но вот самое удивительное — в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт, с наследником, брак которого со случайно встреченною принцессой Марией уже решил. Жуковский должен обучать ее русскому языку.

Начинаются новые странствия. Его личной воли в событиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят к встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король прусский, и наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского — в Мюнхен, и ему нечего в Дармиштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.

А две недели у Рейтернов очаровательно. Очарователем и отъезд в одиннадцать вечера, с пристани Дюссельдорфа. «Безрукий» провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в гладь рейнской ли струи. Идущим разгуливают они по палубе. Звезды пад помни, звезды в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия — «Ася» Тургенева.

Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот обращается он к Рейтерну:

— Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более, нежели когда-нибудь, почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастье жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остаюсь, полюбившийся им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.

К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозможно. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.

— Этого мне достаточно. с этой минутой я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.

Тут же пожали они друг другу руки, Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить providению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе «да» — тогда и его судьба решится.¹⁰⁰

Завонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался, и теперь одному ему, под теми же звездами, пред медленно уходящими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход, не торопясь, выгребает вверх по течению, проходит ему мимо Кельна старинного с собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой шюньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно

мгновение из чащ судьбы providение выпуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне».¹⁰¹

Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек»¹⁰² — уже в Кобленце.

Теперь оставалось только объяснить с Елизаветой.

Получив разрешение от государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.

Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко — более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. — И уж лучше тянуть, мечтать...

По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец 3 августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась матери на шею и почти призналась в любви.

Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.

— Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках его были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:

— Подождите, Елизавета, подойдите... Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.

Ответ был краткий, незамедлительный.

— Мне не о чем раздумывать.

И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.¹⁰³

* * *

До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.

Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41 года в Москве познакомился с родными.

Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екаторины Афанасьевны. Но Мойер вышел

в отставку и поселился в Бунне, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с пимп. Значит, Мейерсгоф пи с какого конца не интересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.

Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму — 115 тысяч — оставил трем дочерям Светланы.

Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника, цесаревича Александра.

У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломился внезапно их жизни.

16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от двора и царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.

Неизвестно, был ли покоен внутренне. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былomu этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуротческую к Светлане с довольно-таки случайной встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлomu своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.

А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того что купил Мейерсгоф (Элистер), приобрел еще — очевидно, ценную по воспоминаниям — и всю обстановку. (Но библиотеки и картины оставались на хранении в Мраморном дворце, до переезда в Германию).

В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил — угостил, между прочим, любимую его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный дворец (не везти в Германию). Одна — портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дармште, две другие — виды могил: дерптской ее же, ливорнской — Светланы.

Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу „Удильны“. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Лепоры: „Терпи, терпи, хоть жост грудь!“»¹⁰⁴ «И в его глазах дрожала слеза. Выпнув из бокового кармана бумагу, он сказал: „Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Страшно!“»¹⁰⁵ Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.

— Нет, я с вами не расстанусь!

Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, писанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним: «Для сердца прошедшее вечно».¹⁰⁶

Весчанье происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.

Семья, Гоголь, «Одиссея»

Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.

По сохранившимся рисункам самого Жуковского — впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.

Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва покрапленных рисунках чувствующися, идут к закатым дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окопательно отделялся «Наль и Дамаянти» — прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его («вселяю») княжке Александре Николаевне.

В посвящении этом есть тишина веча и как будто счастье мирной жизни семейной, но и меланхолический падеж. Не отходят две любимые тени.

..... и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твой душа,
Он говорит мне, веруй в бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать...

В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и

..... на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла:
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... и я проснулся.

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в *такое* верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая... Есть, может быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть, и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).

Первый год их супружества был самым счастливым. 4 ноября 1842 года Елизавета Алексеевна родила дочь Сашу. Тут-то и начались затруднения. По-видимому, появление ребенка надорвало силы и здоровье ее. Что произошло, в точности неизвестно, да и медицина тогдашняя была очень уж приблизительная. Несомненно все-таки, что надлом был. А с 1845 года, когда появился сын Павел, положение очень ухудшилось. Нервная болезнь возросла, терзала Елизавету Алексеевну, изводила и ее, и окружающих. Мучили несуществующие грехи, казалось, что темные силы одолевают, она впадала в отчаяние. Для Жуковского наступило новое, страшное и жуткое время, на которое, вероятно, менее всего он рассчитывал, вступая в брак. Вот как он об этом говорит: «Семейная жизнь есть беспрестанное *самоотвержение*, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ей».¹⁰⁷ Далее, позже: «Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худая как скелет, и ее страданиям и помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит».¹⁰⁸

Без конца лечение, врачи, переезды — то во Франкфурт-на-Майне, то на воды, на курорты, и все под знаком болезни, мрака. Вот в Швальбахе испугалась Елизавета Алексеевна подземных толчков (землетрясения) — опять все обострилось, и, вернувшись во Франкфурт, она заболевает «первическою горячкой» — последствия же ее жестоки. «Расстройство первическое, — пишет Жуковский, — это чудовище, которого нет ужаснее, впилося в мою жену всеми своими когтями и грызет ее тело и еще более душу: нравственная грусть вытесняет из головы все ее прежние мысли

и из сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно для меня, что иногда хотелось бы голову разбить о стену!»¹⁰⁹

Так говорит Жуковский. Жуковский, всю жизнь стремившийся к миру и гармонии, в себе носивший и тишину, и благозвучие, на старости лет как будто нашедший пристанище верное — вот именно уж *как будто*. Разбить голову о стену! Нет, не дано ему отдыха и в поздние годы. В юности все стремился к счастью сердца. Оно удалялось, неизменно воспитывало в покорности Промыслу, в жизни «без счастья». Теперь как бы достиг он чего-то, основал, укрепил дом, семью, а внутри дома этого и семья новая беда — для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

Еще до рождения сына, в менее тяжкую, но уже предгрозовую полосу писал оп императрице в Петербург: «Верить, верить, верить!».¹¹⁰ Будто подбадривал себя, ожидая худшего. Теперь, когда трудности развернулись, пишет Екатерине Афанасьевне в Россию: «Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании» — в свое время Екатерина Афанасьевна дала ему возможность изучить страдание вполне. Сейчас она доживает дни в прежних родных местах. Он продолжает: «... Но это одно убеждение ума — не чувство сердца, не смирение, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только *не роптать*, и от этой беды еще бог меня избавил!»¹¹¹ Хорошо, значит, то, что хоть смиренно переносит. А уж что переносит, это самоочевидно.

Тут-то, в разгаре болезни, мучаясь и тоскуя, Елизавета Алексеевна вдруг решила перейти в католичество (она была лютеранка). Несомненно это намеренное родилось из страданий. Казалось ей, что она погибает, вот, может, спасение придет от католицизма?

Можно себе представить, насколько Жуковскому тягостно было и это. Он проявил упорство, сопротивлялся. Рейтерн поддерживал его. Совокупные ль их усилия или самый ход желаний ее (болезненно возгорелось, недолгим и оказалось) — по Елизавета Алексеевна в католичество не перешла.

* * *

Блаженный месяц Жуковского и Гоголя в Риме не повторился. Но жизни их и судьбы сближались. Гоголю предстояло еще счастье Рима, счастье великой работы в нем над «Мертвыми душами» — в творении этом таился, однако, уже яд, понемногу его отравлявший. И с некоего времени оп Рим покинул, в растущей тревоге, болезненности и пустыне внутренней начал свои скитания — неудержимые и неутолимые,

как неутолимы были приступы его тоски.

Много европейских городов, курортов, вод видели это болезненное существо, в котором все сильнее укоренилось ощущение избранничества. Ему доверена истина, он должен поднять людей, научить, спасти... — при том сам как раз начинал погибать. Странствуя, старался выбрать места, где есть кто-нибудь из подходящих русских. Жуковский был ему особенно дорог.

Жуковский переводил в это время «Одиссею». Писание не мучило его, наоборот, облегчало. Правда, писание это второй линии, не гоголевское. В переводе «Одиссея» была явная осуществимость. Дело несравнимо более скромное, хотя относился к нему Жуковский с великой серьезностью, почти священнодейственно (и полагал, что «Одиссея» эта — главное, что от него останется). Гоголь с «Мертвыми душами» — особенно со второю частью — вполне священнодействовал, притом цель ставил неосуществимую. Заранее можно было сказать, что легит в пропасть.

Оба много в эти годы страдали, поразному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз «Выбор креста»). Литература освежала его, укрепляла. У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством. Он такой же монах литературы, как Флобер, но и учитель жизни. Его окружал воздух трагедии. Жуковскому трагедия не подходила.

Жуковского этого времени видишь, пополнившимся, с лицом, может быть, несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза — они уже находились на границе болезни, начиналось недомогание. Он носил очки, сильно довольно горбился, но за своим бюро, в светлом кабинете, работал стоя по-прежнему, все так же предан труду и неутомим, как и у постели больной Елизаветы Алексеевны. «Одиссея», хотя и с перерывами, но неукоснительно подвигается — дело здоровое и верное.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жллетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем. Он вечно спешит, все надо куда-то ехать, демон тревоги гонит его. Над ним великое дело, он чувствует необъятность задания, необъятность призвания своего и слабость сил. Он хилый. У него холодеют руки, вечная история с желудком (полагал, что пищеварительные его органы устроены по-общему, не как у людей. Да и вообще считал себя особенным — в чем был и прав).

То живет в Бадене, то в Греффенберге, в Карлсбаде, то едет в Париж, то во Франкфурт, а то и вновь в Рим, но теперь прежнего светлого, творческого Рима нет уже для него. Во Франкфурте поселяется у Жуковского. Жуковский

достает ему денег у последнего, Жуковский ухаживает, конечно, за ним — для него он по-прежнему «Гоголек», но сомнения нет, что к тревогам и мучениям с женой прибавились теперь и сложности с Гоголем.

Гоголь нередко гостил у своих друзей и в России, и за границей. Везде он собою заполнял все. Он центр мира, к нему все должны стремиться, ему служить. Он давно назван гением — значит, все и дозволено. А теперь к этому присоединяется страсть учительства. Он в разгаре «Переписки с друзьями», в настроении этой паразитической книги, где детские странши перемежаются с гениальными, где все «выпелось» из души, все значительно и необычайно, даже нелепое.

А Жуковский тут под боком. Пишет свою «Одиссею», читает песни ее велих Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею — тот пишет даже статью об «Одиссее» в «Переписке», ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочется и учить Жуковского. Завладевает многими в повседневности дома, хорашо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный — письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так богато награжденный богом (талант, известность, семья в старости), все же «не может переносить и малейших противоположностей и лишений». Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к богу — с просьбой, со слезами... — «и — вы их победите».¹² Достаточно обратиться к богу с письмом Гоголя — и все будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется «прелестью», явлением болезненным: это не настоящее).

Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал все это. По крайней мере, отношения их не только не испортились, а наоборот укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друг друга поддерживали.

Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый, чужбина... «Одиссея» же вообще на любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по-русски не понимала. Были слушатели, которые могли заслонить толпу, — Хомяков, Тютчев, — но они злетные, случайные. Гоголь же рядом, и не только по части «Одиссея», но и вообще в главнейшем они близки.

Когда вышла в свет «Переписка с друзьями», одиночество Гоголя тоже возросло. Все бранили ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность. Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал, в течение его жизни, материально. Теперь, в горькую полосу поношений, зашепел, одиноко и верно заступился

за него. Лишний раз показал при том, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писатель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), намного обогнал в суждении о «Переписке» век свой.¹¹³ Не все было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.

* * *

Первое чтение «Одиссея» связано с молодостью, шопиными днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Покачиваясь в гамаке, покачиваясь в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая — древность смягчалась в ней веянием новым.

«Не совсем Гомер», думалось, вспоминая недавнее еще ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И притом перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой-где добавленным, кой-где облегчением дается иной оттенок и целому. Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и «душевнее». ибо прошло сквозь христианское сердце.

Все это подтвердилось, когда через сорок лет эту же «Одиссею» пришлось перечитывать светлою осенью под Парижем, и тоже в деревне, — тут уж слились и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.

Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею» — собственно, да же не перевел, а над каждым словом гомеровы надписал соответственное немецкое.¹¹⁴

Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался «угадывать» Гомера. Точнее было б сказать: пытался угадывать, и самому что-то говорить. Гомером пользуясь, — так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло его так привлекать теперь в «Одиссее»? Не язычество же ее и не «возлежание» Одиссея в страстиях то с одной нимфой, то с другой. Разумеется, близок «дух поэзии», то «чуждое» восприятие жизни, какое есть у Гомера, — одновременно правилось и прочностью уклада: это близко было в «Одиссее» и Гоголю. Все «правильно», основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз и приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть «избранных» — все хорошо. Гоголь недаром писал в «Переписке» об «Одиссее» — полагал, что для русского общества будет она откровением и поучением.¹¹⁵ Ему представлялось, что он сам ведет это общество ввысь «Перепискою», Жуковский же «Одиссеей». Ни то ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние же их на современников было: для Жуковского чуль, для Гоголя минус. («Благодетель-

ный» помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от «домовитого» Одиссея. но ни тот ни другой к России не привились. Никого в России «Одиссея» не воспитала. «Переписка» же только разожгла злые чувства. Ее оценка пришла позже).

«Одиссея» писалась семь лет, с 42-го по 49-й. Последние двенадцать песен создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.

«Одиссея» была для Жуковского формой жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое значение, считал, что это главное, остающееся от него (в чем все-таки прав не был, хотя в некотором смысле и является «Одиссея» его *carolavogo*.* Но если бы лишь она одна от него осталась, знали ли бы мы облик Жуковского, как теперь знаем по лирическим и пинтиным стихам?).

Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. «Переписка» сердила, «Одиссея» как будто и не была. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчанье. «Почти ни один не сказал мне даже, что получила свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что же просто читатели?»¹¹⁶

Но под ним почва прочная. «Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно) работаю над „Одиссеей“, я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом — этого весьма довольно».¹¹⁷ «Для чего я работаю? Уже, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда» (Зейдлицу. позже).¹¹⁸ «В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание».¹¹⁹

* * *

Еще ранее, прежде чем кончил он «Одиссею», на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсе. Даже Моейр вышел в отставку и жил в Бунне, Орловской губернии, доставляемая ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя, и теща Екатерина Афанасьевна. Дуля Киреевская, милый друг юности, теперь Елагина, давно уже немолодая дама, умница просвещенная — у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.

От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской, национальной и духовной. А от второго сын Василий — назван, разумеется, в честь другого Василия, «Юпитера моего сердца».¹²⁰ И вот в 1845 году получил Василий Жуковский известие,

* шедевром (итал.).

что за Василия Елагина выходит замуж Катя Моейр — эти Вася и Катя тоже дальние родственники, тоже восходят к прадеду Бушну. Многого могло вспомниться Жуковскому, при известии этом, из его собственной юности.

«Благословляю ее образом спасителя, который должен находиться между образами Екатерины Афанасьевны и которым благословил меня отец».*¹²¹ К самому браку отнесся он торжественно, в соответствии с общим своим духовным состоянием тогдашним. День венчания знал. В час, когда, по его представлению, должно было оно совершаться, стал с женой и детьми на молитву. Коленопреклоненно молились они о счастье новобрачных. «читали те места из святого» писания, которые произносятся при совершении таинства, и после того несколько строк из немецкого молитвенника».¹²²

Молодые устраивают свою жизнь, старые удаляются. Умирает в Москве друг юных лет, прошедший и чрез взрослые, — тучный, живой, добрый, влюбчивый Александр Тургенев. В 1848 году уходит Екатерина Афанасьевна. и век самого Жуковского близится к исполнению.

48 год для него нелегок. То, что утробно он ненавидел, — революция — прокатывается по всей Европе, с главной бурей, как всегда, в Париже. Все это его угнетает. Кроме того, и жене хуже, и у самого начинают болеть глаза, приходится диктовать. «Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучит вместе с телом и душу, давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастье».¹²³

Около Франкфурта беспокоится. Поехали в Ганау посоветоваться с врачом. В Ганау анархия. Елизавета Алексеевна так испугалась и разволновалась, что снова слегла. Все-таки он повез ее в Эмс.

Собрался в Россию. Предпринял даже некоторые шаги. Но выехать все-таки не решился, из-за холеры в России (конец июля). Просто отправился в Баден. Тут стало несколько лучше обоим, и Елизавета Алексеевна оправилась, и его глаза восстановились — с этого-то октября по апрель 1849 года и дописывал он «Одиссею».

В Петербург не попал, но в конце января в Петербурге этом Вяземский и (немного) друзья праздновали 50-летний литературный его юбилей. Сделано это было интимно, в доме Вяземского, — для чествования открытого слишком Жуковский в России был одинок. Хозяин прочел свое стихотворение, Жуковскому посвященное, другое, его же,

положенное на музыку, даже пели. Приехал наследник. Собрали подписи присутствовавших — приветствие переслали в Германию, с описанием праздника. Государь пожаловал юбиляру орден Белого Орла.¹²⁴

А самого Жуковского преследовали в Германии беспокойства. Весной, из-за политических тревожений и «мятежа», пришлось спешно перебираться в Страсбург, лето же провести в «тихом приятном Интерлакена, близ черной Снежной Девы»,¹²⁵ между Бриенским и Тунским озерами. По словам Зейдлица, климат повредил там обоим. Во всяком случае, осенью 49 года Жуковский так пишет: «Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому, что непривычная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастье» (11 октября).¹²⁶

С окончанием «Одиссеи» испытал он обычное для художника двойственное чувство. Вначале сознание завершенного дела. Радостный вздох, освобождение. Но потом беспокойство. Что будет дальше? Ибо так уж художник устроен, что ему вечно катить в гору тяжесть. Докатит до ровного места, некой площадки горы чистилища, — радуется и отдыхает, груз сдан кому надо, — и вот скоро тоскует уж и по новой тяжести: путь его — путь труда и подъема; доколе жив человек и дух его, так вот и будет ждать нового приложения.

Он развлекался теперь обучением дочерей (Александры). Изобрел собственный метод учительский, как всегда в пустяках воображал, что создал что-то важное. В делах детских, конечно, не преуспел, но в закатывающейся его жизни дана была ему и поважнее задача.

Замечательно, как с «лебединой песней» Жуковского совпала болезнь глаз. (В сущности оказалась не одна, а две лебединые песни, первая даже и называется «Царскосельский лебедь» — семьдесят шестистопных хореев с рифмой — воспоминание о настоящем лебедь Царского Села, дожившем от скатертинских времен до Александра I. Одиночество, отчужденность... — лебедь уединенно плавает среди молодежи, а потом вдруг, однажды, помолодевший, объятый восторгом, взвизывает к небу с песней — и падает оттуда мертвый).

Но главное, что занимало Жуковского после «Одиссеи», был замысел более обширный — поэма «Страстующий жид» («Агасфер»). Это дитя он растил долго и долго жил с ним — до последнего своего вздоха. «Агасфер» не окончен. Его писал уже ослепший поэт — частью диктуя, частью записывая с по-

* Единственное место из всего, написанного Жуковским, где упоминается отец. (Прим. Б. К. Зайцева).

мощью машинки, им самим и изобретенною: запись крупными, как бы печатными буквами.

Основа — давняя легенда об Агасфере, оттолкнувшем некогда Христа в Иерусалиме, на пути голгофском, от своих дверей, когда измученный спаситель хотел к ним прислониться.

Он поднял грустный взгляд на Агасфера
И тихо пропнес: «Ты будешь жить,
Пока Я не приду». И удалился.

Начинаются скитания Агасфера — страшные, в злобе и ярости, в отчаянии. Но начинается и Жуковский. Нет безнадежности в страданиях Агасфера. Тот, кого он не пожалел, его жалеет — в бесконечных странствиях, тоске, терзаниях посылается ему встреча в Риме, на арене Колизея, с мучеником епископом Игнатием Антиохийским. В едином взоре мученика, как сквозь щелку, изливается ему капля благодати: он начинает понимать, каяться, вместо того чтобы проклинать, и в этом спасение его. Попадает далее на остров Патмос, к Иоанну Богослову, тот укрепляет, научает его. А там Иерусалим, весь уж сожженный, мертвый (лишь Голгофа в нежной зелени и цветах). Там, у порога собственного дома, бьется Вечный жид в рыданиях раскаяния, бежит на Голгофу, сохранившую еще углубления трех крестов, — там снова молит о прощении. И теперь понимает, как само наказание привело его к спасению. Через душевную муку он как бы родился вновь.

Поэма обрывается на полустрочке. Помечено: апрель 1852 — год и месяц смерти Жуковского.

Слепой Мильтон написал «Потерянный и возвращенный рай». Жуковский во тьме глаз своих замыслил нечто, может быть, и не по силам. Поступил отчасти, как и Гоголь (а ранее брался всегда за осуществимое). А все-таки как хорошо, что написал «Агасфера»!

«Странствующий жид» вызвал разное к себе отношение. Одни ставят его на высокое место, не только в поэзии Жуковского, но и вообще. Другие находят, что как литература это слабо.

Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в «Агасфере» мало. Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство — скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном то не гимн, пение предсмертное и хвала богу.

«Его душа возвысилась до строю...»

Поэзия с рифмой давно покинула Жуковского. От литературы он не отошел («Наль и Дамайги», «Рустем», «Одиссея», «Агасфер»), но художество его приняло формы иные. Трепета и

остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писанин. В плавных гекзаметрах легче, покойнее теперь ему повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное и глубокое, на само то искусство бросающее отсвет. «Наипаче ищите царствия божия»¹²⁷ — давний, великий зов, проносящийся над русскою литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томил, иногда вызывая колебания и сомнения, но росло в нем с годами, как зерно горчичное. «И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».¹²⁸ Странно было бы, если бы такая жизнь не приводила к царствию божию.

Свет всегда жил в Жуковском. Скромностию своею, смиренным приятием бытия, любовью к богу и ближнему, всем *отданием* себя он растил этот свет. Жизнь во многом нелегкая, с основною сердечною неудачей, до старости одинокая, в старости столь трудно-неодинокая... — но благородная и безупречная. Если вспомнить, кого только не спасал он, не выкупал из неволи,* кому не раздавал денег, за кого не кланялся пред сильными мира сего, за каких декабристов, не любя их, не хлопотал у самого Николая Павловича... Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообше: «небесная», то ведь скажешь: единственный кандидат в святые от литературы нашей.

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был, хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.¹²⁹

Тютчев, которого сам он всегда любил, пропел о кончине его высоко.

Гололю было трудней. Жуковский жешел без помехи. Внутренняя его тема всегда была: слава творцу, жизнь при емлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде промысел. Горести, тягости — все ничего: «Терпением вашим спасаете души ваши».¹³⁰ Так от «Геопи и Эсхина» до последнего издыхания. Но в юности смутно, в зрелости выношено, выстрадано.

Как и Гоголь, много он теперь отдаст сил священному писанию, книгам о религии и сам пишет в таком духе — о внутренней христианской жизни, о грехе, промысле. «Три письма к Гололю» — о смерти, молитве, словах и делах поэта. Это писание как бы окончательно уясняет ему самому важнейшее.

* Тараса Шевченку например, собственных крепостных. (Прим. Б. К. Зайцева).

Он прожил жизнь скорей *около* церкви, чем в церкви. У него не было тех корней, как у Хомякова, Киреевских, Аксаковых. Его религиозность в юности с романтическим оттенком, позже более прочная и покойная, но всегда очень личная. Как и в литературе, тяготение к Германии. «Религия души». «религия сердца...» — церкви он несколько опасался, как бы стеснялся, да, может быть, церковь тогдашняя и показана была ему не надлежаще.

Во всяком случае, он кончает жизнь как глубоко верующий, православный писатель. Через него приняла православие (позже) и Елизавета Алексеевна. В православии же воспитываются и дети.

Духовенство он знал мало. В тридцатых годах одно время был близок с «отцом» Герасимом Павским, — кажется, единственный видный духовный деятель на пути его. Да и то эта близость была условная. А теперь, в начале пятидесятых, сближается за границей с протопереером Иоанном Базаровым, настоятелем прихода в Штутгарте.

У Гоголя был «отец» Матвей, взаимоотношения их известны. У Жуковского все по-другому: нет ни напряжения, ни борьбы, ни драматизма. «Отец» Иоанн просто *помогает* ему, ровно и спокойно движущемуся. Руководит самообразованием религиозным, достает книги, переписывается с ним. Начинает подготавливать к переходу в православие и Елизавету Алексеевну. Никакого надрыва и никакой бури. Жуковский созрел поторопливо, но и гармонически.

Гоголь умер в Москве, на Никитском бульваре, 21 февраля 1852 года. Жуковский узнал об этом из письма Плетнева.¹³¹ 5 марта, уже почти слепой, написал ему: «Какою вестью вы меня оглушили — п как она для меня была неожиданна!.. Я жалею о нем несказанно собственно для себя; я потерял в нем одного из самых симпатичных участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении».¹³²

Тютчева тоже он любил, но знал гораздо меньше. Теперь литературный мирок его, свои и близкие — это Вяземский, Плетнев, Авдотья Елагина и «соколыбельница» Аня Юшкова, ныне старушка Анна Петровна Зонтаг.

В этом же феврале пригласил он к себе в Баден отца Иоанна, хотел причаститься на шестой неделе поста, вместе с детьми. Но за некоторое время до назначенного известил, что откладывает до Фоминой недели.

«Отец» Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был плох. Елизавета Алексеевна отозвала отца Иоанна и сообщила, что муж опять колеблется, хочет отложить до петровского поста.

Был уже вечер. Отец Иоанн не стал тревожить больного, остался до другого дня. Утром, когда вошел, Жуковский опять стал просить отложить.

— Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться пред Ним?

«Отец» Иоанн не согласился. Довод его был такой: не только он, Жуковский, идет ко Христу, но и Христос, во Святыях Дарах, тоже к нему.

— Если бы сам господь захотел прийти к вам? Разве отвечали бы ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. Уговорился, что на другой день он причастится вместе с детьми. И успокоился внутренне. Внешне же впал в оживление, много рассказывал «отцу» Иоанну о том, как учит детей, вспоминал опять о своих исторических таблицах, велел принести их, показывал... но уже руки плохо повиновались.

9-го утром опять тоска: мучила мысль, что будет с семьей и детьми. Отец Иоанн успокаивал: ни господь, ни государь не допустят (опасения были вполне напрасны).¹³³

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился — началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание — переход — уснутие. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша, — как и сам жил. Именно он отчапливал.

Перед рассветом 12-го скончался.

Примечания

¹ Из письма М. А. Моейр к К. К. Зейдлицу от 1822 (?) года (оригинал немецки). Фрагмент письма опубликован в кн.: *Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: 1783—1852*. СПб., 1883, с. 128.

² Строка из стихотворения И. И. Козлова «К Светлане» (1821).

³ Имеется в виду эпиграмма «Из савана оделся он в ливрею...» (1824), принадлежащая А. Л. Бестужеву. О реакции Жуковского и Воейкова на эпиграмму см.: *Греч Н. П. А. Ф. Воейков*. — В кн.: *Греч Н. П. Записки о моей жизни*. М.; Л., 1930, с. 657.

⁴ Ссылка на письмо К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу от конца июля 1818 года. — В кн.: *Соч. К. Н. Батюшкова*. СПб., 1886, т. 3, с. 510.

⁵ Эпизод прощания Жуковского с М. А. Моейр излагается по мотивам его письма к А. П. Елагиной от 28 марта 1823 года. См.: *Русская старина*, 1883, т. XI, № 10, с. 83—86.

⁶ См.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 130.

⁷ Цитируется письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 28 марта 1823 года. — *Русская старина*, 1883, т. XI, № 10, с. 85.

⁸ Там же.

⁹ Цитируется, с незначительными изменениями, письмо Жуковского к А. П. Елагиной от апреля 1823 года. — Там же, с. 87.

¹⁰ Там же, с. 86.

¹¹ Там же (неточная цитата).

¹² Цитируется письмо Жуковского к И. И. Козлову от конца марта—начала апреля 1823 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1878, т. 6, с. 461.

¹³ У Жуковского: «чувства».

¹⁴ Цитируется стихотворение Жуковского «9 марта 1823» (1823).

¹⁵ Из стихотворения Жуковского «Я Музу юную, бывало...» (1824).

¹⁶ Имеется в виду послание Жуковского «К Батюшкову» (1812), цитировавшееся Б. К. Зайцевым в главе «Снова Протасовы» (см. прим. 6 в № 3).

¹⁷ Речь идет об исторической элегии К. Н. Батюшкова «Умиравший Тасс» (1817).

¹⁸ Имеется в виду версия Н. И. Греча, маловероятная и необоснованная. См.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни, с. 490.

¹⁹ Слова Александры Федоровны приведены в сочинении Жуковского «О происшествиях 1848 года. Письмо к графу Ш-гу» (1848). См.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902, т. 10, с. 109.

²⁰ См.: *Николай Михайлович, великий князь.* Легенда о кончине императора Александра I в Спбрии в образе старца Федора Козмича. СПб., 1907. Легенда послужила источником повести Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» (1905).

²¹ Данное отношение к восстанию декабристов высказано в письме Жуковского к А. И. Тургеневу от 16 (28) декабря 1825 года. — В кн.: Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 204—211. См. также: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 100—106.

²² Неточная цитата из письма Жуковского к И. И. Козлову от 28 сентября (н. ст.) 1826 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 467.

²³ Цитируется письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 2 (14) октября 1826 года (оригинал по-французски). — Там же, с. 265 (оригинал), 272 (перевод).

²⁴ Цитируется письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 1 января (н. ст.) 1827 года (оригинал по-французски). — Там же, с. 279 (оригинал), 282 (перевод).

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Излагается и цитируется письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 2 (14) октября 1826 года (оригинал по-французски). — Там же, с. 270 (оригинал), 276 (перевод).

²⁸ Цитируется, с изменениями, письмо Жуковского к А. П. Елагинной от 7 (19) февраля 1827 года. — В кн.: Уткинский сборник. I: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Прота-

совой / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, с. 45.

²⁹ Парижские эпизоды заграничной поездки Жуковского описаны с использованием его дневниковых заметок, сделанных в Париже в мае—июне 1827 года. См.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 158—160.

³⁰ Цитируется письмо графини Генриетты Разумовской к Жуковскому от 5 августа (н. ст.) 1827 года (оригинал по-французски). — В кн.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880, т. 2, с. 207.

³¹ См.: *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова — «Светлана». Пг., 1915, [т. 1], с. 167—199.

³² Швейцарский писатель Карл Бонштеттен (1745—1832) был предметом интереса Жуковского и А. И. Тургенева в 1810 году. Адресованная Бонштеттену книга швейцарского историка Иоганна Миллера (1752—1809) «Письма молодого ученого к своему другу» («Briefe eines jungen Gelehrten an seinem Freunde»), своеобразный кодекс интеллектуальной дружбы, оказала такое воздействие на Жуковского и Тургенева, что в переписке 1810 года они называли друг друга именами ее героев: Тургенев именовался «Миллер», а Жуковский — «Бонштеттен». См.: Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, с. 57—65, 68—75. В 1821 году в Женеве состоялось личное знакомство Жуковского с Бонштеттеном. См.: Дневники В. А. Жуковского / С прим. И. А. Бычкова. СПб., 1903, с. 136—138.

³³ Цитируется письмо А. А. Воейковой к Е. А. Протасовой от 2 сентября—7-8 октября (н. ст.) 1828 года. — В кн.: *Соловьев Н. В.* Указ. соч., [т. 1], с. 227—228.

³⁴ Цитируется письмо А. А. Воейковой к Жуковскому от 8 октября (н. ст.) 1828 года. — Там же, с. 230.

³⁵ См. там же, между с. 230 и 231.

³⁶ Имеются в виду мотивы крещенских гаданий в балладе Жуковского «Светлана» (1808—1812).

³⁷ Цитируется письмо Жуковского к А. А. Воейковой от 4 февраля (н. ст.) 1829 года (оригинал по-французски). — В кн.: *Соловьев Н. В.* Указ. соч., [т. 1], с. 245—246. См. также: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 146—148.

³⁸ *Соловьев Н. В.* Указ. соч., [т. 1], с. 246.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Цитируется письмо Жуковского к К. К. Зейдлицу от февраля-марта 1829 года. Фрагмент письма, включающий цитируемые строки, опубликован в кн.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 148.

⁴¹ Там же, с. 149.

⁴² Излагается и цитируется письмо К. К. Зейдлица к Жуковскому от 13 (25)—15 (27) февраля 1829 года. — В кн.: *Соловьев Н. В.* Указ. соч., [т. 1], с. 251.

- ⁴³ Цитируется письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 14 июля 1829 года. — В кн.: Уткинский сборник, с. 49.
- ⁴⁴ Излагается, с использованием цитат, составленный Жуковским в 1826 году «План учения его императорского высочества государя великого князя наследника цесаревича Александра Николаевича». — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 9, с. 135—147.
- ⁴⁵ Там же, с. 141 (измененная цитата).
- ⁴⁶ Характеристика К. К. Мердера из письма Жуковского к императрице Александре Федоровне от 1 (13) июля 1827 года (оригинал по-французски). — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 285 (оригинал), 291 (перевод).
- ⁴⁷ Из письма Жуковского к наследнику цесаревичу Александру Николаевичу от 3 (15) августа 1841 года. — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 36.
- ⁴⁸ Неточность; цитируемая формула находится в письме Жуковского к наследнику цесаревичу Александру Николаевичу от марта 1848 года. — Там же, с. 44.
- ⁴⁹ Излагается и цитируется письмо Жуковского к наследнику цесаревичу Александру Николаевичу от начала 1840 года. — Там же, с. 32—33.
- ⁵⁰ Цитируется письмо Жуковского к А. П. Зонтаг от 21 февраля 1826 года. — В кн.: Уткинский сборник, с. 99.
- ⁵¹ Там же (неточная цитата).
- ⁵² Цитируется (с искажениями) письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 1 января 1831 года. — Там же, с. 51.
- ⁵³ Ошибочное цитирование; Б. К. Зайцев приписывает Жуковскому включенный в его письмо к А. П. Елагиной от 1 января 1831 года фрагмент из письма М. А. Моейер к К. К. Зейдлицу от 31 декабря 1822 года (оригинал по-немецки). — Там же, с. 52.
- ⁵⁴ Цитируется письмо Жуковского к А. С. Пушкину от 12 (?) ноября 1824 года. — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 107.
- ⁵⁵ Цитируется письмо А. С. Пушкина к Л. С. Пушкину от первой половины мая 1825 года. — В кн.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937, т. 13, с. 175.
- ⁵⁶ Цитируется письмо Жуковского к А. С. Пушкину от 12 апреля 1826 года. — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 110.
- ⁵⁷ Цитируется письмо Жуковского к А. С. Пушкину от 12 (?) ноября 1824 года. — Там же, с. 108.
- ⁵⁸ Неточная цитата из письма Жуковского к А. С. Пушкину от 3 июля 1834 года. — Там же, с. 111.
- ⁵⁹ Цитируется письмо Жуковского к А. С. Пушкину от 6 июля 1834 года. — Там же, с. 112.
- ⁶⁰ Имеется в виду попытка Пушкина взять отставку от придворной камер-юнкерской службы, предпринятая 25 июня 1834 года, и хлопоты Жуковского по примирению Пушкина и раздраженного его намерением Николая.
- ⁶¹ Цитируется письмо Н. В. Гоголя к Жуковскому от 29 декабря 1847 года (10 января 1848 года). — В кн.: Письма Н. В. Гоголя / Ред. В. И. Шенрока. СПб., [1901], т. 4, с. 135.
- ⁶² Цитируется письмо П. А. Плетнева к А. С. Пушкину от 22 февраля 1831 года. — В кн.: Соч. п. переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885, т. 3, с. 366.
- ⁶³ Цитируется письмо Н. В. Гоголя к А. С. Давыдовскому от 2 ноября 1831 года. — В кн.: Письма Н. В. Гоголя, т. 1, с. 196.
- ⁶⁴ Из стихотворения А. С. Пушкина «К портрету Жуковского» (1818).
- ⁶⁵ Неточность; прозвище «Гоголек» не носило у Жуковского умаляющего оттенка и, кроме того, вошло в дружеский обиход двух писателей не в начале 1830-х годов, но, как свидетельствует их переписка, не ранее 1843 года.
- ⁶⁶ Из письма Жуковского к Е. А. Протасовой от 10 августа—5 сентября (н. ст.) 1840 года. — Русская беседа, 1859, № 3, [отд. I], с. 19.
- ⁶⁷ Цитируется письмо Жуковского к наследнику цесаревичу Александру Николаевичу от 1 января (н. ст.) 1833 года. — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 12, с. 25—26.
- ⁶⁸ Там же, с. 29—30.
- ⁶⁹ Там же, с. 28.
- ⁷⁰ Цитируется письмо Жуковского к Е. А. Протасовой от 10 августа—5 сентября (н. ст.) 1840 года. — Русская беседа, 1859, № 3, [отд. I], с. 21.
- ⁷¹ Там же (неточная цитата).
- ⁷² Там же, с. 20.
- ⁷³ Там же, с. 21.
- ⁷⁴ Цитируется письмо Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года в сокращенной редакции, впервые опубликованной в журнале «Современник» (1837, № 5) под заглавием «Последние минуты Пушкина». — В кн.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 10, с. 62.
- ⁷⁵ Там же, с. 63.
- ⁷⁶ Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 3.
- ⁷⁷ В Ялutorовске и Кургане, как следует из письма Жуковского к императрице Александре Федоровне от 24 июня 1837 года, наследник и его свита видели декабристов Муравьева-Апостола, Черкасова, Якушкина, Розена, Бриггера, Назимова, Лорера. См.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 318—319.
- ⁷⁸ Там же, с. 316 (неточная цитата).
- ⁷⁹ Там же.
- ⁸⁰ Из письма А. В. Кольцова к Жуковскому от 2 мая 1838 года. — В кн.: *Кольцов А. В.* Полн. собр. соч. 3-е изд., СПб., 1911, с. 183.
- ⁸¹ *Татищев С. С.* Император Александр II, его жизнь и царствование. СПб., 1903, т. 1, с. 83.

⁵² Автобиографическое отступление автора, жившего до 11-летнего возраста в имени отца под Калугой. См.: *Зайцев Б.* Биографические сведения. — В кн.: Русская литература XX века: 1890—1910 / Под ред. проф. С. А. Венгера. М., 1916, т. III, кн. VIII, с. 65.

⁵³ Цитируется письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 24 июля 1837 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 321—322.

⁵⁴ *Татищев С. С.* Указ. соч., т. 1, с. 86 (неточная цитата).

⁵⁵ Цитируются письмо Жуковского к императрице Александре Федоровне от 10 мая 1837 года (в кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 311) и его устное высказывание, приведенное в кн.: *Татищев С. С.* Указ. соч., т. 1, с. 89.

⁵⁶ Из письма Жуковского к императрице Александре Федоровне от 11 мая 1837 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 312.

⁵⁷ См.: *Плетнев П. А.* О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. — В кн.: Соч. и переписка П. А. Плетнева, т. 3, с. 107.

⁵⁸ Из письма Жуковского к Е. А. Протасовой от 10 августа—5 сентября (п. ст.) 1840 года. — Русская беседа, 1859, № 3, [отд. I], с. 22.

⁵⁹ См. письмо Н. В. Гоголя к Жуковскому от 30 октября (п. ст.) 1837 года. — В кн.: Письма Н. В. Гоголя, т. 1, с. 459.

⁶⁰ Из письма Жуковского к Н. И. Козлову от 9 (21) февраля 1839 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 476.

⁶¹ Цитируется письмо Н. В. Гоголя к А. С. Данилевскому от 5 февраля (п. ст.) 1839 года. — В кн.: Письма Н. В. Гоголя, т. 1, с. 563.

⁶² Там же.

⁶³ Распоряжение Николая было вызвано болезнью наследника.

⁶⁴ Дневники В. А. Жуковского, с. 467.

⁶⁵ Цитируется письмо Жуковского к Н. Н. Шереметевой от начала 1839 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 502.

⁶⁶ Там же (неточная цитата).

⁶⁷ Цитируется письмо Жуковского к Е. А. Протасовой от 10 августа—5 сентября (п. ст.) 1840 года. — Русская беседа, 1859, № 3, [отд. I], с. 24.

⁶⁸ Излагается указ. письмо Жуковского к Е. А. Протасовой. См. там же, с. 25.

⁶⁹ Там же, с. 26.

⁷⁰ Излагается фрагмент указ. письма Жуковского к Е. А. Протасовой, написанный по-французски. См. там же, с. 31.

⁷¹ Там же.

⁷² Там же, с. 31—32.

⁷³ Излагается фрагмент указ. письма Жуковского к Е. А. Протасовой, частично написанный по-французски. См. там же, с. 37.

⁷⁴ *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 174.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Излагается эпизод из книги К. К. Зейдлица. См. там же.

⁷⁷ Цитируется письмо Жуковского к Е. И. Мойер от 11 (23) января 1846 года. — Там же, с. 213.

⁷⁸ Цитируется письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 20 января (п. ст.) 1847 года. — В кн.: Уткинский сборник, с. 76.

⁷⁹ Цитируется (с сокращениями) письмо Жуковского к К. К. Зейдлицу от января 1847 года. — В кн.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 215—216.

⁸⁰ Из письма Жуковского к императрице Александре Федоровне от марта 1842 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 340.

⁸¹ Цитируется письмо Жуковского к Е. А. Протасовой от 1 (13) января 1847 года. Фрагмент письма опубликован в кн.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 215—216.

⁸² Излагается и цитируется письмо Н. В. Гоголя к Жуковскому от 30 декабря 1844 года (11 января 1845 года). — В кн.: Письма Н. В. Гоголя, т. 3, с. 6—8.

⁸³ Имеются в виду три отклика Жуковского на книгу Гоголя: статья-письма «О смерти» (1847), «О молитве» (1848), «О поэте и современном его значении» (1848). См.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т., т. 10, с. 73—88.

⁸⁴ Речь идет о немецком эллипсисе Карле Грасгофе (1799—1874). См. письмо Жуковского к С. С. Уварову от 12 (24) сентября 1847 года. — В кн.: Соч. В. А. Жуковского. 7-е изд., т. 6, с. 181—187.

⁸⁵ Имеется в виду включенная в «Выбранные места из переписки с друзьями» статья Н. В. Гоголя «Об „Одиссее“, переводимой Жуковским» (1846).

⁸⁶ Цитируется письмо Жуковского к П. В. Нащокину от 6 (18) декабря 1849 года. — В кн.: *Загарин П.* [Поливанов Л. И.]. В. А. Жуковский и его произведения: 1783—1883. М., 1883. Приложение, с. XXVIII.

⁸⁷ Там же.

⁸⁸ Цитируется письмо Жуковского к К. К. Зейдлицу от марта 1851 года. — В кн.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 225.

⁸⁹ Там же, с. 226.

⁹⁰ «Юпитером моего сердца» А. П. Елагина в детстве называла Жуковско-го. См. там же, с. 22.

⁹¹ Цитируется письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 1 (13) ноября 1845 года. — В кн.: Уткинский сборник, с. 72.

⁹² Измененная цитата из кн.: *Зейдлиц К. К.* Указ. соч., с. 213.

⁹³ Цитируется письмо Жуковского к К. К. Зейдлицу от 21 марта (п. ст.) 1848 года. — Там же, с. 220.

⁹⁴ См.: Юбилей 50-летней литературной деятельности В. А. Жуковского. — Москвитянин, 1849, ч. II, № 5, кн. I, отд. V, с. 37—41; Внутренние известия. — Отечественные записки, 1849, т. 63, № 3, отд. VIII, с. 151—152.

¹²⁵ Неточная цитата из письма Жуковского к П. А. Плетневу от 29 сентября (11 октября) 1849 года. — В кн.: Соч. и переписка П. А. Плетнева, т. 3, с. 615. У Жуковского: «чудной Снежной Девы».

¹²⁶ Там же, с. 616.

¹²⁷ Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 33; Евангелие от Луки, гл. 12, ст. 31.

¹²⁸ Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 32; Евангелие от Марка, гл. 4, ст. 32; Евангелие от Луки, гл. 13, ст. 19.

¹²⁹ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Памяти В. А. Жуковского» (1852).

¹³⁰ Евангелие от Луки, гл. 21, ст. 19.

¹³¹ Речь идет о письме П. А. Плетнева к Жуковскому от 24 февраля (7 марта) 1852 года. См.: Соч. и переписка П. А. Плетнева, т. 3, с. 729—731.

¹³² Цитируется письмо Жуковского к П. А. Плетневу от 5 (17) марта 1852 года. — Там же, с. 731—732.

¹³³ Излагается мемуарный очерк священника И. И. Базарова «Последние дни жизни Жуковского» (СПб., 1852; отгиск из «Литературных прибавлений к Журналу мин-ва народного просвещения», 1852, № 1, апрель, с. 1—14).



ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Г. В. Ситникова

Д. Н. БЕГИЧЕВ

(ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОЗЫ 30-х ГОДОВ XIX ВЕКА)

«Воронеж — старинный город, из числа лучших наших губернских городов... Улицы правильные, широкие, вымощенные; но святые места отстраняют мирскую суету. Кроме временного театра и гулянья в саду дворянского собрания, нет никаких забав. Не слышишь стука колес, посетители богомольцы ходят пешком, и царствует непрерывная унылость» — таким показался город Воронеж путешественнику конца 30-х годов XIX века.¹ Но это лишь на первый взгляд. Между тем город жил достаточно напряженной, хотя нередко и подспудной, духовной жизнью. Приведем только один пример. В начале 30-х годов XIX века в Воронеже стали появляться списки в то время запрещенной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». И источником распространения был не кто иной, как сам губернатор — действительный статский советник Д. Н. Бегичев, по чину своему обязанный пресекать пропаганду не разрешенной цензурой литературы.

Фигура этого неординарного правителя заслуживает самого пристального внимания, тем более что он сам не был чужд литературной деятельности и, занимая столь ответственный государственный пост, опубликовал роман, завоевавший необычайную популярность не только в Воронеже, но и в столичных городах.

Произведения Д. Н. Бегичева, как и творчество А. Погорельского, В. Ушакова, О. Сенковского, Н. Греча и других писателей 30-х годов, остались для будущих читателей в тени гениальной прозы А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя; не привлекли они и особого внимания исследователей. Но имя Д. Н. Бегичева несправедливо забыто. Он интересен для нас не только как автор весьма популярной в 30-е годы хроник «Семейство Холмских», оказавшей влияние на русский семейно-бытовой роман, но и как современник и отчасти единомышленник передовых людей своего времени, человек, по-своему, но вместе с тем характерно выразивший тенденции этого периода.

Сведения о жизни и общественной деятельности Д. Н. Бегичева достаточно скупы, их приходится буквально по крупицам собирать из многочисленных источников. Чуть ли не единственным документом мемуарного характера являются принадлежащие родственнице Бегичевых Е. П. Соковниной «Воспоминания о Д. Н. Бегичеве».² Обстоятельством, побудившим к их написанию, послужили весьма нежелательные и, по-видимому, несправедливые упоминания о Д. Н. Бегичеве Кс. А. Полевого.³

Кроме того, долгое время существовала даже некоторая путаница, связанная с именем Дмитрия Никитича Бегичева. На это обратил внимание читателей еще в 1876 году Д. Д. Рябинин, заметивший, что Д. Н. Бегичева путают то с его братом Степаном, то с писателем В. Н. Бегичевым (1838—1891), литератором более позднего времени.⁴ Автором «Семейства Холмских» называет Степана Бегичева и Н. Котляревский, путая при этом и год первого издания романа (он указывает 1830-й, тогда как роман вышел в 1832 году). В конце книги ошибка исправлена, автором назван Д. Бегичев.⁵

Кроме упомянутых «Воспоминаний» Е. П. Соковниной, наиболее полным и интересными работами о Д. Н. Бегичеве можно считать исследования воронежских краеведов.⁶ Их интерес к биогра-

² Соковнина Е. П. Воспоминания о Д. Н. Бегичеве. — Исторический вестник, 1889, № 3, с. 661—673.

³ Полевой Кс. А. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого. М., 1888.

⁴ Рябинин Д. Д. Бегичевы. — Русская старина, 1876, № 1, с. 223—224.

⁵ Котляревский Н. П. В. Гоголь: Очерк из истории русской повести и драмы. СПб., 1908, с. 74, 508.

⁶ См.: Де-Пуле М. Алексей Васильевич Кольцов. — В кн.: Воронежская беседа на 1861 г. СПб., 1861; Веселовский Г. М. Воронеж в историческом и современно-статистическом отношении с подробным планом города и его окрестностей. Воронеж, 1886; Тонков В. А. А. В. Кольцов. Воронеж, 1953; Китина А. Д. 1) У истоков русской литературы в Воронежском крае. — В кн.: А. В. Кольцов: Статьи и материалы. Воронеж, 1960; 2) Д. Н. Бегичев. — В кн.: Очерки лите-

¹ Сумароков П. И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 г. СПб., 1839, с. 133.

фии, общественной и литературной деятельности Д. Н. Бегичева позволил им верно определить масштаб личности и вполне заслуженно поставить его имя в один ряд с именами М. В. Милонова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, А. Н. Афанасьева, так или иначе тесно связанных с Воронежским краем.

Фамилия Бегичевых принадлежит к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от Сеппа Бегича (в христианстве Никиты), выехавшего из Золотой Орды к великому князю Владимиру. Дмитрий Никитич Бегичев родился 17 сентября 1786 года в селе Никитинском Ефремовского уезда Тульской губернии в семье капитана Никиты Степановича и его жены Александры Ивановны (урожденной Кологривовой). В семье уже были дети — Елизавета и Степан, а после Дмитрия появятся Варвара и Екатерина.

Лучшее по тем временам образование, полученное в свое время Никитой Степановичем Бегичевым, повлияло и на воспитание его детей. Обширная библиотека отца на русском и на французском языках песомненно на всю жизнь зародила в детях любовь к чтению, к литературе. Почти все они так или иначе связаны с литературной жизнью России. Елизавета Никитична Бегичева, в замужестве Яблочкова, писала стихи, комедии, романы; Степан Никитич Бегичев, будучи ближайшим другом А. С. Грибоедова, оставил о нем свои воспоминания; Дмитрий Никитич неоднократно пробовал свои силы в словесности, написав несколько романов и повестей.

Варвара Никитична Бегичева, воспитанная младшей сестрой матери Дарьей Ивановной Кологривовой, была незаурядной женщиной. Она «с юных лет оставила п известность, и родство, и богатство»⁷ и с 1815 года, сняв домик недалеко от Задонского монастыря, стала вести иноческую жизнь. Братья были против ее отречения от мира, сначала убеждали, а потом и угрожали порвать с ней отношения. Лишь после женитьбы Дмитрия отношения восстановились: с годами братья стали терпимее относиться к взглядам Варвары. «Две просторные комнаты на мезонине ее дома всегда были наполнены больными, голодающими и нуждающимися в помощи»⁸ больных она лечила травами. Часто благотворительная деятельность доводила ее до нужды. В 1818 году Варвара

переселилась в Киев, где могла произойти, но не состоялась ее встреча с А. С. Грибоедовым, что он сам зафиксировал в письме к Степану Бегичеву из Киева от 4 июня 1825 года: «В Лавре я встретил Кологривову Д. А., от нее узнал, что твоя сестра живет в уединении недалеко от дому, где я остановился, вероятно я ее не увижу, потому что несвятостию моего жития бурного и беспотолкового не приобрел себе права быть знакомым с молчаливыми пустынноиками; у меня в наружности гораздо более светского, чем на самом деле, но кто же ее об этом уведоमित? Итак вряд ли я буду к ней допущен».⁹ Со слов Е. П. Соковниной известно, что «во время посещения г. Воронежа Великим князем Цесаревичем Александром Николаевичем (покойным государем) ему сопутствовал знаменитый поэт Василий Андреевич Жуковский, который был в дружеских отношениях с Дм. Ник. Бегичевым. В. А. Жуковский пожелал навестить сестру его и игуменью Смарагду, которую встречал в Тамбове еще девушкой».¹⁰ Факт этот свидетельствует о том уважении, которое вызывала незаурядная, глубокая натура младшей сестры.

В связи с биографией и литературной деятельностью Д. Н. Бегичева нельзя не вспомнить имя его брата Степана. Оба они получили воспитание в Пажеском корпусе, привилегированном военно-учебном заведении, куда еще детьми были записаны отцом. Имя Дмитрия Бегичева мы можем найти и среди воспитанников Московского университетского благородного пансиона.¹¹ Это же учебное заведение в разное время закончили А. А. Шаховской, И. Н. Пнин, В. А. Жуковский, А. Ф. Раевский, А. С. Грибоедов, А. Ф. Вельтман, В. Ф. Одоевский, М. Ю. Лермонтов. О всесторонности обучения свидетельствует перечень изучаемых предметов: логика и нравственность, математика, военные науки, гражданская архитектура, история (всемирная и российская), география, мифология, русский язык, немецкий, французский, латинский, английский, рисование, «танцевание», музыка, фехтование и др., в программу включалось и чтение «хороших писателей и сочинений». Занятия продолжались восемь часов в день (с 8 до 12 и с 14 до 18).

Уже один только выбор авторов, чьи высказывания стали эпиграфами в «Семействе Холмских» Д. Н. Бегичева, свидетельствует о глубоких познаниях пи-

ратурной жизни Воронежского края: XIX—начало XX в. Воронеж, 1970; Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. Воронеж, 1985.

⁷ Соковнина Е. П. Воронежского Покрово-девичьего монастыря игуменья Смарагда, в мире Варвара Никитична Бегичева. — Воронежские епархиальные ведомости, 1886, № 23, с. 869.

⁸ Там же, с. 885.

⁹ Грибоедов А. С. Сочинения. М.; Л., 1959, с. 562.

¹⁰ Соковнина Е. П. Воронежского Покрово-девичьего монастыря игуменья Смарагда. ..., с. 899.

¹¹ Сушков Н. В. Московский университетский благородный пансион. М., 1858.

сателя в области русской и зарубежной литературы и философии, полученные: им, вероятнее всего, в годы учебы: это Ж. Лафонтен, Дж. Аддисон, Х. М. Виланд, К. Гольдони, Ж.-Ж. Руссо, Э. Юнг, М. Монтеню, Н. Буало, Ф. Фенелон, Ж.-Б. Мольер, Г. Филдинг, И. А. Крылов, Г. Р. Державин, Д. В. Давыдов, Д. И. Фонвизин, М. Н. Муравьев, И. И. Хемницер, Н. М. Карамзин — вот далеко не полный перечень имен, упоминаемых Д. Н. Бегичевым.

Военная служба не прельщала Д. Н. Бегичева, он выбирает Государственную коллегию иностранных дел, но и там долго не задерживается. Увольнение связано, видимо, с необходимостью наведения порядка в расстроеном имении, которое стало приходить в упадок после смерти родителей. «Пробыв недолгое время в отставке, Бегичев 2 февраля 1804 г. вновь поступил на военную службу, в том же чине корнета, в Чугуевский казачий регулярный полк с назначением инспекторским адъютантом к генерал-лейтенанту Кологривову».¹² В мае 1804 года Д. Н. Бегичев был произведен в поручики; боевое крещение он получил в войне с Наполеоном на территории союзниц России в Западной Европе: так, в 1805 году принял участие в походе в Австрию, где сражался под Аустерлицем. В марте 1806 года Д. Н. Бегичева перевели в лейб-гвардию гусарский полк, где в январе 1807 года он был произведен в штабс-ротмистры, в мае 1808 года награжден орденом св. Владимира 4-й степени. В Пруссии Д. Н. Бегичев принимал участие в сражениях под Гуттштагом, Гейльсбергом, Фридландом, «причем исполнил важные поручения, будучи посылаем с различными приказами в самые опасные места».¹³

В 1808 году за храбрость, проявленную в сражениях против французских войск, Д. Н. Бегичев был награжден королевско-прусским орденом «За заслуги». С 1808-го по 1812 год он находился в отставке, но начавшаяся Отечественная война побудила его вновь поступить на военную службу, которую он продолжал в том же лейб-гвардии гусарском полку адъютантом генерала Кологривова. В 1819 году Д. Н. Бегичев вышел в отставку в чине полковника.

Именно в 1812 году, будучи правителем канцелярии генерала А. С. Кологривова, под руководством которого в Тамбове формировались и обучались новые кадры кавалерии, Д. Н. Бегичев познакомился с В. А. Жуковским. Большая часть московской аристократии, опасаясь нашествия французов, переехала тогда в Тамбов. Среди приехав-

ших оказался и В. А. Жуковский, который был в дружеских отношениях с П. Н. Чебышевым, женатым на родной сестре А. С. Кологривова. Е. П. Соковнина вспоминает, что «Д. Н. Бегичев, с завистью слыша, как Жуковский и Чебышев читали Байрона и Тасса в оригиналах, принялся, невзирая на свои служебные занятия, изучать языки английский и итальянский».¹⁴ В 1813 году к тому же генералу А. С. Кологривову адъютантом был назначен брат Д. Н. Бегичева — Степан Никитич. Андрей Семенович Кологривов доводился братьям Бегичевым дядей (по материнской линии), но родственные связи не сделали службу проформой: выполнение многочисленных поручений требовало большой ответственности, а нередко было связано и с определенным риском. Д. Н. Бегичев взял на себя все важные поручения, требовавшие «поспешности» и строгой отчетности; пользуясь неограниченным доверием генерала Кологривова, он «ворочал сотнями тысяч и вышел чистым от соблазна воспользоваться хотя самой ничтожной суммой из вверенного ему казенного капитала».¹⁵

Во время пребывания гусарского полка в Брест-Литовском братия Бегичевы познакомилась и сблизилась с А. С. Грибоедовым. Особенно задушевной была дружба А. С. Грибоедова и С. Н. Бегичева, в лице которого будущий писатель нашел старшего друга и страстного почитателя своего таланта. Стремясь уяснить характер общественной и литературной деятельности беллетриста Д. Н. Бегичева, нельзя обойти молчанием личность его брата Степана Никитича, да и весь семейно-дружеский бегичевский «круг». Без этого не понять «хроники» «Семейство Холмских» — она вся выросла из особого семейно-бытового, культурного, исторического уклада русского дворянского рода с его традициями, предрассудками, социальными связями, духовными запросами, общественными идеалами и устремлениями.

Внешний облик и нравственные качества старшего брата — Степана Никитича Бегичева — предстают в воспоминаниях его соседки по имени Е. И. Раевской (Бибиковой) следующим образом: «Из всех старожиллов нашего уезда самой светлой и симпатичной личностью был наш ближайший сосед, Степан Никитич Бегичев». Он «был честный, благородный и добрый человек. Смолоду он, вероятно, был очень красив, типом славянского племени, т. е. высокого роста, широк в плечах, до самой старости круглолиц, бел и румян; голубые глаза его смотрели добродушно. Я его застала уже стариком с белыми как снег волосами. Он был гораздо об-

¹² Алексеевский Б. Д. Н. Бегичев. — В кн.: Русский биографический словарь. СПб., 1908, т. 3, с. 583—584.

¹³ Там же, с. 583.

¹⁴ Соковнина Е. П. Воспоминания... с. 664.

¹⁵ Там же.

разованнее прочих Елифанских старожилов; имел большую библиотеку, много читал, но в дела уезда никогда не вмешивался и не принадлежал ни к какой партии. Но когда в 40-х годах заговорили об освобождении крестьян, Степан Никитич принял этот вопрос к сердцу и в тиши кабинета много о том писал, но проект его не был представлен государю Николаю». ¹⁶

Что же касается богатой библиотеки С. Н. Бегичева, то книги могут дать достаточно определенное представление о характере его взглядов, умонастроений. Судьба всей библиотеки неизвестна, но в этом смысле показательны отношения Степана Никитича к тем десяти томам «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, которые хранятся в фонде областной библиотеки им. Ленина г. Тулы. Они найдены и исследованы Б. Тебевым и О. Глаголевой. ¹⁷ О принадлежности книг можно судить по овалному отписку на титульном листе первого тома, который называет пня владельца — «Степан Бегичев». На многих страницах обнаружены карандашные пометы, которые дают возможность узнать отношение владельца книг к прочитанному (всего найдено около 450 маргиналий и подчеркиваний), причем пометы делались на книгах дважды — это прямое свидетельство неоднократного прочтения и вдумчивого отношения к тексту Карамзина. Они-то и свидетельствуют о том, что С. Н. Бегичев отнюдь не безоговорочно принимал точку зрения автора; исследователь замечает, что «бросается в глаза сначала настоющее, а затем и резко отрицательное отношение Бегичева-читателя к Карамзину-автору». ¹⁸ Пометы С. Н. Бегичева на полях «Истории государства Российского», заключающие в себе несогласие с официальной трактовкой исторического процесса, сравнение ее с мнением других, как русских, так и зарубежных, историков, собственные замечания, касающиеся, в частности, стиля повествования — все это подтверждает высокую образованность и оригинальность мышления С. Н. Бегичева.

Дружеские отношения А. С. Грибоедова с одним из братьев Бегичевых были отмечены и достаточно высоко оценены уже их современниками. Вот как пишет один из них: «Дружба спасла Грибоедова от сетей, в которые часто

падают пылкие и благородные юноши в начале светского поприща. В это время Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым, бывшим тогда адъютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора, дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и еще некоторыми близкими к сердцу покойного. Чувства, мысли, труды, имущество, все было общим в дружбе с Грибоедовым. Нет тех жертвований, на которые бы не решился Грибоедов для дружбы: всем жертвовали друзья для Грибоедова». ¹⁹ Это высказывание принадлежит Ф. В. Булгарину, свидетелю весьма сомнительному, но в данном случае, думается, его словам можно доверять. И вот почему: несмотря на то что Булгарин печально знаменит стараниями всячески афишировать свою близость с умершими писателями (что вызвало в свое время бурный поток гневных эпиграмм П. А. Вяземского, Н. Ф. Павлова и др.), в случае с А. С. Грибоедовым даже он уступает пальму первенства С. Н. Бегичеву: «Он узнал его прежде других, прежде постигнул его, и в юношеском пламени открыл нетленное сокровище, душу благородную. С. Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности». ²⁰ По свидетельству Н. В. Шимановского, одного из сослуживцев Грибоедова по крепости Грозная, питавшего к писателю страстную недоброжелательность, Грибоедов на вопрос Сергея Ермолова о причинах его тесной дружбы с их общим московским знакомым С. Н. Бегичевым, «увальнем и тюфяком», отвечал: «Это потому, что Бегичев первый стал меня уважать». ²¹

С братьями Бегичевыми А. С. Грибоедов вел довольно оживленную переписку, которая, к сожалению, полностью не сохранилась. Часть ее пропала еще при пересылке, часть писем С. Н. Бегичева была уничтожена, видимо, самим Грибоедовым в крепости Грозная 22 января 1826 года; во время трагических событий в Тегеране исчезли бумаги и документы, находящиеся у Грибоедова, среди которых, возможно, были и письма. По сведениям, полученным М. В. Нечкиной от одного из

¹⁶ Цит. по: Милонов Н. А. С. Н. Бегичев. — В кн.: Декабристы-туляки. Тула, 1977, с. 53.

¹⁷ См.: Тебиев Б. Пометы «молодого яковинца». — В мире книг, 1976, № 8, с. 86—87; Глаголева О. Е. Книги с пометами декабриста С. Н. Бегичева в Туле. — В кн.: Русские библиотеки и их читатель. М., 1983, с. 217—226.

¹⁸ Тебиев В. Указ. соч., с. 87.

¹⁹ Булгарин Ф. В. Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове. — В кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929, с. 24.

²⁰ Там же, с. 25.

²¹ Шимановский Н. В. Арест Грибоедова. — В кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 121.

потомков рода Бегичевых — А. А. Бегичевой, существовали 16 писем Грибоедова к Д. Н. Бегичеву; они хранились у Николая Ивановича Бегичева, офицера Сумского гусарского полка, который, в свою очередь, получил их от своей матери. После смерти Н. И. Бегичева письма хранились у его жены — Веры Алексеевны Бегичевой (в девичестве Лавровой), которая умерла летом 1935 года в возрасте 86 лет. Письма же были похищены и, скорее всего, уничтожены.²² В результате до нас дошли путевые заметки путешественника по Кавказу Грибоедова, которые он составлял в форме писем к другу Степану Бегичеву; сохранились и 20 писем Грибоедова к С. Н. Бегичеву.

Семейные реликвии Бегичевых, связанные с именем А. С. Грибоедова, предоставляют исследователям обширный фактический материал. К этим документам можно отнести прежде всего бесценный для литературоведов автограф раннего варианта комедии «Горе от ума», переданный в Исторический музей г. Москвы (отсюда его название — «музейный») из семьи Бегичевых и сразу же после этого опубликованный в 1903 году В. Е. Якушкиным. Именно об этом автографе пишет Грибоедов в письме к С. Н. Бегичеву в июне 1824 года: «Кстати, прошу тебя моего манускрипта шкному не читать и предать его огню, коли решишься; он так несовершенно, так нечист, представь себе, что я слишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменял, теперь гладко, как стекло».²³ Бегичев не «решился» уничтожить первый вариант комедии, частично написанный на его глазах. Благодаря этому мы можем сейчас наблюдать первые этапы работы Грибоедова над своим детищем, видеть первоначальный облик известных всем крылатых строк.

А. С. Грибоедову, конечно, очень хотелось увидеть свою комедию на сцене, ради этого он идет на смягчение особо острых моментов. «Надеюсь, жду, урезаю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополювели, сержусь и восстанавливаю стертые, так что, кажется, работе конца не будет...»²⁴ Например, чисто цензурные причины побудили Грибоедова заменить острую строку:

Нет! нынче худо для
Дворов... —

более мягкой:

Нет! Нынче свет уж не таков...

Многие интересные текстологические наблюдения могли быть сделаны лишь благодаря сохранным С. Н. Бегичевым «Музейному автографу». Кроме него С. Н. Бегичев бережно хранил и так называемую «Черновую тетрадь» Грибоедова, которую тот якобы забыл после отъезда в Персию в 1828 году. Она включает в себя путевые заметки Грибоедова, обращенные к С. Н. Бегичеву, отдельные листы комедии, носящие явно черновой характер. К сожалению, сама «Тетрадь» исчезла во время пожара в доме Д. А. Смирнова (исследователя творчества Грибоедова), но он в 1859 году успел ее опубликовать в «Русском слове».²⁵ Кстати, описание ее внешнего вида, сделанное Д. А. Смирновым, и состав автографов в этой тетради (разный цвет и качество бумаги, чернил, отсутствие общей нумерации, перепутанные страницы) позволило исследователям сделать вывод, что «Черновая тетрадь» появилась уже после отъезда Грибоедова, когда С. Н. Бегичев собрал воедино и переплел все листы, написанные рукой его друга. Вполне возможно, что толчком к этому послужило сообщение о смерти Грибоедова, которое Бегичев принял столь близко к сердцу, что «три дня не выходил из своего кабинета, а когда вышел, то был сед, как лунь».²⁶

В письмах А. С. Грибоедова к его другу часто упоминаются имена Д. Н. Бегичева и его жены. Так, будучи обеспокоен судьбой Д. Н. Бегичева, получившего назначение в Иркутский гусарский полк, в тот самый, где в 1812—1813 годах служил оп сам. А. С. Грибоедов в письме от 4 сентября 1817 года пишет из Петербурга: «Брат твой — Иркутский полковник, поздравь его от меня, как увидишь. Неужели он явится в полк? Сделай одолжение, отговори его от этого. У него, кажется, перед глазами мой пример. Я в этой дружине всего побыл 4 месяца, а теперь 4-й год, как не могу попасть на путь истинный».²⁷ В другом письме (от июня 1824 года) находим такое дружеское упоминание: «Дмитрия красоту мою, расцелуй так, чтобы еще более зарделся пухлые щечки. Александру Васильевну тоже, Дениса. Льва и весь священный собор».²⁸

Именно в московском доме Д. Н. Бегичева останавливался А. С. Грибоедов по пути в Петербург, будучи уже под арестом; здесь же он встретился с «бесценнейшим» своим другом Степаном. Подробности этой встречи мы узнаем из рассказа самого С. Н. Бегичева, записан-

²⁵ Смирнов Д. А. Черновая тетрадь Грибоедова. — Русское слово, 1859, № 4, 5, 6.

²⁶ Милонов Н. А. Указ. соч., с. 52.

²⁷ Грибоедов А. С. Сочинения, с. 500.

²⁸ Там же, с. 546.

²² Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977, с. 63, 641.

²³ Грибоедов А. С. Сочинения, с. 544.

²⁴ Там же.

ного Д. А. Смирновым.²⁹ Приехав в Москву (7 или 8 февраля), Грибоедов остановился в доме Д. Н. Бегичева в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы Божодемской. Он не поехал к Степану Никитичу, опасаясь, видимо, скомпрометировать своего друга, состоявшего некогда членом тайной организации «Союз благоденствия». Степан Никитич в тот день ожидал брата к семейному обеду, вместе него получили записку: «Если хочешь видеть Грибоедова, приезжай, он у меня».³⁰ Друзья встретились в кабинете Д. Н. Бегичева. Во время отсутствия сопровождающего Грибоедова фельдъегеря Уклонского, «отпущенного» повидаться с родными, братья Бегичевы сообщили Грибоедову известные из газет и других источников подробности недавних декабрьских событий и последовавших за этим арестов и дознаний правительства.

Следует подробнее рассмотреть степень причастности С. Н. Бегичева к восстанию декабристов и к самим участникам тайных организаций. С. Н. Бегичев был членом «Союза спасения», а позднее — «Союза благоденствия», куда был принят Никитой Муравьевым. Пребывание С. Н. Бегичева в кругу заговорщиков не было бездеятельным. Он принимает в общество нового члена — Василия Петровича Ивашева, товарища по кавалергардскому полку. В июне 1819 года, когда Ивашев едет в Тульчин к новому месту службы, С. Н. Бегичев дает ему рекомендательное письмо к И. Г. Бурцову, которое должно сблизить членов южной организации с новичком. Письмо это свидетельствует о широкой осведомленности поручителя, его авторитете (Ивашев незамедлительно был принят в Тульчинскую управу «Союза благоденствия») и, наконец, о знакомстве С. Н. Бегичева с Бурцовым, что тот отрицал на следствии.

Кроме непосредственного участия в делах тайных организаций, С. Н. Бегичев в свое время служил в кавалергардском полку, где, по данным М. В. Нечкиной, в разное время служило не менее 24 декабристов. Среди них был один из родственников братьев Бегичевых Александр Лукич Кологривов, племянник генерала А. С. Кологривова, а также известные декабристы П. И. Пестель, А. М. Муравьев, М. С. Луниц, С. Г. Волконский, В. П. Ивашев, И. А. Анненков, А. Н. Вяземский, Ф. Ф. Гагарин и др., а по заведенному в полку порядку каждый новый кавалергард был представлен всему офицерскому составу. Все это дало основание Нечкиной назвать именно С. Н. Бегичева связующим звеном

между кавалергардами и Грибоедовым.³¹ Во время разговора в кабинете Д. Н. Бегичева, безусловно, звучали имена общих знакомых — братьев Бестужевых, А. И. Одоевского, Ш. Г. Каховского, А. И. Якубовича, В. К. Кюхельбекера. Бегичевы прекрасно знали об арестованных в Москве (М. Ф. Орлов — 21 декабря, А. Л. Кологривов — 23 декабря, П. А. Муханов, П. Д. Якушкин — 9 января, В. П. Ивашев — 23 января), о чем, несомненно, и сообщили А. С. Грибоедову.

Д. Н. Бегичев был одним из свидетелей создания 3-го и 4-го действий комедии «Горе от ума», которые были написаны Грибоедовым, гостившим летом 1823 года в деревне С. Н. Бегичева. Будучи окружен любовью и заботой друзей своих и почитателей, Грибоедов получил идеальные условия для творчества. «Пишу тебе из какого-то оврага Тульской губернии, где лежит древнее господское обиталище приятеля моего Бегичева, — обращается он к А. В. Всеволожскому в письме от 8 августа 1823 года. — Отсюда меня не пускают. И признаюсь: здесь мне очень покойно, очень хорошо. Для пелюдица шум ярмонки менее замачив».³²

В литературе часто встречается мнение о том, что Д. Н. Бегичев является прототипом Горяча. Е. П. Соковнина возражает против этого высказанного Кс. А. Полевым мнения: «... Кс. А. Полевой в своих „Записках“ говорит, что Грибоедов изобразил своего друга Д. Н. Бегичева в „Горе от ума“ — в лице Платона Михайловича. Но беззаботный характер последнего решительно ни в чем не сходен с энергично-деятельным характером Д. Н. Бегичева».³³ Далее она объясняет происхождение этой молвы. Грибоедов случайно оказался свидетелем разговора Д. Н. Бегичева и его жены Александры Васильевны, урожденной Давыдовой, который живо напомнил ему только что написанный эпизод — сцену разговора между Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной. По свидетельству Соковниной, Грибоедов после прочтения вслух этой сцены прибавил: «Ну, не подумайте, что я вас изобразил в этой сцене, я только что окончил ее перед приходом к вам».³⁴ Забавный этот эпизод был пересказан братьям жены — Льву и, что особенно важно, Денису Давыдову, известному весельчаку. Неудивительно, что эта подробность, многократно передаваясь из уст в уста, неузнаваемо изменилась и так и закрепилась в сознании людей, современников и потомков.

³¹ См.: Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. — Лит. наследство, 1946, т. 47—48, с. 77—147.

³² Грибоедов А. С. Сочинения, с. 540.

³³ Соковнина Е. П. Воспоминания... с. 665.

³⁴ Там же.

²⁹ Смирнов Д. А. Рассказы об А. С. Грибоедове, записанные со слов его друзей. — В кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 206—212.

³⁰ Там же, с. 208.

Е. П. Соковнина встает на защиту от необоснованных, по ее мнению, обвинений не только своего дяди, но и его жены, Александры Васильевны, которая не имела ничего общего с героиней комедии Натальей Дмитриевной — избалованной светской барыней. «Александра Васильевна росла сиротой, под строгим надзором родной тетки Ек. Евд. Библиковой и была вынуждена с 18-летнего возраста взяться за управление имением не только тетки, но и имением своих трех братьев Давыдовых, которые все были на службе. Их уважение и благодарность сестре за ее заботы были беспредельны».³⁵

Имя Д. Н. Бегичева неоднократно упоминается и в письмах Дениса Васильевича Давыдова, блестящего гусара, прославленного героя Отечественной войны 1812 года, одного из известнейших поэтов пушкинской поры, чьи стихи звучали и в великосветских гостиных, и в солдатских казармах, чьи шутки и остроты, передаваемые из уст в уста, иной раз переходили в тонкую политическую сатиру. Денис Васильевич поддерживал с Дмитрием Никитичем Бегичевым и своей сестрой Александрой Васильевной не только родственную связь, но и дружеские отношения, неоднократно гостил у них. Именно Дмитрия Никитича и Александру Васильевну, живших в Петербурге, в 1837 году Д. В. Давыдов просит по возможности присматривать за его сыновьями Василием и Николаем, которые учились в Петербурге. В письме к сестре он дает подробнейшую инструкцию для Василия, где указывает, «когда и до какого времени тот может гулять, с кем вести знакомство, сообщать, куда и откуда идет, какого рода книги выбирать для чтения...».³⁶ Будущее сына Василия, пренебрегающего получением образования в погоне за красивым мундиром, тревожило Давыдова. «С подобной бесхарактерностью, если бы ты имел п гений Наполеона, и глубокую ученость Гумбольдта, благородство чувств и доброту души твоего дядюшки Д. Н., тебе трудно идти далеко», — пишет он сыну.³⁷

Документальным свидетельством знакомства и переписки Д. Н. Бегичева с В. К. Кюхельбекером служит сохранившееся письмо от 2 марта 1825 года, посланное Д. Н. Бегичевым в ответ на письмо В. К. Кюхельбекера, жившего тогда в селе Закуп Смоленской губернии. Д. Н. Бегичев не только сообщает об успехе альманаха «Мнемозина», который совместно издавали В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер, но и об об-

щем друге А. С. Грибоедове, проживавшем в то время в Петербурге: «Об Грибоедове имеем известие от двух приехавших недавно из Петербурга родных наших: прежде от Наумова, а потом от А. И. Кологривова; они довольно часто видались с ним, он здоров, как говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался в музыку и что-то такое серьезное пишет».³⁸

Воронежские последователи неоднократно упоминали о причастности Д. Н. Бегичева к появлению в Воронеже рукописных копий комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». В этом городе Д. Н. Бегичев был губернатором со 2 марта 1830-го по 9 апреля 1836 года. На этом ответственном посту он зарекомендовал себя как честный, неподкупный, просвещенный государственный деятель. Сложная обстановка в Воронеже в первое лето правления нового губернатора сразу же выявила все его деловые и душевные качества. Дело в том, что лето 1830 года отмечено первым появлением холеры, уносившей впоследствии в день по 300—400 жизней. Положение осложнилось стечением огромных масс народа, желавших с целью чудесного исцеления поклониться мощам, открытым здесь незадолго до эпидемии. Д. Н. Бегичеву личным примером (несмотря на свое сложное финансовое положение) удалось склонить дворян и купцов к пожертвованию, что дало возможность за несколько дней организовать временные больницы для холерных больных, которые губернатор посещал ежедневно. «Услышав, что один из помещиков Новохоперского уезда (Суринов) составил противохолерный элекси́р, который во многих случаях оказывал помощь против болезни, Д. Н. Бегичев распорядился о заготовлении его во всех аптеках и рассылке бесплатно беднейшим жителям города. С целью распространить шире способ приготовления элекси́ра Д. Н. Бегичев издал об этом отдельную брошюру „Воронежский элекси́р“, а в „С.-Петербургских ведомостях“ поместил заметку: „Состав элекси́ра и употребление его“».³⁹

Знаменательным в истории города и нелегким для губернатора оказался 1832 год, когда было произведено официальное открытие мощей Св. Митрофана. Воронеж сделался центром паломничества огромных масс народа. К тому же целый ряд царских посещений подталкивал местные власти во главе с губер-

³⁸ Цит. по: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 401.

³⁹ Литвинов В. В. Воронежский губернатор Д. Н. Бегичев и его распоряжения при открытии мощей Святыня Митрофана и перенесении их из Архангельского собора в Благовещенский. — Воронежская старина, 1914, вып. 13, с. 110—111.

³⁵ Там же, с. 666.

³⁶ Жерве В. В. Партизан-поэт Д. В. Давыдов: Очерк его жизни и деятельности. СПб., 1913, с. 153.

³⁷ Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1860, т. 3, с. 162.

натором Д. Н. Бегичевым к энергичным действиям по благоустройству самого города, содержанию его в чистоте, постройке удобных дорог. Доказательством возросших хлопот Д. Н. Бегичева может служить всего одна цифра, приводимая Г. М. Веселовским: в знаменательные дни торжественного перенесения мощей город посетило около 80 тысяч человек.⁴⁰

Определенным образом характеризует Д. Н. Бегичева и тот факт, что он был автором проекта величественного памятника Петру I. Мысль эта пришла в голову еще его предшественнику, губернатору Б. А. Адеркасу, который хотел сохранить для потомков единственный памятник деятельности Петра I в Воронеже — цейхгауз, который в старину был местом хранения необходимых корабельных припасов. В комнате, где, по преданиям, располагалась «рабочая палата» Петра I, предполагалось воссоздать обстановку петровских времен, собрав по губернии и вообще по России различные вещи, принадлежащие лично Петру I. «Сверх того, предлагалось купить и хранить в этой комнате в особых шкафах деяния Петра Великого, анекдоты и другие книги, относящиеся к его царствованию, и чтением этих книг предоставлять пользоваться каждому, кто пожелает, на месте, но никому брать их домой не позволять. Стены этой комнаты предполагалось украсить портретами Великого Государя, планами выигранных им сухопутных и морских сражений и портретами военачальников и других особ, которые пользовались милостью и доверенностью его».⁴¹ Проектом предусматривалось благоустроить окрестности цейхгауза, проложить дорожки, чтобы сделать это историческое место удобным для публичного гулянья.

Проект Д. Н. Бегичева, включающий памятник-obelisk Петру I, расположенный на возвышенности, и аллею, соединяющую его с цейхгаузом, был утвержден в 1834 году Николаем I. Губернатору предоставлялось сделать распоряжение о приглашении всех сословий Воронежской губернии к пожертвованиям на означенный предмет с тем, чтобы к покупке цейхгауза и острова было приступлено немедленно, коль скоро соберется достаточная на то сумма.⁴² В том же году цейхгауз был куплен, начало работ было отмечено великодушным праздником с пиллюминацией и угощением для бедных. Но после отъезда Д. Н. Бегичева, являвшегося вдохновителем сооружения памятника, работы ухудшились, затянулись и в 1843 году были прекращены.

Об энергичности Д. Н. Бегичева свидетельствует и еще один эпизод его

правления, описанный Е. П. Соковниной. 1833 год был из-за засухи настолько неурожайным, что Воронежской губернии грозил голод. На просьбу губернатора о помощи правительством был выделен миллион рублей. Благодаря неустанной деятельности «Бегичеву удалось продовольствовать Воронежскую губернию так хорошо, что от всех условий, городских и сельских, были поднесены благодарственные адреса, которые были опубликованы в „Московских ведомостях“. На народное прокормление всей губернии было истрчено Д. Н. Бегичевым только 300 000, а остальные 700 000 он возвратил назад в Петербург».⁴³

Будучи человеком высокой культуры, обладая литературным дарованием, Д. Н. Бегичев, безусловно, интересовался успехами и развитием литературы в Воронеже. Так, в числе насущных потребностей города была общественная библиотека. Получив разрешение на ее открытие, губернатор тотчас приступил к поискам помещения для библиотеки, мебели и человека, который мог бы на общественных началах выполнять обязанности библиотекаря. Но все эти действия не встретили поддержки и сочувствия среди влиятельных горожан. На просьбу Д. Н. Бегичева о предоставлении помещения под библиотеку никто не откликнулся, даже епископ Воронежский Антоний «счел себя вынужденным отказать». Наконец помещение было найдено, его выделили в доме Дворянского собрания. Встал вопрос о мебели и библиотекаре, но ответы директора Воронежских училищ и городского архитектора послужили доказательством нежелания должностных лиц заботиться просвещением. Архитектор за самую простую мебель запросил немалые цены, а директор училищ отказался предоставить библиотекаря из числа учителей. В конце концов публичная библиотека все же была создана, но просуществовала всего несколько лет.⁴⁴

Известный краевед М. Де-Пуле делил воронежскую читательскую публику 30-х годов на два лагеря: одни предпочитали сентиментальную литературу, другие были поклонниками Пушкина. «Но оба разряда читателей сходились в любви к книге „Семейство Холмских“, пользовавшейся в Воронеже громадной популярностью».⁴⁵ Автор романа был губернатор Д. Н. Бегичев. Постоянно вращаясь в литературных кругах, имея обширный круг друзей-литераторов (А. С. Грибоедов, Д. В. Давыдов, А. В.

⁴³ Соковнина Е. П. Воспоминания... с. 671.

⁴⁴ Вейнберг Л. Б. Город Воронеж. — В кн.: Воронежский юбилейный сборник в память 300-летия г. Воронежа. Воронеж, 1886, с. 193.

⁴⁵ Де-Пуле М. Указ. соч., с. 415—416.

⁴⁰ Веселовский Г. М. Указ. соч., с. 109.

⁴¹ Там же, с. 111.

⁴² Там же, с. 113.

Кольцов, В. К. Кюхельбекер, В. Ф. Одоевский), не устоял перед соблазном заняться творческой деятельностью самостоятельно. К моменту выхода в свет первого произведения, «Семейства Холмских», он уже вступил в зрелый возраст (46 лет), занимал высокий государственный пост. Он принадлежал к той части литераторов, которую довольно точно выделил и охарактеризовал В. Ф. Одоевский: они пришли в литературу с желанием в художественной форме познакомить читателя со своим жизненным опытом, своими наблюдениями.⁴⁶ Д. Н. Бегичев не остановился на написании одного романа. Успех «Семейства Холмских» окрылил начинающего писателя, и вскоре читатели смогли познакомиться с плодами его дальнейшей творческой деятельности. Это были «Ольга. Быт русских дворян в начале нашего столетия» (СПб., 1840), «Провинциальные сцены» (СПб., 1840), «Записки губернского чиновника» (СПб., 1845), «Быт русского дворянина в разных эпохах и обстоятельствах его жизни» (М., 1851).

К большому сожалению автора, интерес к его произведениям падал с выходом каждого нового романа. Если «Ольга» и «Провинциальные сцены» еще привлекали внимание публики своей занимательностью, а рецензенты отмечали даже «оригинальность и ловкость наблюдения», строгую «верность с натурою, превосходный гротеск, замысловатый рисунок характеров, притворство легкого и насмешливого карандаша, столь редкие во всякой литературе»,⁴⁷ то в «Записках губернского чиновника» критика выделила лишь «чистый и правильный» язык, меняющийся в зависимости от описываемого времени.⁴⁸ А «Быт русского дворянина» единодушно был признан утомительным, скучным произведением,⁴⁹ относящимся непонятно к какому жанру: «это не роман, не записки, не история и не биография, а что-то среднее между этими родами и потому весьма неудовлетворительное».⁵⁰ Современная Д. Н. Бегичеву критика не поняла и не оценила его поиски в области жанра. К его произведениям подходили с мерками традиционного правоописательного романа, тогда как автор, оттолкнувшись от шаблона, нахо-

дился в постоянном поиске новой жанровой формы. «Семейство Холмских» (как, впрочем, и другие свои произведения) он «не дерзнул»⁵¹ назвать романом, неоднократно подчеркивая это и в самом названии («некоторые черты нравов»), и в предисловиях. Для него было очень важно, чтобы читатель увидел различие между его произведениями и множеством нравственно-сатирических романов типа «Выжигиных» Булгарина, Орлова, Гурьянова. Если жанровые поиски в «Семействе Холмских» вылились в новую форму, «хронику», получившую дальнейшее развитие в русской литературе, то эксперимент в последнем произведении, «Быте русского дворянина», был явно неудачным.

Вернемся же к предмету нашего исследования — «Семейству Холмских», наиболее удачному и весьма популярному в 30-е годы XIX века произведению Д. Н. Бегичева. За короткий период роман издавался трижды (1832, 1833, 1841). Своеобразным подтверждением его большой популярности может послужить упоминание о нем в художественном произведении. Один из героев Достоевского, Ежовкин («Село Степанчиково и его обитатели»), имея в виду свое большое семейство, произносит: «А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно по пословице: у богатого — телята, а у бедного ребята...»⁵²

Еще одна немаловажная деталь — роман вышел анонимно, это было одним из строжайших условий, поставленных Д. Н. Бегичевым.⁵³ Для публики в этом не было ничего удивительного: в начале XIX века выходило большое количество «бесымянных» произведений. Причины такого явления можно найти в книге В. Г. Дмитриева «Скрывшие свое имя», которая как раз и посвящена проблеме анонимов и псевдонимов. Дело в том, что «в старину „сочинители“ ставились на одну доску с бродячими комедиантами, чье занятие казалось предосудительным всем добропорядочным буржуа, не говоря уже об аристократах».⁵⁴ Авторы чиновники, а заступивший на пост воронежского губернатора Д. Н. Бегичев как раз к ним и относился, могли иметь даже неприятности по службе, если они без разрешения начальства выступят в печати под своим именем. Именно поэтому современники Д. Н. Бегичева часто пользовались псевдонимами: де-

⁴⁶ См.: *Одоевский В. Ф.* Как пишутся у нас романы. — *Современник*, 1836, т. 3, с. 48—51.

⁴⁷ Библиотека для чтения, 1840, т. XLII, отд. V, с. 27.

⁴⁸ *Москвитянин*, 1845, ч. V, № 9, с. 116.

⁴⁹ См.: *Отечественные записки*, 1851, № 11, т. XXXIX, отд. VI, с. 32—34; 1852, № 2, т. XXX, отд. VI, с. 80—81; *Северная пчела*, 1852, № 47; Библиотека для чтения, 1852, т. CXII, отд. VI, с. 1—7.

⁵⁰ *Современник*, 1852, т. XXXI, отд. IV, с. 5.

⁵¹ *Бегичев Д. Н.* Семейство Холмских: Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян. М., 1832, ч. 1, с. XXI.

⁵² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972, т. 3, с. 52.

⁵³ *Полевой Кс. А.* Указ. соч., с. 299.

⁵⁴ *Дмитриев В. Г.* Скрывшие свое имя: Из истории анонимов и псевдонимов. М., 1970, с. 52.

кабрист А. Бестужев печатался под фамилией Марлиньский; А. Перовский, служивший попечителем учебного округа, взял псевдоним Антоний Погорельский (по названию своего имения Погорельцы); С. Т. Аксаков, будучи цензором, ставил под своими журнальными публикациями буквы «Л. Р. Т.», что означало — Любитель Русского Театра;⁵⁵ Орест Сомов выпустил некоторые свои произведения под именем Порфирия Байского. А В. Ф. Одоевский имел целый ряд замысловатых псевдонимов: Безгласный, Московский обыватель, Плакун Горюнов, Иринарх Модестович Гомозейко, Филат Простодумов и др.

Немалым будет и список произведений, вышедших вообще без обозначения какого-либо имени. Д. Н. Бегичев издавал свои последующие романы под титулом — Автор «Семейства Холмских». В. Г. Дмитриев отмечает, что «выступление под титулом было выгодно для автора: оно увеличивало интерес к его творчеству, напоминая читателям о других его произведениях, уженискавших популярность».⁵⁶

Родственница Д. Н. Бегичева Е. П. Соковнина объясняет анонимность «Семейства Холмских» явной прототипичностью некоторых образов романа. Так, в облике Тимофея Игнатьевича Сундукова, мошенника, взяточника, стяжателя, современники-воронежцы без труда могли узнать губернского предводителя дворянства Семена Алексеевича Викулина.⁵⁷ Возможно, новоявленный губернатор не хотел начинать свою деятельность в Воронеже с взаимных обид. Да и обличить стремился он не одно определенное лицо, а целый ряд, тип судуковых, викулиных. Сам же Д. Н. Бегичев объяснил анонимный выход романа по-другому. Понимая уязвимость первого литературного опыта, некоторое его несовершенство, предчувствуя критические замечания, высказывавшиеся порой в ехидной форме, «скрыл я мое имя», пишет Бегичев в предисловии, «чтобы не огорчить и не восстановить против себя моих однофамильцев».⁵⁸

В подготовке романа к публикации большую помощь автору оказал Н. А. Полевой, увидевший, что сочинение «заключает в себе многие любопытные картины и подробности, взятые с натуры... что книга может иметь успех, если напечатать ее в приличном виде».⁵⁹ Н. А. Полевой еще до выхода романа полностью напечатал несколько наиболее удачных глав из «Семейства Холмских»

в «Московском телеграфе», что несомненно способствовало популярности вышедшего впоследствии произведения.

Роман представляет собой шестипомное «народоописательное» и «правоучительное» произведение, в котором воспроизводится в многочисленных подробностях жизнь обширного провинциального семейства Холмских. Д. Н. Бегичев нарушает привычную романную традицию окончания повествования свадьбой. В «Семействе Холмских» все наоборот: роман начинается свадьбами. Думается, что сделано это преднамеренно, такой «поворот» дает автору возможность сразу значительно расширить круг героев. Дети помещицы Наталья Алексеевна Холмская один за другим создают семьи. Елизавета выходит замуж за князя Рамирского в надежде, что богатство мужа позволит ей жить шикарно. Но оказалось, что князь вовсе не собирается тратить состояние на удовлетворение прихотей взбалмошной жены. Наталья становится графиней Клешиной, соединив свою жизнь со стариком, богатым и влиятельным в свете. Катерина, подчинившись лишь велению сердца, выходит за небогатого дворянина Аглаева, грешащего сентиментальным стихотворством. Алексей женится на дочери богатого откупщика. И только одна София, полагаясь в выборе спутника жизни на движения сердца и ума, идет замуж за добропорядочного дворянина Пронского. По ходу романа автор знакомит читателя со все новыми и новыми семейными парами, но лишь немногие из них счастливы. «Но вместе с описанием разнообразных причин несчастных браков, желал я также объяснить, — пишет Д. Н. Бегичев в предисловии, — какие средства должны быть приняты к достижению возможного благополучия в супружеском состоянии».⁶⁰

Характеры героев романа четко делятся на положительные и отрицательные, на что указывают широко применяемые автором говорящие фамилии: Светланины, Хрусталина, Храбрено, Тартюфов, Недосчетов, Простосердов, Репейкин, Простодушина, Сундуков и т. д. Роман имеет довольно емкий подзаголовок: «Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян». Именно эта, обозначенная в подзаголовке, сторона произведения и была положительно отмечена В. Г. Белинским в статье «Русская литература 1843 г.»: «Роман скрывшего свое имя автора „Семейство Холмских“ имел замечательный успех, в нем попадаются довольно живые картины русского быта в юмористическом роде».⁶¹ Белинский не раз подчеркивал «доволь-

⁵⁵ Там же, с. 55—57.

⁵⁶ Там же, с. 67.

⁵⁷ Соковнина Е. П. Воспоминания... с. 662.

⁵⁸ Бегичев Д. Н. Семейство Холмских, ч. 1, с. XXV.

⁵⁹ Полевой Кс. А. Указ. соч., с. 298—299.

⁶⁰ Бегичев Д. Н. Семейство Холмских, ч. 1, с. XI.

⁶¹ Белинский В. Г. Сочинения: В 9-ти т. М., 1981, т. 7, с. 19.

но значительный успех» романа «благодаря живому чувству негодования против разного рода злоупотреблений, — чувства, которое прерагает в означенном романе не последнюю роль».⁶²

Примечателен и такой факт. Среди персонажей романа, а их более ста, действуют герои с такими именами, как Александр Андреевич Чадский (именно так звучала фамилия главного героя в раннем варианте комедии «Горе от ума»), Молчалин, Софья, графиня Хлестова, которые, без сомнения, заимствованы из запрещенной в то время комедии Грибоедова. В романе Д. Н. Бегичева Чадский и Софья любят друг друга, но это нарушает планы Хлестовой, видевшей Чадского женихом своей дочери; она искусно созданной интригой на некоторое время различает влюбленных. Но даже после выяснения всех обстоятельств интриги Чадский, сделавший предложение Софье, не получает вразумительного ответа. Удрученный столь неясным своим положением, он на балу спорится с молодым офицером и убивает его на дуэли. После такого поворота событий добродетельная и высоко нравственная Софья Холмская отказывает Чадскому, выходит замуж за другого, живет на лоне природы, воспитывает троих детей. Чадский женится на дочери Сундукова, с помощью жены разоряется и остаток жизни проводит в смертельной тоске. Как видим, Чадского (Бегичева) и Чацкого (Грибоедова) объединяет лишь скептицизм и разочарованность в окружающей действительности.

Встречаются в романе и цитаты из раннего варианта комедии, которым владеет Д. Н. Бегичев. Конечно же, такие совпадения не случайны. В связи с этим представляет интерес точка зрения М. Лурье, относившего роман «Семейство Холмских» к многочисленным «продолжениям», «окончаниям» комедии «Горе от ума». Все эти своеобразные «окончания» имели цель популяризировать комедию до ее папечатания и постановки.⁶³ Но возможно и иное объяснение, в основании которого — история личных взаимоотношений братьев Бегичевых с Грибоедовым; в их свете использование грибоедовских фамилий может быть расценено как желание лишний раз подчеркнуть общность гражданской позиции.

Критика встретила шеститомное сочинение Д. Н. Бегичева неоднозначно. Рецензент «Северной пчелы» отметил, что в романе представлена «превосходная галерея характеров, верно и мастерски выраженных и большею частью искусно выдержанных от начала и до

конца»;⁶⁴ по его мнению, «Семейство Холмских» значительно бы оживило театральную жизнь, если бы роман появился и в сценическом варианте. Противоположная точка зрения на характеры героев романа высказана Н. И. Надеждиным: «Это восковые, бесцветные, безжизненные фигуры».⁶⁵ Столь резкая реакция «Телескопа» даже вызвала некоторое сочувствие у других критиков, призывавших учитывать неопытность начинающего автора.⁶⁶ Единодушными были замечания, касающиеся манеры изложения и объема романа: «длинный, бесконечный рассказ тянется медленным однообразным шагом»;⁶⁷ «Северная пчела» сравнила роман с «дорогой от Тобольска до Белостока»; были даже пожелания увидеть следующее издание романа, в котором никто не сомневался, в значительно меньшем объеме, без «неужных вводных мест, лишних подробностей».⁶⁸

Объем «Семейства Холмских» стал притчей во языцех, войдя даже в стихотворную характеристику, данную русским романам В. С. Печерным:

А новые романы вы читали?
«Семейство Холмских?» — Нет! Не мог,
ей-ей!
И шесть частей всегда меня пугали:
Прочтешь печатн русской шесть
частей!!⁶⁹

Значительно отличалась от общей массы высказываний по поводу романа статья Н. П. (скорее всего, Николая Полевого) в «Московском телеграфе».⁷⁰ В силу того, что критик в свое время приложил немало усилий при подготовке «Семейства Холмских» к публикации, неоднократно обсуждал его с Д. Н. Бегичевым, высказывания его отражают понимание авторской позиции, заключающейся в стремлении отойти от привычных рамок нравственно-сатирического произведения. Признавая неоригинальность плана «Семейства Холмских» («это план „Памел“ и „Кларис“, изложение событий обыкновенных, ежедневных»⁷¹), рецензент признает заслугой Д. Н. Бегичева его отступление от традиционного понимания романа многими русскими писателями, которые трудно себе представляли его без «похищений, сумасшедших, юродивых, с прибавкой

⁶⁴ Северная пчела, 1832, № 257.

⁶⁵ Надеждин Н. И. Литературная критика; Эстетика. М., 1972, с. 328.

⁶⁶ Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1833, № 25, с. 197—200.

⁶⁷ Надеждин Н. И. Указ. соч., с. 330.

⁶⁸ Северная пчела, 1832, № 257.

⁶⁹ Гершензон М. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910, с. 35.

⁷⁰ Московский телеграф, 1832, ч. 16, № 14, с. 236—242.

⁷¹ Там же, с. 238.

⁶² Там же, с. 418.

⁶³ См.: Лурье М. Финалы комедии «Горе от ума». — Театр, 1940, № 9, с. 115—120.

пожаров, потопов и проч.»⁷² Критик не считает недостатком романа обилие его действующих лиц, подробное описание современных автору нравов. «Петербург, Москва, города и деревни, помещики, отставные гусары, уездные щеголи, московские франты, сельские блюдолизы, сутяги, агрономы, судьи, картежники — все толпою являются перед суд читателей. Трогательные сцены любви родительской и детской, мрачные картины гибели порока и следствия слабостей, забавные изображения глупостей, показ человека и общества — все это так ярко, так просто, что кажется списано с живых подлинников».⁷³

Положительно была отмечена «Московским телеграфом» и манера изложения, которая сравнивается критиком с «простой, умной, тихой» беседой образованного человека.⁷⁴ Растянutosть, объяснимая особенностью композиции, обилием вводных эпизодов, бюджет постоянно вызывать нарекания последователей. Уже упоминался совет журналистов сократить в следующем издании объем романа, поступили и другие предложения. Например, Л. В. Брант, понимая желание Д. Н. Бегичева представить в обширном произведении картину нравов и образа жизни русского дворянства, считает целесообразным написать на основе собранных в романе материалов и наблюдений несколько отдельных сочинений меньшего объема, но в которых бы сохранилось единство — непрерывное условие всего изящного и гармоничного.⁷⁵

Что же касается длиннот и подробностей, представляет интерес высказывание Н. А. Добролюбова, относящееся, правда, к роману С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Критик не только не упрекает автора в «традиционном» для хроники «грехе», длиннотах и описательности, но сетует, что колоритных, убедительных и впечатляющих подробностей «деревенской жизни наших старинных помещиков» могло быть больше.⁷⁶

Д. Н. Бегичев не остался безучастным к тем обвинениям критики, что были опубликованы на страницах газет и журналов. Он предвидел, что его сочинение вызовет у иных читателей и журналистов чувство недоумения, а порой и неприятие, несогласие с формой изложения, да и с самой концепцией автора. Именно этим и можно объяснить

появление перед романом столь своеобразного предисловия, написанного в форме разговора автора со своим приятелем. Д. Н. Бегичев таким оригинальным способом получил возможность еще раз уточнить свою позицию, высказаться о задачах и целях написания романа. Предполагая некоторые замечания критики, он уже в первом издании попытался внести ясность, ответить своим предполагаемым оппонентам. Первые два издания «Семейства Холмских» вышли одно за другим без изменений (1832, 1833), а третье (1841) было дополнено своеобразным письмом. Некий Аристарх Правдолюбков, обращаясь к автору романа, высказывает свое полное согласие со всеми замечаниями рецензентов. Но ему кажется, что те пощадили автора: в критических замечаниях не все сказано до конца. Он берет на себя труд их дополнить.

Поддерживая мнение о заимствовании почти всего содержания романа из английской литературы во французском издании, Аристарх Правдолюбков выводит автора на чистую воду: он называет источники заимствования. Так, «почти вся первая часть переведена весьма неудачно и с большими пропусками из известного Лапландского манускрипта, который ходит из одной юрты в другую в ожидании заведения типографии в издании Лапландской грамматики»;⁷⁷ «обман Аглаева стряпчим и тетушкой Луквиной, подвиги московских картежников, развратная жизнь Аглаева и смерть жены его, словом, почти все помещенное в 5-м томе заимствовано из мелодрамы, очень хорошо в свое время принятой на Вавилонском театре».⁷⁸ Не промолчал Д. Н. Бегичев и в ответ на замечания «Телескопа», критик которого, отважившись прочитать достаточный объемный роман за два дня, «успел все обдумать, понять, оценить и не останавливаясь, прямо и решительно произнести приговор свой над сочинением, над которым автор трудился, может быть, несколько лет».⁷⁹

В самом конце предисловия к третьему изданию романа Д. Н. Бегичев не смог отказать себе в удовольствии обратиться к сильным мира сего, «почтеннейшим подлинникам» своих зарисовок. Понимая их гнев, автор просит извинения, но замечает, что негативным отношением к произведению они только выдают свою причастность к жизненным оригиналам.

В 40-е годы XIX века читателем «Семейства Холмских» был Л. Н. Толстой, который первоначально даже включил его в список книг, которые произвели на него большое впечатление

⁷² Там же, с. 238—239.

⁷³ Там же, с. 239.

⁷⁴ Там же, с. 240.

⁷⁵ См.: Брант Л. В. Опыт библиографического обозрения или очерк последнего полугодия русской литературы с октября 1841 по апрель 1842. СПб., 1842, с. 57—67.

⁷⁶ См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1962, т. 2, с. 290—326.

⁷⁷ Бегичев Д. Н. Семейство Холмских. М., 1841, ч. 1, с. XXI.

⁷⁸ Там же, с. XXIII.

⁷⁹ Там же, с. XXVIII—XXIX.

в возрасте от 14 до 20 лет (1842—1848). В списке с «Семейством Холмских» содействовали «Сентиментальное путешествие» Стерна, «Исповедь» и «Эмиль» Руссо, «Евгений Онегин» Пушкина, «Вий» и «Мертвые души» Гоголя.⁸⁰ Судя по материалам к биографии писателя, собранным Н. Н. Гусевым, весной 1851 года Л. Н. Толстой бывал у Никиты Степановича Бегичева, служившего в Москве в Сенате в чине коллежского секретаря. Встреча с племянником романиста, вероятно, подтолкнула Толстого к новому прочтению романа. «Роман, несомненно, был интересен Толстому как любовно нарисованная картина быта и нравов того поместного дворянства, к которому принадлежал он сам», — свидетельствует биограф.⁸¹

Посредством «Семейства Холмских» Толстой познакомился с «франклиновским журналом», который впоследствии завел у себя. Последователем метода Франклина (1706—1790), выдающегося американского политического деятеля, дипломата, крупного ученого, сумевшего путем самообразования стать одним из образованнейших людей своего времени, является в романе помещик Пронский, муж Софьи Холмской. Суть этого метода нравственного самосовершенствования заключается в следующем: необходимо в конце каждого дня, проанализировав свои поступки, выделить слабые, нежелательные черты характера, от которых хотелось бы избавиться. Новый свой дневник Толстой вел с неослабевающим упорством, тонко определяя многочисленные слабости. К сожалению, тетрадь с этими записями не сохранилась. Будучи внимательным и вдумчивым читателем, Толстой, несомненно, отметил для себя жанровое и тематическое своеобразие романа Д. Н. Бегичева; впоследствии он не раз обратится к проблеме семьи, но будет разрешать ее на другом уровне.

Вернемся к воронежскому периоду жизни Д. Н. Бегичева. В числе желанных гостей губернаторского дома был А. В. Кольцов. Встречи молодого поэта с Бегичевым и его единомышленниками имели для Кольцова положительное значение. Д. Н. Бегичев, хотя сам и не принимал участия в тайных декабристских организациях, но, будучи знаком со многими декабристами, близок с Грибоедовым, несомненно, в тесном кругу близких друзей рассказывал и о встречах с автором комедии «Горе от ума», и о драматических событиях, последовавших после восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. В 1831 году Д. Н. Бегичев помогает одному из

знакомых А. В. Кольцова, семинаристу А. П. Серебрянскому. Этот юноша был автором философской поэмы «Предчувствие вечности», в которой он обращается к природе в поисках ответа на интересующие его вопросы. По преданию, Серебрянский решил прочесть свое произведение в присутствии всего семинарского начальства и губернатора. Возмущенный голос, возбужденное чтение, содержание самой поэмы, слишком вольное поведение воспитанника возмутили архiereя Смирницкого, приказавшего отправить чтеца в карцер. И только заступничество Д. Н. Бегичева спасло семинариста от наказания.⁸² Видимо, при содействии Д. Н. Бегичева происходит знакомство А. В. Кольцова с легендарным поэтом-партизаном Д. В. Давыдовым, о чем впоследствии он сообщил в письме к Белинскому: «Познакомился с Давыдовым, партизаном, он ко мне хорош».⁸³

В 1840 году А. В. Кольцов по просьбе родственников Д. Н. Бегичева, живших в Воронеже и помогавших ему, пишет стихотворение «Благодетелю моей родины», которое прямо адресовано теперь уже бывшему губернатору. Впервые стихотворение было напечатано в «Сыне отечества» в 1840 году, но без посвящения, под другим названием, с небольшими сокращениями и исправлениями, сделанными Н. А. Полевым; последующие издания этого стихотворения были сделаны по автографу. «Чувства, выраженные в этом стихотворении, не были подданы поэту ни желанием польстить сильному человеку, ни какими-либо личными причинами. Д. Н. Бегичев оставил по себе в Воронежской губернии не отжившую память справедливого, умного и доброго начальника, неутомимого и просвещенного деятеля на пользу края, которым он управлял. Особенно заявил он себя распорядительностью и заботливостью в две бедственные эпохи, пережитые при нем Воронежской губернией: в первую холеру 1830-го года и в голод 1833 года».⁸⁴ Стихотворение не отличается особыми художественными достоинствами, оно написано в рамках традиционной оды, где противопоставлены два типа правителей. Свидетельством дружеского расположения Д. Н. Бегичева к молодому поэту является преподнесенный ему роман «Семейство Холмских» с надписью: «Любезному А. Кольцову». Долгое время (до 1942 года) этот экземпляр хранился в Воронежском доме-музее И. С. Никитина.

⁸² См.: Сергеевко М. Друг Кольцова. — Литературный Воронеж, 1941, № 1, с. 218—219.

⁸³ Кольцов А. В. Сочинения: В 2-х т. М., 1961, т. 2, с. 45.

⁸⁴ Рябинин Д. Д. О Кольцове и Бегичеве. — Русский архив, 1871, № 9, с. 725—726.

⁸⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 66, с. 67.

⁸¹ Гусев Н. Н. Материалы к биографии Л. Н. Толстого с 1828 по 1855 г. М., 1954, с. 277—278.

Д. Н. Бегичев был в приятельских отношениях с композитором А. А. Алябьевым. Близкое знакомство произошло еще в Петербурге, где в самом начале 20-х годов оба были участниками артистического кружка, возглавляемого Н. И. Хмельницким и Н. В. Всеволожским. Знакомство не прервалось и после переезда Д. Н. Бегичева в Москву; Алябьев часто навещал и Степана Бегичева, жившего на Мясницкой, и самого Дмитрия Бегичева в его доме в Старокопюшенном переулке. После несчастия, случившегося с Алябьевым и еще одним общим знакомым, Шатиловым (они обвинялись в убийстве помещика Времева, который скоропостижно скончался после пропавшей во время карточной игры ссоры, и были сосланы), Бегичев по их просьбе берет на себя обязанности опекуна. Е. П. Соковнина вспоминает, что уже после смерти дяди она слышала благодарные слова в его адрес за честное и деятельное опекунство. Защищая Д. Н. Бегичева от обвинений в праздной жизни, она упоминает духовное завещание генерала А. С. Кологривова и сосланного декабриста Муравьева, которые также называли опекуном Д. Н. Бегичева.⁸⁵

В 1831 году был предан суду Михаил Андреевич Кологривов, подопечный Д. Н. Бегичева (сын того самого генерала Кологривова, под началом которого служили в свое время Грибоедов и братья Бегичевы). Причина суда объяснена в деле следующим образом: «Михаил Кологривов, состоя под опекой дя-

ди своего, сенатора тайного советника Челищева и воронежского гражданского губернатора, действительного статского советника Бегичева, был отправлен последним во Францию, в сопровождении и под надзором своего гувернера, доктора прав Джона. Во время последовавшей во Франции революции Кологривов стал принимать в ней большое участие, сражаясь в партии либералов против роялистов».⁸⁶ После повеления государя императора вернуться на родину Кологривов не повиновался, а, напротив, «вступил в войско» под начальством Минье «для возвращения испанцам свободы силою оружия».⁸⁷ Д. Н. Бегичев в дошедшем до нас письме к Бенкендорфу осторожно оправдывал 18-летнего вольнодумца, пытаясь смягчить наказание.

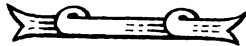
После окончания службы в должности воронежского губернатора Д. Н. Бегичев занимал ряд ответственных постов, не раз его деятельность была отмечена наградами. Скончался Д. Н. Бегичев в Москве 11 ноября 1855 года.

В последнее время мы все чаще обращаем взгляд в прошлое, вспоминаем забытые имена писателей и общественных деятелей. В этой связи незаурядная личность Д. Н. Бегичева, обширный круг его знакомых (А. С. Грибоедов, А. В. Кольцов, Д. В. Давыдов, В. А. Жуковский, А. А. Алябьев и мн. др.), литературная и государственная деятельность по праву привлекают внимание сегодняшнего читателя.

⁸⁵ Соковнина Е. П. Воспоминания... с. 664.

⁸⁶ Л-в К. Испанский инсургент. — Исторический вестник, 1904, № 7, с. 175.

⁸⁷ Там же, с. 176.



Л. А. ОЖИГИНА

(АВТОР РОМАНА В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ»
И КОРРЕСПОНДЕНТКА ДОСТОЕВСКОГО)

13 октября 1877 года Л. А. Ожигина отправила Достоевскому письмо, которое, к сожалению, до нас не дошло. О его содержании мы можем судить по ответу Достоевского, датированному 17 декабря 1877 года. Очевидно, Ожигина писала о сочувствии к идеям, которые высказывались на страницах «Дневника писателя». Достоевский благодарил корреспондентку, имя которой было ему тогда неизвестно, за «милое, доброе, лестное и в высшей степени дорогое для меня письмо». В этом письме он увидел подтверждение популярности его издания: «Никогда и предположить не мог я прежде, что в нашем обществе такое множество лиц, сочувствующих вполне тому, во что я верю».

28 февраля 1878 года Достоевский снова пишет Ожигине, отвечая на следующее ее письмо, которое также не сохранилось. Из второго письма Достоевского следует, что и теперь личность его корреспондентки оставалась для него неизвестной. Он называет ее Любовью Александровной, тогда как на самом деле имя Ожигиной — Людмила. Очевидно, Ожигина обратилась к писателю с просьбой о нравственной помощи и поддержке, писала о своих трудностях. Несмотря на общий комплиментарный тон, во втором ответе Достоевского ощущается скрытое раздражение: «Вы думаете, я из тех людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь?» И, должно быть, не случайно на два следующих письма Ожигиной, которые как раз сохранились, Достоевский вообще не ответил. Чтобы понять причину этого, нужно подробнее познакомиться с личностью Ожигиной.

Жизненный путь Л. А. Ожигиной в определенной степени типичен. Можно сказать, что это трагическая история человека, не нашедшего в себе сил пойти до конца по избранному пути.

Бурная эпоха шестидесятых годов XIX века захватывала в своем стремительном движении многих представителей молодого поколения — не только разночинцев, но и выходцев из дворянской среды. В их числе оказалась и Ожигина. Знаем мы о ней немного. Она родилась в 1837 году в Харькове в дворянской семье. После окончания частного пан-

сиона под влиянием общественного подъема и идей женской эмансипации стремится жить своим трудом. Три года молодая девушка обучалась на медицинских курсах при Харьковском университете, однако в 1863 году высшее образование в России стало для женщин недоступным. После безуспешных хлопот в Харькове она решила обратиться к самому Александру II. 1 февраля 1864 года император оставил «без последствий» всеподданнейшую просьбу девицы Ожигиной о дозволении ей продолжать слушание лекций в Харьковском университете по медицинскому факультету.¹ Хорошо зная иностранные языки, Ожигина начинает вести педагогическую работу в местной гимназии и одновременно пробует свои силы в литературе: пишет роман «Своим путем», который построен отчасти на автобиографическом материале.

В начале 1869 года начинающая писательница приезжает в Петербург и отдает свою рукопись в лучший журнал того времени — «Отечественные записки». Сам по себе выбор именно этого органа печати свидетельствовал о демократических симпатиях Ожигиной. По свидетельству современника, М. Е. Салтыков-Щедрин, прочитав рукопись, приехал к ней и благодарил за роман, прибавивши: «Побольше подобных романов нам пишете, с радостью будем печатать».²

Действительно, в том же году роман «Своим путем» появился на страницах «Отечественных записок». Впрочем, жанровое обозначение «роман» в данном случае можно применять с известной долей условности. Скорее, это цикл очерков, написанных от первого лица и повествующих о тяжелых жизненных испытаниях, выпавших на долю героини — Ульяны Бессоновой.

Роман «Своим путем» отчетливо делится на четыре части или — точнее — на четыре очерка. Сначала речь идет о детских годах героини (неблагополучная семья, раннее сиротство, страдания

¹ Указано Б. Л. Бессоновым.

² Скорбящий друг. Из Харькова. — С.-Петербург. ведомости, 1899, 18 дек., № 346.

девочки, первые жизненные впечатления). Затем действие переносится в магазин-мастерскую Недоезжаевой: колоритно воспроизводятся грубые быт и нравы мастеровой, где жестокой эксплуатации подвергались девушки-работницы. В третьей части рассказывается о пребывании Ульяны у богатых помещиков. Наконец, четвертая часть посвящена детальному описанию пансиона Лепре, дан ряд портретов учителей и учениц, подробно описаны порядки этого закрытого учебного заведения.

Читатели романа имели возможность проследить постепенное изменение взглядов и настроений героини. Вначале Уля создает для себя фантастический мир, сосредоточивается в себе, тщательно скрывает свои чувства от окружающих. А. С. Долинин считал, что сюжет первой половины романа написан под сильным воздействием «Неточки Незвановой».³ Героиня насколько не идеализирована, она не сразу избавляется от предрассудков своей среды. Так, на могиле матери она молится о том, «чтоб не печалилась душа ее с того света, на меня гляючи, как буду я сидеть на одной линии с хамками и сама свой хлеб зарабатывать... И давала я ей мое слово крепкое, сердечное, что и в магазине Недоезжаевой я останусь „благогородною“...»⁴

Жизнь не только многому научила Ульяну, но и изменила ее взгляды на реальную действительность, ее отношение к людям. Разнообразные встречи, новые знакомства, впечатления помогли ей преодолеть сословные предрассудки. Ей более не кажется позорной мысль о том, что надо самой зарабатывать свой хлеб. Совершенно закономерно в последней части героиня приходит к желанию стать на свои ноги, жить собственным трудом.⁵

Журнальный вариант романа оканчивался обещанием продолжить повествование: «О том, что ожидало меня впереди, читатель узнает из следующих тетрадей моих записок».⁶ И хотя продолжения не последовало, опубликованный в «Отечественных записках» текст оказался очень интересным. Роман находился в русле тех тенденций, которые были характерны для литературной школы журнала Некрасова и Салтыкова-Щедрина. В этой связи можно вспомнить «Разорение» Гл. Успенского. Героиня «Разорения» Надя под впечатлением новых для нее наблюдений, под влиянием Михаила Ивановича задумывается над совершенно новыми для нее вопросами, для нее тоже наступает

своего рода «просияние ума». Все чаще начинает она размышлять о необходимости иметь свой кусок хлеба, свои деньги... Эти мысли — своеобразное «знание времени». Они прямо связаны с теми демократическими идеями, которые буквально носились в воздухе. И не случайно в беллетристике «Отечественных записок» тех лет мы так часто встречаемся с образами женщин, рвущихся к новой жизни. Это не только дань популярному тогда «женскому вопросу». Скорее, это следование заветам Добролюбова, наиболее отчетливо выраженным в его статье «Луч света в темном царстве»: протестовать начинают самые униженные, самые угнетенные, и это верный признак грядущих перемен. Не только «титанические личности», не только избранные герои приходят к мысли о невозможности жить так дальше. Нет, самые рядовые представители «низов», «толпы» ощущают уже (быть может, инстинктивно) необходимость иной, новой жизни, построенной на началах личной независимости. Об этом, собственно, и задумывается у Гл. Успенского Надя.

«Разорение» появилось в «Отечественных записках» в 1869 году (№ 2, 3, 4). А почти одновременно в том же журнале начинает печататься роман Ожигиной «Своим путем» (1869, № 3, 5, 6, 7). Через год там же появляется роман Ф. М. Решетникова «Свой хлеб» (1870, № 3—8). Тут бросается в глаза не только переключка заглавий. Главное в том, что в журнале все время пропагандируется мысль о «распрямлении» человеческой личности, о своем куске хлеба, который даст возможность идти в жизни своим путем.

Конечно, в художественном отношении роман Ожигиной не был совершенным произведением. Можно отметить, например, отсутствие психологизма, художественную упрощенность ряда эпизодов и характеров, излишнюю патетичность, даже порою экзальтированность стиля.⁷ Все это так, но надо в таком случае объяснить, что именно привлекло внимание к роману Ожигиной Салтыкова-Щедрина.

Как уже было сказано выше, руководитель демократического журнала с самого начала очень заинтересованно отнесся к произведению начинающей писательницы. Есть сведения, что он же непосредственно редактировал и сам текст. По воспоминаниям А. М. Скабичевского, в одном случае Ожигина была очень расстроена поправкой: «...героиня ее романа должна была умереть в злейшей чухотке, а злодей Салтыков взял да и повечал героиню с героем».⁸

³ Достоевский Ф. М. Письма. М., 1959, т. IV, с. 344.

⁴ Отечественные записки, 1869, № 3, с. 56.

⁵ Там же, № 7, с. 42.

⁶ Там же, с. 67.

⁷ См.: Смирнов В. Б. Литературная история «Отечественных записок»: 1868—1884. Пермь, 1974, с. 91.

⁸ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л., 1928, с. 289.

Счастливым концом, о котором упоминает Скабичевский, появился не в журнале, а в отдельном издании, что, впрочем, не исключает вопроса о редакторской правке Щедрина. В отдельном издании помещен эпилог, представляющий публицистическое отступление, проникнутое горечью и безвыходностью. Героиня приходит к выводу, «что такого положения, в смрадной атмосфере которого не задохнулась бы прогрессивная женщина, нет; его не выработало еще современное общество; и подготовки к нему нет; что стремления и страсти отдельных личностей бессильны и что все будет идти по-старому, покуда гуманные идеи о равноправности образования и общественного положения женщины не перейдут в общество, не изменят старого порядка вещей, не сделаются убеждением огромного большинства». Для себя героиня романа выход видит только в устроении личной судьбы. Рассказав о встрече с «редким человеком» Яковом Ивановичем, Уля Бессопова восклицает: «Я, может быть, сделаюсь его женою... — Но в этом ли только цель жизни, читательница?»⁹

Последняя оговорка очень характерна — как и то, что обращена она прежде всего именно к читательнице.

Салтыков-Щедрин был настолько заинтересован романом Ожигиной, что откликнулся на его отдельное издание специальной рецензией («Отечественные записки», 1870, № 9). Прежде всего рецензент отмечал плодотворную идею, положенную в основу произведения: «Идея о „своем пути“, о свободном и самостоятельном труде, о сознательном отношении к природе и жизни делается достоянием не одних избранных натур, но общим, мирским».¹⁰ Уля Бессопова ищет свое место в жизни не потому, что воодушевляется мечтами о жемчужной эмансипации, но потому, что ей просто-напросто есть нечего, кусок хлеба пужен. Ее развитие показано самой жизнью, а не теорией. Это и привлекло прежде всего внимание Щедрина. Между тем именно такая постановка вопроса не нашла поддержки в журнале «Дело». Н. Шелгунов в статье «Творческое целомудрие» писал: «Сама жизнь вытолкнула Улянку на самостоятельность. Какой же героизм в том, что ребенок, выброшенный на улицу, начинает оглядываться, думать и, чтобы не умереть с голоду, ищет хлеба... Титанизма тут никакого нет».¹¹ Но в том-то как раз и заключается принципиальное отличие романа Ожигиной от произведения некоторых участников беллетристического отдела журнала «Дело», что у

нее и речи нет о «титанизме». Важно было показать, как под влиянием жизни у самой рядовой девушки совершенно закономерно возникает мысль о своем пути, своем хлебе.

Полемика о романе Ожигиной велась и на страницах журнала «Заря». Анонимный критик, явно возражая Щедрину, обращался к автору романа с призывами слушаться только своего «художественного инстинкта» и отречься от «служения теории».¹²

В цензуре роман Ожигиной вызвал беспокойство в связи с тем, что в нем «в мрачном свете представлено положение бедной девушки, прискивающей себе пропитание трудами рук своих».¹³

Итак, роман Ожигиной обратил внимание на писательницу; в целом обстоятельство, казалось бы, складывалось для нее вполне благоприятно и ничто не мешало созданию новых произведений. Однако в печати Ожигина более не выступала. Возможно, она вложила в первый роман весь свой запас жизненных впечатлений, и больше ей уже не о чем было писать. Впрочем, возможны и другие причины. В 1873 году в письме к А. С. Суворину Ожигина сообщала о серьезных затруднениях, которые возникли у нее в литературной работе. Ей мешали, по ее словам, цензурные опасения и материальная необеспеченность.¹⁴ Нужда заставила Ожигину обращаться за помощью в 1874 году в Литературный фонд.¹⁵

Но было еще одно обстоятельство, в значительной степени затруднившее положение Ожигиной в литературной жизни 1870-х годов: она не смогла войти в круг демократических писателей (имеется в виду не столько даже идейная близость, сколько психологическая несовместимость). Трудно сказать, кто больше был в этом виноват: они ли, оттолкнувшие провинциальную писательницу, или же она, искавшая в своих новых знакомых не живых людей, а каких-то кумиров, которым можно было бы только поклоняться. Скабичевский вспоминал: «Это была женщина лет уже за сорок, нельзя сказать, чтобы маломальски красивая или хотя бы миловидная. Она приехала из какой-то, должно быть, очень глухой провинции, судя по тому, что на рубеже 70-х годов в ее лице сохранился в чистейшем виде тип сентиментальстки даже не 40-х годов, а, по крайней мере, 20-х. т. е. эпохи Карамзина. Все атрибуты сентиментализма были налицо: и закатыванья глаз, и томные вздохи, и готовность каждую минуту пролить горькие слезы и даже

¹² Заря, 1870, № 11, с. 185.

¹³ ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1865. 60, л. 97.

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 459, л. 3052.

¹⁵ См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: в 12-ти т. М., 1953, т. 11, с. 327.

⁹ Ожигина Л. А. Своим путем. СПб., 1870, с. 322.

¹⁰ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20-ти т. М., 1970, т. 9, с. 375.

¹¹ Дело, 1871, № 1, отд. XII, с. 16.

зарыдать... Она требовала, чтобы каждая минута в жизни была посвящена решению мировых вопросов... Так вот эта самая Ожигина по очереди бросалась на шею всем сотрудникам „Отчественных записок“ и объяснялась в любви, предлагая руку и сердце».¹⁶

Вполне вероятно, что Скабичевский в своих литературных воспоминаниях излишне пристрастен к Ожигиной. Однако известная нам ее переписка конца 1870-х годов с Достоевским (именно он к тому времени стал для нее кумиром) дает все же достаточное представление о ее экзальтированности.

Промаявшись несколько лет в Петербурге, Ожигина возвращается в Харьков. Оттуда в октябре 1877 года и в начале следующего, 1878-го она пишет Достоевскому те не дошедшие до нас письма, о которых уже шла речь в начале статьи. Полученные ею два ответных письма Достоевского привели ее, надо полагать, в такое восторженное состояние, что на ее последующие обращения, которые как раз сохранились, писатель уже не счел возможным отвечать. Достаточно показательными являются, например, строки из ее письма Достоевскому от 13—20 марта 1878 года (из с. Веселого Харьковской губ.): «Боже-ственный и многострадальный Федор Михайлович!.. Все, что может доставить Вам удовольствие, — это разве то, что я стою перед Вами на коленях, покрываю поцелуями Ваши руки. За будущее я не знаю; но я делаю это искренне, со всей моей преданностью Вам!..»¹⁷

Из воспоминаний А. Г. Достоевской известен случай, происшедший весной того же 1878 года. В квартире Достоевских появилась немолодая дама, которая объявила, что приехала ухаживать за Федором Михайловичем, ибо, как она сказала, в Харькове разнеслись слухи, что его бросила жена, сам он тяжело заболел и нуждается в помощи. А. Г. Достоевская разговорилась с посетительницей, которая оказалась учительницей. «Ее, кажется, прельстила мысль ухаживать за знаменитым писателем, которого покинула негодная жена, и возможно, что проводить его в лучший мир, а затем гордиться остальную жизнь тем, что он скончался на ее руках. Мне было донельзя жаль бедную незнакомку, очевидно, серьезно взволнованную, и, извинившись, я отошла на минутку в столовую и сказала мужу, что хочу накормить ее обедом.

Федор Михайлович замахал руками и зашептал: „Да, позови ее, только дай мне сначала уйти!“ и вскочил с места и ушел к себе.

¹⁶ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания, с. 288—289.

¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 212, I, 83, л. 5 об.—6. Следующее ее письмо от 23 мая 1878 года с просьбой к Достоевскому написать о себе хранится в ИРЛИ (№ 29797).

Я вернулась к незнакомке и предложила ей отдохнуть и пообедать, но она, видимо, огорченная сделанным ей мужем моим приемом, отказалась и попросила только горничную отнести до повозчика ее довольно большую плетеную корзину, которую за ней принес дворник».¹⁸

По совету Анны Григорьевны, Достоевский отправил письмо своему давнему знакомому профессору Харьковского университета Н. Н. Бекетову с вопросом о той даме, которая нанесла ему столь неожиданный визит. (Это обращение было вызвано тем, что ранее Ожигина просила Достоевского переписать ей с нею через Бекетова). Письмо Достоевского не сохранилось, но до нас дошел ответ Бекетова, датированный 18 августа 1878 года. Из ответа следует, что визит знаменитому писателю нанесла именно Л. А. Ожигина; там же содержатся и интересные сведения о ней:

«Людмила Александровна Ожигина женщина переходного времени, она не первой молодости (лет за 35), начала она жизнь в ту эпоху, когда русская женщина впервые встрепенулась и захотела самостоятельной, независимой жизни — но подготовки не было, учиться начинать уже поздно, однако Людмила Александровна с храбростью принялась за изучение медицины, ходила на лекции в наш университет (лет 15 тому назад) и усердно занималась, но тут стены нашего университета должны были закрыться для женщин, а разные женские курсы еще не открывались. Ожигина сделалась преподавательницей в женской гимназии — но это занятие было не по ней — она столько передумала и переувствовала, что ей захотелось высказаться, и вот она задумывает писать роман и вообще предаться литературе. С своим первым произведением — „Своим путем“ — (это отчасти из ее биографии) — она поехала в Петербург, где ей и удалось его поместить в „Отчественных записках“... Литературный кружок, кажется, принял ее довольно лестно и снисходительно, но вообще Петербург, где она промаялась несколько лет, произвел на нее несколько тяжелое впечатление.

Возвратившись в Харьков, она прискакала себе занятия и наконец где-то пристроилась близ Белгорода (недалеко от Харькова) домашнею наставницею и пытается продолжать свои литературные труды. Не берусь, конечно, охарактеризовать психическую личность Ожигиной, но кое-что об этом — она несомненно женщина очень впечатлительная и даже несколько восторженная и как таковая не всем, конечно, может нравиться и бывает тяжела и даже несколько докучлива, не замечая, конеч-

¹⁸ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981, с. 332—333.

но, этого — но я думаю, что душа у нее хорошая — она во всяком случае женщина очень развита, много над собою трудившаяся».¹⁹

Прошло несколько лет. Тот перелом, который начался в мировоззрении Ожигиной еще во время ее пребывания в Петербурге, окончательно завершился. Теперь она начинает резко отрицательно относиться к демократическому движению, переосмысливает и свой собственный жизненный и творческий путь. 10 июля 1881 года она пишет большое письмо-исповедь П. С. Аксакову. Вспоминая о временах общественного подъема конца 1850-х годов, Ожигина полагает теперь, что ее обращение тогда к медицине было следствием наплевания над потребностями личности. Только под влиянием характерного для того времени интереса к естественным наукам, по ее словам, она принудила себя заниматься на медицинских курсах: «Не к личной жизни, не к личному счастью начали мы тогда стремиться, но «хотели» стоять впереди начавшегося тогда движения, принести себя в жертву правде. Так было и со мной. И мне казалось одинаково, что я должна жертвовать своим личным вкусом в выборе занятий, своими радостями... и вместо поэзии, истории, литературы — начать заниматься химией, физиологией, ботаникой, гистологией и т. п. Готовиться к экзамену на медика, отыскивать для себя и для других, идущих за нами, прав для женщин... Но сколько себя ни ломай, а натуры все-таки не сломаешь окончательно».

«Под влиянием всех этих воззрений, — продолжала далее Ожигина, — я начала свою повесть „Своим путем“, которая, несмотря на то, что имела, по видимому, успех, совсем не удовлетворяла меня самое. Отдавши ее в печать, я желала поверить себя, услышать мнения, указания людей более компетентных. Повесть вышла довольно велика и состояла из 4 частей, из которых каждая могла бы быть отдельным очерком. И даже за этим съездила в Петербург».

Впрочем, в Петербурге молодая писательница, по ее свидетельству, «не только не нашла того, за чем сюда приезжала, но Петербург дал совершенно обратное проявление моим мыслям». Вернувшись в Харьков, она «замыслила написать роман, захвативши с собою весь прожитый опыт, сюжетом которого взяла время крестьянской ре-

формы или год 1861». Роман этот носил название «Царство Христа». Ожигина вновь поехала в Петербург и предложила свое новое произведение тем же «Отечественным запискам». «Я рассуждала так: с журналом я действительно расхожусь — в отделе, так сказать, моих внутренних, нравственных убеждений. Но что с этим делать! Идея моего романа — не только нравственная, но и, так сказать, нравственно-политическая. Мне ответили, что сочинение не годится для редакции, что оно слишком объемисто, что заглавие его как-то слишком поражает слух...»²⁰

Текст этого романа до нас не дошел. Трудно сказать поэтому, о чем именно решила там рассказать писательница. Но причина, по которой Щедрин отверг новое произведение Ожигиной, заключалась, конечно, не в его объеме или неудачном названии. Очевидно, идея романа уже не соответствовала направлению демократического журнала. А то, что это решение зависело именно от Щедрина, не вызывает сомнений: только он в редакции занимался отделом художественной прозы.

Ожигина не пишет, в каком году она привезла в «Отечественные записки» свой новый роман. Надо полагать, это произошло на рубеже 1870—1880-х годов. А в начале 1880-х годов плохое состояние здоровья принудило ее переехать в Крым, где она преподавала в Севастопольской гимназии. Дослужившись до пенсии, Ожигина в 1892 году вернулась в Харьков. Там она вынуждена была из-за недостатка средств давать частные уроки. Несмотря на тяжелую болезнь, она трудилась до последних дней жизни.

Скончалась Л. А. Ожигина 10 декабря 1899 года. Смерть ее в Харькове прошла по существу незамеченной: в местной прессе не было помещено даже краткого некролога. И в дальнейшем имя ее оказалось совершенно забытым. Между тем она заслуживает внимания и как автор известного в свое время романа «Своим путем», получившего одобрение Салтыкова-Щедрина, и как человек, в жизнь которого яркой страницей вошла переписка с Достоевским, продолжавшаяся, впрочем, очень недолго.²¹

²⁰ ИРЛИ, ф. 3.4.445, л. 2—10.

²¹ См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1986, т. 29 (2), с. 177—178, 303, 351—352; 1988, т. 30 (1), с. 9—10, 264, 405.

¹⁹ ГБЛ, ф. 93, П.1.75, л. 3, об.—5.



М. Н. АЛЬБОВ

(ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)

В рецензии на собрание сочинений Альбова А. В. Амфитеатров писал: «Кончина М. Н. Альбова заставила перечитать его полузабытые повести, а чтение заставило забывших с изумлением увидеть, как много ему обязана происхождением и тоном своим литература девяностых годов, насколько он в ней — „предок“». ¹ Забытый уже в конце XIX века, Альбов был второстепенным, но интересным и по-своему значительным явлением в истории русской литературы. И Амфитеатров был прав, отметив, что мимо Альбова не должен в будущем пройти «безразлично ни один историк общества, культуры и литературы русского XIX века». ² Однако историки литературы писали об Альбове мало и слишком обще. ³

Мы попытаемся несколько восполнить такой «пробел» и выявить, какие историко-литературные проблемы встают при изучении жизни и творчества этого писателя.

Альбов родился 8 ноября 1851 года в семье дьякона церкви почтового департамента. Мать его (она умерла, когда Альбову было полтора года) — «полудворянского рода, по бабушке происходившая из Ярославской губернии. Отец — новгородец, сын сельского причетчика», ⁴ «получивший эту фамилию, как и два брата его... в духовном училище. Первоначальная его, как и их, фамилия была Озерской». ⁵ Альбов органично связан с этой средой. Она сформировала его сознание и определила темы его творчества. Он до конца своих дней останется разночинцем, которому близок и дорог духовный мир «маленьких людей», их беды и радости, их борьба за существование и ежедневные

заботы, их настроение и мироощущение, обусловленные этой борьбой и этими заботами. Творчество Альбова можно назвать художественной «хроникой» жизни таких людей, и потому на всех произведениях писателя лежит глубокий отпечаток времени. В них отразилось настроение разночинца 1870—1890-х годов. Истоки этого настроения — в той же среде.

Рассказывая о своем детстве и о том влиянии, которое имел на него прочитанные тогда книги, Альбов вспоминает: «Я жил постоянно в мире, наполненном лицами мною прочитанных книг, и всякое живое лицо обставлялось мною с тем или иным фантастическим образом. Вообще я был ужасный мечтатель (от какого недостатка, должен покаяться, и теперь еще не совершенно избавлен). Конечно, это нужно приписать моему одиночеству, в котором я рос (до моего рождения у отца были две девочки, которые умерли — одна двух лет, другая — нескольких месяцев), сверстников у меня не было, играть с другими детьми на улице мне не позволялось: берегли меня, как зеницу ока, а ведь мало ли что может статься от уличных мальчишек, — поколотить могут, обидеть!...» ⁶ Условия, в которых формировалось сознание Альбова, конечно, исключительны. Но в определенном смысле они и типичны. Не случайно далее Альбов замечает, что развившиеся в таких условиях «нерешительность и слабохарактерность» были «наследственными» чертами его характера: он «заимствовал» их от отца. ⁷ Это те черты психологического склада разночинца и «маленького человека», которые столь очевидным образом отразились, например, в «Бедных людях» Достоевского; о них же Некрасов писал в стихотворении «Застенчивость»:

Знаю я: сожаленье постыдное,
Что как червь копошится в груди,
Да сознание бессилья обидное
Мне осталось одно впереди...

В 1860-х годах они же, а не только неумение найти свое место в борьбе за

¹ Амфитеатров А. Литературные впечатления. — Современник, 1911, № 7, с. 256.

² Там же, с. 279.

³ См., например, самую большую статью об Альбове: Могиланский А. П. Альбов. — В кн.: История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1956, т. 9, кн. 2, с. 255—266.

⁴ ИРЛИ, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 1.

⁵ Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей. М., 1911, с. 176.

⁶ ИРЛИ, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 2.

⁷ Там же.

лучшее будущее народа, обусловили специфический тон многих произведений демократической литературы: «кладбищенство» Череванина, героя романа Н. Г. Помяловского «Молотов», отчаяние и неверие Потесина, героя его же романа «Брат и сестра», «озлобленность» Н. В. Успенского, «мрачный тон» произведений Ф. М. Решетникова и пессимистические ноты в очерках и рассказах А. И. Левитова. И хотя конкретное содержание пессимистических настроений шестидесятников и Альбова различно, общие причины, их породившие, — близкие. Они — от жизненных обстоятельств, от среды. Альбов всегда ощущал свое кровное родство с жизнью «маленьких людей» — чиновников, вдов, сирот, одиноких бабылей, жителей петербургских окраин, вероятно, потому, что сам всегда жил так, как жили эти люди. «Обстановка наша была обстановкой людей среднего достатка, без выраженных черт духовного быта», — писал Альбов.⁸ Впоследствии, в ответ на вопрос анкеты Ф. Ф. Фидлера о том, каково было его материальное положение, он написал: «Не бедствовал».⁹ Однако этот ответ скорее отражает неприязнительность и скромность запросов Альбова, чем истинное его положение. Он жил только литературным трудом, который давал минимум средств к существованию.

В 1862 году Альбова отдали во 2-ю Петербургскую гимназию. Учился он с большим трудом: оставшись в четвертом классе на третий год, был исключен и по экзамену принят в 1867 году в 5-ю Петербургскую гимназию, которую закончил лишь в 1873 году. Причиной тому — поразительно рано проявившаяся страсть к сочинительству. Лишенный общения со сверстниками, он с ранних лет пристрастился к чтению. «Читал без разбора, что попадалось, по беллетристике», — вспоминал Альбов.¹⁰ Он жил в мире прочитанных им приключенческих и исторических романов; Робинзон Крузо, Давид Коперфильд, Чичиков были для него «отнюдь не созданными фантазии, но взаправду живыми людьми»,¹¹ и уже во втором классе гимназии Альбов попробовал написать «юмористическую» повесть «Растрепалкин», навеянную «похождениями Чичикова». Затем последовал «исторический роман» из эпохи Людовика XV «Маркиза Бренвилье», «фантастический роман» «Путешествие на луну» (совместно с товарищем по гимназии К. С. Баранцевичем), роман «Английский матрос», «сколок с „Монтекристо“ и „Лондонских тайн“», в котором действие происходило одновременно в Англии, Испании, Америке,

изображена была даже испанская инквизиция».¹²

Но литературные интересы юного Альбова не ограничивались подобного рода «перделками» и «перепевами». Его опубликованные тогда произведения посвящены иным темам и обнаруживают интерес начинающего писателя к другому кругу чтения.

«Маленький чиновник, снимающий убогую комнату в подвальном помещении, влюбился в соседку, которая тоже обратила на него внимание. Но вскоре выяснилось, что она содержанка графа и принимала ухаживания влюбленного юноши, чтобы развлечься. Таково содержание первого напечатанного рассказа Альбова.¹³ Во втором его рассказе повествуется о судьбе бедной девушки, Маша Мармеладовой, которая, чтобы купить лекарство заболевшей матери и заплатить за квартиру, вынуждена продавать себя.¹⁴ Рассказ этот, по признанию самого Альбова, был написан «под влиянием Достоевского»,¹⁵ т. е. под влиянием романа «Преступление и наказание», печатавшегося в 1866 году в «Русском вестнике». Близкий ему по содержанию сюжет и в первой напечатанной повести Альбова «На новую дорогу».¹⁶ В ней рассказывается о дочери бедного чиновника Елене Цепкиной, которая получила образование в институте, но вынуждена смириться с участью «бедной девушки». Она соглашается выйти замуж за педагога чиновника Барабашкина, но в это время с нею случайно знакомится молодой ловец Плавунцов. Он увлекает Елену перспективами «новой жизни» в светском кругу. Вскоре, однако, Плавунцов бросил Елену, и она в конце концов оказалась на улице. Лишь слу-

¹² Там же, л. 3. Одно из таких произведений, рассказ «Записки сыщика», написанный «в подражание французским бульварным романам» (Первые литературные шаги, с. 178), Альбов опубликовал в журнале «Воскресный досуг» (1867, 4—25 июня, № 222—225).

¹³ Альбов М. Записки подвального жильца. — Петербургский листок, 1866, 24 февр. Фамилия автора напечатана с ошибкой.

¹⁴ Альбов М. Петербургские мизерабли. — Там же, 1, 4 сент., № 125, 127.

¹⁵ Первые литературные шаги, с. 178. Другой рассказ под тем же названием (Петербургские мизерабли: Драма на чердаке) опубликован в «Петербургской газете» (1867, 10—15 окт., № 150, 154, 155). К тому же типу произведений относится и рассказ Альбова «Сбежала собачка» (Сын отечества, 1866, № 142, 17 июня).

¹⁶ А. М. На новую дорогу. — Петербургская газета, 1869, 7 окт.—11 ноября, № 144—163 (с перерывами). Начата в 1866—1867 годах (ИРЛИ, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 4).

⁸ Первые литературные шаги, с. 177.

⁹ Там же, с. 131.

¹⁰ Там же, с. 176.

¹¹ ИРЛИ, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 2.

чайная встреча с Барабашкиным спасает ее от позора. Эти наивные и в литературном отношении подражательные произведения¹⁷ заслуживают внимания с точки зрения генезиса творческого метода Альбова.

Юного автора интересует мещанская среда, при этом — специфически петербургская. Он повествует о своих героях неторопливо, с массой бытовых и жизненных подробностей, среди которых важное место занимают ретроспекции в прошлое, описания домов, улиц, кварталов столичных окраин, погоды. «Истинно петербургская дождливая почва», осень, уличные фонари и «маленькая каморка в одном из бедных домшпек Выборгской стороны» — такова обстановка действия в рассказе «Петербургские мизерабли».¹⁸ Она создает соответствующее сюжету настроение. Сам же сюжет этого, как и других произведений Альбова, подчеркнута прозаичен, будничен и трагичен. В нем можно без труда увидеть зерно будущих его романов, повестей и рассказов: пристраивая к изображению определенных героев. Альбов явно ориентируется на Достоевского, в творчестве которого его привлекает тема людей «униженных и оскорбленных», психология и мироощущение «бедного человека», его незащищенность от мира зла. Он наследник Достоевского, но в том смысле, в каком автор «Преступления и наказания» смыкается с «Петербургскими трущобами» В. В. Крестовского, с «Московскими норами и трущобами» А. И. Левитова и М. А. Воронова, с незаконченным романом Помяловского «Брат и сестра».¹⁹ Рассказы и повесть Альбова — это как бы «сниженный» вариант темы «бедных людей», разработанной этими писателями. И дело здесь не только в том, что он писатель совсем юный, робко ищущий свое отношение к жизни и свой творческий почерк. Первые произведения Альбова появились в эпоху реакции 1860-х годов, которая внесла существенные коррективы в творчество шестидесятников, например Левитова: она вызвала ощущение, что надежды на изменение жизни народа рушатся, и усугубила мрачный тон их произведений. Альбову

было знакомо отразившееся в поздних произведениях шестидесятников настроение — чувство беспомощности и одиночества бедного разночинца. Оно и стало доминирующим в «Записках подвального жильца», «Петербургских мизераблях» и в повести «На новую дорогу». Альбов близок к тому же Левитову²⁰ тоном своих произведений, хотя причины, вызвавшие этот тон, у писателей разные. Левитов пережил трагедию неоправдавшихся надежд. Альбов, как человек другого поколения, ее не пережил. Он остался в стороне и от модных в конце 1860-х годов естественнаучных и политических идей. Отсюда и иной, «сниженный» характер его пессимизма. Он — отражение настроений «массового» разночинного сознания.

В этой связи закономерно, что Альбов начал печататься в «массовых» петербургских газетах. В «Петербургском листке» и «Петербургской газете», где появились все три названных произведения Альбова, широко освещались городские новости и жизнь городских низов; фельетон, в котором печатались и беллетристические произведения, был посвящен тем же темам. Рассказы и повесть Альбова удачно вписывались в эту тематику: это были картины жизни «бедных людей», населявших окраины столицы — Выборгскую и Петербургскую стороны; они были достоверны, так как рассказывали о часто встречающихся фактах и типичных будничных ситуациях. Такой достоверностью и типичностью будут отличаться и поздние произведения Альбова.

Первым из них был роман «Шпеницыны», опубликованный в 1873 году в журнале «Дело». В нем рассказывалось о маленьком, внешне ничем не примечательном чиновнике, который потерял взятые на дом для переписки деловые бумаги, был уволен, тщетно искал новое место и в конце концов повесился. Но эти трагические события — лишь основа романа. Главное в нем — подробно и обстоятельно рассказанная история жизни героя, небогатая событиями, но обладающая своим духовным содержанием. Автор не перевоплощается в своих героев. Он наблюдатель этой жизни, причем наблюдатель не бесстрастный. Альбову знаком быт таких людей, близки и понятны их заботы, их психология и переживания. Углубленным психологическим анализом сознания бедного чиновника «Шпеницыны» ближе всего стоят к «Бедным людям» Достоевского. Но этот роман — не за-

¹⁷ Есть сведения еще об одной, видимо, сходной по содержанию, повести «Сирота», написанной в 1866—1867 годах и посланной Альбовым в газету «Воскресный досуг», где она напечатана не была (см.: Первые литературные шаги, с. 178—179).

¹⁸ Петербургский листок, 1866, 1 сент., № 125.

¹⁹ См. об этом: *Евнин Ф. И.* Роман «Преступление и наказание». — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 131—138; *Лотман Л. М.* Достоевский и Н. Г. Помяловский. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 120—129.

²⁰ О близости этих двух писателей хорошо писал Амфитеатров (Современник, 1911, № 7, с. 263); сблизил их как «реалистов-лириков», предвосхитивших горьковскую тему «босых», и П. Д. Боборыкин (Воспоминания: В 2-х т. М., 1965, т. 1, с. 369—370).

поздальный вариант повести о бедном чиновнике. Описание бытового уклада, своего рода лирическая хроника жизни «маленьких людей», объективное повествование об их духовном мире — все это характерные черты уже определившейся художественной манеры Альбова, отличающейся от творческого метода Достоевского.

Они сближают «Пшеничных» с демократической литературой 1860-х годов. На это по существу указал М. В. Авдеев, посвятивший несколько строк роману Альбова в обзоре текущей литературы. Рассуждая о причинах участвовавших самоубийств и задавая себе вопрос, «не навевается ли нам склонность к самоубийству скукой, бездарностью и монотонным завыванием нашей литературы», Авдеев упомянул в качестве образца такой литературы новый роман Альбова.²¹ Когда-то читатель с интересом относился к произведениям Н. Г. Помяловского, В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова и Г. И. Успенского. Но теперь «им на смену выступила бездарная, хотя и честная посредственность — общество отвернулось от нее»²² (Н. Ф. Бажин, Альбов, А. К. Шеллер-Михайлов, И. В. Оммулевский). Сам Альбов очень точно определил причину столь сурового отзыва: Авдеев «был вообще против начавшегося уныния в тогдашней литературе, интереса к серой обывательнице и мелким людям».²³ Но связь «Пшеничных» с демократической литературой 1860-х годов, прежде всего — с беллетристичной журналом «Дело», Авдеев уловил верно.

Авдеев отметил и еще одну особенность «Пшеничных» — «растянутость» романа. На нее обратил внимание и М. Е. Салтыков-Щедрин. Альбов отнес роман в «Отечественные записки», и Салтыков, прочитав рукопись, сказал автору: «Предмет интересен, но длинноты нестерпимы».²⁴ Альбов не последовал совету сократить текст, и «Пшеничные» вскоре были опубликованы в журнале «Дело», впрочем, тоже «с некоторыми сокращениями».²⁵ Как справедливо указал А. П. Могиланский, подобная «настойчивость молодого писателя» знаменательна: «...важные для описания однообразной жизни городского мешающего мелочей и даже повторяющего писатель отстаивает в качестве существенной стороны своей литературной программы».²⁶

²¹ Авдеев М. Злоба дня в литературе: Критические этюды. — Биржевые ведомости, 1873, 8 (20) ноября, № 299.

²² Авдеев М. Злоба дня в литературе: Критические этюды. — Там же, 6 (18) дек., № 327.

²³ Первые литературные шаги, с. 181.

²⁴ Там же, с. 179.

²⁵ Там же, с. 180.

²⁶ Могиланский А. П. Указ. со., с. 258.

То, что «Пшеничные» появились в «Деле», тоже показательно. Журнал последовательно отстаивал мысль о том, что литература должна правдиво рассказывать о фактах современной жизни, исследовать эти факты и тем самым выносить верные суждения об актуальных общественных вопросах.²⁷ Роман Альбова был воспринят в «Деле» как произведение, в котором обстоятельно исследованы общественные причины, порождающие трагедию «бедных людей» (редактор беллетристического отдела Шеллер-Михайлов дал роману подзаголовок: «Из истории забитых людей»²⁸), а следовательно — как произведение, отвечающее программе журнала. В «Деле» впоследствии будут напечатаны многие произведения писателя.

Ко времени появления в печати «Пшеничных» Альбов был уже студентом юридического факультета Петербургского университета. Окончил он его, однако, лишь в 1879 году. В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, и Альбов, прослушав краткий курс первой помощи раненым, с лета 1877 года по весну 1878 года находился в качестве брата милосердия в Дунайской армии. Он стал участником того широкого добровольческого движения, которое захватило русское общество во время русско-турецкой войны. Но заметных следов в творчестве писателя этот период его жизни не оставил.²⁹ Не сыграл он особой роли и в духовной биографии Альбова. Война не приобщила его к тем «большим» вопросам общественной жизни, которыми терзался, например, Гаршин. Впоследствии Альбов рассказывал И. И. Ясинскому, что «особых впечатлений от с войны не вынес».³⁰ Вот характерные строки из письма Альбова к Барщевичу от 23 октября 1877 года: «Сидит во мне, глубоко и назойливо сидит, какой-то проклятый червь, которого никакими способами не выкуришь!.. Господи, боже мой! Посмотришь на всех, кто окружает тебя: все-то довольны, все-то делают свое дело и в ус себе не дуют — ты один ходишь как тень какая

²⁷ См.: Соколов Н. И. «Дело». — В кн.: Очерки по истории русской журналистики и критики. Изд. ЛГУ, 1965, т. 2 (Вторая половина XIX в.), с. 313—330.

²⁸ Первые литературные шаги, с. 180.

²⁹ Известны только два автобиографических произведения Альбова на военную тему: *Озерской М.* [Альбов М.] В тылу армии: Воспоминания «брата милосердия». — В кн.: Сб. военных рассказов, составленных офицерами, участниками войны. Под ред. кн. В. Мецера. СПб., 1878, с. 1—43; *Альбов М.* Транспорт: набросок из минувшей войны. — Военно-санитарное дело, 1882, № 1, с. 10—13.

³⁰ Ясинский И. И. Зубная боль. — Журнал журналов, 1915, № 18, с. 20.

и только смущаешь напрасно чужое благодушие...»³¹ Альбов остался на войне тем же одиноким человеком, каким он сформировался в конце 60-х годов.

Окончание университета тоже не повлияло на дальнейшую судьбу Альбова: он впоследствии никак не воспользовался своим юридическим образованием и лишь короткое время, в 1886—1887 годах, служил в Ревеле при эстляндском акцизном управлении. Интересы Альбова были целиком сосредоточены на литературе.

Альбов вспоминал, что суровый отзыв Авдеева о «Пшеничных» «поверг» его «в полное отчаяние» и он потерял на время уверенность в своем литературном призвании. «Может быть, я бы так и застыл, — писал он Венгеру, — если бы не встреча с одним человеком... Я говорю про Нельсона, которого Вы, вероятно, несколько помните. Его дорогое, сердечное слово сделало то, на что были бы бессильны всякие убеждения, доказательства, встраивания. Благодаря только ему, его влиянию, одобрению, советам, я не погиб окончательно. Хорошо или плохо, но я все-таки пишу — и, опять-таки повторяю, благодаря только ему! Это была редкая, светлая личность, непонятая никем из его окружающих, непонятая даже и мной, в тогдашнее время, несмотря на всю нашу близость».³² Речь идет о Н. А. Нельсоне, второстепенном писателе, в начале 60-х годов поместившем в юмористическом журнале «Заноза» серию очерков «Картинки из московской жизни»,³³ впоследствии — сотруднике «Дела», «Русской речи» и «Русской газеты». «Под влиянием» Нельсона была написана повесть «День итога» (1879), которая принесла Альбову известность. «Каждая написанная мною страничка неукоснительно ему читалась, обсуждалась самым обстоятельным образом и переделывалась сообразно его указаниям. Начало было написано до русско-турецкой войны. Дальнейший план сложился в период службы моей в Красном Кресте, и совершенно закончено в течение лета и осени, по возвращении в Россию».³⁴ «День итога» был опубликован в журнале «Слово». Первоначально по-

весть была отвергнута А. А. Жемчужниковым, но И. И. Ясинский, принявший от него заведование редакцией журнала, нашел, что «День итога» — одно из «замечательных произведений». Он прочел повесть кружку литераторов (среди них был, например, С. А. Венгеров), она произвела «впечатление потрясающее» и была напечатана.³⁵ Вскоре Альбов принял самое активное участие в редакционных делах этого демократического журнала. «Альбову за редактора подписываться больше не позволяют, а редактором не утверждают, и книжка (майская) лежит в типографии две недели», — сообщал Н. В. Шелгунов в письме к Е. Ардовой-Апрелевой от 11 июня 1881 года.³⁶

³⁵ Ясинский И. И. Указ. соч., с. 20.

³⁶ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2-х т. М., 1967, т. 1, с. 374. Альбов-редактор — любопытный п еще не изученный эпизод в истории русской журналистики. Есть сведения, что в середине 1880-х годов он был редактором «умирающего „Дела“» (Ясинский И. И. Указ. соч., с. 21), а в конце 1890-х редактировал газету «Приднепровский край». В 1888 году Альбов (вместе с Баранцевичем) выпустил сборник «Красный цветок», а в 1891—1895 годах был официальным редактором «Северного вестника». Большинство исследователей полагает, что роль его в этом журнале была номинальной и что для Л. Я. Гуревича и А. Л. Волинского редакторство Альбова было «ширмой». Сравнительно недавно С. М. Важенин оспорил этот вывод. Он обратил внимание на то, что Альбов вел переписку со многими писателями демократической ориентации, и пришел к следующему выводу: «Тот демократизм, который Альбов привнес в „Северный вестник“, отвечал вкусам широких читательских кругов и изнутри, т. е. в плане художественной практики журнала, размывал границы идеалистической критики Волинского» (Важенин С. М. М. Н. Альбов и журнал «Северный вестник». — В кн.: Русская литература 1870—1890 годов. Свердловск, 1979, с. 87). Мысль о том, что Альбов влиял на направление журнала, заслуживает внимания, но вывод исследователя все же представляется излишне категоричным. Ведь Гуревич не препятствовала появлению на страницах журнала произведений демократических писателей и тоже вела с ними переписку (см.: Гречишкин С. С. Архив Л. Я. Гуревич. — В кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978, с. 7—9, 20—21). Это хорошо показано в статье: Куприяновский П. В. Журнал «Северный вестник» и литературное народничество. — В кн.: Страницы истории русской литературы. М., 1971, с. 234—244. Характерно, что на эту статью в работе С. М. Важенина ссылки нет.

³¹ ИРЛИ, ф. 553, № 3, л. 1.

³² Там же, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 5. Венгеров, писавший на основании этих воспоминаний статью об Альбове в своем Словаре, не упомянул об этом факте, и Альбов отметил (в письме к нему от 31 марта 1888 года) такое упущение, просив «дополнить статью этими сведениями» (там же, л. 9).

³³ См.: Ямпольский И. Г. Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. Л., 1973, с. 68.

³⁴ ИРЛИ, ф. 377, автобиографии, № 98, л. 5.

С. А. Венгеров справедливо отмечал, что в «Дне итога» «впервые сказался широкий размах» таланта Альбова. Повесть установила за ним репутацию подражателя Достоевского, но это мнение «совершенно несправедливо и дает ложное представление об источниках творчества нашего беллетриста». Достоевский исключителен, продолжал Венгеров, и «не создал школы»,³⁷ ибо «в ней очень трудно учиться» и «нужны совсем особые, редко попадающиеся способности, чтобы преуспеть в ней». «Нет, Альбов не подражает Достоевскому. Он только пишет в том же самом роде, потому что душевный мир, стоящий на границе психологии и психиатрии, ему вполне понятен. Он здесь у себя дома и подмечает такие изгибы, которые совершенно недоступны обычной художественной наблюдательности».³⁸

Альбов сам дал повод к таким суждениям. Подзаголовок «психиатрический этюд» как будто прямо относил читателя к произведениям Достоевского, тем более что некоторые страницы повести своей психологической манерой и даже стилистически напомнили «Записки из подполья» или «Преступление и наказание». И все же Альбов действительно не был подражателем. Он привнес в манеру Достоевского свой элемент, тот, который необходим для разработки собственной проблематики, весьма отличной от круга идей Достоевского.³⁹

³⁷ Венгеров С. А. Альбов М. Н. — В кн.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1889, т. 1, с. 463. Ранний вариант этой статьи (Критическое обозрение: На смену: Беллетристы-дебютанты) опубликован был в журнале «Слово» (1880, № 2—3).

³⁸ Венгеров С. А. Указ. соч., с. 464.

³⁹ См. об этом: *Созица Е. К.* Проблема «двойничества» в творчестве М. Н. Альбова. — В кн.: *Русская литература 1870—1890 годов. Эстетика и метод: Сб. научн. трудов.* Свердловск, 1987, с. 117—131. Весьма правдоподобными представляются сведения о реакции Достоевского на «День итога»: «...как мы тогда слышали из верхних источников, — вспоминал К., корреспондент газеты «Наше время», — не зная и не встречая М. Н. Альбова, Ф. М. Достоевский читал „День итога“ вскоре по выходе книжек журнала „Слово“ и подражания себе не нашел, но отозвался об этом произведении молодого автора сочувственно» (Наше время, 1893, 17 окт., № 42). Косвенным свидетельством того, что Достоевский действительно читал повесть Альбова, может служить письмо А. Г. Достоевской автору «Дня итога» от 15 марта 1911 года. Посылая Альбову изданную ею биографию мужа, она писала: «...я спешу поднести Вам эту книгу в благодарность за те прекрасные

Герой «Дня итога» — самолюбивый, одинокий, своего рода «подпольный» человек, которого «заела» рефлексия. Он беспощадно анализирует свою жизнь и, подводя ей итоги, как бы переживая ее заново, решает покончить самоубийством. Это решение не мотивировано каким-то особым стечением обстоятельств или событий. Пессимизм и метания Глазкова, его социальное одиночество и «безмолвная, ожесточенная, самолюбивая и самоуслаждающаяся грызня»,⁴⁰ самая логика его мысли рождены эпохой. Герою «Дня итога» не доставало сил, чтобы сделаться полезным, ему помешало обостренное самолюбие, замкнутость, эгоизм, он был безволен и всегда «только бессознательно, слепо покорялся какой-то неведомой, непонятной, от него независимой силе, которая вела и теперь ведет его неуклонно к одной, для него в свое время невидимой цели».⁴¹ Самоубийство его имеет своим источником тот же психологический комплекс, который отличает и героя гаршинской «Ночи», с той лишь разницей, что «Альбов ограничился показом гибельности социального одиночества, Гаршин наметил путь активного выхода из него». Его герой «приходит к выводу о необходимости жить и служить „общему горю“».⁴²

«День итога» не случайно понравился Гаршину. Он писал: «Дурак Буренин говорит, что это Достоевский, разыгранный как „Фрейшиц, перстами робких учениц“, но это по-моему чистое вранье. Некоторая неловкость изложения есть, это правда, но по-моему такой ясности и точности анализа у Достоевского не было».⁴³ Гаршин обратил внимание на существенную сторону стиля Альбова.

«День итога» — внутренний монолог героя, который вскрывает трагедию одинокой личности, через страдание прошедшей к мысли о самоубийстве. Эта личность подчеркнута субъективна, но не знает компромиссов, беспощадна к себе и потому приходит к крайним вы-

минуты, которые я проводила за чтением Ваших высокохудожественных произведений. Из них Вам психиатрический этюд „День итога“ я особенно ценю и несколько раз в моей жизни перечитывала этюд, всегда испытывая истинное наслаждение» (ИРЛИ, ф. 123, оп. 3, № 150).

⁴⁰ Альбов М. Повести и рассказы. СПб., 1888, с. 52.

⁴¹ Там же, с. 82.

⁴² Бялый Г. А. В. М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов. М.; Л., 1937, с. 93, 95. На близость «Дня итога» и «Ночи» указывал К. П. Медведский, связавший обоих писателей со «школой Достоевского» (Исторический вестник, 1893, № 10, с. 162).

⁴³ Гаршин В. М. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934, т. 1, с. 177.

водам. Не философия страдания, как у Достоевского, а страдание конкретное, реальное, взятое в момент наивысшего душевного напряжения человека и «ясно», «точно» проанализированное автором, — вот что должно было импонировать Гаршину. В этом смысле «День итога» соответствовал принципам его реализма.

Но любопытно, что те же самые черты литературной манеры Альбова, которые выделил Гаршин и которые он считал за достоинство «Дня итога», были отрицательно оценены Короленко. В неоконченной статье о «Повестях и рассказах» Альбова⁴⁴ он отмечает, что «День итога» — произведение «верное действительности», но в то же время оно «совершенно выходит из сферы художественности». Альбов — «лирик пессимизма и отчаяния», его произведения отличает «мрачный лиризм разлагающейся и больной души», и это делает их несоответствующими высоким требованиям к искусству: «Тут уже художник не отражает, не изображает, а пишет скорбный лист собственной души, не поучает, а заражает читателя».⁴⁵

Короленко полагал, что одна беспощадная правда, только «верность действительности» не способна создать истинное произведение искусства. Искусство должно подниматься над жизнью, заставляя верить и надеяться, будить общественную активность, говорить о героическом, о «возможной реальности». «Эстетические требования от художественного произведения, — писал он, — в сущности сводятся на требования элементов оздоравливающих, укрепляющих душу, подвигающих ее к положительному действию, так же, как эстетика телесных форм требует здоровья, силы и грации...»⁴⁶ Этого-то и нет в правдивых сочинениях Альбова. Ограниченные кругом беспощадной правды жизни, они ведут к пессимизму, «заражают» читателя этим пессимизмом.

С такими требованиями Короленко подходил и к творчеству Гаршина: его смерть явилась прямым следствием пессимизма, все усиливавшегося под воздействием впечатлений от жизни и «безотрадных размышлений» о ней. Гаршин был «яркий, жизненный талант», чуткий к самой жизни и ее больным, «проклятым» вопросам, но его сгубило «смертельно-мрачное мировоззрение».⁴⁷ Если сравнить оценки, данные Короленко Альбову и Гаршину, то окажется,

что разница между ними лишь в большей или меньшей субъективности тона. Короленко невольно обнаружил, что грань, отделяющая одного писателя от другого, весьма зыбка. Хотя эта грань безусловно есть.

Впоследствии Короленко несколько смягчит свои оценки Гаршина и сделает вывод о том, что «Гаршин разделял со своим поколением нерасположение к пессимистическим обобщениям», что «в произведениях Гаршина основные мотивы этого времени приобрели ту художественную и психологическую законченность, которая обеспечивает им долгое существование в литературе».⁴⁸ Действительно, Гаршин, а не Альбов стал выразителем главных тенденций и настроений эпохи: отмеченная Короленко резкая субъективность «Дня итога» Альбова означает и то, что в произведениях этого писателя жизненные проблемы отступают на второй план, а в центре оказывается сама «разлагающаяся и больная душа» человека отчаявшегося, который закономерно приходил к «последним выводам законченного пессимизма».

Впрочем, в этом пессимизме героя «Дня итога» тоже отразились характерные настроения эпохи. Одиноким, видящим мелочность интересов окружающей среды и не находящий отзвука в ней, он может быть назван, по мысли С. А. Венгерова, «лишним человеком» 1870-х годов. «Это уже не тихая, безнадежная меланхолия человека сороковых годов, совершенно отчаявшегося в том, что когда-нибудь мрак рассеется, это уже была не прикинутая готовность признать себя побежденным силами тьмы. Приниженность заменило гордое презрение к окружающему мраку и гордая уверенность в своей предстоящей победе...» В этом смысле в герое «Дня итога» отразилась «одна из ярких черт психологии тех дней».⁴⁹ Венгерова даже полагал, что «в портретной галерее лиц, созданных русским романом, Глазков непременно должен иметь свое место».⁵⁰

Но в «Дне итога» нашла свое выражение лишь одна линия творчества Альбова. В начале 1890-х годов, когда имя писателя уже было хорошо известно русскому читателю, А. М. Скабичевский выделил в его литературном наследии две относительно самостоятельные тенденции — «субъективно-рефлекторный элемент», который наиболее полно проявился в «Дне итога», и «элемент чисто объективный», несущий на себе следы манеры «протоколизма французских натуралистов».⁵¹ Наиболее из-

⁴⁴ Эту статью Короленко задумал как одну из программных своих работ (см.: *Морозова Т. Г.* Короленко о Достоевском. — Лит. наследство, т. 86, 1973, с. 621—642).

⁴⁵ *Короленко В. Г.* О литературе. М., 1957, с. 340—342.

⁴⁶ Там же, с. 308.

⁴⁷ Там же, с. 14—15.

⁴⁸ Там же, с. 250, 259.

⁴⁹ *Венгерова С. А.* Указ. соч., с. 467.

⁵⁰ Там же, с. 469.

⁵¹ *Скабичевский А. М.* История новейшей русской литературы (1848—1890). СПб., 1891, с. 402. Об Альбове как

вестным из произведений второй группы была «хроника» «Конец Неведомой улицы» (1881—1882). Это история жизни Егора Бергамотова, сына прачки и вольноопущенного дворового человека, отданного в учение к портному. Предприимчивая и прижимистая дочка хозяина женила его на себе и полностью поработила его волю. Робкие попытки Егора выбиться из-под супружеской опеки, протест, выражавшийся в беспробудном пьянстве и скандалах, бегство из дома и шатание по Петербургу, окончившееся смертельным запоем и поджогом дома, — все это и составляет сюжет произведения, разворачивающийся на широком фоне жизни Неведомой улицы — захолустной окраины Петербурга. Закостеневший провинциальный мир, далекий от территориально близкого к нему центра русской столицы, определяет судьбу Бергамотова. Изменить этот мир нельзя, как нельзя изменить его обитателей; его можно лишь уничтожить, хотя это уничтожение в сущности ничего не изменит: Неведомую улицу поглотит поток «цивилизации» и «культуры» и она станет неотъемлемой частью петербургской жизни с ее каменными домами, газовыми фонарями и городовым.

Безрадостен итог и другого произведения Альбова, написанного в «объективной» манере, — диалогии «О людях, „взыскующих града“» (1879—1881). Это две повести о воспитании и о важности человеческого сердечного общения.

В первой части диалогии, «Воспитание Лельки», рассказана история одинокой сироты, «бедной, оскорбленной, гонимой всеми малютки, уже испытавшей злобу людей».⁵² Лелька из милости живет в доме дальних родственников. Она терпит обиды, озлобляется и отчуждается от людей. Ее душа грубеет, хотя в ней и живет еще потребность любви. После жестокого наказания за шалость Лелька убегает из дома. Случай помог девочке: разочарованная эгоистка Елизавета Аркадьевна Ремнищева берет ее к себе.

История самой Елизаветы Аркадьевны — содержание второй части диалогии «Сутки на лоне природы». В этой истории было многое: «падение», проклятие отца и замужество, чтобы покрыть «позор», метания, разочарования, раскаяния, желание «обновления», «хмельной угар» любви и охлаждение. Но невозможна борьба «против законных инстинктов природы, заявлявших права

свои, которых не в силах заглушить ни предписания морали, ни строгая нравственность, ни сознание долга».⁵³ Это трагический бунт человеческой природы. «Спасение» для своей героини Альбов находит только тогда, когда «соются» воедино души двух несчастных людей: «одна изнеженной, утопающей в роскоши, но измученной в поисках счастья барыни, другая — этой грязной и бедной уличной замарашки-ребенка».⁵⁴

В диалогии Альбова последовательно проводится мысль о хрупкости человеческой жизни. Враждебный человеку мир способствует развитию нездоровых инстинктов; в нем есть доброта, стремление к счастью, но хорошие человеческие чувства и побуждения — удел одиноких и несчастных людей; они «взыскуют града», но испытывают на себе удары судьбы и неумолимость страшных законов природы и жизни. Спасает человека соединение, взаимопомощь, «родство душ», которое поможет ему удержаться на краю гибели, как оно помогло Лельке и Елизавете Аркадьевне.

«Конец Неведомой улицы» и «О людях, „взыскующих града“» действительно отличаются от «Дня птога». С. А. Венгеров считал, что благодаря этим произведениям Альбов «является одним из немногих представителей у нас жанра в прямом смысле этого слова»: «Здесь главное не изображение горя и тягот мещанской жизни, а *Stilleben*. то, что составляет особенность живописи мастеров фламандской школы».⁵⁵ Это мнение впоследствии оспорил К. И. Чуковский. «Он вовсе не жанрист, — писал критик, — как принято говорить о нем, — а большой и тонкий психолог».⁵⁶ Чуковский признавал, что ряд произведений Альбова, в том числе и «Конец Неведомой улицы», — «шедевры жанровой живописи — в них столько юмора и такое богатство метко схваченных черточек быта». Но «афос Альбова вовсе не в этом. Он если и подходит к серому человеку, то только тогда, когда этот серый возненавидит свою сестру и свою мелкость и возжаждет какой-то алости, бури, огня — т. е. когда он вовсе не серый. Не застылое, а бурное всегда тайно маняло М. Н. Альбова, не *Stilleben*, а *Sturm und Drang*, — пусть и смешной, пусть и жалкий, — но бунт. Когда все идет вверх тормашками, стораит, и падает какая-то новая даль».⁵⁷ Ту же мысль Чуковский разви-

о писателе-натуралисте довольно много писала критика (см., например, уже упоминавшуюся статью Амфитеатрова). О проблеме натурализма в русской литературе см. нашу статью «Проза 1880-х гг.» (в кн.: История русской литературы: В 4-х т. Л., 1984, т. 4, с. 53—68).

⁵² Альбов М. Н. Повести и рассказы, с. 326.

⁵³ Там же, с. 281.

⁵⁴ Там же, с. 326.

⁵⁵ Венгеров С. А. Указ. соч., с. 469.

⁵⁶ Чуковский К. Подпольный байронизм. — Речь, 1907, 6 июня, № 131.

⁵⁷ Чуковский К. Альбов. — Там же, 1911, 15 июня, № 161.

вал в статье, помещенной в приложении к журналу «Нива».⁵⁸

Оба критика были по-своему правы. Венгеров обратил внимание на различия «Дня итога» и «Конец Неведомой улицы» и точно определил их характер. Чуковский, признавая эти отличия, настаивал на единстве идейных и творческих устремлений автора. Оно действительно было, и потому обе идейно-стилистические тенденции, обозначившиеся в творчестве Альбова в начале 1880-х годов, могли органично сливаться. Пример тому — роман из жизни духовенства «Ряса», опубликованный в 1883 году. Перед самым выходом из Петербургской духовной академии Петр Елеонский решил бросить духовную карьеру и жить независимо, но, полюбив дочь священника, все же принял духовный сан. Однако умирает жена, и отец Петр, священник скромной кладбищенской церкви на окраине столицы, остается одиноким человеком. Сомнения, колебания и раздумья героя изображены с той же тщательностью психологического и психиатрического анализа, которой отличался «День итога». Как и в прежней повести, поступки, вытекающие из таких раздумий, кажутся немотивированными.⁵⁹ Но эта немотивированность намеренная: герой «Рясы» сознает, что имеет право на счастье, но не может его достичь; его окружают люди, с которыми он не находит взаимопонимания, он живет в среде, которая близка ему от рождения, но которая чужда ему; когда счастье он обретает, какие-то роковые силы вторгаются в его жизнь. Весь этот круг идей входит в роман потому, что внутренний мир героя показан на широком фоне будничного бытия русского духовенства, в той манере, которую Венгеров назвал «жанром».⁶⁰

⁵⁸ Чуковский К. Бунт слабого человека в произведениях М. Н. Альбова. — Литературные и научно-популярные приложения «Нивы», 1908, № 1, с. 99—126. «В общем, обе статьи, и в „Ниве“ и в „Речи“, сходны по мыслям, — писал К. И. Чуковский Альбову 2 ноября 1907 года, — но в „Ниве“ мне нравится больше. Недавно встретил Венгерова — он говорит, что я на Ваш счет заблуждаюсь, что Вы жанрист и несколько не психолог. Я сказал, что нивская статья окончатительно убедит его в моей правоте» (ЦГАЛИ, ф. 19, оп. 1, № 29).

⁵⁹ За эту немотивированность поступков героев Альбова часто упрекали. См., например: Арсеньев К. К. М. Альбов. — В кн.: Арсеньев К. К. Критические этюды по русской литературе. СПб., 1888, т. 2, с. 212.

⁶⁰ «Ряса» не похожа ни на «Очерки бурсы» Помяловского, ни на «Соборян» Лескова, с которыми она должна быть соотнесена тематически. «Ряса» — роман

Н. К. Михайловский в рецензии на сборники повестей и рассказов Альбова и К. С. Баранцевича писал: «Для обоих писателей, очевидно, одна и та же сторона жизни мрачно тенью ложится на все, к чему они прикасаются пером: одиночество, при наличности каких-то тяжелых, ненужных уз. Благодарная тема, и я не буду предлагать молодым беллетристам сойти с избранного ими пути. Это, действительно, одно из самых больших мест нашей современной жизни. Не добро быть человеку одному, это давно сказано, но еще хуже быть человеку одному, когда он в то же время связан».⁶¹ Михайловский имел в виду «День итога», «Конец Неведомой улицы» и дилогию «О людях, „взыскующих града“». Но эти слова в полной мере справедливы и в отношении «Рясы».

11 (23) сентября 1881 года Щедрин писал Михайловскому: «Говорят, что Альбов хорошо пишет. Я ничего не читал, но хвалят. Нельзя ли его привлечь в „Отечественные записки“. Коропчевский говорил мне... что он готовит большую повесть».⁶² Эти слова — свидетельство популярности Альбова. К середине 1880-х годов он уже известный писатель, обладающий своим взглядом на мир и своей художественной системой. У него свой круг читателей, свои поклонники и противники. Оценки творчества Альбова исходят из уже обозначившихся в критике суждений; одно из наиболее устойчивых — мысль о зависимости автора «Дня итога» от Достоевского. Эту мысль подробно развил Михайловский в рецензии на сборник повестей и рассказов писателя, ее повторил и Щедрин несколько лет спустя в письме к М. М. Стасюлевичу от 6 января 1885 года, отметив, что Альбов «имеет громадный недостаток быть подражателем Достоевского».⁶³ Щедрин обсуждал со Стасюлевичем редакционные дела «Вестника Европы», и эти слова — его реакция на намерение Стасюлевича опубликовать в журнале повесть Альбова «Филипп Филиппыч». Стасюлевич, видимо, не согласился со Щедриным, и повесть Альбова была опубликована.⁶⁴

из частной жизни «среднего человека», погруженного в быт и переживающего свои, личные мучительные драмы. В этом смысле это произведение 1880-х годов и, как верно отметил А. В. Амфитеатов, предвосхищает новую русскую «художественную литературу о духовенстве» (И. Н. Потапенко, Л. Н. Андреев, С. И. Гусев-Оренбургский). См.: Современник. 1914, № 7, с. 266.

⁶¹ Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. СПб., 1908, т. 5, с. 922.

⁶² Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1977, т. 19, кн. 2, с. 38.

⁶³ Там же, т. 20, с. 119—120.

⁶⁴ Альбов М. Силуэты. I. Филипп Филиппыч. — Вестник Европы, 1885. № 12.

Основания не согласиться с мнением о подражательности Альбова у Стасюлевича были.

В повести «Филипп Филиппыч» рассказана типичная для Альбова история одинокого человека, отставного учителя русской словесности, живущего в глухом провинциальном городе. Ни в Петербурге, где он учился, ни в Пыльске, где он учительствовал, Филипп Караваев не нашел связей с жизнью. Кажется, что «он счастлив своим личным покоем, книгами и полной ни от кого независимостью», но ему знакомы «приливы глубокой и безысходной тоски одиночества».⁶⁵ Они неумолимо свидетельствуют о том, что жизнь его конечна, что он «старый байбак», несущий в своей душе невоплощенную мечту о прекрасном, об идеале, о котором постоянно напоминает ему красота природы и великие творения писателей. Герой повести замкнут в узкой сфере быденщины, но преодолевает ее. «... Здесь, в этом „подпольном байронизме“, в этом микроскопическом бунте микроскопических людей есть та особая примета Альбова, с которой он навсегда перейдет в историю русской общечеловечности».⁶⁶ Та тоска по идеалу, которую почувствовали в произведениях Альбова многие читатели, в повести «Филипп Филиппыч» становится главным содержанием духовной жизни героя.

С. Букчин высказал точку зрения, согласно которой в повести Альбова «Филипп Филиппыч» своеобразно звучит «чеховская тема человека сломанного и забившегося в „футляр“, из которого нет исхода».⁶⁷ Думается, что альбовский Караваев к «футлярным людям» никакого отношения не имеет. Но Альбов-писатель имеет отношение к Чехову. Их объединяет не внешнее сходство героев и мотивов, а глубокое внутреннее родство, обусловленное эпохой. Чехов отрицательно оценивал творчество Альбова, и Альбов высказал ожидания довольно резкое суждение о Чехове.⁶⁸ Но все же не случайно повести «Огни» и «Припадок» Чехов прямо связывал с именем автора «Дня итога». Ощущали связь Чехова и Альбова и критики начала XX века. Так, в рецензии на собрание сочинений Альбова А. А. Измайлов отмечал, что философия этого писателя «страшно близка чеховской», с той лишь существенной разницей, что художественный мир его произведений строго ограничен одной социальной средой. «Дитя Петербурга, — по-

яснял критик, — Альбов отдал всего себя огромному холодному городу. И в то время как Чехов развернул картину универсальной русской тоски, — он подчеркнул психологию подобного же страдания лишних и ненужных людей большого города».⁶⁹ Измайлов свел пафос творчества Чехова к одной доминантной идее и тем самым, может быть, преувеличил степень близости двух писателей. Но в известном смысле он был прав, и Чехов, наверное, чувствовал если не близость, то точки соприкосновения тона своих рассказов о пессимизме с творчеством Альбова и упомянул его имя в связи с «Огнями» и «Припадком».⁷⁰ Тема «Альбов и Чехов» еще ждет своего исследователя.

С середины 80-х годов Альбов предпринимает попытку объединения своих стилистически разнородных произведений. Повесть «Филипп Филиппыч» была первой в ряду задуманных писателем повестей и рассказов под общим названием «Силуэты». Подзаголовок «Силуэты» носит и повесть «Фауст и Маргарита».⁷¹ Впоследствии Альбов включил «Филиппа Филиппыча» в сборник «На точке» (СПб., 1888), объединив его с повестью «О том, как горели дрова». В свою очередь эта повесть должна была войти в книгу под названием «О людях, „выскашующих града“»; в нее кроме упомянувшейся дилогии («Воспитание Лельки» и «Сутки на лоне природы») Альбов включил повесть «В потемках». Завершится этот процесс созданием трилогии «День да ночь». Альбов явно ощущал идейно-тематическое единство своего творчества и объединением сюжетно разнородных произведений хотел подчеркнуть типичность изображенных им героев, повторяемость жизненных ситуаций и известную универсальность чувства одиночества и тоски в жизни современного человека. Так, повесть «О том, как горели дрова» (1887) развивает круг идей, намеченных в «Дне итога»: безверие и эгоизм героя делают его жизнь бесполезной; он признает себя неспособным ни к обычному человеческому счастью, ни к служению «общему делу»; для него тоже наступает свой «день итога», и он, переживая заново свою жизнь, стреляется. Герой повести «В потемках» (1886) — социалист. Он был осужден, теперь выпущен на свободу и приходит сказать своей ма-

⁶⁹ Измайлов А. Певец сирот и бо-
бyleй. — Биржевые ведомости, 1907,
№ 10059.

⁷⁰ На близости Альбова и Чехова на-
стаивал и А. Амфитеатров (Современ-
ник, 1911, № 7, с. 261, 268, 279).

⁷¹ Альбов М. Н. Пшеницыны. Фауст
и Маргарита. Пролог романа. СПб., 1890.
В собрании сочинений Альбова повесть
«Фауст и Маргарита» названа «В пол-
день».

⁶⁵ Писатели чеховской поры: В 2-х т.
М., 1982, т. 1, с. 305.

⁶⁶ Речь, 1911, 15 июня, № 161.

⁶⁷ Букчин С. Чеховская «артель». —
В кн.: Писатели чеховской поры, т. 1,
с. 19.

⁶⁸ Из дневника В. А. Тихонова. —
Лит. наследство, т. 68, 1960, с. 494.

терп, что надолго уезжает. Нет сомнения, что он будет продолжать свою деятельность. Альбов пояснил, что «самое „что-то“, к коему готовится выведенное в отрывке лицо, „страха ради цензурска“, обвиню туманом тапштенности».⁷² Однако повесть написана не ради прославления стойкости революционеров. Ее герой тоже должен покончить жизнь самоубийством, и этим, по логике Альбова, он близок герою повести «О том, как горели дрова». «... Оба героя — два духовных между собой близнеца, даже, если хотите — одно и то же лицо, как один из распространеннейших типов тогдашней „эпохи безвременья“, изображение коего и было главнейшею задачей в замыслах автора».⁷³ Один герой хочет начать новую жизнь и приходит к мысли о самоубийстве; другой служит «общему делу» и кончает тем же. Прав был А. А. Измайлов: «Его (Альбова, — А. М.) фигуры — типичные фигуры печальной реакционной эпохи, пригнуплявшей общественные идеалы и превращавшей живых людей в унылых спрота, не державших не только на борьбу за идейное дело, но даже на личное счастье, на захват женщины, на строительство семьи».⁷⁴ Эти слова нуждаются, может быть, только в одном уточнении: даже тогда, когда герой Альбова держит на «борьбу за идейное дело», он остается человеком несчастным, ибо не может преодолеть социального одиночества. Это характерная черта психологии русской интеллигенции 80-х годов.

Герои Альбова замкнуты в относительно узкой сфере личной жизни. Все, что связано с общественной жизнью России, даже с хроникой петербургской жизни, оказывается для них чем-то внешним, посторонним, второстепенным по сравнению с их собственными сомнениями, терзаниями и печалью. Не случайно Альбову не удавались произведения в публицистическом или фельетонном роде. Яркий пример тому — роман «Вавилонская башня» (и продолжение его — «Таинственный незнакомец»), печатавшийся в 1886 году в воскресных номерах газеты «Новости». В этом романе «в комическом виде фигурируют под прозрачными псевдонимами деятели существовавшего в Петербурге в начале 80-х годов „Пушкинского кружка“ — разного рода литературная мелкота, завообразившая себя заправскими писателями».⁷⁵ Альбов сам вскоре признал, что ему не следовало братья за такое дело.

⁷² Альбов М. Н. Соч. СПб., [1908], т. 4, с. 227.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Измайлов А. Указ. соч.

⁷⁵ Венгеров С. А. Указ. соч., с. 471. О «Пушкинском кружке» см.: Назарова Л. Н. Тургенев и Пушкинский кружок в Петербурге. — Русская литература, 1982, № 3, с. 175—179.

«Тон у нас совершенно не выдержан, — писал он 28 сентября 1886 года своему соавтору Баранцевичу, — то шутство, то серьез, то реторика, сентиментальность. Нечего и говорить уже про то, что нет и помину о каком-либо плане: дисгармония и нестройность полнейшие!»⁷⁶ Неудача с юмористическим романом по-своему показательна для характеристики литературного дарования Альбова. Публицистика и фельетон требовали более широкого, более свободного отношения к миру и жизни, отношения, которое выводило бы героя из его одиночества в сферу общественную. Но такой возможности герои Альбова по существу лишены. Они живут вне «злости дня» даже тогда, когда писатель повествует о людях «идейных».

Сюжеты повестей и рассказов Альбова — это всегда эпизоды из жизни одинокого человека. Каждый из таких эпизодов — результат случайного стечения обстоятельств и не влияет решительным образом на судьбу героя, но образует звено в цепи событий, которые важны прежде всего как вехи его бытия. Они позволяют вести отсчет времени и резко подчеркивают главное: все ту же замкнутость духовного мира этих людей, их трагическую отчужденность от жизни общества, частью которого они являются. В примечании к повести «Дом» Альбов написал: «Под общим заглавием „Дом“ автор предполагает дать ряд рассказов, имеющих каждый свое самостоятельное содержание, но соединенных одною общюю нитью последовательных событий, представляющих историю группы лиц, на пространстве двух поколений, связанных единством места и времени».⁷⁷ В трилогии «День да ночь» он попытался реализовать указанную здесь программу.

«День да ночь» — роман, и довольно своеобразный. В нем две самостоятельные сюжетные линии. Одна из них — история тоскливой и одинокой жизни чиновника Павла Елкина, в которой единственным ярким событием стал

⁷⁶ ИРЛИ, ф. 553, № 3, л. 20. По тем же причинам Альбов был против отдельного издания «Вавилонской башни»: «... в последовательном чтении всех этих клочков хаотичность получается вопиющая» (там же). Но роман отдельным изданием вышел (Альбов М. Н., Баранцевич К. С. Вавилонская башня: История возникновения, существования и падения одного фантастического общества: Юмористический роман в 2-х частях. М., 1896).

⁷⁷ Альбов М. Н. Дом: Эпизоды из жизни одной человеческой группы. I. Свадьба. — Всемирная иллюстрация, 1888, т. XXXIX, № 16, с. 305. «Дом» — ранний вариант повести «Спрота», вошедшей в трилогию «День да ночь».

скандал, устроенный им на свадьбе его гимназического друга и сослуживца Сворешникова («Сирота», 1901). Эта повесть как бы вставлена в рамку другого сюжета. Он начинается как рассказ о двух параллельно развивающихся судьбах: тусклой жизни бухгалтера коммерческого общества и отца большого семейства Равальяка и старой девы, дочери хозяйки табачной лавки Глафиры Хороводовой. Глафире не удовлетворена своим мещанским существованием, отвергает предложение богатого и старого жениха, пытается покончить жизнь самоубийством. Ее случайно спасает Равальяк («Тоска», 1890—1893). Глафире чуть не умирает от тифозной горячки, во время болезни вспоминает свою жизнь и решает порвать с прошлым. Ее случайный спаситель пытается разгадать «тайну» Глафиры и принимает участие в ее судьбе («Глафирин тайна», 1902). Главные герои этих историй окружены родными, близкими и друзьями, но живут каждый своей одинокой жизнью, терзаются и тщетно пытаются разомкнуть цепь тоскливого текущего существования. Некоторые из них хотят найти сочувствие, любовь, добро-сердечие, но они никогда не знают, как сделать это. В таком построении романа нетрудно увидеть стройную художественную концепцию, суть которой Альбов изложил в послесловии к своей трилогии.

Это роман «из мира серых и тусклых людей, что живут изо дня в день, удручаемые осетившими их отовсюду мелкими житейскими дрязгами, людей, у которых есть и свои малые радости, а еще больше неярких, невидных, но тяжелых скорбей».⁷⁸ Автор ставит себя в положение бытописателя таких людей, впрочем, не безразличного. Он сопричастен духовному миру своих героев, хотя и «отстранен» от них. Его интересует не столько то, что происходит, сколько то, как реагируют на происходящее все они. Он психоаналитик, подвещающий их жизнь детальному анализу и изображающий события через призму сознания всех героев, в них участвующих. В этом смысле Альбов и говорит, что он «ничего не выдумывает».⁷⁹ При этом логика самих событий, по убеждению автора, предопределена законами. познать и понять которые он не может. «Он не может сказать, чем каждый из них (героев, — А. М.) должен кончить, ибо не предрешает событий, а лишь наблюдает, как они, эти события, сами слагаются, помимо его авторской воли, и потому в его работе отсутствует то, что называют сюжетом, в смысле наперед определенного плана».⁸⁰ Сюжет слагается из совокупности эпизодов в жизни каждого из героев.

Она «совсем не отличается быстрой сменой новых явлений, но изобилует монотонным повторением одних и тех же событий».⁸¹ Когда случай вмешивается в их жизнь, люди, ничего не звавшие друг о друге, могут быть вовлечены в общее событие. Тогда обособленные «группы» героев становятся «одной человеческой группой». Это, по Альбову, закономерно. Почти не связанные друг с другом, герои трилогии объединяются принадлежностью к категории людей маленьких и одиноких. Они отъединены от общей жизни и друг от друга, замкнуты в пределах своего обособленного и обыденного мира, в одинаковой мере испытывают на себе действие всеобщих законов бытия, страдают и не знают, как изменить свою жизнь. Но случай ставит их в связь друг с другом, их социально-психологическая общность обнаруживается, и это когда-нибудь поможет им разорвать круг одиночества. Так перекрестились жизненные пути Глафиры и Равальяка; по замыслу автора, и Елкин, «скользявший раньше мимоletной тенью» в «Тоске» и «Глафирин тайне» (он покупает табак в лавке Хороводовой), должен «силой вещей сыграть немалую роль» в дальнейшей судьбе Глафиры и ее сестры.⁸²

Герои и сюжеты большинства произведений Альбова специфически петербургские. И сам он — дитя Петербурга, писатель, которому были созвучны настроения, мечты и страхи жителей петербургских окраин. Вне Петербурга Альбов чувствовал себя как-то неуютно, хотя климат русской столицы был губителен для его здоровья (Альбов был болен чахоткой). Характерное свидетельство тому — творческая история трилогии «День да ночь». Первую ее часть Альбов завершил в 1893 году, а в 1894 году, по предложению доктора Е. В. Святловского, переселился в Полтаву. На юге он прожил несколько лет (с 1897 года в Екатеринославле), но именно этот период в жизни Альбова оказался наименее продуктивным. Прекращается и работа над трилогией. Лишь возвращение в Петербург стимулирует творчество писателя: в начале XX века он задумывает и осуществляет ряд новых произведений, а главное — довольно быстро заканчивает работу над второй и третьей частью трилогии.

Впрочем, их появление критика встретила довольно равнодушно. Альбов для начала XX века явно устарел, и сам ощущал это. В уже цитированном предисловии к трилогии «День да ночь» он писал: «Автор, с великомерным смирением, должен сознаться в своей полной отсталости от современных течений».⁸³ Он действительно отстал — все тем же «певцом интеллигентного

⁷⁸ Альбов М. Н. Соч., т. 8, с. 436.

⁷⁹ Там же, с. 437.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же, с. 435.

⁸² Там же, с. 438.

⁸³ Там же, с. 436.

бобыля, одиночества, сиротства, тоски людей большого города, оторванных от живого общественного дела»,⁸⁴ каким он заявил о себе в «Дне итога». В начале XX века Альбов был выразителем идей и настроений уже отошедшей в прошлое эпохи 80-х годов и совершенно закономерно оказался вне литературной борьбы нового времени. Почти демонстративная приверженность Альбова к этим идеям и настроениям обнаружилась особенно наглядно тогда, когда он пытался откликнуться на актуальные идейно-эстетические движения времени. Полемизируя с «Крейцеровой сонатой» Л. Толстого, Альбов пишет «роман на старый лад» «Хитрый план Мамаева» (1899). В повести «Превыше мира и страстей» рассказывается о человеке, который сохраняет чистоту души и спокойствие в лихорадочном и суетящемся мире; он счастлив «сознанием, что для человечества это абсолютно не нужно, — и всех одинаково любит».⁸⁵ Характерно, что эта «повесть из недавних лет» начинается с полемики против «новойшей формации романистов», напрасно отказывающихся от «усвоенных литературой приемов».⁸⁶

Герой этого произведения напоминает Филиппа Филиппыча Караваева, идеального героя ранней одноименной повести Альбова, а в «драматическом этюде» «Поэт» Караваев, этот «старый вымирающий тип идеалиста», «чистейший провинциальный антик, каких теперь немного найдешь»,⁸⁷ вновь становится героем. Его идеализм и благородство Альбов на сей раз противопоставляет фальшивости декадентства.⁸⁸

Альбов не принял нового искусства. Но он явно его подготавливал. Не случайно близкой ему по теме и даже настроению оказалась «Яма» Куприна. «... Он целыми часами рассказывал мне, — вспоминал К. И. Чуковский, — какую „Яму“ хотел он написать лет 20 тому назад».⁸⁹ Такой сюжет органичен для Альбова, и нет ничего удивительного в том, что Чуковского «богатый замысел» писателя поразил «обилием красок».

Альбов — не предшественник литературы XX века, а одна из ее «предтеч», как справедливо заметил Амфитеатров.

⁸⁴ Измайлов А. Указ. соч.

⁸⁵ Альбов М. Н. Превыше мира и страстей: Повесть из недавних лет. — Весь мир, 1903, № 4, с. 7.

⁸⁶ Там же, № 1, с. 2.

⁸⁷ Альбов М. Н. Поэт. Драматический этюд в одном действии. — Пробуждение, 1910, № 3, с. 96, 97.

⁸⁸ Проблеме декадентства посвящена и неоконченная повесть Альбова «Третий спутник» (Пробуждение, 1912, № 11, 14).

⁸⁹ Чуковский К. Альбов. — Речь, 1911, 15 июня, № 161, с. 2.

Он предугадал некоторые черты типов, ситуации, психологические положения, которые будет развивать литература XX столетия. Об этом свидетельствует и его опубликованная посмертно повесть «Ночная жуть».⁹⁰ В ней нет сюжета. Автор как бы вводит нас в странный мир ощущений, вызванных полубессознательными переживаниями томимого бессонницей человека: лихорадочные догадки о случайно встреченных людях, о жизни соседей, о тех, кто жил в этом доме когда-то; воспоминания об умершей жене и об оскорблении, которое он ей нанес, перерастающие в страшную фантасмагорию; ощущение реальности галлюцинаций и сновидений, их «осязательность» и рядом — попытки осмыслить и объяснить всю эту «ночную жуть». Повесть Альбова соотносима с идейно-художественными концепциями 70—80-х годов⁹¹ и с литературой начала XX века, но она органична для творчества писателя. Герой ее — все тот же одинокий петербургский житель. «... Тут имеются страницы в полном смысле великолепные, в альбовском духе, с замечательной реалистической отделкой деталей, которые, как живые и наглядные, выступают с нарпсованного полотна», — таково было безошибочное впечатление К. И. Чуковского, слышавшего «Ночную жуть» в чтении автора и рассказавшего о ней на похоронах писателя.⁹²

Альбов умер 12 июня 1911 года забытым писателем. «... Грустно, что все последние годы Альбов был уже как бы умершим, — писал А. А. Тихонов Баранцевичу 13 июня 1911 года. — Писатель гораздо более значительный, чем так легко и легкомысленно рекламируемые в наше время „молодые“, захватившие базары, площади и улицы, он слишком рано ушел в свою хату, от солнца жизни, в тень и темноту, и умер в тени и в тиши. Я любил его как писателя еще задолго до знакомства с ним лично и, не говоря уже о других его произведениях, помню, что его „Конец Неведомой улицы“ я читал с эстетическим наслаждением, как произведение скорбящего юмора, тогда как все современные изображения „ям“, потрафляющие инстинктам автора и только, мне только противны».⁹³ В этих словах есть, может быть, доля преувеличения, но гораздо больше истины. В том, что Альбов оказался забыт, была своя логика. Он был писателем одной темы и одного героя. «Альбов в сущности только и делал, что

⁹⁰ Альбов М. Н. Ночная жуть. — Пробуждение, 1912, № 17—22.

⁹¹ См. об этом: Муратов А. Б. Тургенев-новеллист: 1870—1880-е годы. Л., 1985, с. 65—83.

⁹² См.: Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. СПб., 1914, с. 167.

⁹³ ИРЛИ, 7332/XL. IV.6.5, л. 18.

ставил его в различные положения, наряжал в различные одежды». ⁹⁴ Актуальный для 1880-х годов, этот герой и эта тема оказались для XX века несовременными и «старомодными». Почему Альбов был забыт — объяснимо, но исторически несправедливо. Это почувствовали почти все критики уже в год смерти писателя. Его роль в истории русской литературы скромна, но посвоему и значительна.

При жизни Альбова о нем часто писали как о маленьком Достоевском и писателе-натуралисте; в современном литературоведении он рассматривается как один из писателей «чеховской поры», которые были неспособны даже приблизиться к их великому современнику. Но ни то, ни другое мнение нельзя признать верным. Альбов явился прямым наследником писателей-демократов 1860-х годов и Достоевского, он стал современником Гаршина, близким ему многими мотивами своего творчества, но оригинальным. Отсюда его влияние. «Он, действительно, влиял, — писал Амфитеатров. — Перечитывая его произведения, с изумлением видишь, сколько его забытых образов и слов перешло, тем бессознательным, органическим усвоением, которое определяет литературную эпоху, к Потапенке, Чехову, Горькому, как много андреевского сказано им раньше Андреева... В трех строках „Суток на лоне природы“ мне вдруг осветилось воскрешающим отражением давно забытое происхождение первого моего беллетристического дебюта, повести „Отравленная совесть“. Думаю, что многие писатели-ровесники, возобновляя в памяти альбовскую литературу, испытают то же самое. Альбов не был для нас „властителем дум“, но товарищем дум — несомненно. Без него было нельзя». ⁹⁵ К. И. Чуковский, в свою

очередь, пронизательно отметил, что Альбов — психолог, «исследующий во всех своих романах одну специальную, чрезвычайно его интересующую сторону человеческой души, один специальный строй ее переживаний и достигший в этой области очень ценных, незабываемых художественных результатов»: «Психологическая область Альбова — это исследование ее духовной трагедии маленьких, незаметных людей, заключающейся в разладе между крошечным, дряблым сердцем и огромным, великим чувством, порой наполняющим его», это «бунт отчаявшегося бессилия» и «трагедия великого чувства в ничтожной душе». ⁹⁶ Этой стороной своего творчества Альбов был близок писателям начала XX века.

Он был бытописателем, но особым. Подробное воспроизведение жизни маленьких людей было нужно ему для того, чтобы понять, чем вызвано настроение и сумеречное состояние души такого героя. В итоге реальный мир вещей и обстановки, окружающий человека, преобразуется воспринимающим сознанием и «самая действительность воспринимается как сон и пугается снами и галлюцинациями». Здесь Альбов «в своей стихии, и ему словно легче, когда стираются в сознании четкие грани жизненных явлений, распадаются звенья их причинной зависимости, и бессвязные образы, заимствованные душою из внешнего мира, окрашиваются в фантастические краски вырвавшейся на свободу мечты». ⁹⁷ Л. Я. Гуревич, которой принадлежат эти слова, тоже воспринимала творчество Альбова сквозь призму литературных вкусов XX века. Но тем самым она лишь резче подчеркнула то, что в рассказах, повестях и романах полузабытого писателя оказалось созвучно новому литературному поколению.

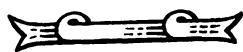
⁹⁴ Чуковский К. Бунт слабого человека в произведениях М. Н. Альбова, с. 103.

⁹⁵ Современник, 1911, № 7, с. 268. Критик далее так пояснял, что он имел в виду, когда говорил о забытых альбовских образах, перешедших в литературу начала XX века: «Особо оговорить надо Веру, смирную сестру строптивой Глафиры («День да ночь»), девицу, наполнившую жизнь свою образами из неумимо читаемых французских рома-

нов с таким усердием, как впоследствии Настя Максима Горького («На дне»), для которой эта романтическая мечтательница из табачной лавочки, по-видимому, послужила прототипом» (там же, с. 275).

⁹⁶ Чуковский К. Бунт слабого человека в произведениях А. Н. Альбова, с. 101—102, 110.

⁹⁷ Гуревич Л. Литература и эстетика: Критические опыты и этюды. М., 1912, с. 309—310.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. А. Робинсон, Л. И. Сазонова

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВУ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

Симеон Полоцкий — одна из крупнейших фигур в русской культуре XVII века. Миновало свыше ста лет с тех пор, как появились о нем первые монографические исследования. И тем не менее даже в биографии писателя остаются еще не разрешенные вопросы.

Научная традиция донесла до нас имя Симеона Полоцкого в разных вариантах. Разночтения касаются как отчества писателя (Емельянович или Гаврилович), так и его фамилии (Петровский/Пиотровский — Ситнянович/Ситнянович). В наиболее распространенной форме имя писателя передается следующим образом: Симеон (Самуил) Емельянович Петровский-Ситнянович.¹ Сам Симеон подписывался по-польски так: Simeon Piotrowski-Sitnianowicz. Поскольку в польском правописании буква *i* в позиции после согласного перед гласным не обозначает никакого звука и служит лишь графическим знаком, указывающим на мягкость предшествующего согласного, фамилию Симеона Полоцкого следует передавать в форме: Петровский-Ситнянович. Такое прочтение удостоверяется не только текстом надгробной плиты Симеона,² оно зафик-

сировано его современниками. Сильвестр Медведев называет своего учителя «Симеон Петровский Ситнянович».³ В документе 1676 года, исходящем от патриарха и адресованном киевскому духовенству, есть упоминание о том, что он «посла велебного и учительного отца Симеона Ситняновича Полоцкого» к Папсию Лигариду.⁴ Таким образом, правильность написания фамилии Симеона в форме Ситнянович⁵ сомнений не вызывает.

Гораздо запутаннее вопрос об отчестве Симеона — Емельянович или Гаврилович? Отчество «Емельянович» утвердилось в науке после опубликования И. Татарским выдержек из челобитной Симеона к царю Алексею Михайловичу:

манье на неточности в передаче текста надгробной надписи в «Древней Российской Вивлиофике» (*Былинин В. К.* О дате рождения Симеона Полоцкого. — ТОДРЛ, 1985, т. 39, с. 368). В научной традиции осталось незамеченным, что еще К. В. Харламович указал фамилию Симеона — Ситнянович, правда, неправильно написав другую ее часть: Пиотровский (см.: *Харламович К. В.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914, т. 1, с. 379).

³ БАН, 16.14.24, л. 734, об.; там же, II I A 54, л. 619.

⁴ ЦГАДА, ф. 381, № 1771, л. 6 (первые опубликовано: *Голубев С.* Отзыв о сочинении В. О. Эйнгорна: Очерки из истории Малороссии в XVII в. I. Сношения малорусского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича. М., 1899. — Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению, т. VI, № 2, 1902, с. 126).

⁵ В белорусско-украинско-польских фамилиях на -ович ударение на предпоследнем слоге. Обратим внимание, что имя Симеон писалось через ижицу (в месте современного «и»), поэтому нарушающие его орфографическую форму арифметические выкладки В. К. Былинина и основывающиеся на них построения бессмысленны (см.: *Былинин В. К.* К проблеме поэтики славянского барокко. «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого. — Советское славноведение, 1982, № 1, с. 59).

¹ См.: БСЭ, 2-е изд., 1956, т. 39, с. 58; Украинські письменники. Біо-бібліографічний словник. Київ, 1960, т. 1, с. 463; Українська радянська енциклопедія. Київ, 1963, т. 11, с. 345; СИЭ, 1969, т. 12, стб. 871; История русской литературы X—XVII веков. М., 1980, с. 435; Украинская советская энциклопедия. Киев, 1982, т. 8, с. 387; Советский энциклопедический словарь. 4-е изд., 1986, с. 1208. В некоторых изданиях принят компромиссный вариант с указанием в скобках или со знаком вопроса отчества «Гаврилович» с пометой: «по новым данным»; см., например: КЛЭ, 1971, т. 6, стб. 841; Беларуская савецкая энциклапедыя. Мінск, 1973, т. 9, с. 520 (написано здесь «Ситнякович» с «к» вместо «н», по-видимому, опечатка); БСЭ, 3-е изд., 1976, т. 23, с. 389.

² См. публикации текста надгробной плиты по рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 130: *Прогасьева Т. Н.* Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). М., 1970, ч. 1, с. 25. В. К. Былинин обратил вни-

«... в прошлом во 177 году выехал... из Литовския земли брат мой единоутробный Иоанн Емельянов сын...».⁶ «... Следовательно, — пишет Л. Н. Пушкарев, — отца Симеона звали Емельяном».⁷ Но еще в начале нашего века К. В. Харламович, ссылаясь на документы, выдвинул предположение, что Симеон носил отчество «Гаврилович».⁸ Уже в наше время В. М. Пузиков поддержал эту версию.⁹ С тех пор и появился отмеченный нами разбой в справочной и учебной литературе.

Создавалось впечатление, что документы противоречат друг другу. Чтобы свести его, были предложены компромиссные трактовки, например: «Не исключено, что по обычаю того времени его (Симеона, — М. Р., Л. С.) отец имел два имени — мирское и церковное»;¹⁰ делается предположение, что «отец писателя имел скорее всего духовное звание — ср. „двойное“ отчество Полоцкого: Емельянович и Гаврилович».¹¹ Данные умозаключения в общем несостоятельны: неясно, в частности, что понимается под «обычаем того времени» иметь два имени. Относительно возможного монашества отца Симеона (отсюда, считает В. К. Былинин, «двойное» отчество писателя) следует заметить, что отчеством у детей служило только светское имя отца. Кроме того, почти исключительным правилом было совпадение первых букв бывшего светского и нового — монашеского — имени.¹²

В частю цитируемой челобитной осталось без внимания указание Симеона Полоцкого на то, что «Иоанн Емельянов сын» его «единоутробный» брат.

⁶ *Татарский И.* Симеон Полоцкий: его жизнь и деятельность. Опыт исследования из истории просвещения и внутренней церковной жизни во вторую половину XVII века. М., 1886, с. 208. См. рукописные источники: ГИМ, Синодальное собр., № 130, л. 183; ГПБ, F.XVII. 83, л. 20.

⁷ *Пушкарев Л.* Симеон Полоцкий. — В кн.: Жуков Дм., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века. М., 1972, с. 201.

⁸ *Харламович К. В.* Указ. соч., с. 379.

⁹ *Пузикай В. М.* Новые материалы об дзейнасці Симеона Полацкага. — Весці Акадэміі навук Беларускай ССР, № 4. Мінск, 1957, серыя грамадскіх навук, с. 71—78.

¹⁰ *Пушкарев Л.* Указ. соч., с. 201.

¹¹ *Былинин В. К.* О дате рождения Симеона Полоцкого, с. 370.

¹² См., например: Мелетий (Максим) Смотрицкий, Лазарь (Лука) Баранович, Стефан (Симеон) Яворский, Сильвестр (Семен) Медведев, Феофан (мирское имя — Елеазар, первое монашеское — Елисей) Прокопович, Дмитрий (Данила) Ростовский, Варлаам (Василий) Лашевский, Манасия (Михаил) Максимович и т. д.

Отсюда вытекает, что отчество Симеона как раз и не может быть «Емельянович», так как «единоутробный» — брат по матери.¹³ Симеон свободно пользовался необходимой как в быту, так и в документах терминологией, указывавшей на характер родственных отношений. Он употреблял, например, такие понятия, как «стрый» (дядя по отцу),¹⁴ «швагер» (шурин — муж сестры),¹⁵ неоднократно — «единоутробный брат».¹⁶

Терминология кровнородственных связей, а также строгая иерархия степеней родства были хорошо разработаны в средневековье.¹⁷ Соблюдение дан-

¹³ Слово «единоутробный» впервые зафиксировано в словаре: *Поликарпов Ф.* Лексикон трехязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704, л. 101. См. также: Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1978, т. 5, статьи «единоутробный» (с. 31), а также «единоутробник» (там же), «единоматерца», «единоматерник», «единоматерный» (с. 24). Отмеченное значение слова «единоутробный» сохранялось еще в бытовом языке XIX века (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978, т. 1, с. 124); современными словарями оно зафиксировано в основном с пометой «устаревшее» (см.: Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1954, т. 3, стб. 1242; *Ожегов С. П.* Словарь русского языка. 13-е изд. М., 1981, с. 166). Следует различать употребление термина «единоутробный» в деловых бумагах, где указание значения последовательно выдерживалось, от более широкого (пространного) толкования данного слова (дети одной матери) в сочинениях того рода; как, например, в частной переписке И. П. Максимовича (см. публикацию: *Николаев С. П.* Литературные занятия Ивана Максимовича. — ТОДРЛ. 1986, т. 40, с. 394—395). Данная дифференциация присутствует в таких словарях, как: Словарь русского языка, составленный вторым отд. имп. Академии наук. СПб., 1897, т. 2, вып. 1, стб. 50; Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935, т. 1, стб. 829. В данных словарях специально оговаривается употребление понятия «единоутробный» как правового.

¹⁴ ЦГАДА, ф. 381, № 390, л. 103.

¹⁵ «Do P: Szwagra Bazyla Stephaniczka» (там же).

¹⁶ ГИМ, Синодальное собрание, № 130, л. 109, 183; ГПБ, F.XVII. 83, л. 20.

¹⁷ См., например, «Саксонское зеркало», где выделены семь степеней родства: «Далее заметим, где родство начинается и где оно кончается: в голове находятся муж и жена, которые соединены законным браком. Место шеп занимают дети, если они полнородные, происходят от того же отца и той же

ной терминологии в средние века было в значительной степени обусловлено вопросами, связанными с правами наследования. Еще в обычном праве, кодифицированном в «Саксонском зеркале», присутствует четкое разделение прав наследников в зависимости от мужской и женской линий.¹⁸ Влияние «Саксонского зеркала» с XIII—XIV веков было значительным на право Чехии, Венгрии, Липфландии и Эстляндии, Польши и Литвы, а с XVI века — Галлии и Белоруссии.¹⁹ В частности, отмечалось влияние этого свода законов на «Литовские статуты».²⁰ В России же в XV—XVII веках семейное право «в значительной степени основывалось на нормах обычного права», а степень родства при получении наследства «достигала четвертого, реже пятого колена».²¹ Все это лишнее раз подтверждает, что во времена Симеона Полоцкого знание и правильное употребление кровнородственной терминологии было практически необходимым элементом общественной и частной жизни. Таким образом, установление отчества Симеона только на основании того, что его единоутробный брат был «Емельянович», не может не вызывать серьезных возражений.

Сказанное заставляет внимательно рассмотреть существующее в науке предположение о том, что отчество Симеона — Гаврилович (К. В. Харламович, В. М. Пузиков). Ссылаясь на одни и те же документы, исследователи не представили, однако, анализа содержащихся в них данных, которые позволили бы удостовериться, что упоминающийся в рукописях Симеон Гаврилович — есть Симеон Полоцкий. Упомянутые документы находятся в рукописи ГПБ F. XVII. 83 (1°, 459 л.), содержащей в основном сочинения Симеона Полоцкого как в автографах, так и в писцовых списках, носящих следы редакторской правки Симеона (стихи, вошедшие в «Рифмологикон», дополнившие «Вертоград многоцветный» во второй редак-

ции, праздничные речи,²² письма). В рукопись включены также сочинения, являющиеся результатом его совместной работы с Филофеем Утчицким и Паисием Лигаридом. Есть здесь также письма корреспондентов Симеона. Состав рукописи не случаен, материалы, входящие в нее, тесно связаны с жизнью, творчеством и общественно-политической деятельностью Симеона Полоцкого.

Обратимся к двум документам. Оба — писцовые списки посланий. Характерно, что заглавие и дата в одном, а также дата и подпись в другом вписаны иной рукой. Первый из них — послание Лаврентию, митрополиту Казанскому и Свияжскому (л. 106, об. — 107). Его заглавие «Грамота или епистолия», а также латинская запись в конце письма («Data Moscovia A° 1671, aprilis 21»), несомненно, являются автографом Симеона Полоцкого. Для определения отчества Симеона, безусловно, важен следующий фрагмент из послания: «... смиреннейший раб и присный богомолец многогрешный Симеон Гаврилов сын». Слова «Гаврилов сын» в рукописи зачеркнуты, что связано, однако, не с устранением ошибки, а с редактированием текста, при котором данная информация исключена как необязательная в контексте данного послания. Подчеркнем и то, что все определения, сопровождающие имя автора, являются типичными элементами формулы подписи Симеона Полоцкого.²³ Бесспорно, данная «епистолия» принадлежит Симеону Полоцкому, и определение «Гаврилов сын» относится, следовательно, к нему.

Второй документ — письмо Феодосию Валдайскому с поздравлениями по случаю избрания того архимандритом Иверского монастыря.²⁴ Письмо подписано:

²² Приветственные речи вошли в белойой список: ГИМ, Синодальное собр., № 229.

²³ См., например, подпись Симеона Полоцкого в «Псалтири рифмотворной»: «Твоего пресветлаго царского величества раб смиреннейший и присный богомолец Симеон Полоцкий иеромонах недостойный» (Псалтирь рифмотворная. М., 1680, л. 3; ГИМ, Синодальное собр., № 237, л. 3, об. — подпись за Симеона рукой Сильвестра). Подписи С. Медведева и К. Истомина, близкие по типу, состоят все же из несколько иного набора формул.

²⁴ После смерти Филофея Сагайдачного 18 апреля 1669 года архимандритом стал (с 1 июля того же года) Феодосий, бывший игумен буйницкий (см.: Харламович К. В. Указ. соч., с. 270). Отметим, что рассмотренный нами документ датирован 24 апреля 1669 года; это, возможно, уточняет начало архимандритства Феодосия.

матери. Неполнородных [единокровных или единоутробных] отодвигают в следующую часть тела» (Саксонское зеркало. Памятник, комментарии, исследование. М., 1985, с. 18, часть первая — «Земское право»).

¹⁸ «Брат и сестра получают наследство их полнородных братьев и сестер впереди неполнородных брата и сестры как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных братьев одинаково близки неединокровным братьям при получении наследства» (там же, с. 58).

¹⁹ Саксонское зеркало, с. 263—264.

²⁰ Лаппо И. И. Литовские статуты 1588 года. Каунас, 1937, т. 1, с. 96—97.

²¹ Развитие русского права в XV—первой половине XVII вв. М., 1986, с. 151.

«Симеон Гаврилович» (л. 48^a). Подпись, так же как и дата («априллина 24 числа»), выполнена полууставом, лишены каких-либо индивидуальных признаков, причем подпись теснится на самом краю листа. Что заставляет нас думать, что и данное послание все того же Симеона Полоцкого? Обратим внимание на следующую фразу в тексте: «... на милосердии твоём отеческом, еже являя брату моему, мне являеши всеспиревно челом бию...» Из нее следует, что у автора письма Симеона Гавриловича в 1669 году в Иверском монастыре жил брат. Известно, что с 1669-го по 1673 год в Иверской обители находился брат Симеона Полоцкого перомонах Исакий.²⁵ Таким образом, и в отношении данного документа устанавливается авторство Симеона Полоцкого.

Следующий вопрос, самым тесным образом связанный с определением настоящего отчества Симеона, по никогда тем не менее не ставившийся, — о двойной фамилии писателя: Петровский-Ситнянович. В науке давно известны документы, где упоминаются братья Симеона: это завещание, опубликованное еще И. Татарским, а также архивные наблюдения С. Голубева. Часть наследства Симеон завещал, как он пишет, «брату моему родному Иоанну Петровскому», «брату же моему родному Луке Петровскому».²⁶ Известно письмо, где упоминается брат Симеона Ян (Иоанн) Петровский.²⁷ Обращает на себя внимание, что Симеон не употребляет в отношении своих братьев ни двойной фамилии, ни фамилии Ситнянович. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как сам Симеон только с фамилией Петровский нигде не упоминается, в то время как только под фамилией Ситнянович фигурирует в нескольких документах: в собственных записях (Simeon starci Sitnianowicz Havrilowicz);²⁸ в уже упоминавшемся письме патриарха киевским старцам (см. сноску 4); в спске речи Игнатия Иевлевича, игумена полоцкого Богоявленского монастыря, проповеденной по случаю пострижения Си-

меона: «...новооблечен брат наш Симеон», и здесь же над строкой сделано дополнение латиницей: Sitnianowicz;²⁹ известно также письмо с Украины (1667) на польском языке «Do ojca Sitnianowicza».³⁰ Наблюдения над «двойным» отчеством и двойной фамилией Симеона приводят к выводу, что его отцом был Гавриил Ситнянович, а отцом его упомянутых в завещании братьев, а также брата Исакия («брата же едноутробна») — Емельян Петровский, приходившийся Симеону отчимом.

Существует еще целый ряд вопросов, связанных с биографией Симеона и его родственников. Из завещания Симеона мы знаем, что у него был брат Сильвестр, чьего сына — Михаила — Симеон также назвал среди наследников: «Племяннику моему Михаилу Сильвестровичу, при мне жившему рублев сто; сму же лошадь со всем, медь и дына вся, и кипилы два, и сребро, что ся остатнет».³² Очень возможно, что племянник Михаил Сильвестрович находился в числе тех трех человек, которые жили при Симеоне в Москве и упомянуты в его челобитной царю.³³ В связи с тем, что у Симеона был брат Сильвестр, привлекает внимание документ о незаконном аресте 14 апреля 1659 года по указу полоцкого епископа Каллиста группы монахов Богоявленского монастыря, среди которых назван и Sylvestro Sitnianowicz.³⁴ Вместе с ними в заключение попал и Симеон.³⁵ В качестве предпо-

²⁹ ЦГАДА, ф. 381, № 390, л. 45, об

³⁰ ГПБ, Ф. XVII, 83, л. 29.

³¹ ГИМ, Синодальное собр., № 130, л. 109 (письмо Симеона Филофею Сагайдачному).

³² Цит. по: *Татарский И.* Указ. соч., с. 325.

³³ ГИМ, Синодальное собр., № 130, л. 181, об. (челобитная от 1 сентября 1670 года).

³⁴ Обращает на себя внимание также экземпляр «Зеркала исторического» Винцентия Бургундского (Duaci, 1624) из библиотеки Симеона Полоцкого, принадлежавший ранее проповеднику Богоявленского собора в Полоцке Сильвестру Ситняновичу, о чем свидетельствует владельческая запись: «Ex libris Sylvestri Sitnianowicz prohinc Concionatori S. Polocensis ad aedes Eriphaniorum». В 1664 году книга перешла к Игнатю Иевлевичу и наконец попала к Симеону: «Transiet in Bibliothecam Simeonis Piotrowski Sitnianowicz indigni hieromonachi Polocensis Ord: S: Bas: Mag: Moscovie, Dn: 1670 Aug. 26». На крышке переплета: «Библиотека мундп Сильвестра Медведева» (ЦГАДА, Библиотека Московской Синодальной типографии, ин. 498).

³⁵ ЦГАДА, ф. 381, № 1800, л. 142. Документ опубликован: *Голубев С.* Указ. соч., с. 114.

²⁵ Симеон хлопотал перед Филофеем Сагайдачным в бытность того архимандритом Кутейнского монастыря о приеме в эту обитель своего брата (см. копию письма в рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 130, л. 109), а затем благодарил за оказанное содействие в приеме брата уже в Иверский монастырь, где Филофей с 1658 года был настоятелем (там же, л. 111).

²⁶ Цит. по: *Татарский И.* Указ. соч., с. 325.

²⁷ ЦГАДА, ф. 381, № 390, л. 103; *Голубев С.* Указ. соч., с. 119.

²⁸ ГИМ, Синодальное собр., № 877, опубликовано: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII—XVIII столетий. СПб., 1889, с. 6.

жения можно допустить, что названный в документе Сильвестр Ситнянович приходился родственником Симеону по отцовской линии. Возможно, это брат, как осторожно замечает А. Хипписли.³⁶ Если согласиться с таким мнением, то тогда Сильвестр Ситнянович скорее всего старший полнородный брат Симеона. Но не исключено также, что это его дядя («острый»). И, может быть, о его смерти горюет Симеон в упоминавшемся письме швагера Василию Стефановичу.³⁷ Но сказанное, повторимся, находится лишь в области предположений.³⁸

Совершенно неверно мнение С. Голубева о том, что находящееся в ранней рукописи Симеона сочинение «*Deploratio filii de obitu parentis*» «дает твердое основание для предположения, что здесь речь идет о смерти отца самого Симеона».³⁹ Утверждение С. Голубева было принято современными биографами писателя: «До нас дошел только отрывок, в котором Самуил оплакивает смерть своего отца. Судя по содержанию этого отрывка и по датировке сопредельных с

ним документов, кончина отца Полоцкого должна быть отнесена ко времени между 1660 и 1663 годами».⁴⁰ При внимательном изучении упомянутой исследователями рукописи выясняется, что «Плач сына» является отколовшимся от общего текста фрагментом обширного труда, составленного Симеоном, — «*Rhetorica practica*»,⁴¹ в котором разные типы красноречия иллюстрируются многочисленными примерами речей, написанных по преимуществу на польском языке (с латинскими заглавиями). «Плач сына» находится в одной рукописи с «Практической риторикой», в составе неполной сборной тетради из четырех листов: л. 175—178 — один двойной лист, в него вставлены листы 176 и 177, несколько отличающиеся по размеру и по бумаге. На листах 176—177 и 178, об. — именные речи разным лицам на день святого Нестора, Игнатия, Амброзия, Леона. Возможно, что речь в день св. Игнатия предназначалась для Игнатия Иевлевича.⁴² Упомянутые речи не содержат каких-либо указаний на дату их составления. Других документов в данной тетради нет. Текст «Плача сына», занимающий л. 175—175, об., относится (вместе с л. 178) к тетради (л. 143—148, об.), входящей в состав раздела «*Praxis funebris ir(r)atione*» (л. 121—148). Здесь помещены образцы похоронных речей: на смерть государя, полководца («*ducis*»), сенатора («*senatoris*»), повелителя, владыки («*principis*»), а также убитого воина («*mulitis in bello occisis*»), старика («*senis*»), юноши («*juvenis*»), «какой-либо женщины» («*alicuius faeminae*»), девушки («*virginis*») и др. Все эти речи, естественно, лишены какого-либо личного характера, точно так же как и «Плач сына» («*Deploratio filii de obitu parentis*»). Риторический характер последнего упражнения выдает также и то, что и в названии, и в тексте используется не конкретное понятие «отец», а более общее: «*parentis*», «*godzica*» («родителя»), с тем чтобы на его место могло быть поставлено в зависимости от ситуации «отец» или «мать».

К неудачным попыткам прояснить отдельные моменты биографии Симеона Полоцкого относится статья В. К. Былинина.⁴³ Автор, не привлекая новых

³⁶ *Хипписли А.* The poetic Style of Simeon Polotsky. Birmingham, 1985, p. 11 (Birmingham Slavonic Monographs, № 16).

Предположение А. Хипписли заманчиво, смущает лишь полное совпадение в таком случае монашеского и светского имени.

³⁷ ЦГАДА, ф. 381, № 390, л. 103—103, об.

³⁸ Также в области предположений еще один момент. В библиотеке Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева находилась книга: *Grammaticarum institutionum libri IV pro usu scholarum Novodvorscianarum in Alma Academia Cracoviensi. Opera et Studio M. Lucae Piotrowski in eadem Academia Novodvorsciani Gramm. Profess: Cracoviae, 1676* (ЦГАДА, Библиотека Московской Синодальной типографии, пн. 1814, старый № 3799; на книге имеется владельческая запись Сильвестра Медведева). Автор учебника — магистр искусств, доктор филологии и профессор грамматики Новодворского коллежника при Ягеллонском университете Лука Петровский. Не брат ли это Симеона? Ведь еще в 1667 году Симеон обвинял брата Луку в отступничестве от православия: «Давно я знал твою склонность к этой измене, но не предполагал такого упрямства с упорством и не думал, что будешь жестоким. В чем, если не услышу исправления, знай, что последний раз читаешь от меня: Vale» (ЦГАДА, ф. 381, № 390, л. 102, об.; *Голубев С.* Указ. соч., с. 118). К моменту составления Симеоном завещания (14 марта 1679 года) мы застаем его брата Луку Петровского в привилегированной должности городского писаря Полоцка (список завещания: ГИМ, собр. Уварова, № 247, л. 10—17).

³⁹ *Голубев С.* Указ. соч., с. 112.

⁴⁰ *Пушкарев Л.* Указ. соч., с. 203.
⁴¹ ЦГАДА, ф. 381, № 1791, л. 17—170 (1653 год).

⁴² С. Голубев неверно определил данный документ как письмо Симеона И. Иевлевичу; полагая, что оно написано в 1660—1663 годах, исследователь приурочил к этому времени остальные документы на соседних листах, не приняв во внимание палеографических признаков. Так возникла версия о кончине отца Симеона в указанные годы (*Голубев С.* Указ. соч., с. 112—113).

⁴³ *Былинин В. К.* О дате рождения Симеона Полоцкого, с. 367—370.

источников биографического характера, пытаются сконструировать таковой на основе польскоязычного стихотворения Симеона из зодиакального цикла о месяцах года («Miesiące 12 pasteruia»), находящегося в рукописи его ранних стихов:

Listopad tuczy, a December biie,
Przez kozorożca gospodarz utyie
(«December»)

Из начальных букв и предлогов В. К. Былинна составляет «мезостих»:

Litua december B̄i,
Przez koguty

(«Литва, декабрь 12, До петухов», т. е. рано утром)».⁴⁴

Автор считает, что «условное принятие 12 декабря 1629 г. за дату рождения Симеона Полоцкого вполне допустимо».⁴⁵ Основная аргументация В. К. Былинна заключается в следующем: «В рукописи данная строфа выделена более ровным написанием; буквенное обозначение цифры „12“ в составе слова biie выделено заглавными литерами».⁴⁶ Ознакомление с рукописью показало, что подобная характеристика не подтверждается. В слове biie все буквы строчные, первые две литеры никак не выделены,⁴⁷ и нет абсолютно никаких оснований искать в этом слове какое-либо число. Что же касается перевода В. К. Былинным фрагмента «Przez koguty» как «До петухов», то обратив внимание, что польский предлог przez не имеет значения «до». В данном случае В. К. Былинна спутал его с предлогом przed — «до», «перед». Далее. В искусственно сконструированной фразе буквенное сочетание Litua должно обозначать, по мнению автора, слово Литва. Во-первых, неясно, на каком языке существует такое написание. Логично было бы предположить, что на польском — в соответствии с текстом стихотворения, но по-польски Литва — Litwa, по-литовски — Lietuva; средневековая латынь и латынь XVII века допускают несколько написаний: Lethowia, Lithuania, Litvania, Lituania, Lithvania, а также сокращенный вариант Litta.⁴⁸ В итоге как мезостих, составленный В. К. Былинным на основе двустишия «Декабрь», так и его

перевод с расшифровкой «даты» рожденья Симеона не имеют под собой никаких реальных оснований. В дополнение к изложенному заметим, что в публикации стихотворения «Декабрь» была допущена ошибка, которая наряду с другими повлекла за собой неверный перевод всего текста. Вместо глагола в форме «tuczy» («тучнит», «откармливает») — tuchy (?). Предлог przez вновь спутан с предлогом przed, а глагол utyie переведен как «встает» (?). В результате перевод В. К. Былинна выглядит следующим образом: «Ноябрь хмурится, а декабрь бьет, // Пред Козерогом хозяин встает».⁴⁹ В действительности он должен быть иным. Все двустишие зодиакального цикла Симеона так или иначе связаны между собой. Поэтому для большей ясности считаем необходимым предпослать двустишию «Декабрь» предшествующее ему стихотворение «Ноябрь» с переводом:

W strzelcu November obiia żołędzie.
Sloniny wieprzow s tych potraw
przybedzie.⁵⁰

В стрельце Ноябрь сбивает желуды.
Сала у свиней с тех кормов прибудет.

(«Ноябрь»)

Ноябрь откармливает, а Декабрь бьет
(забивает),
В течение козерога хозяин толстеет.

(«Декабрь»)

Вызывает удивление высказанное В. К. Былинным утверждение, что Симеон Полоцкий осуществил «прекрасный поэтический перевод „Псалмов Давида“ Яна Кохановского».⁵¹ В науке давно известно, что «Псалмы» Я. Кохановского послужили Симеону Полоцкому вдохновляющим примером к его собственному переводу «Псалтири». О различии поэтического подхода обоих переводчиков неоднократно писалось.⁵² Путь

⁴⁹ Былинна В. К. О дате рождения Симеона Полоцкого. с. 368, сноски 8 с пометой: «Перевод мой, — В. К.». Кстати, здесь неверно обозначен лист рукописи с текстом стихотворения «Декабрь»: вместо указанного автором л. 110 см. л. 118.

⁵⁰ ЦГАДА, ф. 381, № 1800, л. 118.

⁵¹ Былинна В. К. О дате рождения Симеона Полоцкого, с. 370.

⁵² См., например, одну из последних работ на эту тему: Łuźny R. «Psalterz gumowanu» Symeona Połockiego a «Psalterz Dawidów» Jana Kochanowskiego. — Slavia orientalis, Roc. XV, № 1. Warszawa, 1966, s. 3—27. См. также. Державина О. А. Симеон Полоцкий в работе над «Псалтырью» рифмовторной. — В кн.: Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982, с. 116—133.

⁴⁴ Там же, с. 368.

⁴⁵ Там же, с. 370.

⁴⁶ Там же, с. 368.

⁴⁷ В рукописи (ЦГАДА, ф. 381, № 1800, л. 118) над буквами «bi» (в слове «biie») появилась короткая черта, напоминающая титло, проведенная синей пастой шариковой ручки; так же подведена нижняя петля у буквы «в».

⁴⁸ Данные написания извлечены из документов Ливонского ордена и литовско-немецких документов.

В. К. Былинина к поиску даты рождения Симеона через разгадывание создаваемых им самим криптограмм напоминает метод барочных мастеров.

* * *

Исследуя историю создания «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого по авторской рукописи (ГИМ, Синодальное собр., № 659), мы обнаружили в ней черновик чрезвычайно интересного в нескольких отношениях документа. Это челобитная Симеона патриарху Иоакиму с просьбой о расследовании жестокого убийства стрельцами его брата иеромонаха Исакия, которое произошло в 1674-м (или в 1675 году) в Трубчевском монастыре⁵³ при попустительстве игумена Нектария.⁵⁴ Появление документа в рукописи «Вертограда» объясняется практической нуждой Симеона в чистой бумаге: оборот документа он заполнил стихами.⁵⁵ Было ли предпринято следствие по жалобе Симеона, остается неизвестным. В тексте же самой челобитной какого-либо намека на возможные мотивы убийства не содержится. Из сведений, сохранившихся о пребывании Исакия в Иверском монастыре (1669—24 августа 1673 года), можно предположить, что он не отличался легким характером. Об этом свидетельствует письмо архимандрита Иверского монастыря наместнику московского Иверского подворья с выражением неудовольствия поведением Исакия. Мы узнаем, что по ходатайству Симеона патриарх просил отпустить «в Москву иеромонаха Исаакия Полоцка-

го». Перед отъездом Исакий грозился «бить челом владыке государю» на то, что, живя в Иверском монастыре, он «носил все свое платье, а не казенное». Упреждая возможную жалобу Исакия, архимандрит сообщал: «И мы велели выписать из казначейских платяных книг выписку, что ему, Исакию, дано какова из казны платья и обуви со 177 году, как он начал жить у нас в Иверском монастыре и по нынешний 181 год и тое выписку також послали».⁵⁶ Причиной убийства Исакия могло послужить в равной мере одно из следующих обстоятельств: или чистая случайность, или его строптивость; не исключено также, что таким образом могли сводиться какие-либо счеты с самим Симеоном Полоцким. Трубчевский монастырь, находившийся в подчинении патриарха Иоакима, был населен в основном московскими монахами. О напряженных отношениях между ними и выходцами из бывших земель Речи Посполитой свидетельствует «Летопись Самовида». В ней указывается, что «в 1679 г. иноки чернецы достали себе монастырь Трубецкий, „справедивши оттоль чернецов московских“. В 1680 г. они же „заехали“ монастырь Свенский под Брянском».⁵⁷ Известно, что «все тогдашние малорусские духовные» были не особенно расположены к московскому духовенству,⁵⁸ плавившему им взаимность, что ярко проявилось в московский период жизни Симеона Полоцкого.

Листок с черновиком челобитной не только привлек Симеона возможностью использовать его чистую оборотную сторону, но и послужил творческим импульсом. Воспоминание о гибели брата вызвало к жизни рассуждения Симеона в стихах о смерти («Смерть трегуба»), а затем о монахе и соблазнах, которых тому следует избегать («Монах», шесть двустийший).⁵⁹ Предоставляется, таким образом, редкая и интересная возможность проследить за тем, как изменяется и преобразуется у Симеона Полоцкого тема при переходе ее из сферы документального отражения в художественную. Зверское избиение и смерть брата Симеон описывает с реальными, конкретными деталями и подробностями: «...били кулаками и ногами топтали и бердышовыми держалны, били убийством смертным... лечени отбиты, и кровию плевал и блевал, и кровию

⁵³ Трубчевский (Челнский) монастырь основан в XVI веке, см.: *Зверинский В. В.* Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1890, с. 406; *Денисов Л. И.* Православные монастыри Российской империи. М., 1908, с. 639—640.

⁵⁴ Нектарий Рудницкий, игумен Трубчевского монастыря с 1672 года (см.: *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877, стб. 921).

⁵⁵ Текст челобитной находится в 34-й тетради рукописи. Из 68 тетрадей (по 8 листов в каждой, за исключением 54-й тетради, где 16 листов, и 61-й — 4 листа) это единственная сборная тетрадь. Она состоит из 5 листов (л. 276—280), пронумерованных, как и вся рукопись, Сильвестром Медведевым постранично; сбой в пагинации объясняется, по-видимому, утратой двух листов (нехватка четырех страниц между с. 550 и 555). В тетради два неформатных листа: л. 277 составлен из трех склеенных полосок бумаги, л. 278 — в 2-ку, снизу подогнут; к нему с правой стороны подклеен л. 279 с текстом челобитной.

⁵⁶ Русская историческая библиотека, т. 5. СПб., 1878, стб. 821—823, № 323.

⁵⁷ *Шляпкин И. А.* Дмитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1891, с. 30, сноска 3.

⁵⁸ Там же, с. 30.

⁵⁹ «Монах» опубликован по другому автографу. А. М. Панченко в кн.: *Русская syllабическая поэзия XVII—XVIII вв.* Л., 1970. (Библиотека поэта, большая серия).

сышов скончался». Необходимость наиболее точного изложения действительных событий влечет за собой у Симеона не только их реалистическое, доходящее до натурализма описание, но и использование живого разговорного языка. И в этом смысле стиль челобитной Симеона сопоставим с языком «Жития» Аввакума: «У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чеп торгуют, и в глаза плюют»; «Таж и плетми били и, муча всяко, кончали во огне»; «Палач же, дрожа и трясылся, насили выколупал ножом язык и горла: ужас бо держаше ево и трепетен бяше».⁶⁰ В стихах же Симеон переходит на другой стиль и язык, рассматривая тему смерти сквозь наряд риторики: живое и конкретное становится обобщенно-отвлеченным, появляется столь характерная для риторического подхода рубрицированная композиция, когда анализируемое понятие (смерть) предстает в разнообразии своих проявлений, о чем заявлено уже в заглавии («Смерть трегуба»).

Такова одна из страниц жизни и творчества Симеона Полоцкого, которого XIX век оценил как «Российского Фелелона».⁶¹

В Приложении публикуется текст черновика челобитной Симеона Полоцкого со стихами, написанными на его оборотной стороне.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«ЧЕЛОБИТНАЯ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО»

Великому господину святейшему кир Иоакиму патриарху Московскому и всея России. Бьет челом богомолец твой свя-

⁶⁰ Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975, с. 24, 51, 58.

⁶¹ Мальгин Т. Речь о состоянии в России древнего и новейшего народного просвещения, читанная в торжественное годовое собрание имп. Российской Академии, бывшее 8 числа декабря 1808 г. — Сочинения и переводы, издаваемые Российской Академиею. Ч. IV. (1810). СПб., 1810, с. 273.

тителский иеромонах Симеон Полоцкий. В прошлом, государь, во 182 году поехал с Москвы по обещанию в Киев чудотворцем помолитися брат мой родной иеромонах Исакия. И возвратяся оттуду жил он во твоём святителском богомолии в монастыре Трубоческом игумена Нектария. А ныне вестно мне учинилося, что неведомо по какому делу и по чьему приказу пришов из города Трубоческа приказный вои подпачей Яков Мефодиев со стрелцами в монастырь и возьмеш насилном из монастыря брата моего иеромонаха Исакия били кулаками и ногами топтали и бердышовыми держалны, били убиством смертным не вестимо, за какову вину и покинули его на пути замертва, от которого он смертного убийства лежал, и в совершенное здравие не мог прийти потому, что печени отбиты, и кровию плевал и блевал, и кровию сышов скончался. А за непризрением игумена Нектария без исповедания и причастия божественных таин отшел из света сего. Милосердный великий господин святейший кир Иоаким патриарх Московский и всея России, вели о том нашествии на монастырь и о насилном взятии и о смертном убийстве брата моего иеромонаха Исакия сыск праведный учинити у великаго государя взискати. Великий святитель, смилуйся и о нерадении Нектария игумена о душе его сыск праведный учинити, как тебе, великому святителю, господь бог известит. Великий святитель, смилуйся, пожалуй.

СМЕРТЬ ТРЕГУБА

Трем образы в мире смерть бывает.

Первая душу с телом разлучает

Вторая, грех есть душу убиваяй
благодати ю божия лишаяй.

Третья во день судный совершится
егда с душею и тело казнится.

Первая страшна, но вреда не деет

вторая зла есть, но врачу имеет

Покаяние, третья зла вечно

огнем бо лютым мучит безконечно.

(ГИМ. Синодальное собр., № 659,
л. 279—279, об.)

А. НАРУШЕВИЧ И Ф. КАРПИНСКИЙ В «ЧУЖОЙ МУЗЕ» В. Г. АНАСТАСЕВИЧА

Фигура А. Мицкевича, справедливо занимающего важнейшее место в истории польско-русских литературных связей первой трети XIX века, невольно заслоняет собой писателей второго и третьего рядов; одновременно и первые годы XIX столетия, т. е. период, непосредственно предшествующий истории «русского Мицкевича», предстают обедненными. Между тем именно активизация польско-русского культурного сближения в начале XIX века в значительной мере повлияла на создание литературно-общественной атмосферы расцвета литературных связей в 1820-е годы.¹

В последнее время был предпринят ряд плодотворных библиографических разысканий польских материалов в русской периодике той поры («Московский телеграф», «Вестник Европы» и др.),² значительно обогативших как новыми именами, так и новыми материалами историю литературных связей. В ходе этих поисков стало, в частности, ясно, что польско-русские литературные связи первой трети XIX века необычайно благодатная область для занятий библиографической эвристики разной степени сложности. Самым легким случаем являются тексты с пометами типа «Из Нарушевича» или «Подражание Карпинскому». Как раз такие пометы в нескольких стихотворениях А. В. Склабовского, опубликованных в 1819 году в «Украинском вестнике», помогают путем просмотра сочинений этих авторов установить их оригинал.³ Помета «с поль-

ского» или тем более «подражание польскому» судит уже меньше успехов, между тем таких помет встречается довольно много и часто они с трудом поддаются раскрытию. С такими пометами в конце 1820-х—начале 1830-х годов в «Благонамеренном» был опубликован ряд стихотворений Ф. М. Рындовского, и пока только в сатире «Модница, или Жена, каких везде довольно» (1821) узнана сатира И. Красницкого «Модная жена».⁴ Но, конечно, самыми любопытными с точки зрения библиографической эвристики являются находки оригиналов для тех стихотворений, которые даже не названы автором подражанием или переводом с польского. Разумеется, такие поиски должны иметь какие-то предварительные основания, и они, как кажется, появляются вполне резонно при чтении рукописного сборника В. Г. Анастасевича «Чужая муза, или Переводы разных иностранных стихов на российский язык». Перевел В. Анастасевич. С.-Петербург, 1802».⁵

Причина составления сборника достаточно прозаична. В мае 1801 года Анастасевич вышел из армейской службы, в декабре того же года приехал в Петербург и 28 марта 1802 года был по прошению определен в штат Военной коллегии.⁶ Поскольку «Чужая муза» посвящена члену Военной коллегии генерал-майору И. М. Милованову, а посвящение датировано 23 марта, то вполне очевидно, что белой список сборника был приготовлен для поднесения за несколько дней до зачисления на новое место и включал ранее переведенные стихотворения.

Нигде в сборнике не указаны ни авторы, ни даже языки, с которых переводил Анастасевич. Вероятно, что это переводы с французского, немецкого и

¹ См.: *Woloszynski R. W. Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801—1830.* Warszawa, 1974.

² См.: *Kozłowski T. Polonica w czasopiśmie rosyjskim «Więstnik Jewropy» w latach 1815—1822.* — *Prace Polonistyczne.* Łódź, 1967, ser. 23, s. 115—132; *Dworski A.* 1) *Z dziejów zблиżenia kulturalnego rosyjsko-polskiego na początku XIX w.: Polonica w czasopiśmie «Улей».* — In: *Spotkania literackie: Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu.* Wrocław, 1973, s. 151—183; 2) *Polonica w rosyjskich wydawnictwach Ferdynanda Orli-Oszmieńca w latach 1816—1818.* — *Studia polono-slavica-orientalia.* Wrocław, 1974, t. 1, s. 95—105; *Dziechciaruk Z.* *Polonica na łamach czasopisma «Moskowskij Telegraf» (1825—1831).* — *Slavia Orientalis,* 1971, N 2, s. 115—123.

³ См.: *Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnict-*

wach rosyjskich i radzieckich. Wrocław, 1986, t. 2, s. 30—31, 228. В библиографии не указано, что все эти переводы включены в сборник А. В. Склабовского «Опыты в стихах» (Харьков, 1819, с. 99—108, 112—114, 118—119, 148—156).

⁴ См.: *Двойченко-Маркова Е. М.* *Красницкий в ранних русских переводах и подражаниях.* — В кн.: *Польско-русские литературные связи.* М., 1970, с. 114—120, 122—128.

⁵ ГБЛ, ф. 8, № М 2220.

⁶ См.: ЦГИА, ф. 1260, оп. 1, № 900, л. 22—23 (послужной список Анастасевича, составленный в 1810 году); *Брискман М. А.* *В. Г. Анастасевич (1775—1845).* М., 1958, с. 17.

польского языков. Предположение о наличии переводов с польского имеет все основания. За несколько лет до составления «Чужой музы», в 1794—1796 годах, Анастасевич перевел с польского пьесу В. Маревича «Полеся, дочь колесника, или Освобожденная вольность», которая осталась неизданной.⁷ В 1810—1820-е годы, особенно после выпуска насыщенного польскими матерьялами журнала «Улей» (1811—1812) и ряда переводов с польского, Анастасевич вполне заслуженно стяжал себе славу пологофила, закрепленную в сатире К. Н. Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова» (1813), в которой Анастасевич появляется с «польской музой».⁸ В «Чужую музу», сборничек на 55 листах, всего входит 72 произведения. Переводов польских поэтов XVIII века Нарушевича и Карпинского удалось выявить 11.

Переводы Анастасевича не были первыми переводами из Адама Нарушевича (1733—1796) на русский язык. Еще в 1788 году в Киеве была напечатана его «Таврикия, или Известия древнейшие и новейшие о состоянии Крыма и его жителях до наших времен», переведенная, вероятно, в связи с путешествием Екатерины II в Новороссию; а в 1791 году в «Московском журнале» появился «Праздник старца. Сочинение епископа Нарушевича».⁹ переведенной тяжеловесной прозой. Опыты Анастасевича стали первым стихотворным переводами крупнейшего польского классициста, следующие (А. Склабовского) появились в 1819 году, а в «Улье» Анастасевича публиковались только отрывки из «Истории польского народа» Нарушевича. В «Чужой муз» переводы из Нарушевича суть следующие: «Ничего слишком» (с. 10—13 — «Nic nadto», s. 44—46),¹⁰ «Песнь солнцу» (с. 40—43 — «Hymn do słońca», s. 14—16), «Песнь богу» (с. 43—45 — «Hymn do Boga», s. 138—139), «О

супружестве» (с. 48—51 — «Małżeństwo», s. 164—166).

Считается, что первые стихотворные переводы «поэта сердца» Францишека Карпинского (1741—1825) появились на русском языке в «Улье», а затем в «Украинском вестнике» в переводе А. Склабовского (1819). «Чужая муза» открывается самой известной идиллией Карпинского «Лаура и Филон» (с. 1—9 — «Laura i Filon», s. 288—294),¹¹ затем следуют «Роптанье на весну» (с. 15 — «Do Justyny. Tęskność na wiosnę», s. 279—280), «Счастливы Коридон» (с. 17 — «Korydon szczęśliwy, myśl z Katulla», s. 286), «Пастух к погибшей овце» (с. 19—20 — «Pasterz do owieczki straconej», s. 294—295), «Печальный Коридон» (с. 18—19 — «Korydon smutny, na śmierć Palmiry», s. 286—287), «Разлука Медона» (с. 20—23 — «Rozstanie się Medona», s. 280—282), «Возвращение из столпцы в деревню» (с. 45—48 — «Powrót z Warszawy na wieś», s. 470—472).

Двадцатилетний Анастасевич, ставший первым переводчиком польской поэзии классицизма и сентиментализма, выказал немалый литературный вкус и прозорливость. Обращение к творчеству Нарушевича и Карпинского было, конечно, не случайно — эти поэты пользовались большой известностью,¹² но из их разнообразнейшего поэтического творчества Анастасевич выбрал те лирические стихотворения и сатиры, которые со временем стали хрестоматийными, а идиллию «Лаура и Филон», как известно, из всего наследия Карпинского выделял Мицкевич.

Вместе с тем Анастасевич вовсе не собирался представить польскую поэзию «в образцах». Он не только не указывал авторов, но и последовательно (сообразуясь, вероятно, с общим замыслом сборника) устранил польские реалии. Так, в переводе гораціанского по тону и автобиографического по деталям стихотворения Карпинского «Возвращение из Варшавы в деревню» «Варшава» стала «столицей», «повят» — «уездом», а польские поэты XVI века и их мепенаты превратились в Гомера и просто «читателей», ср.:

Za lat Symonidesów albo Kochanowskich
Może znalazłbym sobie Zamoyskich,
Myszkowskich.

⁷ ГПБ, О. XV. 20; см.: Берков П. Н. Русско-польские литературные связи в XVIII в. М., 1958, с. 43—45.

⁸ См. очерк его пологофильской деятельности: *Włoszyński R. W. Polacy w Rosji 1801—1830*. Warszawa, 1984, s. 124—160.

⁹ См.: *Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich*, t. 2, s. 229. «Праздник старца» помещен в разделе «Нераскрытые заглавия оригинала», между тем еще П. Н. Берков указал, что перевод сделан с польского перевода идиллии С. Геснера, см.: *Берков П. Н. Указ. соч.*, с. 40; ср.: *Naruszewicz A. Poezje*. Lipsk, 1835, t. 1, s. 184—188.

¹⁰ В скобках указываются страницы «Чужой музы», название на языке оригинала со ссылкой на издание: *Naruszewicz A. Poezje*, t. 2.

¹¹ В скобках указываются страницы «Чужой музы», название на языке оригинала со ссылкой на издание: *Karpiński F. Dzieła / Wyd. K. J. Turowski*. Kraków, 1862.

¹² Показательно вместе с тем, что в «Чужой муз» нет ни одного стихотворения И. Красицкого, которого Анастасевич позднее усердно переводил и пропагандировал в «Улье».

О! если бы я жил, когда Омиры пели,
Тогда б читателей мои стихи пмели.

В отличие от многих других переводов польского поэзии в начале XIX века,¹³ переводы Анастасевича почти все эквилинеарны и ориентированы на стилистику оригинала. Наиболее резко отступление от этого правила сказалося в стихотворении «Роптание на весну» — переводе едва ли не самого популярного польского лирического стихотворения сентиментализма. Сохраняя общее число строк, Анастасевич за счет дополнений и перифраз («słowik» стал «певцом весны») увеличил длину стиха (дополнения переводчика выделены курсивом):

Толпкократ уже к нам солнце
возвращалось
И животворный блеск его являет день;
Мое светло где? Куда оно девалось?
Не светит мне. Ужель его скрывает
тьнь?

Уже хлеба взошли и стебли ветр лилеет,
Которы в скорости хотят колосья дать;
Как поле все теперь приятно зеленеет,
Моей пшенички лишь на поле не выдать!
Уже певец весны в саду песнь начинает,
Вся роща песням сим его ответ дает.
Глас птичек в сих местах весь воздух
наполняет,
Моя лишь птичка мне до сих пор

не поет.
Уже земля для нас цветами зацветела,
Как ономеднишний ее дождь напоил;
Природа луг в наряд различный

придела,
А мой еще цветок с земли не выходил!
Весна! Доколь тебя я с мокрыми глазами
Прошу, со всех сторон хозяин сокрушен?
Довольно землю я уже смочил слезами,
Отдай мой милый плод, которого лишен!

Позднейший анонимный перевод, напечатанный в «Благонамеренном»,¹⁴ больше на 8 строк и в нем совершенно разрушен четкий метафорический параллелизм четверостиший, лишь однажды нарушенный Анастасевичем межстиховым переносом в последнем четверостишии. Но и его перевод не вполне гладок и даже в чем-то характерен и для позднего Анастасевича: это и полонизм в заглавии перевода (если не простая ошибка), щедро рассыпанные уменьшительные формы наряду с тяжеловесными для лирического стихотворения «толикократ» и «ономеднишний».

Судьба рукописного сборника «Чужая муза» неизвестна, скорее всего включенные в него переводы не получили распространения, но выраженная

в переводах с польского¹⁵ ориентация на поэтов эпохи классицизма и сентиментализма полностью воплотилась в изданном Анастасевичем десятилетнем спустя журнале «Улей».¹⁶

Адам Нарушевич

НИЧЕГО СЛИШКОМ

Надежда лишь одна любовь живит,
пнтает,
Растет охота тем, где пользу обретает.
Почтенье к господам удерживает власть.
Проворство даст уму недостающую часть.
По добродетели имеется к нам вера.
Без верности чтоб кто доверил — нет

примера.
Живи умеренно — здоровье сохранишь,
Довольным будь, тем свой рассудок
укрепишь.

Рассудка самое удобное начало —
Лишь делай так, чтоб все порядок
изъявляло.

На мой вкус, нежный пол приятнее
простой
Природной прелестью, чем ложной
красотой.

Писателю за то не преминут смеяться,
Как будет о словах, не о вещах

стараться.
Кто в счастье своем быть хочет
совершен,

Будь честным более, хотя не столь учен.
Пусть более друзей, чем ложных ласк
имея,

Лишь добродетель чтит, языков не умея.
Здоровье более богатств блюдет свое
И мирно более доходов житие.

Кусок имения беспорочный п спокойный,
И малый огород, домашний стол
пристойный,

Проворного пметь мальчишку для услуг,
Лошадок выехать довольно добрых двух,
Не многих дружеством соседей хвастать
смею,

Но счастлив истинно, как все сме пмею.
При малом каминке согреться я люблю
Зимой, как в хищнице своей я хлад
терплю.

Люблю быть в гости зван, где лесть
дверей не знает,
И где нас несколько приятелей бывает,

¹⁵ Возможно, в «Чужой музе» есть и другие переводы с польского. В частности, А. Дворский писал, что не смог отыскать оригинала опубликованного в «Улье» стихотворения «Двор», т. е. предполагал его польский оригинал, см.: Dworski A. Z dziejów zblżenia kulturalnego, s. 169. Переведено ли оно с польского, неизвестно, но отметим, что в «Улье» напечатан перевод, включенный и в «Чужую музу» (с. 71—72).

¹⁶ См.: Łuźny R. Polsko-rosyjskie związki literackie w pierwszych dziesięcioleciach wieku XIX a tradycję Oświecenia. — In: Spotkania literackie. S. 7—32.

¹³ См.: Dworski A. Z dziejów zblżenia kulturalnego, s. 164.

¹⁴ См.: Весенняя песнь: (Подражание Карпинскому). — Благонамеренный, 1826, ч. 33, № 8, с. 99—100.

Где с чаши небольшой с приятностью
едят,
Пьют старое вино, о дружбе лишь
твердят.
И так весь смысл сплх слов тому нас
наставляет,
Что все *излишнее* нам вред приготовляет.
Хоть малое словцо, но *разобравши* всяк,
Увидит многих в нем вещей различных
знак.
Излишний сон души в нас слы
расслабляет,
Излишний крик ушам вредит, слух
притупляет,
Излишни плутовства чужой сосут
карман,
Излишне кто смирен — невежа и болван.
Излишняя любовь наш разум потемняет,
Излишний порошок прием смерть
ускоряет.
Излишне тонкой ум готовит нам обман,
Излишне барин строг, так говорят —
тиран,
Излишне бережлив — сребролюбив, скуц,
скряга,
Излишне смел — пахал, и наглый, и
бродяга.
Излишни вотчины бывают в тягосте нам,
Излишни почести — неволя господам.
Излишний разум наш ум часто
повреждает,
Излишняя роскошь в гроб скорее
провождает.
Излишне доверяй — копаешь ров тебе,
Излишне откровен — изменник сам себе.
Излишне обещав, исполнить редко
можно,
Излишне кто собрал, прибыток числит
ложно.
Излишне говоря, намелешь лишний
вздор,
Излишни шутки вдруг рождают шумный
спор.
Излишни почести — в нас гордость
возрастает,
Излишне доброго всяк простяком считает.
Излишне угождать пристойно подлецам,
Излишние чины в речах наскучат нам.
Но если лишнее спс границы знает
И правит разум им, то все не то
бывает.
Употребленье зла — начало зла всего;
Зависит иногда и все от *ничего*.
Не презирай сего *ничто*, когда бывает,
Что часто много дел оттол простекает.
И тяжба, и любовь, и страшная война
Бывает иногда ничем возрождепа.
Одно ничто кредит у всех тебе находит,
У дам и при дворе тебя в знакомство
вводит.
Одно ничто открыть твой скрытый может
дар,
Одно ничто в мозгу твоём возродит жар.
Ничто богатства нам несчетны
доставляет,
Ничто и самый хлеб насущный отнимает.
Ничто желанья приводит до конца,
Ничто печалию сражает в нас сердца.
Любовь! Твой также огонь вовек гореть
не знает:
Ничто его возжет, ничто и угашает.

Франциск Карпинский

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СТОЛИЦЫ
В ДЕРЕВНЮ

Вот бедный домик мой и глиняные стены,
Простая печь и все окошки
раздробленны.
Вот кровля низкая по-прежнему стоит,
Но только более упадком все грозит.
Счастлив, кто малостью довольным быть
умеет,
Спокоен за столом и сыт, как щи имеет,
Копает зелень с гряд своих в саду своем;
Свой скот, напиток свой и верный друг
при нем.
Не обманулся б я, так прежде
рассуждая,
И в скрытном уголке б жил, никого не
зная.
В уезде бы никто о мне не вспоминал,
Всяк добрым бы меня соседом называл,
Мне труд кровавый рук снискал бы
труд удобный.
Я жил бы без вести, я б умер без
надгробной!
Что прибыли, что мой дом бедный
опустел?
Я безрассудно плыть против воды хотел.
Сам видел многих здесь, как бедно
утопали.
Но рассуждал об них, что плавать как
не знали.
Без пользы у господ пороги я топтал,
По скользким лестницам ступени лишь
считал.
Я мог ли жребий свой поправить
пустяками.
Лишь вспомнишь, что бывал когда-то
с господами?
Когда старик отец мой, помню, умирал,
«Иди, сын, в свет, и где ты будешь» —
мне сказал, —
Знай, что всяк с правдою себя не
потеряет,
Наследник бедности! она людей питает».
Живя с вельможами, я помнил сей совет,
Писал и говорил, как чувствовал.
Предмет
Мой был не тот, чтоб дел чужих мне
быть судью,
Хвалил я, с совестью советуюсь своею.
Что ж выиграл, что лезть я подлостью
считал?
Я бедным выехал и больше бедным стал.
Однак за то тебя, святая добродетель,
Что хлеба не даешь, не брошу, бог
свидетель.
Хоть обещало мне свой счастье венец,
Мне с правдой хорошо, и так велел
отец.
Как было, признаюсь — мне что-то там
сулили,
Но всю бы жизнь мою они за то купили.
Я под ярмом бы их невольник вечный
был,
Для них бы жил свой век, а жизнь
свою забыл.
Надежду наконец мне щедро предлагали,
Я зла не делал, мне добром не помогали.

Надежда! В золоте ль желал я зреть
тебя,
Чтоб очн обратить народа на себя?
Богатством чтоб гремя, других топтать
ногами?
Я не о том просил у счастья пред
вратами.
Я деревушки лишь и домика желал,
Где б ел умеренно, но неголодным
встал.
Где б ни пред кем уже к стене не
прижимался
И плугом бы своим на ниве занимался;
Хоть в тесном уголке всегда б
спокойным был,
Пусть лез бы вверх другой, а я б
спокойно жпл.
В намерении сем труд век мой
сокращает,
Ученье глаз меня и здравия лишает;
Век сидя с книгами, обидел я свой рот,
Излишний, может быть, оне составят
счет.
Что ж книги дали мне? Как нива худо
платит
Неплодна мужику, что в ней надежду
тратит.
Не возвращу теперь весны моих я лет,
Зима на голове, в запасе хлеба нет.
О! если бы я жил, когда Омиры пели,
Тогда б читателей мои стихи имели,
Под покровительство их я спокойно б
жил
И наставлением для юношей служил.
Теперь бы с книгами охотно я
протился

К которым в юности привыкнув
пристрастился.
Мне лучше в бедности, когда со мною
мой друг.
За заступом глядеть и наблюдать свой
плуг.
Бросаю голову ломать с пером напрасно,
Пусть сердце чувствует и мне твердит
всчасно
Жалеть о участи беднейших всех других
И ближним помогать трудами рук своих.
Любезная сестра! И ты так поспешала,
Как будто день, когда я возвращаюсь,
узнала.
Что там в углу стоишь? Твой бледный
цвет лица...
Несчастливая жена с детьми и без отца.
Глядишь мне на руки, какое дам
призренье
Тебе, когда уже погибло все племье;
Познали нужду вы, она терзает вас;
Я вижу, что и ты выпала правды глас.
О бедная родня! Как слепо рассуждает:
«Он меж вельможей был, теперь нас
пропитает».
Так, был и мог бы быть я нужен
господам,
Не зная, что они так платят всех трудам.
Свершилось! Я куска земли своей
лишился,
Чужую землю рыть с тобой теперь
решился.
Пойдем, чтоб хижинку чем бедну
подпереть
И в ней, проживши век, спокойно
умереть.

С. М. Шаврыгин

А. А. ШАХОВСКОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ (1793—1805)

90-е годы XVIII века имели важное значение в становлении личности Шаховского — одного из крупнейших драматургов первой четверти XIX века. Он «окунулся» в жизнь петербургской аристократии, оказался перед выбором между профессиональным занятием литературой и светской карьерой, преодолел искус «большесветства», а опыт общения в аристократической среде сыграл решающую роль в формировании литературной позиции драматурга.

В письме П. М. Бакувиной от 1 марта 1838 года Шаховской ярко, но очень кратко рассказал об этом периоде своей жизни.¹ Этот рассказ, хотя и лишенный биографических подробностей, помогает восстановить хронологическую канву событий.

После окончания Московского университетского благородного пансиона, 16-ти лет от роду, т. е. в 1793 году, Шаховской приехал в Петербург на службу в Преображенский лейб-гвардейский

полк. В последующие три года Шаховской, по всей вероятности, благодаря записке дяди своей матери, П. Б. Пасека, полковому начальству, очень мало занимался службой, а «ударился в авторы, не научась ничему порядочно».

С 1796 года начинается новый этап петербургской жизни Шаховского. Драматург вспоминал: «Распых моего авторства был притуплен требованием службы; перо заменилось ружьем...»² Это был год смерти Екатерины II и вступления на престол Павла I, побуждавшего от дворян фактического, а не формального несения службы. В полку Шаховской сближается с представителями «золотой» дворянской молодежи: С. Н. Мариним, М. С. Воронцовим. Они и открыли перед Шаховским путь к светской карьере, познакомив его с М. А. Нарышкиной, теткой М. С. Воронцова.

² Шаховской А. Летопись русского театра: Вступление. — Репертуар русского театра, 1840, № 11, с. 4.

¹ Маяк, 1840, ч. 1, с. 41—44.

О том, какую роль играл Шаховской в салоне А. Л. и М. А. Нарышкиных в 1801—1805 годах, и повествуют письма С. Н. Марина М. С. Воронцову, до сих пор не привлекавшие внимания исследователей творчества Шаховского.³

Передко на даче А. Л. Нарышкина, которая находилась на 15-й версте от Петербурга по Петергофской дороге, давались домашние спектакли для самого близкого круга лиц. В этих спектаклях, посвященных, как правило, семейным торжествам, участвовал и Шаховской. С. Н. Марин описал распределение ролей «сюрприза», который готовился по случаю именин А. Л. Нарышкина: «1) Аптон Арин во французском кафтане и в большом парике, ведя одетого в женское платье на фижах Александра моего, встретит именьника в парке; 2) граф Пушкин китайским мандарином говорит речь очень правоучительную на маньчжурском языке, имея при себе маркиза Вильеро толмачом; 3) княгиня в азиатском платье — жена Шаховского, Турка, похощаемая 4) мною в арабском костюме; 5) трактир, где княгиня хозяйкой; 6) Левушка и Кирюша (сыновья А. Л., — С. III.), один, потом другой Бог знает чем...» (с. 425). По всей вероятности, спектакль включал самые разные литературные мотивы и носил полумимовизиционный характер. Нарышкин поощрял такого рода развлечения, участвовал в них сам. В условном мире спектакли он не боялся надевать на себя шутовской маскарадный костюм и в определенной роли войти в течение маскарадного сюжета. Однако как только кончался спектакль, сбрасывалась и маска. Не так было в повседневной жизни. Каждому знакомому, тем более другу дома, отводилась в иерархии салона конкретная «роль», которую нужно было «играть» постоянно и выйти за рамки которой, независимо от мотивов, считалось непристойным. С. Н. Марин так вспоминал об этом: «Я влюбился в Тусень, и Бозльде мне помогает. Все там идет по-прежнему. Александр Львович и Марья Алексеевна веселы, княгиня иногда грустна, Бижу (князь А. А. Суворов, муж княгини Елены, дочери А. Л. Нарышкина, — С. III.) врет, Кирила сердится. Шаховской играет все роли на свете. Петенька пьет, камердинеры за мной подсматривают, не волочусь ли я за Дупяшей...» (с. 401).

Как видим, Марин должен был играть в этом «спектакле» роль волокиты и первого любовника, княгиня Елена — грустной принцессы, А. А. Суворов — фантазера и красноречивый, Кирила — сердитого юноши, Петенька — горького пья-

ницы, камердинеры — блюстителей порядка и нравственности. В последнем случае явственно, а в предыдущих скрыто «роль» превращалась в чин и должность, к которой нужно было проявлять усердие.

Как и у всех, у Шаховского была своя роль, но она носила особый характер. Он должен был играть «все роли», а значит, и те, которые играли его друзья. Однако он должен был это делать не всерьез, а пародийно. Тем самым он должен был развлекать окружающих.

Ранняя тучность и неловкость самого Шаховского служили предметом добродушных насмешек. Марин писал: «...нельзя не вспомнить Шаховского и Константинова. Первый пишет комедии, дерется с Гераковым и ломает в домах паркеты: свидетель Вильеро, у которого, танцуя, он изломал пол» (с. 420). Шаховской признавался сам, что добивался успеха в свете, «зная все маленькие игры, болтая иногда забавно, отличаясь в мистификациях, делая за присест провербы и сюрпризы...». Таким же мастером на все руки был он и в салоне Нарышкиных. Марин писал Воронцову: «На даче теперь новая страсть: никто больше ни о чем не думает, как о каскадах; в три дня сделано их шесть. Где только течет вода, везде ты увидишь камни; Шаховской, архитектор, гидрант и все, что хочешь, делает чудеса» (с. 432).

Однако стоило Шаховскому сбросить маску «забавника», показать свою настоящую душу и мысли, покуситься на чужую роль, Марин вспоминал уже с раздражением: «Шаховской играет роль не очень забавную; он влюблен... Его держат в черном теле; он бесится, вздыхает, ко всему ревнует» (с. 437). В этом обществе Шаховской не имел права на серьезность чувства и отношения.

Шаховской с его светской репутацией, недостатком средств и связей, вдохновенным исполнением взятой на себя роли оказался в положении «цехового» шута. Эта должность требовала от него все больше прикрывать свое настоящее лицо угодной аристократии маской, вынуждала отказаться от своего настоящего «я». Отрезвление от светского угара не могло не принести Шаховскому горького разочарования. Он «стал беситься на свое светское счастье». В конце концов он нашел правильное решение вставшей перед ним проблемы: он решил противопоставить несправедливости судьбы, богатству и знатности окружающих людей свою духовную энергию и поэтический талант. Оставаясь дворянином, Шаховской встал в нравственную оппозицию аристократии. Суть этой оппозиции выражалась в стремлении обнажить пороки дворянства и улучшить нравы этого сословия изнутри. Таким образом, именно в эти годы драматург сознательно перешел на позиции просветительского классицизма.

³ Архив князя Воронцова: Бумаги фельдмаршала князя М. С. Воронцова. М., 1889, кн. 35: Письма графа А. Х. Бенкендорфа и С. Н. Марина. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Пришедшее понимание света обогатило его мысль. Он смог изучить и оценить то общество, которое осмелел потом в своих комедиях. Шаховской понял иерархию отношений в светском обществе, распределение «ролей» внутри него. Это во многом помогло ему найти драматургическую форму, отвечающую его просветительским задачам.

Шаховской на себе испытал одну из

самых унижительных светских ролей, которая, как никакая другая, уничтожает личность. Но сила натуры Шаховского была такова, что он сумел найти живое, плодотворное начало и в этой роли. С ее помощью в своем театре он создаст образ поэта-шута, через который выразит свое понимание роли поэта в обществе.

Р. М. Лазарчук

НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ К. Н. БАТЮШКОВА

(О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ПОЭТА)

Вплоть до недавнего времени единственной биографической книгой о Батюшкове оставалась монография Л. Н. Майкова, изданная к 100-летию со дня рождения поэта. 1987-й, юбилейный, год прибавил к ней «документальное повествование» В. А. Кошелева «Константин Батюшков. Странствия и страсти», «документальную повесть» для детей В. Афанасьева «Ахилл, или Жизнь Батюшкова». Тем заметнее обозначился пробел: о детстве К. Н. Батюшкова биографы всегда пишут предельно кратко — слишком мало фактов, почти нет документов, и потому так приблизительны представления. Мы не знаем точно, когда лишилась рассудка мать поэта А. Г. Батюшкова. Л. Н. Майков полагал, что это произошло «через некоторое время по рождении сына».¹ Предположение? Безусловно. Но ведь именно оно влечет за собой догадку современного исследователя: «В этой ситуации дети оказывались лишними, требовалось удалить их от матери. Поэтому три старшие дочери определяются в петербургский пансион... младшие дети (Константин и Варвара, — Р. Л.) отправляются в Даниловское».² За догадкой — уже совершенно естественно — появляется новое допущение: первым учителем, «самым вероятным „воспитателем“ поэта» оказывается его дед Л. А. Батюшков (с. 174). Будучи только предположениями, эти

суждения незаметно приобретают характер утверждения, когда, принятые на веру, без доказательств, становятся «исходными посылками» и ведут к новым «заключениям». Так совершается опасная подмена. Догадки претендуют на то, чтобы создать иллюзию ясности.

Человек без детства... Именно так чаще всего изображают К. Н. Батюшкова биографы: «Его детство было окрашено трагическими обстоятельствами, наложившими отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Вскоре после рождения Константина... его мать психически заболела и умерла, когда будущему поэту было восемь лет. Воспитание детей легло на плечи отца, человека просвещенного, но тяжелого и неуравновешенного, с юности уязвленного незаслуженной опалой, постигшей его из-за родственника, замышлявшего заговор против Екатерины II».³ Все лучшее в Батюшкове, человеке и поэте, исследователи неизменно связывают с М. Н. Муравьевым. Влияние неоспоримое, засвидетельствованное самим Батюшковым. Но почему мы не видим в его жизни других «благородных руководителей» и «наставников»?⁴ Почему мы вообще воспринимаем Батюшкова как личность лишь с того момента, когда Муравьев заметил его талант? Может быть, потому, что в сущности ничего не знаем о тех, кто дал ему жизнь? Скажем прямо: в нашем распоряжении нет материалов, позволяющих дать точные ответы на все эти вопросы. Но есть документы, неопровержимо доказывающие ложность некоторых привычных «истин»; есть новые факты биографии отца и матери К. Батюшкова. Разрозненные, но точные, они интересны и ценны уже

¹ Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е, СПб., 1896, с. 8.

² Кошелев В. А. К биографии К. Н. Батюшкова. — Русская литература, 1987, № 1, с. 173. То же: Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987, с. 15. В дальнейшем ссылки в тексте даются на статью, так как интересующий нас период жизни К. Н. Батюшкова представлен в ней более обстоятельно. В случае разночтений цитируется книга.

³ Зорин А. Л. Несчастный счастливец. — В кн.: Батюшков К. Н. Избр. соч. М., 1986, с. 4.

⁴ Майков Л. Указ. соч., с. 15, 16.

потому, что на определенном этапе перестают быть подробностями жизни провинциального чиновника и его жены и становятся деталями биографии поэта. Постигая судьбы родителей, мы несомненно приближаемся к сыну, потому что детство — это корни, традиции, первые нравственные уроки, это все или почти все в характере человека, потому что:

От первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу
гений
И им в течении дней своих не изменит!⁵

Л. Н. Майков считал, что важнейшим обстоятельством, обусловившим жизненную судьбу и характер Н. Л. Батюшкова, была несправедливая опала, тяготившая над ним с юности.⁶ Опала помешала его служебной карьере. Опала определила и его жизненную позицию. «Подобно большинству насильственно отстраненных от служебно-политического поприща родовитых дворян XVIII века, он занялся чтением и пополнением своего образования, став знатоком и почитателем французской литературы и просветительной философии и великим книголюбом, собравшим в своей родовой... усадьбе богатейшую библиотеку», — пишет Д. Д. Благой.⁷ Это традиционное для нашей науки представление недавно было опровергнуто В. А. Кошелевым как «несоответствующее действительности»: «...никакой серьезной опалы в отношении Николая Львовича не было», он дослужился до губернского прокурора, «должности для губернского города... немалой» (с. 171, 172). Итак, опальный дворянин или преуспевающий чиновник... Где же истина? Концепция Л. Н. Майкова основывается на предании. В. А. Кошелев пытается противопоставить ей документальные свидетельства. Но документов у него немного, в сущности один, относящийся к военной службе Н. Л. Батюшкова и датированный 1774 годом. Почти пятнадцатилетняя гражданская служба Н. Л. Батюшкова и даже отдельные моменты его жизни за 1782—1795 годы реконструируются В. А. Кошелевым только по «Месяцесловам...», источнику, как мы убедимся, не всегда надежному. К тому же обстоятельства, сопутствующие «перемещению по службе», порою могут рассказать больше, чем само «перемещение», но об этом адрес-календари умалчивают.

В «служебной» биографии отца поэта В. А. Кошелев выделяет два этапа: военная служба с 1764⁸ до 1780 или 1781 года (предположительно) и штатская («начинная с 1782 г. он упоминается в „Месяцесловах...“ состоящим в гражданской службе по Вологодскому наместничеству», с. 171). Документы убеждают в иной хронологии. Военная служба Н. Л. Батюшкова продолжалась с 1767 по 1777 год.⁹ Его отставка вызвана, скорее всего, длительной болезнью, упоминание о которой находим в письмах М. Н. Муравьева отцу от 21 января и 11 июля 1776 года: «Николаю Львовичу отсрочка дана...»; «Николай Львович в деревне и все еще болен».¹⁰ Штатская служба началась для отставного поручика Батюшкова в 1781 году.¹¹ Никаких противоречий с данными «Адрес-календаря...» нет. Датируя начало гражданской службы отца поэта 1782 годом, В. А. Кошелев не учитывает того, что в «Месяцесловах с росписью чиновных особ в государстве при начале сего... года» сообщались сведения предыдущего года. Присланная из Вологодского наместничества ведомость составлена 20 декабря 1781 года. «Со списком Герольдмейстерской конторы» она сверена 24 апреля 1782 года.¹²

В течение нескольких лет (1777 (?), 1778—1780, 1781 (?)) Николай Львович

⁸ Дата установлена на основе хранящегося в ЦГИА свидетельства военной коллегии. Заметим, что в «Промемории из Государственной военной коллегии... в Герольдмейстерскую контору» названа другая дата: «...в службе он состоит с 767» (ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 567, л. 806).

⁹ «...Я с 1767-го по 1777-й год продолжал военную службу, а с 1781-го года поныне находился в штатской» (Прошение Н. Л. Батюшкова Павлу I. — ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 2, об.; Прошение Н. Л. Батюшкова Павлу I. — Там же, ед. хр. 55091, л. 1). См. также: Списки состоящим в гражданской службе чином на годы с 1795 по 1815 гг. [СПб., 1795—1815].

¹⁰ Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 445. Собрание Чертковых, ед. хр. 48.

¹¹ См.: Список удастаиваемых от действительного тайного советника генерал-прокурора... к получению ордена Свято равноапостольного князя Владимира: «... надворный советник и Вятского наместничества губернский прокурор Николай Батюшков... продолжая службу свою в прокурорском звании с 1781 года» (ЦГАДА, ф. 248, оп. 81, кн. 6683, ч. I, л. 790, об.). Та же дата и в цитированных выше прошениях Н. Л. Батюшкова Павлу I.

¹² Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето... 1782, с. 354, 360.

⁵ Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1887, т. 1, с. 203.

⁶ Майков Л. Н. Указ. соч., с. 7.

⁷ Благой Д. Судьба Батюшкова. — В кн.: Благой Д. Три века: Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., 1933, с. 17.

был «не у дел». Ответить на вопрос, где он жил, в чем состояло его главное занятие, трудно. Реконструкция поддается лишь небольшой временной отрезок (конец декабря 1780 года—середина июля 1781 года), когда, судя по письмам М. Н. Муравьева отцу и сестре, Н. Л. Батюшков находился в Петербурге. Первая дата приблизительно. Не исключено, что Батюшков приехал в столицу гораздо раньше. 31 декабря 1780 года М. Н. Муравьев сообщает отцу о двоюродных «братцах» Николае Львовиче и Павле Львовиче, с которыми он «довольно часто видится».¹³ Но в собрании ИРЛИ это единственное письмо за 1780 год. Николай Львович уже женат.¹⁴ 10 марта 1781 года к нему «приехала Александра Григорьевна Батюшкова».¹⁵ Упоминания о Н. Л. Батюшкове в письмах М. Н. Муравьева всегда лаконичны, но часты и неизменно — по-родственному, по-дружески — теплы. Только в письме к отцу от 17 мая 1781 года появляется намек на цели пребывания Батюшкова в Петербурге: «О Николае Львовиче писал я рано: он еще не определен».¹⁶ Предыдущее письмо датировано 29 апреля. Перекры в почте в 20 дней. Обычные для переписки М. Н. Муравьева паузы не превышают 3—4 дней. Письма с информацией о несостоявшемся назначении Батюшкова в собрании ИРЛИ нет. 13 июля 1781 года Батюшковы покидают Петербург («Сегодня отправился Николай Львович, после разных остановок»)¹⁷ Однако указ об «определении в Великоустюжский губернский магистрат прокурором поручика Батюшкова» последовал только 22 октября 1781 года. Для назначения на это более чем скромное место Николаю Львовичу потребовалось дать «подписку в том: когда его сиятельством действительным тайным советником генерал-прокурором... князь А. А. Вяземским удостоен я буду в Великий Устюг в губернский

магистрат прокурором и правительствующим Сенатом в тот чин пожалован буду, то от пожалованья моего с того места чрез пять лет увольнения не просить (курсив мой, — Р. Л.), в чем и подписуюсь».¹⁸ Этот любопытный документ датирован 15 октября 1781 года. 11 января 1782 года коллежский ассessor Николай Батюшков приступил к исполнению должности.¹⁹ Возможность переезда отодвигалась на пять лет. 14 августа 1783 года Н. А. Муравьев предпринимает попытку добиться через генерал-прокурора А. А. Вяземского перевода Н. Л. Батюшкова («племянника моего») в Вологду, на открывшуюся в верхней расправе «прокурорскую ваканцию».²⁰ Спустя некоторое время нетерпеливый дядя повторяет просьбу, присовокупив к ней напоминание о том, «что Батюшков с самого его определения в прокуроры не бывал в отпусках».²¹ Разрешение на трехмесячный отпуск (в ответ на свое прошение) Николай Львович получил еще 9 августа.²² Находящийся в Твери дядя об этом пока не знает. Напоминание же скорее характеризует беспокойную натуру Н. А. Муравьева, но, очевидно, оснований для тревог у него были. Просьбы сенатора, тайного советника Н. А. Муравьева остались лежать в книге «Партикулярные письма от разных особ, на кои не ответствовано». Трудно представить, чтобы постоянный ходатай Батюшкова (а в этом мы еще не раз убедимся) не принял участия в судьбе племянника тогда, когда тот ожидал в Петербурге «определения к месту». С 25 января по 28 марта 1781 года Никита Артемонович находился в столице по служебным делам.²³ У него было рекомендательное письмо к А. А. Безбородко. Он встречался с А. А. Вяземским. Его представили императрице. Он говорил с ней и «с таким успехом, как... лучше не желал бы».²⁴ Конечно, действительный стат-

¹³ ИРЛИ, Р. П., оп. 1, ед. хр. 261. Муравьев М. Н. Письма его к отцу, Н. А. Муравьеву, с приписками к сестре — Ф. Н. Муравьевой 1779—1781 годов, л. 3, об.

¹⁴ В. А. Кошелев предполагает, что женитьба Н. Л. Батюшкова состоялась в 1782 году, когда он уже служил в Великом Устюге (с. 174).

¹⁵ ИРЛИ, Р. П., оп. 1, ед. хр. 262. Письма М. Н. Муравьева сестре Ф. Н. Муравьевой, л. 2. Письмо от 11 марта. Дата — 1780 год — поставлена М. Н. Муравьевым ошибочно. Из контекста видно, что описываемые им события происходят в 1781 году (см. письмо сестре от 15 марта 1781 года: «Вчера была у нас в первый раз Александра Григорьевна Батюшкова» — л. 35, об.).

¹⁶ ИРЛИ, Р. П., оп. 1, ед. хр. 261, л. 39, об.

¹⁷ Там же, л. 59, об.

¹⁸ ЦГАДА, ф. 248, оп. 80, кн. 6529, № 94, л. 532. В доказательство того, что Н. Батюшков «неплохо продвигался по службе», В. А. Кошелев пишет: «... в 1776 году был уже штабс-капитаном» (*Кошелев В. Константин Батюшков. Страствия и страсти*, с. 14). Источник сведений не назван. Документы свидетельствуют, что в отставку Н. Л. Батюшков ушел в чине поручика.

¹⁹ Там же, л. 538.

²⁰ Там же, ф. 248, оп. 148, кн. 6509, ч. I, л. 194. Н. А. Муравьев и Л. А. Батюшков (дед Константина Николаевича) были женаты на сестрах Ижорских.

²¹ Там же, л. 195.

²² Там же, оп. 80, кн. 6553, № 52, л. 427—430.

²³ Даты установлены по письмам М. Н. Муравьева сестре. — ИРЛИ, Р. П., оп. 1, ед. хр. 262, л. 9, 43.

²⁴ Там же, л. 9, 14, 23.

ский советник, тверской вице-губернатор Н. А. Муравьев — человек для петербургских кругов не очень влиятельный (и собственная карьера давалась ему не без трудов),²⁵ но ведь и притязания Н. Л. Батюшкова с самого начала не распространялись дальше получения места «в Вологодской области по причине имеющихся там его деревень».²⁶ От чего же это столь умеренное желание оказалось неосуществимым? Почему «определенне» Николая Львовича «к месту» затянулось почти на год? Н. А. Муравьев свидетельствует противоречиво. Сначала: Н. Батюшков «определен в Устюг Великий» «за немением тогда в Вологде ваканций». Потом: «Племянник мой Батюшков... дал от себя реверс, чтоб чрез 5 лет не утруждать ваше сиятельство о увольнении от нынешней его должности, а просил только, чтоб при открывшейся... вакансии перевести его в Вологодскую область...»²⁷ Но если в 1781 году Николай Львович не получил назначения в Вологду только из-за отсутствия «ваканций», то почему в 1783 году, когда «ваканция» появилась, Вологда по-прежнему оставалась для него недоступной? Не будем спешить с выводами. Одно несомненно: место прокурора губернского магистрата Великоустюжской области Н. Л. Батюшков должен был принять как дарованную милость. «Доставляю Вам верный способ оказать свою ревность и усердие ее императорскому величеству и отечеству... не сомневаюсь, чтоб вы не соответствовали моему выбору желаемыми успехами»,²⁸ — пишет ему генерал-прокурор Вяземский 30 ноября 1781 года. Так считал и Николай Львович. Благодарителя своего сенатора Николая Борисовича Самойлова (?—1791), по чьей «просьбе», чьим «взысканным» «милостям»²⁹ он почитал и помнил. Единственное свидетельство о жизни Н. Л. Батюшкова в Великом Устюге, которым мы располагаем. — его письмо к сестре и зятю Анне Львовне и Ивану Семеновичу Карауловым от 12 мая 1783 года: «... мы живем как добрые друзья. не имея никакого пощения, чтоб воздавать кому поклонения... Я истинно скажу, что если б не отдаление места, то я б с охотою согласился здесь пожить,

но сие меня до бесконечности беспокоит».³⁰ От Москвы до Устюга Великого 886,5 верст, от Санкт-Петербурга — 1169,5, от Вологды — 457,5... Судя по письму, Николай Львович давно покорился судьбе: «...но когда нет средства отбыть так скоро, то я и положился во всем на святое провидение».³¹ Он «ожидает отпуску», но из Петербурга «до сего еще» нет «никакого ответа» (вот почему тревожится и просит Вяземского о племяннике Н. А. Муравьев).

26 апреля 1785 года (через три с половиной года после назначения в Великий Устюг) коллежский ассессор Батюшков был переведен в Ярославское наместничество.³² Должность оставалась прежней — прокурор губернского магистрата. Подробности этого служебного перемещения неизвестны. Ордер о переводе подписан генерал-прокурором Вяземским. В формулярном списке Н. Л. Батюшкова, реконструированном В. А. Кошелевым, этот факт, зафиксированный в «Месяцеслове»,³³ отсутствует.

Пребывание Николая Львовича в Ярославле было недолгим. В конце июля 1785 года он еще «не явился» к «должности» из-за «приключившейся болезни».³⁴ 27 июня 1786 года датировано «доношение» ярославского губернского прокурора Н. А. Замыцкого А. А. Вяземскому о «желании» «Ярославского губернского магистрата прокурора Батюшкова» «службу свою продолжать в вологодском верхнем земском суде прокурором же, коего теперь там состоит вакансия». Мотивировка перевода прежняя: «... деревни свои имеет по Вологодскому наместничеству, здесь же их у него ничего нет».³⁵ К официальному ходатайству прибавлена личная просьба Н. Замыцкого. 21 июля 1786 года генерал-прокурор А. А. Вяземский предписывает Н. Л. Батюшкову «немедленно отправиться для вступления в новую вашу должность».³⁶ Начинается вологодский — самый продолжительный (1786—1791) и, по-видимому, самый успешный — период служебной деятельности Николая Львовича. Факт этот установлен В. А. Кошелевым (с. 171—172). Документы уточняют некоторые, преимущественно хронологические, детали и приоткрывают скрытые «пружинки» служебных успехов Н. Л. Батюшкова. Надворный советник Н. Батюшков (этот чин был дан ему указом правительствующего Сената от

²⁵ См. об этом комментарии Л. И. Кулаковой и В. А. Западава к письмам М. Н. Муравьева отцу и сестре 1777—1778 годов. — В кн.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 356.

²⁶ ЦГАДА, ф. 248, оп. 148, кн. 6509, ч. I, л. 195.

²⁷ Там же, л. 194, 195.

²⁸ Там же, оп. 80, кн. 6529, л. 535, об. — 536.

²⁹ Письмо Н. Л. Батюшкова А. Н. Самойлову от 29 октября 1792 года. — Там же, оп. 150, кн. 6642, л. 11, 11, об.

³⁰ ЦГИА, ф. 1101, оп. 2, ед. хр. 156.

³¹ Там же.

³² ЦГАДА, ф. 248, оп. 80, кн. 6582, л. 383, 387.

³³ Месяцеслов с росписью чиновных особ... на лето... 1786, с. 155.

³⁴ ЦГАДА, ф. 248, оп. 117, ед. хр. 665, л. 3, об.—4.

³⁵ Там же, оп. 80, кн. 6592, л. 532.

³⁶ Там же, № 70, л. 533.

14 августа 1786 года)³⁷ прибыл в «должность» прокурора 2-го департамента верхнего земского суда 2 октября 1786 года.³⁸ Со времени подписания им «реверса», оставленного в Канцелярии генерал-прокурора, прошло почти пять лет. Очевидно, формальности считались соблюденными, хотя и допущено послабление: вместо требуемых подпиской пяти лет Николай Львович прослужил в Великом Устюге только три с половиной года. 12 апреля 1790 года последовало назначение Батюшкова на должность губернского прокурора Вологодского наместничества.³⁹ На сей раз «всепокорнейшая просьба» Н. А. Муравьева возымела действие. В фондах ЦГАДА хранится его письмо генерал-прокурору А. А. Вяземскому от ноября 1789 года: «Уверен толь многими опытами (курсив мой, — Р. Л.), что ваше сиятельство поставляет за собственное свое удовольствие то счастье, которое другим оказывать изволите; осмеливаюсь утрудить вас...»⁴⁰ Что это: обычные для официального письма формулы вежливости или действительные «многие опыты» «благодеяний, полученных» от генерал-прокурора? Неясно. 24 мая 1790 года губернский прокурор надворный советник Н. Батюшков «приведен к присяге».⁴¹ Служебные успехи его очевидны, но, кажется, стабильности в положении все еще нет. Иначе почему вслед за прошением Батюшкова об отпуске⁴² (явно ему полагающемся) в Петербург летит собственноручное письмо тайного советника и ордена св. Анны кавалера Н. А. Муравьева К. И. Литинскому: «... покорно прошу... исходатайствовать ему требуемый отпуск и меня по своей дружбе уведомить».⁴³ Ксаверий Иванович Литинский — обер-секретарь при генерал-прокурорских делах.⁴⁴

Вологодский период жизни Н. Л. Батюшкова вызывает самый пристальный интерес исследователей: ведь именно здесь 18 (29) мая 1787 года родился К. Н. Батюшков, здесь прошло его раннее детство. И потому естественны и закономерны поиски первого вологодского адреса поэта. В. А. Кошелев убежден в том, что «отец поэта жил на казенной квартире» и что с «ранним детством Батюшкова в Вологде связаны

один (или два) дома, идущие по „прокурорскому“ ведомству».⁴⁵ Однако дома губернского прокурора в Вологде не было ни в 1787-м, ни позже, в 1791—1792 годах, когда Николай Львович покинул город. Только в 1787 году были утверждены планы под постройку казенных каменных домов вологодским вице-губернатору, почтмейстеру, казначеям и коменданту.⁴⁶ Вообще, судя по «Ведомости, учиненной 1792 г. января месяца... о количестве градского строения и числе жителей»,⁴⁷ в Вологде было всего два казенных строения этого типа: дома генерал-губернатора и губернатратора. Но ведь, что в таком случае Н. Л. Батюшков с семьей должен был проживать в казенных квартирах, находящихся при присутственных местах, или в домах, «отданных для постоу», также кажется нам поспешным. 6 марта 1786 года за «вексельные иски разных кредиторов» был продан дом подполковника Григория Бердьева, «состоящий в г. Вологде на Большой улице». Опись, хранящаяся в деле, позволяет отчетливо, в массе деталей, представить дом деда К. Н. Батюшкова по материнской линии. Вот его точный адрес: «г. Вологды первой части в пятом квартале № 103».⁴⁸ Под просмотр управы благочиния дом передан коллежскою ассессоршею Александрой Батюшковой — матерью поэта. Незадолго до переезда Батюшковых из Ярославля в Вологду дом был продан. Но значит ли это, что в 1786—1791 годах «своего дома... у Н. Л. Батюшкова не было» (с. 172)? Единственный аргумент, приводимый В. А. Кошелевым в доказательство, не убеждает. В «Городовой обывательской книге Вологды» (1792), на которую ссылается исследователь, Батюшковы действительно не упоминаются. Нет их и в «Списках о городском положении и городских обывателей, имеющих недвижимое имущество» (1792).⁴⁹ Но ведь Батюшковых и не должно быть в этих «реестрах». Составление городской обывательской книги в Вологде и городах Вологодского наместничества, как этого требовал указ от 15 сентября 1789 года, находилось под контролем ярославского и вологодского генерал-губернатора Е. П. Кашкина. Судя по «Копии указа Вологодского наместнического правления о соблюдении правил составления городской обывательской книги» (Начато 5 июня. Окончено 15 июня 1791 г.)⁵⁰ работа по составлению списков велась в 1792 году. Даже при беглом просмотре

³⁷ Там же, л. 600, 612.

³⁸ Государственный архив Вологодской области (далее: ГАВО), ф. 832, оп. 1, ед. хр. 465, л. 4.

³⁹ ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 793, л. 99.

⁴⁰ Там же, ф. 248, оп. 80, кн. 6616, л. 48.

⁴¹ Там же, л. 52—52, об.

⁴² Там же, л. 533. Прошение Батюшкова датировано 23 апреля 1791 года.

⁴³ Там же, л. 534.

⁴⁴ Должность К. И. Литинского установлена по Месяцеслову... на лето 1792, с. 18.

⁴⁵ Кошелев В. Вологодские адреса поэта. — Красный Север, 1986, 11 мая, с. 4.

⁴⁶ ГАВО, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 203.

⁴⁷ Там же, ед. хр. 401, л. 7.

⁴⁸ Там же, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 473, л. 2—3.

⁴⁹ Там же, ф. 476, оп. 1, ед. хр. 17.

⁵⁰ Там же, ф. 833, оп. 1, ед. хр. 419.

«Городовой обывательской книги» видно, что в ней учтены не только «старожилы», но и лица, поселившиеся в Вологде в мае, июне, июле, сентябре 1792 года. Обе книги представляют собой списки населения за 1792 год. Но ведь «в конце 1791-го или в начале 1792 года, — как пишет сам В. А. Кошелев, — Николай Львович уехал в Вятку» (с. 172). Ориентиром в поисках первого вологодского адреса К. Н. Батюшкова может стать «церковь Святые Великомученицы Екатерины, что во Фроловне», прихожанами которой были его родители: 21 ноября «у господина надворного советника Николая Львовича Батюшкова родилась дочь Варвара, крещена декабря в 3 день. При крещении восприемницей была его превосходительства господина губернатора Петра Федоровича Мезенцева дочь девица Варвара»⁵¹ или: 21 января «надворного советника Николая Львовича Батюшкова у дворового человека...»⁵²

Причина отъезда Н. Л. Батюшкова из Вологды — вопрос, едва ли не самый деликатный в нашем сюжете. В. А. Кошелев убежден в том, что «переезд этот можно объяснить только семейными обстоятельствами»: «душевным заболеванием жены» и возникшей таким образом необходимостью «сменить обстановку» (с. 173). Толкование это не удовлетворяет уже потому, что одно «неизвестное» определяется в нем через другое «неизвестное». Почему майковское утверждение: «...через некоторое время по рождении сына Александра Григорьевна лишилась рассудка» (а именно на него ссылается исследователь) — означает не «тотчас», «сразу», как традиционно считалось, а «через несколько лет» и, еще точнее, через «четыре года»? Но ведь именно дата отъезда Н. Л. Батюшкова — конец 1791 года — стала в построениях исследователя точкой отсчета. Для того чтобы убедиться в этом, обратимся к другим работам В. А. Кошелева, где дано более развернутое объяснение, позволяющее уловить логику его рассуждений: «В Вологде 21 ноября 1791 г. родилась младшая сестра поэта — Варенька. С ее рождением была, вероятно, связана и известная по семейным преданиям душевная болезнь матери. Как указал Майков, «через некоторое время по рождении сына Александра Григорьевна лишилась рассудка». В этой ситуации необходимо было, говоря современным языком, «сменить обстановку».⁵⁴ И наконец, последняя по времени редакция этой же версии, когда отпала необходимость во всех

«вероятно» и прозвучало ясное и твердое: «Переезд этот был связан с семейными обстоятельствами. В Вологде 21 ноября 1791 года родилась младшая сестра поэта Варенька. С ее рождением семейное предание связывало начавшееся душевное заболевание матери... В этой ситуации необходимо было, говоря современным языком, «сменить обстановку».⁵⁵ Семейное предание, как известно со слов Л. Н. Майкова, связывало болезнь А. Г. Батюшковой с рождением сына. В книге В. А. Кошелева оно корректируется. «Но почему Батюшков уехал из Вологды? — пишет автор. — При чем уехал без повышения в чине и в должности? В Вологде, судя по всему, он чувствовал себя достаточно „крепко“ и „уверенно“, двух лет не прошло, как его перевели на высокую должность, — а он уехал в Вятку».⁵⁶ Бытовое поведение провинциального чиновника XVIII века анализируется с позиций человека другой эпохи, исследователь мыслит антигисторически. Чтобы убедиться в этом, достаточно задать себе несколько совершенно естественных вопросов: как мог губернский прокурор, чьей судьбой распорядились в Петербурге, в Канцелярии генерал-прокурора, «уехать в Вятку», да еще в такой короткий срок, буквально в месяц... Почему Н. Л. Батюшков повез больную жену не в Петербург (как он и поступил на самом деле), а в глушь, в Вятку, где возможностей для ее лечения было, конечно же, не больше, чем в Вологде? Наша полемика с В. А. Кошелевым касается прежде всего методики исследования.

Документы воссоздают совсем иную картину. «Двухлетнее» в Вятской губернии «служение принужден я был оставить приключившеюся жене моей жестокою болезнью. Пользуя там немало времени безуспешно, решился привезти ее для сего в Петербург... Жена моя, страдая год и семь месяцев, с необычным мучением умерла»,⁵⁷ — пишет Н. Л. Батюшков. А. Г. Батюшкова скончалась 21 марта 1795 года, болезнь ее, продолжавшаяся «год и семь месяцев»,⁵⁸ началась лишь в Вятке не ранее лета 1793 года и, следовательно, не могла стать причиной перемены места жительства.

⁵⁵ Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти, с. 15.

⁵⁶ Красный Север, 1986, 11 мая, с. 4.

⁵⁷ Прошение Н. Л. Батюшкова императору Павлу I. — ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3. Последняя фраза повторена в прошении от 21 августа 1798 года. — Там же, ед. хр. 55091, л. 2.

⁵⁸ То же и в черновом отрывке из прошения Н. Л. Батюшкова, найденном В. А. Кошелевым в фондах ЦГИА: «двухлетнюю болезнью умершей его жены» (с. 172) — деталь, на которую исследователь не обратил внимания.

⁵¹ Метрики г. Вологды с уездом. 1791. — Там же, ф. 496, ед. хр. 47, л. 115.

⁵² Метрики г. Вологды с уездом. 1790. — Там же, ед. хр. 46, л. 94.

⁵³ Красный Север, 1986, 11 мая, с. 4.

⁵⁴ Там же.

Три старшие дочери Батюшковых были отправлены в Петербург, по-видимому, еще в 1789 году. В прошении императору Павлу I от 17 февраля 1797 года Николай Львович пишет о них как о получивших «порядочное воспитание, быв здесь в пансионе⁵⁹ 7 лет».⁶⁰ Во всяком случае, в апреле 1791 года губернский прокурор Батюшков просил отпуск в Петербург «для исправления разных... нужд, также и свидания с находящимися там моими детьми».⁶¹ В Вятку Н. Л. Батюшков был «переведен» по «предложению» генерал-прокурора А. А. Вяземского 16 сентября 1791 года. Документ чрезвычайно лаконичен: «Вятского наместничества губернский прокурор Ендогуров переведен мною в Вологодское наместничество губернский прокурором, а тамошний губернский прокурор Батюшков в Вятское наместничество...»⁶² Никаких мотивировок. Только — «переведен мною». Стоит ли усматривать в «предложении» Вяземского своеобразное проявление немилости властей по отношению к Н. Л. Батюшкову? Трудно сказать. В практике генерал-прокурора (судя по делам, хранящимся в его Канцелярии) «перемещения» подобного рода бывали. Одно несомненно: желания генерал-прокурора и отца поэта резко не совпадали. Из документов видно, что уже 10 декабря 1791 года бывший вятский губернский прокурор Ендогуров прибыл в Вологду и «вступил в должность».⁶³ Н. Л. Батюшков медлил. Приказ генерал-прокурора застал его в отпуске, «уволненным от должности» до 1 октября 1791 года. Потом была «простудная горячка», о которой Николай Львович (вместе с освидетельствованном частном пристава управы благочиния и лекаря) сообщает 29 октября 1791 года⁶⁴ в Вятку; 6 ноября 1791 года датировано его прошение Вяземскому о двухмесячном отпуске: «Имею я в Москве, в межевой канцелярии, о недвижимом имени спорное дело, которое и приводится уже по окончании: при решении коего нужно мне быть в Москве самому...»⁶⁵ 21 ноября 1791 года (дата установлена В. А. Коселевым, с. 172) Александра Григорьевна родила дочь Варвару. Только 14 (по другим документам — 15) января 1792

года Н. Л. Батюшков приступил к должности губернского прокурора Вятского наместничества. Очевидно, отъезд Николая Львовича из Вологды ускорило предписание Вятского наместничества правления, в ответ на которое Вологодская управа благочиния рапортовала: «...находившийся в болезни Вятского наместничества губернский прокурор Батюшков от оной выздоровел и того числа (10 января. — Р. Л.) имеет отправиться к должности...».⁶⁶ В феврале 1792 года Николай Львович получает разрешение на отпуск и уезжает из Вятки.⁶⁷ По-видимому, к систематическому исполнению своих обязанностей вятский губернский прокурор Батюшков приступил только в апреле 1792 года: первое из «представленных» им дел датировано 14 апреля.⁶⁸

О служебных успехах Николая Львовича на новом поприще свидетельствует «всемилостивейшее пожалование» его в ноябре 1793 года орденом св. Владимира 4-й степени за «отличные опыты усердия» и «ревности».⁶⁹ В предложении генерал-прокурора А. Самойлова и представленн Сената среди многочисленных заслуг вятского губернского прокурора особо отмечалось «соблюдение казенного интереса при подрядках и откупах... чрез что соблюдена казне довольная сумма», а также «открытие» «непозволенного употребления многими частными людьми казенных денег... к прекращению чего приняты надлежащие меры».⁷⁰ По всему кажется, что в Вятке Николай Львович обосновывается надолго: 16 декабря 1793 года датирована его «покорнейшая просьба» об увольнении на три месяца в Петербург «для взятия детей... воспитывающихся в пансионе».⁷¹ Разрешение на отпуск получено в январе 1794 года,⁷² по воспользоваться им Николай Львович смог только в конце мая 1794 года.⁷³ Начавшаяся летом 1793 года болезнь Александры Григорьевны перепутала все планы: «Пользуя там немало времени безуспешно, решил я привести ее для сего в Петербург».⁷⁴ Уезжая вместе с больной женой из Вятки, Николай Львович еще не знает, что уезжает на-

⁵⁹ ГАКО, ф. 583, оп. 11, ед. хр. 655, л. 217.

⁶⁰ Там же, оп. 13, ед. хр. 1194. Столп об увольнении служащих по Вятской губернии чиновников в отпуск. л. 115, 117—117, об.

⁶¹ Там же, оп. 12, ед. хр. 286.

⁶² Там же, оп. 13, ед. хр. 1043, л. 1.

⁶³ ЦГАДА, ф. 248, оп. 81, кн. 6683, ч. I, л. 790, об., 803, об.

⁶⁴ Там же, кн. 6662, л. 399.

⁶⁵ Там же, л. 401.

⁶⁶ ГАКО, ф. 21, оп. 1, ед. хр. 28, л. 152.

⁶⁷ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3.

⁵⁹ В прошении от 21 августа 1798 года названо имя содержательницы пансиона — у «мадам Эклебен» (л. 2).

⁶⁰ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3.

⁶¹ Там же, ф. 248, оп. 80, кн. 6616, л. 533.

⁶² Там же, л. 596.

⁶³ Там же, л. 596—604.

⁶⁴ Государственный архив Кировской области (далее: ГАКО), ф. 583, оп. 11, ед. хр. 655, л. 101—102.

⁶⁵ ЦГАДА, ф. 248, оп. 81, кн. 6620, л. 11.

всегда. «Месяцеслов...» по-прежнему числит его вятским губернским прокурором; в «Ведомостях о чинах Вятского наместничества, находящихся в отпуску» (начало 15 декабря 1794 г.) он значится то как оставленный генерал-прокурором А. Н. Самойловым для «личных по делам объяснений» («п то время в просрочку ему не почитать»), то как «уволенный в отпуску», то как «на срок к должности своей не явившийся».⁷⁵ Но в Вятке Н. Л. Батюшкова нет. Время его «служения» в Вятке известно нам теперь точно, со слов самого Николая Львовича: «Февраль (по документам — с 14—15 января, — *Р. Л.*) 1792 г. — 25 мая 1794».⁷⁶ Н. Л. Батюшков не ушел в отставку, как думают исследователи. Напротив, отставка была крайне нежелательна для него. Приехав в Петербург, «чтоб не быть в отставке, в чянии получить другое место по выздоровлении жены», Николай Львович «поступил в Комиссию для составления законов Российской империи сочинителем сверх комплекта».⁷⁷ Это свидетельство отпа поэта подтверждается хранящимся в ЦГАДА экземпляром «Алфавита состоящим в статской службе чинам первых осьми классов на 1796 г.», где находим любопытную (сделанную от руки) запись: «Николай Батюшков — в Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения».⁷⁸ Не получая жалованья, испытывая тяжелые финансовые затруднения (долги его «чрез то» составили «до десяти тысяч рублей»), Николай Львович не оставляет большую жену одну: «...желая возвратить мать отчаянным детям, не жалел я ничего, чтоб восстановить ее здоровье».⁷⁹ Александра Григорьевна умерла 21 марта 1795 года и похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на ее надгробии проста и искренна: «Добродетельной супруге в знак любви, истинного почтения воздвиг сей памятник оплакивающий невозвратно ее Николай Батюшков купно с детьми своими».⁸⁰ В Вятку, где за ним более года «сохранялась» должность губернского прокурора, Николай Львович не возвратился. Но и в отставку не вышел. Он не мог не служить: «небольшое

именно» его жены расстроено (Николай Львович еще «не отделен от отпа»⁸¹ — об этом свидетельствуют документы, датированные 1797—1798 годами), а «малолетние сироты» требовали «приличного воспитания». 15 апреля 1795 года, через три недели после кончины Александры Григорьевны, Н. Л. Батюшков обращается к генерал-прокурору А. Н. Самойлову с просьбой «поместить» его на «ваканцию экономии директора», если таковая откроется в «наместничествах Казанском, Саратовском, Нижегородском», «особливо в Вологодском», где у него имелся «деревни и дом».⁸²

17 сентября 1795 года вятский губернский прокурор Батюшков был уволен от «должности» «для определения по его желанию к другим делам».⁸³ «Предложение об увольнении» подписано генерал-прокурором А. Н. Самойловым. Именно с его помощью Николай Львович надеялся «получить» в Петербургском «ассигнационном или заемном банке место советника».⁸⁴ Но почему его планы вдруг переменялись? Ведь это он жаловался генерал-прокурору на «дороговизну здешней жизни», которая «ввергнет его в „неминуемую бедность“». Нет сомнения, что разговор о «спокойном месте» в столице, пожалованием которого Самойлов «осчастливил»⁸⁵ бы Батюшкова, состоялся давно. Однако после смерти жены Николай Львович, кажется, готов предпочесть Петербургу провинцию. Отчего же он изменил намерению? Может быть, потому, что получил твердые гарантии? Не знаем. Весной 1796 года сенатская ревизия, обнаружившая злоупотребления по службе чиновников Вятской губернии, обвиняемых во взятках, потребовала приезда Н. Батюшкова в Вятку для «личного объяснения» с возглавлявшим проверку генерал-поручиком С. И. Мавриным. 30 апреля 1796 года Николай Львович (он находится в это время «под начальством» А. Н. Самойлова в Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения)⁸⁶ просит генерал-прокурора «избавить его от разорительной в толь отдаленный край поездки».⁸⁷ Подозрения, возникшие у сенатора Маврина, он объясняет «выдуманными клеветами», «отмщением» тех, чье «недовольствие» навлек своими донесениями о выявленных в присутственных местах «беспо-

⁷⁵ ГАКО, ф. 21, оп. 1, ед. хр. 28, л. 152, 171, л. 139, об. и др.

⁷⁶ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 2, об.

⁷⁷ Там же, л. 3.

⁷⁸ Там же, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 889, л. 122.

⁷⁹ Там же, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3.

⁸⁰ Петербургский некрополь, или Справочный исторический указатель лиц, родившихся в 17 и 18 столетиях, по надгробным надписям Александро-Невской Лавры. Сост. В. Сайтов. М., 1883, с. 15.

⁸¹ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3.

⁸² Там же, ф. 248, оп. 81, кн. 6713, ч. I, л. 545, об.

⁸³ Там же, кн. 6690, л. 606—607, об.

⁸⁴ Там же, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 55091, л. 1, об.

⁸⁵ Там же, ф. 248, оп. 81, кн. 6713, ч. I, л. 545.

⁸⁶ Там же, оп. 150, кн. 6642, л. 249.

⁸⁷ Там же, оп. 81, кн. 6734, л. 294—294, об.

рядках»⁸⁸ (краткое изложение его рапортов генерал-прокурору приложено к письму).⁸⁹ Следствие подтвердило виновность Н. Л. Батюшкова.⁹⁰ Стесненные материальные обстоятельства, необходимость оплатить «некоторые», «ким срок наступает», долги (в «пансионы за содержание малолетних... детей» в том числе) принуждают Николая Львовича «занять в государственном заемном банке или в опекуном совете деньги» под залог части имения покойной его жены.⁹¹ Верующее письмо отправлено 14 августа 1796 года из Петербурга. Оно адресовано лейб-гвардии прапорщику Льву Степановичу Бердяеву — двоюродному брату Александры Григорьевны.⁹² Оформление документов, необходимых для получения займа, затягивается. 17 февраля 1797 года Николай Львович обращается с прошением о вспомоществовании к императору Павлу I. Он просит не о себе, но о малолетних Константине и Варваре, которых он «не в состоянии воспитать пристойным образом» из-за «бедственного положения» своего.⁹³ Получил ли отец поэта «всемиловитейшее награждение», неизвестно. Только в Даниловское он не уехал. Что заставляло Николая Львовича оста-

ваться в Петербурге? «Без жалованья», с долгами, длительное время («...Более двух лет»,⁹⁴ — напишет он 17 февраля 1797 года)... По-видимому, только надежда на новое служебное назначение, а значит, и на возможность резко переменить свою жизнь... Обещанного генерал-прокурором А. Н. Самойловым места советника в ассигнационном или заемном банке Николай Львович не получил. Почему? В служебной биографии отца поэта таких «почему» много. Почему, например, Н. Батюшков «прослужил в одном чине надворного советника более десяти лет»?⁹⁵ Почему он был дважды обойден при производстве из надворных в коллежские советники? Смущает причина отказа: и в 1793 году, и спустя 3 года, в 1796-м, по словам Николая Львовича, ему «недоставало нескольких месяцев службы в положенное число лет к награждению».⁹⁶ «Точные сроки выслуги для производства» из надворных советников в коллежские, вероятно, были установлены только указом № 19219 от 9 декабря 1799 года — 6 лет.⁹⁷ Во всяком случае, предшествовавшие законодательные акты (№ 12465 — от 5 сентября 1765 года, № 12524 — от 16 декабря 1765 года, № 16930 — от 16 декабря 1790 года) никаких определенных указаний на этот счет не давали. Особого внимания заслуживает документ под № 12973 от 13 сентября 1767 года: «Но как Сенат без особливого Вашего императорского величества дозволения к произведению состоящих в статской службе чинами, равно и к определению времени, сколько именно лет в одних чинах (курсив мой, — Р. Л.) выслуживать им надлежит, приступить не может; то... не соизволите ли Ваше величество... всемиловитейше повелеть... и... назначить, сколько именно лет в одних чинах выслужившим...» Высочайшей резолюцией на доклад Сената Екатерина II повелевала: «Произвести тех, кои в нынешних чинах семь лет беспорочно выслужили».⁹⁸ Вероятно, именно этим предписанием и должен был руководствоваться Сенат. Наконец, закон не возбранял «повышение за отличие» и «прежде установленных сроков», т. е. как награду. Н. Л. Батюшков служил не просто «беспорочно», а «ревностно»: «В служении моем поставляя возложенное на меня звание, как обязанность к службе и долг присяги требует... не оставляя ни одного предмета, касающегося до моей должности, без надлежа-

⁸⁸ Это подтверждается «Запиской по доносу на губернского прокурора Батюшкова» (январь 1794 г.). — Там же, оп. 150, кн. 6642, л. 49, об. — 50, об.

⁸⁹ Там же, оп. 81, кн. 6734, л. 295—296.

⁹⁰ ГАКО, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 4386, л. 67 и др.

⁹¹ ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 1294, л. 2. Начато 30 сент. 1796 г. Кончено 19 янв. 1797 г.

⁹² В 1794—1795 годах он занимал должность председателя в г. Кадникове (Месяцеслов... на лето 1796, с. 266). Из-за отсутствия «Адрес-календарей» на 1797—1801 годы установить место службы Л. С. Бердяева в 1796 году не удалось. Братья Николай, Алексей и Лев Бердяевы были сыновьями полковника Степана Григорьевича Бердяева (см.: ГАВО, ф. 496, оп. 1, ед. хр. 2963). Их родство с покойной женой Николая Львовича подтверждается записью в «Метрической книге г. Вологды с уездом» за 1790 год: 15 апреля «у г-на капитана Алексея Степановича Бердяева родилась дочь Серафима, восприимцей была сестра его двоюродная сельца Закрышкина госпожа Александра Григорьевна Батюшкова». Обряд крещения состоялся в «церкви Иоанна Богослова, что на Тошне» (ГАВО, ф. 496, ед. хр. 46, л. 314, об.). Деталь, свидетельствующая о душевном здоровье матери поэта «через некоторое время» после рождения сына.

⁹³ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3.

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ Там же.

⁹⁷ Полн. собр. законов Российской империи с 1649 г. 1830, т. XXV, с. 914.

⁹⁸ Там же, т. XVIII, с. 344, 345.

щего настояния».⁹⁹ Многочисленные документы подтверждают это. 3 февраля 1794 года (через семь с половиной лет после получения отцом поэта чина надворного советника) правительствующий Сенат по предложению генерал-прокурора А. Н. Самойлова «находит надворного советника вятского губернского прокурора Николая Батюшкова» «достойным награждения» «за ревностную беспорочную службу и успех в отправлении должности». Сенат принимает решение: «...поднести ея императорскому величеству всеподданнейший доклад, представляя его к награждению чином коллежского советника».¹⁰⁰ Коллежским советником Н. Батюшков не стал. Значит, «всеподданнейший доклад» Сената Екатерины II не подписала. Николай Львович об этом прекрасно знает: он «обойден» чином. Слово это останется в черновом варианте прошения.¹⁰¹ Повторить его «вслух», в «присутствии Павла I», Н. Батюшков не решится. Так появится странное, на первый взгляд, объяснение: при обоих производствах «недоставало нескольких месяцев службы в положенное число лет к награждению». Догадывается ли об истинном отношении императрицы к надворному советнику Батюшкову генерал-прокурор А. Н. Самойлов? Его предшественник А. А. Вяземский, взявший себе «за главные правила»: «ни в чем не противуречить государю»; «признаваться, что ничего не знает сам, но все делает просвещением и наставлением государя»,¹⁰² заставил Н. Л. Батюшкова начать служебную карьеру с реверса, письменного обязательства о пятилетнем «певьезде» из Великого Устюга. А. Н. Самойлов отцу поэта явно благоволил. Но, по видимому, и его что-то смущает. Письмо А. Н. Самойлова от октября 1795 года, адресованное уволенному от должности вятского губернского прокурора Н. Л. Батюшкову с изъявлением «удовольствия» за «надлежащие усердие и ревность», с которыми он трудился, почему-то перечеркнуто.¹⁰³ В 1796 году состоялось еще одно «производство из надворных советников в коллежские» — также безрезультатное.

Чина коллежского советника Н. Л. Батюшков был удостоен только после смерти Екатерины II. Это была высо-

чайшая милость нового императора Павла I. Награждение Н. Л. Батюшкова чином коллежского советника осуществилось 5 апреля 1797 года¹⁰⁴ и, конечно же, в ответ на его прошение государю от 17 февраля 1797 года. Николай Львович совсем недавно (по его просьбе) «получил увольнение от службы до выздоровления».¹⁰⁵ Нет сомнения, что это произошло в конце 1796—начале 1797 года. В качестве доказательства сошлемся на свидетельство самого Батюшкова: время пребывания его в штатской службе — «с 1781 года — поныне», «прослужа в одном чине надворного советника более десяти лет»¹⁰⁶ (напомним, что в этот чин он был «возведен» 14 августа 1786 года и что служба сверх штата, в ожидании вакансий, в стаж зачислялась). Причина увольнения — болезнь, наступившая после смерти жены: «Снедаемая горесть, при слабом сложении, каковое я от природы имею, причинила мне болезненные припадки, которые лишают сил служить... хотя и имею к тому... ревность».¹⁰⁷ В отставку отец поэта вышел только в 1815 году, таким образом, в течение восемнадцати лет он находился «не у дел», или «при Герольдии для определения к делам».¹⁰⁸

Служебная карьера Н. Л. Батюшкова складывалась нелегко. Сколько несообразностей, препятствий на пути к продвижению, несправедливости... и это при бескорыстии, ревности в исполнении долга, высоких покровителях... В бесчисленных милостях графа А. Н. Самойлова сомневаться не приходится. Племянник Потемкина, генерал-прокурор и казначей, он, однако, оказался беспомощным. Хотел — и не смог доставить честному чиновнику место советника в ассигнационном банке, хотя именно в это время его собственное положение совершенно упрочилось. Числившийся с 1792 года «исправляющим должность генерал-прокурора», он в 1796 году был утвержден генерал-прокурором. 4 декабря 1796 года, после смерти Екатери-

¹⁰⁴ Список состоящим в гражданской службе чином шестого и седьмого классов на 1798 год, с. 61.

¹⁰⁵ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 3. Та же формулировка «уволен до выздоровления» и в черновом варианте прошения Н. Л. Батюшкова, найденном В. А. Кошелевым в ЦГИА, что никак не согласовывается с выводом исследователя о том, что отец поэта в 1795 году «вышел в отставку» (с. 172).

¹⁰⁶ Там же, л. 1, 3.

¹⁰⁷ Там же, л. 3.

¹⁰⁸ См.: Списки состоящим в гражданской службе чином шестого и седьмого классов с 1793 г. по 1815 г. В «Списке состоящим в гражданской службе чином... на 1816 г.» Н. Л. Батюшков не упоминается.

⁹⁹ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 63947, л. 2, об.

¹⁰⁰ ГАЮ, ф. 583, оп. 14, ед. хр. 499, л. 1. См. также: ЦГАДА, ф. 286, кн. 852, л. 23, об.

¹⁰¹ Цит. по: Кошелев В. А. К биографии К. Н. Батюшкова, с. 172.

¹⁰² Характеристика А. А. Вяземского дана М. М. Щербатовым. Цит. по: Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век. М., 1986, с. 189.

¹⁰³ ЦГАДА, ф. 248, оп. 81, кн. 6690, л. 608, об.

ны II, на место графа А. Н. Самойлова был назначен А. В. Куракин.¹⁰⁹ Н. Л. Батюшков потерял «защитника и покровителя».¹¹⁰ Высочайшие резолюции Екатерины II на доклад Сената нам неизвестны, и потому неясны официальные и тем более истинные причины, по которым Н. Л. Батюшков был дважды обойден чином. Одно несомненно: это была царская немилость. И может быть, все-таки прав Л. Н. Майков, писавший об опале, с юности тяготившей над отцом поэта? Во всяком случае, никакими документальными доказательствами, позволяющими усомниться в этом, мы пока не располагаем. Напротив, документы только подтверждают правоту Л. Н. Майкова.

Для лучших людей XVIII века (а Н. Л. Батюшков, несомненно, принадлежал к их числу) служебная карьера всегда была прежде всего средством максимальной реализации своих возможностей, осуществления своего предназначения и горячего стремления быть полезным Отечеству. Прокурорская должность не была призыванием Николая Львовича. «... Коль несносно читать, а иногда и подписывать: *высечь его кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу* (курсив мой, — Р. Л.) — а за что и почто Бог ведает»,¹¹¹ — эти грустные строки написаны в 1809 году. Прокурорская служба тяготила отца поэта. Сочинитель «сверх комплекта» (т. е. без жалованья) в Комиссии для составления законов Российской империи (место, которое он занимал в 1795—1796 годах), советник в государственном заемном банке (должность, к которой он так стремился) — это гораздо более отвечало натуре Н. Л. Батюшкова, воспитанного на просветительской философии XVIII века, хотя бы потому, что избавляло его от необходимости посылать людей на каторгу и заставлять их ложиться под кнут. Служба в заемном банке означала бы возможность вырваться наконец-то из провинции. В ноябре 1798 года Н. Л. Батюшков все еще находится в Петербурге. Лев Андреевич шлет ему гневные письма, требуя немедленного отъезда сына вместе с «большими тремя дочерьми»¹¹² в Даниловское. Николай Львович, проявляя невероятное упорство, задерживается в столице, по-видимому, все еще надеясь что-то переменить в своей жизни или в жизни своих детей. 21 августа 1798 года он просит Павла I

«принять к императорскому двору» двух старших дочерей, «из коих одна Анна в музыке и пении, а другая Елизавета в рукоделии»¹¹³ при природных дарованиях своих особенно себя усовершенствовала, имев счастье, вторая лет пять тому назад поднести шитый своих трудов цветок... великой княжне Александре Павловне».¹¹⁴ Но безуспешно. Петербург для Николая Львовича закрыт. Ему осталась глухая родовая усадьба Даниловское в Тверской губернии. Он принужден был заняться тем, к чему не имел никаких склонностей, — хозяйственной деятельностью. Ни характера, ни предприимчивости своего отца Николай Львович не унаследовал. К прежним долгам¹¹⁵ прибавлялись новые. Платить приходилось родительским именем. В марте 1803 года Н. Л. Батюшков продал за 15 000 руб. доставшиеся ему по наследству после смерти отца «господский каменный дом с принадлежащими к нему деревянными службами и садом» в селе Туханин Бежецкого уезда и «136 душ обоего пола».¹¹⁶ «Неудачными промышленными предприятиями» он довел родовое имение «почти до полного разорения».¹¹⁷ Женитьба Николая Львовича на А. Н. Теглевой привела к тяжелой ссоре с детьми. Постоянные болезни, «климат, в котором предопределено обитать одним медведям», обрекли его, по собственным словам, на жизнь в «заключении», на томительное ожидание писем от сына, на мечты о том, «чтоб мир, дружба, любовь и согласие восста-

¹¹³ Черта, унаследованная от матери; судя по письмам М. Н. Муравьева, Александра Григорьевна была прекрасной рукодельницей. — ИРЛИ, Р. II, оп. 1, ед. хр. 261, л. 59, об.—60.

¹¹⁴ ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 55091, л. 2, об.

¹¹⁵ Финансовые затруднения Н. Батюшкова возникли задолго до болезни и смерти его жены. Из хранящихся в ГАВО документов видно, что в апреле 1787 года А. Г. Батюшковой под залог ее недвижимого имущества в Угольской волости Грязовецкой округи количеством 250 душ было выдано из заемного банка 10000 руб. на 20 лет с 8%. Долг этот был «заплачен сполна» только в 1807 году. Ранее, в 1782 году, под залог 200 душ от Санкт-Петербургского опекунского совета императорского воспитательного дома ею было получено 4000 руб. сроком на 5 лет с «платежом в каждом году капитала по 800 руб.» (ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 414).

¹¹⁶ См. купчую на дом, земли и крестьян Н. Л. Батюшкова Вельегонского (Бежецкого) уезда Тверской губернии, проданные им князю Н. М. Ухтомскому. — ГБЛ, ф. 743, картон 7, ед. хр. 37, л. 1, 1, об.

¹¹⁷ *Благой Д.* Указ. соч., с. 15.

¹⁰⁹ *Иванов П.* Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции. СПб., 1863, с. 64, 61.

¹¹⁰ ЦГАДА, ф. 248, оп. 150, кн. 6642, л. 12.

¹¹¹ Письмо Н. Л. Батюшкова К. Н. Батюшковой. — ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 4.

¹¹² Цит. по: *Кошелев В. А.* К биографии К. Н. Батюшкова, с. 175.

повлено было в нашем семействе».¹¹⁸ Нрав Николая Львовича с годами «сделался неровен и своеобразен».¹¹⁹ Спасали только книги: Вольтер, Руссо, Фенелон, Лагарп, Корнель, Монтень, Мирабо, Мильтон, Делпль, Цицерон, Филдинг, «Новое детское училище, или Опыт нравственного воспитания обоого пола и всякого состояния юношества...», «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии».¹²⁰ «Памятникам» этих удивленных занятий и тоскливого одиночества стали надписи на книгах: «Прочитано 1809 г. Николаем Батюшковым»; «Прочитано 1814 году Н. Б.»; «Прочитано 1808 год Николаем Батюшковым в Данпловском»; «Прочитано 1815 г. Н. Б.».¹²¹ У Николая Львовича Батюшкова была трудная, исковерканная судьба. Младший же брат его, Павел Львович, дослужился до тайного советника и сенатора.

«Вряд ли стоило бы так подробно разыскивать обстоятельства службы Н. Л. Батюшкова, если бы они не были связаны с ранними годами жизни его сына».¹²² — пишет В. А. Кошелев. Думаем, стоило еще и потому, что Николай Львович был отцом поэта. Отец и сын Батюшковы — самостоятельная и очень сложная (по разным причинам) тема. И мы касаемся ее только потому, что из «документального повествования» В. А. Кошелева отец поэта... выпал. Остался лишь его послужной список. Опушено все, что со времени появления книги Л. Н. Майкова стало «общим местом» биографических очерков о К. Н. Батюшкове: что отец поэта был «человек по своему времени хорошо образованный», «большой любитель французской литературы и почитатель философии XVIII века», что «он собрал богатую библиотеку», что «в пользу нравственной личности Николая Львовича свидетельствует дружеская связь, соединявшая его с его родственником... известным Михаилом Никитичем Муравьевым, одним из лучших людей своего века»,¹²³ что «высотой культурного уровня» К. Батюшков был «обязан» отцу.¹²⁴ Майковское: «Николай Львович в годы школьного учения сына не жил

в Петербурге, а только посещал его наездом»¹²⁵ — превратилось у В. А. Кошелева в: «Николай Львович в годы учения сына в Петербурге почти не бывал».¹²⁶ История отгосударствения сына подытожена одной фразой: с Николаем Львовичем «сын не ладил всю жизнь».¹²⁷

Обратимся к конкретным фактам. Нам известны только четыре письма поэта отцу, относящиеся к периоду пребывания его в пансионе: три из них опубликованы Л. Н. Майковым, четвертое (без даты) хранится в ИРЛИ. Других свидетельств нет. Возможен ли в подобной ситуации какой-то определенный вывод? Думается, нет. Но и этот минимальный по объему материал важен для реконструкции отношений между отцом и сыном, даже если это всего лишь «отрывки» реальных взаимоотношений. Во всех письмах (не считая первого, от 6 июля 1797 года — Н. Л. Батюшков находится в это время в Петербурге, откуда уедет не ранее декабря 1798 года) речь идет либо о скором приезде отца,¹²⁸ либо о недавнем его отъезде.¹²⁹ Тревоги по поводу отсутствия вестей от отца, беспокойные мысли о его нездоровье (чем иначе можно объяснить молчание?), обстоятельный отчет о своих делах (позучении наук, рисовании: «...начатую же картину без Вас кончил и пришло с Васильем»);¹³⁰ привязанность, потребность в подробном рассказе о себе, убежденность в ответной заинтересованности... Первая публикация К. Н. Батюшкова — перевод на французский язык речи митрополита Платона по случаю коронации Александра I — не просто дарится «моему любезному папеньке»: она посылается на критический, профессиональный суд вместе с «оригиналом».¹³¹ Духовная связь между отцом и сыном не исчезает и в самые напряженные периоды их отношений. Ограничимся лишь немногими доказательствами. Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 15 декабря 1809 года В. А. Кошелеву известно: оно цитируется им дважды, но с ошибками. Неверно прочтана дата: не «18» декабря,

¹²⁵ Майков Л. Указ. соч., с. 11.

¹²⁶ Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти, с. 29.

¹²⁷ Там же, с. 251.

¹²⁸ Письмо от 1 февраля 1800 года: «...надеюсь к вашему приезду другой (рисунк, — Р. Л.) большой кончить». Письмо от 11 ноября 1801 года: «Что остается мне желать теперь? Ваш скорый приезд. Вы не замедлите оный, и я совершенно буду счастлив» (Батюшков К. Н. Соч., 1886, т. 3, с. 2).

¹²⁹ Письмо без даты: «Ваше молчание причиняет мне много печали. Ни одной строки с тех пор, как мы с вами расстались» (ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 16).

¹³⁰ Батюшков К. Н. Соч., т. 3, с. 3.

¹³¹ Там же, с. 2—3.

¹¹⁸ Письма Н. Л. Батюшкова К. Н. Батюшкову от 31 мая 1812 года и 24 июня 1808 года. — ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24.

¹¹⁹ Майков Л. Указ. соч., с. 7.

¹²⁰ Инвентарный каталог библиотеки Батюшковых. — Устюженский городской краеведческий музей.

¹²¹ Картоотека библиотеки Батюшковых. — Устюженский городской краеведческий музей. Подлинники хранятся в Музее-усадьбе Батюшковых в Данпловском.

¹²² Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти, с. 14.

¹²³ Майков Л. Указ. соч., с. 7.

¹²⁴ Благой Д. Указ. соч., с. 17.

а «15» (в тексте — четко «15»); вместо «меркуральные пивки» следует читать «меркуральные» (т. е. содержащие ртуть) пилули»; вместо «жизненную машину» — «физическую машину». Цитат из Овидия, о которых пишет В. А. Кошелев, в письме Николая Львовича нет: упоминается лишь библейский царь Давид.¹³² Считая нужным привести строки о лекаре Глазове, который пользовал К. Батюшкова в Вологде, и об обычном для того времени способе борьбы с глистами, В. А. Кошелев почему-то опускает бесценный для биографа материал: «Твой жребий, который хочешь вынуть из урны, есть совершенно согласен и с твоими талантами, и с твоим характером. Припряженному быть к приказному столу (слова твои) есть дело для тебя невозможное. Я знаю всю цену достоинства твоего, знаю, коль несносно читать, а иногда и подпсывать: высечь его кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу — а за что и почто Бог ведает».¹³³ Содержание письма К. Н. Батюшкова из Вологды, в ответ на которое пишутся эти строки, легко восстановимо. Оставив военную службу, 22-летний поэт оказался перед необходимостью нового выбора: «Что мне делать? Что начать?». В размышлениях о будущем возникает мечта (такая недостижимая) служить там, где он может «быть полезным»,¹³⁴ — по дипломатической части. Вопрос этот обсуждается не только с Гнедичем, но и с отцом, хотя, судя по реплике К. Н. Батюшкова, попавшей в письмо Николая Львовича, разговор принял теперь иное направление: «Припряженному быть к приказному столу (слова твои) есть дело для тебя невозможное». Тема «приказного стола», конечно же, появляется не случайно. Пример тому — горькая судьба отца. И не его ли имел в виду К. Батюшков, когда писал Н. И. Гнедичу: «Гнить не могу и не хочу нигде», «... гнить в ничтожестве не могу».¹³⁵ Письмо от 15 декабря 1809 года замечательно тем, что дает возможность услышать собственный голос Николая Львовича, приблизиться к его внутреннему миру: ведь официальные документы рисуют по преимуществу внешнюю биографию человека и даже в самом «личном» документе — прошении — он остается внутренне несвободным. Добавим к уже цитированной оценке собственной прокурорской службы («коль несносно...») язвительные замечания Н. Л. Батюшкова по поводу «Безбородко, Завадовского и подобных им»¹³⁶ — и ста-

нет ясно, почему он не мог сделать карьеры. Нет, отец и сын Батюшковы понимали друг друга и никогда не расходились в главном...

Цитаты из Гомера в письме Н. Л. Батюшкова сыну тоже не случайны. Этот античный поэт был их общим любимцем. Осенью 1809 года Константин Николаевич «перечитывает его» в Хаттонове: «Я любил всегда Гомера, а теперь обожаю: он, кроме удовольствия неизъяснимого, делает добро человечеству».¹³⁷ Сообщал ли он об этом в письме к отцу? Если нет — тем знаменательнее совпадение ощущений двух «сродственных душ», потому что и для настрадавшегося Николая Львовича в творениях Гомера заключалась нравственная опора: «Надобно уметь сносить с терпением возлагаемое с «вятым» провидением... но что же делать. Надобно почаще читать сии гомеровы стихи:

Мы листовням древес подобны бытнем. Один из них падут от ветра сотрясенны, Другие вместо их явятся возрожденны, Когда весна живет подсолнечну собой. Так мы: один умрет, рождается другой».¹³⁸

В инвентарном каталоге библиотеки Батюшковых значатся два издания «Илиады» Гомера (Paris, 1772 и Geneve, 1779).¹³⁹ 6 августа 1812 года Николай Львович обращается к сыну с просьбой прислать в «знак сыновней любви на французском» языке¹⁴⁰ «Илиаду» и «Одиссею»... Я, прочтя, в целости к тебе возвращу... Не позабудь о «Илиаде» и «Одиссее»... Ты много меня тем утешишь».¹⁴¹ В 1801 году 14-летний Константин просил у Николая Львовича сочинения Ломоносова и Сумарокова, «Кандида» Вольтера, Геллерта, «также лексиконы».¹⁴² Теперь настала очередь отца. Судя по письмам Николая Львовича, литература была одной из постоянных тем их переписки. 31 мая 1812 года: «Массильоновы проповеди... пришли мне. Я, прочтя, доставлю их тебе обратно в... целости»; 6 августа 1812 года: «... Массильони я уже читал все части, взяв от здешнего протопопа. Проповеди, говоренные им в присутствии Людовика XV, мне очень понравилсь».

¹³⁷ Батюшков К. Н. Соч., т. 3, с. 66, 41.

¹³⁸ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 3, об.—4.

¹³⁹ Хранится в Устюженском краеведческом музее.

¹⁴⁰ Французскому языку отец поэта выучился самостоятельно. См. письмо Н. Л. Батюшкова дочери Ю. Н. Батюшковой от декабря 1816 года. — ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 31, л. 9, об.—10.

¹⁴¹ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24.

¹⁴² Батюшков К. Н. Соч., т. 3, с. 3.

¹³² Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти, с. 93.

¹³³ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 4.

¹³⁴ Батюшков К. Н. Соч., т. 3, с. 63, 49.

¹³⁵ Там же, с. 49, 51.

¹³⁶ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 4, об.

Уже идет война. У Николая Львовича «голова вскружена как у Дон-Кихота, вооружение внутреннего ополчения защищает теперь каждого и всех». Он следит за политическими новостями в газетах, тревожится о сыне («И прошу тебя и молю, пиши ко мне хоть один раз в неделю») и читает Массильона: «... а при Людовике XIV им же сказанные (проповеди, — *Р. Л.*)... слишком сухи и длинные, и слово *Сильные Земли* не упоминается».¹⁴³ Клермонский епископ Массильон бесстрашно рисовал пороки двора и общества («сильных земель», как он их называл); по-видимому, в речах знаменитого французского проповедника отца поэта привлекали прежде всего обличительные картины. Ум Николая Львовича по-прежнему остр и пытлив. И, кажется, сын о привязанности отца к книге помнит: «Вы читали несколько описаний Парижа, вы знаете, что Париж есть удивительный город; но я смело уверяю вас, что Петербург гораздо красивее Парижа... прошу Вашего благословения и молитв ваших; они меня поддерживали в опасностях».¹⁴⁴ Письмо это послано в Дашинское из Парижа в апреле-мае 1814 года. В отцовской библиотеке (и Константиан Батюшков знал это) описания Парижа были: *Mersier. Tableau de Paris. T. I, VI. A. Amsterdam. 1783.* и *Tableau de Paris. T. XI. A. Amsterdam, 1783; T. XII. A. Amsterdam, 1788.*¹⁴⁵ Верится, что Константин Николаевич Батюшков «был похож на отца» не только «лицом... и всем обликом».¹⁴⁶

Из обширной переписки Батюшковых сохранилось немного: пять писем отца и чуть более — сына. Стилистика писем Николая Львовича воспринимается В. А. Кошелевым пронически. Но то, что исследователь называет «невозможной сентиментальностью»,¹⁴⁷ развившейся под влиянием старости, — всего лишь обычные для сентиментального сознания формы выражения. Н. Л. Батюшков «шмел душу и чувствительное сердце».¹⁴⁸ Его представления о том, каким должен быть отец, конечно же, сложились под влиянием «Эмпиля» Руссо. Отец — не строгий наставник, а мягкий, гуманный воспитатель, внушающий добродетель

личным примером, товарищ, друг.¹⁴⁹ Вот почему так огорчительна для него смена обращения в письмах сына, происшедшая после ссоры: «Оставь, мой друг, вперед писать милостивый»¹⁵⁰ государь» батюшка. Пусть будет по-прежнему...» По-прежнему — значит: «любезный папенька», «любезный батюшка». Именно так начинаются дошедшие до нас письма поэта. Чувства, переживаемые Николаем Львовичем при разлуке с сыном, при получении письма от него, выражаются в традиционных для сентиментальной литературы формулах: «... омочил его (письмо, — *Р. Л.*) радостными слезами...».¹⁵¹ Исторические эмоции исторического человека не могут быть объектом прозы.

Место, которое в жизни Константина Батюшкова занимал отец, в концепции В. А. Кошелева отведено деду. Мысль об особой роли Л. А. Батюшкова в жизни внука явилась естественным результатом убежденности исследователя в том, что «с 1791 по 1797 год будущий поэт был оставлен в Дашинском именно на дедовых руках».¹⁵² Первая дата — 1791-й (даже не 1792, хотя несколькими страницами ранее В. А. Кошелев датировал отъезд Батюшковых из Вологды 1791-м (после 21 ноября) или 1792 годом) — должна быть отвергнута потому, что единственное доказательство, на котором она основывается, — болезнь А. Г. Батюшковой, произвольно относимая исследователем к 1791 году. Об этом уже говорилось. Александра Григорьевна заболела в Вятке, не ранее лета 1793 года. Из Вятки Батюшковы уехали в конце мая 1794 года. Но значит ли это, что в жизни поэта был вятский период? Не знаем. Ответить на этот вопрос могут только документы. Их-то и надо искать. Вторая дата — 1797 год, — безусловно, подсказана самым ранним из известных нам петербургских писем

¹⁴⁹ Интересный материал для реконструкции взглядов Н. Л. Батюшкова на воспитание и характера его отношений с детьми можно найти в письмах Николая Львовича мадам Бергэ, содержательнице пансиона для благородных девиц в Ярославле [1816], и дочери Ю. Н. Батюшковой (1816—1817). — ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 31, 32.

¹⁵⁰ В. А. Кошелевым прочитано ошибочно: «мне». Цит. по подлиннику: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 1.

¹⁵¹ Цит. по: *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 73. Та же стилистика и в письме 20-летнего К. Батюшкова отцу от 17 февраля 1807 года: «... надеюсь, что, увидя вас, исцелю все раны моими слезами радости, все раны, нанесенные вам рукою жестокой судьбы» (*Батюшков К. Н. Соч.*, т. 3, с. 5).

¹⁵² *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 21.

¹⁴³ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24.

¹⁴⁴ *Батюшков К. Н. Соч.*, т. 3, с. 265, 266.

¹⁴⁵ См. инвентарный каталог библиотеки Батюшковых, хранящийся в Устюженском краеведческом музее.

¹⁴⁶ Воспоминания Помпея Николаевича Батюшкова цит. по: *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 256.

¹⁴⁷ Там же, с. 70.

¹⁴⁸ Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 24 июня 1808 года. Цит. по: *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 74.

К. Н. Батюшкова от 6 июля 1797 года. Но почему исследователь думает, что «Константин прибыл» в Петербург «недавно»?¹⁵³ Как согласовать это со строками письма: «Вы не можете себе представить, сколь я сожалею, что так *долое время* (курсив мой, — Р. Л.) не имел удовольствия получать от вас известия с новостями о вашем здорье».¹⁵⁴ Н. Л. Батюшков находился в Петербурге с 23 августа 1794 года.¹⁵⁵ В прошении Павлу I от 21 августа 1798 года он скажет, что «жил здесь без жалованья более трех лет».¹⁵⁶ Весной 1793 года, как видно из документа, опубликованного В. А. Кошелевым, Николаем Львович уже имел намерение определить сына в «корпус».¹⁵⁷ Но значит ли это, что в 1794—1796 годах мальчик вместе с отцом находился в Петербурге? Не знаем. Только документы могут ответить и на этот вопрос. Будем искать документы. Пока обратим внимание на три обстоятельства, кажущиеся странными и потому нуждающиеся в объяснении. Похоронив жену, Николай Львович просит у генерал-прокурора «позволить» ему «на некоторое время отправиться в деревню, находящуюся в Вологодском наместничестве», для того чтобы «привести в порядок» «расстроенное состояние».¹⁵⁸ Но если малолетние Константин и Варвара находятся в Даниловском, то тогда не естественнее ли было бы ожидать другой формулировки причины: «в Тверскую губернию для свидания с детьми»? В письме А. Н. Самойлову от 30 апреля 1796 года, пытаясь аргументировать невозможность своей поездки в Вятку (как этого требовал сенатор С. И. Маврин), Н. Л. Батюшков называет в качестве «препятствия» «бедственные обстоятельства» и «окружающее семейство в четырех малолетних дочерях и пятом сыне».¹⁵⁹ И наконец, 14 августа 1796 года Н. Л. Батюшков сообщает Л. С. Бердяеву о своих долгах («в пансионы (курсив мой, — Р. Л.) за содержание... детей».¹⁶⁰ в частности). Но ведь три старшие дочери Николая Львовича воспитывались в одном пансионе, принадлежащем мадам Эклебен. Не значит ли это, что летом 1796 года Константин Батюшков уже был определен в пансион?

¹⁵³ Там же, с. 27.

¹⁵⁴ *Батюшков К. Н. Соч.*, т. 3, с. 1.

¹⁵⁵ ЦГАДА, ф. 248, оп. 150, кн. 6642, л. 96.

¹⁵⁶ Там же, ф. 1239, оп. 3, ед. хр. 55091, л. 2.

¹⁵⁷ *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 25—26.

¹⁵⁸ ЦГАДА, ф. 248, оп. 81, кн. 6713, ч. I, л. 546.

¹⁵⁹ Там же, кн. 6734, л. 294—294, об.

¹⁶⁰ ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 1294, л. 2.

Косвенные доказательства, приводимые В. А. Кошелевым (с. 173), не убеждают. Из «Описи имущества села Даниловского», составленной Л. А. Батюшковым в 1796 году, следует только то, что в помещицком доме были «детские горницы» и что младшие дети Батюшковых, Константин и Варвара, здесь бывали. Но ведь Константин мог лишь гостить у деда, а не жить в Даниловском «с 1791 по 1797 г.». Что же касается поэтических образов «дедовский кров», «дедовский нрав», «дедовский устав», «солонка дедовска одна», то к ним можно прибавить еще более длинный ряд: «отечески пенаты», «лижища отцов», «древний град моих отцов», «страна своих отцов», «край отцов», «отечески брега», «отеческий сосуд», «отчий кров», «родительский кров», «родительски поля», «останки праотцов», «меч прадеда»... В сознании К. Батюшкова эти понятия никогда не противопоставлялись. Они символизировали единое — Отечество.

Мысль о том, что детские годы К. Батюшкова прошли в Даниловском, высказана еще Л. Н. Майковым.¹⁶¹ С тех пор прошло сто лет, а точными доказательствами на этот счет наука все еще не располагает. Когда нет документов, рождаются легенды... Попробуем взглянуть глазами широкого круга читателей (ведь книги адресованы не только специалистам) на соответствующие разделы «документального повествования» В. А. Кошелева и «документальной повести» В. Афанасьева. Какой разницей фактов, оценок, какое противоречие характеристик: В. А. Кошелев пишет о том, что мать поэта «родилась около 1760 г.»¹⁶² а В. Афанасьев утверждает, что женой Н. Л. Батюшкова она стала в 1772 году;¹⁶³ по словам В. А. Кошелева, «специальные гувернеры» «вряд ли в Даниловское приглашались» и будущего поэта «первоначально... образовывал дед»,¹⁶⁴ а В. Афанасьев считает, что мальчик был «полностью» отдан «на попечение сестер и учителей-французов».¹⁶⁵ В детстве Батюшкова, каким оно представляется В. А. Кошелеву, главная фигура — дед; В. Афанасьев о нем только упоминает, и главное лицо здесь — отец. Почему это произошло? Потому что отсутствие точного знания пытаются компенсировать предположениями и догадками. К тому же читатель лишен возможности проверить постро-

¹⁶¹ *Майков Л. Указ. соч.*, с. 8.

¹⁶² *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 14.

¹⁶³ *Афанасьев В. Ахилл, или Жизнь Батюшкова. М., 1987*, с. 20—21.

¹⁶⁴ *Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти*, с. 26, 25.

¹⁶⁵ *Афанасьев В. Ахилл, или Жизнь Батюшкова*, с. 23.

нии исследователей, он примет за истину и явное преувеличение: «Ее («Городовую обывательскую книгу Вологды», — Р. Л.) даже не назовешь книгой: огромная переплетенная рукопись около метра толщиной»¹⁶⁶ (заметим для справки, что толщина рукописи всего 30 см). Только почему нельзя сказать правду: «не знаем», «не сохранилось точных свидетельств», «не располагаем необходимыми данными»?

О матери поэта Александре Григорьевне Батюшковой, урожденной Бердяевой, сегодня, как и сто лет назад, мы знаем только то, что она принадлежала к старинному дворянскому роду Вологодского края.¹⁶⁷ Разыскания прибавили немного. А. Г. Батюшкова была дочерью подполковника Григория Григорьевича Бердяева. Их родство подтверждается двумя документами, хранящимися в ГАВО: делом о «продаже... дому... подполковника Бердяева» (1786), в котором имеется «опись... učinенная Александрой Батюшковой»,¹⁶⁸ и свидетельством Грязовецкого уездного суда, где Григорий Бердяев назван ее отцом.¹⁶⁹ Дата рождения деда поэта по материнской линии (1725) определяется на основании данных Герольдмейстерской конторы. В «Списке шляхетных педорослей» о «Григоре Григореев сыне Бердяеве (из дворян)» сказано: «В 36 г. показал себе лет 11. За отцом 141 душ. Деревни имеет в Вологодском уезде».¹⁷⁰ В документах 1786 года о нем говорится как о покойном. Из служебной биографии подполковника Г. Бердяева известен один факт: в 1770 году он был выбран от дворянства «в комиссионеры при рекрутском... наборе».¹⁷¹ Судя по документам ГАВО, А. Г. Батюшкова наследовала после смерти брата «флота лейтенанта Николая Григорьевича сына Бердяева», недвижимое имение «Вологодского наместничества Грязовецкой округи Угольской волости в деревнях... 250 душ».¹⁷²

Григорий Гаврилов сын Бердяев (1670—?) — по данным Герольдмейстерской конторы, он имел двух сыновей, Григория и Степана, и, следовательно, приходился К. Н. Батюшкову прадедом — «в службу взят из шляхетства в 700 г.». В 1703 году в составе эскадрона Астраханско-драгунского полка под командованием генерал-фельдмаршала графа Шереметьева он участвовал в сражении со шведами и был ранен («левая

рука перерублена, правая нога пробита»). «За ту баталию и раны» Григорий Гаврилович Бердяев был «пожалован капитаном», в 1720 году — произведен в вахмистры. Военной карьеры прадед поэта не сделал. За «называние себя ложно прапорщиком» «в челобитной своей в вотчинную коллегию» он был лишен вахмистерского чина, «написан в солдаты и отослан в сенатскую роту». 21 февраля 1727 года Г. Г. Бердяев был «отставлен от службы» «за старостью»: «... по всемилостивейшему ея императорского величества указу вина его отпущена и дан ему прежний вахмистерский чин». Прадед К. Н. Батюшкова по материнской линии имел «жительство в Вологодском уезде в Угольской волости в сельце Браткове; крестьян за ним во оном Вологодском да Пошехонском уездах в разных деревнях... мужеска полу 120 душ».¹⁷³ Большое количество документов о вологодских Бердяевых XVII—начала XVIII века хранится в рукописном отделе ГБЛ. И только несколько строчек, написанных рукою А. Г. Батюшковой: коротенькая приписка в письме мужа к Анне Львовне и Ивану Семеновичу Карауловым с трогательной просьбой «не оставить» ее дочери «Аннушку» («... за что сама буду стараться вам заслужить моей благодарностию») ¹⁷⁴ и подпись в официальном документе: «Александра Григорьевна дочь Батюшкова руку приложила».¹⁷⁵ Неужели это все, что сохранилось?

Работы В. А. Кошелева создавались с вполне определенной установкой: освободить монографию Л. Н. Майкова «от некоторых искажений и ошибок» (с. 169). Исследователь ввел в научный оборот новые документы (письмо мадам Эклебен, опись усадьбы Даниловское, материалы, характеризующие имущественное положение Батюшковых, и др.), новые факты (реконструирован послужной список Николая Львовича); он уточнил даты рождения сестер поэта Алек-

¹⁷³ ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 90, л. 109, 109, об.

¹⁷⁴ ЦГИА, ф. 1101, оп. 2, ед. хр. 156. Письмо датировано 12 мая 1783 года и свидетельствует о том, что у А. Г. и Н. Л. Батюшковых уже было две дочери: «Аннушка» (по неизвестным нам причинам она жила в это время в семье сестры Николая Львовича) и «Лизонька», находившаяся вместе с родителями в Великом Устюге. Таким образом, предлагаемые исследователями даты рождения старших сестер поэта — Анны (1783 — Кошелев В. А. К биографии К. Н. Батюшкова, с. 171) и Елизаветы (22 декабря 1784 — Русский провинциальный некрополь. М., 1914, т. 1, с. 960) требуют проверки и уточнения.

¹⁷⁵ ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 414, л. 1, об.

¹⁶⁶ Красный Север, 1986, 11 мая, с. 4.

¹⁶⁷ Майков Л. Указ. соч., с. 8.

¹⁶⁸ ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 473, л. 2.

¹⁶⁹ Там же, ед. хр. 414, л. 4, об.

¹⁷⁰ ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 227, л. 406, об.

¹⁷¹ ГАВО, ф. 178, оп. 10, ед. хр. 40, л. 19, об.

¹⁷² Там же, ед. хр. 414, л. 1, 1, об.

сандры и Варвары и т. д. Жаль, что результаты этих разысканий не учтены В. Афанасьевым. Но «исправляя» Л. Майкова, В. А. Кошелев порой только прибавляет ошибки: ведь ни одно из рассмотренных нами предположений исследователя документами не подтвердилось. И вообще, в какой мере биографу позволено «предполагать»? Где он должен остановиться, точнее, остановить себя? Но наша статья — вовсе не рецепция на книгу В. А. Кошелева. Ее пафос

в другом — в необходимости обстоятельных архивных разысканий.¹⁷⁶ Убеждены: научная биография писателя может строиться только на точном знании.

¹⁷⁶ Приношу сердечную благодарность сотрудникам ЦГАДА, ИРЛИ, ЦГИА, ГПБ, ГБЛ, ОППГИМ, ГАВО, ГАКО, Устюженского и Череповецкого краеведческих музеев.

В. Г. Березина

К ЖУРНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ НАЧАЛА 1830-х ГОДОВ

(ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ ВТОРОГО НОМЕРА
«МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА» ЗА 1831 ГОД)

«Тридцатый, холерный год был для нашей литературы истинным черным годом, — писал Белинский в «Литературных мечтаниях». — Журналы все умерли, как будто бы от какого-нибудь апоплексического удара или действительно от холеры-морбуса».¹

В самом деле, в 1830 году прекратили свое существование девять журналов, в том числе «Вестник Европы», «Атеней», «Московский вестник», «Славянин», «Русский зритель», «Политический журнал». Временно приостановилось издание «Отечественных записок» и «Галатей».

В этом году не появилось ни одного нового журнала, но зато стала выходить «Литературная газета». Издатель газеты А. А. Дельвиг сумел с помощью А. С. Пушкина объединить на ее страницах лучшие литературные силы.

С выходом «Литературной газеты» наметилось новое направление в литературно-журнальной борьбе, определились новые аспекты полемики. Главная борьба развернулась между журналом П. А. Полевого «Московский телеграф» (1825—1834) и «Литературной газетой». Это была борьба двух аптагистических социальных сил, причем в позиции каждой правительство усматривало проявление неблагонамеренности (правда, различной по своему содержанию).

Почти все участники «Литературной газеты» в свое время находились в более или менее близких отношениях с декабристами, поэтому «Литературная газета» воспринималась правительством и большинством современников как орган русского просвещенного дворянства, еще не утратившего связи с дворянской

революционностью, как орган политической оппозиции правительству. Именно этим объясняются постоянные наемки Булгарина в «Северной пчеле» (и многократные его донесения в Третье отделение) на недостаточную политическую лояльность «Литературной газеты», на вольномыслие ее сотрудников, и прежде всего Пушкина. Впрочем, борясь с «Литературной газетой», Булгарин преследовал не только политические, но и личные цели: он видел в «Литературной газете» конкурента своей «Северной пчеле».

Серьезным противником «Литературной газеты», сильным в своей наступательности, был «Московский телеграф», который характеризовался Белинским как «решительно лучший журнал в России от начала журналистики», для издания которого «нужно было больше, чем смелость — нужно было самоотвержение».²

В отличие от всех изданий той поры «Московский телеграф» был боевым антидворянским органом. Его издатель и основной сотрудник купец второй гильдии П. А. Полевой известен как представитель буржуазно-демократического направления в русской общественной мысли, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Противник крепостного права и дворянской монархии, дворянских привилегий во всех сферах жизни, Полевой мечтал о буржуазной монархии, которая должна создать благоприятные условия для свободной политической и экономической деятельности «среднего состояния» (промышленной буржуазии, купцов, ремесленников).

Критика дворянства как сословия, которая велась до 1830 года Полевым и его сотрудниками по журналу в плане

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 87. В 1830 году в России свирепствовала эпидемия холеры.

² Там же, т. 9, с. 693, 688.

социальном, экономическом и моральном, теперь стала распространяться и на область культуры, литературы.

В 1830 году Полевой, как деятель буржуазного толка, буржуазный просветитель, на страницах своего журнала настоятельно доказывает, что следует различать два направления в русской литературе: дворянское, которое будто бы отживает свой век, и педворянское, за которым будущее. С этих позиций он и ведет полемику с «Литературной газетой», являющейся, по его мнению, органом «литературной аристократии». Полевой был прав (и здесь он предвосхищал Белинского), выступая против бессодержательности, мелкотемности, «светскости» произведений дворянских литераторов, которые попадали и на страницы «Литературной газеты». Но он глубоко заблуждался, когда недифференцированно рассматривал дворянскую культуру, отмечая в ней только «светскость» и «аристократизм», когда подчас не выделял Пушкина из среды «литературной аристократии». Буржуазная ограниченность Полевого помешала ему понять, что в силу исторических условий русской жизни просвещенное дворянство еще долго будет возглавлять русскую культуру вообще и литературу в частности.

Для успеха борьбы с «Литературной газетой» Полевой заключил на время тактическое соглашение с Булгаринным, проявив тем самым недостаточную принципиальность: ведь цели и средства борьбы у них были разные. Но как только «Литературная газета» прекратила свое существование (июнь 1831 года), «союз» Полевого с Булгаринным распался и прежняя борьба между ними возродилась.

Из тактических же соображений участвующие в «Литературной газете» не разделяли Полевого и Булгарина и их издания, видели в них прочных союзников, общую мишень для своих полемических выступлений. И все же борьбу с Булгаринным возглавил Пушкин; он единственный из тогдашних литераторов раскрыл в печати политическое лицо Булгарина — в памфлете «О записках Влдока», напечатанном в «Литературной газете» (№ 20, от 16 апреля 1830 года), — а его «Северную пчелу» называл «почти официальной газетой».³

Главным застрельщиком борьбы с Полевым выступал П. А. Вяземский, бывший сотрудник «Московского телеграфа». Его острые полемические выпады против Полевого особо отличались, выделялись на фоне других выступлений газеты ярко выраженной социальной окраской.⁴ Не случайно поэтому

личность и творчество Вяземского стали основным объектом нападений со стороны Полевого и «Московского телеграфа».

«Московский телеграф» обвиняет «Литературную газету» в кастовой замкнутости,⁵ в покровительстве «знаменитых» посредственным писателям своего круга («своего прихода»), в нежелании видеть таланты в других слоях общества, в отсутствии заботы о недворянских слоях читателей, в аристократическом высокомерии и т. д. И все это высказывалось подчас с запальчивостью и передержками, с использованием таких жанровых форм, как пародия, памфлет и даже пасквиль. Впрочем, выступления «Литературной газеты» часто также не отличались особой деликатностью, и в них проскальзывала грубость, разного рода оскорбительные намеки и т. д. Очевидно, подобная полемика, допускающая взаимную некорректность участников, не была исключением: она отражала тогдашние нравы журнальной жизни.

«Литературная газета» уличает «Московский телеграф» в низком уровне публикаций, в промахах и фактических ошибках, «Историю русского народа», которую Полевой сознательно противопоставлял «Истории государства Российского» Карамзина, — в ненаучности, самого Полевого — в отсутствии вкуса и таланта, в некультурности («пешежестве»), «верхоглядстве»), самонадеянности, занятии, неважливом отношении к заслуженным русским писателям, в поддержке бездарных авторов, пишущих «для толпы», в меркантильности, в поощрении «литературной промышленности» и т. д. Многие в этой критике было, бесспорно, справедливо.

Полемика между «Московским телеграфом» и «Литературной газетой», которая велась на страницах этих изданий, нашла также отражение в цензур-

что Булгарин — «полицейский литератор», а Н. Полевой — «кабацкий литератор» «по слогу, по наглости, по буйству своему». Письмо не издано. Цит. по: Гитлис В. В. Пушкин в борьбе с Булгаринным в 1830—1831 гг. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. М.: Л., 1941, т. 6, с. 245.

⁵ Поводом для подобных обвинений послужила часто упоминаемая в «Московском телеграфе» заметка «В одном из наших журналов...», напечатанная без подписи в № 3 «Литературной газеты» за 1830 год (автор Пушкин), где говорилось: «Литературная газета была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов».

³ Пушкин. Полн. собр. соч. [Л.], 1949, т. 11, с. 153.

⁴ В письме к М. А. Максимовичу от 23 января 1831 года Вяземский писал,

ных документах, относящихся, в частности, к журналу Полевого.

Притеснения со стороны цензуры, сопровождавшие «Московский телеграф» с самого начала его издания, особенно усилились в 1830 году, когда обострилась и приобрела новые формы антидворянская направленность журнала, выразившаяся в его непримиримой борьбе с так называемой «литературной аристократией», «знаменитыми писателями» и их периодическими изданиями — «Литературной газетой» и некоторыми альманахами. Имея в виду, очевидно, и цензурные неприятности, возникшие в 1830 году, Полевой называл этот год «тяжелым годом» для «Московского телеграфа» и себя как издателя.⁶

Следующий, 1831 год принес журналу новые сложности. В обстановке жесточайшей политической реакции внутри страны, вызванной революционными событиями в Западной Европе и восставшим в Польше, положение «Московского телеграфа», с его буржуазным радикализмом, симпатиями к буржуазному характеру Французской революции и к передовой французской литературе, с постоянными нападениями на казенный («квасной») патриотизм, оказалось невероятно трудным.

Цензура не только безжалостно сокращала текст пропускаемых ею публикаций, но зачастую запрещала к печатанию сразу по несколько целых статей в составе одного номера, который был уже набран и представлен в цензуру в корректурных листах. Это создавало буквально катастрофическую ситуацию для журнала: издателю требовалось, причем в срочном порядке, заменить запрещенные статьи другими материалами, организовать новый набор текстов, пужную переверстку ранее набранного материала и т. д.

Ярким примером тому может служить цензурная история второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год, а именно запрещение двух статей, в том числе статьи о «Литературной газете».

* * *

В первом номере «Московского телеграфа» за 1831 год⁷ были напечатаны две статьи: «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» (с. 76—94) и «Историческое обозрение 1830-го года» (с. 114—144) — с редакционными ремарками в скобках: к первой статье — «До следующей книжки» (с. 94), ко вто-

рой — «Продолжение в след. книжке» (с. 144). Однако в вышедшем из печати втором январском номере читатели не увидели продолжения ни той, ни другой статьи. В конце номера, в заметке «От издателя», Полевой сообщил читателям: «Начатые в 1-й книжке Телеграфа статьи: „Взгляд на некоторые журналы и газеты русские“ и „Историческое обозрение 1830-го года“ будут продолжаемы. Некоторые обстоятельства, не зависящие от желания издателя, заставляют его, однако ж, отсрочить продолжение и окончание сих статей на несколько книжек. Может быть, читатели выиграют при замене вышеозначенных статей другими, лучшим. Этому порадуясь. Н. П.»⁸

Что же произошло?

Оказывается, продолжение статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» Н. Полевой подготовил для второго номера и в корректурных листах представил в цензуру, но Московский цензурный комитет, опираясь на допущение цензора «Московского телеграфа» Л. А. Цветаева от 23 января 1831 года, печатание статьи не разрешил.

Прежде чем рассматривать материалы Московского цензурного комитета, связанные с продолжением статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», обратимся к началу статьи, опубликованной в первом номере «Московского телеграфа» за 1831 год. Она имеет принципиально важное значение для характеристики теоретико-журналистской позиции Полевого. На первых двадцати страницах статьи (с. 76—87) Полевой подробно изложил главные положения своей журнальной теории: огромная роль журналов⁹ в формировании общественного мнения, общественного сознания, высокие, определяемые временем требования к журналу, его издателю и сотрудникам, соотношение направления журнала и его содержания, типологии периодики и читательской аудитории, раскрытие понятия «журнал» и «газета» и др. Бегло, почти скороговоркой, говорится в статье о недостаточности серьезного отношения представителей светского общества к науке, литературе, журналистике. «Ясно, что в самом обществе заключаются причины, удерживающие движение литературы» (с. 87), — утверждает автор.

⁸ Московский телеграф, 1831, № 2, с. 289.

⁹ Говоря «журнал», Полевой в данном случае имел в виду периодическое издание вообще. Подобная терминологическая емкость слова «журнал» характерна для языковой практики тех лет. Об этом см.: Березина В. Г. К истории слова «газета». — В кн.: Проблемы газетных жанров. Л., 1962, с. 161—165.

⁶ К читателям «Телеграфа». — Московский телеграф. 1830, № 24, с. 546.

⁷ Цензурное разрешение номера — 15 декабря 1830 года; билет на выпуск в свет выдан 2 января 1831 года (см.: ЦГИА г. Москвы, ф. 31 (Московский цензурный комитет), оп. 3, ед. хр. 2465, л. 2).

Полевой намеревался охарактеризовать и оценить (с точки зрения своих требований к органам печати) текущую русскую периодику — сначала газетную, потом журнальную. «Мы поверим изложенную здесь теорию рассмотрением русских журналов, вообще играющих важную роль в русской литературе» (с. 83), — так сам Полевой раскрывает композицию своей работы. Однако на страницах 89—94 Полевой успел рассмотреть только три тогдашние газеты: академические «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», издающиеся от Московского университета, и «Северную пчелу» Ф. В. Булгарина; он показал их несоответствие требованиям, которые предъявляют к периодике современная жизнь и читатели. Закачивалась статья в первом номере словами: «Некоторые обстоятельства, сопровождавшие появление в свет „Интегральной газеты“, издаваемой бароном Дельвигом, заставляют нас с большею подробностью заняться разбором оной».

Как следует из Журнала 4-го заседания Московского цензурного комитета от 23 января 1831 года,¹⁰ в котором дословно воспроизведено донесение цензора Л. Цветаева от того же числа,¹¹ начало «Взгляда на некоторые журналы и газеты русские» было значительно изменено цензором еще в корректуре первого номера, а продолжение «Взгляда...», написанное Н. А. Полевым для второго номера, было задержано в цензуре.

Л. Цветаев сообщал цензурному комитету, что 15 января издатель «Московского телеграфа» доставил ему на дом корректуру части второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год, а именно 15-й лист¹² с продолжением статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», где Полевой «утверждает, что начало сей статьи вышло из печати не в том виде, как бы ему хотелось, что некоторые места лишлись доказательств, другие указаний и пр.». Определив цитированные слова Полевого как недопустимую жалобу публике на цензуру, Цветаев заявил комитету, что по праву цензора он «только смягчил оскорбительные выражения, выпущая самые резкие и все к тому от-

носящееся на основании Устава «о цензуре» § 3-го, как-то...».

В обоснование своей правоты цензор напоминает комитету характер произведенной им правки, цитирует те места первоначальной (корректурной) редакции первой части статьи Полевого, которые он в свое время изменил или вообще вычеркнул (со ссылкой на соответствующие страницы корректуры первого номера «Московского телеграфа»). Это позволяет нам хотя бы частично восстановить первоначальную, доцензурную (корректурную) редакцию статьи, опубликованной в первом номере «Московского телеграфа».

Свои «смягчения» и вычерки Лев Цветаев объединил в три группы: «а», «в», «с»:

«а) На счет всех русских и всей русской публики, а именно что „пошлая растительная бездейственность составляет величайший недостаток русских вообще“ (стр. 82);¹³ далее: „У нас нет стремления к общественной жизни, все есть цель к поддержанию одной растительной жизни; связи и корысть — две великие пружины, двигающие нашим обществом; для них у нас живут все и оттого породили тот нестерпимый эгоизм, который отвлекает нас от всякого общего стремления, от всякого единства в делах и мнениях“ (стр. 87). в) На счет Академии и университетов, например, „Академия и университеты не только не заботятся об издании журналов и газет, но даже удаляются от сих занятий: ни одно высшее учебное и учебное заведение не заботится об одной из важнейших частей своего занятия, т. е. об издании журналов“ (стр. 89).¹⁴ с) Равномерно исключил он,

¹³ Слова «русских вообще» цензор заменил на «большей части русских» (см.: Московский телеграф, 1831, № 1, с. 82). Цитируемый далее цензором текст корректуры (с. 87) в печать не попал (очевидно, Л. Цветаев его вычеркнул).

¹⁴ Этот текст Цветаев заменил следующим: «Одно непонятно нам и в Петербургских и Московских ведомостях: почему не занимаются ими те ученые заведения, в пользу коих они издаются» (Московский телеграф, 1831, № 1, с. 91). Что касается критических замечаний Полевого в адрес академических «Санкт-Петербургских ведомостей», оставшихся в печатном тексте (с. 88—90), то Академия наук подала на «Московский телеграф» жалобу министру народного просвещения князю К. А. Ливену. Признав жалобу «совершенно справедливою», министр сообщил об этом в своем отношении от 31 января 1831 года на имя попечителя Московского учебного округа и председателя Московского цензурного комитета князя С. М. Голицына. Министр также потребовал «сделать надлежащее замечание цензо-

¹⁰ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2165. л. 8—8, об.—9.

¹¹ Там же, оп. 5, ед. хр. 70, л. 4—5 (с оборотами).

¹² «Московский телеграф» выходил дважды в месяц. Четыре номера объединялись в часть. Первые четыре номера за 1831 год составили 37-ю часть. Нумерация листов и страниц — общая для всей части, последовательно возрастающая от номера к номеру. Второй номер «Московского телеграфа» начинался с 12-го листа.

г. цензор, неприличные колкие насмешки над журналистами, как-то: „Какле старцы, какле наездники сокрушаются под ударами рока немолимого! Как на лице чахоточного или невоздержного, так на многих из них (журналов) были неизгладимые следы разрушения. — Друзья и товарищи на жизнь и на смерть, сии новые куриации легли на том поприще, где защищались они деревянными мечами“ и пр. (стр. 84).¹⁵

По Журналу заседания цензурного комитета от 23 января 1831 года (и донесению Л. Цветаева) можно также восстановить размер, содержание и критическую направленность не пропущенной цензурой продолжения статьи Полевого «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», посвященного в основном «Литературной газете» и занимающего листы 15—17 корректуры второго номера «Московского телеграфа». В 15-м листе, говорится в Журнале заседания, «нашел он, г. цензор, самые оскорбительные выражения на счет Барона Дельвига, как-то: „Он ссудил свое имя «Литературной газете» как *gérant* *responsable* 16“»; далее: «Барон Дельвиг сделал все, что смог, обьявил о газете и начал собирать статьи для „Северных цветов“; стр. 229¹⁷ — не значит ли это, что Барон Дельвиг бесчестным образом обманул публику, что же может быть оскорбительнее для него? Полевой говорит, стр. 227 и 228: „Мы всегда будем утверждать, что постепенное усовершенствование рода человеческого и следственно общества русского и следственно литературы русской есть непреложный закон Всевышнего“. Такое близкое соединение выражений *литературы русской* и *Всевышнего* по § 7-му Устава «о цензуре» ему, г-ну цензору, кажется неприличным, равно слова „*беспутная груда статей*“ (стр. 230)». «Итак, отметив вышеупомянутые места, — читаем далее в Журнале заседания, — он, г. цензор, на другой день отослал к г. Полевому оный «15-й» лист, прося его, на основании § 64-го, испра-

вить и исправивши прислать к подписанию, а при нем и конец статьи. Издатель Телеграфа возвратил означенный лист при своей записке на имя его, г. цензора, в которой между прочим говорит, что ни за что не согласится поправлять замеченного и что будет искать удовлетворения. При сей записке прислал еще лист 16-й, а через день и 17-й. Прочитавши сии листы, он, г. цензор, нашел в них еще более, нежели в 15-м, неблагопристойных, дерзких и оскорбительных¹⁸ выражений не только на издателей Литературной газеты, но и на многих других. При том, соображая все суждения о Литературной газете, убедился он, г. цензор, что дух господствующий в сей статье, — неблагонамеренный; г. Полевой явно обнаруживает дух неприязни против издателей газеты, их сотрудников и знакомых и возбуждает оный в других. Сей дух вреден потому, что внушает раздор между писателями новыми и старыми, писателями недворянами и дворянами (которых называет г. Полевой *аристократами, феодалами, триумвирами*,¹⁹ а общество их *кадрилью, бандою, партией*²⁰). вообще между дворянами и простолюдинами, на многих страницах говорит о благородстве, чести и правах сих последних, как людей, а достоинство дворянства унижает; на стр. 242 оправдывается поединок на палках между поденщиком и дворянином.²¹ Таковой раздор может произвести дух партий и сде-

¹⁸ К некоторым своим замечаниям Л. Цветаев на полях текста донесения проставлял страницы корректурных листов 16—17 (см.: ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 70, л. 5—5, об.). Так, к слову «неблагопристойных» даны с. 234, 239, 244; к словам «дерзких и оскорбительных» — с. 231, 233, 234, 235, 236, 242, 245, 250, 255.

¹⁹ В своем донесении цензор при слове «триумвирами» указал с. 231, 238.

²⁰ В донесении цензора при слове «партией» значатся с. 231, 232, 236; к идущим далее словам «простолюдинами» и «дворянства унижает» даны с. 236, 237, 238, 239, 242, 249, 250, 251, 252.

²¹ Здесь Полевой спорит со статьей Вяземского «Несколько слов о полемике» (Литературная газета, 1830. № 17, 27 марта). Вяземский, демонстративно подчеркнув, что он не намерен вступать в полемику с литераторами, которые «не принадлежат хорошему обществу» и «не посвящены в таинства его», писал: «Пойдет ли благородный человек, вооруженный шпагою, драться наедине с поденщиком, владеющим палкою? Разумеется, не от страха откажется он от боя: оружие его язвительное, по законам чести, сии необходимые предрасудки общества, определили, что бой на шпагах благороден, а бой на палках унижителен».

ру, одобревшему № 1 „Московского телеграфа“» (см. Журнал заседания Московского цензурного комитета от 13 февраля 1831 года. — ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2165, л. 14, об.). Замечание Льву Цветаеву было сделано.

¹⁵ Далее в донесении цензора Л. Цветаева идут слова, не вошедшие в Журнал заседания: «Какие же нужны здесь доказательства и указания?» (ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 70, л. 4, об.).

¹⁶ ответственный редактор (фр.).

¹⁷ В Журнале заседания цензурного комитета страница корректуры 15-го листа указана ошибочно: 220. Правильное прочтение (229) — в донесении цензора Л. Цветаева (ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 70, л. 5).

даться со временем опасным для государства. Следовательно, вообще вся рецензия Телеграфа на Литературную газету, содержащая суждение о Литературной газете, по §§ 6 и 63 Устава подлежит запрещению. *Определено*: В сходственность донесения г. цензора Цветаева и на основании § 45-го Устава о цензуре статью из Московского телеграфа, содержащую в себе рецензию на Литературную газету, удержат при делах комитета, а представившему оную выдать узаконенное свидетельство».

Нетрудно заметить, что цензора постигла не столько сама полемика Полевого с «Литературной газетой», сколько резко враждебная правительству «опасная» общественная позиция Полевого и его журнала. Коснувшись только одного момента (обвинение Полевым издателя газеты Дельвига в пассивности), цензор всю тяжесть своих замечаний обрушил на выпады Полевого против дворянства как сословия, на защиту им интересов и прав педворин, третьего сословия («простолюдников»).

Запрещенные три корректурных листа (15—17) второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год с продолжением статьи Полевого «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» в делах Московского цензурного комитета обнаружит не удалось. Но зато в рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в архиве С. Д. Полторацкого, сотрудника «Московского телеграфа», близкого друга братьев Полевых, сохранился новый (неопубликованный) вариант продолжения статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», целиком посвященный «Литературной газете» (о нем см. ниже). О судьбе окончания статьи Полевого с обещанной им характеристикой текущей уже не газетной, а журнальной периодики сведений нет; неизвестно, было ли оно вообще написано.

* * *

Попытаемся реконструировать корректурный вариант трех листов (15—17) второго номера «Московского телеграфа» и сравнить его с отпечатанным. Для удобства и наглядности сначала воспроизведем композицию отпечатанного (тиражного), выпущенного в свет второго номера «Московского телеграфа».

Он начинается с листа 12 (с. 167) и заканчивается неполным листом 19 (с. 279—289; с. 290 — пустая), далее идет сатирическое прибавление «Новый живописец общества и литературы» с самостоятельной нумерацией листов и страниц (л. 3, с. 23—38) и четыре нумерованные страницы — «Парижские моды». Далее цензурная помета: «Печатать позволяется, с тем, чтобы по отпечатании представлены были в Цензурный Комитет три экземпляра. Москва,

Января 28 дня 1831 года. Цензор и кавалер Лев Цветаев».

На листах 12—19 материал располагался следующим образом.²²

Статья «О чтении египетских иероглифов»: с. 167—195.

Стихотворения: с. 195—202.

Повесть Бенжамена Констан «Адольф»: с. 203—264.

Статья об «Истории крестовых походов» Ж. Мишо: с. 227—244.

«Современная библиография. Русская литература»: с. 244—264 (на колонтитуле: «Русская литература»).

«Газеты и журналы, издаваемые в России на 1831-й год»: с. 265—271.

«Парижские театры»: с. 271—279.

«Пояснение картинки»: с. 279—280.

«Отечественные известия»: с. 280—282.

«Смесь»: с. 283—288.

«От издателя»: с. 289.

Второй номер «Московского телеграфа» за 1831 год поступил 27 января на рассмотрение к цензору Льву Цветаеву, который одобрил его 28 января. Позволительный билет на выпуск в свет за № 85 от 16 февраля выдан 20 февраля.²³

Данные эти касаются второго номера «Московского телеграфа» в полном объеме. Обычно же он (как и другие журналы) проходил цензуру частично, отдельными корректурными листами, что в цензурных документах не отражалось. Фиксировались только случаи с теми листами и материалами, в них содержащимися, которые вызывали особую осторожность цензора и по поводу которых выносилось особое определение цензурного комитета.

Можно предполагать, что до 15 января (т. е. до получения 15-го листа, который Полевой представил 15 января)

²² Лист 12 включал с. 167—182; л. 13 — с. 183—198; л. 14 — с. 199—214; л. 15 — с. 215—230; л. 16 — с. 231—246; л. 17 — с. 247—262; л. 18 — с. 263—278; л. 19 — с. 279—290.

²³ См. Книгу для записей рукописей и книг (ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 1, ед. хр. 13, л. 18) и Журнал заседания Московского цензурного комитета от 20 февраля 1831 года (там же, оп. 3, ед. хр. 2165, л. 18). Заметим кстати: в Книге для записей рукописей и книг указан объем второго номера «Московского телеграфа»: 130 страниц. Именно таков объем выпущенного номера (с. 167—290, плюс 4 нумерованные страницы — «Парижские моды», плюс две картинки мод). Значительное временное расхождение в датах цензурного разрешения и билета на выпуск в свет (19 дней) объясняется тем, что 13 февраля возникли новые осложнения с двумя корректурными листами (18 и 19), уже прошедшими цензуру.

Лев Цветаев процenzуровал и одобрил первые три корректурных листа (л. 12—14, с. 167—214), точно соответствующие будущему отпечатанному варианту. Но следующие три листа (15—17) с продолжением статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», которые Полевой представлял цензору 15 января и в последующие дни, оказались предметом специального донесения цензора п заседании Московского цензурного комитета от 23 января, принявшего решение запретить статью.

Очевидно, 15-й корректурный лист, как и отпечатанный, начинался продолжением повести «Адолф» (с. 215—226). Но дальше, в отличие от отпечатанного листа, в нем шло продолжение статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» (с. 227—230), которое занимало затем весь 16-й корректурный лист (с. 231—246) и несколько начальных страниц 17-го корректурного листа (с. 247—252). Вслед за этой статьей шла, по аналогии с первым номером «Московского телеграфа», «Современная библиография. Русская литература», которая занимала большую часть 17-го корректурного листа (с. 252—262) и переходила на лист 18 (с. 263—264). Основанием для подобного расчета служит донесение цензора Л. Цветаева, который, цитируя продолжение статьи «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские», называет многие страницы корректуры (между с. 227 и с. 252) всех трех листов (15, 16 и 17).

После запрещения 23 января 1831 года продолжения статьи Полевому пришлось вносить изменения в листы 15—17, причем делать это незамедлительно и с таким расчетом, чтобы не затрагивать лист 18, открывающийся окончанием библиографического отдела «Русская литература» (с. 263—264). Вместо «Взгляда...» была включена переведенная с французского критическая статья о труде Ж. Мишо «История крестовых походов» (с. 227—244) и на восемь страниц расширен отдел библиографии «Русская литература», который теперь шел со страницы 244 до конца 16-го листа (с. 246), занимал весь 17-й лист (с. 247—262) и переходил на лист 18 (с. 263—264). Такое расположение материала на листах 15—17 сохранилось в отпечатанном варианте.

* * *

Только что закончилась цензурная история с 15, 16 и 17-м корректурными листами второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год, как следующие два корректурных листа (18 и 19) вновь вызвали вмешательство цензуры. Полевому вменялось в вину нарушение утвержденной программы «Московского телеграфа». Согласно этой программе, в журнале не должны печататься «статьи о государственном управлении»,

а Полевой решил поместить во втором номере статью «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов». Этот вопрос рассматривался на 7-м заседании Московского цензурного комитета 13 февраля 1831 года. В Журнале заседания, дословно воспроизводящем текст донесения цензора Л. Цветаева,²⁴ записано: «Слушали... Донесение г. цензора Цветаева, в коем прописывает, что издатель Московского телеграфа г. Полевой доставил к нему, г. цензору, для рассмотрения № 2-го на сей год листы 18-й и 19-й, где под рубрикою *Летопись современной истории* находится статья под заглавием *О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов*, а как в программе г. Полевого, представленной им в бывший при Московском университете цензурный комитет, ясно сказано, что из Телеграфа исключаются (между прочим) сочинения о государственном управлении... почему г. цензор Цветаев покорнейше просит Комитет разрешить, может ли он одобрить к напечатанию как сия статью, так и впредь могущие поступить к нему в цензуру несогласные с программой. *Причем г. цензор также мнением полагает, что вышеупомянутая статья из Московского телеграфа хотя не содержит ничего противного уставу о цензуре, но по нынешнему брожению умов, мечтающих о свободных конституциях, может иметь вредное влияние.*²⁵ Определено: Поелику Комитет ни под каким предлогом разрешить не осмеливается, чтобы одобрить к напечатанию статьи, не согласной с программой Московского телеграфа, утвержденной высшим начальством, поему г. цензор Цветаев должен руководствоваться в точности упомянутой программой; представленные же им корректурные листы из Телеграфа о государственном устройстве Северо-Американских штатов оставить при делах комитета для справок, о чем известить издателя Телеграфа».²⁶

В делах Московского цензурного комитета нам удалось разыскать два корректурных листа (18 и 19) второго номера «Московского телеграфа» (с. 263—294)²⁷ с запрещенной к печатанию статьей «О государственном устройстве

²⁴ Донесение Л. Цветаева от 13 февраля 1831 года см.: ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 70, л. 16.

²⁵ Подчеркнутые писарем слова, взятые из донесения Л. Цветаева, в тексте Журнала заседания Московского цензурного комитета от 13 февраля 1831 года заключены в скобки и против них на полях писарским почерком сделана помета: «Не читано».

²⁶ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2165, л. 14, об.—15.

²⁷ Там же, оп. 4, ед. хр. 41, л. 1—16 (с оборотами).

Северо-Американских соединенных штатов» (с. 271—289).

Эта находка не только позволяет ознакомиться с текстом данной статьи, но также помогает представить себе сложную работу, которую пришлось проделать Н. Полевому по заполнению страниц двух не пропущенных цензурой статей другим материалом, причем с наименьшей переверсткой остальных набранных страниц.

Что представляют собой обнаруженные нами корректурные листы?

Дадим сначала их внешнее описание.

В верхнем левом углу начальной (263-й) страницы 18-го листа толстым пером густыми чернилами проставлено: «№ 13».²⁸ Выше страницы таким же пером и такими же чернилами сделана запись: «Удержана при делах Комитета по журналу седьмого заседания февраля 13-го дня 1831-го года. Секретарь Адъюнкт Щедринский». Имеются две записи тонким пером и более светлыми чернилами: в правом верхнем углу начальной (263-й) страницы 18-го листа: «2 корректура. 11 февраля» и начальной (279-й) страницы 19-го листа: «2 корректура. 12 февраля». Судя по почерку, записи сделаны рукой Ксенофонта Полевого, активного помощника брата по изданию журнала; даты означают дни передачи корректурных листов цензору.

То обстоятельство, что задержана вторая корректура, позволяет предполагать, что содержание листов 18 и 19 по первой корректуре у цензора Цветаева возражения не вызвало. Но 11 и 12 февраля он получил вторую корректуру этих листов и в них увидел статью «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов», которой не было в первой корректуре (вторая корректура представлялась цензору в тех случаях, когда вносился новый материал уже после рассмотрения и утверждения номера по первой корректуре).

Теперь рассмотрим содержание обнаруженных нами корректурных листов.

На первых двух страницах листа 18 (с. 263—264) помещено окончание библиографии, начатой еще в 16-м листе (на колоннитуле значится: «Русская литература»)²⁹ Следом напечатан библио-

графический перечень «Газеты и журналы, издаваемые в России на 1831-й год» (с. 265—270 и шесть строк на с. 271). Такое же расположение материала и в печатном варианте. Но дальше в корректурном варианте на той же (271-й) странице помещена рубрика «Летопись современной истории», а в ней — начало переведенной с английского статьи «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов»,³⁰ которая занимает с. 271—278 листа 18 и большую часть листа 19 (с. 279—288 и четыре строки на с. 289 с редакторской ремаркой в скобках на этой странице: «До следующей книжки»).

На с. 289 начинается переведенный с французского обзор «Парижские театры», который продолжается до конца 19-го корректурного листа, т. е. включая с. 294. Продолжение театрального обзора переходило на 20-й лист и должно было заканчиваться на с. 297.³¹

После изъятия цензурой статьи «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов» (с. 271—289) Полевому оставались два выхода: или заменить ее материалом, абсолютно равным ей по величине, с тем чтобы 19-й лист по-прежнему заканчивался 294-й страницей (а это было довольно трудно), или «ужать» оба листа и перенести в 19-й часть материала из листа 20. Полевой так и поступил. В отпечатанном варианте в 18-м листе после библиографического реестра «Газеты и журналы, издаваемые в России на 1831-й год» вместо запрещенной статьи сразу идет обозрение «Парижские театры», которое переходит на начальную (279-ю) страницу 19-го листа, за ним идут из бывшего 20-го (последнего) листа «Изъяснение картинки» (с. 279—280), «Отечественные известия» (с. 280—282), «Смесь» (с. 283—288) и «От издателя» (с. 289). Незаполненными остались две трети с. 289 и вся с. 290. Таким образом, в отпечатанном варианте номер заканчивается неполным 19-м листом (полный лист должен был заканчиваться 294-й страницей).

Что касается самой статьи «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов», то она, на первый взгляд, действительно никак особой крамолы в себе не содержит. В статье, написанной англи-

видуальное авторство Н. Полевого отпало.

³⁰ В подстрочной сноске к заглавию статьи указано на с. 271: «Изд. Westminster Review».

³¹ Это видно из того, что после с. 276 отпечатанного варианта второго номера журнала, которая идентична с. 294 второй корректуры, обозрение парижских театров заняло еще с. 277—278 и десять строк на с. 279.

²⁸ Это, очевидно, порядковый номер материала, запрещенного в текущем, 1831 году и оставленного при комитете.

²⁹ О том, что отдел «Современная библиография» был расширен, дополнительно набран и переверстан, свидетельствует и такой факт: в конце этого отдела во второй корректуре (с. 264) стоит подпись: Н. Полевой, а в печатном варианте эта подпись уже отсутствует. Очевидно, при расширении библиографического отдела в нем приняли участие и другие лица, поэтому инди-

чапином, говорится о превращении Северной Америки из английской колонии в самостоятельное государство, подробно характеризуется система управления страной, взаимодействие высшей общегосударственной власти («правительственной власти») и государственной власти отдельных областей-штатов («местного начальства»), подчеркивается принцип выборности государственных должностей. В ряде случаев автор сопоставляет государственное устройство Северо-Американских штатов и Англии, причем не в пользу своей страны. Положенке выдержано в спокойной, деловой, даже сухой форме, лишено каких бы то ни было эмоций.

И все же Лев Цветаев со свойственной ему обостренной цензурной «бдительностью» забил тревогу. Его, очевидно, особо насторожили следующие строки статьи: «Областные конституции, или постановления областей Северо-Американских, большую частью разнятся между собою... Только одно неперемненное условие положено для всех в основание: каждый Штат, составив сам себе внутренние законы, должен быть *непрерывно республикою*, и никакая другая форма правления не может быть введена, если он принадлежит к Северо-Американскому Союзу» (с. 287).³² И у цензора были все основания полагать, что при возбуждении русского общественного мнения, вызванном революционными событиями на Западе и Польским восстанием, статья «может иметь вредное влияние».

Пройдет совсем немного времени, и на заседании Московского цензурного комитета 5 июня 1831 года будет рассматриваться отношение князя К. А. Ливена, рекомендующего, точнее, приказывающего усилить цензурование периодических изданий, и особенно журнала Полевого. В Журнале заседания записано: «Слушали... 2) Отношение его светлости г. Министра народного просвещения от 25-го мая сего года за № 195-м, в коем поясняет, что при настоящих обстоятельствах, когда просвещения во многих землях Европы и даже в самых пределах Империи обращают на себя общее внимание и производят сильное волнение умов, Главное управление цензуры признало необходимым усилить надзор цензуры за периодическими изданиями. Вследствие сего он, г. Министр, покорнейше просит поставить Московскому цензурному комитету в обязанность употреблять особенную осмотрительность при цензуровании как вообще повременных сочинений, так в особенности Московского телеграфа, обращать тщательное внимание на направление и дух издания и не позволять не только таких статей, ори-

гинальных и переводных, которые могут производить вредные впечатления на читателей и внушать неприязненное расположение к правительству и вообще к высшим сословиям и званиям в государстве, но и таких, в которых злонамеренная цель прикрыта так, что она не изобличается явно и очевидно, которые, однако же, при сближении с другими, рассеянными в сем издании статьями или по времени и обстоятельствам, когда они печатаются, обнаруживают вредное стремление и намерение издателя журнала. Определено: приять к должному и неперемненному исполнению, для чего всем гг. цензорам дать выписки сей статьи из журнала».³³

Но вернемся ко второму номеру «Московского телеграфа» за 1831 год.

Естественно возникает вопрос, не является ли запрещенная цензурой статья «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов» продолжением статьи «Историческое обозрение 1830-го года», начало которой опубликовано в первом номере «Московского телеграфа» за 1831 год с обещанием продолжения во втором номере, которое, однако, в нем не появилось, как сообщил сам Н. Полевой, по «обстоятельствам, не зависящим от желания издателя».

Как нам представляется, на поставленный вопрос следует ответить отрицательно. Хотя обе статьи помещены под одной и той же рубрикой «Летопись современной истории», это совершенно разные публикации и по содержанию, и по жанру, и по авторству.

«Историческое обозрение 1830-го года» написано самим Н. Полевым. Заявив, что «Летопись 1830 года необходимо должно разделить на две половины, что «все события 1830 года сами собою делятся поугуodem: за первые шесть месяцев дела казались продолжением дел 1829 года, с июля месяца — все изменилось, вся Европа поколебалась». Полевой специально останавливается на положении дел во Франции, потому что «с самого начала прошлого года взоры всей Европы обращены были прежде всего на Францию».³⁴ Вся статья посвящена Франции (поэтому на колонтитуле, начиная с 121-й страницы, значится: «Франция»), причем речь идет о Франции первых месяцев 1830 года, до Июльской революции. Издатель «Телеграфа» заверял цензуру: «Оправдывая название *Современной летописи*, мы представим их (т. е. исторические события, — В. Б.) читателям в картине довольно подробной, но без всяких политических догадок и суждений»: «Все

³³ Там же, ф. 31, оп. 3, ед. кр. 2163, л. 44—44, об.

³⁴ Московский телеграф, 1831, № 1, с. 119, 120.

³² ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 4, ед. кр. 41, л. 13.

будет взято нами из Journal de St. Pétersbourg, издаваемого в СПбурге, при Министерстве иностранных дел».³⁵

Судя по ремарке в конце статьи: «Продолжение в след. книжке», Н. Полевой намеревался написать несколько статей под общим названием «Историческое обозрение 1830 года» — рассказать не только о революционной Франции, но и о других странах. Однако он вскоре осознал невозможность (и даже небезопасность) выполнения своего замысла и отказался от него. Но чтобы и во втором номере журнала сохранить рубрику «Летопись современной истории», решено было ввести в номер более «спокойный» материал, заготовленный для следующих номеров, — начало статьи «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов». Но, как мы видели, и эта статья не была пропущена цензурой.

Усиление цензурного гнета, установление более строгого надзора цензуры за «Московским телеграфом» вынудили Полевого вывести из состава журнала рубрику «Летопись современной истории». После запрещения статьи «О государственном устройстве Северо-Американских соединенных штатов» эта рубрика сошла со страниц «Московского телеграфа».

* * *

Как уже отмечалось выше, в рукописном отделе ГБЛ в архиве С. Д. Полторацкого хранится текст статьи Н. А. Полевого «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские. (Продолжение)».³⁶ В описи архива С. Д. Полторацкого статья Н. А. Полевого зарегистрирована так: «Писарский список, современный документу. Цензурный экземпляр с исправлениями, пометками и подписью цензора Льва Цветаева (после 1831). 15 листов». В это описание нужно внести три уточнения: 1) на листах имеются не только исправления и пометы, но и многочисленные вычерки цензора (в общей сложности цензор красными

чернилами вычеркнул 300 строк, что составляет ровно треть текста); 2) две правки сделаны рукой Н. А. Полевого; 3) статья написана не после 1831 года, а в 1831 году, до прекращения издания «Литературной газеты» (ее предпоследний, 36-й номер вышел 25 июня; номер 37-й, от 30 июня, был задержан в цензуре).

«Взгляд на некоторые журналы и газеты русские. (Продолжение)» открывается следующими словами Полевого: «Начало сей статьи было напечатано в первой книжке Телеграфа на сей год. С тех пор разные обстоятельства³⁷ мешали нам продолжать начатое. Но пора опять приняться за дело, полезное не в одном отношении. Взгляд на жизнь русских периодических изданий объясняет многое, ибо журналы у нас играют важную роль в литературе, а литература составит некогда часть нашей истории. В начале статьи сей мы изложили некоторые мысли о нынешнем обществе русском³⁸ и начали поверку наших заключений пересмотром газет, издающихся в Петербурге и Москве. Продолжим наше рассмотрение» (л. 23).

Знакомство с содержанием второго варианта продолжения «Взгляда на некоторые журналы и газеты русские» убеждает, что Полевой по-прежнему, как и в первом, корректурном варианте, запрещенном цензурой, видит в «Литературной газете» издание антидемократическое, светское, орган «литературной аристократии».

«Мы написали большую статью о Литературной газете, по некоторые обстоятельства воспретывали нам издавать ее в свет, — информирует Полевой будущих читателей. — Теперь мы и сами не решились бы ее напечатать в прежнем виде, не потому чтобы отказывались от своих прежних мнений, но потому что основатель сей газеты, барон Дельвиг, умер.³⁹ Об умерших не должно говорить ничего кроме добра, следуя неоспоримому правилу, что *все прошедшее есть благо*. Но Литературная газета существует, и направление ее не только не переменилось, но час от часу обозначается ярче. Догадка паша, что барон Дельвиг участвовал в сей газете только своим именем,⁴⁰ становится до-

³⁵ Там же, с. 118, 119.

³⁶ ГБЛ, ф. 233, к. 11, ед. хр. 2, л. 23—36 (с оборотами), 37. Несколько лет назад на этот материал обратил внимание В. А. Салинник (см.: Н. А. Полевой — журналист и критик пушкинской эпохи: Автореф. канд. дис. Л., 1972, с. 19—20). В списке работ автора по теме диссертации значится статья «Н. А. Полевой о „Литературной газете“ А. А. Дельвига и А. С. Пушкина», о которой сказано, что она находится «в печати». Однако до сих пор данная статья В. А. Салинника в печати не появилась. Это позволило нам самостоятельно исследовать вопрос и сообщить некоторые сведения о неопубликованном продолжении статьи Н. А. Полевого.

³⁷ Как мы теперь знаем, главное «обстоятельство» — это цензурное вмешательство.

³⁸ См.: Московский телеграф, 1831, № 1, с. 86—87; ср. строки, приведенные цензором Львом Цветаевым в донесении от 23 января 1831 года и процитированные в Журнале заседания Московского цензурного комитета от той же даты.

³⁹ А. А. Дельвиг скончался 14 (26) января 1831 года.

⁴⁰ Напоминаем, что это мнение Полевой высказал в первом, корректурном варианте продолжения своей статьи.

стоверностью. Следовательно, совсем не против писателя, уважаемого нами и в воспоминании, но против *газеты* хотим мы вооружиться, против газеты, которую поддерживают, хотя и меем, несколько известных литераторов и которой направление кажется нам неуместным, не современным, одним словом — не хорошим. Постараемся доказать это ясными доводами» (л. 23, об.).

Полевой называет две причины появления «Литературной газеты». Первая (он ее оспаривает) — завлечение редакции, что «Литературная газета была у нас необходима не столько для публики, сколько для *некоторого числа писателей*, не могших по разным отношениям являться *под своим именем* ни в одном из петербургских или московских журналов». Эту часть статьи (л. 23, об.—24) цензор не тронул. Но когда Полевой стал рассматривать, по его мнению, «другую причину» создания «Литературной газеты» (стремление «учредить какой-то феодализм литературный», создать «партию знаменитых»)⁴¹ «доказать, что единственно в светском обществе приобретает вкус и развивается способность к изящному», когда он вновь стал утверждать: «Образованность и просвещение. в наше время, видимо, распространяются и не в одном сословии дворян. Из числа людей так называемого среднего состояния начали появляться писатели. Само собой разумеется, что они составляют общество, отдельное от светского. Бог знает с чего, за это обрекли их на неспособность к умственному труду... Во всяком звании и обществе может явиться душа, способная понимать изящное, ибо природа и учение доступны равно для всех. Эта

⁴¹ В статье читаем: «Не за Карамзина, Жуковского и Пушкина загорелась война (т. е. полемика «Московского телеграфа» с «Литературной газетой», — В. Б.). У них никогда и никто (если исключить Вестник Европы) не оспаривал славы. Напротив, критика почти всегда была слишком снисходительна к упомянутым писателям, слишком безусловно хвалила их, и это очень естественно, ибо до сих пор, можно сказать, у нас еще не было критики. Но партизаны Карамзина, Жуковского и Пушкина, закрываясь их славными именами, похвалами и приязнью, не отличали себя от них и хотели учредить какой-то феодализм литературный. Вот что было причиною раздора, продолжающегося донныне. Здравый рассудок публики разделил имена Карамзина, Пушкина и Жуковского от имен писателей, думающих составлять с ними нераздельно одно, и потому-то прозвание *Знаменитых* столь смешно, когда прилагается к таким литераторам, как г. Воейков, кн. Вяземский и многие другие одного прихода с ними» (л. 26—26, об.).

мысль, столь простая и верная истине, встречала противников, но сначала была оспариваема смело и косвенно. Наконец, решились употребить ее предложеном к явному восстанию против *мужиков*, осмеливающихся утверждать, что в них могут быть чувства и мысли», — все это вызвало неодобрение цензора Л. Цветаева, и он зачеркнул семь страниц текста (л. 24, об.—27, об.).

Крайне строга (и, естественно, во многом несправедлива) оценка Полевым содержания рецензируемого издания: «Литературная газета есть не шое что как рама, в которую несколько литераторов вставляют свои жалобы, свои претензии и нападки на современность. Все современное — кроме их самих — не нравится им. Во всем видят они забвение правил вкуса и уважения к достоинствам. Собственно, это Вестник Европы наоборот» (л. 28); «Но исключая небольшое число легонных, приятных (только!) статей, как будто случайно попавших в Литературную газету, мы не встретили там ни одной статьи резко хорошей. Это пустота первообразная!» (л. 28, об.). Полевой обвиняет издателей газеты в непомещении переводных статей современных европейских писателей по «важным современным вопросам» («Они знают только *себя и своих*» — л. 29), не видит ничего ценного в опубликованных литературных произведениях.

«Какие новые мнения и понятия внесли издатели в науку литературу? — спрашивает Полевой и отвечает: — Кроме *философии светских людей* — ничего! Читателям, верно, неизвестна эта *философия*? Представляем образчики ее» (л. 29, об.). Далее приводятся (без ссылки на номера газеты) цитаты из неподписанной заметки Пушкина «Некоторые журналы, обвиняющие в неприличности их полемики» (т. 1, № 10, от 15 февраля 1830 года), из неподписанной заметки Вяземского «Несколько слов о полемике» (т. 1, № 18, от 27 марта 1830 года), из неподписанной, условно приписываемой Пушкину заметки «Новые выходы противу так называемой литературной нашей аристократии» (т. 2, № 45, от 9 августа 1830 года), а также (со ссылкой на № 36 от 25 июня) из неподписанной, условно приписываемой Пушкину заметки «С некоторых пор журналисты наши...». Цензор зачеркнул часть рассуждений Полевого, особенно где он возмущается тем, что «чин и сопряженное с ним дворянское звание суть ручательства за личные достоинства», что «честный мечтани и благородный ремесленник ничтожны перед грабителем, мерзавцем чиновником» (л. 30, об.). Полевой старательно отводит указания «Литературной газеты» на фактические ошибки, допущенные в публикациях «Московского телеграфа», обвиняет газету в некорректности ее выступлений, однако сам

придирчиво и еще более некорректно нападает на фактические неточности и стиль материалов газеты. Он резко возражает против заявления газеты, что «стараниями князя Вяземского Телеграф был поставлен на степень хорошего журнала»⁴² (последнее рассуждение Полевого было значительно сокращено цензором — л. 32, об.). Цензор сильно сократил заключительную часть статьи (л. 35, об.—36, об.), в которой Полевой акцентировал некоторые рассмотренные им положения.

В самом конце статьи, напомнив, что «мы совершенно противоположны мнениям и учению Литературной газеты», Полевой заключает: «После всего сказанного должно быть понятно для всякого, отчего нам даже нестерпимы со страстие с сего газетою и хвалы ее учению. Причина всего заключается не в каких-нибудь личных отношениях, а в сущности самой газеты. К утешению своему скажем, что разделяющих ее мнения очень немного. Чтобы утвердительно сказать это, надобно было обнажить ее философию, направление, ученость, вкус, разборчивость, средства к защите: мы исполнили это. Надеемся, что своим разбором мы сделали публике услугу и что она простит нам несколько лишних страниц, посвященных истине» (л. 37).

Далее идет ремарка в скобках: «До след. книжки», книзу от ремарки цензор Лев Цветаев провел жирную горизонтальную черту и приписал: «NB. Хорошо бы было, если бы везде цитированы были номера Лиг. газеты, из которых взяты ее слова. Л. Цв.» (с росчерком). Следовательно, цензор разрешил печатание статьи, но только без вычеркнутых им мест и с его поправками.

Поскольку цензорская правка проведена Львом Цветаевым на рукописи, значит Полевой, помня о цензурной истории второго номера «Московского телеграфа», которая причинила ему много хлопот как издателю, на сей раз предусмотрительно представил статью Л. Цветаеву заранее, так сказать, на предварительную, докорректорную цензуру, чтобы уже после сдать ее в набор. Но когда Полевой, получив обратно статью, увидел, с какой «активностью» «прошелся» по ней Лев Цветаев, вычеркнув ровно треть самого дорогого Полевому текста, у него пропало желание ее печатать.

К тому же полемка с «литературной аристократией» и ее органом «Литературной газетой» постепенно теряла свою

злободневность в 1831 году. Строгий выговор Дельвигу за помещение заметки «О новых выходках против литературной нашей аристократии» и признание правительством вредности самой полемики привели к некоторому ослаблению полемической остроты выступлений газеты, касающихся Н. Полевого и его журнала. В газете заметно ощущается также отсутствие Вяземского, который, уехав из Петербурга в Москву вместе с Пушкиным 10 августа 1830 года, продолжал изредка сотрудничать в «Литературной газете», но уже не принимал никакого участия в «антикритических перепалках» с «Московским телеграфом» и Н. Полевым. В свою очередь и в «Московском телеграфе» все реже и реже говорится о «Литературной газете». Чувствуется, что позиция журнала по отношению к дворянской литературе уже определилась настолько отчетливо, что не было необходимости и в новых доказательствах, сопряженных к тому же с большими неприятностями для издателя. Не стимулировало полемику и то, что номера «Московского телеграфа» в 1831 году выходили с большим опозданием. Например, разрешительный билет на выпуск в свет шестого номера (т. е. второго за март) выдан только 5 июня.⁴³

Рассмотренная ненапечатанная статья Н. Полевого о «Литературной газете», продолжая полемику «Московского телеграфа» с этим изданием, как бы подводит ей итог и еще глубже раскрывает антидворянскую сущность позиции Н. Полевого и его журнала, ее сильные и слабые стороны.

Характер же цензорского «редактирования» этой статьи Полевого убеждает, что цензор был непрочь пропустить острую критику на «Литературную газету», так как это подрывало авторитет неудобного правительству издания (если бы речь шла о болгаринской «Северной пчеле», то подобную критику вряд ли бы разрешили). Но официальные круги совершенно не устраивали те позиции, с каких издатель «Московского телеграфа» критикует печатный орган дворянских литераторов. Поэтому в данном случае, как и раньше (т. е. при рассмотрении Л. Цветаевым корректуры продолжения статьи Полевого «Взгляд на некоторые журналы и газеты русские» для второго номера журнала), особо пристальное внимание цензора привлекали те места текста, где ощущается дух буржуазного радикализма Полевого, где присутствуют его резкие нападки на дворянство, а также добрые слова в адрес недворянских слоев русского общества.

⁴² Так писал А. А. Дельвиг в рецензии на роман «Купеческий сынок, или Следствие неблагоприятного воспитания» (Литературная газета, 1830, т. 2, № 36, 3 окт.).

⁴³ См.: ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2165, л. 45.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО А. П. ЕРМОЛОВА Ф. Н. ГЛИНКЕ

(К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ «ОЧЕРКОВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ»)

Отечественная война 1812 года — особый рубеж в истории России. Ее прямым следствием явился подъем национального самосознания русского народа — участника событий, решивших будущее не только государства Российской, но и Европы в целом. Тридцать лет спустя В. Г. Белинский так определял значение войны 1812 года: «Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года».¹ Эпохальное значение событий военно-политической и общественной жизни России периода войн с Наполеоном осознавалось и самими участниками Отечественной войны и зарубежных походов 1812—1815 годов. В кругах прогрессивной военной интеллигенции уже в начале 1813 года возникла идея создания истории двенадцатого года, четко обозначенная затем Ф. Н. Глинкой в статье «Рассуждение о необходимости иметь Историю Отечественной войны 1812 года»:² «Нам необходима история Отечественной войны. Чем более о сем думаю, тем более утверждаюсь в мысли моей... Сочинитель истории (1812 года) должен быть *воин, самовидец* и всего более должен быть он — *русский*».³

В соответствии с этими, им самим выдвинутыми, требованиями Глинка пишет в 1839 году статью «Очерки Бородинского сражения» и издает ее отдельной книгой к 27-летию Бородинской битвы.⁴ Сразу же по выходе в свет книга была отмечена сочувственным отзывом критики, в первую очередь Белинским: «К числу этих живых проблемок в нашей литературе, по случаю бородинского торжества, мы относим книгу г. Глинки и даем ей между ними самое почетное место. Она не умрет вместе с умершим 1839-м годом, она останется надолго и не утратит своего увлекательного интереса. Это история славной Бородинской битвы, отличающаяся строго отчетливою, какую только можно ожидать от действовавшего очевидца, живою увлекательностью рассказа, об-

личающею поэтическую душу. Большая часть страниц в этой прекрасной книге горит мужественною жизнью и вполне достойна великого предмета».⁵

Несмотря на благоприятные отзывы, «Очерки Бородинского сражения» при жизни автора не переиздавались. Отдельные экземпляры книги, сохранившиеся в крупнейших книгохранилищах страны, сегодня являются библиографической редкостью.⁶ В 1954 году научная библиотека Ростовского-на-Дону университета получила один такой экземпляр в свой фонд из научной библиотеки им. Горького ЛГУ.⁷ В этой книге перед титулом вклеен лист писчей бумаги с текстом следующего содержания (почерк неровный, коричневые, выцветшие чернила, орфография прошлого века):

«Письмо Ермолова
(от 19-го сентября 1839-го)

Милостивый государь
Федор Николаевич!

Примите совершенную благодарность мою за доставление мне сочинения вашего о Битве Бородинской. При всеобщей похвале знаю я, сколько приятно мое о нем мнение, но не могу воздержаться и не сказать, что одно доселе перо ваше изображало достойным образом эту борьбу Гигантов!

Удостоив меня воспоминания. Вы милостивый государь, в письме вашем изъявили сомнение, чтобы мог я сохратить в памяти писателя, коего труды украшают литературу Отечества нашего!

Всегда с особенным чувством читал я произведения ваши, а сие последнее налагает на меня обязанность признательности, ибо знаю я, какого вам стоило труда вырвать у жестокой цензуры некоторое для меня место!

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть милостивого государя покорнейший слуга

Алексей Ермолов».

⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., 1954, т. 4, с. 8.

⁶ Впервые после 1839 года полный текст «Очерков Бородинского сражения» был включен в кн.: Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985, с. 26—119.

⁷ «Книга движения библиотечного фонда научной библиотеки РГУ № 7», запись от 7/ХII-1954, № 619 — акт докомплектования (из научной библиотеки им. Горького ЛГУ); книге присвоен инв. № 287005.

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 446.

² Таргаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980, с. 151—152.

³ Сын отечества, 1816, № 4, с. 144, 146. См. также: Русский вестник, 1815, № 4, с. 28, 30.

⁴ В 1839 году исполнилось также 25 лет победоносного завершения войн с Наполеоном.

В самой книге обнаружены пометы, записи отдельных слов, фраз, сделанные прямо между строк печатного текста теми же чернилами и почерком, что и вклеенная перед тигульным листом копия письма Ермолова.⁸ Но кем, когда, с какой целью было оно скопировано, а затем вклеено в книгу? Печатный источник или сам документ послужил копированному оригиналом? На вопрос «кем?» дать ответ могла только почерковедческая экспертиза. Для идентификации почерков письмо было сопоставлено с автографами А. П. Ермолова и Ф. Н. Глинки.⁹ Оказалось, что автор копии — сам адресат письма, т. е. Ф. Н. Глинка.¹⁰ Исправления на страницах книги сделаны той же рукой, что и копия письма Ермолова, — значит, перед нами экземпляр, принадлежавший самому автору, Ф. Н. Глинке.

Теперь возникает необходимость определить, каким образом вписывается этот, ранее неизвестный, документ в творческую биографию Ф. Н. Глинки. Книгу «Очерков Бородинского сражения» открывает обращение автора («Людям XII года (вместо предисловия)», в котором он объясняет читателям причины, побудившие его взяться за перо: «Три девятилетия прошли с того дня, как отгремела Битва Бородинская... Мало осталось людей XII-го года, еще меньше людей Бородинских!... Увлеченная потоком современности, Россия уже забывала о своем XII-ом годе. Мало где говорили о године грустной и славной, почти забыли о Бородине! Но вот государь наш замыслил дело, достойное времен рыцарских: он желает воссоздать битву Бородинскую на родном ее поле и обессмертить это поле сооружением памятника, достойного павших и соорудителя. И вот отчего стала оживать память о былом, воскресли разговоры о XII-ом годе... Следуя за общим движением, сосредоточил и я в душе моей последний огонь, недогаженный бурями жизни, вспомнил великое былое и взял оставленное перо, чтоб описать битву Бородинскую во всех ее видах, во всех подробностях».¹¹

⁸ На то, что данный список — копия, указывает фраза, с которой начинается его текст: «Письмо Ермолова...».

⁹ ГПБ, ф. 274, оп. 212а, № 11, 15, 18; ИРЛИ, ф. 28.003 (Онегинское собрание); ИРЛИ, ф. 14048, LXXVII б. 13.

¹⁰ Копия письма сопоставлялась с автографами Ф. Н. Глинки периода 1829-го—1870-х годов. Графические элементы почерка копии и автографов 1850—1870-х годов практически идентичны. Автор статьи выражает глубокую благодарность принимавшей участие в этой работе канд. филол. наук Р. В. Иезуитовой.

¹¹ Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения. (Воспоминания о 1812 годе). М., 1839, ч. 1, с. III—IV.

В 1835 году правительством было вынесено решение: «Воздвигнуть монументы на главнейших полях сражений вечного достояния 1812 года, для проектов же рисунков опыты открыть всем российским художникам конкурс».¹² В 1836 году программу конкурса опубликовала «Художественная газета». Глинка вполне мог с ней ознакомиться, и, возможно, в это время появляется у него замысел очерков о Бородинской битве. В письме к П. А. Плетневу от 4 декабря 1839 года Глинка вспоминал, в каких нелегких условиях проходила его работа над книгой: «Благодарю, тысячу раз благодарю за ласковый отзыв о книге моей. Под зпоेम капикулов, у постели больной жены, без средств, без документов писал я мои очерки. Но прошедшее в минуты забвения настоящего раскрывалось передо мною нараспашку. Образы, образы яркие, светлые посыпались, ронялись около меня, как будто вызванные каким-то обаянием, и я списывал почти с натуры».¹³

Глинка в этот период жил в Москве, где и предполагал напечатать свою работу, но неожиданно столкнулся с противодействием московской цензуры. Цензурная история «Очерков Бородинского сражения» раскрывается частично в письмах Глинки к А. Х. Бенкендорфу и В. А. Жуковскому, опубликованных в 1902 году Н. Ф. Дубровным.

1 августа 1839 года Ф. Н. Глинка писал А. Х. Бенкендорфу: «В общий состав моих воспоминаний о 1812 годе вошла статья под названием „Очерки Бородинского сражения“. По случаю наступающих маневров мне хотелось бы напечатать отдельно эту статью, составленную более в литературном смысле по формам, принятым современною словесностью. Но как здесь слух посягает, что все сочинения, заключающие в себе что-нибудь о сражении Бородинском, должны быть рассмотрены в С.-Петербурге, то я и препровождаю мое к вашему сиятельству с покорнейшим прошением взглянуть на рукопись и позволить напечатать ее в настоящем ее виде».¹⁴

Отправив рукопись на рассмотрение Бенкендорфу, Глинка одновременно обращается и к Жуковскому: «Узнав, что государь наш предпринял воссоздать битву Бородинскую на самом поле, ею прославленном, я собрал мои воспоминания о 1812 годе и, отделив от них статью „Очерки Бородинского сраже-

¹² Асвариц В. И., Вилинбахов Г. В. Отечественная война 1812 года в картинах Петра Хесса. Л., 1984, с. 12.

¹³ Поэзия и письма декабристов / Сост. С. А. Фомичев. Горький, 1984, с. 37—38.

¹⁴ Дубровин Н. Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам. — Русская старина, 1902, т. 110, с. 112.

ния», хотел напечатать ее особо. Но здешняя (московская) цензура неведомо почему отозвалась, что она не смеет принять на просмотр ничего, что хотя немного касается до Бородин и событий 1812 года. Вам известно, что я много писал и печатал о незабвенном годе, и никогда этот предмет не считался запретным. Не имея ни средств, ни желания начинать второй битвы Бородинской с цензурой московской, я вздумал послать мою рукопись прямо к графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, благодетельствовавшему мне во многих случаях моей жизни... Зная, что вы хорошо знакомы с благодетельным Л. В. Дубельтом, я прошу вас покорнейше сказать ему слово за рукопись мою, которая, конечно, пройдет через его канцелярию».¹⁵

Как сообщает далее Н. Ф. Дубровин, Жуковский, откликаясь на просьбу Глинки, писал Дубельту: «Вы будете не только моим дядюшкой, но и дедом, а если хотите, и отцом родным, если можете моему добруму Глинке... Прошу вас за него и никак не жду отказа. Только оберните все кругом пальца».¹⁶ Дубельт отправил «Очерки...» на рассмотрение А. И. Михайловского-Данилевского и уже 14 августа 1839 года получил от него ответ, что к «напечатанию статьи препятствия не имеется»,¹⁷ но с условием, чтобы выпущены были отмеченные красными чернилами места, которые или не согласовывались с официальной версией, или же, по мнению Михайловского-Данилевского, неверно изображали отдельные моменты сражения и его участников.

22 августа 1839 года московский цензор В. Флеров визировал допуск книги в печать.

В рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР хранится письмо Глинки к Жуковскому, сообщющее о том, как завершилась цензурная эпопея «Очерков Бородинского сражения»:

«Милостивый государь

Василий Андреевич!

Я беспредельно Вам благодарен за доброе участие Ваше в судьбе моей книги. Мне писали из Петербурга, что тотчас по получении моего письма Вы прислали Дубельта. Леонтий Васильевич Дубельт, с суворовскою быстротою, провел мою рукопись через цензуру; я получил ее очень скоро. Но все не довольно скоро, чтобы ей поспеть к Бородинской годовщине. Типографические проделки и разные остановки сделали то, что книга (Очерки Бородинского сражения) только сегодня появилась у Шпряева в лавке. Один экземпляр,

полуодетый, ненарядный, посылаю к Вам. Предупреждаю, что за последностию печатания произошло много опечаток. Я не стану считать книгу мою запоздалою, если Вы взглянете на нее благосклонно и скажете где-нибудь за нее доброе слово. Завтра, надеюсь, выдст переплетчик нарядные экземпляры, и тогда я пошлю один А. А. Кавелину с покорным прошением поднести другой государю цесаревичу. Всякое описание Бородинского поля не должно миновать порфирородного владельца с. Бородинна. Еще раз прося принять мою бедную книжку с обычною Вам доброотою, с душевным уважением и давнею преданностью имею честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства всепокорным слугою

Федор Глипка

7-ое сентября

Москва
1839».¹⁸

Экземпляр «Очерков Бородинского сражения», отосланный Жуковскому, находится в настоящее время в фонде научной библиотеки Томского университета.¹⁹ Как следует из текста письма, Глипка щедро дарил свое новое произведение — Жуковский, Кавелин, в. к. Александр Николаевич. Этот список адресатов, получивших в подарок «Очерки...», можно продолжить, основываясь на сведениях из упоминавшегося письма Глинки к Плетневу от 4 декабря 1839 года: «Книгопродавцы смотрят на очерки мои холодно, и, кроме подаренных мною 150 экз., книга не расходится. Торгащи, а может, и провинциальная публика ожидают отзывов журнальных. Я поручаю мою книжку-сироту в Вашему „Современнику“, в котором Вы уже сказали о ней доброе слово». Значит, «Очерки...» получили также П. А. Плетнев и, возможно, кто-то еще из членов редакции «Современника». В журнале «Галатея» (1840, № 1) С. Стромиллов опубликовал стихотворение с посвящением: «Ф. Н. Глинке, по получении от него книги „Очерки Бородинского сражения. (Воспоминания о 1812 годе)“».²⁰

Благодаря ростовскому экземпляру «Очерков...» мы знаем теперь, что в числе 150 лиц, получивших книгу от автора, был и герой Бородинна, прославленный русский генерал А. П. Ермолов. В 1839 году, когда проходили торжества, посвященные Бородинской битве, Ермо-

¹⁸ ИРЛИ, ф. 28.003 (Онегинское собрание).

¹⁹ Библиотека В. А. Жуковского: (Описание) / Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981, с. 20. Под № 77 дано описание книги с примечанием: «Обе части сплетены вместе, нет верхней обложки».

²⁰ Стихотворение датировано: «20 декабря 1839 г. Москва».

¹⁵ Там же, с. 113.

¹⁶ Там же, с. 114.

¹⁷ Там же.

лов и Глинка жили в Москве.²¹ Как известно, в начале 1827 года А. П. Ермолов был удален Николаем I с Кавказа, где 10 лет командовал Отдельным Кавказским корпусом, и уволен от службы. До конца жизни генерал практически оставался в опале. С 1831 года Ермолов жил в Москве, где пользовался особым почетом и уважением. Очевидно, генерал был среди первых адресатов, получивших в подарок книгу, так как его ответное письмо Глинке датируется 19 сентября, а только что отпечатанный, один из самых первых, экземпляр был отослан автором Жуковскому 7 сентября.

Ермолов в 1812 году состоял в должности начальника штаба Первой Западной армии, а Глинка был адъютантом другого героя Отечественной войны — генерала М. А. Милорадовича. Познакомились Глинка и Ермолов, вероятно, именно в 1812 году. В «Очерках...» автор описывает подвиг генерала, очевидцем которого был: «Другой, в летах более зрелых, осапистый, могучий, с атлетическими формами, с лицом и мужеством львиным, ехал рядом с названным выше воином. И то был генерал Ермолов, тогдашний начальник Штаба. Оба в мундирах конной артиллерии. Не успели они двинуться с места, как пример их начал действовать благотворно. Единицы стали быстро соединиться в десятки, сотни, тысячи, и скоро увидели колонну, которая не уступала в длине и плотности знаменитой колонне в битве Фоптенеиской... С фавос редута засверкал ужасный огонь. Великодушная колонна редела, волновалась. Была минута, солдаты задумались, остановились. И тут-то Ермолов употребил средство, о котором рассказ и теперь остается в чisle любимых солдатских преданий о незабвенном дне. По обдуманному ли намерению или печально у него, как у начальника Штаба, случился запас Георгиевских солдатских крестов в мундирном кармане. Воспользовавшись минутой, он вынул горсть крестов, закричал: „Ребята, за нами! Кто дойдет, тот возьмет!“ И след за тем начал кидать кресты далеко вперед себя. Это средство обаятельно действовало на солдат: они кинулись к крестам и пошли вперед! Генералы подвигались скоро, кресты мелькали, толпа бежала, „ура“ гремело. И таким образом, от креста до креста, подошли к самому редуту».²²

Понятно, как важен был для Глинки отзыв Ермолова о его труде. Следует сказать, что Ермолов присутствовал на празднестве, проходившем на Бородинском поле с 26 августа по 2 сентября

1839 года, где проводились маневры, являвшиеся воспроизведением Бородинского сражения. Сохранились воспоминания очевидца: «Во время сражения целый час я проговорил с генералом Ермоловым, во всех отношениях замечательным человеком, хотя бы по одному тому, что, находясь в немилости и не у дел, он пользуется громадным авторитетом в русской армии. Он всегда окружен, и все, даже люди высокопоставленные, усердствуют в оказании ему почтения».²³

Ермолов всегда помнил о своем положении «в немилости» — этим объясняются строки из письма к Глинке о его признательности автору «Очерков Бородинского сражения», сумевшему в немногих словах, но верно и ярко рассказать о подвиге генерала. Похвальное слово Ермолова Глинка был вправе считать высшим критерием оценки и лучшей рекомендацией своего труда читателям. Думается, поэтому копия письма и оказалась вклеенной в томик «Очерков Бородинского сражения». Возможно, надеясь на переиздание, Глинка рассчитывал поместить отзыв Ермолова в книге в качестве приложения.

Здесь же, в томике, он правит свой текст, исправляя опечатки, о которых информировал Жуковского в письме от 7 сентября 1839 года. Это дополнительная правка, помимо той, что помещена в конце книги, в «Примечаниях», и содержит следующие исправления:

с. 38 (глава «Канун Бородина») — со строки «Этот голос...» следует читать: «Этот голос скоро сделался всеобщим кличем солдат и народа и повел начальство на распоряжение к спасению иконы. С тех пор Пресвятая Владычица последовала за войском, внимая молитвам готовящихся на славную смерть или [отпевая?] умирающих. Русские в продолжение войны запыли обратили Смоленск, внесли икону на прежнее место, стали служить молебн, и когда дошло до слов: „Пребыть же «Мариямъ яко три месяца и возврати в дом свой», присутствовавшие изъявили изумление и стали перешептываться: оказалось, что было ровно три месяца, как икона вынесена из Смоленска, и ровно через три месяца возвратилась в дом свой».

с. 39 — «Когда кончилось молебствие, несколько голов поднялись кверху и слышался голоса: „Орел парит!“ Главнокомандующий взглянул вверх, увидел плавающего в воздухе орла и тотчас обнажил свою седую голову. Ближайшие

²³ Россия и русский двор в 1839 году. — Русская старина, 1891, т. 69, с. 10. В этот день на Бородинском поле был и В. А. Жуковский, изложивший свои впечатления в статье «Бородинская годовщина» (Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12-ти т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902, т. 12, с. 52—56).

²¹ Ф. Н. Глинка в 1834 году, после многих лет жизни в ссылке, получил право свободного передвижения и с 1835 года поселился в Москве.

²² Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения, ч. 2, с. 46—47.

к нему закричали: „Ура!“ — и этот крик повторился по всем линиям войском».

с. 40 — «... в его уме была опытность, постигая все тайны политической жизни обществ и народов. Над ним парил орел, на нем была икона Казанской Божьей Матери, сто тысяч русских кричали: „Ура!“ — а судьба завтрашнего дня укладывала роковые жребии в таинственную урну свою... После дня, слегка пасмурного, и вечера, окропленного холодноватым дождем, после жаркой перестрелки за право пить воду в Колоде... румянили наше небо и бросали какой-то кровавый отблеск на окрестности ямистые».

с. 41 — «Я вскопчил на ноги и чуть было не упал с ног от внезапного шума и грохота».

с. 42 — «Таков был капун и начало великой битвы! У французов было иначе — перейдем через четыре <1 слово прэб.> и посмотрим, что делалось [там?] на поле Бородинском».

с. 111 — название главы следует читать: «Последнее уничтожение, или Рокковой погды на поле Бородинском».

с. 112 — «... с длинными шестами, топорами и вилами отправились на поле, где уже работали крестьяне окольных волостей».

с. 113 — «... и генералов новой Империи, потомков древнейших феодалов... И горели, прогорали и разрушались остовы вооруженных орд двадцати народов пашествия!.. И ужели не было существа, которое уронило бы слезу любви на эти останки врагов и соплеменников?»

с. 114 — «У нее блестит на груди

крест, на нем везде видны символы смерти».

с. 115 — полностью зачеркнут абзац со слов: «На одной из батарей Семеповских...» Далее следует читать: «И сокрушались, догорая, останки князей и герцогов, боевых эскадронов и обломки оружия — с зари вечерней до утренней, — и солнце застало поле Бородинское поседевшим от пепла костей человеческих!»

Взаимоотношения Глинки и Ермолова не ограничились эпизодом подношения «Очерков Бородинского сражения». М. П. Погодин в «Воспоминаниях об Алексее Петровиче Ермолове» сообщает следующее: «Кстати, вставлю здесь известие, полученное мною, около того времени, от Ф. Н. Глинки. Вчера, 23-го января (1847 года), в доме одного из образованнейших московских жителей почетным гостем вечерней беседы был А. П. Ермолов».²⁴ Глинка на этом вечере прочел экспромтом четыре стиха, которые были позже им доработаны и стали известны под названием «Заздравный кубок А. П. Ермолова».

Хочется надеяться, что выявленный в научной библиотеке РГУ неизвестный автограф Ф. Н. Глинки, являющийся копией письма военного и государственного деятеля, представителя прогрессивной части русского общества А. П. Ермолова, позволит уточнить еще ряд фактов культурной жизни России второй трети XIX века.

²⁴ В кн.: Погодин М. П. Историко-критические отрывки. М., 1867, кн. 2, с. 492.

ПИСЬМО А. А. ФЕТА К А. Н. МАЙКОВУ

(ПУБЛИКАЦИЯ П. А. ГАПОНЕНКО)

В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР хранятся три письма А. А. Фета к А. Н. Майкову. В них содержится высокая оценка Фетом поэтического таланта своего современника. Одно из писем датировано 29 января 1889 года и представляет собой отклик на стихотворное послание Майкова Фету в день 50-летнего юбилея последнего (28 января 1839 года). В нем Фет, используя один из поэтических образов этого послания, называет Майкова «могучим укротителем коней, мечущихся с торных путей». И далее он пишет своему корреспонденту о том впечатлении, которое произвели на Л. Н. Толстого послания Майкова и Я. П. Полонского, обращенные к нему, Фету. «В минуту писания этих строк, — сообщает Фет, — зашел ко мне Лев Толстой, смотрящий не без презрения на нашего брата стихотворца; но и тот, когда я прочел

ему вслух твое и Полонского стихотворения, сказал: „Стихотворения, написанные по известному поводу, всегда носят известный отпечаток преднамеренности; но в стихотворениях, прочтенных Вами, видно свободное вдохновение и в них полностью сказалось все, что, с одной стороны, видно было Майкову, а с другой — Полонскому“». Комментируя это замечание Толстого, Фет подчеркивает: «Я считаю эти слова в устах врага торжеством красоты твоей Музы вроде заслуженной Еленой от старцев на Скейской башне».

Наибольший интерес представляет, пожалуй, второе письмо, относящееся к 1 марта (в рукописи год не указан, но, судя по содержанию, оно написано в том же, 1889 году). В нем Фет продолжает выражать признательность Майкову за «драгоценные строки» его послания. Здесь же он восторгается главной мыслью другого майковского посвя-

щенья — на этот раз Полонскому, по случаю его пятидесятилетнего юбилея (10 апреля 1887 года), в котором говорится о «тройственном союзе» поэтов (Фет, Полонский, Майков), о «трех мальчишках», предавшихся «невозвратимо» стихам:

Тому уж больше чем полвека,
На разных русских широтах,
Три мальчишка, в своих мечтах
За высший жребий человека
Считая чудный дар стихов,
Им предались невозвратимо...!

Фет с радостью разделяет мнение Майкова о творческой близости лириков, которых литературная критика того времени объединяла в «триаде 40-х годов». Наконец, он высказывает в письме свои консервативные убеждения. «Кто же в силах, — спрашивает он, — убедить меня, что веровать в небывалую коммунистическую *достойно и праведно есть*, а носить в русском сердце излюбленное народом самодержавие — позорно?»

Приводим полностью текст письма Фета (ИРЛИ. ф. 168, № 16977).

Дорогой друг Аполлон Николаевич!

Сунув в мирную кадку с водою огненными звездами брызжащее железо, не изумляйся порывистому и хаотическому бурчанию фонтаном поднимающейся воды. Не удивляйся и ты, разом запустивший в глубину души моей лучезарный светоч твоего ума, что я в ответ тебе пробормочу несколько бессвязных слов, смысл которых тебе придется скорее угадывать, чем вычитывать. Второй раз со времени моего юбилея я несказанно отрадню тропут: неожиданным приветствием офицеров Лейб-Гвардейского Уланского полка и твоими поистине драгоценными для меня строками. Если бы ты, наш умища, поэт-мыслитель, написал мне даже величайшую пошлость с тем задушевым и дружеским оттенком, который проявляется в твоём письме, то я и тогда был бы совершенно счастлив. Всезрящим оком поэта смотря в лицо идеям вещей, ты выразил всю нашу тройственную поэтическую судьбу словами: «три мальчишка». Милый Полонский, вспоминая эти слова, комически прибавляет: «хороши мальчишки!» Смейтесь, господа, сколько угодно; но в правдивой истории литературы этим трем мальчишкам суждено неразрывно оставаться *тремя мальчишками* или *тремя юбилеями*. Могут явиться не токмо блестящие звезды, даже кометы вдобавок к прежним, но три звезды пояса Орiona от этого не потеряют ни места своего, ни значения. Каковы бы в глазах читателя ни были эти три

звезды как поэты — (один любит попа, другой — попадю, третий — попову дочку), — но если эти три звезды, воссиявшие единственно глубочайшими и нежнейшими влечениями сердца, не питают этой нежности взаимно один к другому, я готов им сказать: вы, господа, быть может, высочайшие виртуозы, но вы, к сожалению, фарисеи.

Позволь же, дорогой друг, обнять тебя со всею искренностью задушевной симпатии. Но актом дружеского рукопожатия не исчерпывается твоя победа надо мною. Ты и не подозреваешь, до какой степени восхитил меня атлетической целостностью своего духа. Ты видишь, вот он, Лизипповский борец;² это он скребком счищает с себя пот и елей. Ты видишь, он никогда не ставит себе пивячок, не принимает слабительного и не знает никаких лекарств. Если тебе это не нравится, ступай в аптеку подмастерьем, а я, напротив, в душе уважаю только цельных и самобытных людей. Я не сумел бы сам выразить яснее и короче всех основных помыслов и ощущений своих, чем это сделал ты. Поэтому лускаться здесь в объяснения значило бы повторять твои слова насчет Высочайшей санкции. При современной популяризации всяческих мнений выходит весьма плачевная картина. Каждый неумелый дурак кроит и шьет готовое платье и сует его в один шкап с хорошими. Затем каждый дурак уверен, что он сам способен выбирать себе костюм. И действительно является в costume, сострипанном дураками. Всех учить и переделывать я не в силах; но зато я не желаю плясать под дудку дураков. Кто же в силах убедить меня, что веровать в небывалую коммунистическую *достойно и праведно есть*, а носить в русском сердце излюбленное народом самодержавие — позорно? Вообрази, что в интеллигентной среде я чую зловоние подобного веления. Ты можешь себе представить, с какой симпатией я к нему отношусь! В непродолжительное время надеюсь прибыть к тебе и, обняв от души, потолковать всласть о нашем общем заветном убеждении, по словице: «что у кого болит, тот про то и говорит». Как характерны твои заключительные слова: «А до других мне дела нет».³ Недаром граф Олсуфьев⁴ сказал: *vous les ferez enrager*.⁵

Дружеское тебе спасибо.

Твой старый А. Шепшин.

² Лисипп (IV век до н. э.) — древнегреческий скульптор.

³ Письмо Майкова Фету с этими заключительными словами нам неизвестно.

⁴ Олсуфьев Алексей Васильевич (1831—1915) — филолог, автор рецензии на фетовский перевод Ювенала (Журнал Министерства народного просвещения, 1886, № 3—8).

⁵ Вы их приведете в ярость (франц.).

¹ Майков А. Н. Избр. произв. 2-е изд. Л., 1977. с. 418. (Б-ка поэта, большая серия).

Е. ЗАМЯТИН И В. МАЯКОВСКИЙ

(К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «МЫ»)¹

Роман Е. Замятина «МЫ» имеет литературную традицию и, в свою очередь, породил ряд талантливых произведений, разрабатывающих ту же тему «антиутопии». Сращение технических достижений, которыми в те годы могли похвастаться только страны Запада, с тоталитарной общественной системой дало поразительные плоды. Из голодных и холодных 20-х годов Замятин увидел опасность, о которой мы сейчас уже говорим открыто. Мало кто в России почувствовал в то время эту опасность — энтузиазм построения нового общества захватил и массы трудящихся, и писателей (примыкавших главным образом к пролеткультовским и футуристическим организациям). Господство идеологии коллективизма отодвигало в ряде случаев на второй план или зачеркивало вовсе вопрос о человеческой личности, об индивидууме.

В таких условиях естественно получило широкое распространение местопименше «мы», которое и выражало идеологию коллективизма. Поэты и писатели считали себя выразителями именно коллективных устремлений массы, переделывающей мир на основах справедливости. Внимание к отдельному человеческому «я» рассматривалось как проявление индивидуалистических настроений, несовместимых с задачами момента. В многочисленных декларациях теоретиков Пролеткульта резко выдвигалось на первый план прославление массы как коллективного творца будущего общества и его культуры. Вспомним хотя бы очень известное в свое время стихотворение пролетарского поэта В. Кириллова «МЫ», опубликованное в 1918 году. Стихотворение это было в глазах сторонников повой, «пролетарской» культуры своеобразной поэтической декларацией, оно цитировалось во многих статьях и рецензиях того времени.

Как видим, роман Е. Замятина являлся реакцией на вполне определенную систему взглядов, которая, как он считал, таила в себе немалые опасности для будущего. Общий тон бездуховности, отсутствия личного и личного начала, который печатью лежит на обществе будущего, описанного Е. Замятиным, имел в своей основе те тенденции, которые культивировались в некоторых литературных организациях 20-х

годов. (Проблема эта достаточно широко обследована в трудах зарубежных русистов. У нас она освещения не получила в силу хотя бы того, что не был известен текст романа).

Тот же В. Кириллов провозглашал: Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, Растопчем искусства цветы.

Не о том же ли самом писали футуристы, начиная со сборника «Пощечина общественному вкусу» (1913) и кончая последними декларациями 20-х годов? Во всяком случае, позиции были близки, что и дало, по всей вероятности, Е. Замятину повод орнепироваться в своих предвидениях на общую атмосферу этих двух главных литературных группировок того времени. В 1924 году, находясь в Одессе, Маяковский даст интервью корреспонденту газеты «Вечерние известия». Речь зашла о работе ЛЕФа. Маяковский сказал: «Наш лозунг: стоять на глыбе слова „мы“ среди моря света и негодования для того, чтобы с радостью растворить маленькое „мы“ искусства в огромном „мы“ коммунизма. Мы боремся со старым бытом. Мы будем бороться и с остатками этого быта в „сегодня“».²

«Стоять на глыбе слова „мы“ — вот что тут главное. Маяковский мыслит пока еще всемирными масштабами, человека как личности нет в поле его зрения. Он появится потом (главным образом как лирический герой), и эстетика Маяковского станет иной. В начале 20-х годов идея всемирного преобразования прочно связывается в сознании Маяковского с действиями нерасчлененной массы. Маяковский полон энтузиазма революционного переустройства; как и его соратники по футуризму, как и идеологи Пролеткульта, он не слишком озабочен судьбой отдельной личности, судьбой индивидуума.

Е. Замятин доводит до крайности, до логического предела эту общую тенденцию. В его романе также нет личности, нет индивидуальности, нет пмца, нет семьи, нет любви — одни только ряды бритоголовых счастливых обитателей Единого Государства, во главе которого стоит мифический Благодетель, очень напомнивший нам недавно сошедших с исторической сцены некоторых политических деятелей.

Как же произошло, что из голодного, холодного, неотапливаемого и неосвещенного Петрограда 1920 года смог увидеть писатель эти залитые солнцем

² Лит. наследство, т. 65, 1958, с. 610.

¹ В настоящей заметке вопрос о соотношении идей Е. Замятина с литературными тенденциями начала 20-х годов рассматривается только в одном, частном аспекте.

площади города, довольных и жизнерадостных людей, стройными рядами шествующих под звуки бодрых труб Музыкального Завода к месту работы, на собрание, на празднование Дня Единения? И дело сейчас уже не в том, что эта атмосфера жизни в стеклянных комнатах, жизни, нормированной во всех, даже мельчайших отправлениях, солнечной, ясной и счастливой, вселяет в читателя некоторую жуть. Дело в том, что Е. Замятин вскрывает объективные законы развития той идеи искусства начала 20-х годов, которая выдвинула на первый план произведения, где провозглашалось победное шествие массы, по ступи которой погребла под собой личность. Резко и художественно сильно Е. Замятин протестует против такого положения дел, в аллегорической форме он показывает, к чему это может привести.

Проблема массы в соотношении с личностью, поставленная событиями революции, не была простой проблемой. Без большого труда мы можем обнаружить ее еще у Блока («Двенадцать»), в произведениях А. Малышкина, в «Железном потоке» А. Серафимовича. И она не имела однозначного решения. В статье «Владимир Соловьев и наши дни», написанной в тот же год, когда был написан роман Е. Замятина, Блок утверждал: «Человек с проснувшимся социальным инстинктом — еще не целый человек, он разбужен еще не до конца, он еще не представляет из себя совершенного орудия борьбы; ибо в составе его души есть еще сонные, неразбуженные или мертвые, а потому — легко уязвимые части».³ Вот эти сонные, мертвые, неразбуженные (неразвитые) части души и составляют главное в «психологическом составе» «героя» (любого героя) замятинского романа, поскольку «герой» этот всего лишь часть нерасчлененной массы. Он разбужен еще не до конца. Совершая предательство, герой Е. Замятина (уже подлинный герой — строптель «Интеграла») не понимает, что он совершает предательство. И именно потому, что он еще не выделился из массы, — он ее часть, не имеющая самостоятельной ценности. Он даже не имеет имени — оно заменено номером, как в лагере для заключенных. Полное бесправие стало нормой жизни, причем оно даже не осознается как бесправие. Действуют не люди, а безымянные роботы.

Такая же масса действует и в поэме Маяковского «150 000 000». сыгравшей свою особую роль в становлении идеологии обеличенного коллективизма и тем самым привлекшей, как видно, пристальное внимание Е. Замятина. И революционный энтузиазм, и безличность (внутренняя нерасчлененность)

тех, кто вступает в борьбу со старым миром, выявлены в поэме в полной мере. Маяковский отказывается здесь не только от имен, лиц, конкретных действий, но даже от авторства. Изображается как бы единый и единообразный обвал массы на весь старый мир. «150 000 000 говорят губами моим» — таков исходный эстетический принцип Маяковского. Это была экспериментальная вещь, и она не удалась, несмотря на всю силу эмоционального напряжения, выраженного в поэме. Главный образ-символ поэмы — пришедшая в движение масса, обозначаемая тем же местоимением «мы». Возникает вопрос: не отсюда ли оно перешло к Е. Замятину и не является ли сам замятинский роман также и полемикой с Маяковским? Только у Маяковского миллионы еще идут в свое будущее, у Замятина они уже пришли к нему. Совпадение некоторых важных деталей говорит о том, что связь и последовательность здесь вполне допустимы.

И есть еще один существенный момент — одновременность создания этих двух произведений: Маяковский писал поэму в 1919—1920 годах, выступая параллельно с работой над нею с чтением отрывков; Замятин создал свой роман в 1920 году. Романтическая вера Маяковского, как и других представителей молодой советской поэзии, в частности пролеткультовцев, наталкивается на трезвый расчет, суть которого излагает мифический Благодетель (глава Единого Государства) в разговоре с героем романа «МЫ» и в котором слышатся отголоски «Легенды о Великом инквизиторе», рассказанной в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Счастье, к которому стремится миллионы Маяковского («единый Иван»), предстает в романе Е. Замятина эрзацем счастья, ибо человек оказывается лишенным собственной личности. Он — всего лишь часть массы, один из миллионов, но не более того.

В поэме Маяковского «будущее загорлапло триллионами труб» — знак торжества идеи всеобщего счастья и справедливости. У Е. Замятина эта деталь приобретает страшноватый образ всеобщего бездушия: уже не «триллионы труб», а «Музыкальный Завод всеми своими трубами» «ремнит» «Марш Единого Государства».⁴

⁴ И опять вспоминается Маяковский, но еще ранний, периода «Приказа по армии искусства» (1918):

Все совдепы не сдвинут армий,
Если марш не дадут музыканты.

«Музыкальный» же «Завод» в романе Е. Замятина играет очень большую роль: он вселяет дух бодрости и уверенности, под звуки труб колонны движутся даже на прогулке.

³ Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 6, с. 156.

Центральный мотив поэмы Маяковского — мотив марша, миллионов шагов тех же самых «мы», пришедших, чтобы

установить на земле всеобщую справедливость и равенство:

Мы пришли сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязь и лужицы.
Мы пришли миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших,
тупых,
голодных.
Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов...
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать.
На пепельницы черепа!

И вот эти загадочные «мы» пришли к искомому счастью — к какому именно, и показывает Замятин: «Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли пумеры — сотни, тысячи пумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке».⁵

Человеку как личности, как индивидуальности не слишком уютно в стихах Маяковского. Слишком резким был скачок Маяковского из дореволюционного периода в период пореволюционный. Он как бы паспех собрал части своего «я», разорванного в сутолоке буржуазного быта и в таком разорванном виде блистательно изображенного в ранних произведениях (в гениальном «Облаке в штанах» или в трагедии «Владимир Маяковский»). Недаром так ценил раннего Маяковского Борис Пастернак, видя в нем «сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей».⁶ А поэму «150 000 000» Пастернак считал «нетворческим» произведением.

Маяковскому же могло показаться,

⁵ Знамя, 1988, № 4, с. 132.

⁶ Пастернак Б. Воздушные пути: Проза разных лет. М., 1982, с. 453.

что вот сейчас он нашел то, что так долго искал, — цельную личность, единую в своем устремлении к цельной и целеустремленной жизни. Но он допустил роковой просчет, оставив в стороне человека. Этим, возможно, и воспользовался Е. Замятин. Сумма, масса («мы») становится главным героем Маяковского и в поэме «Хорошо!», и во многих стихах 20-х годов. Самая заветная мечта его — «каплей литься с массами». Начало этому процессу замены личности массой было положено поэмой «150 000 000», что и послужило причиной резкого охлаждения к Маяковскому со стороны Пастернака.

Маяковский пишет в поэме:

И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единный Иван,
и рука у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.

Не эту ли идею всеобщего единства и внутренней нерасчлененности имел в виду Е. Замятин, когда писал в своем романе: «Каждое утро с шестиколесной

точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомыслием начинаем работу — единомыслием кончаем. И сливаясь в единое миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалю, секунду мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку...»⁷

Поэт-романтик, Маяковский, видимо, и не подозревал, какие выводы и обобщения можно сделать из его циничных, казалось бы, пророчеств. Вот он декларирует принципы новой эстетики: «Поэтов, старавшихся быть поднебесней, забудьте...» В романе Замятина их действительно забыли, а поэзия стала государственным делом, призванным воспевать Благодетеля и его кровавые дела.

Иногда Замятин пародирует не какой-либо единичный мотив или положение Маяковского, а общие особенности его стилистической манеры, в которой пафос поэта-трибуна сливался с проникновенной верой в то, что единение всех и явится основой того счастья, к которому устремилось пыле человечество.

Вот пример — отрывок из записи 20-й (роман Замятина, как и поэма Маяковского, строится на повествовании от первого лица, которое само является героем произведения): «Вы, пышнотелые, румяные веперяе, вы, закопченные, как кузнецы, урапнты — я слышу в своей спине тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незбытмы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, пезыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правлах».⁸ Замятин саркастически перетолковывает Маяковского, он даже чуть упрощает его, но такова задача, поставленная им в своей книге, — предостеречь людей от излишне примитивного, упрощенного понимания счастья и конечных целей революционной борьбы. Маяковский этого упрощения не видел или не придавал ему значения.

В поэме отсутствует духовное начало, там нет человека, мечты Маяковского не выходят за пределы чисто внешних атрибутов быта. Мысли декларируются, но никак не обосновываются:

В новом свете раскроются
 поэтом опоганенные розы и грезы.
 Все
 на радость
 нашим
 глазам больших детей!
 Мы возьмем
 и придумаем
 новые розы —
 розы столиц в лепестках площадей.

Эти качества и сделали поэму уязвимой. Известна та резкая оценка, которую дал поэме «150 000 000» В. И. Ленин: «Вздор, глупо, махровая грубость и претенциозность».⁹ Эта оценка была продиктована и общим неприятием В. И. Лениным футуризма, представители которого претендовали на то, чтобы единолично представлять революционное искусство. Для В. И. Ленина, воспитанного на реалистическом искусстве XIX столетия, неприемлемы были сами эти претензии. Этим, я думаю, и вызвана резкость его суждения о поэме Маяковского. Маяковскому отзыв В. И. Ленина остался неизвестен.

Местоимение «мы» было довольно

расхожим в среде футуристов, демонстративно противопоставлявших массу личности, коммунизм искусству. Маяковский также громогласно и неоднократно заявлял о своей приверженности идеалам, которые несут с собой эти некие «мы», вряд ли подозревая, как я уже говорил, во что могла вылиться реализация его идеалов в действительной жизни. Поэтому и роман Замятина следует рассматривать не только как политическое предупреждение (а может быть, и не столько, если учесть факты его биографии), но и как участие в литературной борьбе, которая, впрочем, в то время тоже была делом политическим.

Во всяком случае, литературный противник Замятина теперь нам известен: это прежде всего российский футуризм с его пренебрежительным отношением к личности, затем Маяковский с его поэмой «150 000 000».

⁷ Знамя, 1988, № 4, с. 135.

⁸ Там же, № 5, с. 105.

⁹ Лит. наследство, т. 65, с. 210.

К ПРОБЛЕМЕ «ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА» В ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА (БЕЛЫЙ И ПРИШВИН)

«Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа»,¹ — писал Андрей Белый в 1930 году в первом томе своей мемуарной трилогии. Осмысливая драматическую судьбу этого поколения, он обратился к истокам: к первым «нет» и первым «да», сказанным на стыке эпох. Протестующее «нет», брошенное «отцам», старым формам жизни, было громко, определенно и, главное, объединяло многих, а вот «да» часто звучало невнятно и по-разному: «гипотетичны и зыблемы оказались прогнозы о будущем». Время разводило, а нередко и противопоставляло «детей рубежа» друг другу: «... „мы“ оказались в различных лагерях; все программы о „да“ оказались разорванными в ряде фракций, в партийности, в осознании подаваемого материала эпохи...»² Конечно, речь здесь идет лишь о части поколения, о самоопределении и процессе идейного расщепления буржуазно-дворянской, научно-художественной интеллигенции.

К М. Пришвину, вышедшему из другой социально-топографической и культурной среды, ощущение нравственного неблагополучия мироустройства в его поработавшей повседневности — оно оформилось у него в образ «кащевой цепи» — пришло также рано; гораздо позже возникла потребность отыскивать свои, особые пути в «завтра». Но ведь и собственный писательский дар он осознал в достаточно зрелом возрасте.

Судьба житейская и писательская неоднократно сталкивала Белого и Пришвина. Путь всякого писателя начала века должен был пересечься со столичными литературными кругами: художественная жизнь была достаточно концентрированной и потому далекий Петербург стал для Пришвина «писательской родиной». Кроме того, русские писатели одного поколения должны были решать одни и те же мучительные и неизбежные вопросы, хотя у каждого оказались свои «ключи» к постижению жизни, свои позиции в идейно-эстетической борьбе того времени.

Это были «вечные» вопросы искусства, но на стыке веков, когда вся русская жизнь требовала, по словам Л. Толстого, «другого мировоззрения, другой

веры, другого способа общения»,³ они приобрели особую остроту. Основной проблемой, с которой так или иначе сталкивались все русские писатели и которая во многом определяла их творческие позиции, была проблема взаимодействия искусства и жизни, иначе — проблема «жизнетворчества» (в широком смысле). Многогранная, она вставала перед Белым и Пришвиным в разных проекциях: как вопрос о соотношении эмпирической действительности и мира универсальных ценностей, о «преображении жизни», о революции в культуре, о «творческом поведении» и др. Но сердцевинной поисков была насущная потребность уяснить логику собственной писательской судьбы, назначение художника в новом, меняющемся мире.

* * *

Уже в первых теоретико-литературных и критических выступлениях Белого (1903—1905 годов) появляется мысль о действительно-преобразовательном начале нового символистского искусства. А через несколько лет в основном массиве его теоретических работ, осмысляющих, обосновывающих и пытающихся утвердить символизм как единственно плодотворное «искусство будущего», положение об искусстве как «творчестве жизни» станет ключевым. Варьируясь, оно объединит многие статьи этого периода, позже собранные в книгах «Символизм». «Луг зеленый», «Арабески»: «Русская литература XIX столетия — сплошной призыв к преображению жизни»⁴ (1907 год); «Искусство (Kunst) есть искусство жить... искусство есть творчество жизни...»⁵ (1908 год); «... последняя цель искусства — пересоздание жизни...»⁶ (1909 год).

Каковы истоки идеи «жизнетворчества» и ее место в концепции символизма Белого? Вслед за самим писателем исследователи полагают, что важнейшим импульсом ко всем его творческим начинаниям послужила «инкола» напряженной духовной жизни, которую Бе-

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. М.; Л., 1936, т. 36, с. 231.

⁴ Белый А. Луг зеленый. Кн. статей. М., 1910, с. 64.

⁵ Белый А. Арабески. Кн. статей. М., 1911, с. 43.

⁶ Белый А. Символизм. Кн. статей. М., 1910, с. 10.

¹ Белый А. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930, с. 3.

² Там же.

дый «прошел» в самом начале своего литературного пути в кружке «аргонавтов».⁷ Позже он писал грустно-пронично и тепло, что это была «кучка чудачков» — «полустерзаных бытком юношей, процарапывающихся сквозь тяжелые арабские камни и устрашающих „мировые культурные революции“ с надеждою перестроить в три года Москву; а за ней — всю вселенную...»⁸ Два основных мотива в мировосприятии и устремлениях объединяли «аргонавтов» до определенного момента: острое чувство «рубежа» («конца» старой истории, культуры, быта) и вера в возможность новых путей «жизнетворения». Эти «новые пути» они пытались не только предвосхитить, но и реализовать в житейской практике, человеческих отношениях, художественных опытах, сделав основным «инструментом» своей «миропреобразовательной» деятельности символ и миф.⁹

В программной статье «Символизм» (1909 год) эти два «мотива» представлены Белым как две стороны важнейшего теоретического постулата символизма, из которого вытекает общий взгляд на назначение искусства в его отношении к действительности: «...предпосылка всякого художника-символиста есть переживаемое сознание, что человечество стоит на роковом рубеже, что раздвоенность между жизнью и словом, сознательным и бессознательным доведена до конца; выход из раздвоения: или смерть, или внутреннее примирение противоречий в новых формах жизни... искусство... есть ныне важный фактор спасения человечества; художник — проповедник будущего...»¹⁰

Если общая перспектива ясна, то конкретные пути «жизнетворения» несколько менее отчетливы. Искусство, по

мнению Белого, должно творить новые формы сознания, созидать новый тип человеческой личности, выражать новые отношения человека с миром. Поэтому главным здесь является путь «преображения личности: на этом пути искусство и религия — одно». Иной путь — «(преобразование жизни вне себя) — есть путь, которым шло человечество; и путь привел человечество к отрицанию себя».¹¹ Таким образом, изменить жизнь — значит изменить самосознание каждой отдельной личности, воспитав в ней творца, и ключевая фигура здесь — художник, выражающий свое внутреннее «я», так как «это „я“ — есть стремление и путь к будущему... роковой символ того, что нас ждет впереди».¹² Путь изменений внешних — «жизни вне себя» (а в контексте работ, написанных после 1907 года, это прочитывается как изменение общественно-экономических, социально-политических) представляется бесперспективным. И конечной целью творчества, по мнению младших символистов, является не создание произведений искусства, а создание нового человека. Это положение определило и возможность выхода искусства за пределы эстетики: в перспективе оно, претерпев человечество к будущему, «должно исчезнуть. Новое искусство менее искусство».¹³ Это смыкание философского, эстетического, нравственно-этического аспектов в теории символизма давало основания и для утверждения его не как литературной школы только, но и как определенного миропонимания.

Через 30 лет, осмысливая свои юношеские взгляды, Андрей Белый подчеркивает их «практическую» направленность: «...под символизмом разумел я художественно-творческую деятельность в нас...». Деятельность эта определяет «не только художественное творчество, но и творчество мысли, творчество поступков, индивидуальных и социальных...»¹⁴ «Аргонавты» видели себя «деятелими» — «теургами». «Жизнетворение» Белый начал с себя, с попыток осуществить эту этико-эстетическую утопию в рамках своего социально-бытового поведения.¹⁵

«Жизнетворческий» подход Белого к собственной биографии обусловлен еще

⁷ А. В. Лавров убедительно доказывает, что уже к 1901 году и до знакомства с В. Соловьевым (а его «аргонавты» считают своим предтечей) у Белого складывалось своеобразное отношение к действительности, послужившее «основой для того философско-эстетического мироощущения, которое несколько лет спустя позднее будет определено им как „жизнетворчество“...» (Лавров А. В. Юношеская художественная проза Андрея Белого. — В кн.: Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник. 1980. Л., 1981, с. 113).

⁸ Белый А. Начало века. М.; Л., 1933, с. 108.

⁹ См. работу А. В. Лаврова «Мифотворчество „аргонавтов“» (в кн.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978), где рассмотрена мировоззренческая суть «аргонавтизма», этапы становления и формы деятельности кружка, его значение для творчества Белого.

¹⁰ Белый А. Символизм. — В кн.: Белый А. Арабески, с. 245.

¹¹ Белый А. Песнь жизни. — Там же, с. 44.

¹² Белый А. Символизм. — Там же, с. 245—246.

¹³ Белый А. Символизм как миропонимание. — Там же, с. 227.

¹⁴ Белый А. Начало века, с. 114.

¹⁵ Анализ личности Белого как характерного и одновременно уникального явления эпохи предпринят в недавно появившейся книге Л. Долгополова «Андрей Белый и его роман „Петербург“» (Л., 1988).

одним важным моментом символистской эстетики: представлением о мире как «искусствовподобном» феномене. З. Г. Минц, исследовавшая этот аспект символистского мировидения, в частности, отмечает, что «жизненные факты», входящие в круг внимания писателя, наделяются чертами художественного текста...»¹⁶ Следовательно, как художественный текст, «факты» и биография в целом могут постоянно корректироваться. «сотворяться».

Выдвигая формулу «искусство как жизнетворчество», символисты указывали на неустойчивость современной социальной жизни, на необходимость создания новых ее форм. Искусство, утверждал Белый, «стремится стать нормой будущей гармонии, открыто и резко протестуя против форм современной жизни, разлагающей одних и отнимающей у других плоды высшей культуры».¹⁷ Здесь перед нами — и обостренное переживание центральной проблемы эпохи, и попытка решить ее своими специфическими средствами.

Самостоятельно, хотя в исторической перспективе и безуспешно, обосновывая символизм как всеобъемлющее миропонимание, вбирающее в себя всю полноту ценностных ориентиров человека, провозглашающее своей конечной целью «пересоздание личности» и «творчество более совершенных форм жизни»,¹⁸ Андрей Белый подводил под это здание искусства будущего мощный культурологический «фундамент». В основание его легли творения не только западноевропейского (Кант, Шопенгауэр, Ницше, Вагнер и др.), но и русского философско-художественного сознания (Соловьев, Толстой, Достоевский, Гоголь, Пушкин). Для Белого важно, что русская литература «более чем всякая иная литература касалась... смысла жизни».¹⁹

Разумеется, как справедливо замечает Е. Б. Тагер, обнаруживается «существенная разница между идеей „жизнетворчества“ символизма и пафосом „гражданского служения“ в самом широком смысле этого слова, воодушевлявших классиков русского реализма».²⁰ Однако именно на идейно-нравственные традиции русской литературы проецируется еще один важный аспект младо-

символистской философско-эстетической концепции — идея о всеобщей связи явлений, духовном единении людей. И там, где занимающее центральное положение в мире Андрея Белого самопознающее «я» обретает «связи» с современной действительностью, историей, народом, произведение писателя получают специфическую социальную окраску.

В одной из лучших, по общему признанию, поэтических книг Белого «Пепле» (1909) это запечатлелось особенно сильно, но своеобразно — как «свое другое» (Гегель). Здесь утверждение необходимости «связи», целостности жизни дано имплицитно — в надрывном, болезненном переживании всеобщей раздробленности, разъятости, потерянности, характерных для российской жизни после поражения революции 1905—1907 годов.

Стихотворения «Пепла» сам Белый, подчеркивая тематико-смысловое и жанровое единство сборника, назвал одной «поэмой», «гласящей» о «глухих, непробудных пространствах Земли Русской».²¹ Вместе с тем в предисловии к изданию 1929 года он как бы даже с удивлением констатирует, что переживание русской истории, социальных событий в этом сборнике оказывается глубоко личным. *Лирическим*: «Через 20 с лишним лет, возвращаясь к пересмотру материала стихов, автор впервые увидел, до чего его лирическое „я“ отразило политические моменты эпохи 1904—1906 годов; эти моменты: революционный взрыв, его внешний слом, распыление революционных энергий, отчасти перерождение и вырождение их в отчаяние и субъективизм; с 1907 года уже выступают на поверхности разгромленной жизни темы огарочничества, крайнего субъективизма, индивидуального террора; это эпоха переживаемого отчаяния с решительным „лет“ видимо оправившемся царизму и буржуазии».²²

Художественную силу и жизнеспособность этой «поэмы» как раз и обусловило это личное, лирическое, приобщение к самому общему — эпическому. Как отмечает Н. Н. Скатов, предпринявший анализ «Пепла» в контексте некрасовской поэтической традиции, «книга представляет лирическое исследование внутренних процессов, совершившихся в толще народной жизни, и в способности проникать в глубь этих процессов именно лирика, лирика, ориентированная на Некрасова, демократичная, сочувствующая, сопереживающая, сливающаяся с народной песней, видимо, имела в чем-то преимущества перед эпосом».²³

¹⁶ Минц З. Г. Понятие текста и символистская эстетика. — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, 1 (5). Тарту, 1974, с. 140.

¹⁷ Белый А. Символизм. — В кн.: Белый А. Арабески, с. 261.

¹⁸ Белый А. Проблема культуры. — В кн.: Белый А. Символизм, с. 9.

¹⁹ Белый А. Настоящее и будущее русской литературы. — В кн.: Белый А. Луг зеленый, с. 64.

²⁰ Русская литература конца XIX — начала XX в.: 1908—1917. М., 1972, с. 220.

²¹ Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966, с. 554. (Библиотека поэта. Большая серия).

²² Там же, с. 558—559.

²³ Скатов Н. Некрасов: Современники и продолжатели. М., 1986, с. 230.

Андрей Белый образно-пластически, музыкально-ритмически запечатлевает «сдвинутого», кризисность русской жизни и надрыно, безоглядно «сопереживает» ей. Однако в этой лирической безоглядности и движении «до конца», в этом выплескивании «нет» отчаянию, безнадежности, мареву современной жизни была своя опасность и свои симптоматика. Лирика, как известно, по самой своей природе, субъективной и рефлектирующей, способна к глубокому и многообразному воспроизведению противоречий человеческого существования. Однако встать над ними и, снимая их, обозначить твердые основания и перспективы ей, как правило, не дано. Это хорошо сознавал Блок: «Лирика не принадлежит к тем областям художественного творчества, которые учат жизни... Между тем всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы указаний жизненного пути».²⁴

Поэтому и «Пепел», концентрированно выразив противоречия современной российской действительности, преломив их в движении смятенного лирического «я», не мог содержать в себе «указаний жизненного пути» уже в силу своей родовой специфики. Кроме того, в книге сказались особенности самой национально-традиционной, на которую она ориентирована: большая художественная убедительность в критическом пафосе и утопичность «в позитивных» программах. Следует отметить, что в «Пепле» по существу не прозвучала утопическая идея «жизнетворчества», «преображения жизни», составлявшая важную и именно «позитивную» часть символистской программы.

Дело в том, что эта «программа» еще до 1905 года начала «давать трещины», причем в «человеческой» ее реализации: «... мы как люди не сдали экзамена; первые же опыты со строительством жизни для меня окончились крахом»;²⁵ — признавался Белый впоследствии. И «Пепел» художественно запечатлел это ощущение «краха» теургических чаяний «аргонавтов», сопряженное с острым переживанием кризиса после поражения революции.

Таким образом, был нарушен своеобразный «баланс» между эсхатологическим (конец эпохи в апокалипсическом ритме времени) и преобразовательнотутологическим («наша душа чревата будущим») аспектами символистского миропонимания. И всякий раз, когда у Белого по тем или иным причинам ослабевало или не могло до конца реализоваться ощущение созидательных, «миротворческих» начал — общенациональных и личных, нарастали мотивы «невольного пессимизма» (как в «Пепеле»), «апокалиптические» (как в «Петер-

бурге»);²⁶ «кризиса жизни», «мысли», «культуры» («На перевале»). Однако, даже становясь доминирующими, эти «мотивы» все же не исчерпывали эмоционально-смыслового звучания произведший Белый именно потому, что он был символистом и, по его собственному утверждению, «не переставал им быть во всех фазах... идейного и художественного развития». Белый настойчиво подчеркивал двуединую основу символизма как миропонимания: здесь протестующее «нет» старым формам жизни соотносено с исканием путей в будущее.

Позднее, осмысляя свой «аргонавтический» опыт и пронизируя над «полетом» из «зорь» и «лазури» «в пыль и пепел», Андрей Белый выделял некоторые важные для понимания своей идейно-творческой эволюции моменты. Те серьезные коррективы, к которым он пришел при истолковании сущности течения и его перспектив, отнюдь не означали отказа от самого символизма. Так же, как «крах» опытов «жизнетворения» лишь укрепил в нем сознание важности и трудности задачи: «и вставал подо всю суету жизни новый вопрос: что же есть человеческая личность? Что есть человек? Человек оказался сложнее всех моих юношеских представлений о нем».²⁷

Утопическая идея «жизнетворчества» Андрея Белого, разбивающаяся о реальную русскую действительность, о собственную несладкающуюся судьбу, в годы общественного кризиса начинала трансформироваться в теоретико-литературных и художественных опытах. Это связано с рядом взаимодействующих обстоятельств: с новыми идейно-философскими устремлениями автора, с намечавшимся общим кризисом символизма и внутрицерковными «штормами», разгравшимися в 1907—1909 годах, но главное — с теми реальными общественными и жизненными «штормами», которые проверяют надежность всякой теории.

В приливной волне революционных событий начала века определял свой путь и старший современник Белого Пришвин. Его отношение к «отцам» было не столь радикальным, ощущение «рубежа» — поначалу не столь острым, хотя, в отличие от Белого, он пришел

²⁶ Представляется существенным тот акцент в трактовке романа «Петербург», который сделал В. Пискунов, когда высветил в произведении элементы содержания и поэтики, позволяющие видеть в нем не только «роман конца», но и «роман начала» (Вопросы литературы, 1987, № 10, с. 154). Однако более убедительное истолкование утверждает Белый, особенно в финале романа, «начал» предлагает Л. К. Долгополов (см.: Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 308).

²⁷ Белый А. Начало века, с. 476.

²⁴ Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1961, т. 4, с. 433.

²⁵ Белый А. Начало века, с. 476.

пе только через этап теоретического изучения марксизма, но и через практические формы марксистско-пропагандистской кружковой работы, одиночную камеру Митавской тюрьмы, а затем через осознание своей неспособности к последовательной революционной деятельности. Иным был и весь социально-психологический, семейно-бытовой уклад дома Пришвинных, «человеческое» и «природное» окружение.

Тем более кажутся удивительными значительные внутренние совпадения биографических и духовных вех развития двух писателей. Оба, каждый по своему, тяготеют к естественнонаучному знанию и интерес к нему сохраняют на протяжении всей жизни, частично реализуя его в литературной деятельности и специальных работах: Белый — в теоретических трактатах и даже поэзии, Пришвин — в агрономических эссе, а главное — в своем «художественно-этнографическом» методе отражения жизни природы и человека. И тот, и другой, получив естественнонаучное образование (один — в Московском университете, другой — в Рижском политехникуме, Лейпцигском и Йенском университетах), отдают должное современному философско-эстетическим и художественным течениям, проходят через увлечение Ницше и Вагнером (это было индивидуальным выбором, а не просто данью «моде»). И тот, и другой, примерно в одном и том же возрасте, переживают сильное личное потрясение, связанное с неразделенным любовным чувством (Пришвин к В. П. Измаковой, Белый к Л. Д. Блок). Само по себе это можно было бы расценить как естественный «возрастной» и потому ординарный факт — дело в характере чувства и в силе его воздействия на судьбу, творчество писателей. И Пришвин, и Белый вкладывали слишком большой смысл в эти отношения двоих, каждый творил себя и «творил ее», стремился «пойти в ней... высшее»,²³ как скажет Пришвин несколько лет спустя. Позже эти биографические факты переплавятся в страницы произведений и станут событием духовной жизни всех.

Уже для молодого Пришвина (до его литературного самоопределения), как и для его автобиографического героя Алпатова, главным будет стремление возрастить в себе «творческую личность». Критик В. Курбатов подчеркивает как пришвинскую психолого-биографическую доминанту «жадность всесторонней реализации, этот загроможденный, запутанный рост самосознания, желание пробиться к замыслу, который Природа

выносила именно для него...»²⁹ Через несколько лет этот процесс выльется и уже более или менее отчетливое понимание своего призвания, в неутолимую страсть к литературной деятельности и стремление найти в ней ответы на вопросы растущего самосознания. Эти вопросы начинают «выговариваться» в первых сохранившихся дневниковых записях (3 мая 1906 года): «Я — частица мирового космоса... Эта частица, которая сита со всеми другими существами, я изучаю» (VIII, 17). Они возникают и в первых литературно-этнографических книгах — догадка о необходимости «примирения» самотытного, неповторимого «я» как части с целым — народом, природой, вселенной.

Стремление к самосознанию — лично и писательскому — привело М. Пришвина и в петербургские литературные круги: в «мастерскую» А. Ремизова, на «башню» Вяч. Иванова, а также в Религиозно-философское общество, где произошла его встреча с Белым. В символистах его поначалу привлекли напряженность духовных (впрочем, он быстро понял — «головных») исканий, внимание к «личностному» началу в искусстве. Кроме того, «совпал» он с ними на некоторое время в своих «богоскательских» увлечениях, которые, как известно, являлись характерной «кризисной» чертой духовной жизни определенной части русской интеллигенции после 1905 года.

Первое впечатление при знакомстве Пришвина с Белым на вечеру у Мережковских отражено в дневниковой записи от 17 ноября 1908 года: «...у поэта красная роза в петлице, плешив, тих, говорит вкрадчиво» (VIII, 38). Если фигура Пришвина не попадает в сферу непосредственного внимания Белого-мемуариста, то Пришвин неоднократно фиксирует в дневнике свое отношение к личности и творчеству Белого, постоянно, хотя бы и периферическим зрением, следит за его судьбой.

Андрей Белый, даже при некоторых личных несогласиях, был в кругу Мережковских «своим»; Пришвин, несмотря на ластящее писательскому самолюбию внимание «авторитетов», почти сразу почувствовал здесь свою чужеродность. Почувствовал, что Религиозно-философское общество — «секта... И как это далеко от народа...» (VIII, 36). а Д. С. Мережковский — «настоящий иностранец в России...» (VIII, 34); догадался, что сам он, Пришвин, — «не религиозный человек», поскольку ему «хочется самому жить, творить не бога, а свою собственную нескладную жизнь...» (VIII, 36). Но главное, что уже тогда М. Пришвин прозорливо уловил слабое место общественно-литературной позиции симво-

²³ Пришвин М. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1986, т. 8, с. 31. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома римской цифрой.

²⁹ Курбатов В. Михаил Пришвин. М., 1986, с. 29.

листов (дневниковая запись 24 декабря 1909 года): «Добро, красота есть дар природы. Этой естественной силой завладевают пророки и поэты, но если они оторваны жизнью от почвы, то неизбежно теряются в личном, становятся в лучшем случае колдунами, их слово висит в воздухе, возникает культ слова и за этим словом разломанная душа (декаденты)» (VIII, 64).

Начиная с 1908—1909 годов эта впутренняя полемика с символистами продолжает красной нитью через все дневники и станет для Пришвина рычагом в осознании собственной писательской индивидуальности. Через четверть века, верно определив то, что их развело: шли в разных, даже противоположных направлениях, он невольно скажет и о том общем, что объединило его когда-то с символистами, по крайней мере с «лучшими из них»: они решали по-своему, по *одной задаче* — искали пути слияния искусства с жизнью. Сам Пришвин, тогда еще «бессознательно подчиняясь их (символистов, — Л. Ч.) заказу... старался подать литературу свою, как жизнь...» (VIII, 258).

Уже тогда М. Пришвин догадывался, что его путь — это не столько «преображение», изменение жизни, сколько «освоение», «вживание» в нее, основанное на вере в творческие силы, заключенные в природе, естественной пародной жизни. Этим определяется тот принцип «родственного», «молчаливого высказывания» о мире, который, как фундамент, закладывался в основание пришвинской творческой концепции дореволюционной поры: «Дело человека высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир» (VIII, 91). Другим важным открытием Пришвина является «геооптимизм»³⁰ (определение М. Горького), сопоставимый в нашем сознании с «невольным пессимизмом» Белого.

Однако в 1912—1913 годах (40-летие; выход в свет трехтомного собрания сочинений и др.) к Пришвину придет и понимание исчерпанности какого-то важного периода жизни, затянутое, творчески так и не разрешившееся ощущение необходимости нового этапа. Но он начнется только после Великой Октябрьской революции, и главным в пришвинских дневниковых размышлениях 20-х годов станет вопрос о назначении художника, о его месте в жизни народа, переживающего социальные потрясения, о так называемом «творческом поведении» писателя.

Андрея Белого эта проблема начала волновать гораздо раньше. Призыв к художнику — «создать самого себя», «превратиться в слово ставшее плотью»³¹ —

является ключевым лейтмотивом его литературно-критических и теоретических построений уже в 900-е годы. Правда, здесь есть мысль и о том, что современное искусство лишь тогда сумеет осуществить свою преобразовательную миссию, когда найдет пути соединения отдельной личности, ее индивидуальной судьбы с судьбой народа. И следует подчеркнуть, что данная «тема» возникнет в связи с обращением писателя к классической русской литературе, которая во многом противопоставляется литературе современной как более здоровая, сильная, народная. Кроме того, здесь важно понимание Белым «направления» движения, пути соединения личности и народа: «Русская литература прошлого от народа шла к личности, с востока — на запад. Современная литература идет от Ницше и Ибсена к Пушкину, Некрасову и Гоголю; с запада — на восток, от личности к народу».³²

Мысль о высокой нравственной миссии русского художника — основная в работе Андрея Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой».³³ В чем видит писатель суть трагедии человека искусства и каковы ее истоки? По мнению Белого, она является порождением непримиримых противоречий, раздирающих художника, который призван воплотить идеал Вечной Гармонии, но при этом сам лишен чаемой целостности. Его мучает сознание невозможности примирить в собственном бытии человека и художника, художника и пророка, искусство и жизнь: «Человеческий гений в творческом росте надламывается между искусством и жизнью».³⁴

Ближе других подойти к разрешению этой трагической ситуации, сочетая «слово о жизни с жизнью», и тем самым достичь «вершины гениальности» удалось, по мнению Белого, лишь Толстому, сделавшему свою жизнь гениальным творением и приблизившемуся к идеалу «жизнетворчества». Уход и смерть Толстого Белый определяет как религиозный «жест»: здесь «слово» стало «действием», а «жизнь, проповедь, творчество сочетались в одном... моменте».³⁵

Следует сказать, что, как и Белый, Пришвин остро переживал последний «жест» Толстого, и «тайна» его как русского национального гения была предметом раздумий писателя на протяжении

³² Белый А. Там же, с. 83.

³³ В книгу вошли статья «Лев Толстой», напечатанная в «Русской мысли» (1911, № 1), и отвергнутая этим журналом статья о Достоевском, прочитанная 28 октября 1910 года в виде лекции в Московском религиозно-философском обществе.

³⁴ Белый А. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. М., 1911, с. 36.

³⁵ Там же, с. 46.

³⁰ Лит. наследство, 1963, т. 70, с. 334.

³¹ Белый А. Луг зеленый, с. 28.

нии многих лет. Однако пришвинские суждения о главном творческом противоречии — между жизнью и искусством — и путях его преодоления гораздо более неопределенны: от истолкования «пророчества» и «учительства» как «склероза искусства» до желания собственное творчество сделать «творчеством жизни» (VIII, 184).

В работах Белого концепция «творческой личности» имеет и еще один важный поворот, который можно найти и в наблюдениях Пришвина. Белый писал о «художнике-мудреце»: «Можно быть художником и овладеть сложностью интересов познания: сочетать в сложном взаимодействии разнообразие методов и все их использовать, как средства воздействия. Образ такого художника-мудреца наметили символисты, как идеал. И великие художники всех времен стремились приблизиться по мере сил к такому идеалу художника».³⁶ Две мысли сталкивались и переплетались в личном опыте Белого: мысль о необходимости выхода за границы искусства, за границы эстетических форм, путем подчинения их высшим целям, превращения их в «преобразовательную» деятельность человека, и мысль о синтезе, сплаве всех элементов и свойств жизни, природы, искусства.

М. Пришвин примерно в то же время (1908 год) столкнулся с проблемой «синтеза» в художественном познании. Толчком к этому послужило его собственное творчество — первые художественно-этнографические произведения; и особенно важным оказался для него разговор с А. Блоком, который позже был воспроизведен в дневнике 1922 года: «Блок, прочитав „Колобок“ («За волшебным колобком», — Л. Ч.), сказал: — Это не поэзия, то есть не одна только поэзия, тут есть еще что-то» (VIII, 140), и далее прозорливо заметил, что ему, Пришвину, «ни от того, ни от другого не нужно освобождаться» (VIII, 141). Сочетание сказочно-поэтического и научно-этнографического начал, их органическое примирение в мудром «родственном внимании» ко всякому явлению жизни как раз и определили своеобразие пришвинской прозы. Так же, как своеобразие творчества Андрея Белого во многом определено центральным положением в нем самопознающего, преобразующего себя и мир «я».

В 10-е годы (особенно с 1912 по 1916 год) драматически наложились друг на друга логика собственной жизненной и творческой концепции Белого, опиравшейся на «преобразующуюся» личность, и новое, хотя и закономерное в эволюции его взглядов, увлечение антропософией Рудольфа Штейнера. В ней

Белого привлекла прежде всего идея личного совершенствования, отдельными сторонами соотносившаяся с толстовством: возможность активного выявления и развития в себе высшего, божественного — «общего» начала, что позволяло найти пути ко всемирному духовному «братству».

Четырехлетний период пребывания Андрея Белого за границей неоднозначен и в биографическом, и в творческом отношении. Плодотворный эмоциональный подъем, переживание чувства «создания пути», обретение, пусть временное, жизненной и философской опоры — все это было связано с новой и поначалу счастливой попыткой созидания «духовного родства» с А. Тургеневой; массой впечатлений, полученных в путешествиях; с начавшимися антропософскими заплатами и с интенсивнейшей творческой работой над лучшим своим произведением — романом «Петербург». Однако здесь ему пришлось пережить и острое ощущение кризиса.³⁷

Потрясения внутреннего и внешнего характера (мировая война, прощание с близким человеком, возвращение через страны воюющей Европы и встреча с Родиной после четырехлетнего отсутствия) вместе с напряженным ожиданием приближающихся событий в России (а он, по свидетельству многих, обладал даром предчувствия), его давнее, хотя и отвлеченно-мистическое, упование на «преображение» мира — все это в той или иной мере подготовило Андрея Белого к принятию революционных событий 1917 года.

На февральскую революцию он откликнулся работой «Революция и культура», где создал образ революции — стихии, которая «предстает ураганом, сметающим формы... напоминает природу»,³⁸ но динамически связана и с человеческой культурой, вырастает из одного с ней центра. Воспринимая февральскую революцию лишь как начало будущей великой «революции духа», Белый напряженно ждал дальнейшего развития исторических событий в направлении «духовного освобождения» и «преобразования» человечества и с сочувствием встретил Великую Октябрьскую революцию как желанный «мировой катаклизм». Вместе с тем в ней он видел главным образом революцию «духовную», акцент делал на морально-религиозном ее разрешении в судьбе человека, в том числе — в собственной судьбе. В поэме «Христос воскрес», которая, как и «Двенадцать» Блока, явилась одним из первых значительных откликов на революцию, сам Андрей Белый позд-

³⁷ См. дневниковый цикл «На перевале» (ч. I—III. Пб., 1918) и «Записки чудака» (М.; Берлин, 1922).

³⁸ Белый А. Революция и культура. М., 1917, с. 3.

³⁶ Бугаев Борис. На перевале. IX. Детская свистулька. — Весы, 1907, № 8, с. 58.

нее подчеркивал именно «мотивы индивидуальной мистерии».³⁹

По-своему, индивидуально и в то же время в характерном социальном предлании воспринял Октябрьскую революцию Пришвин. Он встретил ее, как и Белый, в Петрограде. Жадно всматривался, вслушивался в ход событий: в жизнь «улицы», в многоголосие «общественных говорилен», пытаясь отыскать свои константы в вихре столкнувшихся сил, уяснить основное направление этого всеобщего движения. Его позиция неоднозначна. Вопросов больше, чем ответов. Вместе с признанием того, что «большевизм есть общее дитя и народа, и революционной интеллигенции» (VIII, 105), — горькое наблюдение: «Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию — платформы и позиции» (VIII, 109). Но самым мучительным для него, да и для многих других, был вопрос о том, «как воплотится вновь... дух» Родины, которая «стала насквозь духовной», и «что будет дальше и что нужно делать» (VIII, 105, 106).

Жизненную основу, «почву» для писательского дела Пришвин попытался обрести «на земле» (в прямом смысле — получил надел, уже «частным» человеком, по-новому выстраивающим свои отношения с крестьянами. Но надеждам на оседлую жизнь «дома» не суждено было сбыться: с горьким осадком уезжал Пришвин из Хрущева, не до конца понимая, что «выдворительной» и «красным петухом» крестьяне отплатили не ему, а в его лице всему старому укладу свой давний сословный «долг».

И начались годы испытаний — на житейско-бытовую, социально-психологическую, писательскую выносливость. Они были и годами творческого созревания. В отличие от Белого первые послереволюционные годы М. Пришвин провел в провинциальной глубинке, в гуще российской крестьянской жизни — извечной, но вместе с тем «переворачивающейся» и по-новому «укладывающейся». Немало личного горя пережил он в эти годы. Тяжело было «вариться» в «стоимиллионном чане крестьянского чересполосья», но приобщение к «мирской чаше» народной жизни давало право на слово о страдающей и преобразующейся России.

Вызревание этого нового этапа судьбы, нового взгляда на личность писателя в его отношении к революции и народу, на взаимодействие его слова и дела протекало драматично. Это запечатлелось в «скифских», хотя и недолгих, общественно-литературных «путаниях» Пришвина; его временном, но резко расхождении с А. Блоком во взгляде на интеллигенцию и революцию; в многочисленных очерках-кор-

респонденциях, рассказах 1917—1919 годов и — более всего — в автобиографической повести «Мирская чаша. 19-й год XX века», в дневниках этого периода.

Печатаясь в альманахе «Скифы» (1917—1918 годы), Пришвин обнаружил определенную близость позициям этой литературной группы — в отношении к народной, крестьянской жизни как мятежной и таинственной стихии, в мотивах христианско-евангелистского гуманизма.⁴⁰ Пришвинское «скифство» отзовется и позже, уже в 1922 году, в «Мирской чаше», где ключевым предстанет образ России как древней бурной Скифии — неизменной и мятежной, родной и загадочной.

Лично особенно близким Пришвину (как и Белому) был организатор «Скифов» Р. В. Иванов-Разумник. Критик оценил пришвинский дар еще в 1910 году и предпринял шаги для знакомства⁴¹ с ним (через А. М. Ремизова), впоследствии оно переросло в глубокие дружеские отношения. В 1916—начале 1918 года к Р. В. Иванову-Разумнику в Царское Село навещивались и Пришвин, периодами проживавший в Петрограде, и, особенно часто, — Белый, приезжавший в столицу по «скифским» делам.

В феврале 1918 года на блоковский призыв к интеллигенции слушать «музыку революции» и быть готовым встретить революцию «как грозовой вихрь, как снежный буря», который «всегда несет новое и неожиданное»,⁴² М. Пришвин возражал в смятенном ослеплении: «Как можно сказать так легкомысленно («слушайте музыку революции»), разве не видит Блок, что... нужно последнее отдать наше Слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти».⁴³

В связи с этим высказыванием Пришвина вспоминается известный поэтический мотив: «Отдам всю душу октябрю и маю. Но только лиры милой не отдам», который прозвучал в 1924 году в программном стихотворении Есенина. Эта переключка не случайна, как не случайно и восторженное отношение Андрея Белого к статье Блока. Белый увидел в ней аналогичное собственному пониманию революции как обновляющей стихии. Все, о ком шла речь (а это, заметим, бывшие «скифы» или близкие им писатели), революцию приняли, но по-своему, со своим «уклоном», как говорил Есенин. Их точки зрения располагались

⁴⁰ Белого и Пришвина объединяла и пацифистская позиция, занятая писателями по отношению к империалистической войне.

⁴¹ Встреча Иванова-Разумника с Белым произошла тогда же, но подлинное знакомство началось лишь в 1913 году.

⁴² Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т., т. 6, с. 12.

⁴³ Пришвин М. Большевик из балаганчика. — Воля страны, 1918, 16 февр.

³⁹ Белый А. Стихотворения. Берлин, 1923, с. 349.

как бы в разных сферах многослойной русской жизни. Позицию Пришвина, в частности, отличало подчеркнутое стремление добыть свою «правду» из самой глубины, «изнутри» жизни: «...а нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь, и слезы, и новые думы, возвращенные страданием, нужно понять все прошлое в новом свете...» (VIII, 685). Это не было «всей» правдой о революции и преобразующейся России, но это было честным словом писателя о том, что оказалось доступным ему, его жизненному и художественному опыту.

К новому этапу Пришвин подошел с творческой концепцией, которая начала складываться прежде всего в дневниках: с начала 20-х годов удельный вес «записей о творчестве» заметно возрос и составил основной костяк пришивинских дневниковых размышлений 1922—1923, 1927 годов. В центре их — проблема «личности художника», его «творческого поведения».

На особый характер полувековых дневниковых записей и центральное их положение во всем том, что оставил нам Пришвин, указывалось неоднократно. Среди множества «определений» этого пришивинского феномена особое место занимает характеристика, которую дала В. Д. Пришвина: «Дневник Пришвина — это, вероятно, высшее в его искусстве... Может быть, в нем мы вступаем в ту область, которую Пришвин назвал „искусство как поведение“». ⁴⁴ Дневники Пришвина — это не только конкретная писательская биография, но и «обобщенная» биография художника начала XX века с отчетливо выраженной «идеей пути». Здесь образуется живое («снующее») взаимодействие биографии и творчества, причем биография корректируется творчеством, которое стремится к воплощению принципа «пишу — как живу». Динамика дневниковых записей запечатлела сам ритм разветвляющейся писательской судьбы.

Биография писателя в такой же мере его творение, как и собственно произведения, — считал Андрей Белый. Действительно, каждый художник сознательно или бессознательно биографией своей утверждает определенный образ писателя. В русской традиции это наглядно выразилось в судьбах Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. М. Пришвин тоже признавался: «Я один из тех странных русских писателей, которые искусство свое меряют самой жизнью» (VIII, 143). В его дневниках есть глубокое наблюдение над биографией русских писателей, дающее пищу для размышлений о творческой судьбе самого Пришвина и соотносимое с работой Андрея Белого «Трагедия творчества.

Достоевский и Толстой». В записи от 4 ноября 1928 года читаем: «...поэт у нас в самой поэзии не находит себе почвы, стремится сделать учателем и пророком. Мне просится сейчас желанье продолжить это неустойчивое состояние искусства в обществе *творчеством жизни*, которое называется „делом“...» ⁴⁵ (курсив мой, — Л. Ч.). К мысли о «проповедническом» начале в искусстве Пришвин возвращается часто, его оценки этого явления противоречивы. И рядом с негативными («Претензия на учительство — это склероз всякого искусства») — понимание глубоких мотивов «проповедничества»: «Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит оттого, что посредством художества нельзя сказать „всего“. Вот в этом и есть ошибка, потому что „всего“ сказать невозможно никакими средствами...» (VIII, 184).

Действительно, многие русские писатели в конце жизни обращались к таким формам литературной, общественной деятельности, которые в той или иной мере содержали в себе элементы нравственно-этической программы, религиозно-философского учения и др. Пришивинское долголетие было долголетием творческим: художник в нем преобладал над другими ипостасями личности, и это составляло гордость писателя. Однако не содержит ли пришивинский дневник (особенно 40—50-х годов, когда автор осознал необходимость его опубликования) программно сформулированных творческих принципов, элементов жизненного кредо, разве не обнаруживается здесь определенный нравственный императив?! Пришвин тоже не удержался от искуса сказать «все» или сказать больше, чем это может искусство. Его сильно влекла та область духовного творчества, которую он называл «„что-то“, значащее больше, чем поэзия» и связывал с нравственными исканиями художника.

Дневники запечатлели, как Пришвин совершил эту попытку сопряжения поэзии с «творчеством жизни». Возможно, ему более, чем кому-либо, удалось согласовать, гармонизировать их в своей судьбе, в «искусстве как поведении». Поэтому книги эти воспринимаются не только как дневники, записные книжки, сборники лирических миниатюр, но как особый, *синтезирующий* род духовной деятельности, и в этом смысле они глубоко традиционны. Пришвин оказался среди тех русских писателей, которые, по его словам, если и «не копчают учительством, а остаются художниками до конца, то это художество не совсем сво-

⁴⁴ Пришвина В. Д. Наш дом. М., 1977, с. 199.

⁴⁵ Пришвин М. Записи о творчестве. — В кн.: Контекст—1974. М., 1975, с. 353.

бно... Вероятно, если ничего не переменится, я сам буду такой...» (VIII, 192) — задумал он про себя еще в 1928 году. А через несколько месяцев свою «мысль разрешил» так: «Нам нужно овладеть творчеством науки и искусства для творчества жизни. У Мережковского была речь о творчестве бога (теургия), но я не слышал там о творчестве жизни» (VIII, 193).

И не случайно здесь вспоминается Мережковский, и теперь такой далекий литературный Петербург, и «теургия»: ведь проблема «жизнетворчества» была одной из тех «пудовых тем» (Белый), которую пытались поднять символисты; другое дело, что Пришвина не устраивал ее религиозно-философский, теургический поворот. Позже, присматриваясь к психологии творчества и уже прямо соотнося свои размышления с писательской судьбой Андрея Белого, он напишет: «Белый... далеко не достигнув „жизни“, остался во власти своих демонов (искусства и эстетики. — Л. Ч.)... Они все, большие писатели и поэты того времени, искали томительно выхода из литературы в жизнь и не могли найти, потому что не дошли до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым житнетворчеством, как дело понимающего и уважающего себя бухгалтера» (VIII, 259).

Впрочем, в 20—30-е годы Пришвин соотнес свои искания не только с литературно-эстетической жизнью начала века (декадентско-символистские круги), но и с творчеством писателей-современников, начинавших до Октября. А теперь, как и он, самоопределявшихся в новой действительности. И Андрей Белый вновь оказывается участником воображаемого пришвинского диалога.

Полемик с ним М. Пришвин ведет по важным творческим и философско-эстетическим параметрам, так как не приемлет самих принципов его работы над жизненным материалом (VIII, 251, 259). Главный «нerv» полемик — вопрос о месте художника в жизни народа, о взаимодействии творческого «я» и «эпохи», «я» и «мы». Забегая вперед, скажем, что это тот самый вопрос, который все же показал известную общность «логики исканий» и во многом определил писательскую судьбу Белого и Пришвина в советскую эпоху.

Говоря о предреволюционном периоде (1914—1916 годах), мы отмечали его «кризисный» характер в творчестве Белого. Однако кризис содержал в себе и потенции новых перспектив. Современный исследователь Белого Л. К. Долгополов выдвигает аргументированную мысль о принципиальной важности рубежа 1914—1916 годов в судьбе писателя. Сосредоточившись на художественной прозе, прежде всего — на романе «Петербург», и тех нитях, которые тянутся от него назад, к «Серебряному голубю», и вперед — к предполагаемой

романной трилогии, к «Эпопее», — исследователь обнаруживает внутренне закономерную смену «фокусировки» внимания Андрея Белого. Оно как бы переакцентируется с исторического процесса на «душевный город» человека, на само совершенствующийся внутренний мир индивидуума. Здесь ключ к уяснению творческой эволюции писателя, которую исследователь определяет так: «Соучастие в страдании с народом приводит его (Белого. — Л. Ч.) к пониманию своей личной *сопричастности истории*, которая испугала его своим роковым характером, и уже отсюда он приходит к идее *соучастия в братстве* как единственной достойной человека *форме существования*... Эволюция самосознания человека... становится главным объектом творческих экспериментов Белого».⁴⁶

Идея «соучастия в братстве» должна была воплотиться в третьей части «трилогии», которая называлась то «Невидимый Град», то «Моя жизнь», но отдаленно и частично реализовалась лишь в «Я». Эпопее» и примыкающем к ней «Дневнике писателя». Рождавшийся замысел был грандиозен. Белый искал новой универсальной жизненной концепции. В центре ее — самопознающая творческая личность в духовном единении с другими людьми. Идея эта выросла из всего предшествующего жизненного, теоретико-философского и художественного опыта писателя. Она не была только умозрительной и носила жизнеопределяющий характер, с попытками реализации в социально-бытовом поведении: и в штейнерианстве, и в отношении к революции как процессу духовного преображения человека, и в толстовстве, и в восприятии Интернационала как осуществляемого всемирного «братства»⁴⁷ и др. Даже такое предприятие, как издание альманаха «Записки мечтателей», он истолковывал как деятельность «коммуны мечтателей», братание творческих индивидуальностей. Но более всего эта новая трансформация концепции «жизнестроения» должна была сказаться в главном — художническом деле.

⁴⁶ Долгополов Л. Незвезданный материк: (Заметки об Андрее Белом). — Вопросы литературы, 1982, № 3, с. 133—134.

⁴⁷ См. в публикации А. В. Лаврова материалы о деятельности «Вольфины», на одном из заседаний которой, посвященном 300-летию «Города Солнца», Белый говорил об Утопии Кампанеллы как «первом образе», воссоздающем идеалы коллективизма и интернационализма (Лаврова А. В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. — Л., 1980, с. 43—45).

И действительно, замыслы переполняют его, сменяют друг друга: «Моя жизнь», «Котик Летаев», «„Я“. Эпопея» («Записки чудака», «Преступление Николая Летаева» — «Крещеный Китаец»), «Дневник писателя», романы 20-х годов. Планы велики — в предисловии к начатой «Эпопее» Белый все свои прежние произведения просит рассматривать лишь как «эскизы (отдельные пункты картины, созревшей в душе...)».⁴⁸ Однако ни одному из замыслов не суждено было реализоваться до конца. Осмысливая причины этого, Л. Долгополов справедливо усматривает их в особенностях творческой позиции писателя, в принципах овладения жизненным материалом: «Белый... разрушил (вернее — не создал) внутреннюю преграду между собой и окружающим миром... не привел многообразие и многозвучие действительности и впечатлений от нее к единству художественной концепции...»⁴⁹

Особенно наглядно это отразилось в «Эпопее» и «Дневнике писателя». Здесь он «впустил» в свое творчество без опосредованной всю жизнь сознания и подсознания: «...не „Петербург“ или „Москва“, — не „Россия“ — „мир“ передо мною стоит; и в нем „Я“ человека, переживающего катастрофу сознания и свободного от пут рода, от быта, от местности, от национальности, государства; предо мной — столкновение „мира“ и „Я“».⁵⁰ По сути дела, здесь Андрей Белый попытался в очередной раз стереть грань между жизнью и литературой. Эти его усилия выразились и в специфической форме произведений. Он предвидит недоумение читателя «эпопей», которая — «ни повесть, ни даже дневники, а какие-то не связанные кусочки, и — перепрыжки...»⁵¹ предупреждает: «Моя истина вне писательской сферы», констатирует: «Погружаю себя в первозданные хаосы и описываю материалы сознания...»⁵²

И не об этом ли важном моменте психологии творчества, возможно соотнося его именно с Белым, писал М. Пришвин: «В художественном творчестве с самого первого момента, начала подъема, бывает соблазн прекратить подъем и отдаться изображению испытанного. И если художник поддается искушению... он будет во власти демонов искусств, его сознание будет изложением жизни, скрежетом зубовым, самообнажением...» (VIII,

259). Действительно, стремясь до конца осуществить давний принцип символизма — «онтологически» пересоздать жизнь в искусстве, Белый переступает за пределы искусства в его формально-морфологических границах и нередко оказывается во власти «демонов искусства», в плену литературного изыска. Как отмечает Е. В. Ермилова, «чем изощреннее и своеобразнее те формальные усилия, которые употребляет Белый, чтобы „высочить“ из „литературы“, тем закономерней он остается в ее пределах».⁵³

Целостности, органичности недостает многим произведениям Андрея Белого, но нигде так обнажено, даже для самого создателя, не явился раздробленность, хаос аналитического расщепления, как в «Эпопее» (особенно в «Записках чудака»). Парадокс заключается в том, что сам Белый остро ощущал живую органику целостности, считал ее важнейшим критерием искусства, старался овладеть ею: запечатлеть художественно, реализовать биографически. Много думал о целостности и как теоретик литературы, вплотную подошел к разработке методологии целостного анализа в исследованиях 20—30-х годов («Ритм как диалектика» и „Медный всадник“, «Мастерство Гоголя»), однако «тайной» этой так и не овладел. Пришвин здесь был более счастлив. Глубоко уверившись, что «условием истинного творчества должна быть его органичность, то есть сознание творцом цельности, единства в происхождении мира, связи самого со всеми живыми и мертвыми» (VIII, 215), он сумел образно-пластически выразить эту всеобщую связь.

Пришвину принадлежит тонкое замечание: у Белого, как и у некоторых других писателей-современников, было «художество за счет разбоя (от «разбить», — Л. Ч.) атомов быта». И далее — жестко, но точно и как бы прямо о произведениях Белого 20-х годов: «Это творчество из ничего, и сам творец в прямой жизненной спле своей поврежден в чем-нибудь до конца» (VIII, 251). Но ведь в «повреждении» и «расщеплении» своем неоднократно признавался сам Белый в «Записках чудака», а потом, пытаясь преодолеть это состояние, вновь ощущал его почти роковую неизбежность для себя. Ритмика, графика, интонационно-синтаксический строй «Записок» — все эти «перепрыжки» и «хаос» — были сознательным писательским выбором: тем стилем («для элиты», по определению Белого), эффект которого был наперед рассчитан и от которого автор публично отказался уже в предисловии к первой главе «Эпопей», заявив о своем желании вернуться в русло тра-

⁴⁸ Белый А. «Я». Эпопея. — Записки мечтателей, 1919, № 1, с. 11.

⁴⁹ Долгополов Л. Незведанный материал. с. 136.

⁵⁰ Белый А. Дневник писателя. — Записки мечтателей, 1921, № 2—3, с. 121.

⁵¹ Белый А. «Я». Эпопея. — Там же, 1919, № 1, с. 40.

⁵² Там же, с. 42.

⁵³ Литературно-эстетические концепции в России конца XIX—начала XX в. М., 1975, с. 193.

диционного сюжетного повествования, внятного «для всех художественно развитых». Однако и в «Крещеном китайце» (1-я глава I тома «Эпопеи», ставшая отдельным произведением), и в последующих романах расщепление, «разбой атомов быта», сознания и подсознания продолжают оставаться важнейшей чертой поэтики. Впрочем, «расщепление» запечатлелось не только в «форме», но и в таком важном аспекте «содержания», как авторское «я». Уже в первом варианте «Записок чудака» это развернулось как мотив «двойничества»: писатель — человек, «я» — Леонид Ледяной.⁵⁴ Традиционный для символистов, у Белого он приобретает особую психологическую наполненность, что так тонко подметила М. Цветаева: «...он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил...»⁵⁵ В полном (отдельном) издании «Записок»⁵⁶ мотив «двойничества» даже подчеркнут в предисловии (а оно соотнесено с главой «Два „Я“»), где Белый просит не отождествлять «я» автора (Андрея Белого) с «я» героя (Леонида Ледяного).

Эта рефлексия особенно явственно видна на фоне того по-прежнему «индивидуальнейшего», по открытому внове, даже монументального «Я», каким оно предстает в параллельно развернутом «Дневнике писателя». Пожалуй, такое всеобъемлющее, «мировое „Я“» действительно могло стать «главным героем» главы, хотя и не состоявшейся, книги. Здесь-то и возникает важнейшая точка соприкосновения писаний Белого и Пришвина, который, создавая свою дневниковую «лирическую эпопею» (В. Кожин), тоже стремился к тому, чтобы его «я» гляделось «в зеркало вечности».

Сверхзадача «Дневника» Белого — «выявить „Я“ писателя в современности». Он видит зарождение новых отношений писателя с «сотворцом» — читателем, представляющихся ему некоей мистерией, в которой пресуществится «тайна слияния индивидуумов в коллективе»⁵⁷ и индивидуальнейшее «Я», входящее в «лабораторию опытов описания сознания», предстанет как «Я» человека XX столетия, как Чело—Века (так обыгрывается семантика и этимология этого слова). Поэтому «дневники» (в широ-

ком смысле) являются, по мнению Белого, единственным способом найти самого себя, а значит, и отыскать *путь к другим*, прежде всего — к людям, близким по духу, например, к писателям, собравшимся в «Записках мечтателей», в «братстве» единомышленников, как хотелось ему думать.

Но на этом этапе попытки писателя создать духовный портрет хотя бы части своего поколения оказались неудачными и не были реализованы. Однако само это стремление совместить «я» и «мы» не оставляло Белого и дальше. Кроме того, оно удивительно совпадало с общим направлением постоянных пришвинских исканий «дороги к другу», пути от «я» к «мы» — не безличному «мы», а составленному, как и у Белого, из большого числа индивидуальностей: разных, как «деревья в роще».

Как уже отмечалось, «связующим звеном» между Белым и Пришвиным на протяжении многих лет был Р. В. Иванов-Разумник — редактор, критик, организатор «Скифов», активный деятель «Вольфилов»; человек, дружески расположенный к обоим писателям, состоящий с ними в переписке. В этом смысле показателен ответ Пришвина на письмо Иванова-Разумника от 7 февраля 1922 года. В ответ на призыв последнего приехать в Петроград писатель объясняет невозможность своего приезда не только внешними (отсутствии денег, дорожных билетов), но и «внутренними» обстоятельствами: «...земля наша лежит без связи... всякая попытка связать что-нибудь, соединить, кажется мне, человеку, стоящему на пороге старости, наивной. Отчего и меня и перо выпадает из рук. Отчего и ваши Вольфиловы и прочее — вся ваша петербургская эмигрантская жизнь кажется дымом... Вся интеллигенция собралась в два лагеря — за границей и в Питере, одно эмигрантское, другое академическое, и спор идет между этими двумя обществами, вся остальная страна живет про себя. Попасть туда, наговориться, начтаться — как хорошо! И если при этом не забыть себя со своей пустыней, то может быть и очень даже полезно» (VIII, 691—692). Новый поворот обозначившейся в этом письме «темы», причем прямо соотносимой с Белым, мы находим в записи от 20 апреля того же года: «Первое слово, прочитанное мною после перерыва литературы в России, было слово Андрея Белого: само-сознание. И первое, что я написал из деревенского быта, о самости. Так опять, как в 1905 году, мое деревенское пустынное жительство приводит к тем же словам, которые говорят в столице» (VIII, 139).

Известно, что Пришвину нередко пеняли за «яканье» и как бы «гляденье на себя в зеркальце»,⁵⁸ но, как и Бе-

⁵⁴ Впервые опубликовано: Дневник чудака. Писатель и человек (отрывок из повести). — Наш путь, 1918, № 2. О месте образа Леонида Ледяного в ряду других символических образов «льда», «холода» писал В. Пискунов (см. указ. соч., с. 144).

⁵⁵ Цветаева Марина. Соч.: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 305.

⁵⁶ Белый А. Записки чудака, т. I, II. М.; Берлин, 1922.

⁵⁷ Белый А. Дневник писателя, с. 123.

⁵⁸ Соколов-Микитов И. С. На теплой земле. Л., 1978, с. 654.

лый. он подчеркивал, что его сотворенное «я» это — «Мы», а «превращение „я“ в „Мы“ выражает собой сущность всего творческого процесса...»⁵⁹ Чрезвычайно расходясь в жизненном материале, мироощущении, художественных принципах, Белый и Пришвин в 20-е годы с разных сторон, каждый по-своему выходили на общую дорогу в решении ключевого для всей советской литературы вопроса (взаимодействие «Я» с «Мы»), который определял не только творческие, но и общественные ориентиры.

Новую, последнюю и художественно наиболее плодотворную попытку решить его, создав динамичный «портрет своего поколения на фоне эпохи „рубежа“», Белый сделал в конце 20-х — начале 30-х годов, обратившись к мемуарному жанру, что было вполне закономерным этапом в его творческой эволюции. В центре этого обширного полотна вновь находится личность автора, но теперь развитие самосознающего «я» в его сокровенных переживаниях, духовных кризисах тесно соотносено с реалиями и событиями исторической действительности. Многообразны связи «трилогии» с дневничкам, воспоминаниями, автобиографическими романами 20-х годов: сама трактовка «героя» мемуаров как «чужака» является сквозной «темой» Белого. Мемуарная трилогия стала, по сути, повой (и опять незавершенной) «эпопсией» и, пожалуй, наиболее удачной попыткой «жизнетворчества» Андрея Белого.

В этом «групповом портрете» начала века личность Пришвина не запечатлена, так как писатель не входил в число близких Белому людей. «Линия» же их биографических сопряжений вырисовывается следующим образом: прямые контакты Белого и Пришвина «между двух революций» и в «скифский» период прерываются в 20-е годы, в какой-то мере «компенсируясь» многочисленными опосредованными связями — через Иванова-Разумника, Горького, Петрова-Водкина, О. Форш и др. Знакомство возобновляется лишь в последние годы жизни Андрея Белого. В известном смысле показательно, что это произошло именно в 1932 году (30 октября) на пленуме Оргкомитета ССП, в работе которого оба принимали активное участие. Восстановлению контактов способствовало и то, что Белый проявил в это время интерес к краеведению (частично это связано с его прежними занятиями археологией и палеографией). Он сам выступил с докладом на краеведческой секции Оргкомитета ССП, а 31 января 1933 года участвовал в прениях на вечеру Пришвина, организованном той же секцией. 11 февраля 1933 года Пришвин приехал в Москву на вечер Андрея

Белого в Полптехническом Музее. В дневнике он отметил: «Аудитория, как лик автора» (VIII, 251). По-видимому, это была их последняя встреча.

Начало 1934 года, как это зафиксировали дневники, во многом прошло для Пришвина «под знаком» Андрея Белого. Зимой 1934-го Белый ушел из жизни, и 10 января М. Пришвин стоял в почетном карауле у его гроба — как один из немногих к тому времени свидетелей важной и уже становившейся историей литературной эпохи. В этот день М. Пришвин оставил в дневнике «зарисовку» феномена Андрея Белого: «Он смотрел на все через себя, как на материал свой: во все входил и выходил из всего, оставляя книгу, как след своего переживания. И его желание, скользнув по цветам на земле, по воде на реках и морях, по небу, звездам, луне и солнцу, не раскрылось в любовь» (VIII, 257). А через несколько дней, как бы продолжая, добавил: «Белый сгорел, как бумага. Он все из себя выписал, и остаток сгорел, как черновик» (VIII, 257).

Еще через полмесяца, читая второй том мемуаров Белого («Начало века») — о людях, с которыми он начинал свой литературный путь, Пришвин вдруг и, как ему кажется, до конца поймет, почему всегда чувствовал между собой и ним «разделяющую бездну». Но показательно, что здесь же, в этой же «формуле», он поймет и нечто очень важное в самом себе: «...лучшие из них искали выхода из литературы в жизнь, а я искал выхода из жизни в литературу» (VIII, 258) (курсив мой. — Л. Ч.). И далее, достаточно резко обвиняя символистов в индивидуализме, вместе с тем признает, что «их манила... революция» возможностью выхода «в жизнь», возможностью «быть вместе с другим» (VIII, 258). Какие же моменты «Начала века» послужили своеобразным «детонатором» для пришвинской мысли?

Мемуарная трилогия Белого — это не столько фактологический и достоверный документ времени, сколько документ «психологический», свидетельство как бы «изнутри» жизни художественной интеллигенции начала века. Здесь автору больше, чем где бы то ни было, удалось запечатлеть взаимодействие «я» и «мира», процесс формирования личности русского писателя в тесной и неоднозначной связи с изображаемой эпохой «рубежа». Эта художественная по своей сути сверхзадача обусловила свободное обращение с фактами, их субъективную интерпретацию, что совершенно закономерно в свете «жизнетворческой» концепции Андрея Белого: ведь он создавал свое «Я» заново. Это вызвало негативное отношение некоторых его современников, в том числе и Пришвина, по-настоящему опекивавшего многие события того времени.

⁵⁹ Пришвин М. Записи о творчестве, с. 348.

Вместе с тем у Пришвина и Белого именно в освоении этого жизненного материала обнаруживаются моменты принципиальных совпадений. Они «совпали» в понимании важности осмысления своей литературной юности как феномена становления личности художника на «рубеже веков». Пришвин сделал это в «Кащеевой цепи» и дневниках. Оба попытались выразить себя в жанрах «художественно-документальной» прозы: дневники, мемуары, автобиографический роман. И наконец, ставя в центр своего творчества историю духовной жизни личности, они пересоздавали себя, преобразовали индивидуальное «я» в «я» общее — «глядящее в лицо времени».

Отношение М. Пришвина к Андрею Белому противоречиво: от полемики и прямого неприятия («Не понимаю, как можно любить Андрея Белого...» (VIII, 320)) до признания его «гением» в одном ряду с Гоголем и Достоевским (VIII, 715). Литературоведение достаточно далеко развело Пришвина и Белого как «представителей» различных направлений. Вообще «литературный массив» начала века по преимуществу рассматривают «дифференцированно»; основанием для этого безусловно являются острые общественно-литературные, философско-эстетические размежевания, характерные для того периода. Но ведь необходимо и «интегрировать», уяснить те многообразные живые нити, которые связывали писателей различных литературных школ и ориентаций. Причем, как замечает Л. К. Долгополов в работе, которая как раз реализует такой «интегрирующий» подход, эти связи, как часто и размежевания, располагаются не только в литературной плоскости, а затрагивают также «какие-то иные, не столь ярко выраженные, но не менее важные стороны писательского мирозерцания и психологии личности, на-

ми еще не выявленные и не описанные».⁶⁰ Те связи-противоречия, прямые и опосредованные, которые возникли между Белым и Пришвиным в процессе постижения каждым из них вопроса о «жизнетворчестве», тоже затрагивают глубинные и «важные стороны» их «писательского мирозерцания и психологии».

Если воспользоваться известным образным определением А. М. Горького, отнеся его не только к Белому, но и к М. Пришвину, то и тот и другой — это планеты, на которых «свой — своеобразный — растительный, животный и духовный мир».⁶¹ Но это «планеты» одной «галактики», подчиняющиеся общим законам «макрокосмоса». Эта общность обуславливалась прежде всего тем, что для них, «детей рубежа» и «начала века», было характерно острое ощущение своего времени как времени кризисов, переломов и поиска новых путей в жизни и в искусстве. Вопросы, в постановке которых Белый и Пришвин сходились, были коренными вопросами творчества: о взаимодействии жизни и искусства, об общественном самоопределении художника, о «смысле» искусства как поиске «смысла» жизни вообще. Их решение (а оно, безусловно, во многом различно) определяло не только «литературную программу», но и «программу жизни».

Позиции А. Белого и М. Пришвина пересекаются еще и как позиции русских художников. Решая на современном им жизненном материале традиционные для русской классики вопросы, они, каждый по-своему, именно в традиции находили поддержку и опору для своих «жизнетворческих» исканий.

⁶⁰ Долгополов Л. К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX—начала XX века. Л., 1977, с. 40.

⁶¹ Лит. наследство, 1963, т. 70, с. 311.

СТИХОТВОРЕНИЯ Е. И. ВАСИЛЬЕВОЙ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Ю. К. ЩУЦКОМУ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПУБЛИКАЦИЯ Н. Ю. ГРЯКАЛОВОЙ)

Имя Елизаветы Ивановны Васильевой (1887—1928) мало известно современному читателю, разве только ее псевдоним — Черубина де Габриак — напоминает о знаменитой литературной мистификации 1910-х годов. В последнее время появились статьи, воскрешающие облик забытой поэтессы.¹ Настоящая публикация освещает лишь один из эпизодов творческой биографии Е. Васильевой — знакомство с ученым-востоковедом Ю. К. Щуцким, ставшее важным этапом в ее духовном и поэтическом самораскрытии.

В июне 1922 года Е. И. Васильева возвращается в Петроград из Екатеринодара.² Разлученная насильно с любимым городом, она восторженно переживает свою встречу с ним:

Все то, что я так много лет любила,
Все то, что мне осталось от земли, —
Мой город царственный, и призрачный,
и милый,
И под окном — большие корабли.
Пусть жажда бытия всегда неутолима,
Я принимаю все, не плача, не скорбя, —
И город мой больнои, и город мой
любимый,
И в этом городе пришедшего — тебя.³

Вернувшись в родные места, где она с таким успехом дебютировала под вымышленным экзотическим именем, Е. Васильева задумывается о своей дальнейшей поэтической судьбе. Осознавая камерность звучания своего творчества и чувствуя отъединенность от современной литературной жизни, она не надеется найти своего читателя. В автобиографии, написанной в 1924—1927 годах, целые страницы посвящены горьким размышлениям: «... все поэты Именем Бога, а я? Я — нет. Я — рассыпающаяся жемчуга. Я мало могу сказать о своем от-

ношении к современному литературному Петербургу — я ведь схимница, и келья моя закрыта для всех. Да и кто помнит меня? „Черубина“ — это призрак, живущий для немногих призрачной жизнью».⁴

Е. Васильеву беспокоило то, что ее последние стихи, исполненные новых переживаний и оразившие жизнь души зрелого человека, в читательском восприятии по-прежнему будут ассоциироваться с ее литературным прошлым, в то время как, по ее словам, «между Черубиной 1909—1910 гг. и ею же в 1915 г. и дальше — лежит очень резкая грань. Даже не знаю — одна она и та же или уже та умерла. Но не бросаю этого имени, потому что чувствую в душе преемственность и — не приемля ни прежней, ни настоящей Черубины — взыскую грядущей».⁵ В письме к М. Волошину от 12 июля 1922 года она снова возвращается к теме «Черубины», подчеркивая единство своего пути и связь с кругом переживаний юности: «Я опять стала писать стихи, Макс! Я иногда стала думать, что я — поэт. Говорят, что надо издавать книгу. Если это будет, я останусь „Черубиной“, потому что меня так все принимают и потому что все же корни мои в „Черубине“ глубокие... Ты говорил, что надо отбросить этот псевдоним. Я чувствую необходимость его оставить».⁶

В год, отмеченный для Е. Васильевой сложными внутренними переживаниями и душевной рефлексией, состоялись ее знакомство с Юлианом Константиновичем Щуцким (1897—1946), перешедшее в прочную дружбу. В это время он — выпускник Петроградского университета, где прошел научную подготовку на кафедре Китаеведения под руководством профессора В. М. Алексеева.⁷ Необычайно одаренный и талантливый, блестящий знаток восточных языков, поэт, переводчик, художник, музыкант, Щуцкий жил напряженной духовной жизнью.

⁴ ГБЛ, ф. 743, к. 13, ед. хр. 2, л. 6, об.

⁵ Там же, л. 7.

⁶ ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 319, л. 50, об. И вновь сомнения в письме от 3 июля 1923 года: «Я, конечно, не буду и постарайся ничего не печатать под именем „Черубины“» (там же, ед. хр. 320, л. 1).

⁷ О Ю. К. Щуцком см.: Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982, с. 89—98, 371—388 и др.; Баньковская М. В. «Малак» — литературные вечера востоковедов: 1920-е годы. — В кн.: Традиционная культура Китая. М., 1983, с. 119—126.

¹ См., например: Марков А. «Одна брожу по всей вселенной...» — Книжное обозрение, 1988, № 1, с. 10; Купченко В. «Как любили мы город наш...» — Нева, 1988, № 1, с. 199—202.

² В 1921 году Е. Васильева с мужем, Вс. Н. Васильевым, были высланы из Петрограда. В письме к Е. Я. Архипшовой от 31 марта 1921 года она сообщила: «Мы с мужем были арестованы, потому что мы — дворяне. Комната опечатана, много вещей взяли, взяли много книг» (ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 2, ед. хр. 22, л. 4).

³ Этот стихотворением открывается раздел «Петербург. 1922—1927» в рукописной тетради, хранящейся в ГБЛ (ф. 743, к. 13, ед. хр. 2, л. 102).

В своих научных интересах он тяготеет к средневековой китайской философии, обращаясь к текстам таких классиков даосизма, как Гэ Хун, Лао-цзы, Чжу-ан-цзы, Ле-цзы.⁸ Его недолгая, но столь многообещающая научная деятельность была прервана в 1937 году.⁹ Итогом ее был подвижнический труд — перевод и исследование «Книги перемен» («И-цзин»),¹⁰ «окультурной по форме и философской по содержанию»,¹¹ стоящей у истоков китайской философии.

Углубленное изучение восточного мистицизма влекло Щуцкого к обретению собственного мистического опыта. На этом пути и произошло знакомство с антропософской доктриной Р. Штейнера. Как известно, к антропософии были близки такие крупные деятели русской культуры первой трети XX века, как М. Волошин, Андрей Белый, Михаил Чехов, В. Кандинский. К кругу посвященных принадлежала и Е. Васильева, которая, более того, была «Gagan'tom» Антропософского общества в России.¹² В своем «Жизнеописании»¹³

⁸ В 1922—1923 годах Щуцким был выполнен перевод сочинения даосского философа Гэ Хуна «Баою-цзы» (в переводе Щуцкого — «Мудрец, достигший субстанциональное») и сделан доклад «Исповедание дао у Гэ Хуна». См. статьи Щуцкого «Даос в буддизме» (в кн.: Восточные записки. Л., т. 1, 1927) и «Основные проблемы в истории текста Ле-цзы» (в кн.: Записки коллегий востоковедов. Л., 1928, т. 3, вып. 2), а также материалы в указанной книге В. М. Алексеева.

⁹ В августе 1937 года Ю. К. Щуцкий был незаконно репрессирован и осужден на «10 лет лагерей без права переписки». Посмертно реабилитирован.

¹⁰ Защита Щуцким докторской диссертации состоялась 3 июня 1937 года. В своем заключительном слове академик В. М. Алексеев сказал: «Ваша диссертация заслуживает докторской степени cum eximia laude (с особым отличием, — Н. Г.) безоговорочно — по своей научной состоятельности, по силе научного суждения, научной инвенции, по научному энтузиазму и научному подвигу, каким является вся работа» (Алексеев В. М. Указ. соч., с. 388). Труд Ю. К. Щуцкого был издан посмертно в сокращении под заглавием «Китайская классическая „Книга перемен“» (М., 1960).

¹¹ Алексеев В. М. Указ. соч., с. 91.

¹² См. письмо Е. Васильевой к М. Волошину от 26 мая 1914 года (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 319, л. 26).

¹³ «Жизнеописание» было написано Щуцким в 1935 году по просьбе В. М. Алексеева и послужило материалом для «Записки о научных трудах и научной деятельности профессора-китаеведа Юлиана Константиновича Щуцкого» (см.: Алексеев В. М. Указ. соч., с. 89—

Щуцкий с предельной искренностью — отличительной чертой его личности — рассказал о том, что значила для него антропософия в области самопознания, совершенствования своего внутреннего «я», развития интуиции, помогавших, по его собственному признанию, достигать успехов и в сфере профессиональных интересов. Его духовным водителем на этом пути стала Е. Васильева: «Понять всю сложность его (Р. Штейнера, — Н. Г.) учения, понять то, что он сообщил о Христе, мне помогла и своим знаниями, и личным примером Е. И. Васильева. Для этого мне пришлось на протяжении лет напрягать все свои внутренние силы, пришлось все время стремиться перерастать самого себя в области внутренней культурности, следить за собой непрерывно в отношении жизни этики, эстетики и познания с максимальной требовательностью».

Е. Васильева была покорена неординарностью, многогранностью личности Ю. К. Щуцкого. Сближению способствовала и общность их духовных исканий. Своими чувствами она делилась с М. Волошиным, в письмах к которому 1922—1924 годов постоянно упоминается имя Щуцкого. «... В мою жизнь пришла любовь, — писала она Волошину 3 июня 1923 года, — может быть, здесь я впервые стала уметь давать. Он гораздо моложе меня, и мне хочется сберечь его жизнь. Он и антропософ, и китаевед. В его руках и музыка, и стихи, и живопись. У него совсем такие волосы, как у тебя. И лицом он часто похож. Зовут его Юлиан — тоже близко. Он очень-очень любит твои стихи и (через меня) тебя. Ты и он — 1-я и последняя точка моего круга».¹⁴ Е. Васильева рассказывала Волошину о занятиях и интересах молодого ученого, знакомила с его переводами: «Послала тебе мои пьесы и Антологию Юлиана».¹⁵ Он просит разбавить, говорит, что сам недоволен, и ручается лишь за одно: за точность перевода. Он сейчас гораздо больше в живописи, чем в стихах.¹⁶ Думаю, что это

93; фрагмент из «Жизнеописания», характеризующий научные интересы Щуцкого, опубликован в примечаниях, с. 399—400). «Жизнеописание» цитируется ниже по машинописному экземпляру, хранящемуся у наследников Ю. К. Щуцкого. Выражаю искреннюю признательность дочери и племяннице ученого за предоставленную возможность ознакомиться с необходимыми материалами.

¹⁴ ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 320, л. 1.

¹⁵ Имеется в виду вышедшая в переводе Щуцкого «Антология китайской лирики VII—IX вв.» (Пг., 1923).

¹⁶ В «Жизнеописании» Щуцкий отмечал: «Занимался я также и живописью, но настоящей живописной школы не

его путь. Учится у иконописца, думает писать новые иконы...»¹⁷

Интересы Щуцкого были поистине неисчерпаемы, по чем бы он ни занимался: музыкой, поэзией или живописью — все было одухотворено силой таланта и добротой души. В «Жизнеописании» он анализирует значение искусства в развитии своего внутреннего мира и духовного облика: «Около 14 лет я впервые сам осознал музыку, с которой крепко подружился на всю жизнь. Сразу же меня больше всего заняла инструментальная музыка. Я постепенно перебрал следующие инструменты (в хронологическом порядке): балалайка, гитара, рояль, контрабас, кларнет и медный баритон. Впоследствии к этому списку присоединились фисгармония, цитра, банджо и лютня... Я играл на многих инструментах, но на всех плохо, и, как правило, при слушателях хуже, чем наедине. С самого же начала в центре моих музыкальных вкусов стоял Скрябин с такой определенностью, что бывали периоды, когда я был склонен думать, что музыка — это Скрябин, а остальное более или менее скучный шум. Впоследствии я допустил в „музыку“ и Баха, Корсакова, джаз. Вагнера я принял позже, но вполне... Скрябину было суждено сыграть в моей жизни не только музыкальную роль. Его искания идеального мира, стоящего под покровом реального, стали первой философской проблемой, занявшей меня навсегда... Меня больше занимала теория композиции, чем исполнительство... В период 1915—1923 гг. написана большая часть музыкальных произведений. Все они потеряны.¹⁸ Вряд ли возможно возобновле-

ние, если не считать занятий иконописной техникой, которой недолго в 1923 г. занимался под руководством мастера Русского музея Ильинского. Занимался также гравюрой на дереве, но теперь не могу продолжать этих занятий из-за зрения. Участвовал в выставке при Русском музее в 1927 г. Вот и все мои художественные занятия».

¹⁷ Письмо от 22 марта 1923 года (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 320, л. 2). Из писем к Волошину известно о намерении Васильевой и Щуцкого приехать в Коктебель (письмо от 21 ноября 1923 года). В одном из них она благодарит за полученное от Волошина приглашение и выражает желание познакомиться с ним Юлиана (письмо от 7 января 1924 года. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 320, л. 7, 10). В последнем письме Е. Васильевой из Ленинграда от 4 июня 1927 года она сообщила Волошину о своем намерении послать ему «китайские краски от Юлиана» (там же, л. 22).

¹⁸ Сведения о сохранившихся музыкальных произведениях Щуцкого приведены в моей статье «Неизвестный

ние занятий композицией, так как для этого необходимо жить в музыке, а на это по ходу моей теперешней жизни нет времени... Второе по времени и значению в моей жизни искусство — это поэзия. Начало занятий ею — 1918 г. Seriously к этим занятиям я не отношусь. Единственный реальный результат — это овладение поэтической техникой, которую применяю только как переводчик... Интерес к поэзии и развитие поэтического вкуса — это нечто вложенное в меня, а не ископанное, как музыка. Если я что-нибудь понимаю в поэзии, то этим я обязан Л. А. Андреевой-Дельмас (Кармен в стихах Блока и героиня III тома его стихов),¹⁹ которой я обязан и многим другим: если бы не поддержка ее п. З. Андреева, то не знаю, как бы я прожил трудные годы голода. Не меньшее влияние на развитие моих поэтических вкусов оказала... Е. И. Васильева (Черубина де Габриак), которая, более того, собственно сделала меня человеком».

Это красноречивое признание говорит само за себя и не требует комментариев. Не случайно в знак духовной близости Е. Васильевой был подарен Щуцкому «Новый завет» (СПб., 1890). На шмуцтитуле указана дата: «16.XII.923. СПб.» (отмечена сакральным знаком — окружность с точкой в центре), внизу страницы надпись: «С любовью. Е. Васильева». Там же помета: «Мтф. 5; 4», отсылающая к тексту Евангелия от Матфея: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (подчеркнуто).²⁰

В июне 1927 года Е. Васильева была вынуждена вновь покинуть Ленинград, теперь уже навсегда, и поселиться в Ташкенте, куда была выслана на три года.²¹ Из ее писем этого периода изве-

инскрипт Блока» (в кн.: Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987, с. 235).

¹⁹ В настоящее время известен лишь один образец оригинального поэтического творчества Щуцкого — это стихотворение «Между нами протекала река...», посвященное Л. А. Андреевой-Дельмас. Оно датировано 4 ноября 1922 года и хранится в архиве П. З. Андреева и Л. А. Андреевой-Дельмас в ГПБ (ф. 1056, ед. хр. 517).

²⁰ Книга хранится у наследников Ю. К. Щуцкого.

²¹ Высылка Е. Васильевой была связана с начавшимися в этот период гонениями на антропософов. В письме к Е. Я. Архипову от 13 июля 1927 года она сообщала: «Так как пишу не по почте, то хочу попросить Вас об одной вещи: в письмах никогда (если они по почте) не упоминайте ни имени доктора Штейнера, ни слов „Антропософия“ или „Антропософическое Общество“ — все это очень одиозно сейчас, и если судьба меня когда-нибудь забросит в

стно, что дружба с Щуцким не прервалась. 16 августа 1927 года она сообщала Волошину: «Волей судьбы я попала на 3 года в Ташкент. Ты знаешь уже всю эпопею. Здесь хорошо, я давно люблю Туркестан, но скучно без дома. Ко мне в гости приехал на месяц Юлиан, он просил тебе передать, что он очень тебя любит».²² По-видимому, Щуцкий навещал Е. Васильеву, следуя в Японию, куда был командирован с научными целями. Именно с его пребыванием в Ташкенте связана примечательная страница в поэтическом творчестве Е. Васильевой. 9 сентября—13 октября 1927 года — хронологические границы сборника «Домик под грушевым деревом», состоящего из 21 стихотворения в китайском стиле, якобы сочиненных «философом Ли-Сян-цзы». Сборнику предпослано предисловие, также выполненное в духе средневековой китайской традиции, однако содержащее явные биографические аллюзии: «В 1927 году от Рождества Христова, когда Юпитер стоял высоко в небе, Ли-Сян-цзы за веру в бессмертие человеческого духа был выслан с севера в эту восточную страну, в город Камня. Здесь, вдали от родных и близких друзей, он жил в полном уединении, в маленьком домике под старой грушей. Он слышал только речь чужого народа и дикие папевы желтых кочевников. Поэт сказал: „Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, — поэт“. — И голос Ли-Сян-цзы тоже звучал. Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу: горечь изгнания обратилась в радость песни».²³

Этот сборник «китайских» стихотворений явился результатом совместного творчества Е. Васильевой и Щуцкого. О его литературной истории поэтесса рассказала в письме к Е. Я. Архиппову: «Он (сборник «Домик под грушевым деревом», — Н. Г.) задуман и напечатан, когда здесь был мой друг Юлиан Щуцкий» — синолог. Грушевое дерево существует, оно возросло в террасу флигелька, где я живу. Это дало повод Юлиану назвать меня по китайскому обычаю Ли-Сян-цзы — философ из домика под грушевым деревом, — и «он» предложил мне, как делали все китайские поэты в изгнании, написать сборник „Домик под грушевым деревом“ — поэта Ли-

Сян-цзы... С его помощью написал предисловие в духе китайских поэтов и даны заглавия каждому из 7-стиший. Внутри они, конечно, вовсе не китайские, кроме 3—4 образов. Все это чистейшая chinoiserie».²⁴

В 1928 году Щуцкий находился в командировке в Японию. Об этом Е. Васильева сообщала Волошину в письме от 19 мая 1928 года: «Юлиан в Японии, живет в буддийском храме, учится философии».²⁵ Последнее письмо к старому другу от 8 сентября 1928 года содержало рассказ о тех невзгодах, которые ей пришлось пережить, о болезни, о конфискации оставшихся книг. Она жила в ожидании скорой встречи с близким ей человеком: «Теперь я жду к себе Юлиана, который в конце месяца придет сюда прямо из Японии».²⁶ Но этой встрече уже не суждено было состояться. Е. И. Васильева умерла в больнице в декабре 1928 года. В письме от 15 декабря Волошин со скорбью сообщал об этом Е. Я. Архиппову.²⁷ В автобиографии «Золотая маска» Архиппов отметил день кончины Е. Васильевой: «1928 г. Декабрь 4-е... Кончина Черубины. Удвоенная горечь. Онемение. Письма Л. П. Брюлловой, Вс. Н. Васильева, Ю. К. Щуцкого о Черубине».²⁸ Е. Я. Архипповым в память о Е. И. Васильевой был составлен сборник ее стихотворений, который он сопроводил собственными вступительными статьями «Корона и Ветвь» и «Темный Ангел Черубины» и в который включил также стихи о ней близких ей людей — Л. Брюлловой, М. Волошина, Н. Гумилева, Д. С. Усова и свои.²⁹

Что касается Ю. К. Щуцкого, то в его памяти имя Е. И. Васильевой всегда было освящено высокой духовностью. «Несмотря на то что прошли уже годы с ее смерти, — признавался он в «Жизнеописании», — она продолжает быть центром моего сознания как морально-творческий идеал человека». То «сознательное построение пластики человеческих отношений», к которому стремился Щуцкий в своем жизнетворчестве, он осуществлял при духовной поддержке и водительстве Е. Васильевой. «Эта душевная скульптура, — писал он, — умение подойти к тому или другому человеку именно с той стороны своей души, которая лучше всего реагирует на душу другого человека, дала мне возможность создать подлинно дружеские отношения с некоторыми людьми. Дружественная

Нарымский край, то все же помните меня» (ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 2, ед. хр. 22, л. 35).

²² ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 320, л. 24.

²³ ГБЛ, ф. 743, к. 13, ед. хр. 2, л. 141, об. Не обошлось без курьезов: в «Записках Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина» (М., 1980, вып. 41, с. 120) при описании тетради стихов Е. Васильевой «Домик под грушевым деревом» определен как перевод «из Ли Сянцзы».

²⁴ ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 2, ед. хр. 11, л. 65, об.

²⁵ ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 320, л. 30.

²⁶ Там же, л. 32, об.

²⁷ ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 61, л. 13.

²⁸ Там же, ед. хр. 39, л. 18.

²⁹ Там же, ед. хр. 102.

связь с ними столь сильна, что... эту связь не нарушает ни время, ни пространство, а на примере с Е. И. Васильевой я вижу, что и смерть не нарушает самого существа дружбы».

В рукописной тетради (ГБЛ) в разделе «Петербург. 1922—1927» — семь стихотворений, имеющих посвящение «Юлиану», и один акrostих («Юдоль твоя — она не в нашей встрече...»), обращенный к нему же. В сборнике стихотворений Е. Васильевой, составленном Е. Я. Архипповым (ЦГАЛИ), еще четыре стихотворения отмечены как посвященные Ю. К. Щуцкому. Ниже публикуются стихотворения Е. И. Васильевой, извлеченные из рукописной тетради, хранящейся в ГБЛ (ф. 743, к. 13, ед. хр. 2).

Все публикуемые стихотворения относятся к 1922 году (кроме последнего, датированного, записанного среди стихотворений 1924 года) и обращены к Ю. К. Щуцкому. Очень личные и интимные в своей тональности, они отражали сложный и противоречивый внутренний мир поэтессы: устремленность к постижению «божественного бытия» и готовность отдаться соблазнам «плоти», смирение перед судьбой, обрекающей на одиночество, и неугаивающаяся надежда на взаимность. Они несут на себе следы религиозной экзальтации и рассказывают о томлениях духа и жаждущей прозрачности плоти. Но сквозь религиозную символическую просвечивает драма человеческих отношений, когда мгновения духовной близости сменяются отчуждением, а мятущаяся душа взыскует новых обетований. Стихи Е. Васильевой — это лирический дневник, повествующий о сложности человеческой души и напряженной жизни духа.

* * *

Земля в плену. И мы скитальцы,
И жизни не закончен круг,
И вот мой коснулись пальцы
Твоих похолодевших рук...

Какже здесь свершились сроки,
И чей здесь преломился путь?
Мы все в плену, мы — одиноки...
Иди, иди, но не забудь,

Что к сердцу подступали слезы,
Что замолчали ты и я,
Провидя пламенные розы
Божественного бытия.

13.VIII.22

* * *

Каких неведомых преддверий
Еще с тобой коснемся мы,
Друг другу данные из тьмы,
Чтоб вместе ждать, чтоб вместе
верить, —

Чтоб вместе обрести ковчег
Неизреченной благостыни,
Еще не явленной поныне,
Но пребывающей вовек?!

И плоти душная темница
Полна нетленной красоты,
Когда со мною рядом ты
И вместе хочется молиться...

24.VIII.22 — 4.IX.22

* * *

Юдоль твоя — она не в нашей встрече...
Любви отравлена вода...
И вот угас, быть может, в первый вечер,
Архангельский огонь, блеснувший нам
тогда.

Не верь себе, как я себе не верю,
У нас с тобой другая есть стезя, —
Щады любовь от муки лицемерий,
Уйдем с путей, где вместе быть нельзя.

Ценой души, в себе несущей пламя,
Куплю ли я обмача краткий час?
Отверзлась бездна — и она меж нами...
Мы смотрим лживыми и жадными
устами...

Умей понять связующее нас.

26.IX.22

* * *

Красное облако стелется низко,
Душный и дымный огонь...
Сердце отпрянуло, сердце не близко,
Душно и стыдно — не тронь.

Нам ли идти этой страшной дорогой,
Красным туманом дыша.
Бьется и плачет, кричит у порога
Наша душа...

Красное пламя ее ослепило,
Дьявольской бездны печатать...
Только не надо, не надо, мой милый,
Так тосковать.

Нашей любви неизменная ласка
Выше соблазнов земли...
Видишь, за облаком красным вдали
Башни Дамаска.

1.XI.22

* * *

Туман непроглядный и серый,
А в сердце — большая звезда,
Ты звал ее раньше Венерай,
Но ты без меня был тогда.

Тогда над путями твоими
Горели чужие огни —
Звезды лучезарное имя
В тебе исказили они...

Но пламя и снежные бури
Не властны над нашей судьбой,
Звезды нашей имя — Меркурий
С тех пор, как мы вместе с тобой.

18.XI.22

* * *

* * *

Он сказал: «Я Альфа и Омега». Он замкнул нас всех в одном кругу, За окном кружатся хлопья снега, С этой ночи вся земля в снегу.

С этой ночи в моем сердце пламя Тоже стало, как кусочек льда, Ты ушел с печальными глазами, Слезы в них, как синяя вода...

Если б знать, когда рука Господня Снимет с душ последнюю печать. Ты прости, что я пришла сегодня, Ты прости, что я устала ждать.

2.XII.22

Чудотворным молилась иконам, Призывала на помощь любовь, А на сердце малиновым звоном Запевала цыганская кровь.

Эх, надеть бы мне четки, как бусы, Вместо черного — пестрый платок, — Да вот ты такой нежный и русский, А глаза — василек...

Ты своею душой голубиной Навсегда затворился в скиту — Я же выросла дикой рябиной, Вся по осени в алом цвету...

Да уж видно, судьба с тобой рядом Свечи теплит, акафисты петь, Класть поклоны с опущенным взглядом, Да цыганскою кровью гореть.

<1924>

М. В. Безродный

ОБ ОДНОМ ИСТОЧНИКЕ РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

— И Бог, — спросил Моррель, — послал этому человеку утешение?

— Он, во всяком случае, послал ему покой.

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» обладает мощной и чрезвычайно разветвленной «корневой системой», пронизывающей самые разнообразные — и в ретроспективе очень неравноценные — «пласты» художественной культуры. Способность этого произведения откликаться едва ли не на любые «голоса» и «имена» делает поиск его источников занятием заманчиво простым: оно никогда не бывает вовсе безрезультатным. Другой вопрос — насколько убедительными и ценными оказываются эти результаты. В тех, к сожалению, нередких случаях, когда эстетические пристрастия автора заслоняются репертуаром чтения самого исследователя (репертуаром подчас весьма экстравагантным), на свет в изобилии появляются сопоставления приблизительные, произвольные и вовсе фантастические. А между тем надежный способ их избежать хорошо известен — это ограничение сферы поиска теми источниками, знакомство автора с которыми не вызывает сомнений или в принципе доказуемо.

Образы из произведений Дюма-отца возникают на страницах булгаковских сочинений неоднократно. Так, облик одного из героев «Театрального романа» ассоциируется с внешностью де Тревиля: «Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза... в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная ре-

шимость... французская борода... Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма...»¹ В пьесе «Адам и Ева» фигурирует персонаж с «говорящей» фамилией Маркизов — поклонник «Графа Монте-Кристо» и любитель изъясняться высоким слогом («Умерло, граф, мое прошлое!»). Героиня романа «Мастер и Маргарита» соотнесена с образом Маргариты Наваррской и именуется «королевой Марго». Уже этих примеров довольно, чтобы, исследуя родословную булгаковского романа, взять на учет сочинения Дюма. Полубульварная репутация последних смущать, разумеется, не должна: замыслы Булгакова то и дело охотно рядятся в поношенные платья романтико-приключенческой риторики и фабулы.

Роман «Граф Монте-Кристо» (1844—1845) завоевал мгновенную и долговечную популярность, став любимой книгой многих поколений европейских читателей. Он без конца переводился, переиздавался, а начиная с 1908 года экранизировался. Именем героя была названа знаменитая система малокалиберных ружей и пистолетов. Образ графа Монте-Кристо сделался нарицательным и рас-

¹ *Булгаков М.* Белая гвардия; Театральный роман; Мастер и Маргарита. Л., 1978, с. 320. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

хожким (ср., например, характер его использования в финале «Золотого тельца»²).

В том, что эта книга находилась в поле пристального внимания Булгакова, убеждают не только постоянные упоминания о ней на страницах пьесы «Адам и Ева» (в 3-м акте которой «Граф Монте-Кристо» даже прощически соотносен с Библией). Ниже будет сделана попытка показать, что скрытыми отсылками к роману Дюма пронизан ряд сцен и ситуаций «Мастера и Маргариты».

В первой части «Графа Монте-Кристо» Эдмон Дантес по доносу завистников попадает в тюрьму. Тайком, по подземному ходу, его посещает другой узник замка Иф — аббат Фариа, которого числят сумасшедшим. Эта ситуация воспроизведена Булгаковым в сценах тайного общения папентов психиатрической клиники — Мастера, раздобывшего ключи от балконных решеток и тем обеспечившего себе некоторую свободу передвижения, и поэта Ивана Бездомного.³

Фариа неизлечимо болен:

«— Мужайтесь, силы возвратятся, — сказал Дантес...»

— Друг мой, — отвечал старик, — не обманывайте себя: этот припадок осудил меня на вечную тюрьму...»⁴

Сходный разговор происходит у Ивана с Мастером:

² Укажем заодно и на скрытое цитирование Дюма в «Золотом тельце». История об Арамисе, задумавшем вернуться в лоно церкви, но удержавшемся от этого шага благодаря д'Артаньяну («Три мушкетера»), добросовестно воспроизведена Ильфом и Петровым в эпизоде с Козлевичем, которого «охмурили» ксендзы. Эти ситуации совпадают как «расстановкой сил» (настоятель монастыря и кюре против д'Артаньяна; два ксендза против Бендера), так и «исходом сражения»; сходство распространяется и на некоторые частности (например, использование в обоих случаях темы латыни).

³ Настоящая статья уже была завершена, когда ее автору удалось ознакомиться с дотопе закрытой работой Б. М. Гаспарова «Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» (Slavica Hierosolymitana, 1978, № 3, p. 198—251), в § 5 которой несколько строк посвящено параллели «клиника Стравинского — замок Иф». Факт совпадения независимо высказанных догадок не может не радовать: он служит своего рода ручательством, что выявленные свойства внутренне присущи, а не извне приписаны объекту нашего наблюдения.

⁴ Дюма А. Граф Монте-Кристо / Пер. с фр. [В. М. Строева?] под ред. М. Л. Лозинского. Л.: Academia, 1929, т. 1, с. 240—241. Далее ссылки на это издание даются в тексте (том, страница).

«— Но вы можете выздороветь... — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — спокойно ответил гость, — когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю» (с. 566).

И действительно, аббат, «узник номер двадцать семь», окончит свои дни в тюрьме, а Мастер, «номер сто восемнадцатый», — в клинике.⁵

А пока между старшим и младшим узниками устанавливаются отношения «учитель — ученик». Дантес — «человек простой, необразованный; прошедшее оставалось перед ним закрыто той завесой, которую приподнимает наука. Он не мог... воссоздать былые века, оживить отжившие народы, воскресить древние города, которые воображение увеличивает и покрывает поэзией...» (1, 185). Исторические познания и умственный кругозор Ивана Бездомного, автора антирелигиозной поэмы, также не отличаются широтой.

Другое дело — итальянский ученый Фариа и московский историк Мастер. На простодушный вопрос Дантеса: «Так вы знаете несколько языков?» — аббат отвечает: «Я говорю на пяти живых языках: по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански; с помощью древнегреческого понимаю нынешний греческий язык; правда, я говорю на нем плохо, но теперь я учусь» (1, 217). Таковы же содержание и даже конструкция (5+1) ответа Мастера на вопрос Ивана, с какого языка он переводит: «Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немощко еще читаю по-итальянски» (с. 553).

Общение с ученым пробуждает у младшего собеседника стремление к знаниям — и в роли графа Монте-Кристо Дантес является нам человеком блестяще образованным, а Бездомный в эпилоге романа предстает как «сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Поньрев» (с. 808).

И наконец, еще одно важное совпадение. Фариа — автор трактата о государственной власти в Италии, написанного в тюрьме. В конце романа обнаруживается, что эта рукопись не пропала: «„Извольте, сударь!“ — сказал чей-то голос позади него. Монте-Кристо вздрогнул и обернулся. Привратник протягивал ему полоски холста, на которых аббат Фариа рассыпал все сокровища своих знаний» (2, 867). Такое же сакральное звучание приобретает в бул-

⁵ Так в 30-й главе «Мастера и Маргариты». В эпилоге линия Мастера прорисована иначе (что вызвано, по-видимому, незавершенностью работы над романом): герой объявляется похителем из клиники «шпайкой гипнотизеров».

гаковском романе мотив неуничтожимости рукописей.

Последовательной и, как видим, довольно точной ориентацией линии «Мастер — Иван Бездомный» на историю узников замка Иф связь между произведениями Дюма и Булгакова не исчерпывается. Утратив локальный характер, она становится менее отчетливой, однако сохраняется на периферии повествования вплоть до финала, где проступает с новой силой.

Обретя свободу, Эдмон Дантес преображается в графа Монте-Кристо и ведет двойную жизнь: под личинами чудака, иностранца и путешественника скрывается неумолимый судья и мститель. Монте-Кристо вседушен, всеведущ и всемогущ. Облик и поведение героя то и дело возбуждают толки о его «парабиологической» природе: он видится окружающим вампиром и выходцем с того света. Муссируется мотив договора с дьяволом, подчеркивается исключительная мизантропия графа, его нечеловечески хладнокровное отношение к зрелищу пыток и казней. Образ Монте-Кристо исполнен сатанинского величия и окутан inferнальным ореолом: «Граф стоял во весь рост, торжествуя, как падавший ангел» (1, 573); «Он еще раз окинул взором обширную равнину, подобный гению ночи» (2, 841). В последней главе романа герой признается, что «подобно сатане, возомнил себя равным Богу» (2, 930). Его посушки проникнуты стремлением воздать ничтожным людям за их грехи: малодушие и предательство, зависть и корыстолюбие. К этому добавляется еще одна цель — наблюдать человеческую природу. Показателен диалог Монте-Кристо с прокурором по поводу географической карты, которую изучает граф перед приходом собеседника:

«— Вы интересуетесь географией?..»

— Да, — отвечал граф, — я задался целью произвестн на человечестве в целом то, что вы ежедневно продельваете на исключениях, то есть физиологическое исследование» (1, 806).

У Булгакова этой сцене соответствует пассаж с глобусом Воланда. «Программа» московских гастролей последнего также сводится к возмездию и «опытам». Подобно роману Дюма, «Мастер и Маргарита» строится как цепь разоблачений и наказаний: каждому воздается по заслугам, «коемуждо по делом его...».

Единство целей графа Монте-Кристо и князя тьмы определяет и сходство в их поведении: космополит граф, владеющий всеми языками, в беседе по-французски имитирует иностранный (то итальянский, то английский) выговор или же притворяется, будто вовсе не знает французского; «заграничный чудак» и «полиглот» Воланд говорит порусски то чисто, то с акцентом, а то вдруг заявляет, что «не понимаю... рус-

ский говорить...» (с. 465). Свита сатаны отчасти напоминает постоянное окружение графа, куда входят ловкий «квартирьер» Бертушко, красавица-гречанка Гайде (вспомним, что пмя «Гелла» восходит к древнегреческой мифологии) и нубиец Али с «железными пальцами» (ср. «твердые, как поручни автобуса», пальцы и «железные руки» Азазелло).

Завершив «опыты» над человеческими душами, Монте-Кристо и Воланд покидают место действия. Сцена прощания графа с городом с вершины холма Вильжюиф, «откуда виден весь Париж» (2, 840; ср. Воланда, обозревающего город с террасы «одного из самых красивых зданий в Москве» (с. 774), и Мастера, прощающегося с городом⁶) сменяется описанием стремительного движения и постепенного преобразования героя: «Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, которая была во власти графа; города на их пути мелькали, как тени... Что касается графа, то по мере того как он отдалялся от Парижа, его, как ореолом, окружала какая-то почти нечеловеческая ясность» (2, 842; ср. трансформацию облика спутников сатаны). Затем следует композиционно выделенное изображение «маленького домика», который «стоял... весь заросший ползучим виноградом, покрывавшим его каменные стены...» (2, 845; ср. деталь описания «вечного дома», уготованного Мастеру: «...вьющийся виноград, он подымается к самой крыше» — с. 799), звучит заключительный мотив искупления и покоя (ср. эпитафия к настоящей статье (2, 871) с фразой: «Он не заслужил света, он заслужил покой» — с. 776). Подвергнув испытаниям, соединив и вознаградив влюбленных — Морреля и Валентину, Мастера и Маргариту, — Монте-Кристо и Воланд завершают свои «земные» дела и исчезают.

Закономерен вопрос: какое художественное задание выполняют все эти идейно-тематические и мотивно-образные ремниценции? Прежде чем ответить на него, целесообразно будет выяснить, в чем состоит отличие приемов Дюма от булгаковских.

Романтизм «Графа Монте-Кристо» можно назвать «умеренным». Все чудесное получает здесь вполне рационалистическое истолкование. «... У меня все основано на цифрах и здравом смысле.

⁶ В числе источников этих сцен у Булгакова можно упомянуть также вид на город с горы (Альбано?) в гоголевском «Риме» (отмечено в работах М. О. Чудаковой) и бесчисленные во французской беллетристике панорамы Парижа (в частности, ту, что открывается взором Генриха Наваррского с башни Венсенской крепости в одной из последних глав «Королевы Марго»).

и только», — скромно комментирует граф стремительность своих передвижений (2, 460). В самом деле, тридцать две лошади предусмотрительно распределены на восемь подстав по дороге в сорок восемь лье — таков секрет необыкновенной скорости шесть лье в час. Но никакие «цифры», никакой «здравый смысл» не в силах объяснить быстроту перемещения Степы Лиходеева из Москвы в Ялту. В «Мастере и Маргарите» вовсю используются фантастические мотивировки, а вершитель правосудия здесь не просто уподоблен сатане — он собственно сатана и есть.

При этом Булгаков не довольствуется разрушением рационалистической оболочки романтических образов. Зачастую из них еще и выветривается весь серьезный пафос. Так, у Дюма сцена меткой стрельбы из пистолета по игровой карте выдержана, несомненно, в мрачных тонах: «Монте-Кристо взял пистолеты... и, приклеив туза треф к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил четыре ветки трилистника. При каждом выстреле Моррель все больше бледнел... „Это страшно, — сказал он, — взгляните, Эмманюель!“» (2, 534). Стрельба Азazelло по семерке пик, по говоря уже о пародирующей ее в духе клоунады пальбе Бегемота, способна вызвать лишь «веселый испуг в Маргарите» (с. 695). Страшное и опасное постоянно подается Булгаковым как принципиально несерьезное, не заслуживающее страхов и опасений: «Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил» (с. 696); или: «Но длилась эта стрельба недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда» (с. 760).

Итак, в «Мастере и Маргарите» в ход идут два приема организации авантюрного «материала»: гротескная деформация традиционной, стертой до степени штампа конструкции (так, стреляют по карте, закрыв ее подушкой да еще повернувшись к мишени спиной) и наполнение этой конструкции новой эмоциональностью (зловеще меткая стрельба вызывает не трепет, а комический испуг). Для того чтобы романтико-приключенческие эпизоды приобрели именно такое звучание, они должны быть поданы отстраненно, как нечто уже многократно опробованное. Иначе гово-

ря, они должны быть извлечены из традиции в «готовом» виде. И романы Дюма, эта многотомная энциклопедия авантюрных интриг, как нельзя лучше подходят на роль арсенала готовых конструкций. Причем последние не обязательно воспроизводятся в полном виде: для узнавания довольно намека. «Токсикологическая» тема, вообще нередкая у Дюма и проходящая через весь роман «Граф Монте-Кристо» мрачным crescendo, достигая своего forte fortissimo в истории об отравлениях, которыми госпожа де Вильфор расчищает дорогу к наследству, отзывается у Булгакова вереницей отравителей, пригласенных на бал и получающих краткие аттестации вроде: «Маркиза, — бормотал Коровьев, — отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства!» (с. 684).⁷

Несомненно и другое. Если в романах Дюма этическая проблематика неразрывно спаяна с авантюрно-романтической фабулой и стилистикой, то в «Мастере и Маргарите» они едва заметно расслоены, однако расслоены в пределах единого повествования. Это, во-первых, оберегает то, что принято называть «философской линией» булгаковского романа, от вырождения в плоский дидактизм, а во-вторых, создает эффект еле уловимого, и может быть потому особенно впечатляющего, «напряжения» между содержанием и формой — «напряжения», которое всегда оказывается способом создания новой художественной реальности.

⁷ Ср. также мотив аква-тофаны и упоминание графом о попытках отравить его в Неаполе, Палермо и Смирне (1, 863) с аттестацией другой гостьи Воюнда: «...госпожа Тофана была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоело их мужья» (с. 682). Эпизод отравления и «воскрешения» Мастера и Маргариты одним и тем же вином (глядя сквозь которое «видели, как все окрашивается в цвет крови» — с. 785) заставляет вспомнить о таинственном флаконе графа Монте-Кристо, наполненном красной, как кровь, жидкостью, способной отнять и вернуть жизнь, и об истории соединения графом Морреля и Валентины через мнимую смерть от яда.

В. В. Перхин

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО Р. РОЛЛАНА О М. ГОРЬКОМ

Еще при жизни М. Горького развернулось собирательство рукописей великого писателя, в том числе его огромной переписки. П. И. Лебедев-Полянский, ставший в 1934 году главным редактором «Литературного наследства», был одним из тех, кто начал эту работу. Об этом свидетельствует публикуемое письмо Р. Роллана, хранящееся в Архиве Академии наук СССР (ф. 597, оп. 4, ед. хр. 64, л. 10).

Из обширной переписки М. Горького и Р. Роллана до настоящего времени опубликована незначительная часть. Письмо к Лебедеву-Полянскому отчасти проливает свет на мотивы столь неспешного обнаружения писем «самого дорогого друга» Роллана, особенно 1922—1924 годов.

В отклике на смерть М. Горького французский писатель отметил его «восторженную любовь к новому миру» и одновременно «грусть в глубине души». ¹ Стремясь дать диалектическую оценку сложной личности Горького, Роллан вместе с тем сомневался в необходимости и возможности появления в атмосфере середины 30-х годов всех материалов, необходимых для такой оценки.

Еще во время пребывания в Москве летом 1935 года, встречаясь с советскими людьми, Ромен Роллан воочию увидел «могучий поток молодой, бьющей через край жизненной силы, ликующей от сознания своей энергии, от гордости за свои успехи». ² Поэтому он не без оснований опасался, что публикация писем «периода самого тревожного душевного состояния в жизни Горького» окажется преждевременной, более того, введет «в замешательство его многочисленных читателей», охваченных, как он сам это наблюдал, настроением, резко отличным от тех, которые владели Горьким в первой половине 20-х годов.

Кроме того, Роллан не мог не сознавать, что эти письма противоречили бы публицистическим высказываниям о Горьком в советской печати той поры. Последние сводились преимущественно к показу связи писателя с трудящимися, раскрытию пролетарского характера его творчества. Роллан разделял эти оценки, не забывая при этом о внутреннем мире Горького, о сложности его духовных исканий, о его «страданиях и сомнениях». Не случайно письмо Горького Роллану от 6 ноября 1922 года было напечатано с сокращениями. ³

Инерция одностороннего освещения личности М. Горького сказалась и спустя 30 лет, когда из публикации были исключены письма упомянутого периода. ⁴ Видимо, по тем же соображениям эти письма не попали ни в собрание сочинений Горького, ⁵ ни в «Архив А. М. Горького», ⁶ ни в двухтомник «Переписка М. Горького». ⁷ Примечательно, что упомянутое письмо от 6 ноября 1922 года не включено ни в одно из перечисленных изданий. Не использованы эти письма и в научных статьях. ⁸ Только Ж. Перюс дал им, надо сказать, не бесспорную интерпретацию в книге: *Romain Rolland et Maxime Gorki*. Paris, 1968.

Думается, пачинание Лебедева-Полянского нуждается в завершении, тем более что те «много лет», о которых писал ему Роллан, давно прошли.

Villeneuve, le 11 Juillet 1936.

Cher camarade Lebedev-Poliansky,

Je ne me souviens pas de la conversation au sujet de ma correspondance avec Maxime Gorki. — En tout cas, il me serait impossible de vous donner toutes les lettres de Gorki; premièrement, parce que beaucoup d'entr'elles seraient actuellement inutilisables en URSS — et d'ailleurs, je ne pourrais non plus les donner à l'étranger: elles sont de la période peut-être la plus troublée intérieurement de la vie de Gorki. Il ne sera certainement possible de publier ces lettres-ci que dans beaucoup d'années, quand la figure de notre cher ami sera complètement entrée dans l'histoire et que ses douleurs et ses doutes ne risqueront plus de jeter le désarroi dans le public de ses lecteurs.

J'ai certes d'autres lettres, plus tardives (celles dont je parle plus haut sont des années 1922—1924, et peut-être même jusqu'à l'année 1925—6). — Mais il me faudrait faire un grand travail pour les revoir, les faire retaper par ma femme, etc. D'ailleurs, elles ne sont pas chez moi. La première moitié a été remise par moi, il y a une dizaine d'années, à des Archives de France; je vais essayer de les revoir, en offrant à ces Archives d'autres

⁴ См.: Торжество социалистической новь (Из неопубликованных горьковских материалов). — Вопросы литературы, 1967, № 11, с. 210—216.

⁵ См.: *Горький М.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, т. 29.

⁶ Архив А. М. Горького, т. 8. М., 1960.

⁷ Переписка М. Горького: В 2-х т. М., 1986.

⁸ См., например, в кн.: Ромен Роллан. 1866—1966. М., 1968, с. 189—206.

¹ Литературная учеба, 1936, № 7, с. 10.

² Роллан Р. Собр. соч.: В 14-ти т. М., 1958, т. 13, с. 399.

³ Из переписки А. М. Горького с Р. Ролланом. — Лит газ., 1936, 20 окт.

autographes en remplacement de ceux-ci. L'autre moitié se trouve dans un coffre-fort de banque; car je ne risque plus, dans les temps actuels, à conserver chez moi des papiers précieux.

Je vais justement partir pour un petit voyage en France (dont je profiterai pour ravoir les lettres de Maxime Gorki, ou en tout cas pour en prendre des copies). Je ne serai sans doute pas de retour chez moi avant septembre. Ces vacances me sont *absolument nécessaires*. Donc même si je trouvais la possibilité de vous communiquer copie de quelques lettres de Gorki, il me serait matériellement impossible de le faire avant la fin de septembre!

J'aurais de plus à m'entendre, au préalable avec la Commission pour l'héritage littéraire de Gorki. Fates-vous partie de cette Commission? Travaillez-vous en liaison avec elle?

Je pense qu'en principe, il me serait possible de vous donner copie de quelques lettres (j'en ai sans doute près d'une centaine). Mais n'y comptez pas avant quelques mois! Je suis écrasé de tâches de toutes sortes. Et tout urgentes!

Pour ce qui est de mes propres lettres — je n'en ai gardé copie que très rarement, et seulement en extraits. Mais je pense que Gorki les aura conservées. C'est donc aux personnes qui détiennent ses archives que vous devez vous adresser pour les ravoir! *Je tiens toutefois à les relire, avant toute publication*, ainsi que Gorki voulait revoir les siennes.

Croyez, cher camarade Lebedev-Poliansky, à mes sentiments les meilleurs et à mes regrets de ne pas pouvoir vous donner une réponse qui vous satisfasse plus complètement.

Romain Rolland.

Вильнев, 11 июля 1936 г.

Дорогой товарищ Лебедев-Полянский, я не помню разговора по поводу моей переписки с Максимом Горьким.⁹ — В любом случае мне было бы невозможно отдать вам *все* письма Горького; во-первых, потому что многие в настоящее время нельзя использовать в СССР, и к тому же я не смог бы отдать их за границу: они относятся, возможно, к периоду самого тревожного душевного состояния в жизни Горького. Конечно, письма эти можно будет опубликовать только через много лет, когда образ нашего дорогого друга в полной мере войдет в историю и его страдания и сомнения не приведут в замешательство его многочисленных читателей.

У меня есть, разумеется, другие письма, более поздние (те, о которых

я говорю выше, относятся к 1922—24-му, а возможно, даже к 1925—6 годам). — Но мне потребуется проделать большую работу, чтобы их пересмотреть, перепечатать с помощью моей жены¹⁰ и т. д. К тому же они у меня не дома. Первая половина была передана мной лет десять тому назад в Архив Франции;¹¹ я постараюсь получить их обратно, предложив Архиву другие рукописи взамен этих. Другая половина находится в сейфе банка, так как в настоящее время я не отваживаюсь хранить у себя дома ценные бумаги.

Скоро я как раз отправляюсь в небольшое путешествие по Франции (которым воспользуюсь, чтобы вновь овладеть письмами Максима Горького или во всяком случае снять с них копии). Вероятно, я не вернусь домой до сентября. Этот отпуск мне *абсолютно необходим*. Стало быть, если бы даже я и нашел возможность передать вам копии некоторых писем Горького, мне было бы невозможно это сделать чисто физически до конца сентября!

Кроме того, мне нужно было бы предварительно договориться с Комиссией по литературному наследию Горького.¹² Состоите ли вы в этой Комиссии? Работаете ли в контакте с ней?

Я думаю, что в принципе можно было бы отдать вам копии некоторых писем (у меня их, вероятно, около сотни).¹³ Но не рассчитывайте на это раньше, чем через несколько месяцев! Я завален всякого рода делами. И очень срочными!

Что касается моих собственных писем, я очень редко оставлял себе их копии, и только в отрывках. Но я думаю, что Горький мог их сохранить.¹⁴ Следовательно, чтобы получить их, вы должны обратиться к лицам, которые распоряжаются его архивом! Однако я непременно хочу вновь прочесть их до какой-либо публикации, так же как Горький хотел пересмотреть свои.

Примите, дорогой товарищ Лебедев-Полянский, уверение в моих наилучших чувствах и сожаление, что не могу дать вам ответа, который полнее бы вас удовлетворил.

Ромен Роллан.¹⁵

¹⁰ М. П. Роллан.

¹¹ Национальный архив Франции (Archives Nationales).

¹² Комиссия по литературному наследию М. Горького была создана без участия Лебедева-Полянского (см.: Лит. газ., 1936, 20 июня).

¹³ В Архиве А. М. Горького хранится свыше 100 писем и телеграмм Горького к Роллану. См.: Переписка М. Горького: В 2-х т., т. 2, с. 107.

¹⁴ Архив А. М. Горького располагает 100 письмами Роллана. См. там же.

¹⁵ Перевод с французского И. Ю. Опишковой.

⁹ Вероятно, она состоялась летом 1935 года во время визита Р. Роллана в Москву.

ПОЛЕМИКА

В. Г. Прошкин

ЕЩЕ РАЗ О КОМПОЗИЦИИ ПОЭМЫ НЕКРАСОВА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Читателей, любящих поэзию Н. А. Некрасова, не может не волновать горестное признание его: «Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с поэтицами; прошло с тех пор тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение — и опять-таки сталкиваюсь с теми же поэтицами».¹ Незадолго до того как были сказаны эти слова, цензура вырезала из «Отечественных записок» «Пир на весь мир». Поэт неоднократно переделывал эту последнюю часть «Кому на Руси жить хорошо», «уродуя» в угоду цензуре, но так и не добился ее опубликования.

Мы вспоминаем об этом для того, чтобы подчеркнуть: особого внимания и широкого обсуждения на страницах журнала «Русская литература» заслуживает академическое издание итоговой эпопеи поэта «Кому на Руси жить хорошо».²

Оно радует тем, что знакомит читателей с многострадальным «Пиром на весь мир» в том виде, в котором он печатался в «Отечественных записках» 1876 года. «Пир» завершался в этом варианте неизвестным читателям «Эпиплоге» «Гриша Добросклонов».

Радует пятый том и тем, что в нем впервые опубликован «Эпизод из поэмы „Кому на Руси жить хорошо“» «Доброе время — добрые песни».

Жаль, что редколлегия тома не использовала новых публикаций для решения затянувшегося спора о композиции эпопеи. Подводя итог долголетней полемике о порядке частей «Кому на Руси жить хорошо», редколлегия пришла к следующим выводам и решениям.

Вывод первый: «„Кому на Руси жить хорошо“ — произведение незаконченное, все написанные главы которого автору при жизни напечатанными увидеть не удалось, и потому текстологи не могут в полной мере руководствоваться понятием „авторская воля“» (с. 609).

Вывод второй: «...нам остается рассматривать написанные Некрасовым части поэмы как разрозненные части, как фрагменты произведения и расположить их в том порядке, в котором они были созданы поэтом» (с. 613).

Действительное состояние дела не так безнадежно, как кажется авторам выводов. Решение давнего спора, думается, следует искать не в отказе от соблюдения «авторской воли», а в установлении *последней воли* создателя эпопеи, в неукопительном исполнении ее. Но в чем же она выразилась? В том, что было сделано Н. А. Некрасовым в конце его жизни, что было сказано им в предсмертные дни, в частности: в последнем прижизненном издании «Кому на Руси жить хорошо», в «Шире на весь мир» и особенно в «Эпиплоге» «Гриша Добросклонов», в расширенном варианте его.

В последнем прижизненном издании «Стихотворений Н. А. Некрасова» (1873—1874) «Кому на Руси жить хорошо» напечатана в следующем виде: «Пролог; Часть первая» (1865); «Последний (Из второй части „Кому на Руси жить хорошо“)» (1872); «Крестьянка (Из третьей части „Кому на Руси жить хорошо“)» (1873). Порядок расположения частей мотивировался здесь временем их создания и пометами. Соответствует ли авторской воле порядок расположения частей «Кому на Руси жить хорошо» в издании 1873—1874 годов? Несомненно, соответствует! Но была ли это последняя воля Некрасова? Нет! Ведь работа над эпопеей продолжалась и порядок расположения частей мог быть изменен, подобно тому как это сделал М. Ю. Лермонтов в окончательном варианте романа «Герой нашего времени», не посчитавшись с последовательностью создания и публикации вошедших в него частей, или А. С. Серафимович, поставивший в конец «Железного потока» картину заключительного митинга, написанную раньше всего другого.

Последняя по времени создания часть эпопеи, известная под названием «Пир на весь мир», в первых вариантах именовалась иначе: «Кто на Руси всех грешней. Кто всех святей. Легенды о крепостном праве» — и обозначалась как

¹ Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 430, 431.

² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Худож. произв. Л., 1982, т. 5.

глава II (с. 506). Болезнь, затруднявшая работу, угрожающе развивалась. Некрасов с тревогой осознавал, что оставит свое «любимое детище» незавершенным, «а это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение». Болезнь властно побуждала поэта искать такой финал последней, как он понимал, части, который мог бы вызвать впечатление «завершенности» незавершенного. Требовалось нечто почти неосуществимое. Однако такая возможность таплась в характере народного заступника, в ускорении встречи с ним искателей счастливого. Поэт осуществил эту потенциальную возможность. Он развил образ Гриши Добросклонова, как итоговый в ряду образов «героев деятельного добра» в стихах и поэмах о Белинском, Шевченко, Добролюбове, Чернышевском, и выделил его в «Эпilogе» «Гриша Добросклонов».

В связи с этим Некрасов снял первоначальное название, ограничивавшее содержание спором о том, кто на Руси всех грешней, кто всех святей, и написал: «Помяни по крепям», а затем, зачеркнув написанное, дал новое, окончательное название — «Пир на весь мир». Для такого всеобщего пира «помянок по крепям» было маловато, оно намекало «на конец, который всему делу венец».

Изменив название в соответствии с расширенным содержанием, поэт уточнил положение «Пира...» в композиции целого. В варианте ноябрьского номера «Отечественных записок» за 1876 год, ныне опубликованном в пятом томе академического издания, это уточнение, данное в сноске на стр. 188, выглядит так: «Из второй части „Кому на Руси жить хорошо“. Настоящая глава следует за главою „Последыш“, помещенною в „Отечественных записках“ 1873 г., № 2 и в отдельном, 6-м издании „Стихотворений Некрасова“: часть 6, стр. 9—70» (курсив мой, — В. П.).

Опубликовав «Пир на весь мир» с «Эпilogом» «Гриша Добросклонов» в первопечатном варианте, редколлегия пятого тома академического издания осуществила последнюю волю Н. А. Некрасова. Соответствует последней воле поэта и публикация оставшегося неизвестным фрагмента «Доброе время — добрые песни. Эпизод из поэмы „Кому на Руси жить хорошо“». В нем 359 стихов, 306 из них роднят «Эпизод...» с «Эпilogом» и только 53 выходят за пределы его. Поэтому «Эпизод...» правомерно называть расширенным «Эпilogом». Поэт надеялся опубликовать расширенный «Эпilog» под явно дезориентирующим цензурой названием «Доброе время — добрые песни» в сборниках «Черные дни», а затем «Последние песни». Ни первая, ни вторая попытка не удалась, но в этих настойчивых попытках смертельно больного поэта наглядно выразилась последняя воля автора эпопеи.

Почему Н. А. Некрасов так дорожил «Эпilogом» «Гриша Добросклонов»? Думаю, потому, что эпilog мог вызвать у читателя впечатление завершенности «любимого детища», дав ответ на вопрос сюжетного действия:

Быть бы нашим странникам под родною
крышею,
Если б знать могли они, что творилось
с Гришею.
(5, 235)

Но то, что не знали и еще не могли знать странники, знают читатели. Мыслью «вперед залетая», Гриша видел «воплощение счастья народного». Это удесят�еряло его творческие силы, давало ему ощущение счастья, а читателю — ответ на вопросы, кто счастлив на Руси, в чем его счастье.

На каком месте в составе эпопеи «Пир на весь мир» с «Эпilogом» может вызвать желанное впечатление? Только в конце. В конце, на месте четвертой части, помещен «Пир» и в пятом томе академического издания. Это положение «Пира» соответствует последней воле Н. А. Некрасова, отменяющей противоречащую ей помету «Из второй части». Видимо, по той же причине эта помета была снята и заменена другой — «Из четвертой части» — при первой публикации «Песни Гришиной», впервые осуществленной в третьем томе посмертного издания «Стихотворений Некрасова» (1879), в подготовке которого участвовала не только А. А. Буткевич, «свято соблюдавшая волю брата», но и М. Е. Салтыков-Шедрин, и Г. З. Елисеев, и А. Н. Пыпин. В следующем, 1880 году помета «Из четвертой части» к «Песне Гришиной» была повторена в отдельном издании «Кому на Руси жить хорошо», а в 1881 году была поставлена к «Пиру на весь мир» в одностомном посмертном издании «Стихотворений Н. А. Некрасова». С пометой «Из четвертой части» «Пир на весь мир» печатался во всех дореволюционных изданиях.

Впервые эту помету к «Пиру...» снял К. И. Чуковский в одностомном издании «Стихотворений Н. А. Некрасова» в 1920 году. Снял без достаточного обоснования.

К «Пиру на весь мир» Некрасов сделал знакомое нам подстрочное примечание: «Настоящая глава следует за главою „Последыш“... Неразрывность «Пира» с «Последышем» подтверждена единством времени, основного состава действующих лиц и развитием сюжетного действия. Но вопреки всем этим единствам и ясному распоряжению автора в академическом издании между «Последышем» и «Пиром» поставлена «Крестьянка». Почему? — Такова последовательность создания частей...»

Конечно, и в последовательности создания частей, и в пометах, и в раз-

вития сюжета выразилась воля автора, но все эти разновидности выражения авторской воли следует соотносить с последней авторской волей, которая может и утверждать, и отменять то, что ей предшествовало. Распорядительная часть примечания к «Пиру» не подвергалась сомнению и редколлегией «Отечественных записок». Ее следует неукоснительно соблюдать и нам.

А помета «Из второй части» в редакционном примечании к «Пиру» в «Отечественных записках» 1881 года опущена. Опущена не случайно: она противоречила помете к «Песне Гришиной» — «Из четвертой части», одобренной М. Е. Салтыковым-Щедриным и Г. Э. Елисеевым в 1879 году.

Для «Крестьянки» остается место второй части, а она имеет помету «Из третьей части». В рукописи этой помете предшествовала помета — «Из второй части». Она оправдана развитием сюжета. Встретившись с Матреной Тимофеевной, странники говорят:

Попа уж мы довели,
Довели помещика,
Да прямо мы к тебе!

(5, 123)

«Ясно, — писал П. Н. Сакулин, — что „Крестьянка“ должна идти за первой частью, непосредственно за главой „Помещик“, и составлять, значит, часть вторую».³ Это ясное указание места «Крестьянки» в эпопее никогда не менялось. В нем выражена неизменная воля автора, равнозначная последней.

В. В. Гиппиус, возражая против помещения «Крестьянки» вслед за первой частью, писал, что этим нарушается календарь сельхозработ. В «Крестьянке» рожь жнут, а в следующих за ней «Последыше» и «Пире» — сено косят.⁴ Нарушение календаря сельхозработ происходит лишь при условии ограничения времени действия одним годом. Но правомерно ли такое ограничение? Как бы предвидя наши сомнения и споры, поэт ввел в рассказ семи мужиков о пути из Наготина в Клип следующую сказочную формулу:

Шли долго ли, коротко ли,
Шли близко ли, далеко ли,
Вот наконец и Клип.

(5, 124)

Упрашивая Матрену Тимофеевну поведать, «в чем счастье» ее, странники

говорят: «Полцарства мы промеряли, Никто нам не отказывал!» (с. 128). Все это призвано напомнить читателям о том, что художественный мир «эпопеи крестьянской жизни» сказочно-условен, что в нем наряду с реальными мужиками действуют скатерть-самобранка и птичка, говорящая человеческим голосом; поэтому вопросы типа: сколько верст от Наготина до Клипа, сколько времени шли странники по половине царства Российского — незаконномерны.

Спор о порядке расположения частей в «Кому на Руси жить хорошо» продолжался и после выхода в свет пятого тома академического издания Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова. В 1983 году М. В. Теплинский попытался доказать, что помета к «Пиру на весь мир» «Из четвертой части» в одноименнике «Стихотворений Н. А. Некрасова» поставлена М. М. Стасюлевичем вопреки воле А. Буткевича. К такому выводу исследователь пришел на основании письма М. Стасюлевича к сестре поэта. Воспроизведем цитату из этого письма по статье М. В. Теплинского: «Очень рад был вчера получить от Вас известие: итак, если Вы и сердитесь на меня, то очень умеренно. Относительно же помещения „Пира“ скажу в свое оправдание то, что когда Вы остановили печатание, то то место, куда следовало его вставить, было уже отпечатано, и потому волей-неволей пришлось следовать порядку посмертного издания».⁵

«Порядок же, по которому поэма печаталась в посмертном четырехтомном издании, известен: Часть первая, „Последыш“, „Крестьянка“. Стасюлевич механически присоединил сюда „Пир на весь мир“ и, чтобы как-то выйти из создавшегося положения, снабдил его пометкой „Из четвертой части“. Никакого текстологического значения пометка эта не имеет».⁶

Но «Кому на Руси жить хорошо» в посмертном издании 1879 года завершалась не «Крестьянкой», а «Песней Гришиной» с пометой «Из четвертой части». В 1880 году «Кому на Руси жить хорошо» вышла отдельным изданием в том же виде, как и в тщательно подготовленном посмертном. Помета в «Песне Гришиной» «Из четвертой части» естественно и бесспорно перешла к «Пиру», который ставился на место «Песни».

Вопрос о месте «Пира» в составе эпопеи, судя по помете к «Песне Гришиной», впервые опубликованной в посмертном издании, был решен А. А. Бут-

³ Сакулин П. Н. Н. А. Некрасов. М., 1922, с. 52.

⁴ Гиппиус В. К изучению поэмы «Кому на Руси жить хорошо». — Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 295—304.

⁵ Теплинский М. В. Изучение авторского замысла поэмы «Кому на Руси жить хорошо» в современном литературоведении. — Некрасовский сборник, VIII. Л., 1983, с. 135.

⁶ Там же.

кевич и ее авторитетными советниками в 1879 году. Сердится на хозяина типографии за то, что «Пир» был опубликован в одномомнике 1881 года в конце, с пометой «Из четвертой части» она не могла. А она сердилась. За что? Точный ответ будет получен, когда найдется письмо издательницы, требовавшей остановить печатание. А сейчас можно высказать лишь предположение. Анна Алексеевна свято соблюдала волю брата, а воля его, выраженная в примечании к «Пиру»: «Настоящая глава следует за „Последышем“», — была нарушена. Между ними оказалась «Крестьянка». Сюжетная связь «Пира» с «Последышем» была разорвана. На это А. А. Буткевич могла, даже должна была сердиться, и сердилась.

В этом же видел свою вину и хозяин типографии, пытавшийся смягчить ее ссылкой на то, что место, куда следовало вставить «Пир», было уже отпечатано, на нем стояла «Крестьянка», которую следовало поставить вслед за первой частью. Работа для типографии предстояла значительная, и М. М. Стасюлевич просьбы издательницы не выполнил.

Волю Н. А. Некрасова, выраженную в подстрочном примечании к «Пиру», можно было исполнить в следующем издании «Кому на Руси жить хорошо». Но А. А. Буткевич в 1882 году тяжело заболела и умерла.

К. И. Чуковский, отказавшись от порядка частей, который в наше время отстаивают В. П. Аникин и М. В. Теплинский, писал: «Нам кажется, что Сакулин прав. „Пир на весь мир“ должен быть завершением поэмы, так как только в этой главе дан ответ на поставленный поэмой вопрос. Всякий иной порядок *делает поэму неуклюжей и заглушивает ее основную идею*»⁷ (курсив мой, — В. П.).

«Неуклюжей», в виде отдельных фрагментов, не имеющих внутренней связи, читатели видят эпопею Н. А. Некрасова и в академическом издании: хотя «Пир на весь мир» расположен здесь в конце, но в отрыве от «Последыша». «Неуклюжей», в виде разрозненных частей входит эпопея в сознание молодых читателей. Воспрепятствовать этому может лишь новое научное издание эпопеи в серии «Литературные памятники»,

которое будет соответствовать последней авторской воле. В ожидании появления его следует издавать «Кому на Руси жить хорошо» с той последовательностью частей, которая была предложена П. Н. Сакулиным.

В заключение укажем на некоторые неточности комментария в пятом томе.

Так, например, на стр. 608 сообщается, что «Эпизод из поэмы „Кому на Руси жить хорошо“ имеет объем 300 строк, а в действительности в нем 359 стихотворных строк (см. с. 581—589).

На стр. 676 комментатор пишет, что Григорий Добросклонов «появляется» в самый разгар народного диспута, «под утро». Но в некрасовском тексте Добросклоновы (дьячок Трифон и его сыновья Савва и Григорий) участвуют в пире вахлаков с самого начала. Раньше возникновения упомянутого «диспута» братья Добросклоновы по просьбе земляков поют «Веселую» (см. с. 192—193).

На стр. 606 комментатор осведомляет читателей о том, что «своим рассказом поп наталкивает на мысль о невозможности „единичного“ счастья в обстановке всенародного горя, на мысль, что одного „пирга с пачинкою“ для истинного человеческого счастья мало. И странники пачинают понимать это». Указанный «домысел», конечно, ничем не подтверждается. О решении искать Избыtkово село, а не «единичного» счастливого странники скажут лишь, знакомясь с Власом Ильичом. Но раньше, чем созреет это решение, они побывают на празднике-ярмарке в селе Кузьминском, услышат мудрую речь Яким Нагого, рассказы о Ермиле Гирине, встретятся с Оболтом Оболдуевым, а в сакулинском варианте познакомятся с Матреной Тимофеевной, послушают ее рассказ о себе самой и о Савелии — богатыре сятурском, увидят, услышат многое другое. В длинной веренице этих фактов играет какую-то роль и встреча с попом. Комментатор явно преувеличивает последствия этой встречи. «Покой, богатство, честь» (с. 19) — вот как определяет поп счастье человека, и мужики соглашаются с этим определением. Но ко времени встречи с вахлаками странники поднялись выше поповского представления о счастье.

Хочется верить, что выяснение достояния и недостатков академического издания «Кому на Руси жить хорошо» ускорит подготовку нового, лучшего ее издания.

⁷ Полн. собр. стихотворений Н. А. Некрасова. М.; Л., 1927 (От редактора).



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. В. Стеник

РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ XVIII ВЕКА В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВИСТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В последние годы зарубежные слависты, изучающие литературу XVIII века, уделяли повышенное внимание проблеме русского Просвещения. Интерес к ней не случаен. Он вызван прежде всего тем, что творчество многих писателей этого столетия тесно связано с идеологией Просвещения. Кроме того, разработка темы позволяет уяснить действительное место русской литературы в европейской культурной жизни XVIII века.

Просвещение, наиболее полно заявившее себя во Франции, охватило страны Европы, но степень радикальности просветительской программы и социальные силы, возглавлявшие данное философско-идеологическое движение, в разных странах носили различный характер.

Процесс интеллектуального подъема не мог миновать Россию, для которой эта эпоха тоже стала периодом социального и культурного обновления. Но специфические особенности идеологии русского Просвещения до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Свой вклад в продолжающиеся споры вносят работы западных славистов. Не претендуя на исчерпывающую полноту обзора, я позволю себе остановиться на ряде исследований последних десяти лет, появившихся в США, Англии и Франции. Обзор целесообразно начать со статьи американского русиста Д. М. Гриффитса «В поисках Просвещения. Последние советские интерпретации истории русской мысли XVIII века» (*David M. Griffiths. In Search of Enlightenment: Recent Soviet Interpretation of Eighteenth-Century Russian Intellectual History*), опубликованной в специальном выпуске канадско-американского славистического журнала «Canadian American Slavic studies» (1982, vol. 16, nos. 3—4), целиком посвященном русской литературе XVIII века.

Д. М. Гриффитс рассматривает практически все основные советские работы послевоенного периода (до конца 1970-х годов), касающиеся проблемы Просвещения в России. Хорошая осведомленность в литературе вопроса позволяет американскому исследователю свободно ориентироваться в материале.

Пафос статьи Гриффитса — своеобразное

«испытание на прочность» созданной советскими литературоведами концепции раннего русского Просвещения. По мнению ученого, относительная искусственность этой концепции проистекает прежде всего из того, что основоположники марксистско-ленинской философии не высказывались о русском Просвещении XVIII века сколько-нибудь определенно. Уже в начале статьи Гриффитс ссылается на содержащееся в работе В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся» сравнение русского либерального критика 1860-х годов Скалдина с буржуазными западными просветителями XVIII века. Оно приводится американским ученым для того, чтобы подчеркнуть оторванность попыток найти русское Просвещение в XVIII веке от реального осмысления проблемы в ее общеевропейском масштабе у классиков марксизма.¹

Переходя непосредственно к анализу советских исследований, посвященных этой проблеме, Гриффитс отправляется от хронологической схемы основных этапов формирования в России просветительской идеологии, предложенной П. Н. Берковым в 1961 году. Согласно этой схеме, развитие Просвещения в России имело четыре фазы. При этом первые две приходились на вторую половину XVII и первую четверть XVIII веков. Таким образом, согласно Беркову, о вполне определившемся русском Просвещении можно говорить только начиная с послепетровского времени, т. е. с 1730-х годов. Эта третья фаза, протекавшая до конца 1750-х годов, была связана с деятельностью членов «Ученой дружины» (А. Д. Кантемир, В. Н. Татищев, отчасти Ф. Прокопович), а также В. К. Тредиаковского и особенно М. В. Ломоносова. Навысшего расцвета русское Просвещение достигло в 1760—1780-е годы, приходящиеся на период правления Екатерины II. Этот этап отмечен выступлением целой группы крупных деятелей культуры — писателей, юристов, экономистов — как из среды

¹ Canadian American Slavic studies, 1982, vol. 16, nos. 3—4, p. 319. В дальнейшем ссылки на страницы статьи Гриффитса даются прямо в тексте.

дворянства, так и представителей демократической интеллигенции.²

В связи с оценкой сущности русского Просвещения 1730—1750-х годов Гриффитс указывает на ряд непроясненных вопросов: что позволяет считать просветителями членов «Ученой дружины»?; как оценивать просветительство М. В. Ломоносова, если при своем крестьянском происхождении он практически не касался проблемы крепостного права, а материализм его научной позиции не мешал ему высказываться в пользу существования бога?

Исследователь признает, что в данном случае речь должна идти о самой ранней, еще недооформившейся фазе Просвещения в России. Слов нет, придавать деятельности членов «Ученой дружины» общеевропейскую значимость, как это имело место в некоторых советских работах, было бы серьезным превеличением, и здесь Гриффитс абсолютно прав. Но выражать скептицизм в отношении просветительского характера убеждений Кантемира или Татищева только на основании их аристократического происхождения и неоднозначности позиции в вопросе о крепостнической системе землевладения, как это делает Гриффитс, вряд ли исторично. Вопрос заключается в том, что принимать за точку отсчета в отношении деятелей русской культуры к такому идеологическому движению, как Просвещение, — факт социального происхождения этих деятелей или систему убеждений, высказанную в их сочинениях? Нам представляется, что главным критерием должна являться все же идеологическая позиция писателя. Конечно, если считать мерилом просветительства Кантемира и Татищева программу, выдвигающуюся энциклопедистами во главе с Дидро, то оно по своей социальной направленности покажется весьма условным. Но в контексте идеологических задач, которые решались самыми ранними представителями европейской просветительской мысли (тем же Ш. Монтескье, не говоря уже о его предшественниках — Ф. Фенелоне или С. Пуфендорфе), идейная программа первых русских сподвижников Просвещения вполне соответствует уровню этого этапа, хотя и отмечена определенными особенностями.

В отдельные периоды распространение идей Просвещения в России осуществлялось, как правило, силами дворянских идеологов. В этом заключается одно из основных отличий от европейского Просвещения. Для понимания закономерности подобного положения важно иметь в виду, что в Россию просве-

дительская философия начала проникать в тот момент, когда крепостническая система хозяйствования не только не изжила себя, но, наоборот, «расширяла свою базу» — стала активно приспособливаться к нуждам быстро развивавшейся мануфактурной промышленности.

Признание идеи естественного равенства людей и отставание просветительского в своей основе тезиса о человеческом достоинстве завислых от воли помещика крепостных крестьян не мешало дворянским просветителям сохранять уверенность в юридической законности такой зависимости. И это придавало их деятельности особый оттенок морально-политического дидактизма. Не отрицание системы крепостного права как основы государственного строя монархической России, а стремление гуманизировать ее, используя силу нравственного убеждения, и составляет ядро идеологической программы дворянского просветительства, особенно на первых этапах его становления.

Другая специфическая особенность восприятия просветительских идей в России состояла в том, что именно политика русской монархии, и прежде всего реформаторская деятельность Петра I, способствовала популяризации идеалов Просвещения. Основной социальной силой и помощником монарха в деле преобразования страны выступало служилое дворянство, отдельные представители которого (такие как Кантемир или Татищев) и явились первыми убежденными апологетами Просвещения в России. Иного положения в тогдашних исторических условиях и не могло быть. Поэтому когда американский исследователь замечает: «...принимая участие в движении, якобы выражающем интересы буржуазии, они (члены «Ученой дружины». — Ю. С.) были безусловно знатного происхождения» (р. 324), то скрытые упреки Д. М. Гриффитса в непоследовательности марксистских литературоведов, относящих членов «Ученой дружины», в основном дворян, к просветителям, не достигают цели. Не противоречит взглядам представителей французского Просвещения и приверженность концепции просвещенного абсолютизма. Не будем забывать, что те же Ш. Монтескье, Э. Б. Кондильяк, Гельвеций, Вольтер разделяли веру в «просвещенную монархию». Для русских просветителей жизнеспособность этой концепции подкреплялась примером деятельности Петра I. Вот почему ждать от Кантемира или Татищева осуждения крепостнического строя, предъявлять к ним претензии за сословную позицию в вопросах политического устройства государства с научной точки зрения недостаточно корректно. Просветительские убеждения их, конечно, носят ограниченный характер, но это исторически объяснимо. Именно культурно-

² Такая периодизация была предложена в статье П. Н. Беркова «Основные вопросы изучения русского просветительства». — В кн.: Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. М.; Л., 1961, с. 5—27.

просветительская деятельность по отстаиванию наследия Петра I, острая критика социальных пороков, сочетавшаяся с пропагандированием в обществе передовых для своего времени идей, забота о распространении в стране наук и образования составляют их главные заслуги как просветителей.

Сказанное выше помогает ответить и на затронутый Гриффитсом вопрос об ограниченности просветительства М. В. Ломоносова, в частности, отношения к крепостному рабству, которое он «в силу собственного происхождения должен бы был ощущать как критическую проблему времени» (р. 328). Выходец с Севера, не охваченного крепостным правом, Ломоносов не мог, по-видимому, на собственном опыте ощутить противостоительность крепостнического произвола. Годы учебы, а затем пребывания в Германии сменились постоянной службой в Академии наук. Отдававший все свои силы научным занятиям, искренне веривший в позитивную роль абсолютизма, Ломоносов, естественно, «не видел неразрывной связи крепостничества и других социальных пороков с самодержавием», о чем справедливо писала П. К. Алефиренко, на работу которой ссылается Д. М. Гриффитс в своей статье.³ Но говорить о полном невнимании Ломоносова к условиям жизни русского крестьянства нельзя хотя бы потому, что существует его незавершенная статья «О сохранении и размножении российского народа», в которой своеобразно просветительской позиции Ломоносова проявилось особенно отчетливо. В этой статье дальнейшее развитие русской государственности и процветание монархии ставятся в зависимость от улучшения жизни угнетаемого крестьянства. Забитость и невежество подавляющей части крестьянского населения России того времени рассматриваются им как прямое следствие непомерных поборов со стороны помещиков и алчности безграмотного духовенства. Не связывая прямо причины быстрого роста народонаселения с системой крепостнической зависимости, Ломоносов, однако, всем ходом анализа этих причин показал антигуманный характер такой системы. Наконец, перечисляемые американским ученым заслуги Ломоносова в деле развития просвещения в России, стихийный материализм его научной позиции, сугубо внесловесный подход к делу образования красноречиво свидетельствуют о просветительской направленности его деятельности.

С начала 1760-х годов, т. е. после вступления на русский престол Екатерины II, наступает этап зрелого Просвещения. С этого момента, как заме-

чает Д. Гриффитс, оценка Просвещения в работах советских литературоведов усложняется. В развитии просветительской мысли в России выделяются два противоположных направления. Одно — «поддельное» Просвещение, носившее официальный характер и обязанное своим существованием запыряниям императрицы с французскими мыслителями. Другое — демократическое направление, обличавшее крайности крепостнического произвола помещиков и отдельные аспекты внутренней политики Екатерины II. Оно и считается советскими исследователями подлинным Просвещением.

Несколько проницательное отношение Гриффитса к такому разделению не мешает ему, однако, признать демагогический характер просветительства Екатерины II до 1773 года. Впрочем, влияние ее политики на распространение интереса к идеям Просвещения отнюдь не отрицается советскими литературоведами. Некоторое недоумение вызывает оценка Гриффитсом позиции А. П. Сумарокова, который безоговорочно зачисляется в сторонники официального просветительства Екатерины. Неясно также, откуда американский исследователь извлек сообщаемые на стр. 330 сведения об обучении Сумарокова во Франции и его встречах с Монтескье.

По мнению советских ученых, сущности просветительства отвечает другое идеологическое направление. Оно объединило демократически настроенных представителей дворянства и разночинной интеллигенции, противостоявших показному просветительству Екатерины II. Главными фигурами в этом просветительском лагере выступают дворянские идеологи Н. И. Новиков и Д. И. Фонвизин, а также представители научных кругов, разночинцы по происхождению, занимавшие в своих сочинениях открыто просветительские позиции (Я. П. Козельский, С. И. Десницкий, А. Я. Полеников, Д. С. Аничков, И. А. Третьяков и др.). О просветительстве Фонвизина в статье американского ученого сказано слишком мало. Правда, хотелось бы поддержать критические замечания Д. М. Гриффитса по поводу одной тенденции, встречавшейся иногда в нашем литературоведении, когда чуть ли не каждый автор, примыкавший к просветительскому движению, почти автоматически зачислялся в реалисты (р. 332).⁴

Особо останавливается американский исследователь на оценках просветительских позиций Н. И. Новикова в совет-

⁴ Критика подобной тенденции в свое время была дана Я. Штабкомом в статье «Куда ведет схоластика». — *Вопр. литературы*, 1961, № 3, с. 97—114. Собственную позицию по данному вопросу я изложил в статье «К вопросу о реализме в русской литературе XVIII века». — *Русская литература*, 1982, № 4, с. 55—57.

³ *Алефиренко П. К.* Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30—50 годах XVIII века. М., 1958, с. 385.

ском литературоведении. И это понятно, учитывая выдающуюся роль Новикова и как издателя, и как журналиста в распространении идей Просвещения. Справедливы указания Д. М. Гриффитса на сложности при определении масштаба просветительства Новикова. Прежде всего, до конца не прояснена степень личного участия Новикова-писателя в сочинении наиболее острых статей, появлявшихся в его журналах (например, посвященных защите угнетаемого крестьянства).

Другая трудность возникает в связи с его причастностью к масонству. Нет смысла отрицать имевшиеся в нашем литературоведении попытки преуменьшить подлинное значение этого обстоятельства в творческой биографии Новикова. На них справедливо указывает Гриффитс. Но он же признает и наличие противоположной точки зрения, ссылаясь на работы Н. Д. Кочетковой, Л. А. Дербова, В. Н. Михайлова и, наконец, Г. А. Лихоткина, в которых масонство Новикова не противопоставляется его просветительской деятельности, а соотносится с нею как закономерное следствие тех потрясений, которые дворянская монархия испытала в ходе крестьянской войны 1773—1775 годов.

Характеризуя другое крыло русского Просвещения 1760—1780-х годов, представленное недворянскими писателями, Д. М. Гриффитс подробно останавливается на книге М. М. Штрагге «Демократическая интеллигенция России в XVIII веке» (М., 1965). Американский исследователь упрекает историка русской общественной мысли главным образом за излишне прямолинейное и потому несколько искусственное утверждение обязательной связи между прогрессивностью идейной позиции и социальным происхождением русских просветителей. Одним из основных критериев принадлежности к демократической интеллигенции у М. М. Штрагге выступает нередко момент незнатного происхождения авторов. Есть в книге и преувеличения. Когда, например, М. М. Штрагге пишет «о буржуазном образе мышления» Я. П. Козельского, Н. Г. Курганова, Л. Сичкарева, В. Т. Золотницкого и Ф. Эмина, объединявшем их в «антифеодальном просветительском движении»,⁵ то конкретный анализ взглядов этих писателей на страницах книги не всегда согласуется со столь решительным выводом. И конечно же вряд ли есть основания говорить об угрозе власти императрицы со стороны представителей демократической интеллигенции. Умеренность, а порой и непоследовательность убеждений некоторых из них достаточно красноречиво

раскрывается Д. М. Гриффитсом при анализе «Списка произведений и переводов», принадлежащих интеллигентам-демократам, который М. М. Штрагге прилагает в конце книги.

Однако в отношении проделанной М. М. Штрагге работы нельзя ограничиваться только скептическими недоумениями. В его книге очень рельефно выявляется одна важная тенденция, характерная для социальных процессов, обозначившихся до и после вступления на престол Екатерины II. Речь идет об относительно кратковременном, но весьма продуктивном процессе выделении из низших и средних социальных слоев целой плеяды интеллигентов, сумевших получить европейское образование и стоявших на уровне достигнутой европейской научной мысли своего времени. Естественно, что в их мировоззрении нашли отражение передовые, просветительские по своему идеологическому содержанию, концепции, хотя до радикальных выводов эти представители интеллигенции не поднимались. Духовным отцом плеяды различных интеллигентов можно считать М. В. Ломоносова. В книге М. М. Штрагге все это раскрывается с достаточной полнотой.

Пожалуй, единственным, кого Д. М. Гриффитс готов признать стоящим на уровне требований, предъявляемых к просветителям европейского масштаба, является А. Н. Радищев. Сомневаясь в безусловной применимости к Радищеву определения «революционный демократ», исследователь критически оценивает имевшиеся в работах отдельных советских ученых натяжки в истолковании позиции автора «Путешествия из Петербурга в Москву», вроде, например, утверждения Г. П. Макогоненко о том, что школой идейного радикализма для Радищева послужило осмысление им итогов крестьянской войны под водительством Е. Пугачева.

Изучение наследия Радищева в советском литературоведении имеет достаточно богатые традиции. На многие из поставленных Д. М. Гриффитсом вопросов в разное время давались свои ответы, критиковались и отмечались им преувеличения. Связь радикализма взглядов Радищева с Просвещением в свете усвоения им наиболее далеко идущих выводов европейской просветительской идеологии несомненна. Но в оценке пафоса «Путешествия» следует, по-видимому, различать две стороны проблемы: вопрос об объективно революционизирующем значении книги Радищева и вопрос о субъективной революционности намерений ее автора при написании книги. Если первое не подлежит сомнению, то оснований видеть в Радищеве человека, проповедовавшего крестьянскую революцию, содержание книги все же не дает.

Заключительная часть статьи американского русиста содержит сжатый

⁵ Штрагге М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. М., 1965, с. 108.

историкографический обзор основных этапов изучения русского Просвещения в советском литературоведении. Справедливо отмечая недопустимость, например, буквального применения к XVIII веку учения о двух культурах и встречающиеся в связи с этим преувеличения, Гриффитс, однако, остается сам не всегда последовательным в своей критике. Говоря о неправомочности советских коллег приписывать буржуазную идеологию дворянам, он предлагает им по существу весьма близкие, если не аналогичные рецепты в решении проблемы, когда ссылается на наблюдения Й. Матля и Э. Виппера относительно специфики процессов распространения Просвещения в странах Восточной Европы. Проводниками передовых идей там выступали зачастую именно представители дворянства, духовенства, а также центральная власть.⁶ В исследованиях советских историков и литературоведов, касающихся России XVIII века, это положение в достаточной мере раскрывается. Сложнее, пожалуй, обстоит дело с вопросом об источниках, определявших формирование русского Просвещения. Гриффитс указывает работу Марка Раэфа, предложившего считать основным источником импульсов, вдохновлявших русское Просвещение XVIII века, Германию, немецкое *Aufklärung*, в противовес французскому *siècle des lumières*.⁷ По-видимому, искать подобные импульсы в пределах какой-то одной страны было бы не совсем справедливо. В русском Просвещении этого столетия отчетливо прослеживается влияние передовых идей века, заимствуемых из различных источников. Начав с восприятия идей С. Пуфендорфа, Ф. Фенелона, Ш. Монтескье, просветительская мысль России на протяжении века последовательно усваивала традиции английской правоучительной журналистики начала XVIII века и Л. Гольберга, Г.-В. Рабенера и Д. Дидро, Г.-Э. Лессинга и Г. Рейналя, Г. Б. Мабл и Л. С. Мерсье, и список этот можно было бы продолжить. Поэтому следует согласиться с заключением Гриффитса относительно необходимости более широкого взгляда на проблему русского Просвещения, который позволил бы не сводить ее решение к идентификации национальных разновидностей этого явления с некоей типовой моделью, а, наоборот, раскрыть своеобразие каждой из них во всей полноте проявлений.

⁶ *Matl J. Europa und die Slawen*. Wiesbaden, 1964, S. 211—212, а также: *Winter E. Die Aufklärung bei den Slawischen Völker und die deutsche Aufklärung*. — *Zeitschrift für Slavistik*. 1957, T. II, № 2, S. 153—162.

⁷ *Raeff M. Les Slaves, les Allemands et les Lumières*. — *Canadian Slavic Studies*. Vol. I, № 4, p. 521—551.

С иных позиций подходит к проблеме русского Просвещения XVIII века английский славист У. Г. Джонс в своей книге «Николай Новиков, русский просветитель», опубликованной в 1984 году (*W. Gareth Jones. Nikolay Novicov enlightener of Russia*. Cambridge University Press, 1984). Работа Джонса представляет собой детальный анализ творческой судьбы Новикова, прослеживаемой на всем протяжении жизни писателя. Многие идеи, заключенные в монографии Джонса, высказывались им в статьях, опубликованных в различных журналах в 1970-е—начале 1980-х годов. В рамках настоящего обзора нас будет интересовать лишь один аспект содержания книги, а именно: отношение Джонса к проблеме Просвещения в России и трактовка им в контексте его общей концепции просветительских взглядов Новикова.

Положительным моментом концепции Джонса является дифференцированный подход к оценке европейского Просвещения. Он проводит отчетливую грань между учением французских философ-просветителей и сравнительно умеренными доктринами немецкого и английского Просвещения. Соответственно, рассматривая идеологическую позицию Новикова как просветителя, ученый видит свою задачу в установлении таких параметров новиковского радикализма, которые были бы адекватны сущности этой позиции. Прежде всего, Джонс считает Новикова представителем заключительного этапа европейского Просвещения, когда значение этого идеологического движения уже пошло на спад. Просветительскую миссию Новикова Джонс связывает в основном с его занятиями по сбору и публикации материалов, касающихся русской древней истории, с его книгоиздательской и особенно филантропической деятельностью, то есть относит ее преимущественно ко второй половине 1770-х—1780-м годам. Просветительство Новикова оценивается Джонсом неотрывно от его масонских убеждений. Несколько страниц книги специально посвящено характеристике процесса распространения масонства в России в 1760—1770-е годы и, в частности, отношений Новикова с бароном Рейхелем. Влиянием этого человека исследователь объясняет индифферентизм Новикова в вопросах политики и его осторожность по отношению к радикальным выводам французских просветителей, утверждавших идеи «равенства» и «свободы». Это же влияние сказалось, по мысли Джонса, и в тяготении Новикова к теории морального обновления на путях самоусовершенствования (p. 133—134). Умеренность его просветительства Джонс демонстрирует, анализируя содержание масонского издания «Утренний свет» (1777—1780). Ученый приводит факты нападок журнала на свободомыслие французских фи-

лософов; и там же содержится критика обскурантизма духовенства, истоки которого Новиков видит в суевериях. Вот почему проповедь масонских идей и христианской морали не противоречила, по мнению Джонса, поддержке журналом некоторых идей Просвещения. Именно здесь исследователь видит точки соприкосновения позиции Новикова с пронизанным пафосом веротерпимости Просвещением в его английской и германской разновидностях, в противобеспокойнейшей к атеизму доктрине наиболее радикальных представителей французского Просвещения (р. 142—143).

Вопрос о просветительстве Новикова в период издания им сатирических журналов 1769—1774 годов по существу в книге Джонса снят. Исследователь сомневается в том, что конфликт, породивший полемику между журналами, мог носить идеологический характер и, более того, в том, что этот конфликт вообще существовал. Фактически Джонс считает полемику 1769 года между «Трутнем» и «Всякой всячиной» о прерогативах сатиры проявлением игры, которая не принималась самими участниками всерьез. Ученый полагает, что в критике социальных недостатков оба журнала имели общего врага, аристократические круги дворянства, опиравшиеся на придворную оппозицию (р. 35—36).

В качестве аргументов в пользу своей позиции Джонс ссылается на дружбу, существовавшую у Новикова с Г. В. Козицким, упоминает о борьбе, которая велась на страницах «Всякой всячины» с коррупцией, указывает на добровольное, чуть ли не с почетом закрытие «Трутня», никак якобы не связанное с притеснениями цензуры. По каждому пункту этой аргументации можно было бы привести развёрнутые доводы советских ученых, не только не снимающие тезиса о политической в своей основе подоплеке полемики (уходящей корнями в результаты работы законодательной комиссии 1767 года), но, наоборот, подтверждающие его. Кроме того, без окончательного решения вопроса о сотрудниках Новикова в «Трутне» говорить о мотивах полемики с полной определенностью нельзя. Но этой стороны проблемы английский ученый почти не касается.

Трудно признать справедливыми и утверждения Джонса об идейном согласии Новикова с Екатериной II в период издания журнала «Живописец» в 1772 году (р. 61—63). По существу и здесь о подлинной позиции издателя журнала в его отношении к императрице можно судить, только ясно представляя себе, кто скрывается за теми или иными материалами, опубликованными в различных номерах журнала. Без уяснения истинной роли Фонвизина в издании «Живописца» этот вопрос не может считаться решенным. И похвалы

анонимному автору комедии «О время» (этим автором была сама Екатерина) — конечно же, только тактический прием.

С идеями, заключенными в работах Джонса, переключается по своему пафосу статья американского слависта М. фон Герцена «Екатерина II — издатель „Всякой всячины“? Пересмотр» (*M. von Herzen. Catherine II — editor of Vsiakaia Vsiachina? A reappraisal*).

Основная задача этой работы сводится к попытке доказать полную необоснованность допущения, что императрица могла быть издателем журнала. Вопрос о непосредственном авторском участии Екатерины II в издании «Всякой всячины» бесповоротно решен благодаря разысканиям П. П. Пекарского, опубликовавшего в 1863 году документальные данные на этот счет.⁸ Другое дело, знали ли об этом современники, и если знали, то в какой мере представляли себе реальный вклад императрицы в издание журнала.

Опровергая принятую в советском литературоведении точку зрения, М. фон Герцен ссылается на принципиальную анонимность почти всех периодических изданий 1769 года. При этом он признает, что умолчание имен редакторов и издателей журналов означало не только общий тактический прием, но было санкционировано свыше. Подобная практика, замечает американский исследователь, воплощала «специальную инструкцию, спущенную с очень высокого уровня, возможно от самой императрицы».⁹ Но подобное допущение делает в конечном итоге беспочвенными претенциозные послышки самого ученого.

В свете открытия П. П. Пекарского совершенно понятно, почему такую заинтересованность в инкогнито издателей журналов проявляла Екатерина II. Косвенным свидетельством ее причастности к изданию «Всякой всячины» является отмечаемый тем же М. фон Герценом покровительственный тон этого журнала по отношению к другим изданиям. Это не ускользнуло и от внимания современников. Как еще один аргумент в пользу собственной гипотезы о нечастности к изданию журнала Екатерины II М. фон Герцен выдвигает тезис (кстати не новый) о том, что функции издателя «Всякой всячины» выполнял Г. В. Козицкий. По в данном случае вновь происходит незаметная подмена предмета спора. Конечно же императрица не могла брать на себя редактирование всех присылавшихся в журнал материалов и заниматься решением вопросов, касающихся технической стороны организации издания. Для этого у нее были привлечены другие люди, тот же

⁸ Пекарский П. Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II. СПб., 1863.

⁹ The Russian review, 1979, vol. 38, № 3, p. 285.

Г. В. Козицкий, судя по сведениям, сообщаемым о нем Н. И. Новиковым (они приводятся в статье). Но это не отменяет признания решающей роли императрицы в самом появлении «Всякой всячины». Речь должна идти о том, в какой мере Екатерина II, которая несомненно публиковала в журнале свои сочинения, определяла идейную направленность его общего содержания. А для ответа на этот вопрос надо обратиться к анализу содержания «Всякой всячины», проследить, какие проблемы выдвигались в журнале на передний план и как они соотносились с направлением внутренней политики самой Екатерины. В советском литературоведении (например, в работах П. Н. Беркова и А. В. Западова) об этом говорилось немало. Но именно такой анализ отсутствует в статье американского исследователя.

Нам осталось еще рассмотреть книгу французского литературоведа А. Монье «Оппозиционный публицист времени Екатерины II Николай Новиков» (*A. Monnier. Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov. Paris, 1981*), посвященную анализу творческой деятельности Н. И. Новикова. В этом исследовании дается широкая панорама социально-идеологических и культурных процессов, характеризовавших общественную жизнь России середины XVIII века. Естественно, что значительное место в книге отведено рассмотрению проблемы русского Просвещения.

Говоря о причинах активного восприятия новых идей в России начиная с 1750-х годов, А. Монье не без основания замечает, что идеи европейского Просвещения «заполнили тот обширный идеологический и духовный вакуум, который образовали в русском сознании реформы Петра с того момента, как русские отказались от своей традиционной веры»¹⁰ (точнее было бы сказать: «от прежнего жизненного уклада домостроевской Руси»). Правда, истинное пробуждение философского духа на просветительской основе произошло, по его мнению, несколько позднее, после восшествия на престол Екатерины II. До этого времени, считает А. Монье, проникновение просветительских идей носило в основном случайный характер. Он называет только двух деятелей русской культуры, «слившихся» в I-й половине века усвоить новые идеи в контексте восприятия просветительского мировоззрения, а именно М. В. Ломоносова и В. Н. Татищева. Ограниченность этих попыток исследователь объясняет устарелостью философских источников, на которые они в своих взглядах опирались.

Решающим импульсом для активного

распространения просветительских идей явилась, по мнению А. Монье, деятельность Екатерины II и, в частности, выход в свет ее знаменитого «Наказа» (1767). Одушевляющее воздействие этого сочинения на русское общество подкреплялось целым комплексом мероприятий со стороны императрицы. Они носили во многом демагогический характер, но тем не менее способствовали популяризации новой идеологии.

Усиление интереса к философии европейского Просвещения в России 1760-х годов французский ученый связывает главным образом с деятельностью группы интеллигентов, как дворян, так и разночинцев. Во время обучения в Европе они восприняли передовые просветительские идеи и пытались применить их к русским условиям. К таким деятелям А. Монье относит прежде всего Я. П. Козельского, Д. С. Аничкова, С. Е. Десницкого, И. А. Третьякова, а также А. Я. Поленова, Г. С. Коробьина и князя Д. А. Голицына, поклонника Гельвеция и физиократов, бывшего многие годы русским посланником во Франции и в Голландии.

Подчеркивая известную зависимость их философско-этических взглядов от европейских источников, исследователь в то же время тонко подметил специфическую особенность сочинений русских просветительских настроенных писателей. Воспринятые с Запада философские идеи на русской почве зачастую наполнялись, в сравнении со своими иностранными моделями, удивительной копиретностью следовавших из них социальных и политических выводов. Это, например, сказалось на трактовке русскими мыслителями этических проблем: так стимулы нравственного поведения человека, хотя и освобожденного от подчинения религиозным догмам, продолжали сохранять печать отчужденности от интересов конкретной личности. Последнее выразилось в концепции общей пользы (в рамках идеи государственного служения) как определяющего начала поведения «истинно добродетельного» человека. Подобную этическую теорию развивал Я. П. Козельский в своей книге «Философские предложения» (1768).

Признание важной роли нравственного аспекта сказалось и на рассмотрении проблемы политической власти. И здесь русские мыслители, согласно А. Монье, исходили из конкретной ситуации, подсказанной историческими реальностями национальной действительности XVIII века. Под влиянием классификации форм правления, изложенной в «Духе законов» Ш. Монтескье, демократически настроенные просветители в лице того же Я. П. Козельского и С. Е. Десницкого недвусмысленно высказывались против «тирании» и олигархических претензий аристократии, склоняясь в конечном итоге к призна-

¹⁰ Monnier A. Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov. Paris, 1981, p. 52. В дальнейшем ссылки на эту книгу следуют в тексте статьи.

нию принципа конституционной монархии при наличии независимого совещательного органа как гаранта защиты интересов граждан всех сословий (р. 62—63).

Но узловыми в формировании идеологии русского просветительства на этом этапе стали вопрос о крепостном рабстве и вытекавший из него — о прерогативах власти дворян. А. Монье верно выделяет три качественно различные тенденции, обозначившиеся в подходе к решению данной проблемы: умеренную линию, представленную фигурами С. Е. Десницкого и Г. С. Коробина, требовавших гуманизации крепостнической системы и строжайшего пресечения злоупотреблений помещичьей властью; относительно радикальную программу, доказывавшую необходимость в конечном счете освобождения крепостных крестьян (А. Я. Поленов и князь Д. А. Голицын), и, наконец, отражавшую интересы аристократических слоев дворянства линию на отстаивание безусловного сохранения системы крепостного рабства (князь М. М. Щербатов и А. П. Сумароков).

Впрочем, анализ просветительской мысли 1760-х годов не составляет главной задачи исследования. Он имеет своей целью ввести читателя в атмосферу состояния умственной жизни России на рубеже 1770-х годов, когда в результате инициативы Екатерины II начинают выходить периодические издания, вызвавшие вскоре появление знаменитого «Трутня», а вслед за ним и других новиковских журналов.

В отличие от американских коллег А. Монье, признавая прямое участие Екатерины II в издании «Всякой всячины», считает ее непосредственно ответственной за идеологическую позицию еженедельника: «Создавая этот журнал, государыня рассчитывала получить средство прибрать к рукам общественное мнение, разочарованное русскому комитетом депутатов. Журнал должен был стать идеологическим инструментом... Дух критики, который широко распространялся в русском обществе в период, когда Екатерине нужно было утвердиться и поощрить ее реформаторские амбиции, теперь угрожал ослабить ее авторитет. Отсюда переориентация ее на пример английской журналистики и общее морально-увещательное направление журнала» (р. 75).

Хотя проблема просветительских убеждений Екатерины II в книге А. Монье специально не анализируется, уже из приведенной характеристики журнального дебюта императрицы объективно вырисовывается ее тактика лавирования между разными полюсами европейского просветительского движения. А. Монье справедливо фиксирует отход Екатерины II от увлечения французскими философами в пользу умеренной доктрины морализирующего просвети-

тельства английских журналов Р. Стиля и Д. Аддисона.

Тем существеннее рассмотреть характеристику, данную А. Монье журналам Новикова и позиции их издателя, с точки зрения ее соотносимости с идеологией Просвещения.

О просветительских убеждениях Новикова А. Монье говорит очень скупо, преимущественно в том месте, где анализирует его критику чиновничьего лихостества. Указав на то, что Новиков являлся «первым представителем русской интеллигенции, который почувствовал, что существует фундаментальное противоречие между человеком культуры и бюрократией» (р. 170), исследователь отмечает закономерный разрыв между долгом, налагаемым на человека занимаемым им постом, и между реальной практикой, выливавшейся в бесконтрольный произвол чиновников. Журналы Новикова неустанно обличали подобное положение. Их издатель, посвятивший свою жизнь просвещению, мог уповать только на силу слова. «Но возможности воздействия на порок таким способом. — замечает А. Монье, — были до смешного малы... Разум просветителя оказывался безоружным перед властью, чуждой всяким духовным ценностям. Ясное понимание этого антагонизма объясняет ожесточенное упорство Новикова в обличении поведения чиновников» (р. 171).

Таким образом, причастность Новикова к отстаиванию просветительских в своей основе идеалов оценивается А. Монье лишь в аспекте его критического отношения к бюрократии и конкретно к фактам административного злоупотребления властью, которые порождались системой крепостнического угнетения. В то же время, по мнению исследователя, Новиков не был последователем и союзником западноевропейских просветителей. Мало того, несколько разделов V главы посвящены подробному анализу неприязненного отношения Новикова к французским философам-просветителям, в основном к «энциклопедистам». Прежде всего, А. Монье говорит о дискредитации на страницах журналов французских мыслителей, в частности д'Аламбера, в глазах русского общественного мнения. Он фиксирует фундаментальные расхождения между русским сатириком и французскими философами в вопросах морали, когда гедонизм Просвещения отождествлялся на страницах журнала с якобы проповедью «себялюбия» и объявлялся источником моральной распушенности. В качестве аргументов приводятся отрывки из опубликованных в журналах Новикова «писем» щеголих, в которых те неизменно апеллируют к понятию «просвещенного века»; постоянные совпадения в мыслях щеголих с отдельными положениями книги Д. Дидро «Нескромные сокровища».

Существенно при этом, что негативное отношение Новикова к философам, связанное с критикой галломании, вдохновлялось, по мнению А. Монье, горячей патристической верой, выражавшейся в прославлении исконных добродетелей предков и утверждении ценностей древнего национального уклада русской жизни.¹¹

Однако в аргументации французского исследователя не все, касающееся отношения Новикова к просветителям, предстает до конца убедительным. Так, говоря о дискредитации французских мыслителей новейшего времени в глазах русского общественного мнения, А. Монье на стр. 238 упоминает статью, опубликованную в XXIX листе «Трутня», где обличалась алчность современных философов по сравнению с бескорыстием древних. Эта статья, а точнее письмо к издателю, принадлежала А. О. Аблесимову, впоследствии автору знаменитой комической оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779), выходящу из социальных низов, начинавшему свой писательский путь под покровительством А. П. Сумарокова. Известно, что в 1768 году Аблесимов сочинил остро-сатирическую комедию «Подьяческая шрушка», посланную им для публикации в журнал «Всякая всячина». Ни опубликовать ее, ни добиться постановки комедии на сцене ему не удалось. Эти обстоятельства помогают понять подлинный смысл выпадов Аблесимова в адрес «нынешних философов, гнушающихся бедностью». Поэтому не стоит считать их направленными против французских просветителей-энциклопедистов. Автор пишет: «Наши (!) философы богаче первым почитают достоинством; кто богат, тому кланяются...» и т. д. (Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951, с. 151). В контексте общего характера письма, содержание которого прямо связано с полемикой между журналами, приведенная ссылка на «наших философов» конечно же не имеет никакого отношения к французским просветителям.

Второй факт касается публикации на страницах «Живописца» (1772, ч. II, л. 1) отрывка из сочинения Фридриха II «Утренние размышления короля» («Les matinées royales») под названием «О словесных науках», где прусский монарх цинично повествует о том, как он использовал авторитет французских писателей для собственного прославления. В самом факте приведения на страницах журнала характеристик, даваемых Фридрихом II поведению при его дворе д'Аламбера и П.-Л. Мопертюа, А. Монье

усматривает «замеренное разрушение Новиковым репутации двух французских авторов, помещенных здесь на скамью подсудимых» (р. 239). Во-первых, в тексте, опубликованном Новиковым, речь идет не о двух, а о трех французских авторах. Помимо д'Аламбера и Мопертюа король упоминает еще одного выдающегося представителя французского Просвещения — Вольтера. После описания якобы лживой угодливости д'Аламбера он замечает: «Вольтер не имел этого свойства, и для того я его выгнал» (Сатирические журналы Н. И. Новикова, с. 381). Сообщение этой детали конечно же придает дополнительный оттенок оценкам других французских философов, в частности д'Аламбера, отнюдь не в пользу прусского короля. Во-вторых, описание поведения философов при прусском дворе дано в контексте полных цинизма признаний самого Фридриха, где он не стесняется в выражениях, говоря о писателях как о «презренном отродье, несомном в своем тщеславии и гордости». Правда, считает их «людьми, нужными для государя, который хочет царствовать самодержавно и притом любит свою славу» (там же, с. 380). Сам А. Монье в следующей главе своей книги раскрывает подлинный смысл помещения в «Живописце» этого фрагмента, совпадающего по времени с приглашением Екатериной II в Россию Д. Дидро: «Цинизм Фридриха служил разоблачению лицемерия Екатерины, чьи отношения покровительства философов также были подчинены политическим расчетам» (р. 327).¹² Таким образом, публикация данного отрывка имела своей целью не дискредитацию философов, а обличение лицемерия монархов, и, по-видимому, не в последнюю очередь самой Екатерины II.

Труднее уяснить, в чем именно состоят расхождения новиковских журналов с позицией французских просветителей в вопросах морали и религии. Известный ригоризм этики Новикова, отрицавшего индивидуалистическое истолкование общественной природы человека, действительно имел мало общего с гедонистическими установками материалистической концепции человека у просветителей, в частности у Гольбаха (это показано А. Монье на с. 241—242). Что касается просветительской критики религии, то здесь следует говорить о двух аспектах отношения Новикова и его сотрудников к данному вопросу. Отчасти они намечены самим А. Монье: это, во-первых, полемика на страницах нови-

¹¹ Основные аспекты этой идеи были развиты А. Монье в его статье «La naissance d'une ideologie nationaliste en Russie au siècle des lumières» (Revue des études slaves. Paris, 1979, t. LII, fasc. 3, p. 265—272).

¹² Анализ отношения Д. Дидро к «Наказу» Екатерины II после его поездки в Петербург в 1773—1774 годах дан А. Монье в его статье: Diderot et la leçon de Saint-Petersbourg. — Revue des études slaves. Paris, 1984, t. LVI, fasc. 4, p. 573—590.

ковских журналов с отдельными идеями Вольтера; и, во-вторых, уяснение пределов допустимости сосуществования религии с наукой. Слов нет, когда на страницах «Живописца» (ч. II, л. 21) упоминаются некие мудрецы, проповедники свободомыслия, отрицающие существование творца и при этом горящие на французском языке, то намеки на просветителей-материалистов слишком очевидны; и здесь наблюдения А. Монье совершенно справедливы. Но когда он пытается рассматривать опубликованное в «Трутне» (1769, л. XXXIV) правоучительное эссе под названием «Судьба» в качестве свидетельства полемики с Вольтером, в частности с философской повестью «Задиг, или Судьба», то остроумная догадка французского ученого вызывает сомнение, и вот почему. Дело даже не в том, что это эссе заимствовано. Смысл публикации эссе, утверждающего идею божественного провидения и своеобразную неизбежность высшего суда, становится понятным, как только мы прочтем помещенный в том же номер журнала остротатирский правоописательный очерк в форме письма к издателю, в котором обличается продажность вершителей земного правосудия. Отвлеченному морализированию первой публикации противостоят сочная зарисовка нравов — угощение в трактире неким купцом Правосудия, т. е. компании судейских чиновников, от которых зависело решение его дела. В контексте развернутой перед читателем непристойной картины пьяного разгула чиновничьего Правосудия финал предшествовавшего текста, утверждающий, якобы в пику Вольтеру, идею провиденциализма («Теперь познавай божеское правосудие»), на деле подчиняется сатирико-обличительным целям. Но в таком случае публикация «Судьбы» имеет, по-видимому, смысл, обратный тому, которым наделяет ее А. Монье. Гораздо более убедительно истолкование антиклерикального и одновременно антипросветительского пафоса знаменитого стихотворения Д. И. Фонвизина «Послание к слугам моим» (р. 249—251), помещенного Новиковым на страницах журнала «Пустомеля».

Как было видно на примере работ американских русистов, для правильной оценки просветительского статуса позиции Новикова важно уяснить подлинную подоплеку полемики между журналами (1769 год), а также расстановку противоборствующих сил. И проблема атрибуции публиковавшихся в журналах Новикова материалов, и проблема идеологического смысла полемики достаточно сложны и имеют самостоятельный интерес. Углубляться в подробный анализ предлагаемых А. Монье атрибуций и его оценки в пределах обзора не представляется возможным. Ограничусь поэтому самыми общими соображениями.

В чем суть позиции А. Монье? Фак-

тически решение вопроса о подлинном смысле журнальной полемики он также ставит в зависимости от того, признавал ли Новиков, что его оппонентом в споре могла быть императрица. Участие Екатерины в издании «Всякой всячины» Монье признает, но он категорически отрицает антиекатерининскую направленность нападок «Трутня» в течение I-го полугодия издания.

Объектом таких нападок исследователь считает Т. В. Козицкого, секретаря Екатерины, чье участие в издании журнала было известно современникам. По мнению Монье, именно на него, а не на императрицу Новиков возлагал ответственность за исходившие со страниц «Всякой всячины» попытки запретить в России критику злоупотреблений дворянства и лихоимства чиновников, в то время как политические акции самой Екатерины неоднократно получали в «Трутне» прямо и косвенно выраженное одобрение и поддержку. Факты такого рода, на которые указывает А. Монье, действительно как будто бы подтверждают это заявление. Но, во-первых, если французский исследователь признает политическую подоплеку инициативы самой Екатерины II с выпуском «Всякой всячины» (как, например, на стр. 75), то полемика с возглавляемым ею журналом не могла не затрагивать интересов императрицы, независимо от того, знал или не знал Новиков о личной причастности Екатерины к его изданию. Следует учитывать и специфику литературного сознания XVIII века, когда похвала монарху зачастую была призвана не столько отразить реальное положение дела, сколько служила своеобразным средством напомнить ему о его обязанностях, а в сатирических сочинениях порой наполнялась искусно замаскированной иронией.

Во-вторых, объявляя объектом полемики Г. В. Козицкого как выразителя интересов высшей придворной знати, А. Монье основывает свое утверждение на собственной гипотезе, согласно которой автором наиболее острых материалов за подписью Правдулюбов, полемически направленных против «Всякой всячины», был Ф. Эмпи (с. 109—115). Данная атрибуция, учитывая позицию Эмпи в отношении абсолютизма, служит для французского исследователя еще одним основанием для того, чтобы отбросить традиционную интерпретацию журнальной полемики, принятую в советском литературоведении. Но тогда встает вопрос, в какой степени это согласовывалось с позицией самого Новикова и других его сотрудников. О неадекватности взглядов Новикова и Эмпи пишет сам А. Монье на с. 109—110. Если даже признать, что основным оппонентом «Всякой всячины» в споре о прерогативах сатиры на страницах «Трутня» был Ф. Эмпи, то и тогда вопрос об антиекатерининской направле-

ности полемики не спихивается. Даже при отсутствии прямых ссылок на личность императрицы (что совершенно естественно) сама полемика означала выражение недоверия к Екатерине II. Корни этого недоверия восходят к тому периоду, когда «Трутень» еще даже не издавался.¹³

В период издания «Трутня» мы можем говорить о скоординированных действиях сплоченной группы единомышленников, для которых отстаивание истины и разоблачение общественных пороков было не игрой, а делом гражданского служения. Смысл этой оппозиционности «Трутня» очень тонко и убедительно раскрывает сам А. Монье на с. 313—332. В аспекте же интересующей

¹³ Подробнее я пишу об этом в своей книге «Русская сатира XVIII века» (Л., 1985, с. 220—229).

нас основной проблемы объективным итогом столкновения группы Новикова со своим венценосным оппонентом являлось разоблачение показного просветительства Екатерины II. Иначе и не могло быть. Позднейшая судьба А. Н. Радищева, да и самого Новикова, не оставляет сомнения в справедливости подобного заключения.

Проделанный, естественно, далеко не полный, обзор нескольких работ западных славистов, конечно же, не исчерпывает всех вопросов, связанных с уяснением специфики русского Просвещения XVIII века. Среди проблем, сохраняющих на сегодняшний день свою актуальность, немало таких, по которым у нас существуют расхождения с зарубежными коллегами. Обозначить их, на мой взгляд, необходимо для того, чтобы в ходе новых научных разысканий приблизиться к объективному решению.

А. М. Панченко

ПЕДАГОГИКА И НАУКА

(ОБ УЧЕБНИКЕ М. Л. ГАСПАРОВА ПО СТИХОВЕДЕНИЮ)*

Критицизм и гиперкритицизм по поводу наук гуманитарного цикла — обычное в наши дни явление. Впрочем, при очевидной справедливости сетований на недостатки отечественной филологии мы должны отдавать себе отчет в том, что некоторые ее разделы, основные и вспомогательные, пребывают в вожделенном здравии. Таково, в частности, стиховедение, выдающиеся достижения которого общепризнанны. Однако существует определенная диспропорция, определенное несоответствие между стиховедением как дисциплиной научной и стиховедением как дисциплиной учебной.

Коллизия возникла вовсе не потому, что у нас нет хороших учебников. Напротив, мы располагаем превосходными трудами, принадлежащими перу В. Е. Холшевникова. Глубокие знания по теории стиха дает его книга «Основы стиховедения. Русское стихосложение» (Л., 1972). Что до самостоятельного анализа поэтических текстов, здесь вполне достаточно его же антология «Мысль, вооруженная рифмами» (Л., 1983). Однако преподавательская практика показывает, что даже элементарные сведения о стихотворной

фонике, метрике и строфике студенты-филологи усваивают с трудом. В чем же причины?

Быть может, в том, что курсы теории стиха на абсолютном большинстве филологических факультетов не читаются; в том также, что «адекватные» этим курсам книги В. Е. Холшевникова рассчитаны в первую очередь на студентов, которые избирают стиховедение в качестве основной специализации. Но каким образом помочь тем, для которых оно остается факультативным занятием?

Выход предложен одним из самых осведомленных и дельных наших филологов М. Л. Гаспаровым, который по просьбе Таллинского педагогического института им. Э. Вильде написал книгу «Учебный материал по литературоведению. Русский стих» (Таллин, 1987). При скромности заглавия и объема (десять печатных листов) эта книга заслуживает самого пристального внимания как с научной, так и с педагогической точек зрения — и, самое главное, заслуживает прочтения. Прежде нежели приступить к ее обозрению (она состоит из 147 параграфов, объединенных в 5 разделов), укажу на композиционный прием, заведомо обеспечивающий ей успех: в каждом параграфе сначала помещается художественный текст, а потом — интерпретация.

Предвижу возражение, что прием этот не нов и даже банален. Согласен,

* Гаспаров М. Л. Учебный материал по литературоведению. Русский стих. Таллин, 1987. 168 с.

хотя привычное и банальное ни науке, ни искусству не противопоказано; им противопоказана лишь демагогическая фраза. Впрочем, дело в корпусе художественных текстов и дело в содержании и в качестве интерпретации.

Что до корпуса, он лишь в малой, весьма малой степени состоит из текстов знакомых, которые, если позволено воспользоваться музыкальным арго, у каждого «на слуху». Точнее говоря, эти привычные тексты (в качестве «школьного воспоминания») даны в занимающем две с половиною странички вступительном разделе «Основные понятия»: «Играй, Адель, Не знай печали...» (2-ст. ямб); «Подруга думы праздной, Черныльница моя...» (3-ст. ямб); «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог...» (4-ст. ямб); «Еще одно, последнее сказанье, И летопись окончена моя...» (5-ст. ямб); «В одном из городов Италии счастливой когда-то властвовал предобрый старый Дук...» (6-ст. ямб). Как видим, все размеры ямбического метра исчерпаны Пушкиным. Дальше в «Основных понятиях» — снова Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок..., но только в «Основных понятиях». Вводный раздел краток, намеренно дидактичен, а оттого несколько холоден (опять-таки намеренно). Книга же в целом со стороны художественной как бы противостоит вводному разделу, «сталкивается» с ним, одушевляя и оживляя сухой счет сильных и слабых мест пяти метров русской силлабо-тоники.

Конечно, и на пространстве 147 параграфов книги мы встретим классиков — того же Блока, И. Анненского, Брюсова, Маяковского (он представлен школьно-хрестоматийным «Прощаньем»). Но громкие имена сравнительно редки; зато много, очень много тех, кто по рубрике «классики» никогда не проходил и, скорее всего, проходить не будет.

Это, например, А. М. Добролюбов, по чьей «Песне на работе» М. Л. Гаспаров предлагает читателю ознакомиться с топическим стихосложением:

Благослови нас, Царь наш Батюшка,
На труды Твои, на трудную землю
Твою,
Как сына Твоего возлюбленного,
Как отрока Твоего Иисуса...

(§ 105, с. 107)

Не правда ли, этот не входящий в привычную литературную культуру текст, притом текст высокого художественного качества, возбуждает эстетическую, историко-литературную, а одновременно и стиховедческую любознательность. Она тотчас удовлетворяется в интерпретационном пассаже, притом не только за счет чисто стихового анализа. М. Л. Гаспаров дает историко-поэтическую ретроспекцию: «Такой стих был разработан в переводах и подража-

ниях библейским псалмам, часто употреблялся в богослужебных текстах и носит особое название „молитвословный стих“» (с. 108). Быть может, глагол «носит» здесь не вполне корректен: slipком безапелляционно он звучит, и читатель может подумать, что имеет дело с истиной в последней инстанции. Между тем термин «молитвословный стих», предложенный в недавние времена К. Ф. Тарановским, все же сохраняет оттенок условности, хотя и завоевал права гражданства и ныне не выглядит экзотическим. М. Л. Гаспаров дает и краткую, заключенную в одной фразе характеристику А. М. Добролюбова, «одного из первых русских декадентов, ушедшего „в народ“ и ставшего бродячим сектантом, странником-ремесленником» (с. 108).

Читателю надлежит знать, что изучение текстов и интерпретаций ему следует заключать (или предварять?) обращением к «справкам об авторах», которыми завершается книга. Обычно такие справки полезны, информативны — и не более того. М. Л. Гаспаров удалось реформировать этот жесткий по конструкции жанр. Вот что он пишет о А. М. Добролюбова (привожу справку полностью): «Самый вызывающий из декадентов-жизнестроителей: держался как жрец, курил опиум, жил в черной комнате и т. д.; потом ушел „в народ“, основал секту „добролюбовцев“. под конец жизни почти разучился грамотно писать, хотя еще в 1930-х гг. всеми забытый, делал попытки печататься» (с. 158).

Среди справок немало подлинных шедевров. В § 5—6 приведены сочинения М. М. Шкапской (1891—1932), тоже не лишённые интереса, как явствует из следующего образца: «Петербурженке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливал невской водой. Знаю — будут любить мои дети невский седобородый вал, оттого что был западный ветер, когда ты меня целовал» (с. 15). Из толкования узнаем, что это пример на «мнимую прозу», когда по воле автора (скорее по прихоти) легко опознаваемые стихи 3-иктного дольника с рифмовкой АБАБ напечатаны сплошной строкой. Но кто теперь помнит М. М. Шкапскую? Справка (снова цитирую полностью) напоминает о ней: «Выпустила 6 маленьких стихотворных книжек в 1921—25 гг.; в них говорилось о судьбе и назначении женщины, которая, рождая детей, передает им неумирающую наследственность единого человечества. Одобрявшие критики называли ее стихи „женскими“, суровые „гинекологическими“. Потом работала журналисткой» (с. 164—165).

Пуристу ирония М. Л. Гаспарова может показаться чрезмерной. Я с этим не согласен. Полагаю, что ученый, а не только критик имеет право на заинтересованное, даже личное отношение к тем персонажам из истории литературы,

которыми он занимается. Мне кажется, что в наше время — время апологиии всего забытого — «справки» М. Л. Гаспарова поучительны. Вполне разделяю, например, «пепанегрический» тон по отношению к С. М. Городецкому (в том же тоне некогда говорил о нем Б. В. Томашевский в первой половине 1950-х годов на лекциях в Ленинградском университете): «Первыми же своими книгами „Перун“ и „Ярь“ (1907) потряс самых выскатальных ценителей, в третьей казался самоповторяющимся, а в следующих — исписавшимся; зачинатель акмеизма (вместе с Гумилевым), скоро оказался за бортом его; умер автором агитационной лирики, оперных либретто и переводов с белорусского» (с. 157—158). Каждому воздается по делам его.

К сожалению, в разделе справок есть ошибки. На них поспешил указать некоторым читателям сам М. Л. Гаспаров; я, в свою очередь, осведомляю о них печатно. Это касается года рождения одного из ведущих поэтов «Сатирикона» П. П. Потемкина (с. 161). Указан 1896 год, нужно — 1886. Это касается и характеристики В. А. Пяста, о котором сказано, что он «писал много» (там же), в действительности же он «писал мало».

К А. К. Герцык (в § 91—92 приведены и откомментированы два ее логгеда) отнесен известный цветаевский анекдот об учительнице, «у которой все дети в классе на вопрос „какой царь вам больше правится?“ — отвечали: „Гришка Отрепьев!“» (с. 157). На деле это было с учительницей по профессии Е. П. Васильевой, которая публиковала стихи под придуманным ею вместе с М. А. Волошиным псевдонимом Черубина де Габриак (см. § 58, с. 62—63, а также с. 164).

Коль скоро речь зашла о недочетах и просмотрах, берусь утверждать, что в книге М. Л. Гаспарова даже самый придирчивый критик обнаружит лишь малую их толщину. Со своей стороны отмечу, что слово «детва», которое автор толкует как неологизм Белого, употребившего его вместо «детворы» (с. 12—13), известно русскому языку: «Детва или дётка... япки, гусенички и личинки пчел, черь, в особых ячейках сотов» (*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 1, с. 438). Проблематической кажется мне мысль о том, что начальная строка стихотворения Вс. А. Рождественского «На палубе разбойничьего брига...» «представляет собою цитату из Лермонтова, причем из прозы» (§ 15, с. 24—25). В «Княжне Мери» читаем: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига...» (*Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: В 4-х т. Л., 1981, т. 4, с. 305). Даже если сам поэт утверждал, что он процитировал Лермонтова (о чем я не осведомлен), я бы не торо-

пился согласиться. Быть «на палубе разбойничьего брига» для 1919 года, которым датировано стихотворение Вс. А. Рождественского, дело нехитрое и привычное, особенно для акмеистского круга. Кроме начальной строки, текст по сюжету не имеет ничего общего с финалом «Княжны Мери».

Неординарности корпуса художественных текстов соответствует неординарность их толкований. Регулярно и даже педантично сообщая необходимые стиховедческие сведения, М. Л. Гаспаров, вообще говоря, вовсе не придерживается какой-либо наперед заданной интерпретационной схемы. В толкованиях он свободен (именно свободен, а не произволен). Если есть необходимость, они включают лингвистический, биографический, историко-культурный, жанровый и другой материал.

Важно также, что автор нигде не обнаруживает поползновений на monopolное обладание истиной. Напротив, он часто и демонстративно отказывается от таких претензий. М. Л. Гаспаров не только задает вопросы читателю («Всюду ли у Волошина выдержана одинаковость строф?» — § 115, с. 119) — в конце кощов, вопросы в учебном пособии не более чем естественны. М. Л. Гаспаров часто приглашает читателя размышлять вместе с ним. Например, после несколько импрессионистического пассажа о стихотворении А. Д. Радловой «Крепче гор между людьми стена...» он завершает толкование следующим образом: «Так ли это на ваш слух? Какие еще субъективные интерпретации возможны?» (§ 18, с. 29).

В итоге книга становится не только учебным и учебным, но также занимательным чтением (это отметил в своем предисловии ответственный редактор издания А. Ф. Белоусов). Не припомню, чтобы какое-либо исследование по стиховедению, к тому же учебное пособие, отличалось особой занимательностью. Для работ по этой отрасли филологии, напротив, характерна именно сухость, «математичность», которые и делают их трудными и малоинтересными для филолога средней руки. Очень хорошо, что и в этом плане книга М. Л. Гаспарова представляет собою исключение из общего правила.

Теперь о том, как построена книга. Это, если можно так выразиться, «лестничное» строение, предполагающее постепенное восхождение от привычного к экзотике, от простого к сложному. М. Л. Гаспаров начинает с прозы (очень верный прием, поскольку всякий человек движется к поэзии от прозы, хотя, конечно, коммуникативную речь нельзя отождествлять с речью художественной прозы). От «стихотворения в прозе», которое с точки зрения стиховедческой «проза и только проза» (с. 9), — к верлибру, или «свободному стиху», затем к ритмической и

рифмованной прозе — такова композиция первого, в известной мере приготовительного раздела. За ним следует знакомство с белым, потом полурифмованным стихом, с омонимической, тавтологической, «экзотической», богатой рифмой и т. д. М. Л. Гаспаров верен себе: он учитывает (в целях пропедевтических и педагогических) эстетические навыки современного читателя, который по большей части видит в рифме основополагающий признак стиха. Затем включаются новые и более сложные темы: ритмика, метрика, наконец строфика. В итоге создается полная и стройная стиховедческая картина, не только

занимательная, но и научно-содержательная и в высшей степени точная.

Книга М. Л. Гаспарова — событие в нашем литературоведении. Ее высокие достоинства очевидны для всякого читателя и не нуждаются в апологии рецензента. Но сама книга нуждается в помощи: она издана на ротационте тиражом в 500 экземпляров. К ней даже нельзя применить расхожее выражение «библиографическая редкость». Она попросту недоступна.

Нимало не сомневаюсь, что переиздание этого учебного пособия большим тиражом необходимо и нашей науке, и нашей педагогике.

Э. Я. Гребнева

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В БОЛГАРИИ *

В издательстве «Народна култура», в серии «Библиотека европейской средневековой литературы» («Ариель»), вышел перевод на болгарский язык «Слова о полку Игореве». Переводу Кирилла Кадийского предпослана вступительная статья проф. Георгия Германова «Бессмертная поэма древнерусской литературы». Комментарий к тексту подготовил проф. Н. М. Дылевский, известный своими многочисленными статьями, посвященными толкованию «Слова».

Недавно вышедшая работа К. Кадийского — это второе издание его перевода (первое издание относится к 1971 году). Не располагая первым изданием, мы не можем сравнивать, поэтому ниже речь пойдет только о втором.

В качестве источника на обороте титульного листа указано: «Слово о полку Игореве», издательство «Московский рабочий», Москва, 1970 год. Эта книга содержит перевод, комментарии и статьи А. Югова, а открывается воспроизведением первого издания «Слова». Однако по непонятным причинам имя переводчика нигде не указано, даже в списке использованной литературы, где назван перевод А. С. Орлова, три издания перевода Д. С. Лихачева, перевод В. И. Стеллецкого, имя А. Югова не упоминается. Между тем К. Кадийский опирается преимущественно на толкования А. Югова, что будет показано ниже. Переводу А. К. Югова предпослано восторженное вступление «От редакции», опирающееся на такие авторитеты, как академик А. С. Орлов, академик Б. Д.

Греков, поэт Н. Н. Асеев. Так что можно понять доверие, с которым отнесся переводчик К. Кадийский к работе А. К. Югова.

Как отмечает проф. Г. Германов, многие места памятника были трудны для переводчика, и поэтому он использовал толкования из русского перевода. Так К. Кадийский допустил в своем переводе повторение необоснованных толкований своего образца.

Например, к строкам «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галицы стады бѣжать къ Дону великому» А. К. Югов делает примечание: «Не слишком ли много „галоков“ в гениальной воинской поэме великого поэта — четырехжды?» (с. 128). И предполагает: а что если «галицки стады бегут»? И вот на основании этого «если» получается перевод: «галицкое войско несется». На таком же «основании» «говоръ галичь убуди» переводится «говор воинов пробудился». Все эти предположения отразились в переводе К. Кадийского. Но Кадийский пошел еще дальше: он вообще изъясил «галоков» из «Слова». В двух местах, где «галицы» в «птичьей компании», он заменил их «воронами» и «сойками».

Можно было бы привести и другие примеры влияния русского текста на перевод, особенно в местах «темных», не понятых до конца, но нет смысла их все перечислять. Нужно только высказать такой упрек в адрес переводчика: почему он не сопоставил свой образец с другими переводами? Ведь эти «галицкие дружины» только у Югова, больше ни в одном переводе их нет. Если в 1970 году толкования Югова могли показаться «новым словом», то ведь с тех пор прошло полтора десятка лет, и не были приняты эти толкования,

* Слово за похода на Игор, Игор — син Святослав, ввук Олегов / Превел от староруски Кирил Кадийски. София: Народна култура, 1986. 83 с.

ибо под ними не было основательных доказательств.

Нам бы хотелось здесь отметить, что *своего* внес в понимание памятника К. Кадийский, ибо часто — это мы видим в чешских, польских и других славянских переводах — переводчики воспринимают текст «Слова» с точки зрения своего языка, в котором нередко сохраняются древние значения общеславянских слов.

Остановимся на переводе фразы «Донь ти, княже, кличеть и зоветь князи на побѣду. Олговичи храбрыи князи *доспѣли на брань*». В русских переводах смысл последних слов довольно темен. Переводят «подоспели на брань», «на брань поспешили», «подоспели на битву», «на брань доспели». У А. К. Югова: «Ольговичи... рьяны на бой» (с. 103).

Многозначное слово «доспети» в современном русском языке развилось значения: 1) явиться вовремя, поспешить; 2) стать вполне спелым, дозреть, стать готовым к употреблению (о кушаньях). В славянских языках это слово сохранило более широкую сферу употребления (ср. чешск. *dospěly* — «взрослый»). Перевод К. Кадийского свидетельствует, что, с точки зрения болгарского языка, это слово понимается также широко:

Дон те вика, княже, и зове князете
към победа. Олговичите, храбрите
князе, *за битката са готови*.

Ольговичи готовы к борьбе, созрели для борьбы, для новых битв на Дону. Обращение «княже» говорит не о «князьях», как у Югова, а обращено прямо к князю Игорю. Это призыв вернуться на Дон, вернуться к борьбе, ибо «храбрые князи» Ольговичи доказали, что они созрели в тяжких испытаниях, поэтому готовы к новым битвам. Так понимает это трудное место К. Кадийский, и нам кажется, что это правильное понимание, основанное на древнем значении слова «доспети».

Ранние южнославянские переводчики «Слова» — Йован Хаджич (1842), Райко Жинзифов (1863) — улавливали близость «Слова» к устной поэзии, в частности к южнославянскому эпосу, поэтому в своих переводах они пользовались традиционными приемами южнославянского фольклора: десятисложным стихом, повторами, замедляющими действие, постоянными эпитетами и т. п. Частично следует этой традиции и К. Кадийский, используя традиционные для болгарского фольклора сравнения и постоянные эпитеты.

Следует еще остановиться на поэтической форме перевода. Перевод, видимо, поэтический, ибо он поделен на стихотворные строки; кроме того, графически выделяются рефрены и отдельные строфы. Переведен текст почти

дословно, если не считать те места, где К. Кадийский следует за переводом Югова. Однако деление на строки вызывает недоумение и возражение. Поэтический характер «Слова» переводчики понимали с самого начала, с открытия «Слова» (героическая песнь) и с первых переводов. Даже графически выделяли отдельные стихотворные отрывки в своих переводах Й. Мюллер (Прага, 1811) и Й. Юнгман (Прага, 1810). А в настоящее время можно сказать, что традиция передачи текста «Слова» в стихотворной форме стала преобладающей. Большую роль при этом сыграл ритмический перевод академика Д. С. Лихачева (1950).

В ритмическом переводе за единицу стиха принимается синтаксически организованный элемент текста — речевой такт, иногда синтагма, фраза. Это значит, что в данной синтаксической единице все слова тесно связаны грамматически, поэтому делить их, помещать в разные строки нельзя. В стихотворном тексте конец строки всегда знаменует какую-то границу, интонационную или синтаксическую. Перевод К. Кадийского удивляет тем, что словно нарочно разрушает естественные связи между словами. В результате совершенно невозможно уловить ритм произведения. Можно взять для примера отрывок из любого места перевода. Вот хотя бы начало:

Не ще ли е отраднo, братя, със
старинни думи да захванем скръбните
сказания за похода на Игор, Игор
Святославич?

Уже в этих четырех строках разорваны синтагмы: «със старинни думи», «скръбните сказания» и даже имя «Игор Святославич». И так на протяжении всего текста за немногими исключениями:

Кони цвилят отвѣд Сула —
звъни славата в Киев,
трѣби трѣбят в Новгород —
стоят войни в Путивѣл.

Композиционно перевод делится на крупные части и строфы. Крупные части не нумеруются, но их шесть, и по содержанию их можно бы назвать так: 1) вступление; 2) поход, битва, поражение; 3) сон Святослава, золотое слово, Всеслав; 4) плач Ярославны; 5) побег из плена; 6) возвращение на Русь. Деление этого произведения на части довольно условно. Разные авторы выделяли их по-разному: девять частей, двенадцать или только три. Деление на строфы естественно и необходимо читателю, ибо помогает группировать события, отделяя одно от другого.

Говоря об издании в целом, необходимо остановиться хотя бы кратко на вступительной статье и комментариях к переводу.

«Арпель» издаёт произведения средневековых литератур для широкого круга читателей, поэтому необходимо было вступление, вводящее читателя в круг проблем, связанных со «Словом о полку Игореве». Проф. Г. Германов в доступной форме осветил все вопросы, которые обычно затрагиваются в таких статьях: историческая обстановка Древней Руси, события, положенные в основу памятника, время создания, вопрос об авторе.

Важную часть в изучении «Слова о полку Игореве» составляет история открытия памятника, и в предисловии говорится об этом довольно подробно. Удивляет только, что проф. Г. Германов повторяет устаревшее и опровергнутое утверждение, что «сборник со светскими произведениями был получен около 1790 года (А. И. Мусиным-Пушкиным, — Э. Г.) от архимандрита Иоанна Быковского, бывшего игумена незадолго до этого закрытого Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле» (с. 7). Еще в 1976 году (а в 1984 году — вторым изданием) вышла книга Г. Н. Моисеевой «Спасо-Ярославский хронограф и „Слово о полку Игореве“», где документально доказывалось, что не Иоанн Быковский, а Арсений Верещагин, ставший в 1787 году хозяином архиерейского дома, передал А. И. Мусину-Пушкину несколько монастырских книг, содержавших древние рукописи, в том числе и «Слово о полку Игореве». Как пишет в своей рецензии на второе издание книги Г. Н. Моисеевой Н. М. Дылевский, к этой книге «неминуемо будут обращаться все заинтересованные историей рукописи, легшей в основу публикации „Слова о полку Игореве“ 1800 года» (Болгарская русистика, 1987, № 3, с. 102).

Обращаясь к самому памятнику, проф. Г. Германов рассматривает его как факт общей культуры Древней Руси, включая архитектуру, словесную культуру и устно-поэтическую традицию.

Коснувшись ряда особенностей памятника — его эмоциональности и человечности, его глубокого историзма (который не следует понимать прямолинейно, как описание событий в хронологическом порядке), вопроса о женских образах «Слова», — проф. Г. Германов останавливается на жизни «Слова» в литературах мира, и в частности в болгарской литературе. Назвав болгарских переводчиков и их работы (Райно Жинзифов, Ефрем Каранов, Бойчо Липовский, Людмил Стоянов), проф. Германов заключает, что «болгарское бытие „Слова“ нельзя назвать бедным», но — и это относится не только к «Слову», а ко всей русской литературе — «нельзя судить о его восприятии на болгарской почве только по переводам. „Слово“ гораздо чаще читается в оригинале» (с. 15). Очень важная констатация, говорящая о понятности

древнерусского текста современному болгарскому читателю, о близости древнерусского языка к славянским.

Наконец, говоря об изучении «Слова» в наше время, проф. Г. Германов отмечает «особую заслугу академика Д. С. Лихачева и его школы, которая оказывает благоприятное влияние и на болгарские исследования „Слова“ и древнерусского языка» (с. 15).

О переводе К. Кадийского проф. Г. Германов заметил только, что переводчику многие места текста были непонятны, и он поэтому использовал толкования русских переводчиков. В остальном это статья о «Слове», но не о данном переводе.

С данным переводом по необходимости должен был быть связан текст комментария, принадлежащий проф. Н. М. Дылевскому. Проф. Н. М. Дылевский сам является автором многочисленных статей о «Слове». Многие места памятника он толковал, т. е. давал им объяснение и его научное обоснование, поэтому можно понять трудности, возникшие перед ним при комментировании чужого перевода. Так, о «галицких дружинах» Дылевскому пришлось написать гипотетически: «В войске Игоря может быть, и были воины из южно-русского Галицкого княжества» (с. 51).

Случается, комментатору приходится вступать в противоречие с самим собой. Достаточно сравнить два примечания: к реке Каяле и к глаголу «каяти» («кают князя Игоря»). Есть разные попытки объяснения слова «Каяла». Н. М. Дылевский предлагает филологическое: «Каяла — это метафора, и связана она с глаголом „каяти“, что означает: жалеть, оплакивать, укорять. Ср. древнеболгарское „окайвам“ — диалектное „каене“ — оплакивание. Отсюда Каяла — река плача, оплакивания и жалости» (с. 57). Такие же аргументы приводятся и в другом примечании: «Съ тоя же Каялы — уподобление (с той же), и оно, считает не без основания Н. М. Дылевский, является еще одним свидетельством того, что Каяла — имя-символ, река скорби и печали, место роковых поражений русских князей (см. с. 60). Но вот примечание к словам «кают князя Игоря»: «Укоры, адресованные Игорю, были вызваны его необдуманном поступком и сепаратным походом против половцев — плодом его честолюбия, завершившимся болезненными потерями для Русской земли» (с. 62), т. е. здесь «кают» — укоряют, клянут. Разъяснение комментатора продиктовано, видимо, переводом К. Кадийского: «Немци и венецианци, гърци и моравци славят Святослав и укоряват Игор». А перевод К. Кадийского отражает перевод А. К. Югова: «поют славу Святославу, поносят Игоря».

Этому месту «Слова» Н. М. Дылевский посвятил в свое время статью, в которой, опираясь на болгарские значе-

ния слов «окайвам» и «каене», доказывал, что «укорять» — не единственное значение этого глагола, что, вероятно, древнее значение древнеболгарское и диалектное — жалеть, оплакивать. Такое понимание весьма правдоподобно, так как в широком контексте есть прямое указание на горечь и жалость, вызванные трагической судьбой Игоря, — «злато слово со слезами смешено». (См.: Дылевский Н. М. Некоторые лексические элементы «Слова о полку Игореве» в свете данных современного болгарского языка. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, с. 27—35). До статьи Н. М. Дылевского подобное же мнение высказывали и другие исследователи (Е. В. Барсов, Л. А. Дмитриев), Дылевский же подтверждал его болгарскими лексическими параллелями, что немаловажно.

На этом примере видно, в какое сложное положение был поставлен Н. М. Дылевский, не имевший возможности влиять на перевод и вынужденный ограничить свой комментарий только служебной, вспомогательной ролью. Вероятно, такие противоречия мог бы устранить научный редактор, но его у издания нет.

Комментарий проф. Н. М. Дылевского отличается тщательностью и серьезным научным подходом. Он вводит болгарского читателя почти во все главные проблемы понимания и толкования «Слова». Остановимся на некоторых, чисто болгарских, примечаниях, расширяющих общеславянский «фон» памятника.

Например, весьма темным остается еще место о реке Канине (иные предлагали «Канин»). С этим наименованием Дылевский сопоставляет болгарский гидроним: «Канина в „Слове“ находит соответствие в названии реки с тем же именем — р. Канина — в Пиринском крае в Болгарии. Наличие гидронима „Канина“ в Болгарии подтверждает достоверность названия реки в „Слове“ (именно *Канина*, а не *Канин*)» (с. 59).

Комментируя плач Ярославны, проф. Н. М. Дылевский особенно подчеркивает сравнение с кукушкой: «Образ кукующей кукушки — воплощение одиночества тоскующей женщины — известен и в болгарском народном эпосе. Ср.: „Вдовца, Рада, похожа на птицу, на кукушку“... Образ Ярославны в „Слове“ сродни образу Яны-кукушки в одной болгарской народной песне. В ней изнемогающий от ран и от жажды юнак просит сестру Яну зачерпнуть из Дуная воды и омыть его рапы. Яна, заблудившись в пути, превращается в кукушку, ищущую своего брата. Это свидетельствует о том, что здесь мы встретились

с очень древним мотивом, нашедшим отражение в народной поэзии Славян» (с. 77). Подобная же легенда есть и в сербской народной поэзии. Это сходство свидетельствует об общих глубоких корнях устной поэзии славян. Автор «Слова о полку Игореве» черпал из этого общего источника многие свои образы. Также и появление в плаче Ярославны Дуная, находящегося совсем в другой стороне, нежели Каила, не является ошибочным. Просто у славян «дунай» было названием любой реки. Об этом пишет в комментарии Н. М. Дылевский, об этом писал еще первый польский переводчик «Слова» А. Белёвский (1833), об этом же пишет и в последнем польском издании «Слова о полку Игореве» Мариан Якубец, ибо такое значение слова «дунай», даже во множественном числе, встречается в польских народных песнях.

Наконец, проф. Н. М. Дылевский подробно объясняет название иконы «Богородицы Пиргощей». Это объяснение мы позволим себе полностью процитировать, ибо и оно выходит за пределы только древнерусского контекста. «Киевская церковь, построенная в 1131—1136 гг. князем Мстиславом, названа так по имени иконы „Богородица Пирготиса“ (в русском произношении «пиргощая»), привезенной в XII веке из Константинополя и сохранившейся в ней. Название иконы происходит от греческого существительного „pyrgos“ — пирг, башня (древнеболг. «пиръгъ»). Под этим названием в византийской столице была известна икона „Пирготиса“ в знаменитой Влахернской церкви (V век). Позднее Влахернская церковь была окружена стенами, увенчанными башнями — пиргом. Такие башни для защиты от разбойничьих нападений со скрывавшимися внутри небольшими церквушками и убежищами воздвигались в византийских и южнославянских монастырях. Высокая и мощная башня была, например, построена в 1335 году в Рильском монастыре (в Болгарии, — Э. Г.). В ней несколько веков назад хранилась икона Богородицы Основицкой, по преданию, подаренной монастырю византийским императором Эммануилом Комниным (XII в.)» (с. 81—82). Вот какая древняя святыня хранилась в Киевской церкви Богородицы Пиргощей, на поклонение к которой поехал Игорь, вернувшись из плена.

Новое болгарское издание «Слова о полку Игореве», предпринятое к 800-летию памятника, свидетельствует о постоянном интересе к нему в одной из славянских стран. Это тем более отрадный факт, что в издании приняли участие такие известные ученые, как проф. Г. Германов и проф. Н. М. Дылевский.

Р. Ю. Данилевский

К ИСТОРИИ ВОСПРИЯТИЯ Ф. НИЦШЕ В РОССИИ

В июне 1983 года в Фордхемском университете (штат Нью-Йорк, США) состоялась научная конференция, посвященная восприятию в русской культуре идей Фридриха Ницше (1844—1900). Спустя три года материалы конференции с некоторыми дополнениями были изданы под редакцией профессора истории Фордхемского университета Берлайс Глатцер Розенталь в виде сборника «Ницше в России».¹

Нельзя утверждать, что советская история философии, искусствоведение, литературная наука совсем не занимались ницшеанством, этим «сложным идеологическим явлением», занявшим «исключительное положение... в мировой культуре» нашего столетия.² Тем более странным было бы игнорировать проблему Ницше в связи с русской культурой рубежа XIX и XX веков и предреволюционных лет, когда о немецком философе знали или хотя бы слышали его имя довольно широкие круги русских литераторов и читателей. Андрей Белый свидетельствовал в 1907 году, что «не Париз и не Байрон, а Ибсен и Ницше глубоко заделали современную русскую литературу».³ Признаем, однако, что русское ницшеанство исследовалось советскими авторами отрывочно и эпизодически; сама же история «русского» Ницше остается практически неизученной. Рецензируемый сборник докладов и статей американских, английских и канадских русистов ставит перед славистами именно эту задачу. Нужно уже и потому обратить на нее внимание, что редактор во «Введении» к сборнику рассматривает это издание как подступ к всестороннему изучению темы, обозначенной на титульном листе (см. с. 44).

«Введение» предшествует в книге «Предисловие» (с. XI—XVI) Дж. Л. Клайна (G. L. Kline), американского историка русской философии, отмечающего быстрое распространение сведений о Ницше в России рубежа веков: в начале 1890-х годов появились первые статьи о нем в русской печати, а в 1903 году была уже написана известная реплика Симеонова-Пищика в III действии «Вишневого сада»: «Ницше... фи-

лософ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно».⁴ Для того чтобы оценить здесь чеховский юмор, публика должна была разбираться в ницшеанстве, дошедшем искаженными отзвуками до ушей провинциального помещика. Реплика чеховского персонажа была признаком явления, пропикшего в глубине слою русской литературы и философской мысли эпохи. Ни в вступительных статьях, ни в материалах сборника не объясняется, почему это произошло, хотя и делаются разного рода предположения.

Прежде всего и естественно приходит мысль о предпосылках интереса русских писателей и читателей к Ницше. Такой интерес возникает обычно, если у нового автора открывают нечто знакомое, задававшее за живое, проблемы, решаемые воспринимавшей культурой. Период 1870—1880-х годов, в течение которого пролегал и завершился основной творческий путь Ницше, характеризовался кризисом духовной жизни Германии, которая становилась мировой империалистической державой, одновременно подвергаясь опасности растерять гуманистические традиции национальной культуры. Немецкая буржуазная интеллигенция оказалась между двух огней: с одной стороны, ее независимости угрожала прусская бюрократия, с другой — ее пугал рост социал-демократических сил, распространение марксизма. Эта ситуация смятения, идейного кризиса безусловно отразилась в мировоззрении Ницше, хотя взгляды философа выражали и более общие тенденции европейской мысли. Русская интеллигенция рубежа веков оказалась почти на таком же перепутье, как ранее немцы: давил ненавистный царизм и угрожающе приближались революционные события. Несколько позднее эту ситуацию отметил Г. В. Плеханов: «Под влиянием этих событий у многих и многих „интеллигентов“ исчезла вера в близкое торжество более или менее передового общественного идеала. А это уже известное дело: когда у людей пропадает вера в торжество общественного идеала, тогда у них выступают на первый план „заботы“ о своей собственной драгоценной личности».⁵ В этих обстоятельствах Ницше пришелся в России вполне ко двору. К тому же он предупреждал не только

¹ Nietzsche in Russia / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Princeton University Press, 1986, 424 p. (далее ссылки в тексте).

² Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983, с. 208.

³ Белый А. Настоящее и будущее русской литературы. — В кн.: Белый А. Луг зеленый: Книга статей. М., 1910, с. 63—64.

⁴ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Соч.: В 18-ти т. М., 1978, т. 13, с. 230.

⁵ Плеханов Г. В. Избр. философские произв.: В 5-ти т. М., 1957, т. 3, с. 385.

против «восстания рабов», но и против роста «чудовищных конгломератов» капитала, делающих государство «аппаратом обогащения» и приближающих «век варварства»;⁶ речь шла о спасении личности от угрозы буржуазно-мещанского нивелирования. Провозглашенный Ницше бунт индивида — при всей внутренней противоречивости идей немецкого философа и при всем подчеркнутом антидемократизме его позиции — вызвал отклик самых разных кругов русской общественности рубежа столетий. По наблюдениям советского исследователя литературы начала XX века, «признаки сочувственного внимания к нему можно обнаружить теперь и в прогрессивной литературной среде. Идея самоутверждения активного „я“ притягивает подчас к его философии литературных противников, но при этом из нее извлекаются противоположные выводы. Те из деятелей демократического художественного лагеря, которым импонировал Ницше, хотели бы видеть в нем частичную, по крайней мере, опору в своей борьбе за всестороннее раскрепощение личности».⁷ Почему же это был именно Ницше, а не А. Шопенгауэр, которого хорошо знали в России, не С. Кьеркегор или А. Бергсон, тоже сражавшиеся за принципы индивидуализма?

Дело в том, что, помимо социально-философских причин влияния Ницше в России, были еще причины литературные. Ницше не только обладал выдающимся талантом прозаика и поэтического дарованием, но и легко включился в традиционную тематику русской литературы и публицистики. В какой-то степени он был знаком с русской литературой, читал Достоевского и Толстого, Герцена, почти наверное Тургенева и, может быть, Гоголя. Как предполагает Дж. Клайн, Ницше читал, по крайней мере, «Былое и думы» (перевод М. Мейзенбург 1850-х годов) и «С того берега» (во французском переводе 1872 года). «Очевидность влияния велика», — считает американский ученый (с. XV—XVI). Не оспаривая фактов (Ницше сам рекомендовал приятелю в 1872 году прочесть мемуары Герцена: «... в высшей степени поучительно и ужасно!»),⁸ будем все-таки говорить не о влиянии, доказать которое мы не можем, а об общности проблем. Например, в «Концах и началах», которые Ницше также мог прочесть в переводе в бельгийской газете «La Cloche» за 1862—1863 годы,

Герцен писал о роковой опасности мещанства, «последнего слова цивилизации», и для аристократов, и для народа: «... в этой среде Альмавива равен Фигаро; снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по возможности удержаться».⁹ Ницше: «Толпа — это всякая всячина: в ней все перемешано... все животные из Ноева ковчега. Добрая нравственность! Все у нас лживо и гнило. И далее: «Чернь вверху, чернь внизу! Что там еще за „богатые“ и „бедные“» («Так говорил Заратустра»)¹⁰ «С мещанством стираются личности», «с мещанством стирается красота природы», — писал там же Герцен.¹¹ «Земля сделалась маленькой-маленькой, и по ней попрыгивает последний человек, делающий все маленьким», — вторил ему автор «Заратустры».¹² Совпадает отчасти трактовка темы, но имелась и разница: Герцен не разуверился в принципах 1789 года, которые отвергал Ницше; Герцен не терял веры в русский народ, Ницше относился к такой вере скептически (в «Сумерках идолов», «Казусе Вагнера», в суждениях о Достоевском), хотя и приглядывался к России. Во всяком случае, в «плюскую» Германию Бисмарка он не верил.

Другая тема, сближавшая Ницше с русской литературой, — этика, вопросы личной и социальной нравственности, общего и личного блага, круг понятий добра и зла, сострадания и совести. В этой области Ницше полемически столкнулся с Достоевским¹³ и Л. Толстым. Последний, кстати, знал об этом и принял вызов, брошенный немецким философом, уже не узнавшим, правда, о возражениях Толстого. И этого русского писателя спасала вера в народ, которой не было у Ницше. Однако критика современной морали, развернутая «вещным Ницше», помогала ему: по его признанию в трактате «Религия и нравственность» (1893), обличать ее «ложь и лицемерие».¹⁴ Со своей стороны, Ницше извлек из чтения Достоевского и Толстого нечто существенное, не совпадающее с его обычными представлениями о «слишком многих». о массе. Отвергая старых философов-мра-

⁹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 тт. т. М., 1959, т. 16, с. 137.

¹⁰ Nietzsche Fr. Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen. Leipzig, 1907, S. 356, 398; ср.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого. СПб., 1900, с. 474.

¹¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 16, с. 138.

¹² Nietzsche Fr. Also sprach Zarathustra, S. 19.

¹³ См.: Фридендер Г. Достоевский и мировая литература. Л., 1985, с. 251—289.

¹⁴ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 39, с. 20.

⁶ См.: Nietzsche Fr. Umwertung aller Werte / Aus dem Nachlaß zusammengest. und hrsg. von F. Würzbach. München, 1977. S. 487, 490, 514.

⁷ Келдыш В. А. Русский реализм начала XX в. М., 1975, с. 41.

⁸ Nietzsche Fr. Gesammelte Briefe / Hrsg. von P. Gast und A. Scid. Berlin, 1900, Bd. 1, S. 139.

листов, он пометил в записной книжке в 1881-м или 1882 году: «В практической жизни, в терпении, в добродушии и взаимовыручке маленькие люди превосходят их: вот как судят, например, Достоевский или Толстой о своих мужиках: они рассудительнее в практических делах, они обладают большим присутствием духа, для того чтобы справиться с неизбежностью...»¹⁵

Вместе с Дж. Клайном можно утверждать, что «воздействие Ницше на русскую литературу и мысль конца XIX и начала XX в. было явлением большой важности в истории мысли и культуры современной Европы» (с. XVI). Не следует, правда, забывать о своеобразии русского восприятия Ницше. Об этом можно было бы писать увереннее, если бы было проведено сравнительное исследование отношения к ницшевскому наследию в разных странах. Пока существует литература вопроса лишь по некоторым из них (приведена на с. 38), и России нет в этом списке. Поэтому Б. Г. Розенталь только намечает некоторые особенности русской судьбы Ницше — как побочные, так и существенные. Среди первых — отсутствие интереса к ницшевскому женоненавистничеству, среди вторых — отсутствие расистской интерпретации реакционных социальных гипотез позднего Ницше (в «Происхождении моралей», «Сумерках идолов») и равнодушие к идее «воли к власти», или «жажды власти», как красноречиво перевел Н. К. Михайловский этот термин.¹⁶ Зато отмечается, что «революция 1905 г. породила недвусмысленное социально-политическое понимание дионисийского принципа» (с. 40) и что вообще Ницше был воспринят как «мистик и пророк» (с. 38), как эстетик, поэт и лишь во вторую очередь как философ в собственном смысле слова. Здесь требуется некоторое уточнение: судя по фактам, Ницше заметил первым все-таки авторы «Вопросов философии и психологии», хотя одновременно с ними — поэт Н. М. Минский. Действительно, образ Ницше определялся затем в России его «Происхождением трагедии из духа музыки» и «Заратустрой».

Автор «Введения» касается вопроса о русских предпосылках ницшеанства, называя имена М. А. Бакунина и К. Н. Леонтьева и считая, что «от Пушкина и Лермонтова до Толстого и Достоевского центральным вопросом русской

литературы являлись смысл и цель жизни...» (с. 17). Такие суждения слишком суммарны, чтобы их оспаривать; понятие жизни здесь еще менее определено, чем в статье А. Белого «Настоящее и будущее русской литературы», которую автор пересказывает в этом месте «Введения».¹⁷ Было ведь и другое, личное религиозное и виталистское мистики понимание «жизни» (Пушкин, Белинский). По нашему мнению, русское ницшеанство могло бы числится среди своих отечественных предпосылок все виды романтической концепции «героя и толпы», включая байронизм и шиллеризм,¹⁸ а также такое явление, как русский нигилизм и его отражения в произведениях Тургенева и Достоевского.

Слишком просто решил Б. Г. Розенталь вопрос о последствиях увлечения идеями Ницше в России рубежа веков. «Элементы ницшевской мысли, — пишет она, — совместимые с прометеевским напором большевизма, были впитаны ранней советской культурой, повлияв на концепции пролетарской культуры, на идею руководства массами и на эксперименты в театре и кино» (с. 32). Более того, автор готов возвести к ницшеанству явления авторитарной власти, культ Сталина и все подобное (см. с. 36—37). Разумеется, нельзя отрицать ни внимания молодого М. Горького к Ницше, ни увлечения им А. В. Луначарского. Однако из этих фактов вовсе не следует, что наша история зависела от чтения сочинений Ницше. Пока мы не разобрались в происхождении и типологии русского ницшеанства, мы не можем уверенно судить о его последствиях. Именно Горький показал в романе «Жизнь Клима Самгина», как почти бесследно растворялось ницшеанство в идеологии русской буржуазной интеллигенции (о романе см. с. 36): значит, повторяем, для него имела русская почва. Впрочем, заслуживает внимания предположение Б. Г. Розенталя, что В. И. Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература» нанес удар, в частности, по образу «литературного супермена», сложившемуся не без воздействия Ницше (см. с. 16). Вопрос о дальнейшей судьбе некоторых ницшеанских представлений в нашей духовной жизни, об их трансформации, о борьбе с ними отбрасывать все же не стоит; он требует изучения.

¹⁵ Nietzsche Fr. Umwertung aller Werte, S. 418—419; см. также: Gesemann W. Nietzsches Verhältnis zu Dostoevskij auf dem europäischen Hintergrund der 80er Jahre. — Die Welt der Slaven, 1961, H. 2, S. 154.

¹⁶ Михайловский Н. К. Литература и жизнь. — Русское богатство, 1894, № 11, отд. II, с. 126.

¹⁷ Ср.: «От Пушкина, Лермонтова до Брюсова, Мережковского русская литература была глубоко народной... Она являлась носителем религиозных исканий интеллигенции и народа. Более чем всякая иная литература касалась она смысла жизни (Белый А. Луг зеленый, с. 64).

¹⁸ См.: Фридендер Г. Достоевский и мировая литература, с. 254.

Именно этому кругу проблем посвящены статьи, собранные в третьем разделе книги — «Влияние Ницше на русский марксизм». Вообще в издании четыре раздела: кроме названного, первый — «Влияние Ницше на русскую религиозную мысль», второй — «Влияние Ницше на русских символистов и их кружки» и четвертый — «Другие аспекты влияния Ницше в России». Во всех разделах так или иначе затронуты литературные темы, на которых мы преимущественно и остановимся.

Итак, в третьем разделе выступает Мэри Луиза Лоу (университет Дж. Мэдисона, штат Вирджиния) со статьей «Горький и Ницше: вопрос о русском сверхчеловеке» (Loe M. L. «Gorky and Nietzsche: The Quest for a Russian Superman») (с. 251—273). Проблема эта старая, писали о ней немало — от Н. Михайловского, Н. Минского, М. Гельрота и других критиков рубежа столетий до современных советских литературоведов Э. И. Бабаяна, В. А. Келдыша, В. А. Злобина и др., а также зарубежные исследователи вопроса Б. Лендбел, Р. Сестерхенн, Э. Клаус.¹⁹ Можно привести полезное для читателя перечисление более или менее внятных или же только предположительных «перекличек» произведений Горького с произведениями Ницше, как это делает автор статьи, и все же не ответить на вопрос — какую все-таки роль сыграл Ницше на раннем этапе становления горьковского таланта. Скажем откровенно, что на этот вопрос пока никто не ответил, хотя ни один горьковед не прошел, кажется, мимо «сверхбосаков» и «сверхбродяг» писателя, на которых сразу же сосредоточилось внимание американской исследовательницы (см. с. 251).

Непредубежденный читатель Горького заметит, что, даже увлекшись «Заратустрой» в 90-е годы, молодой литератор сразу занял критическую позицию по отношению к таким идеям немецкого мыслителя, как элитарность личности и культ инстинктов. Характерный пример — рассказ 1894 года «Мой спутник». Вместе с тем антимещанские филиппи-

ки Ницше очень, по-видимому, импонировали Горькому («Заметки о мещанстве», 1905). Со временем отношение писателя к Ницше менялось в сторону все большего неприятия, и нет нужды непременно искать у зрелого Горького следов восприятия Ницше, присущего Горькому-юноше (см. с. 273). Против такого метода возражал, в сущности, сам писатель в «Беседах о ремесле» (1931). Отношение к ницшеанству у позднего Горького можно выяснять все по тому же роману о Самгине.

Интересный фактический материал собран и систематизирован в следующей далее статье А. Л. Тейта (Бирмингемский университет, Англия) «Луначарский — „ницшеанец-марксист“?» (Tait A. L. «Lunacharsky: A „Nietzschean Marxist“?») (с. 275—292). Все, что касается свидетельств длительного интереса Луначарского как критика и драматурга к Ницше, требует дальнейшего осмысления (пьесы «Фауст в Город», «Сверхчеловек», «Маги», статьи о литературе и театре 1920-х годов), так как мы имеем здесь дело, как и в случае с молодым Горьким, не с поклонником и учеником, а с вдумчивым критиком немецкого философа, знавшим и уважавшим свой предмет.²⁰ Справедливо отмечена автором борьба Луначарского (к сожалению, безрезультатная) за объективную историческую оценку Ницше в 30-е годы (см. с. 292). Нет оснований не верить Луначарскому, вспоминавшему в это, по-видимому, время: «Когда я был молод, я стал наиболее положительной стороны ницшеанской философии связывать с марксизмом, и за это меня Г. В. Плеханов довольно порядочно трепал, находя, что это не годится, что из этого ничего не выйдет. Теперь я вижу, что действительно нельзя это соединять. И теперь, стоя на большом расстоянии, окончательно видно, что Ницше прежде всего был выразителем империалистической начавшейся реакции, империалистического подъема настроения буржуазии».²¹ Несмотря на то что эта оценка Ницше представляется все же исторически неполной, хотя и относительно верной для эпохи фашизации германского государства, ответ на поставленный автором в заглавии статьи

¹⁹ См., например: *Бабаян Э.* Ранний Горький: У идейных истоков творчества. М., 1973; *Злобин В. А.* К проблеме горьковской концепции человека. — В кн.: Вопросы горьковедения: Межвуз. сборник. Горький, 1985, с. 22—34; *Lenz-yeil B.* Gemeinsame Züge in der Wertung Nietzsches und Gorkis. — Acta litteraria. Budapest, 1976, t. 18, fasc. 1—2, p. 157—190; *Sesterhenn R.* Das Bogostroitel'stvo bei Gor'kij und Lunačarskij bis 1909: Zur ideologischen und literarischen Vorgeschichte der Parteischule von Capri. München, 1982; *Clowes E. W.* Gorky, Nietzsche and God-Building. — In: Fifty Years on: Gorky and His Time / Ed. by N. Luker. Nottingham, 1987, p. 127—144.

²⁰ Автор статьи справедливо отмечает интерес Луначарского к швейцарскому поэту К. Шпиттелеру, трактованному личностью в духе, отчасти близком к Ницше. Однако Шпиттелер никогда не был, как выражается А. Л. Тейт, «протеже» Ницше (с. 286) (см.: *Юрьева Л. М.* Карл Шпиттелер. — В кн.: Литература Швейцарии: Очерки. М., 1969, с. 218).

²¹ Цит. по рукописи, без указания даты, но с пояснением, что запись сделана «после Октября». в кн.: *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1964, т. 2, с. 585.

вопрос, был ли Луначарский нищепанцем, должен быть, как мы считаем, отрицательным. Марксизм и нищепанство оказались идеологиями в принципе несовместимыми.

В этом же разделе помещена статья Зеновию А. Сохор, сотрудницы университетов Кларка и Гарварда (США). «А. А. Богданов: в поисках освобождения культуры» (Sochor Z. A. «A. A. Bogdanov: In Search of Cultural Liberation») (с. 293—314). Насколько мы можем судить, вопрос о нищепанстве и марксистских позициях Богданова, а также о роли идей Ницше в пролеткульте не беспорочен. Почему проблема взаимоотношений личности и массы — это непременно и исключительно нищепанская проблема, как кажется участникам сборника?!

Первый раздел книги включает в себя, кроме собственно религиозно-философских вопросов, область литературного восприятия идей Ницше. Так, в статье американского историка русской философии Энн М. Лейн «Ницше приходит в Россию: популяризация и протест в 1890-е гг.» (Lane A. M. «Nietzsche comes to Russia: Popularisation and Protest in the 1890s») (с. 51—68) отмечаются ранние факты знакомства русской публики с книгами Ницше, первые статьи и споры о нем, появление нищепанского героя в «Перевале» П. Боборыкина, у Н. Минского, нищепанство А. Л. Вольнского и начало «канонизации» Ницше у декадентов. Автор, очевидно, права, заключая, что «эстетические идеи Ницше, особенно высказанные в „Происхождении трагедии“, сыграли исключительную роль в мышлении русских символистов» (с. 63). Это видно по творчеству и публицистике А. Белого и А. А. Блока и бросается в глаза при анализе своеобразных попыток символистов «комбинировать», по выражению исследовательницы, эстетизм «антихристианина» Ницше с философией христианина Вл. Соловьева (см. с. 65). Но дело заключалось не только в эстетике. Вяч. Иванов писал в 1904 году о Ницше как о «властителе наших дум и коваче грядущего». ²² Почти такую же миссию признал позже (1920) А. Блок за Соловьевым: «Его житейский подвиг был велик потому, что среди необозримых равнин косности и пошлости пришлось ему тащиться с тяжелой ношей своей тревоги... Люди дьявольски беспомощно спали, как многие спят и сегодня; а новый мир, несмотря на все, неудержимо плыл на нас...» ²³ Как считает автор статьи, «положительным откликом со стороны рус-

ских интеллигентов 1890-х гг. Ницше был в значительной степени обязан своему протесту против всего того, что и они также ощущали как крайний рационализм и позитивизм эпохи. Вызывающая новизна Ницше составила контраст культурному застою 1880-х гг.» (с. 68). Добавим, что символисты восприняли Ницше в контексте своих плодотворных отношений к немецкой культуре вообще и романтической традиции в особенности.²⁴

Там же помещена статья составительницы сборника — «Стадии нищепанства: духовная эволюция Мережковского» («Stages of Nietzscheanism: Merezhkovsky's Intellectual Evolution») (с. 69—93). Отношение Д. С. Мережковского к Ницше также проблема восприятия немецкого философа мыслителем иной национальной традиции, иного умственного склада и мировоззрения («полурелигиозный мистицизм», как определила взгляды Мережковского автор статьи) (с. 73). По-своему ополчаясь против мещанства («Грядущий Хам» и т. п.), Мережковский опирался как на Герцена, так и на Ницше. Именно последний помог ему показать исторический процесс как борьбу двух непримиримых начал — добра и зла, духа и плоти, красоты и пользы и т. п.²⁵ В этом отношении схематизм концепций Мережковского в чем-то сродни стремлению Ницше непременно обозначить некие простейшие пружины бытия. С нищепанской критикой европейской цивилизации можно соотносить мысль русского деятеля о роковом упадке отечественной литературы. Дионисийство отозвалось, вероятно, в выводе, сделанном Мережковским из обзора литературы 1892 года: «Людьми пужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников». ²⁶ В стилистике Мережковского, даже после охлаждения его к нищепанству, после революции 1905 года, как это отмечает автор (см. с. 69, 92), встречаются аналогии слогу Ницше, — например, в предисловии к Полному собранию сочинений.

Остановимся на статьях второго раздела, продолжающих затронутую тему.

В статье профессора Иллинойского университета Эвелин Бристоль «Блок между Ницше и Соловьевым» (Bristol E. «Blok between Nietzsche and Soloviev») (с. 149—159) подробно рассмотрено упоминавшееся уже взаимодействие этих двух философско-этических систем в

²⁴ См.: Авраменко А. П. Русский символизм и немецкая культура. — В кн.: Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. М., 1987, с. 158—170.

²⁵ См.: История русской литературы: В 4-х т. Л., 1983, т. 4, с. 423 (автор раздела — А. Л. Григорьев).

²⁶ Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. М., 1912, т. 15, с. 303.

²² Иванов Вяч. Ницше и Дионис. — Весы, 1904, № 5, с. 19.

²³ Блок А. А. Владимир Соловьев и наши дни. — Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962, т. 6, с. 158.

творчестве и статьях поэта. Отмечается особенное внимание А. Блока к ранней ницшевской работе «Происхождение трагедии из духа музыки». «Не могу выписать — длинно, — пишет Блок в записной книжке в декабре 1906 года. — Да все равно все пришлось бы выписывать — такое откровение эта книга».²⁷ Самым существенным для Блока являлись, кажется нам, не столько колебания между соловьевской символической Софией и символическим же ницшевским Дионисом (на чем настаивает автор статьи) (см. с. 155),²⁸ сколько идея «музыкальной», гармонической сущности жизни, оправдывающая революцию. Статья Блока «Крушение гуманизма» (1919) определяет гуманизм как изжившее себя лицемерное понятие старой, буржуазной цивилизации — вполне по Ницше. Но, в отличие от немецкого «имморалиста», поэт ищет новый гуманизм, «музыку революции» у «апостолов» из народа.²⁹

Статья Вирджинии Беннетт из Калифорнийского университета «Эстетические идеи из „Происхождения трагедии“ в критических статьях Андрея Белого 1904—1908 гг.» (Bennett V. «Esthetic Theories from „The Birth of Tragedy“ in Andrei Bely's Critical Articles, 1904—1908») (с. 161—179) посвящена подробностям связей с ницшеанством этого выдающегося литературного мыслителя. Богатый материал дает автору основание видеть в Ницше одного из основоположников теории европейского символизма и этим объяснить воздействие ницшеанской эстетики на русских символистов (см. с. 164—165). Особенно заметны ее следы в статьях А. Белого, а кульминацию образует в этом смысле очерк о Ницше, опубликованный в «Весах» за 1908 год. В истории русского восприятия Ницше, добавим мы, очерк этот занимает особое место благодаря сочетанию в нем апологетики и трезвых критических наблюдений, а также и потому, что А. Белый прозорливо предугадал появление фальсифицированного мещански-буржуазного образа Ницше, нацистского мифа о нем и последующее возвращение освобожденных от искажения идей философа к людям. Протестуя против фальсификации наследия Ницше, А. Белый уже тогда утверждал, что оно «хорошо неизвестно».³⁰ Несомненно, сам он также пере-

осмыслял понятия ницшеанства, но по-иному. Например, пресловутого «сверхчеловека» А. Белый воспринял как одно из наименований будущих «новых людей» в соответствии с русской демократической традицией: «Социалистическое государство — Сфинкс. Пустота и небытие смотрит из его темных глаз... Но можно рассматривать социалистическое государство и как переход к свободной общине, в которой мы утверждаемся как боги и цари» («Феникс», 1906).³¹

От Ницше через посредство А. Белого перешел в поэтику русского символизма мотив масок, обманимых личин, скрывающих «бездну» (см. с. 165—166). Впрочем, заметим мы, тема маскарада уходит корнями также и в русскую литературу.

В этом же втором разделе печатается статья Дж. Калбаусса из университета Огайо «Отзвуки Ницше в сочинениях Сологуба» (Kalbous G. «Echoes of Nietzsche in Sologub's Writings») (с. 181—194), где речь идет о ницшевских мотивах огня, ночи, экстатического пляски в поэзии Ф. Сологуба, о дионисийско-аполлоновской «дихотомии» в пьесе «Дар мудрых пчел», о ницшеанском элементе в романе «Мелкий бес». Факты появления идей, возможно связанных с Ницше, в русском искусстве приводятся там же в статьях Эни М. Лейн «Бальмонт и Скрябин: художник как сверхчеловек» («Balmont and Scriabin: The Artist as Superman») (с. 195—218) и нью-йоркского искусствоведа Элайн Издебской-Причард «Искусство ради философии: Врубель против „стада“» (Isdebsky-Pritchard A. «Art for Philosophy Sake: Vrubel against „the Herd“») (с. 219—248). В этих статьях конкретный материал по истории изобразительного искусства и музыки модерна представляется нам более интересным, чем основной тезис обеих исследовательниц о едва ли не безраздельном влиянии Ницше на А. Н. Скрябина и М. А. Врубеля.

Собственно философским аспектам русского ницшеанства посвящены в первом разделе статьи Анны Лизы Кроун из Чикагского университета «Ницшеанское, слишком ницшеанское? Антихристианская критика Розанова» (Crone A. L. «Nietzschean, All Too Nietzschean? Rozanov's Anti-Christian Critique») (с. 95—112), канадского слависта Т. Д. Закидыльского «Критика Федоровым Ницше, „вечного трагика“» (Zakydalsky T. D. «Fedorov's Critique of Nietzsche, the „Eternal Tragedian“») (с. 113—126) и сотрудника РСЕ М. Михайлова «Великий катализатор: Ницше и русский неоидализм» (Mihajlov M. «The Great Catalyzer: Nietzsche and Russian Neo-Idealism») (с. 127—145). В целом статьи

²⁷ Блок А. Записные книжки, 1901—1920. М., 1965, с. 84.

²⁸ В замысле драмы Блока о Дионисе Гиперборейском (1906) наряду с парафразами из «Заратустры» присутствует критическое отношение к дионисийству.

²⁹ См.: Паперный В. М. Блок и Ницше. — Учен. зап. Тарт. ун-та, 1979, вып. 491, с. 84—106.

³⁰ Белый А. Фридрих Ницше. — Вестн., 1908, № 9, с. 30.

³¹ Белый А. Арабески: Книга статей. М., 1911, с. 151.

демонстрируют действительно широкое и разнообразное восприятие идей Ницше, причем идеи эти, как правило, довольно основательно перерабатывались на русский лад. Авторы статей о В. В. Розанове и Н. Ф. Федорове пишут о весьма критическом отношении обоих столь различных философов к ницшеанству. Так, Федоров упрекал Ницше в созерцательности, противопоставляя ему свою «философию общего дела» (см. с. 117), хотя ницшевскую идею переоценки нравственных ценностей, коль скоро она служит совершенствованию человеческого рода, признавал полезной (см. с. 115). Напомним и такие слова русского философа: «Единственная польза, которую можно извлечь из ницшеанской болтовни, — это глубочайшее отвращение к бессельному существованию».³² В статье М. Михайлова делается обзор отношения к Ницше Н. Бердяева, С. Франка, Н. Лосского, С. Булгакова, Л. Шестова. Не берясь обсуждать специальные вопросы русской идеалистической философии по существу, отметим, что если у других авторов сборника подчас весь материал возводится к Ницше, то этот автор «абсолютно все идеи» русской философии, связанные с ницшеанством, приписывает Достоевскому (см. с. 141). Истина, наверное, находится где-то посредине. Во всяком случае, вопрос о «ницшеанстве до Ницше» (подобный давней проблеме «руссоизма до Руссо») в сборнике поставлен и нуждается в решении.

Полезна в информационном отношении одна из заключительных статей книги — работа Эдиг В. Клауес³³ «Литературное восприятие как вульгаризация: ницшевская идея сверхчеловека в литературе неореализма» (Clowes E. W. «Literary Reception as Vulgarisation: Nietzsche's Idea of the Superman in Neo-Realist Fiction») (с. 315—329). Автор имеет в виду писателей начала века, называя, разумеется, М. П. Арцыбашева и его знаменитого «Саняна», сочинения П. Боборыкина и др. Можно назвать еще А. А. Вербицкую или забытую, но весьма читавшуюся В. И. Крыжановскую с ее оккультными фантазиями, в которых сквозили модные мотивы «сверхчеловечества». В свое время западногерманский славист В. Леттенбауэр уже отметил «примесь ницшеанских идей» в русской «эротической беллетристике» этой эпохи.³⁴ Подробно пишет автор о Л. Н. Андрееве, его «Рассказе о Сергее Петровиче» (1900), где

показан трагический исход, так сказать, бытового ницшеанства, которое губит задавленного жизнью маленького человека. Проблему отношения Л. Андреева к Ницше стоило бы выделить из общего фона «неореализма» как проблему особой историко-литературной значимости, поскольку никто другой не описал так проникновенно психологию искреннего русского ницшеанца начала века, ищущего в модных идеях нравственную опору. «Его самоубийство, — пишет исследовательница творчества Л. Андреева о герое рассказа, — и шаг отчаяния, и возмущение, и бунт, и торжество победителя одновременно».³⁵

Сборник завершается статьей Дж. М. Кертиса «Михаил Бахтин, Ницше и русская предреволюционная мысль» (Curtis J. M. «Michael Bakhtin, Nietzsche and Russian Pre-Revolutionary Thought») (с. 331—354). Автор, профессор Колумбийского университета, настойчиво разыскивает у М. М. Бахтина связи с эстетикой Ницше и находит, например, в «Веселой науке» некоторое подобие бахтинских концепций смеховой культуры и литературной полифонии. Не отвергая повода для таких сравнений (хотя они не кажутся убедительными), будем все же осторожными в выводах. Ведь самого Бахтина не удовлетворяло «эстетическое видение вне искусства», присущее Шопенгауэру и Ницше.³⁶

Заканчивая обзор сборника, упомянем приложенную к нему в виде послесловия заметку Сьюзен Рей из Фордхемского университета «Взгляд Ницше на Россию и русских» (Ray S. «Nietzsche's View of Russia and the Russians») (с. 393—401). Выказывавший философа на эту тему довольно много, каждое из них по-своему примечательно, но почти ничего из приводимого в этой полезной заметке как следует еще не изучено. Ницшевский образ России ждет своего исследователя.

Наконец, в книге переиздана составленная Р. Д. Дэвисом, английским славистом из Лидса, в 1976 году хронологическая библиография русской литературы о Ницше 1892—1919 годов (с. 355—392) — пособие, совершенно необходимое для дальнейшего изучения всей обсуждаемой темы.³⁷

Понятно, что в сборнике освещены далеко не все стороны проблемы «Ницше и Россия». И освещение это подчас ограничивается перечислением фактов. Можно было бы, например, развить

³² Федоров Н. Ф. Соч. М., 1982, с. 558.

³³ Исследовательница работала тогда в Калифорнийском университете, затем, насколько нам известно, перешла в университет Индианы.

³⁴ См.: Lettenbauer W. Russische Literaturgeschichte. 2. verm. und verbess. Auflage. Wiesbaden, 1958, S. 239.

³⁵ Иезуитова Л. А. Творчество Леонида Андреева (1892—1906). Л., 1976, с. 94.

³⁶ См.: Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986, с. 23, 41.

³⁷ Davies R. D. Nietzsche in Russia: A Preliminary Bibliography. — Germano-Slavica, 1976, vol. 2, № 2, p. 107—146; № 3 (1977), p. 207—220.

тому о Ницше и марксизме и о ее трактовке в советской публицистике и исторической науке — о трудном пути к научному пониманию ницшеанства. Остался незатронутым интереснейший вопрос о восприятии Ницше в России в сочетании с родственными ницшеанству явлениями, такими как философия Шопенгауэра. Вообще методология исследования влияния, критического восприятия идей Ницше, одного из самых противоречивых немецких мыслителей, в

России в бурный период ее духовной и политической истории, в годы революционных потрясений, не ясна и требует разработки. Участники рецензируемого сборника не поставили перед собой такого вопроса.

Существенно, однако, что была выдвинута проблема восприятия Ницше в русской культуре как таковая, и в этом несомненная заслуга редактора и участников издания.

П. В. Бекедин

ОПЫТ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО «ТИХОМУ ДОНУ» *

Уже предшествующие работы С. Н. Семанова о М. А. Шолохове (многочисленные статьи в периодической печати, а также вышедшая двумя изданиями книга «„Тихий Дон“ — литература и история») свидетельствовали о том, что в шолоховеденье, которое давным-давно нуждалось в подкреплении со стороны историков, пришел человек, одержимый идеей раскрыть как можно больше тайн эпохи «Тихий Дон», «вывести» ее основные «законы» и тем самым приблизить наше понимание этого шедевра к шолоховскому. Обнаруживая исследовательское родство с такими учеными, как Ф. Г. Бирюков и М. А. Алпатов, С. Семанов сразу же нашел *свой* угол зрения, *свой* круг проблем при рассмотрении «Тихого Дона» и сумел внести заметный вклад в изучение Главной книги Шолохова. Если раньше в публикациях С. Семанова взгляд историка явно доминировал над взглядом литературоведа (даже порой вытесняя его), то в новой книге, дающей обстоятельный историко-литературный и текстологический анализ «Тихого Дона», достигнута желанная гармония: здесь историк и шолоховед живут в мире и согласии, помогая друг другу успешно преодолевать возникающие в процессе осмысления художественного произведения трудности. Благодаря этому «синтезу» С. Семанову удалось подготовить исследование, которое является надежным путеводителем по сюжетно-композиционным лабиринтам «Тихого Дона», по разветвленной системе образов, выведенных в нем, — без этого путеводителя теперь не может обойтись ни один серьезный шолоховед.

Научное значение монографии С. Семанова заключается прежде всего в том, что она создает неплохую основу для текстологических разысканий, для реального комментария и способна сослужить

добрую службу при подготовке академического Собрания сочинений писателя или академического издания «Тихого Дона». Совершенно очевидно, что предпринятое исследование потребовало от С. Семанова кропотливого изучения литературных и исторических источников (в том числе и архивных) и велось на протяжении долгого времени. При осуществлении своего замысла он не раз обращался за советами и помощью к М. А. Шолохову, чьи суждения и замечания нашли отражение в тексте книги «В мире „Тихого Дона“».

Исходя из того, что с течением времени к «Тихому Дону» понадобились основательные исторические комментарии-справки, без которых недостаточно глубоко прочитываются художественные образы и в восприятии читателя даже размывается сюжет произведения, С. Семанов в самом начале своей книги (глава «Жизненный уклад») уясняет сложный сплав исторических, социальных и иных причин, сформировавших донского казака начала XX века, всесторонне осмысляет предмет шолоховского изображения. В центре внимания исследователя оказались славные и бесславные традиции донского казачества, его история и «предыстория», его быт, обычаи, этнос, его социально-классовая природа, его мировосприятие и т. д. В строгом соответствии с концепцией создателя «Тихого Дона» С. Семанов подчеркивает, что действие шолоховской эпопеи разворачивается в той среде, где новое прививалось особенно медленно и драматично: «...в силу определенных исторических причин... донское казачество в значительной части восприняло революционную новь враждебно. Старое держалось тут особенно долго. Отсюда и отбор определенных сторон жизни для изображения» (с. 6). Многие коллизии трагической эпопеи обусловлены тем, что казачество являлось своеобразной «народной аристократией» — необычным воинско-крестьянским сословием, существо-

* Семанов С. Н. В мире «Тихого Дона». М.: Современник, 1987. 253 с.

вавшим только в России. Характеризуя жизненный уклад, старый быт донского казачества, С. Семанов на конкретных примерах показывает, что незнание исчезнувших исторических реалий или пренебрежение ими приводит не только к фактическим ошибкам, но и к искажению идейно-художественного содержания произведения. Весьма подробный анализ социально-исторических, этнографических, национальных, географических и других координат «Тихого Дона» нужен С. Семанову для того, чтобы создать надежную базу для реального комментария и как можно объективнее подойти к оценке главного героя эпоса — Григория Мелехова.

Вторая глава книги — «Семейное устроение» — является естественным продолжением и развитием первой. Здесь исследователю удалось сказать очень много нового и ценного для понимания важнейших «скреп» в художественном мире Шолохова. Посмотрев на «Тихий Дон» под соответствующим углом зрения, С. Семанов пришел к выводу, что идея *семьи, дома* центрирует самые разные пласты шолоховской эпопеи. Семья, как наглядно показывает автор монографии, выступает основой основ народного бытия в мире «Тихого Дона», для героев которого человеческая жизнь немаловажна без семейного начала.

«Каждая отдельная личность, — указывает С. Семанов, — воспринималась тут не только в своей самоценности, но непременно как часть общего — семьи, рода. Отношения между родственниками — ближайшими и дальними — важнейшая часть народного быта. Эти отношения четко определялись вековыми обычаями, нарушения их считались существенным грехом. Родственное ставилось выше товарищества, влюбленности, деловых взаимоотношений, землячества, соседства и т. д. Естественно, что даже самое отдаленное родство строго учитывалось и предполагало соответствующее внимание и обрядность» (с. 25). Не впадая в идеализацию, литературовед раскрывает «механизм» казацко-крестьянской семьи, изображенной Шолоховым: анализирует многочисленные сцены семейных советов (все более или менее существенные вопросы и споры выносились у казаков на семейный суд, прямо и обстоятельно обсуждались); особо подчеркивает такую характернейшую и нагляднейшую черту семейного быта шолоховских героев, как полная открытость их поступков и суждений; скрупулезно прослеживает диалектику семейного и товарищеского в сознании и судьбах шолоховских персонажей и т. д. Свои оригинальные наблюдения над семейным укладом, звучащие в наши дни весьма актуально, С. Семанов подытоживает следующим образом: «...при несомненной и заслуживающей сожаления грубости нравов семейное устроение в мире „Тихого Дона“ отличалось гармоничностью, душевной теплотой и

чистотой. Семья создавала прочный заслон проникновению в глубины народной жизни любых разлагающих и разрушительных влияний» (с. 49).

Всестороннее осмысление идеи семьи и идеи дома (которые, кстати сказать, не менее важны и при анализе «Донских рассказов», «Поднятой целины», «Судьбы человека» и глав незавершенного романа «Они сражались за Родину») позволило С. Семанову внести целый ряд существенных коррективов в традиционное истолкование некоторых шолоховских образов. Прежде всего это коснулось Аксиньи Астаховой — «первой и последней» любви Григория Мелехова. О ней, как известно, принято говорить только в возвышенных тонах. Однако этот образ, на «снижение» которого пошел С. Семанов, не так прост и однозначен. Шолоховское отношение к героине также далеко от идеализации и всепримирения. Через призму семейного начала видны те черты характера Аксиньи, которые почти всегда ускользают и от внимания исследователей, и от внимания читателей. Оказалось, что в судьбе романтизированной Аксиньи Астаховой очень много сходного с судьбой Дарьи Мелеховой.

«Ранняя смерть уносит детей Дарьи и Аксиньи словно в наказание за небрежение к материнскому долгу, — с полным основанием пишет С. Семанов. — Бездетность как отсутствие укоренения в семью, в дом жестоко мстит обем, а сходство в поведении их (при всей вроде бы полярности некоторых личных качеств) очевидно. Дарья, овдовев, охотно оставляет семью, пускаясь в рискованные, но полные приятных для нее приключений путешествия. Аксинья, после бегства Григория из дома осенью двадцатого года, детей его берет к себе. Дети привязались к ней, стали называть ее «мамой». Однако появился Григорий, и она оставила обоих, нисколько не колеблясь и не думая об их судьбе. Невозможно предвидеть такой поступок у Натальи, у Ильиничны, даже у молодой и еще бездетной Дуняшки — эти классические героини шолоховского мира прежде всего живут интересами семьи, дома, они не способны оставить этот мир даже ради мужчины, мужа, хотя все трое любят глубоко... По сути, и Аксинья, и обаятельная, но распутная Дарья очень схожи. Обе выбираются из общепринятой в их среде судьбы, обе гибнут одинокими, не оставив родовых корней» (с. 35—36). Представляется, что подобное «снижение» образа Аксиньи, согласующееся со всем строем произведения и естественно вытекающее из соотношения ее судьбы с судьбами других женщин в мире «Тихого Дона», значительно углубляет наше понимание одного из самых ярких характеров в мировой литературе. Точку зрения С. Семанова можно было бы подкрепить и одним шолоховским суждением, относящимся к середине 30-х го-

дов: отвечая на вопрос корреспондента о дальнейших судьбах героев «Тихого Дона» (четвертая книга еще не была завершена), писатель не случайно заметил, что Аксиныне ребенка он все равно не даст...

Если две первые главы книги С. Семанова посвящены главным образом рассмотрению социальных условий жизни донского казачества и их отражению в «Тихом Доне», то остальные главы охватывают круг проблем, связанных преимущественно с поэтикой произведения.

Предметом анализа в третьей главе, как явствует уже из ее названия («Течение времени»), является построение хронологического календаря «Тихого Дона», ибо понятие времени в мире шолоховской эпопеи весьма специфично и существенно отличается от обычных представлений. С. Семанов справедливо замечает, что «по всему тексту „Тихого Дона“, с первых же страниц и до последних, разбросаны хронологические приметы — как прямые, так и косвенные» и что «календарный отсчет, как сетка параллелей и меридианов на глобусе, четко прослеживается во всем течении шолоховской эпопеи» (с. 57, 56). Чем можно объяснить столь четкий, детализированный календарь, свойственный структуре «Тихого Дона», невероятно большое количество всякого рода датировок и в отношении реальных, и в отношении вымышленных событий и персонажей? Конечно же, прежде всего тем, что эпопея Шолохова — это историческое произведение. Не менее важно и другое обстоятельство: основными героями «Тихого Дона» выступают земледельцы, «расписание» повседневного труда которых было полностью связано с природой, с сезонной изменчивостью погоды, со сменой времен года и целиком зависело от них. Вот почему календарь шолоховской эпопеи так полно, до мельчайших подробностей, воспроизводит календарь труженника земли. Создатель «Тихого Дона» датирует даже то, что у большинства писателей проходит, так сказать, в общей форме, без «привязки» ко времени.

Вчитываясь в текст Шолохова, автор монографии делает вывод о том, что в «Тихом Доне» существуют два временных отсчета — «внешняя», календарная хронология и «внутренняя», народная хронология. Первая доминирует при описании реальных исторических событий (империалистической войны, двух революций и гражданской войны), по ней живут все действительно существовавшие герои. В остальных случаях господствует «внутренняя» хронология, которая, наиболее точно соответствуя условиям народной жизни изображаемой Шолоховым эпохи, является важнейшей в эпопеи, ей подчиняются едва ли не все вымышленные герои. «В мире „Тихого Дона“, — развивает свою мысль

С. Семанов, — люди жили по природному, а не механическому календарю. Вот почему „внутренняя“ хронология романа сложнее, она не столь очевидна и определена, как „внешняя“, календарная, но столь же точна. „Внутренняя“ хронология — это народное представление о времени, которое оперирует не отвлеченными категориями (век, квартал, декада, эпоха, период и т. п.), а вполне определенными, ясными понятиями: зима, позапрошлая осень, понедельник, рождество, сенокос, жатва, до войны и пр. Эта хронология, естественно, не ведала писаного календаря со строгим чередованием месяцев, кварталов и полугодий, как не делился и день на часы и минуты, столь привычные для современного человека. Последовательность событий строго хранилась в памяти, но лишь в соотношении одного события с другим» (с. 61). Разумеется, между «внешним» и «внутренним» временем нет китайской стены: та и другая хронологии нередко смыкаются. Подобно тому как вымышленные герои в событиях «встречаются» с героями и событиями подлинными, два хронологических отсчета (народный и календарный) «встречаются» друг с другом, перешлетаясь между собой. Большой интерес представляют и рассуждения С. Семанова о таком слагаемом «внутреннего» календаря, как чередование будничного и праздничного времени, снимавшее у земледельца ощущение монотонности занятий.

Проанализировав художественное время «Тихого Дона», автор книги обнаружил во всем тексте объемного произведения лишь две хронологические сшивки.

Треть монографии занимает глава «Историческая подоснова», в которой «Тихий Дон» рассматривается как одна из вершин исторической прозы. В результате обстоятельного анализа С. Семанов приходит к заключению, что народно-героическая эпопея Шолохова — это «произведение, в равной мере соединяющее в себе высшую художественность с выдающимся явлением историографии — летописанием» и что, благодаря своей удивительной исторической достоверности, она может служить «важнейшим источником для изучения истории русской революции и гражданской войны» (с. 66, 147).

Истоки беспримерного по глубине историзма шолоховской эпопеи С. Семанов ищет прежде всего в биографии писателя: «М. Шолохов сам был не только очевидцем описываемых событий... но был также — и это следует особо подчеркнуть — земляком своих героев, он жил их жизнью, он был плоть от их плоти и кость от их кости. Тысячеустая молва развороченного революцией мира доносила до него такие „факты“ и такие „сведения“, с конми не могли соперничать архивы и библиотеки целого

света» (с. 114). Пиетет перед Шолоховым не помешал, однако, автору книги указать на те малочисленные фактические ошибки, которые есть в «Тихом Доне» (встречаются они и в «Войне и мире» Л. Н. Толстого) и первопричина которых заключается в том, что его создатель нередко использовал народные предания, устные рассказы и т. п.

Особенно удались С. Семанову те страницы монографии, где речь идет о предосылках и причинах Вешенского мятежа, об антитроцкистских мотивах «Тихого Дона». Опираясь на богатый и разнообразный документальный материал, автор книги убедительно доказывает, что «бессмысленная, не вызванная никакой политической необходимостью жестокость сознательно провоцировалась в ту пору на Дону деятелями троцкистского толка» (с. 120). Что же касается интерпретации образа Михаила Кошевого, предложенной С. Семановым (вслед за некоторыми другими исследователями), то она, прямо скажем, не выдерживает серьезной критики, ибо не подтверждается текстом произведения и противоречит отношению Шолохова к своему отнюдь не простому, но все же *положительному* герою.¹ О некоторых действиях, поступках и чертах характера Кошевого С. Семанов судит по чисто внешним признакам, вот почему — без достаточной для этого аргументации — этот литературный герой, являющийся «чернорабочим» революции, «пристегивается» к троцкизму.

Раскрывая насыщенную реальную подоснову «Тихого Дона», С. Семанов привлекает очень большое количество работ, принадлежащих перу как историков, так и филологов, демонстрируя при этом и блестящее знание литературы вопроса, и уважительное отношение к сделанному своими предшественниками. Неоднократно обращаясь к фундаментальной монографии В. В. Гуры «Как создавался „Тихий Дон“», С. Се-

манов справедливо подчеркивает ее позитивные стороны, говорит о большом вкладе этого ученого в развитие шолоховедения, чьи работы — в пылу острых и горячих полемик — или недооценивались, или даже искажались.²

В главе «Историческая подоснова», являющейся центральной в книге и наиболее близкой к предшествующим работам ее автора, С. Семанову удалось избежать тех перекосов и крайностей, которые отчетливо обнаруживают себя в некоторых исследованиях последних лет. Сравнительно недавно появилось большое количество различных статей, где убедительно демонстрируется историко-документальная оснащенность «Тихого Дона», отличающегося строгой хронологией, прототипичностью героев, главных и второстепенных, сцен, хуторов, отдельных сцен, эпизодов и т. д. И это отрадно: шолоховедению не всегда хватало точности, опоры на факты, проверяемости выводов и наблюдений. Вскоре, однако, стало выясняться, что бесспорные достоинства — при несоблюдении чувства меры — легко оборачиваются недостатками и даже серьезными издержками. Критики, уделившие этому вопросу чрезмерное внимание и сделавшие его едва ли не самоцелью всех своих научных разысканий, слишком преувеличили роль прототипов в творческой практике создателя «Тихого Дона». А ведь очень важно за исторической конкретикой, которой так богата шолоховская эпопея, не просмотреть и философскую глубину «Тихого Дона».

В главе «Действующие и упоминаемые лица в „Тихом Доне“» С. Семанов — в целях более основательного изучения произведения — проводит «перепись населения» шолоховской эпопеи, т. е. подсчитывает всех без исключения ее героев: главных, второстепенных и эпизодических; исторических и вымышленных; действующих и упоминаемых (большинство из них упомянуто в тексте только один раз). Выявляя всех героев и группируя их по различным признакам (пол, сословие, общественное положение и т. д.), С. Семанов предлагает читателю сводные данные о составе и системе персонажей «Тихого Дона». Своеобразным приложением к этой главе является «Алфавитный перечень персонажей» (с указанием частей и глав произведения, в которых фигурирует тот или иной герой, и с выделением курсивом имен подлинных исторических лиц). Кроме того, здесь же С. Семанов дает таблицы числа упоминаний основных героев «Тихого Дона» (членов семей Мелеховых и Коршуновых, окружения

¹ В известном письме к М. Горькому от 6 июня 1931 года Шолохов счел нужным отметить: «В 6-й части» я ввел „щелкоперов от советской» власти“ (парень из округа, приехавший забирать конфискованную одежду, отчасти обожженный белыми луганец, комиссар 9-й армии Малкин — подлинно существовавший и продельнявшийся то, о чем я рассказал устами подводчика-старовера, член малкинской коллегии, тоже доподлинный тип, агитировавший за социализм столь оригинальным способом), для того, чтобы, *противопоставив им Кошевого, Штокмана, Ивана Алексеича и др.*, показать, что не все такие „загибчики“ и что эти самые „загибчики“ искажали идею советской власти» (*Шолохов М. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1986, т. 8, с. 28—29; курсив мой, — П. В.*).

² Недостаточно объективную оценку книга В. В. Гуры «Как создавался „Тихий Дон“» получила, к сожалению, и на страницах журнала «Русская литература» (1983, № 2, с. 25—27).

Григория Мелехова, революционеров) и таблицу имен по числу на каждую букву алфавита. Значение словаря действующих и упоминаемых лиц, составление которого было делом очень сложным и трудоемким, невозможно переоценить: помогая свободно ориентироваться в необозримом пространстве шолоховской эпопеи, он будет служить хорошим справочником для всех, кто стремится глубже войти в мир «Тихого Дона».

К сожалению, в текст монографии вкрались опечатки, одна из которых имеет весьма серьезный характер и способна дезориентировать читателя. В конце «Алфавитного перечня персонажей» (с. 219) автор замечает: «Следовательно, общее число вывлеченных героев романа составляет 110» (надо: 710, — П. Б.). Необходимо также сказать, что не все арифметические подсчеты С. Семанова представляют филологический интерес: некоторые из них (например, таблица имен героев «Тихого Дона» по числу на каждую букву алфавита) имеют самостоятельный характер и не могут найти практического применения.

Заключительная глава «Григорий Мелехов в зеркале литературной критики в период создания и завершения романа (1928—1941)», насыщенная богатым фактическим материалом и лишенная полемических крайностей, представляет собой, по сути дела, аналитический обзор первых откликов на печатавшиеся части «Тихого Дона». При рассмотрении весьма пестрых и противоречивых суждений критиков конца 20-х—начала 40-х годов (первый период в осмыслении эпопеи Шолохова) С. Семанов, строго придерживаясь принципа историзма, т. е. постоянно делая поправку на время, проявляет, как правило, и объективность, и умение в прошедших спорах выделить то, что сохраняет определенную актуальность для сегодняшнего дня. Внимание автора сосредоточено не только на материалах известной дискуссии на страницах «Литературной газеты», но и на многочисленных рецензиях и статьях в других периодических изданиях. К числу лучших работ той поры С. Семанов совершенно справедливо относит статьи В. Ц. Гоффеншефера, Б. С. Емельянова, Ю. Б. Лукина, В. Р. Щербины и др.

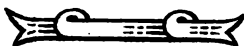
Существенно дополняя, корректируя и конкретизируя соответствующие страницы известного «Семинария» по Шолохову, в свое время подготовленного В. В. Гурой и Ф. А. Абрамовым, глава «Григорий Мелехов в зеркале литературной критики...» имеет не только историко-литературный интерес. Она вторгается

в современные споры о «Тихом Доне», помогая увидеть истоки, родословную некоторых концепций, возникших уже в послевоенные годы.

Как известно, анализ первых откликов на то или иное произведение является составной частью комментария, всегда сопровождающего научное издание классика. Вот почему работа, сделанная С. Семановым, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Необходимо, однако, отметить, что данный раздел книги С. Семанова не свободен от некоторых недостатков — отдельных спорных оценок, кое-каких фактических неточностей, досадных опечаток. Так, например, вряд ли кто согласится с тем, что говорится о статье Л. М. Мышковской (автор называет ее «Л. Мышковецкой») «Михаил Шолохов»: «...совсем слабенькая статья», которая насыщена «бессодержательными комплиментами» (с. 235). В упоминавшемся «Семинарии» по Шолохову мы находим более справедливую оценку: «Работы Л. Мышковской... по своему уровню значительно выше статей и рецензий о Шолохове, публиковавшихся в конце 20-х и начале 30-х годов. Они интересны прежде всего стремлением проследить творческий путь писателя, выявить основные особенности его писательской манеры».³ Нельзя полностью перечеркнуть и статью В. Я. Кирпюгина «„Тихий Дон“ М. Шолохова», в которой, помимо ошибочных и устаревших суждений, содержатся ценные наблюдения и выводы на тему «Пейзаж в произведениях Шолохова». Можно было бы внести и некоторые другие поправки такого рода. Странно, что известный роман О. Бальзака «Шуаны» С. Семанов упорно называет «Шаунами» (с. 237—238, 250).

Немного на эти и другие частные недочеты, свойственные книге С. Семанова, на неравноценность входящих в нее глав-очерков, на известную ее неполноту, она, вне всякого сомнения, займет видное место в обильной шолоховедческой литературе наших дней, которая все смелее и чаще обращается к решению фундаментальных, ключевых проблем. Благодаря этому путеводителю по «Тихому Дону» изучение эпопеи М. А. Шолохова поднимается на качественно новый уровень: о ней исследователи уже начинают писать так, как принято писать у нас только о классических произведениях XIX века.

³ Гуря В. В., Абрамов Ф. А. М. А. Шолохов: Семинарий. 2-е изд., доп. Л., 1962, с. 41—42.



Х Р О Н И К А

ТРЕТЬИ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ «ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ» В СТАРОЙ РУССЕ

26—29 мая 1988 года в Старой Руссе прошли Третьи научные чтения «Достоевский и современность», организованные Старорусским Домом-музеем Ф. М. Достоевского, управлением культуры Новгородского облисполкома при участии группы по изданию Полного собрания сочинений Достоевского в Пушкинском Доме. Особенностью нынешних чтений, проводимых в рамках Праздника славянской письменности и культуры, стало участие в них не только советских ученых-достоевистов из Москвы, Ленинграда, Петрозаводска, Орла, Саратова, Воронежа, Владимира, Кипишева, Омска, Тюмени и других городов Советского Союза, но и литературоведов из США, впервые представлявших на этих чтениях американскую науку о Достоевском. На открытии в конференц-зале председатель горисполкома В. А. Обьедков поздравил гостей и участников чтений, пожелал им успешной работы.

Первое слово было предоставлено профессору университета имени Джорджа Вашингтона, ученому секретарю Международного общества Достоевского (МОД) Н. Натовой (Вашингтон, США), приветствовавшей собравшихся и осветившей кратко историю Общества и характер его деятельности. Основанное в 1971 году МОД проводит симпозиумы каждые три года, в нем около 30 стран. Рабочие языки — русский, английский, французский и немецкий. Состоялись симпозиумы в ФРГ, Австрии, Дании, Италии, Франции, Англии. Общество издает журнал «Dostoevsky Studies» (вышло 8 номеров). Председатель МОД в настоящее время — профессор Сорбонны компаративист Мишель Кадо (председатель переизбирается каждые 4 года). В докладах и работах участников прошедших симпозиумов освещались вопросы философии, этики, религии Достоевского; изучалась историческая реальность, на фоне которой развивается действие в произведениях Достоевского, их структура, жанр, язык, связь с произведениями других писателей XIX и XX веков, как русских, так и западноевропейских и американских. Много внимания на последнем симпозиуме 1986 года в Ноттингеме (Англия) было уделено публицистике Достоевского. Следующий международный симпозиум состоится в июле 1989 года в Любляне (Югославия),

где — заключила Н. Натова — мы надеемся вновь встретиться с нашими коллегами из Советского Союза.

Доклад «Достоевский в эпоху нового мышления» почетный председатель МОД, доктор филол. наук Г. М. Фрилендер (ИРЛИ) начал с приветствия участникам конференции от Пушкинского Дома АН СССР и академика Д. С. Лихачева. Отметив возросшую на рубеже XX и XXI веков роль единства и духовной сплоченности людей перед лицом грозящей человеческой цивилизации ядерной и экологической катастрофы, докладчик подчеркнул значение наследия Достоевского в борьбе за нравственное обновление нашего общества на началах демократии и социализма. Один из важных заветов Достоевского — его призыв к свободному мирному диалогу людей разных культур, стран и континентов. Великий писатель верно ощущал, что ответственность за судьбы мира лежит на каждом человеке, ибо человек не рожден для того, чтобы быть всего лишь бессильным «штифтом» или «фортепьянной клавишей», послушной чужой воле. Вот почему не случайно в годы сталинизма Достоевский посмертно разделил судьбу жертв сталинских репрессий, судьбу Булгакова и Платонова, Зощенко и Ахматовой, Замiatина и Пастернака. Возвращение Достоевского русской культуре, развитие науки о нем — показатели необратимости переживаемого нами обновления.

Вопросу о способности человека любить ближнего своего, занимающему центральное место в проблематике «Братьев Карамазовых», был посвящен доклад профессора Йельского университета Р. Л. Джексона (США) «Проблема веры и добродетели в „Братьях Карамазовых“». Иван Карамазов утверждает в романе, что «на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставило людей любить себе подобных и что если и была до сих пор любовь на земле, то единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие». Следовательно: «Нет добродетели, если нет бессмертия». По мнению докладчика, Достоевский считает это утверждение приемлемым лишь в качестве богословского трюизма, но как художник находит его догматическим, ограниченным и опасным и подвергает в романе критическому разбору.

Иван — жертва фатальной логики своей позиции: абсолютно вера в конкретную взаимозависимость добродетели и веры, но не обладая личной верой в бессмертие, он приходит к положению «все дозволено». Как преодолеть фатальную логику «или — или»: или вера — или людоедство, или блаженство — или нигилистическое отчаяние? Вот вопрос, который беспокоит Достоевского в романе. Через Зосиму Достоевский утверждает, что вера в Бога неотделима от любви. «Бог есть любовь». Писателю близка мысль Шиллера о том, что «добродетель несет в себе характер внутренней необходимости, даже если нет никакого бессмертия». Не добродетель через веру, а вера через любовь — таков ответ герою в романе «Братья Карамазовы».

Профессор Колумбийского университета Р. Л. Белкнап (Нью-Йорк, США) рассказал о преподавании Достоевского в высшей школе в Америке. Американские студенты и аспиранты всех специальностей изучают Достоевского в обязательном курсе «Мировая литература», для которого читают, в переводах в основном, «Преступление и наказание», «Записки из подполья». Студенты русского отделения к III курсу уже могут читать на языке подлинника; обычно дается рассказ «Кроткая». Мой любимый семинар, заметил докладчик, посвящен «Преступлению и наказанию» (42 часа, по числу глав). Можно сказать, что американские студенты знают Достоевского лучше всех иноязычных авторов.

А. Н. Хоц (Тула) рассматривает свой доклад «Пределы авторской оценочной активности в полифоническом „самосознании“ героя Ф. М. Достоевского» как попытку приблизиться к ответу на вопросы: в какой форме и насколько активно авторская концепция и авторский смысл могут быть заявлены в структуре полифонического «самосознания»; наделен ли автор художественными полномочиями заявлять свою позицию внутри «незавершенного» авторитетного «самосознания», и если — да, то насколько продуктивно? Докладчик указал на ряд актуальных проблем полифонического диалога. Это проблема взаимовлияния, соседства полифонической и монологической моделей воссоздания действительности в рамках одного произведения, одной поэтики; статус героя-оппонента в полифоническом диалоге; иерархия смыслов в мире полифонического равноправия и структура этой множественности.

С докладом «„Жестокый талант“ Достоевского и Ф. Шиллера» выступил канд. филол. наук В. В. Дудкин (Петрозаводск). Определение, данное Н. К. Михайловским Достоевскому, отметил докладчик, может показаться неуместным по отношению к Шиллеру. Между тем еще Гете говорил о «привкусе жестокости» в его таланте. Это относится к шиллеровской концепции «эстетического

воспитания»: чем ужаснее ситуация, тем глубже сострадание, тем полнее нравственное очищение. Изображение эксцессов бесчеловечности и динизма, ставших одной из основных детерминант художественного мира Достоевского, было своеобразной формой преодоления трагизма человеческого существования, возможностью дать человеку шанс на спасение, но не умозрительное, а выстраданное.

Доклад канд. филол. наук И. П. Володиной (ЛГУ) «Грация Деледда и Достоевский» был посвящен восприятию творчества русского классика сардинской писательницей Г. Деледда (1871—1936), в духовном развитии которой Достоевский сыграл важную роль. В целом ряде своих романов Деледда откликнулась на многие проблемы творчества Достоевского: нравственная свобода, долг, справедливость, вина и искушение. Под влиянием романа «Преступление и наказание» ею была написана трилогия «Заблуждение», «Плющ», «Тростник на ветру» (1901—1913), в которой основная проблематика романа Достоевского получила своеобразное развитие.

В докладе «Чужая речь в изображении Ф. М. Достоевского» канд. филол. наук Н. А. Кожевникова (Москва) на материале романа «Братья Карамазовы» рассмотрела соотношение разных проявлений повествователя и систему разных точек зрения, в которой осуществлен «принцип субъективной многоплановости» (В. В. Виноградов), характерный для русского реализма XIX века. К проявлениям субъективной многоплановости докладчица внесла: множественность оценок с включением в нее и оценки повествователя, освещение одного и того же факта с разных точек зрения, разногласиями, многократными и неравномерными повторами. В докладе рассматривалось и взаимодействие разных форм речи, создающее неповторимый субъективно-стилистический облик текста.

Характеристике созданной Достоевским формы авторского повествования посвятила свое выступление «Двусубъектное повествование в романе „Идиот“ и формы его синтаксического изображения» канд. филол. наук Е. А. Иванчикова (Москва). Как показала докладчица, повествование в романе распределено между двумя повествующими субъектами — автором и рассказчиком. Их конкретное наличие, не будучи словесно объявленным, обнаруживается лишь в самой текстовой структуре произведения: можно говорить о недекларированном авторе и мнимом рассказчике. Между повествующими субъектами наблюдается функциональная распределенность форм синтаксической образительности. В текстах, исходящих от рассказчика, синтаксическая образительность имеет преимущественно внешне-

эмпирическую направленность, в текстах от недекларированного автора — эмоциональную, служащую своеобразной формой самораскрытия героя.

В докладе И. Л. Волгина (Москва) «Достоевский: мифы и антимифы. (К проблеме научной биографии)» был поставлен вопрос о необходимости не только собрать воедино и по-новому осмыслить все первоисточники, относящиеся к биографии Достоевского, что даст новое качество их прочтения, но и радикально расширить их круг. Докладчик изложил предварительные результаты своих разысканий о ближайших предках Достоевского по отцовской линии, прежде неизвестных. Эти новые данные дают возможность восполнить почти столетний пробел в его генеалогическом родословии.

Доктор филол. наук Л. М. Лотман (ИРЛИ) выступила с докладом «А. Франс и Ф. М. Достоевский. (Опыт типологического сравнения)». Она проанализировала обращение Франса к темам и художественным идеям Достоевского, писавшего характер «контрапункта». Наиболее очевидным, как показала докладчица, было сближение Франса с Достоевским в романах «Восстание ангелов», в котором четко обнаруживается общность с «Бесами», и «Боги жаждут», герой которого во многом схож с Раскольниковым.

В докладе канд. филол. наук В. Н. Захарова (Петрозаводск) «Что открыл Достоевский в „Бедных людях“?» рассматривались историко-литературные и современные аспекты дебюта Достоевского. Среди художественных открытий и оригинальных поэтических решений докладчик особо выделил характер Макара Девушкина, в котором воплотилась новая концепция «восстановления человека». Стремительный духовный взлет героя, который на глазах читателя начинает осознавать себя в слове, Достоевский изобразил как сложный и постепенный процесс, в котором исключительную роль сыграла литература — воскрешение души словом.

О своем режиссерском осмыслении романа «Подросток» в недавней его киноинсценировке рассказал режиссер Е. И. Ташков (Москва). Эта интерпретация романа вызвала бурную полемику участников чтений.

О нравственной ответственности человека, наделенного свободной волей, о которой сознательно напоминал Достоевский, говорила в своем докладе «Проблема свободной воли и структура характера в романах Достоевского» доктор филол. наук Г. Б. Курляндская (Орел). В противовес метафизическому материализму и этическому утилитаризму Достоевский изображал человека как сознательно свободное существо, способное преодолевать влияние «среды» и быть готовым к самостоятельному решению и действию, что, по мнению докладчицы,

служит проявлением абсолютной духовности. Иными словами, человек может поступать в соответствии со своим предписанием о нравственном законе, с голосом совести. Загадочность поведения героев Достоевского определяется до некоторой степени содержанием согласно сплетенных сфер человеческого сознания, подсознательных побуждений, идеологических устремлений.

Канд. филол. наук Г. Б. Пономарева (Москва) выдвинула в своем докладе «Житийные черты Ивана Карамазова» предварительное положение: только образ Ивана позволяет рассмотреть роман «Братья Карамазовы» целостно в житийном свете. Увидеть в Иване проступающие черты житийного человека значит уточнить представление о его богоборчестве. Житийность Ивана, давно признанного классической фигурой отрицателя и бунтаря, утверждается как подлинная, а не стилизованная.

В докладе канд. филол. наук Р. Я. Клейман (Кишинев) «Жанровые традиции Достоевского в повести М. Булгакова „Собачье сердце“» был обоснован тезис о принадлежности булгаковской повести к жанру менипповой сатиры. На генетическом уровне в докладе проводится сопоставление Шариков — Смердяков, обнаруживается целый пласт реминисценций, восходящих к Достоевскому. Особый реминисцентный ряд повести, как показала докладчица, восходит к «Дядюшкиному сну».

Доклад «По поводу „литературной кадрили“» Г. Л. Боград (Ленинград) был посвящен анализу фельетона «Литературная елка», опубликованного в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1859) за подписью Н.-ль и послужившего, вероятно, одним из источников «кадриль литературы», упоминаемой в «Бесах». Целый ряд приемов, использованных в фельетоне, его архитектоника, близкие фельетонной манере Д. Минаева, позволили Г. Л. Боград предположить полное или частичное его авторство, а наличие в нем в то же время идей, образов, фразеологии, напоминающих стиль Достоевского, поставить вопрос: мог ли Достоевский, находившийся в Семипалатинске, принять участие в создании этого фельетона? Ответ на этот вопрос может дать только скрупулезный текстологический анализ.

Доклад канд. филол. наук Н. Ф. Будановой (ИРЛИ) «Достоевский и Константин Леонтьев» был посвящен характеристике литературных отношений и религиозных взглядов Достоевского и Леонтьева. Особое внимание Н. Ф. Буданова уделила статье Леонтьева «О всемирной любви» (1880) и книге «Наши новые христиане» (1882), в которых Леонтьев, как известно, подверг резкой критике религиозные взгляды Достоевского и Л. Н. Толстого. Докладчица проанализировала отклики Достоевского на статью Леонтьева, что позволило ей

установить принципиальные различия во взглядах Достоевского и Леонтьева на некоторые коренные проблемы человеческого бытия. В заключение Н. Ф. Будаnova поставила вопрос о необходимости отказа от леонтьевских формул — «розовое» и «новое» христианство — в применении к религиозным взглядам Достоевского, о необходимости современной научной разработки темы «Достоевский и религия».

В докладе «Достоевский в творческом становлении Булгакова» канд. филол. наук А. А. Жук (Саратов) проанализировала некоторые темы и мотивы «петербургской поэмы» Достоевского «Двойник», преломившиеся в повести Булгакова «Дьяволы». Докладчица пришла к выводу, что система художественных средств, найденная молодым Достоевским, помогла Булгакову в момент его писательского становления строить законы своей прозы.

Молодая американская исследовательница из Колумбийского университета Д. Мартинсен (Нью-Йорк, США) в докладе «Полемика о простоте и упрощенности в „Дневнике писателя“» дала анализ отношения Достоевского к теме простоты и упрощенности в связи с делом Корняловой. В ряде статей писатель доказывает, сколь опасна «простота», т. е. упрощенность мировоззрения, ведущая к трагической разобщенности людей, и предлагает смотреть «по правде, по-человечески», что поможет взаимопониманию людей, их единению.

Теме «Шиллеровское начало в романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“» посвятила свой доклад асп. Е. И. Лысенкова (Ленинград). Основное внимание в нем было уделено шиллеровским мотивам и реминисценциям в романе, раскрытие которых способствует, как показала докладчица, более глубокому постижению авторского замысла. Подробно был освещен один из важнейших аспектов указанной темы: «шиллеровское» в структуре центральных образов романа и прежде всего — Дмитрия Карамазова.

С большим интересом было выслушано сообщение правнука писателя Д. А. Достоевского «Внук писателя (Андрей Федорович Достоевский)», сделанное им на основании личных архивных материалов.

На отдельном заседании были заслушаны доклады, посвященные проблемам изучения романа «Бесы».

В докладе канд. филол. наук Л. И. Сараскиной (Москва) «„Бесы“: как работает роман сегодня» был дан анализ современных аспектов идеолого-политической программы Шигалева-Верховенского, ее преломлению в произведениях Замятина, Платопова, Можаяева.

Сообщение «Реальные источники „Исповеди Ставрогина“» канд. филол. наук Г. В. Коган (Москва) основано на мате-

риалах периодики, поразивших Достоевского еще в начале 1860-х годов и в период его работы над романом «Преступление и наказание». Вновь эти, отраженные в газетной хронике факты возникли в творческом сознании писателя при создании некоторых сцен и образа Матрешы в IX главе «Бесов». Изучение этой «загадочной» главы в тесной связи с газетными источниками позволяет показать, заключила докладчица, связь романа «Бесы» с «Преступлением и наказанием».

В центре доклада канд. филол. наук А. П. Валагина (Воронеж) «Проблемы читательского и научно-критического осмысления романа Ф. М. Достоевского „Бесы“» — существующая односторонность и неполнота его истолкования, вызванные, по мнению докладчицы, «отслоением» отдельных аспектов изучения романа — идеологического, публицистического, политического. Путем преодоления этой традиции, считает А. П. Валагин, должно стать постижение образно-художественного мира произведения во всей его полноте через осмысление принципов построения романа «Бесы», изучение важнейших элементов его поэтики, объединившей различные идейно-тематические уровни в целостную эстетическую структуру.

С докладом «О „составе“ „поэмы“ в романе „Бесы“» выступила канд. филол. наук И. Л. Альми (Владимир). Слово «поэма», отметила докладчица, в применении к собственным произведениям утверждается у Достоевского в пору работы над «Бесами». «Поэма» — не как ядро замысла на одном из этапов его развития (трактовка А. С. Долинина, В. Я. Кирпотина), а как определенное качество создаваемой романной формы. Присущий идеологическому роману Достоевского «пласт» «поэмы» реализуется через систему художественных средств разного рода. Наиболее очевидное среди них — цепь стихотворных вставок, менее четко вычленяются эквиваленты поэзии в прозаическом повествовании.

С докладом «Поэтика названия глав в романе Ф. М. Достоевского „Бесы“» выступила канд. филол. наук Е. И. Акелькина (Омск). Как показала докладчица, в названии романа задана установка на множественность враждебных начал и некое безликое единство всех их представителей. Слово в заглавии — многоголосое и многоаккурное. В нем, как всегда у Достоевского, взаимодействуют разные точки зрения. Названия глав не только реализуют уровень культуры рассказчика-хроникера, намекают на предмет рассказа, но и содержат второе, «всемирное», измерение, выявляют внутреннюю диалектику явлений, прослеживают их начала и концы, связь причин и следствий.

В докладе канд. филол. наук В. А. Викторoviча (Коломна) «„Бесы“ и антинигилистический роман» «Бесы» рас-

смагивались как идейно и художественно высшая точка «антинигилизма» в русском романе. В. А. Викторovich отметил, что Достоевский использовал и переработал некоторые устойчивые мотивы и жанровые формы данного направления, особенно мотив перерождения революционного «чистого» нигилизма в нигилизм «мошеннический», антигуманный.

Канд. филол. наук В. А. Михнюкевич (Челябинск) в своем докладе «Фольклор в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского „Бесы“» говорил о месте фольклорных мотивов в романе. Наряду с текстами Евангелия и Апокалипсиса русский фольклор выполняет роль смыслового контрапункта. Использование Достоевским фольклора — от простых цитат до участия фольклорных мотивов и образов в символизирующей генерализации художественной мысли писателя — двунаправлено: в фольклорных отражениях средоточие народной правды и в них же — средство сатирического разоблачения.

В докладе «Ф. М. Достоевский и Альберт Швейцер. (Отношение к злу как нравственная проблема)» канд. философ. наук В. Г. Безносков (Ленинград) обратил внимание на специфику решения обозначенной проблемы великими гуманистами. Для Достоевского этика начинается со свободы и далее через альтернативу добра и зла — к добру, к Благу, к Свету; для А. Швейцера же Добро значимее, оно — программа, его не надо проверять свободой, оно — первично. В этике Швейцера выбор добра осуществляется, в отличие от Достоевского, без диалектики добра и зла, без противоречий. Для Достоевского свобода трагична, для Швейцера — тихая, светлая Благодать, снимающая зло.

Теме «Роман „Униженные и оскорбленные“ в контексте позднего творчества Ф. М. Достоевского» посвятила свое выступление науч. сотр. Музея Достоевского Р. Г. Гальперина (Ленинград). Докладчица рассматривает роман как переходное произведение в плане характерно-п сюжетосложения, с одной стороны, и в плане «топографии» как одного из способов создания образов, развития действия — с другой. В докладе было показано, что Достоевский в этом романе создал первый вариант трагедии личности. Во второй части была выявлена «зашифрованная» топография романа: «адреса» главных героев, показана их условность и вместе с тем привязанность к петербургской реальности.

В центре доклада канд. филол. наук Т. В. Захаровой (Тюмень) «Три „приговора“ (Л. Толстой — Вл. Соловьев — Ф. Достоевский)» — проблема диалога русской художественной и философской мысли в вопросе о человеке в 70-е годы XIX века. В докладе рассматривается «диалогическая встреча» трех искателей истины о человеке и жизни в «формуле» противоречия личности: Л. Толсто-

го (через анализ «Анны Карениной»), Вл. Соловьева («Чтения о богочеловечестве») и Ф. Достоевского (в этюде «Приговор»). Т. В. Захарова подчеркнула не столько контактную, сколько типологическую природу открытия в русском художественном и философском сознании 70—80-х годов трагической структуры предельно отчужденной личности.

Науч. сотр. Музея Достоевского Г. В. Украинский (Ленинград) в своем докладе «Старец Зосима и епископ Игнатий Кавказский», посвященном разысканиям в области прототипики одного из важнейших образов в творчестве Достоевского, указал, что известные по научной литературе прототипы старца Зосимы — Амвросий Оптинский, Тихон Задонский, Зосима Тобольский и др. — не объясняют биографической части образа Зосимы и ее важнейший мотив: обращение военного в монахи. Наиболее известной историей ухода офицера в монахи в России в XIX веке была история подпоручика Д. А. Брянчанинова, в монашестве Игнатия. Личность Игнатия была широко известна в русском обществе: о нем писали А. И. Герцен, Н. С. Лесков, без сомнения, знал о нем и Достоевский, книги Брянчанинова были в библиотеке писателя. При сравнении биографий старца Зосимы и епископа Игнатия обнаруживаются поразительные совпадения — совпадают место рождения, происхождение, офицерские звания, время ухода в монахи, место монашества. Исповедь и завещание Зосимы отчасти восходят к духовным сочинениям Игнатия («Плач мой» и др.).

Доклад В. В. Инютина (Воронеж) «Особенности гротеска в рассказе Ф. М. Достоевского „Бобок“» был посвящен анализу гротескного мира рассказа, представляющего собой специфическое соединение авторской намеренности, неизбежной для произведения условной формы, и саморазвития художественного материала, его непредсказуемости. Диалектика соединения этих черт и определяет, по мнению докладчика, своеобразие гротеска писателя.

Всего в программе «Чтений» числится свыше 50 докладов и сообщений. Наш обзор не претендует на полноту и неизбежно носит избирательный характер. Не имея возможности подробно охарактеризовать выступления всех участников конференции, ограничимся лишь перечнем остальных докладов, которые были и содержательны, и интересны.

На заседаниях заслушаны доклады канд. философ. наук Ю. Ф. Карякина (Москва) «Достоевский и новое мышление», доктора философ. наук Э. Ф. Володина (Москва) «Идеологические альтернативы в романе Ф. М. Достоевского „Бесы“», писателя Г. В. Алехина (Ленинград) о влиянии Достоевского на его творчество, В. Н. Поварова (Ленинград) «О влиянии Достоевского на Булгакова»

в романе „Мастер и Маргарита“, канд. медицинских наук О. Н. Кузнецова (Ленинград) «Социально-медицинские аспекты „бесовских“ и „антибесовских“ сил в романе „Бесы“», Т. А. Касаткиной (Москва) «Свидригайлов-ироник», С. П. Лавлинского (Кемерово) «Нетрадиционная ситуация исповеди в романе Ф. М. Достоевского „Бесы“ (на материале главы «У Тихона)», канд. филол. наук В. В. Борисовой (Павлодар) «Ф. М. Достоевский и Коран», канд. филол. наук М. Ю. Лучникова (Кемерово) «О статусе повествующего лица в романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“», В. С. Вайнермана (Омск) «Пропавшие письма Ф. М. Достоевского. Легенда и быль», В. М. Лурье (Ленинград) «От отца Савелия к отцу Зосиме (позднее творчество Достоевского и современное ему православие)», канд. филол. наук А. В. Денисовой (Ленинград) «К творческой истории фрагмента „Мальчик у Христа на елке“ в „Дневнике писателя“ Ф. М. Достоевского», члена союза журналистов, критика Б. Л. Клещенко (Москва) «„Житейские мелочи“. К пробле-

ме изучения двух писателей», канд. филол. наук Н. Н. Старыгиной (Йошкар-Ола) «„Зимние заметки о летних впечатлениях“ Ф. М. Достоевского и „Русское общество в Париже“ Н. С. Лескова», канд. филол. наук Н. В. Шенцевой (Йошкар-Ола) «О традиции Достоевского в повести Л. Леонова „Конец мелкого человека“».

В обсуждении докладов приняли участие: Л. И. Сараскина, Е. И. Акелькина, И. Л. Волгин, Ю. Ф. Карякин, Л. М. Лотман, Б. Ф. Егоров, И. Л. Альми и др. Итоги чтений подвел Г. М. Фридлендер.

В заключение отметим, что «Старорусские чтения», прекрасно организованные и проведенные, явились значительным событием в культурной жизни Старой Руссы. Они несомненно будут способствовать дальнейшему развитию науки о Достоевском и укреплению творческих связей между советскими и американскими учеными.

С. А. Полозкова



**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 1988 ГОДУ**

СТАТЬИ

	№	Стр.
Альфонсов В. Н. «Запись со многих концов разом» (Принципы поэтического повествования в «Спекторском» Бориса Пастернака)	3	32
Ветловская В. Е. Повесть Гоголя «Шинель» (трансформация пушкинских мотивов)	4	41
Ветловская В. Е. Пушкин. Проблемы истории и формирование русского реализма	1	5
Власова З. И. Скоморохи и сказка	2	58
Вступая в четвертое десятилетие	1	4
Егоров Б. Ф. Н. И. Соловьев — литературный критик	3	60
Михайлов А. А. «Это время гудит...» (поэма Маяковского «Хорошо!»: Взгляд из 80-х)	3	3
Михайлов А. И. Творческий путь Сергея Клычкова и революция	4	17
Овчаренко А. И. О психологизме и творчестве Юрия Трифонова	2	32
Павловский А. И. Булгаков и Ахматова	4	3
Павловский А. И. О романе Чингиза Айтматова «Плаха»	1	92
Панченко А. М. Эстетические аспекты христианизации Руси	1	50
Пропп В. Я. Природа комического у Гоголя (публикация В. И. Ереминой)	1	27
Скобелев В. П. В поисках романа (Н. Степной, П. Дорохов, Артем Веселый)	1	79
Творогов О. В. Что же такое «Влесова книга»?	2	77
Фридлиндер Г. М. Батюшков и античность	1	44
Штейнгольд А. М. Диалогическая природа литературной критики	1	60
Яблочкин Е. А. «Я — часть той силы...» (этническая проблематика романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»)	2	3

К X МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Панченко А. М. Петр I и славянская идея	3	146
Творогов О. В. Свое и чужое: Переводные и оригинальные памятники в древнерусских сборниках XII—XIV веков	3	135

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО

Азбелев С. Н. История эпоса в неизданных рукописях А. Н. Веселовского	1	129
Емельянов Л. И. «Идеальный, истинный филолог...»	1	119
Заборов П. Р. А. Н. Веселовский и французские ученые (по архивным материалам)	1	140

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Грачева А. М. Древнерусские повести в пересказах А. М. Ремизова	3	110
Зайцев Борис. Жуковский (предисловие и примечания Ю. М. Прозорова)	2	103
	3	78
	4	70
Ремизов А. М. Савва Грудцын	3	118

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Муратов А. Б. М. Н. Альбов (творчество писателя в литературном процессе второй половины XIX века)	4	120
Ситникова Г. В. Д. Н. Бегичев (из истории русской прозы 30-х годов XIX века)	4	101
Теплинский М. В. Л. А. Ожигина (автор романа в «Отечественных записках» и корреспондентка Достоевского)	4	115

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Азадовский К. М., Тименчик Р. Д. К биографии Н. С. Гумилева (вокруг дневников и альбомов Ф. Ф. Фидлера)	2	171
Безродный М. В. Об одном источнике романа «Мастер и Маргарита»	4	205

Березина В. Г. К журнальной борьбе начала 1830-х годов (цензурная история второго номера «Московского телеграфа» за 1831 год) . . .	4	164
Берштейн Е. В. О политических настроениях Карамзина в 1793 году . . .	1	172
Бушканец Е. Г. Молодой Л. Н. Толстой и культурная жизнь Казани 1840-х годов . . .	2	150
Вацуро В. Э. Из литературных отношений Баратынского . . .	3	153
Викторович В. А. Достоевский и В. П. Мещерский (к вопросу об отношениях писателя с охранительным лагерем) . . .	1	205
Глоцер В. И. Письмо Чарской Чуковскому . . .	2	186
Головкин В. М. Идеи эволюция героя в повести И. С. Тургенева «Путин и Бабури» (материалы к реальному и историко-литературному комментарию) . . .	1	195
Грачева А. М. Традиции Л. Толстого в творчестве И. Новикова (роман «Между двух зорь») . . .	2	198
Долгополов Л. К. Е. Замятин и В. Маяковский (к истории создания романа «МЫ») . . .	4	182
Друговская А. Ю. Из истории цензурных преследований произведений И. Г. Чернышевского (по новым материалам) . . .	1	191
Иовва И. Ф. О пребывании и высылке Пушкина из Одессы (по архивным материалам) . . .	3	164
Клименко С. В. «Четырнадцать» в детском чтении Н. Г. Чернышевского	1	186
Ковалева Т. В. Неизвестное письмо А. П. Ермолова Ф. Н. Глинке (к истории публикации «Очерков Бородинского сражения») . . .	4	176
Лазарчук Р. М. Новые архивные материалы к биографии К. Н. Батюшкова (о принципах построения научной биографии поэта) . . .	4	148
Лаппо-Данилевский К. Ю. Новые данные к биографии Н. А. Львова (1770-е годы) . . .	2	135
Лихоткин Г. А. Об авторстве «Отрывка путешествия в *** И *** Т ***»	1	150
Лурье Л. Я. Народовольцы и Глеб Успенский (новые материалы) . . .	2	165
Лурье Я. С., Панеях В. М. Работа М. А. Булгакова над курсом истории СССР . . .	3	183
Мец А. Г. О составе и композиции первой книги стихов О. Э. Мандельштама «Камень» . . .	3	179
Мостовская Н. Н. Гоголь о натуральной школе . . .	1	180
Немировский И. В. Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки . . .	3	165
Николаев О. Р. К истолкованию одной детали «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя . . .	1	175
Николаев С. И. А. Нарушевич и Ф. Карпинский в «Чужой музее» В. Г. Апастаневича . . .	4	142
Николаев С. И. Об атрибуции переводных памятников Петровской эпохи	1	162
Перхин В. В. Неизвестное письмо Р. Роллана о М. Горьком . . .	4	209
Письма Л. Н. Толстого и о нем из архива В. Генкеля (публикация Розвиты Лёв (ГДР)) . . .	3	174
Письмо в защиту Н. С. Гумилева (публикация М. Д. Эльзона) . . .	3	182
Письмо А. А. Фета к А. Н. Майкову (публикация П. А. Гапоненко) . . .	4	180
Предисловие Андрея Белого к неосуществленному изданию романа «Котик Летаев» (публикация А. В. Лаврова) . . .	1	217
Разумовская М. В. Дидро: Французские параллели, отзвуки в России . . .	2	125
Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Заметки к биографии и творчеству Симеона Полоцкого . . .	4	134
Свясов Е. В. Аптичная лирическая поэзия в русских переводах и подражаниях XVIII—XX веков. О библиографии . . .	2	206
Стихотворения Е. И. Васильевой, посвященные Ю. К. Щуцкому (вступительная статья и публикация Н. Ю. Грыкаловой) . . .	4	200
Тиме Г. А. И. С. Тургенев в переписке с Бернгардом Эрихом Бере (по новым материалам второго академического Собрания писем И. С. Тургенева) . . .	3	170
Усенко П. Г. Польские соратники Н. Г. Чернышевского в русской журналистике 50—60-х годов XIX века . . .	2	155
Успенская А. В. Место античности в творчестве А. А. Фета . . .	2	142
Черняков М. В. О стихотворении Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (публикация О. Е. Партигул-Черняковой) . . .	2	191
Чурсина Л. К. К проблеме «жизнетворчества» в литературно-эстетических исканиях начала XX века (Белый и Пришвин) . . .	4	186
Шаврыгин С. М. А. А. Шаховской в Петербурге (1793—1805) . . .	4	146
Эльзон М. Д. Существовала ли рукопись повести Н. С. Лескова «Амур в лапоточках»? . . .	2	163

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Аринштейн Л. М., Коренева М. Ю.** Немецкая монография о Грибоедове (Košny Witold. A. S. Griboedov — Poet and Minister: Die zeitgenössische Rezeption seiner Komödie «Gore ot uma» (1824—1832). Berlin, 1985. 432 S.) 1 226
- Баскаков В. Н.** Поэзия поиска. Культура и литература старой русской провинции в разысканиях Е. Д. Петряева 1 234
- Бекедин П. В.** Опыт путеводителя по «Тихому Дону» (Семанов С. Н. В мире «Тихого Дона». М.: Современник, 1987. 253 с.) 4 239
- Биллиникс Я. С.** Возможности историко-литературного исследования (Манин Юрий. Диалектика художественного образа. М.: Сов. писатель, 1987. 320 с.) 2 235
- Булаин Д. М.** Исследования по языку и литературе Древней Руси (Sprache und Literatur Altrußlands. Aufsatzsammlung / Herausgeg. von G. Birkfellner. Redaktion A. Ludden. Münster. 1987. (Studia slavica et baltica. Bd 8). 272 S.) 3 198
- Гребнева Э. Я.** Новое издание «Слова о полку Игореве» в Болгарии (Слово за похода на Игор, Игор — син Святославов, внук Олегов / Превел от староруски Кирил Кадийски. София: Народна култура, 1986. 83 с.) 4 228
- Гумилев Л. Н.** Слависты и номадисты (Шенников А. А. Червлёный Яр: Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV—XVI вв. Л.: Наука, 1987. 142 с.) 2 228
- Данилевский Р. Ю.** К истории восприятия Ф. Ницше в России 4 232
- Дмитриев Л. А.** Некоторые итоги и проблемы издания памятников древнерусской литературы 1 220
- Левин Ю. Д.** История переводческой мысли (Гоциридзе Д. З., Хухуни Г. Т. Очерки по истории западноевропейского и русского перевода. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1986. 252 с.) 1 244
- Мальчукова Т. Г.** Первая монография о Тредиаковском (Дерюгин А. А. Тредиаковский-переводчик: Становление классицистического перевода в России. Саратов, 1985. 190 с.) 3 204
- Муратов К. Д.** Эпистолярное наследие М. Горького 2 216
- Николаева С. Ю.** Контуры чеховского мира (Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л.: Изд. ЛГУ, 1987. 182 с.) 1 228
- Носов С. Н.** Английское исследование жизни и творчества В. Ф. Одоевского (Cornewell N. The life, times and milieu of V. F. Odoyevsky: 1804—1869. London: The Athlone Press, 1986. 417 p.) 3 214
- Панченко А. М.** Педагогика и наука (об учебнике М. А. Гаспарова по стиховедению) (Гаспаров М. Л. Учебный материал по литературоведению. Русский стих. Таллин, 1987. 168 с.) 4 225
- Сомова С. Я., Данилевский Р. Ю.** Данте в русской литературе (Асоян А. А. Данте и русская литература 1820—1850-х годов: Посobie к спецкурсу. Свердловск: Свердловский гос. пед. ин-т, 1986. 80 с.) 3 211
- Стенник Ю. В.** Русское Просвещение XVIII века в трудах зарубежных славистов последних лет 4 215
- Сухих И. Н.** Движение концепции (Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М.: Сов. писатель, 1986. 380 с.) 2 238
- Туниманов В. А.** Лесковский том «Revue des études slaves» (Revue des études slaves, 1986, t. 58, fasc. 3. Nikolaj Semenovič Leskov: 1831—1895) 3 216
- Феньвешчи Иштван (Венгрия).** Русская литература глазами венгров (Orosz írók magyar szemmel. Összeállította D. Zöldhelyi Zsuzsa, Bergné Török Éva, Dukkon Agnes, Légrády Viktor. Szerk.: D. Zöldhelyi Zsuzsa. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 595 p.; Orosz írók magyar szemmel. Összeállította D. Zöldhelyi Zsuzsa, Bergné Török Éva, Légrády Viktor. Szerk.: D. Zöldhelyi Zsuzsa. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 693 p.) 3 194

ПОЛЕМИКА

- Прокшин В. Г.** Еще раз о композиции поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 4 214

ХРОНИКА

- Алексеева О. Б.** 24-я Некрасовская конференция 3 225
- Бекедин П. В.** Вторые Шолоховские чтения 2 260

Березкина С. В. Научно-практическая конференция, посвященная проблемам издания Полного собрания сочинений А. С. Пушкина . . .	2	244
Бобров А. Г. Научное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения В. П. Адриановой-Перетц	3	237
Водолазкин Е. Г. Конференция молодых ученых, посвященная вопросам славяно-русского рукописного наследия	2	258
Иванова Л. Н. Научное заседание памяти Марфы Ивановны Маловой	2	264
Коренева М. Ю. Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Байрона	3	223
Коренева М. Ю. Научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Александра Николаевича Веселовского	3	230
Михайлова А. К. Научные чтения памяти академика А. С. Бушмина в Воронеже	2	252
Петухов В. К. Русская литература и Великий Октябрь	2	242
Полозкова С. А. Третьи научные чтения «Достоевский и современность» в Старой Руссе	4	244
Рождественская М. В. Памяти академика А. С. Орлова	3	221
Соколова Л. В. Конференция в Горьком, посвященная истории литературы и культуры Древней Руси	1	249
Фридендер Г. М. Советско-французский коллоквиум по литературным взаимосвязям России и Франции в XIX—XX веках (заметки участника)	2	250

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Азбелев С. Н. Фольклор надо издавать фольклористам	3	245
Черенков Л. Н. Об анахронизмах, цыганском фольклоре и компетентности	3	242
Муратов А. Б., Маркович В. М. Памяти Григория Абрамовича Бялого	1	255

НОВЫЕ КНИГИ

- Алексеев М. П.** Пушкин и мировая литература. [Отв. редакторы Г. П. Макогоненко, С. А. Фомичев]. Л., «Наука», 1987. 613 [3] с. (АН СССР, Отд-ние лит-ры и яз. Пушк. комиссия).
- Архипова А. В.** Литературное дело декабристов. Отв. ред. Ю. Д. Левин. Л., «Наука», 1987. 188 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Афанасьев В. В.** Ахилл, или Жизнь Батюшкова. Докум. повесть. [Для ст. возраста. Послесл. С. Е. Шаталова. Рис. Ю. В. Иванова]. М., «Детская лит-ра», 1987. 252 [2] с.
- Буданова Н. Ф.** Достоевский и Тургенев: творческий диалог. Отв. ред. Г. М. Фридендер. Л., «Наука», 1987. 196 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Вересаев В. В.** Пушкин в жизни. Сист. свод подлин. свидетельств современников. [Предисл. Д. Урнова, В. Сайтанова]. М., «Московский рабочий», 1987. 701 [2] с.
- Вересаев В. В.** Пушкин в жизни. Сист. свод подлин. свидетельств современников. [Вступ. ст. Д. М. Урнова, В. А. Сайтанова]. Минск, «Мастац. літ», 1987. 683 [2] с.
- Гейченко С. С.** Под пологом леса. Новеллы о Михайловском. [Рис. О. Келейниковой]. М., «Детская лит-ра», 1987. 37 [4] с.
- Гончаров И. А.** На родине. [Сборник. Сост., авт. вступ. ст. и примеч. В. А. Недзвецкий]. М., «Сов. Россия», 1987. 397 [1] с.
- Григоревич Д. В.** Литературные воспоминания. [Вступ. ст. Г. Г. Елизаветиной. Сост., подгот. текста и коммент. Г. Г. Елизаветиной, И. Б. Павловой]. М., «Худож. лит-ра», 1987. 333 [2] с.
- Достоевская А. Г.** Воспоминания. [О Ф. М. Достоевском. Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова, В. А. Тунина]. М., «Правда», 1987. 541 [2] с. (Лит. воспоминания).
- В. Г. Короленко и русская литература.** Межвуз. сб. науч. тр. [Отв. ред. С. Я. Пашкова]. Пермь, ПГПИ, 1987. 63 [1] с.
- Кошелев В. А.** Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., «Современник», 1987. 349 [2] с. (Б-ка «Любителям рос. словесности»).
- Кременская И. К.** Революционно-демократическая критика и публицистика 40—60-х годов XIX в. (Учеб. пособие по истории рус. журналистики XIX в.). М., Изд-во МГУ, 1987. 167 [2] с.
- Лотман Ю. М.** Сотворение Карамзина. [Предисл. Б. Егорова]. М., «Книга», 1987. 336 с. (Писатели о писателях).
- Мартынова А. Н.** Бытописатель земли русской (Культ.-ист. очерк о писателе, ученом-этнографе С. В. Максимове). М., «Молодая гвардия», 1987. 77 [3] с.
- Мельников М. Н.** Русский детский фольклор. [Учеб. пособие для пед. ин-тов. . .]. М., «Просвещение», 1987. 239 [1] с.
- Миронова И. А.** Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Кн. для учащихся. М., «Просвещение», 1987. 106 [2] с.
- Михайлова С. Б.** Глеб Успенский в Петербурге. Л., Лениздат, 1987. 252 [2] с.
- Нарышкина Н. А.** Художественная критика пушкинской поры. Л., «Художник РСФСР», 1987. 85 [2] с.
- Некрасовские чтения (2; 1987; Ярославль).** (Тезисы выступлений). Ярославль, Б. и., 1987. 76 [1] с.
- Николюкин А. Н.** Взаимосвязи литератур России и США. [Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка. Отв. ред. Ю. Д. Левин]. М., «Наука», 1987. 350 [1] с. (АН СССР, ИНИОН, Ин-т русской лит-ры).
- Перечитывая Некрасова.** Путеводитель по выст. Из архива К. И. Чуковского. [Редколлегия: Э. С. Красовская и др.]. [М.], Центр. гор. публ. б-ка им. Н. А. Некрасова, 1987. 67 с.
- Писарев Д. И.** Надо мечтать! [Сост., вступ. ст. и примеч. И. В. Кондакова]. М., «Сов. Россия», 1987. 429 [1] с.
- Прийма Ф. Я.** Некрасов и русская литература. Отв. ред. К. Н. Григорьян. Л., «Наука», 1987. 263 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Проблемы типологии русской литературной критики.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: В. В. Ильин (отв. ред.) и др.]. Смоленск, СГПИ, 1987. 93 [1] с.
- Пушкинские чтения в Тарту.** Тезисы докладов науч. конф. 13—14 нояб. 1987 г. [Отв. ред. А. Э. Мальц]. Таллин, Б. и., 1987. 96 с.
- Русская литература и фольклор (конец XIX в.).** [А. А. Горелов (отв. ред.) и др.]. Л., «Наука», 1987. 367 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Русская литература 1870—1890 годов.** [Сб. науч. тр. Вып. 19]. Свердловск. УрГУ, 1987. 141 [2] с.
- Савин О. М.** «Твое имя помнят люди...» Страницы морд. Пушкинианы. Саранск, Мордовское книжное изд-во, 1987. 206 [2] с.
- Селезнев Ю. И.** Избранное. [Сост. М. Кузнецовой-Селезневой]. М., «Современник», 1987. 506 [2] с.
- В. И. Симаков и народное творчество.** Межвуз. темат. сб. науч. тр. [Сост. В. Г. Шоминой]. Калинин, КГУ, 1987. 144 [1] с.
- Смирнова Е. А.** Поэма Гоголя «Мертвые души». Отв. ред. С. Г. Бочаров. Л., «Наука», 1987. 197 [2] с.

- Сухова Н. П. Дары жизни. Кн. о трех поэтах: А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков. [Для ст. шк. возраста]. М., «Детская лит-ра», 1987. 142 [1] с.
- Травников С. Н. Путевые записки петровского времени. (Пробл. историзма). Учеб. пособие. Науч. ред. Н. И. Прокофьев. М., МГПИ, 1987. 98 [3] с.
- Фролов П. А. Лермонтовские Тарханы. Саратов; Пенза, Приволжское книжное изд-во, 1987. 278 [2] с.
- Художественное произведение в литературном процессе (1750—1850). Межвуз. сб. науч. трудов. [Редколлегия: Н. П. Михальская (отв. ред.) и др.]. М., МГПИ, 1987. 89 [2] с.
- Частушки. [Сост., подгот. текстов, предисл. и коммен. Л. А. Астафьевой]. М., «Современник», 1987. 492 [1] с. (Классич. б-ка «Современника». Сокровища рус. фольклора).
- Якушин Н. И. Тропа к Некрасову. Докум.-худож. кн. о жизни и тв-ве Н. А. Некрасова. [Для ст. возраста]. М., «Детская лит-ра», 1987. 302 [1] с.
- Абрамов Ф. А. Слово в ядерный век. Статьи. Очерки. Выступления. Интервью. Лит. портреты. Воспоминания. Заметки. М., «Современник», 1987. 447 с. [1] л. портр. (Б-ка «О времени и о себе»).
- Бобылев Б. Г. Стилистический анализ художественного и публицистического текста. Алма-Ата, «Мектеп», 1987. 102 [2] с.
- Богомолов И. С. Спаяны дружбой. Лит. очерки. Тбилиси, «Мерани», 1987. 261 [1] с.
- Бондарев Ю. В. Хранители ценностей. [Сборник]. М., «Правда», 1987. 382 [1] с.
- Ванюков А. И. Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра. Под ред. Я. И. Явчуновского. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1987. 199 [2] с.
- Вознесенский А. А. 10, 9, 8, 7... [Сборник]. М., «Правда», 1987. 45 [2] с.
- Вопросы сюжета и композиции. Межвуз. сб. [Редколлегия: Г. В. Москвичева (отв. ред.) и др.]. Горький, ГГУ, 1987. 74 [4] с.
- Вячеслав Шишков в воспоминаниях современников. [Сборник. Сост. Н. Н. Яновский]. Новосибирск, Книжное изд-во, 1987. 389 [3] с.
- XXVII съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистической культуры. Тезисы обл. науч.-теорет. конф. Тюмень, 21—23 окт. 1986 г. [Редколлегия: Л. Н. Коган (отв. ред.) и др.]. Тюмень, ТГУ, 1986. 131 с.
- Герасименко А. П. Современный советский роман. (Концепция человека). Учеб.-метод. пособие для студентов филол. фак. гос. ун-тов. М., Изд-во МГУ, 1987. 68 [1] с.
- Жизнь и творчество Алексея Мусатова. [Сборник. Сост. М. Н. Мусатова, В. Н. Николаев]. М., «Детская лит-ра», 1987. 253 [2] с.
- Зубова Л. В. Потенциальные свойства языка в поэтической речи М. Цветаевой. (Семант. аспект). Учеб. пособие. Л., ЛГУ, 1987. 87 с.
- Идашкин Ю. В. Юрий Бондарев. М., «Худож. лит-ра», 1987. 270 [2] с. (Сов. писатели — Герои Соц. Труда).
- Идейно-нравственное формирование личности и роль советской литературы в свете решений XXVII съезда КПСС. Сб. обзоров. [Редколлегия: А. А. Ревякина, Б. П. Куликов (отв. редакторы) и др.]. М., ИНИОН, 1987. 187 с.
- Исаев Е. А. Поговорим как современники. М., «Молодая гвардия», 1987. 206 с. (Писатель—молодежь—жизнь).
- Караганов А. В. Константин Симонов — вблизи и на расстоянии. М., «Сов. писатель», 1987. 281 [2] с.
- Категория времени в художественной литературе. Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Л. П. Кременцов (отв. ред.) и др.]. М., МГЗПИ, 1987. 93 [1] с.
- Котенко Н. Н. Валентин Распутин. Очерк творчества. М., «Современник», 1988. 187 [1] с. (Лит. портреты).
- Любинский И. Л. Очерки о советской драматургии для детей. М., «Детская лит-ра», 1987. 237 [2] с.
- Нагибин Ю. М. Москва... как много в этом звуке... [Очерки]. М., «Сов. Россия», 1987. 95 [1] с.
- Огнев А. В. Современный русский рассказ, 50—80-е гг. Учеб. пособие. Калинин, КГУ, 1987. 89 [1] с.
- Оклянский Ю. М. Оставшиеся в тени. Биогр. повести о писателях. [Вступ. ст. А. Нежного, худож. Н. Абакумов]. М., «Известия», 1987. 638 [2] с.
- Оклянский Ю. М. Юрий Трифонов. Портрет-воспоминание. М., «Сов. Россия», 1987. 240 с. (Писатели Сов. России).
- Пиккуль В. С. Живая связь времен. Размышления. М., Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМР, Воениздат, 1987. 94 [2] с.
- Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. Межвуз. сб. науч. трудов. [Редколлегия: М. Я. Ермакова (отв. ред.) и др.]. Горький, ГГПИ, 1987. 165 с.
- Разумихин А. М. Проза-1986. (Заметки критика). М., «Знание», 1987. 62 [2] с.
- Рясенцев Б. К. Спасибо, Сибирь. Воспоминания и размышления. Л., «Сов. писатель», 1987. 261 [2] с.
- Сабанова Ф. Х. Русская советская публицистика (1950—1980-е годы). Л., «Знание», 1987. 18 [1] с.

- Собеседник. Лит.-критич. ежегодник.** [Сост. И. Ростовцева. Вып. 8]. М., «Современник», 1987. 318 [1] с.
- Соловьев Б. И.** Этюды о поэтах. Статьи. М., «Сов. писатель», 1987. 334 [2] с.
- Творчество М. Горького в художественной системе социалистического реализма.** [Тезисы докладов. В 2-х ч. Ч. 2. Редколлегия: И. К. Кузьмичев (отв. ред.) и др.]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1987. 175 [1] с.
- Творчество писателя и литературный процесс. Жанрово-стилевые проблемы.** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: П. В. Куприяновский (отв. ред.) и др.]. Иваново, ИВГУ, 1987. 153 [3] с.
- Ульяшов П. С.** Этот неумиряющий жанр (Соврем. сов. рассказ). М., «Знание», 1987. 110 [2] с.
- Фадеев А. А.** Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний. [Для ст. шк. возраста. Библиогр. очерк, сост. и коммент. С. Н. Преображенского]. Минск, «Юнацтва», 1987. 316 [2] с.
- Фомина Н. Д., Орлова Т. Г.** Лингвистический анализ художественного текста. Учеб. пособие. М., Изд-во Ин-та дружбы народов, 1987. 81 [2] с.
- Ходасевич В. М.** Портреты словами, Очерки [о деятелях сов. культуры. Вступ. ст. В. В. Иванова]. М., «Сов. писатель», 1987. 318 [2] с.
- Языки культуры и проблемы переводимости.** [Сборник. Отв. ред. Б. А. Успенский]. М., «Наука», 1987. 251 [2] с.
- Энциклопедический словарь юного литературоведа.** Для сред. и ст. шк. возраста. [Сост. В. И. Новиков]. М., «Педагогика», 1987. 415 с.

Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры Г. Д. Адейкина, В. В. Крайнева и Г. А. Самаковская

Сдано в набор 5.08.88. Подписано к печати 15.11.88. М-25183. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22.40. Усл.-кр. отт. 22.76. Уч.-изд. л. 28.15. Тираж 12 351. Тип. зак. 686.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1

Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12